

## Дэвид Герберт Лоуренс

### Влюбленные женщины

#### Глава I

#### Сестры

Как-то утром Урсула и Гудрун Брангвен сидели у окна в отцовском доме в Бельдове за работой и переговаривались. Урсула что-то вышивала цветными нитками, Гудрун же рисовала на куске картона, который держала на коленях. Большую часть времени они молчали, а разговаривали, когда одну из них посещала какая-нибудь мысль.

– Урсула, – окликнула сестру Гудрун, – ты что, *правда* не хочешь замуж?

Урсула опустила вышивку на колени и посмотрела на сестру. Лицо ее было спокойным и сосредоточенным.

– Не знаю, – ответила она. – Все зависит от того, что, по-твоему, означает выйти замуж.

Гудрун несколько озадачил такой ответ. Какое-то время она рассматривала сестру.

– Ну, – иронично заметила она, – обычно это означает только одно! Но разве ты не считаешь, – она слегка нахмурилась, – что твое положение улучшилось бы по сравнению с теперешним? Лицо Урсулы омрачилось.

– Может быть, – произнесла она. – Не знаю.

Гудрун, слегка раздраженная, помолчала. Ей хотелось определенности. Она спросила:

– Тебе не кажется, что каждому человеку необходим *опыт* брака?

– А ты считаешь, что это будет опыт?

– Непременно будет, – холодно сказала Гудрун. – Может, нежелательный, но непременно своего рода опыт.

– Не обязательно, – ответила Урсула. – Скорее всего, это будет концом всякого опыта.

Гудрун замолчала, осмысливая слова сестры.

– Пожалуй, – сказала она, – это *тоже* следует учесть.

На этом разговор оборвался.

Гудрун чуть ли не сердито схватила резинку и начала стирать часть рисунка. Урсула продолжала увлеченно вышивать.

– А если бы тебе предложили хорошую партию? – спросила Гудрун.

– Несколько я уже отвергла, – ответила Урсула.

– *Правда*? – залилась румянцем Гудрун. – Было что-нибудь стоящее? Неужели ты и *правда* отказалась?

– Ужасно приятный мужчина с тысячей фунтов в год. Мне он ужасно нравился, – ответила Урсула.

– Неужели?! Это, наверно, было жутко соблазнительно, разве нет?

– Абстрактно – да, но только не в конкретном случае. Когда доходит до дела, ничего такого соблазнительного нет. Да если бы было соблазнительно, я бы пулей замуж выскочила. Но у меня один соблазн – никуда не выскакивать.

Лица обеих сестер внезапно загорелись весельем.

– Разве не удивительно, – воскликнула Гудрун, – как силен соблазн – никуда не выскакивать! Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Но где-то в глубине души они почувствовали испуг.

Они вновь на долгое время умолкли. Урсула вышивала, а Гудрун продолжала рисовать. Сестер нельзя было назвать юными девушками – Урсуле было двадцать шесть лет, а Гудрун двадцать пять. Но обе имели холодный неприступный вид, характерный для современных девушек, близких по духу скорее Артемиде, нежели Гебе.

Гудрун с ее нежной кожей и нежными руками была очень красива – она казалась воплощением кротости. На ней было платье из темно-синей шелковой материи, отделанное у ворота и на запястьях рюшами из синего с зеленым льняного кружева, на ногах – изумрудно-зеленые чулки. Ее выражение уверенности в сочетании с застенчивостью контрастировало с чувственной открытостью Урсулы. Люди провинциальные, робевшие перед потрясающим хладнокровием Гудрун и ее исключительной прямоотой, говорили о ней: «Какая роскошная женщина!». Она только что вернулась из Лондона, где несколько лет училась в художественной школе и жила замкнутой студийной жизнью.

– Я надеялась, что теперь в моей жизни появится мужчина, – произнесла Гудрун, внезапно прикусив нижнюю губу и соорудив странную гримасу, отражающую то ли лукавую улыбку, то ли мучение.

Урсуле стало не по себе.

– Так ты вернулась домой, чтобы найти его здесь? – рассмеялась она.

– Ох моя дорогая, – перебила ее Гудрун. – Я не собираюсь из кожи вон лезть, чтобы отыскать его. Но если вдруг появится в высшей степени привлекательный субъект с приличным доходом, тогда... – она с шутливой многозначительностью оборвала фразу и внимательно посмотрела на Урсулу, проверяя, как та отреагирует на ее слова, а потом спросила: – Ты не начинаешь скучать? У тебя не возникает ощущения, что твои планы не воплощаются в жизнь? Что в жизнь ничего не претворяется? Что все погибает в зародыше.

– Что именно погибает? – поинтересовалась Урсула.

– Да все и вся – мы – все в целом.

Они замолчали, и каждая отстраненно размышляла над своей судьбой.

– Довольно страшная картина вырисовывается, – произнесла Урсула.

И они вновь замолчали.

– А ты думаешь, что если просто выйдешь замуж, то что-нибудь изменится?

– Это вроде бы считается следующим неизбежным шагом, – сказала Гудрун.

Урсула с легкой горечью размышляла над словами сестры. Она вот уже несколько лет выполняла обязанности классной дамы в средней школе в Виллей-Грин.

– Понимаю, – сказала она, – в идеале все так и выглядит. Но только представь себе любого знакомого мужчину, представь, что он каждый вечер приходит домой, говорит «привет» и целует тебя...

В воздухе повисла пауза.

– Да, – изменившимся голосом произнесла Гудрун. – Это невозможно. Невозможно из-за мужчины.

– И, конечно же, еще и дети, – робко добавила Урсула.

На лице Гудрун появилось жесткое выражение.

– Неужели ты действительно хочешь детей, Урсула? – холодно спросила она.

Урсула удивленно-озадаченно посмотрела на сестру.

– По-моему, хочешь-не хочешь... – ответила она.

– Ты так считаешь? – спросила Гудрун. – У меня при мысли о детях все чувства куда-то пропадают.

Гудрун смотрела на Урсулу безо всяких эмоций, ее лицо застыло, словно маска.

Урсула нахмурилась.

– Возможно, это не совсем так, – нерешительно призналась она. – По-моему, на самом деле заводить детей никому не хочется, все только делают вид.

Лицо Гудрун стало каменным. Ей не хотелось знать такие тонкости.

– Как подумаешь о чьих-нибудь детях... – начала Урсула.

Гудрун посмотрела на сестру уже почти враждебно.

– Вот именно! – отрезала она, положив тем самым конец разговору.

Сестры продолжали работать в полной тишине. В лице Урсулы ни на минуту не угасал глубинный огонь, огонь схваченный, пойманный в силки и рвущийся наружу. Она достаточно

долго жила сама по себе и сама для себя, проводя в работе день за днем, ни на минуту не переставая размышлять, пытаясь ухватить суть жизни, объять ее своим разумом. В ее жизни мало что происходило, однако внутри нее, во мраке, уже назревали какие-то перемены. Если бы только ей удалось разорвать последнюю сковывающую ее оболочку! Она пыталась пробиться наружу и, подобно младенцу, выбирающемуся из утробы матери, протягивала руки, но высвободиться ей не удавалось, пока не удавалось. И все же у нее было странное ощущение, какое-то предчувствие говорило ей, что что-то должно случиться.

Она отложила работу и взглянула на сестру. Она подумала, как обворожительно, как необыкновенно обворожительно Гудрун, какая мягкость сквозит в ее облике, какой разносторонний у нее характер и насколько изящны линии ее тела! В ней ощущалась легкая игривость и безотчетная соблазнительность, намекающая на страстность ее натуры, и нетронутая глубина. Урсула восхищалась ею от всего сердца.

– Зачем ты вернулась домой, Черносливка? – спросила она.

Гудрун чувствовала восхищение сестры. Она откинулась назад, забыв на мгновение о рисовании, и взглянула на Урсулу сквозь изящно изогнутые ресницы.

– Зачем я вернулась, Урсула? – повторила она. – Я уже тысячу раз задавала себе этот вопрос.

– И у тебя нет ответа?

– Напротив, думаю, что есть. Мне кажется, что я вернулась только для того, чтобы перевести дух перед новым броском вперед.

Она пристально посмотрела на Урсулу, долгим выразительным взглядом.

– Я понимаю! – воскликнула Урсула, на лице которой появилось слегка озадаченное и в то же время не совсем искреннее выражение, словно на самом деле она ничего не понимала. – Но куда же ты собираешься прыгать?

– Это неважно, – как-то экзальтированно ответила Гудрун. – Если прыгаешь за край, то куда-нибудь да приземлишься.

– По-моему, это очень рискованно, – заметила Урсула.

Губы Гудрун слегка искривила насмешливая улыбка.

– А! – усмехнулась она. – Слова, слова!

Она вновь поставила точку в разговоре. Но Урсуле ее мысль все еще не давала покоя.

– Ну вот, теперь ты дома. Как тебе здесь? – спросила она.

Гудрун несколько мгновений холодно молчала. Затем ледяным, но искренним тоном она ответила:

– Я чувствую себя здесь лишней.

– А отец?

Гудрун взглянула на Урсулу с какой-то озлобленностью, точно загнанный в угол зверек.

– Предпочитаю о нем вообще не думать, – холодно сказала она.

– Понятно, – протянула Урсула, и на этом разговор действительно был окончен. Сестрам показалось, что между ними нет ничего, кроме пустоты, ужасной пропасти, они словно заглянули в запредельные душевные глубины друг друга.

Некоторое время они работали молча. Щеки Гудрун пылали, выдавая сдерживаемые эмоции.

Она сердилась, что позволила обнаружить свои чувства.

– Пойдем, посмотрим на венчание, – через какое-то время предложила она нарочито обыденным голосом.

– С удовольствием! – с поспешной готовностью воскликнула Урсула, отбрасывая вышивку и вскакивая на ноги, точно стремясь убежать от гнетущих мыслей. Это показало, насколько напряженной была ситуация, и Гудрун неприязненно поежилась.

Поднимаясь вверх по ступенькам, Урсула видела стены своего дома, ощущала его атмосферу. Она всем сердцем ненавидела его, это мерзкое, до тошноты знакомое место! Ее пугало, что ее чувства к этому дому, к обитающим в нем людям, к царящей в нем атмосфере и к этому устаревшему укладу жизни, настолько враждебны. Она боялась этих своих чувств.

Вскоре девушки уже шли быстрым шагом по главной дороге Бельдовера – широкой улице, одну сторону которой занимали лавки, а другую – жилые дома, чрезвычайно безвкусные и убогие, хотя люди в них жили небедные. Гудрун, которая после жизни в Челси и Суссексе стала совсем другим человеком, содрогалась под натиском бесформенного уродства небольшого шахтерского городка в самом сердце страны. И все же она шла вперед, мимо вызывающего отвращение убожества в различных его проявлениях, по длинной, безликой, посыпанной песком улице. Она была беззащитна перед взглядами окружающих, она испытывала одно унижение за другим. Сейчас решение вернуться и в полной мере испытать на себе воздействие этого грубого, неприкрытого уродства казалось ей странным. Почему она поддалась, хотела ли она и дальше терпеть эту невыносимую пытку, на которую ее обрекали все эти никчемные, не ведающие своего предназначения людишки, это унылое селение? Ей казалось, что она всего лишь жук, копошащийся в пыли. И это заставляло ныть ее сердце.

Они свернули с главной дороги и пошли мимо черного лоскута общего огорода, где бесстыдно торчали покрытые угольной пылью столбики капустных кочерыжек. Никто и не думал их стыдиться. Здесь никому ни за что не было стыдно.

– Местечко, достойное преисподней! – содрогнулась Гудрун. – Шахтеры, выбираясь из шахт, тащат с собой на поверхность ад, выгребают его своими лопатами. Урсула, это поразительно, это просто поразительно, совершенно непостижимо, но здесь иной мир. Здесь не люди, а призраки, а все вокруг – морок. Здесь все только отдаленно напоминает реальный мир – это тень, видение, грязное и отвратительное. Урсула, такой мир может существовать лишь в безумном бреде.

Сестры шли по черной тропинке через темное унавоженное поле. Слева от них, точно на огромной картине, расстилалась испещренная шахтами долина, вдали виднелись холмы, на склонах которых росла пшеница, и леса, сливавшиеся в отдалении в темное пятно, как бывает, если смотреть через креповую вуаль. То тут, то там в небо вздымались клубы белого и черного дыма, обретая в сером от пыли воздухе волшебные очертания.

Вскоре показались длинные ряды домов, поднимающиеся по склону холма по изогнутой линии и вытянувшиеся по струнке у подножья. Дома были из красного кирпича, кое-где осыпающегося, с темными покатыми крышами. Черная тропинка, через которую лежал путь девушек, была утоптана ногами бесчисленных шахтеров; железный забор отгораживал ее от полей; ступеньки, ведущие к дороге, были до блеска отполированы краями молескиновых брюк изо дня в день проходящих по ним шахтеров.

Теперь девушки шли мимо жилищ менее богатых обитателей этой местности.

В конце улицы толпились женщины, пряча руки под передниками и обмениваясь сплетнями. Они словно туземцы таращились на сестер Брангвен, не сводя с них немигающего взгляда; дети обзывали их на все лады.

Гудрун двигалась в каком-то полузабытьи. Если такова жизнь человеческая, если это и есть люди, живущие в совершенном мире, то *что* же тогда такое ее мир, тот, что снаружи?

Она чувствовала, что ее травянисто-зеленые чулки, огромная зеленая бархатная шляпа, объемный мягкий жакет из ткани насыщенно-синего цвета обжигают ее тело. Ей казалось, что она ступает по воздуху, что в любой момент она может потерять равновесие, и ее сердце сжималось от страха при мысли, что в любую секунду она может рухнуть на землю. Ей было страшно.

Она прижалась к Урсуле, которая, живя здесь, уже привыкла к нравам этого мрачного, зловещего, потустороннего мира. Но в такие минуты она точно проходила странный ритуал посвящения, и сердце ее восклицало: «Я хочу вернуться, хочу убежать, я не хочу смотреть на это, не хочу знать, что такое существует». Однако она все шла и шла вперед.

Урсула чувствовала, как мучается ее сестра.

– Тебе все это противно, да? – спросила она.

– Здесь я все время чувствую себя загнанной в угол, – сдавленным голосом ответила Гудрун.

– Ты здесь долго не выдержишься, – ответила Урсула.

Они миновали окрестности шахт и вышли в менее задымленную местность по другую сторону холма, который они обогнули, идя к Виллей-Грин. Но и здесь над полями и лесистыми холмами висела легкая черная дымка, из-за которой воздух точно отливала синевой.

Был прохладный весенний день, и солнце то и дело проглядывало из-за облаков. Кусты желтого чистотела выбивались из-под живых изгородей, в садах на кустах смородины пробивались листочки, а на свисающем с каменных стенок сером алиссуме раскрывались мелкие белые цветки.

Свернув на широкую дорогу, проходившую мимо высоких насыпей, девушки направились к церкви. Там, где дорога петляла, спускаясь с возвышенности, на прогалине под деревьями стояли несколько зевак, которые пришли поглазеть на венчание.

Дочь Томаса Крича, который владел почти всеми шахтами в этой местности, выходила замуж за офицера военно-морского флота.

– Давай вернемся, – отвернувшись, попросила Гудрун. – Там эти люди...

Она в нерешительности остановилась посреди дороги.

– Не обращай на них внимания, – сказала Урсула. – Все будет хорошо. Они все меня знают.

Они ничего тебе не сделают.

– А нам обязательно идти мимо них? – спросила Гудрун.

– Ну же, они совершенно безобидные, – сказала Урсула, идя впереди.

Сестры рука об руку приблизились к настороженным и недоверчиво разглядывающим их простолюдинам. По большей части здесь были женщины, жены шахтеров, причем самые что ни на есть бестолковые. У них были настороженные лица существ из потустороннего мира.

Набравшись смелости, сестры направились напрямик к воротам. Женщины расступались, позволяя им пройти, но ненамного, словно не желая сдавать свои позиции. Сестры молча прошли через каменные ворота, а сверху, с лестницы, устланной красной ковровой дорожкой, за ними наблюдал полицейский.

– Глянь-ка, каковы чулочки-то! – раздался голос за спиной Гудрун.

Девушку внезапно охватил страшный гнев. Как бы ей хотелось уничтожить этих людишек, чтобы они исчезли с лица земли, чтобы они больше не марали этот мир! Как же противно было ей идти к церкви под этими взглядами, по этой красной дорожке, не сбавляя шагу!

– Я в церковь не пойду, – внезапно заявила она, и в ее голосе послышалась такая непоколебимая решительность, что Урсула мгновенно остановилась, развернулась и по боковой тропинке направилась к низкой незаметной калитке, ведущей на школьный двор, прилегавший к двору церковному.

Пройдя с церковного двора на школьный через утопавшую в кустах лавра калитку, Урсула на мгновение присела на низкую каменную ограду, чтобы перевести дух. За ее спиной молчаливо высилось большое красное кирпичное здание школы. По случаю праздника все окна в нем были распахнуты настежь. Впереди, за кустами, виднелась бледно-серая крыша и колокольня старинной церкви. Листва полностью скрывала обеих сестер.

Гудрун тоже села. Она плотно сжала губы и отвернулась. Она горько сожалела о своем возвращении домой. Урсула взглянула на сестру и подумала, какой восхитительно красивой та становилась, когда ее лицо от растерянности вспыхивало румянцем. В то же время сестра своим присутствием сковывала Урсулу, лишала ее силы духа. Урсуле хотелось побыть одной, избавиться от напряжения, которое она испытывала, когда Гудрун была рядом.

– Мы так и будем тут сидеть? – спросила Гудрун.

– Я только отдохну минутку, – сказала Урсула и, очнувшись от раздумий, поднялась с места, – мы постоим на углу возле площадки для игры в футбол, оттуда нам все будет видно.

Яркое солнце на мгновение залило светом церковный двор, в воздухе запахло свежестью – это источали аромат фиалки, ковром устилающие могилы. Уже распустились белоснежные, как крылья ангелов, маргаритки. Высоко над головой на медных буках разворачивались кроваво-красные листочки.



Гости начали съезжаться ровно в одиннадцать часов. Толпа у ворот всколыхнулась, с пристальным вниманием провожая каждую подъезжающую карету; приглашенные на венчание поднимались вверх по ступенькам и шли к церкви по красной ковровой дорожке. Все чувствовали радость и волнение, ведь солнце светило так ярко!

Гудрун пристально, с неподдельным любопытством наблюдала за ними. Каждого из приглашенных она видела во всей совокупности его проявлений, как литературный персонаж, как фигуру с картины либо как марионетку из кукольного театра, как завершенное создание. Они проходили мимо нее в церковь, а она высматривала в них самые разные качества, видела их настоящую сущность, ставила их в соответствующие для них обстоятельства, наклеивала на них ярлыки. Ей все было известно про этих людей, они, словно ненужные письма, давным-давно были снабжены этикетками и убраны на хранение. Она не видела никого, кто таил бы в себе что-то неизвестное ей, что-то, что ей бы хотелось понять. Но так было только до тех пор, пока не появились Кричи. Тут ее интерес возродился. В них было что-то такое, что нельзя было понять с первого взгляда.

Шествие возглавляли мать семейства, миссис Крич, и ее старший сын Джеральд. Мать выглядела до странности неопрятно, несмотря на все очевидные попытки привести свою внешность в подобающее предстоящему событию соответствие. У нее было бледное, чуть желтоватое лицо, чистая, прозрачная кожа; она немного сутулилась, крупные, резкие черты были довольно привлекательными, глаза же смотрели напряженно, невидяще, хищно. Ее бесцветные волосы разметались, неаккуратные пряди спадали из-под голубой шелковой шляпы на темно-синее шелковое пальто-сак. Она была похожа на женщину, одержимую одной страстью, способную на коварство, но не чуждую гордости.

У ее сына были светлые волосы, светлые глаза и тронутая загаром кожа. Ростом он был чуть выше среднего, и при этом хорошо сложен и одет с почти чрезмерной тщательностью. Но в его облике было и нечто странное – осторожность и едва уловимое сияние, которое выдавало его принадлежность к существам отличной от всех остальных породы.

Его светлая кожа северянина и белокурые волосы сверкали, подобно солнечному свету, отраженному от кристалла льда. Он выглядел так свежо, безыскусно и чисто, как может выглядеть только арктическое существо. Ему было около тридцати или, может, чуть больше. Его яркая красота, мужская притягательность молодого, добродушного, улыбающегося зверя, однако, не утаила от взгляда Гудрун весьма заметную зловещую скованность поведения и затаенную мощь его неукротимого нрава.

«Он принадлежит к племени волков, – подумала она про себя. – Его мать – старая матерая волчица».

Ее тело пронзила острая дрожь, чувства прорвались наружу, словно ей открылось нечто такое, что из всех людей на земле было понятно только ей. Странной силы волнение овладело ей, каждая клеточка ее тела трепетала от этого острого переживания.

«Боже ты мой! – воскликнула она про себя. – Что же это такое?»

Спустя мгновение Гудрун уже твердо решила: «Я обязана узнать этого человека поближе». Ее снедало желание увидеть его вновь, она чувствовала гнетущую тоску, ей было совершенно необходимо еще раз увидеть его, удостовериться, что она не ошиблась, что она не заблуждается, что она действительно ощутила это странное всепоглощающее чувство, что в глубине души она поняла, кто он такой, уловила исходящую от него силу. «Неужели мы действительно уготованы друг для друга, неужели и правда существует этот холодный бледно-золотистый свет, который окутывает только меня и его?» – спрашивала она себя. Она не доверяла своим чувствам, ей казалось, будто она находится в каком-то полусне и едва сознавала, что происходит вокруг.

Прибыли подружки невесты, а жениха все еще не было.

Урсула спрашивала себя, неужели во время приготовлений что-то было упущено и может ли венчание расстроиться. Она волновалась так, словно все зависело от нее. Появились подружки невесты. Урсула наблюдала, как они поднимаются вверх по лестнице. С одной из них – высокой, неторопливой, полной неспешной грации женщиной с густыми светлыми волосами и

вытянутым бледным лицом – она была знакома. Это была Гермiona Роддис, приятельница семейства Кричей. Она шла по дорожке, подняв подбородок. Огромная светло-желтая бархатная шляпа, на которой колыхались черные и серые страусовые перья, почти полностью скрывала ее лицо. Она плыла вперед, словно в полудреме, обратив свое вытянутое напудренное лицо кверху, чтобы не видеть окружающего мира. Это была состоятельная женщина. На ней было платье из тонкого шелковистого бледно-желтого бархата, а в руках она сжимала букетик розовых цикламенов. Ноги облекали коричневато-серые туфли и чулки в тон перьям на шляпе. Волосы были уложены в тяжелую прическу. Она плыла вперед, совершенно удивительным образом не двигая бедрами, из-за чего ее движения выглядели неестественно – точно ей совсем не хотелось идти вперед. В этом сочетании бледно-желтого и коричневато-розового она выглядела эффектно и вместе с тем мрачно, отталкивающе. Когда она проходила мимо, восхищенные и заинтересованные зеваки умолкали, и язвительные слова, готовые слететь с языка, замирали на губах. Ее бледное вытянутое лицо, обращенное, словно у женщин на картинах Россетти, к небу, казалось одурманенным, точно в темных уголках ее души кишели странные мысли и ей не было от них спасения.

Урсула зачарованно наблюдала за ней. Она была с ней немного знакома. Гермiona слыла самой выдающейся женщиной среди всех жительниц «сердца Англии». Ее отец был дербиширским баронетом старой закалки, она же являлась женщиной новой формации – жила интеллектуальной жизнью и несла на своих плечах тяжелый, требующий больших душевных сил груз самосознания. Она горячо интересовалась реформами, ее сердце было отдано общественным проблемам. Но у этой женщины должен был быть мужчина. Она могла существовать только в мужском мире.

Умственные и душевные качества позволили Гермione завязать тесные отношения различного свойства со многими выдающимися мужчинами. Из них Урсула знала только Руперта Биркина, одного из школьных инспекторов графства. Гудрун же встречала в Лондоне и других. Вращаясь вместе с друзьями-художниками в различных слоях общества, она завела знакомства со многими богатыми и знаменитыми его представителями. Судьба дважды сводила ее с Гермioneй, но симпатии между ними не возникло. Будет очень необычно встретиться с ней здесь, в самом центре страны, где их общественное положение было столь разным, после того как они на равных общались в гостиных бесчисленных городских знакомых. Ведь Гудрун добилась успеха в обществе и водила дружбу с праздными аристократами, проявляющими интерес к искусствам.

Гермiona сознавала, что она прекрасно одета, сознавала, что стоит на одной ступени (если не выше) с любым представителем общества Виллей-Грин. Она сознавала, что в мире интеллекта и культуры ее считают своей. Она была носителем культуры, именно ей дано было претворять идеи в жизнь. Она была на короткой ноге со всем передовым в обществе и общественной жизни, она вращалась среди самых выдающихся людей и чувствовала себя в их обществе как рыба в воде. Ни у кого не было шансов унизить, высмеять ее – она была одной из лучших, ее обидчики были ниже ее по положению, да и денег у них было меньше, чем у нее, а уж точек соприкосновения с миром мысли, прогресса и интеллекта – и подавно. Поэтому ничто не могло ее уязвить. Всю свою жизнь она стремилась стать непроницаемой для насмешек, неприкосновенной, оказаться выше человеческого суждения.

Но в то же время ее сердце, выставленное на всеобщее обозрение, рвалось на части. Даже когда она поднималась по ступенькам в церковь, когда она была уверена, что во всех отношениях она выше суждений черни, когда она прекрасно понимала, что в ее внешности нет ни малейшего изъяна, что она соответствует самым высоким стандартам, – даже в этот момент ее мучила мысль, которую она пыталась скрыть под маской уверенности и гордости, – мысль, что она бессильна перед всеми уколами, насмешками и презрением. Она постоянно чувствовала свою уязвимость, в ее броне была незаметная пробоина. И она никак не могла понять причину этой уязвимости. А уязвима она была потому, что в ней не было живости, что от природы она не обладала цельностью, внутри она ощущала пустоту, изъян, неполноценность.

Ей хотелось, чтобы кто-нибудь заполнил эту пустоту, заполнил ее раз и навсегда. Руперт Биркин был необходим ей как воздух. Когда он был рядом, она чувствовала себя завершённой, она становилась цельной, самодостаточной. Все остальное время она не чувствовала твердой опоры под ногами, она висела над пропастью и, несмотря на все ее тщеславие и оборонительные сооружения, любая веселая и бойкая служанка единой усмешкой или презрительным взглядом могла ввергнуть ее в бездонную пропасть неуверенности в себе. Эта меланхоличная, раздираемая душевной мукой женщина постоянно нагромождала вокруг себя баррикады из эстетической философии, культуры, мировоззрения и равнодушия. Но этим она никогда бы не смогла заполнить страшную пропасть собственной неполноценности.

Если бы только Биркин отважился заключить с ней тесный и прочный союз, ее не страшила бы дорога жизни, постоянно ускользающая у нее из-под ног. Только Биркин мог вернуть ее на твердую землю, только он мог заставить ее торжествовать, торжествовать над самими ангелами небесными. Только бы он это сделал! Ее мучил страх, мучило дурное предчувствие. Она сделала все, чтобы стать красивой, она упорно пыталась показать ему, насколько она красива, насколько она превосходит остальных – только бы это убедило его. Но внутренней уверенности не было, как не было ее и раньше.

К тому же он упорствовал. Он отталкивал ее от себя, он всегда ее отталкивал. Чем больше она старалась притянуть его к себе, тем сильнее он ее отталкивал. А они уже много лет были любовниками. Как же тоскливо ей было, как больно! Она чувствовала страшную усталость в душе, но не переставала надеяться на свои силы. Она знала, что он пытается оставить ее. Она знала, что он пытается вконец разорвать все отношения между ними, освободиться от нее. Но ее не покидала надежда, что она в силах удержать его, она верила, что об этом ей говорит высшая сила. Он многое понимал, но средоточением истины была она. Ей просто было нужно, чтобы он связал с ней свою судьбу.

А он, он с упрямством непокорного ребенка отвергал этот союз, который стал бы и для него воплощением всех желаний. Со своеобразием упрямого ребенка он хотел порвать связь, соединившую их воедино.

Он придет на это венчание; он будет шафером жениха. Он будет стоять в церкви и ждать. Он будет знать, что она приехала. Когда она входила в двери церкви, судорожная дрожь предвкушения встречи и желания охватила ее. Он будет там, он обязательно увидит, как красиво ее платье, он обязательно увидит, что это для него она старалась стать еще прекраснее. Он поймет, он сможет понять, что она предназначена для него, что она – лучшее, что приготовила ему жизнь. И он перестанет, наконец, противиться своей судьбе, он примет ее. Дрожа от судорожного и несколько затянувшегося ожидания, она вошла в церковь и медленно искала его взглядом, слегка прикрыв глаза. Каждая клеточка ее стройного тела пульсировала от возбуждения. Шафер жениха должен находиться возле алтаря. Она медленно посмотрела туда, оттягивая момент подтверждения своей правоты.

Его там не было. Ужасная волна захлестнула ее и потянула на дно. Она ощутила опустошающую безнадежность. Она не помнила, как добралась до алтаря. Никогда еще она не чувствовала такого крайнего, вселенского отчаяния. Эта абсолютная пустота в душе, это полное отсутствие чувств были для нее страшнее смерти.

Жениха и его шафера все еще не было. Снаружи росло недовольство.

Урсула чувствовала себя так, словно во всем была виновата она. Ей была невыносима мысль, что скоро придет невеста, а жениха еще не будет. Венчание не может расстроиться, просто не может!

Вот показалась украшенная лентами и кокардами карета невесты. Серые лошади весело прогарцевали через церковные ворота к отведенному им месту, своим движением воплощая радость. Вокруг сразу же столпились радостные и веселые люди. Дверца кареты распахнулась, чтобы выпустить виновницу торжества. Стоящие в толпе на дороге люди негромко переговаривались, и их голоса сливались в тревожный рокот.



Первым навстречу утренней свежести ступил похожий на тень мистер Крич – отец невесты – высокий, худой, изможденный мужчина с жидкой, подернутой сединой черной бородкой. Он терпеливо и покорно замер в ожидании возле дверцы.

В проеме показался каскад ажурной листвы и цветов, белая пена атласа и кружев, и веселый голосок произнес:

– А как я буду выходить?

По толпе зевак прокатился удовлетворенный гул. Они окружили карету, чтобы помочь ей выйти, с жадностью пожирая глазами склоненную белокурую головку, всю в цветочных бутонах, и нежную белую туфельку, нерешительно нащупывающую подножку кареты. Люди засуетились, атлас зашуршал, и снежно-белая невеста, словно пенная волна, набегающая на берег, выплыла к отцу под утреннюю сень деревьев, смеясь и приподнимая дыханьем вуаль.

– Вот так-то! – сказала она.

Она взяла под руку отца, который выглядел изнуренным и болезненным, и, шурша складками легкого платья, проследовала на пресловутую красную ковровую дорожку. Ее отец не произнес ни слова. Желтизна кожи и черная бородка еще более подчеркивали его изможденность. Он восходил по лестнице так скованно, словно жизнь уже покинула его; но легкая аура веселья, окружающая идущую рядом с ним невесту, нисколько от этого не померкла.

А жениха все не было! Это было невыносимо!

Урсула, сердце которой разрывалось от волнения, пристально вглядывалась в раскинувшиеся перед ней холмы, в белую, петляющую вниз по склону дорогу, на которой должна была показаться карета. И карета, в конце концов, появилась. Она неслась во весь опор. Она только что показалась там, вдали. Да, это он.

Урсула повернулась туда, где стояли невеста и гости, и, не покидая своего укрытия, выкрикнула что-то нечленораздельное. Ей хотелось сообщить им о прибытии жениха. Но ее невнятного возгласа никто не расслышал, и она густо покраснела, то ли от стыда за свое намерение, то ли от бросившего ее в дрожь волнения.

Карета прогрохотала внизу склона и была уже совсем близко. В толпе раздалась возгласы. Невеста, которая только что преодолела последние ступеньки, весело обернулась посмотреть на причину суматохи. Она увидела взволнованных людей, карабкающуюся уже вверх по склону карету и выпрыгнувшего из нее возлюбленного, который пронесся мимо лошадей и бросился в толпу.

– Тибс! Тибс! – в притворном волнении внезапно воскликнула она, залитая там, наверху, лучами солнца, и помахала ему букетом.

Он несся вперед, держа шляпу в руке, и не услышал ее.

– Тибс! – снова крикнула она, глядя на него сверху вниз.

Он инстинктивно поднял голову и увидел, что его невеста и ее отец уже стоят на верхней площадке лестницы. Странное, загадочное выражение появилось на его лице. На мгновение он замер в нерешительности, а затем весь подобрался для прыжка, намереваясь перехватить ее.

– А-а-а! – раздался ее притворно-испуганный крик, она инстинктивно остановилась, как вкопанная, затем развернулась и бросилась к церкви. Она бежала, неимоверно быстро перестукивая белыми туфельками и волоча за собой шлейф белого платья.

Молодой человек, точно гончая, кинулся вслед за ней, перепрыгивая через ступеньки и пролетев мимо отца невесты. Его мускулистые ноги двигались, словно у собаки, взявшей след дичи.

– Эй, догоняй ее! – закричала снизу какая-то простолюдинка, внезапно оказавшись во власти азарта.

Невеста, с которой пеной осыпались цветы, остановилась, переводя дух, и приготовилась завернуть за угол церкви. Она бросила взгляд через плечо и с громким возгласом, в котором смешались и смех и вызов, развернулась, подобралась и исчезла за серым каменным контрфорсом. В следующую секунду жених, все так же устремившись вперед всем телом, на

бегу ухватил рукой угол безмолвного каменного строения и рывком скрылся из виду. Последнее, что можно было увидеть, – как исчезают за углом его упругие, сильные бедра. Толпа у ворот тут же разразилась криками и восклицаниями. Внимание Урсулы вновь привлекла темная, слегка сутулая фигура старшего мистера Крича, терпеливо ожидавшего на лестнице и наблюдавшего за погоней без всяких эмоций. Когда все закончилось, он обернулся к стоящему позади него Руперту Биркину, который немедленно присоединился к нему.

– Мы вас догнали, – сказал Биркин с легкой улыбкой.

– Да, – лаконично отозвался отец невесты, и мужчины пошли вверх по лестнице.

Биркин, как и мистер Крич, не отличался полнотой, у него был бледный и нездоровый вид. В плечах он был неширок, но сложен хорошо. Он слегка шаркал одной ногой, но это проявлялось только тогда, когда он чувствовал себя неловко. Хотя он и оделся в соответствии с отведенной ему ролью, было видно, что внутренне он ей не соответствует, и из-за этого выглядел довольно странно. Он был умен, по природе своей оставался одиночкой и поэтому совершенно не вписывался в столь светское событие. Тем не менее, он сумел скрыть свою натуру, решив подчиниться общему замыслу.

Он притворялся совершенно обычным человеком, человеком в высшей степени заурядным. Ему удалось столь удачно подстроиться под настроение окружающих и так правдоподобно сыграть обычность, что на некоторое время люди несведущие были введены в заблуждение и не пытались высмеивать его несхожесть с другими, как это случалось всякий раз.

По дороге он разговаривал с мистером Кричем о вещах простых и приятных; он играл обстоятельствами, точно идущий по лезвию бритвы человек, в то же время делая вид, будто ему легко и приятно.

– Извините нас за опоздание, – говорил он. – Никак не могли найти крючок для обуви, поэтому очень уж долго застегивали ботинки. Но вы приехали вовремя.

– Мы обычно всегда приезжаем вовремя, – отозвался мистер Крич.

– А я всегда опаздываю, – продолжал Биркин. – Но сегодня я действительно хотел быть пунктуальным, этому помешала лишь нелепая случайность. Еще раз простите нас.

Мужчины удалились, и на некоторое время смотреть стало не на что. Урсуле ничего не оставалось, как только думать о Биркине. Он интриговал, привлекал и в то же время раздражал ее. Ей хотелось узнать о нем побольше. Она несколько раз говорила с ним, но тогда он находился при исполнении обязанностей школьного инспектора. Ей показалось, он тоже ощутил возникшее между ними некое родство душ, естественное, не требующее слов взаимопонимание, которое рождается, когда двое разговаривают на одном языке. Но на развитие этого взаимопонимания не было времени. К тому же что-то притягивало ее к нему и одновременно удерживало на расстоянии. Были в нем какая-то враждебность, скрытость, крайняя сдержанность, холодность и неприступность.

И все же она хотела узнать его ближе.

– Что ты можешь рассказать о Руперте Биркине? – поинтересовалась она у Гудрун, хотя ей и не хотелось обсуждать его.

– Что я могу рассказать о Руперте Биркине? – повторила за ней Гудрун. – Я считаю его привлекательным, определенно привлекательным. Только меня раздражает его отношение к людям – к любой дурочке он будет относиться так, словно она для него важнее всего на свете. Чувствуешь при этом, что тебя водят за нос.

– Почему он это делает? – спросила Урсула.

– Да потому, что он не умеет критично взглянуть на вещи – на людей, на события, – ответила Гудрун. – Говорю же, к любой дуре он будет относиться так же, как к тебе или ко мне, а это оскорбительно.

– Да уж, – согласилась Урсула. – Нужно же понимать разницу.

– Нужно, – отозвалась Гудрун. – Но в остальном он отличный мужик – великолепная личность. А вот доверять ему не стоит.

– Да-а... – неопределенно протянула Урсула. Она всегда старалась соглашаться с высказываниями Гудрун, даже если они не совпадали с ее собственным мнением. Сестры сидели молча, ожидая, когда свадебная процессия выйдет из церкви. Гудрун была рада, что разговор окончен. Ей хотелось определить свое отношение к Джеральду Кричу. Ей хотелось выяснить, на самом ли деле возникло то чувство, что захватило ее при его появлении. Она хотела подготовиться.

А в стенах церкви церемония венчания была в самом разгаре.

Гермиона Роддис думала только о Биркине. Он стоял рядом с ней, и ей казалось, что ее магнитом тянет к нему. Ей хотелось прижаться к нему – если она не касалась его, то ощущала, насколько он от нее далек. Однако всю церемонию она простояла одна.

Она так исстрадалась, когда не нашла его в церкви, что до сих пор пребывала в каком-то полусне. У нее сильно защемило сердце, и то, что Биркин стоял так отстраненно, разрывало его на части. Она стояла в ожидании, забывшись в мучительной нервной горячке.

Преодоливаемая печаль и порожденное страданием отсутствующее выражение на ее по-ангельски одухотворенном лице, придавали ее облику такую пронзительность, что сердце Биркина отозвалось жалостью. Он смотрел на ее склоненную голову, ее экзальтированное лицо – лицо человека, впавшего в демонический экстаз.

Почувствовав на себе его взгляд, Гермиона подняла голову и попыталась встретиться прекрасными серыми глазами с его глазами, подать ему многозначительный сигнал. Но он избегал ее взгляда, поэтому она, охваченная мучительным стыдом, опустила голову, и ее сердце защемило еще сильнее.

Ему тоже было стыдно, но к стыду примешивались острая неприязнь и бесконечная жалость, которые всколыхнули в его душе его собственное нежелание смотреть ей в глаза, нежелание признавать ее приветственный сигнал.

Жениха и невесту обвенчали, и гости вышли в ризницу.

Гермиона невольно придвинулась к Биркину и дотронулась до него. И он вытерпел ее прикосновение.

А снаружи Гудрун и Урсула слушали, как их отец играет на органе. Ему очень нравилось играть свадебный марш.

Вот показались новобрачные! Воздух сотрясся от звона колоколов. Урсула спрашивала себя, могут ли деревья и цветы чувствовать эту вибрацию и что они думают об этом странном колебании воздуха.

Невеста подчеркнуто серьезно держала жениха под руку, а он смотрел на небо, непроизвольно моргая, словно не понимал, где находится. Это помаргивание и попытка играть отведенную ему роль, в то время как его эмоции были выставлены на обозрение толпы, воспринимались немного смешно, но он выглядел как настоящий военно-морской офицер – очень мужественно и в соответствии со всеми требованиями его положения.

Биркин шел рядом с Гермионой. Ее лицо сияло триумфом, точно у восстановленного в своих правах падшего ангела, но было в нем одновременно и что-то демоническое, – ведь она держала Биркина под руку. А на его лице вообще не было никаких эмоций, она подавила его, овладела им, словно так и только так было ему предназначено.

Вышел Джеральд Крич, светловолосый и светложелтый, сияющий красотой, здоровьем и неисчерпаемым запасом энергии. Он был бодр и собран, но время от времени что-то странное прорывалось сквозь эту добродушную, едва ли не счастливую внешность.

Гудрун резко поднялась и пошла прочь. Это было выше ее сил. Ей хотелось побыть одной, понять природу этого необычного, острого нового ощущения, от которого ее кровь по-новому заструилась в жилах.

## Глава II

### Шортландс

Сестры Брангвен вместе с отцом отправились домой, а гости собрались в усадьбе Шортландс, где жили Кричи. Это был длинный старый дом с низкими потолками, что-то вроде старинного фермерского дома, возвышавшегося на вершине холма над вытянутым озером, Виллей-Вотер. Фасад здания выходил на спускающийся по склону холма луг, который вполне можно было бы назвать и парком, поскольку то тут, то там росли большие деревья. Из окон можно было любоваться и гладью узкого озера, и лесистым холмом, который удачно скрывал испещренную шахтами долину, хотя клубы дыма скрыть ему все же не удавалось, но, не смотря на это, вид был вполне пасторальный, живописный и необычайно умиротворяющий, а у дома было свое собственное очарование.

Сейчас в нем толпились родственники новобрачных и их гости. Отец семейства почувствовал себя плохо и удалился в свою комнату. Роль хозяина дома перешла к Джеральду. Он стоял в уютном холле и с легкостью и дружелюбием вел беседу с мужчинами. Казалось, выпавшая ему роль доставляла ему удовольствие – он расточал улыбки и был готов исполнить любое желание своих гостей.

Женщины немного скованно прохаживались по комнате, а троица замужних дам из семейства Крич время от времени преследовала то одну, то другую гостью. Постоянно слышались характерные своей повелительной интонацией возгласы той или иной урожденной Крич: «Хелен, подойди ко мне на минутку», «Марджери, ты мне здесь нужна», «Миссис Витем, вы знаете...». Шелестели платья, повсюду мелькали нарядные дамы, девочка протанцевала через холл и обратно, горничная торопливо вошла в комнату и почти сразу же вышла.

А в это время мужчины стояли по несколько человек, курили и пытались разговаривать, притворяясь, что им нет никакого дела до суетливой оживленности женского мирка. Но поговорить спокойно им никак не удавалось, потому что возбужденно-наигранный смех женщин и гомон их голосов, сливаясь, создавали ужасный шум. И мужчины смолкли, замерев в неловком, напряженном ожидании. Им было откровенно скучно. Джеральд же продолжал играть искреннего и счастливого хозяина дома, которого такое праздное ожидание совершенно не беспокоило и который сознавал себя центром события.

Внезапно в комнату неслышно вошла миссис Крич, окидывая собравшихся характерным для нее жестким взглядом. Она все еще была в шляпе и голубом шелковом пальто-сак.

– В чем дело, мама? – спросил Джеральд.

– Ничего, пустяки! – неопределенно ответила она и направилась прямо к Биркину, который в тот момент разговаривал с одним из ее зятьев.

– Как поживаете, мистер Биркин? – спросила она низким голосом, как будто больше никого в комнате не было. Она протянула ему руку.

– А, миссис Крич! – отозвался Биркин быстро изменившимся голосом. – Никак не мог выбраться к вам раньше.

– Я и половины из этих людей не знаю, – тихо продолжала она.

Ее зять смущенно отошел в сторону.

– Вам не нравятся незнакомцы? – рассмеялся Биркин. – Я и сам никак не могу понять, стоит ли общаться с людьми, которые только по чистой случайности оказались со мной в одной комнате, достойны ли они моего внимания?

– Действительно! – тихо и напряженно проговорила миссис Крич. – Только все же приходится учитывать, что они все время маячат перед глазами. Я незнакома с людьми, которых встречаю в собственном доме. Конечно, дети представляют мне их: «Мама, это господин Такой-то». И что дальше? Какая связь между господином Таким-то и его именем? И мне-то что прикажете делать с ним и с его именем?

Она подняла глаза на Биркина. Он был удивлен. Но ему льстило, что она подошла поговорить с ним – она мало кого достаивала своим вниманием. Он посмотрел на ее прозрачное напряженное лицо, на ее крупные черты, но встретиться взглядом с ее тяжело смотрящими голубыми глазами все же не решился. Вместо этого его внимание привлекли выбившиеся из прически волосы, неряшливыми прядями огибавшие довольно красивые, но не очень чистые уши. Да и шея у нее была не очень чистой. Казалось, даже в этом он скорее был похож на нее, а не на остальных гостей; хотя, подумалось ему, он-то всегда мылся тщательно, по крайней мере, уши и шея у него всегда были чистыми.

Эта мысль заставила его слегка улыбнуться. И в то же время при мысли, что он и пожилая, отрешенная от мира женщина поверяют друг другу свои мысли самым предательским образом, подобно двум сообщникам во вражеском стане, который составляли все остальные, ему становилось неловко. Он напоминал оленя, поворачивающего одно ухо назад, чтобы услышать, что делается сзади, а другое вперед, чтобы узнать, что ждет его впереди.

– В жизни к людям нельзя относиться серьезно.

Миссис Крич внезапно взглянула на него мрачно и вопрошающе, словно ставя под сомнение его искренность.

– Как это «нельзя относиться серьезно»?

– Большинство людей – пустышки, – ответил он, вынужденный раскрыть перед ней свои самые сокровенные мысли. – Они болтают ерунду и глупо хихикают. Было бы лучше, если бы они совсем исчезли с лица земли. По сути своей, они не существуют, их просто нет.

Она пристально наблюдала за тем, как он говорит.

– Но мы же их не придумали, – резко возразила она.

– Тут и придумывать нечего, поэтому-то они и не существуют.

– Ну, – сказала она, – так далеко я еще не зашла. Вон они там, и неважно, существуют они или нет. Не мне решать вопрос об их существовании. Я знаю одно – не стоит ожидать, что я буду на всех них обращать внимание. Не стоит ожидать, что я буду знакомиться со всеми только потому, что они пришли сюда. Мне кажется, что с тем же успехом они могли бы сюда и не приходить.

– Вот именно, – ответил он.

– Разве не так? – переспросила она.

– Именно так, – повторил он, и разговор на некоторое время прекратился.

– Только они все же пришли, это-то меня и раздражает, – сказала она. – Вон мой зять, – продолжала она свой монолог. – Теперь вот и Лора вышла замуж, значит, появился еще один. А я пока что не могу отличить их друг от друга. Они подходят ко мне и называют меня «матушкой». Я знаю, что они скажут: «Как вы, матушка?», – а мне при этом очень хочется им ответить: Никакая я вам не матушка». Но разве это что-нибудь изменит? Как они были здесь, так они и останутся. У меня есть свои дети. Уж их-то, думаю, я смогу отличить от детей других женщин.

– Надо полагать, – заметил он.

Она удивленно взглянула на него, словно забыв, что она с ним разговаривает. И внезапно потеряла нить разговора.

Она обвела комнату рассеянным взглядом. Биркин не мог понять, что именно она высматривает и о чем думает. Очевидно, она увидела своих сыновей.

– Все ли мои дети здесь? – резко спросила она собеседника.

Руперт рассмеялся удивленно и несколько испуганно:

– Я почти никого из них не знаю, разве только Джеральда, – ответил он.

– Джеральд! – воскликнула она. – Из всех он самый ненормальный. А посмотреть, так и не скажешь, не правда ли?

– Да, – согласился Биркин.

Миссис Крич посмотрела в сторону, где стоял ее старший сын, и какое-то время пристально изучала его.



– Ну-ну... – произнесла она, и было непонятно, что имелось в виду, но прозвучало это в высшей степени цинично. Биркин даже не решился предположить, что это могло значить. Миссис Крич уже унеслась мыслями прочь, совершенно забыв о нем. Но внезапно она вернулась к оставленному разговору.

– Мне хотелось бы, чтобы у него был друг, – сказала она. – У него никогда не было друга. Биркин посмотрел в ее голубые, пристально вглядывающиеся глаза. И не смог понять, что именно хотела она сказать этим взглядом.

«Разве я страж брату моему?» – без задней мысли спросил он себя.

Внезапно с легким изумлением он вспомнил, что это был крик Каина. А уж кем-кем, а Каином Джеральд был. Хотя с другой стороны, какой из него Каин, пусть даже он и убил своего брата. Существует такое явление, как чистая случайность, и последствия такой случайности не накладывают печати на человека, даже если в результате этой случайности человек стал братоубийцей. В детстве Джеральд случайно убил своего брата. И что из этого? Разве так уж необходимо выжигать клеймо и проклинать ту жизнь, что явилась причиной несчастного случая? Человек может обрести жизнь по чистой случайности и также по воле случая умереть. Или же не может? Правда ли, что жизнь человека зависит от чистой случайности, что только раса, род, вид имеют значение в этом мире? Или же это неправда, и в мире не существует случайностей? Неужели все происходящее имеет мировое значение? Возможно ли такое? Погрузившись в размышления, Биркин, казалось, прирос к полу и забыл о миссис Крич так же, как она забыла про него. Он не верил в существование случая. Все в мире было глубинным образом связано.

Едва он осознал эту мысль, как к ним подошла одна из дочерей семейства Кричей и заявила:

– Матушка, дорогая, может, вы снимете шляпу? Через минуту мы пойдем в столовую, а это же торжественное событие, дорогая, вы согласны?

Взяв мать под локоть, она увлекла ее за собой. Биркин тут же подошел к первому попавшемуся гостю и завел с ним беседу.

Прозвучал гонг, сообщая, что обед подан. Мужчины подняли головы, но никакого движения в сторону столовой не последовало. Хозяйкам дома, казалось, этот звук ничего не говорил.

Прошло пять минут. Кроутер, пожилой слуга, с недовольным видом появился в дверях. Он умоляюще посмотрел на Джеральда. Последний взял крупную изогнутую морскую раковину и, не обращая ни на кого внимания, с силой дунул в нее. Раздался оглушительный, странный, волнующий рев, тревожащий сердце. Результат был почти волшебным. Гости один за другим собрались в гостиной, а затем все вместе перешли в столовую.

Джеральд медлил, ожидая, что сестра захочет взять на себя роль хозяйки дома. Он знал, что мать игнорировала свои обязанности. Но сестра просто прошла к своему месту. Поэтому молодой человек направлял гостей к отведенным для них местам и наслаждался своей единоличной властью.

Пока гости разглядывали подаваемые закуски, воцарилось молчание. И среди этой тишины вдруг раздался полный спокойствия и самообладания голос, принадлежавший девушке лет тринадцати-четырнадцати со спускающимися до пояса волосами:

– Джеральд, ты устроил этот чудовищный шум и совершенно забыл про папу.

– Разве? – парировал он. И, обращаясь к гостям, произнес: – Отец прилег, ему нездоровится.

– Как он себя чувствует? – поинтересовалась одна из замужних сестер, выглядывая из-за возвышающегося в центре стола огромного свадебного торта, с которого постепенно осыпались искусственные цветы.

– Болей нет, но он очень сильно устал, – ответила Винифред, девушка со спускающимися до пояса волосами.

Вино было розлито по бокалам, и гости оживленно разговаривали. На дальнем конце стола сидела мать семейства с растрепавшейся прической. Рядом с ней сидел Биркин. Иногда она яростно вглядывалась в ряды лиц, наклоняясь вперед и бесцеремонно разглядывая гостей. Время от времени она тихо спрашивала Биркина:

– Кто этот молодой человек?

– Не знаю, – уклончиво отвечал Биркин.

– Я могла встречать его раньше? – спрашивала она.

– Не думаю. Я не встречал, – отвечал он.

Этого ей было достаточно. Она устало закрыла глаза, на ее лице появилось умиротворенное выражение, она была похожа на задремавшую королеву. Затем она очнулась, губы тронула легкая улыбка вежливости, и на минуту она, казалось, превратилась в радушную хозяйку дома. Она на мгновение изящно склонила голову, показывая, что рада своим добрым гостям. А затем мрачная тень вернулась, лицо вновь стало хищным и угрюмым, она смотрела исподлобья ненавидящим взглядом, точно загнанное в угол чудовище.

– Мама, – обратилась к ней Диана – миловидная девушка чуть постарше Винифред. – Можно выпить вина? Ну пожалуйста!

– Да, можешь немного выпить, – машинально ответила ее мать, совершенно не обращая внимание на суть просьбы.

Диана знаком приказала лакею наполнить ее бокал.

– Джеральд не должен мне запрещать, – спокойно сообщила она всем сидящим за столом.

– Хорошо, Ди, – любезно ответил ее брат.

Поднося бокал к губам, она вызывающе посмотрела на него.

В доме царил странный дух свободы, скорее даже анархии. Но это была не всеобщая вольница, а, вероятно, свобода наперекор власти. У Джеральда власть была, но она принадлежала ему только в силу его характера, а не из-за его положения. В его голосе слышались любезные и в то же время властные нотки, которые заставляли подчиняться тех, кто был младше его.

Гермиона разговаривала с женихом о проблемах национальной принадлежности.

– Нет, – рассуждала она, – мне кажется, что воззвание к патриотизму – это ошибочный шаг.

Такое впечатление, как будто один торговый дом старается превзойти другой.

– Ну, едва ли стоит так говорить! – воскликнул Джеральд, который страстно любил всякого рода дискуссии. – Вряд ли можно рассматривать расу как предмет торговли, а национальность, как мне кажется, это почти то же самое, что и раса. По-моему, именно так и должно быть.

В воздухе повисла пауза. Джеральд и Гермиона по странной воле случая в любом споре всегда находились по разные стороны баррикад, и, хотя и не уступали друг другу, но разговаривали как хорошие друзья.

– Вы действительно считаете, что раса и национальность – это одно и то же? – задумчиво и бесстрастно-нерешительно спросила она.

Биркин понял, что она хочет, чтобы он тоже вступил в беседу. И без промедления заговорил.

– Думаю, Джеральд прав: раса – это основополагающая структурная единица национальности, по крайней мере, в Европе это именно так, – сказал он.

Гермиона помедлила, давая этому утверждению возможность отложиться среди других. Затем она вновь заговорила, и ее голос зазвучал странно, как будто она пыталась дать окружающим понять, что только ее словам следует верить:

– Да, но разве при этом, взывая к патриотическим чувствам, мы взываем к расовому инстинкту? Может, это скорее воззвание к инстинкту собственничества, к инстинкту торгашества? Разве не этот смысл вкладываем мы в понятие «национальность»?

– Возможно, – произнес Биркин, чувствуя, насколько подобная дискуссия была не ко времени и не к месту в данной обстановке.

Но Джеральда уже охватила жажда отстоять свое мнение.

– Расу вполне можно рассматривать и с позиций коммерции, – сказал он. – На самом деле такой аспект совершенно необходим. Тут все как в семье. Ты обязан обеспечить своих домочадцев. А для этого приходится бороться с другими семьями, с другими нациями. Я не понимаю, почему так быть не должно.

Прежде чем продолжить, Гермиона вновь с холодным и надменным видом выдержала паузу.

– Да, мне кажется, ошибочно было бы провоцировать дух соперничества. Он порождает враждебные настроения. А враждебность со временем накапливается.

– Но нельзя же вообще уничтожить самое желание превзойти других! – воскликнул Джеральд. – Это одна из движущих сил производства и развития.

– Еще как можно, – певуче ответила Гермiona. – Я считаю, что его можно уничтожить без зазрения совести.

– Хочу сказать, – вклинился в разговор Биркин, – что я не питаю к духу соперничества ничего, кроме отвращения.

Гермiona ела хлеб – она медленно и насмешливо сжала кусочек зубами и, крепко вцепившись пальцами в оставшуюся часть, отдернула ее. А потом повернулась к Биркину.

– Да уж, ничего, кроме отвращения, – благодарно повторила она его слова, потому что знала его, как никто другой.

– Ничего, кроме омерзения, – повторил он.

– Да, – прошептала она, удовлетворенная и убежденная его словами.

– Но вы же не позволите одному человеку забрать имущество соседа, – продолжал настаивать Джеральд, – так почему же вы допускаете, что одна нация может забрать то, что принадлежит другой?

Гермiona что-то довольно долго шептала про себя, а потом с лаконичным безразличием произнесла вслух:

– Дело же не всегда в имуществе, не так ли? Не все ведь сводится к материальным ценностям. Джеральд разозлился, уловив в ее словах намек на вульгарный материализм.

– В большей или меньшей степени, – парировал он. – Если я стащу с головы прохожего шляпу, эта самая шляпа станет символом свободы того человека. Когда он ударит меня, чтобы забрать шляпу, он будет сражаться за свою свободу.

Гермiona почувствовала, что ее загнали в угол.

– Хорошо, – раздраженно произнесла она. – Но мне кажется, что спор, основанный на воображаемой ситуации, не приведет нас к истине. Никто ведь не собирается срывать шляпу с вашей головы.

– Только потому, что это запрещено законом, – ответил Джеральд.

– И не только поэтому, – вмешался Биркин. – В девяносто девяти случаях из ста моя шляпа просто никому не нужна.

– Все дело в том, как на это посмотреть, – не умолкал Джеральд.

– Или же все дело в шляпе, – рассмеялся жених.

– А если ему все же нужна моя шляпа, что на самом деле так оно и есть, – продолжал Биркин, – мне решать, что опечалит меня больше – потеря шляпы или потеря свободы, что я перестану быть человеком, который ничем не скован и которого ничто не волнует. Если мне придется начать драку, этого последнего я лишусь. Поэтому вопрос в том, что мне дороже – любезная моему сердцу свобода действия или же моя шляпа.

– Да, – протянула Гермiona, устремив на Биркина странный взгляд. – Да.

– И что, вы позволите стащить шляпу у вас с головы? – спросила Гермionу новобрачная.

Высокая, прямая женщина медленно, словно не понимая, где находится, обернулась на этот новый голос.

– Нет, – произнесла она низким холодным голосом, в котором, однако, слышалась скрытая усмешка. – Нет, я никому не позволю стащить со своей головы шляпу.

– И как же вы этому помешаете? – спросил Джеральд.

– Не знаю, – медленно выдавила Гермiona. – Скорее всего, я этого человека убью.

В ее голосе слышалась странная усмешка, ее жесты говорили, что она шутит, однако шутка эта была страшной и весьма убедительной.

– Естественно, – сказал Джеральд. – Теперь я понимаю, что хотел сказать Руперт. Для него весь вопрос в том, что важнее – шляпа или душевное спокойствие.

– Телесное спокойствие.

– Называйте, как угодно, – отвечал Джеральд. – Но как же вы собираетесь решать этот вопрос в рамках нации?

– Избавь меня Боже от этого, – рассмеялся Биркин.

– Ну а если бы вам все-таки пришлось?

– Разницы никакой. Если корона империи превратилась в ветхую шляпу, то воришка может смело ее забирать.

– А разве шляпа нации или расы может быть ветхой? – настаивал Джеральд.

– Думаю, что вполне может, – отвечал Биркин.

– А я не уверен, – настаивал Джеральд.

– Руперт, я не согласна, – вмешалась Гермиона.

– Ну и пожалуйста, – сказал Биркин.

– Я обеими руками за ветхую шляпу нации, – рассмеялся Джеральд.

– И будешь выглядеть в ней, как дурак, – воскликнула Диана, его дерзкая сестричка, которой не так давно минуло тринадцать.

– О, все эти ваши ветхие шляпы выше нашего понимания, – вскричала Лора Крич. – Завязывай, Джеральд. Сейчас время произносить тосты. Давайте говорить тосты! Тосты – берите, берите бокалы – ну же, кто будет говорить? Речь! Речь!

Биркин, еще во власти мыслей о смерти наций и рас, наблюдал, как его бокал наполняется шампанским. Пузырьки заискрились на стенках, слуга отошел, и, внезапно почувствовав жажду при виде освежающего вина, Биркин залпом опустошил бокал. Повисшая в воздухе напряженность возбуждала его. Ему стало очень неудобно за свой поступок.

«Нечаянно или намеренно я это сделал?» – задавался он вопросом. И в конце концов решил, что, если воспользоваться избитым выражением, сделал он это «нечаянно-преднамеренно». Он поискал взглядом лакея, нанятого по случаю торжества. Тот подошел, каждым движением выражая то холодное неодобрение, которое могут выказывать только слуги. Биркин понял, что ненавидит все эти торжественные речи, всех этих лакеев, собравшихся гостей и все человечество вместе взятое во всех его проявлениях. Он встал, чтобы произнести речь. Но отвращение не проходило.

Через некоторое время обед закончился. Кое-кто из мужчин вышел в сад. Там были газон и цветочные клумбы, а далее, где сад заканчивался, отгороженное железным забором, начиналось небольшое поле или, скорее, парк. Вид был очень живописный: под деревьями, вдоль берега обмелевшего озера, петляло шоссе. В лучах весеннего солнца искрилась вода, а на другом берегу фиолетовой дымкой темнел лес, начинавший новую жизнь. К забору подошли очаровательные джерсейские коровы, хрипло выдыхая воздух на людей через бархатные ноздри, надеясь, что кто-нибудь протянет им корочку хлеба.

Биркин облокотился на забор. Корова ткнулась в его ладонь горячим мокрым носом.

– Красивая скотинка, очень красивая, – сказал Маршалл, один из зятьев Кричей. – Дает самое что ни на есть превосходнейшее молоко.

– Да, – ответил Биркин.

– Ай да красавица, ай да красавица! – продолжал Маршалл таким странно-высоким фальцетом, что его собеседник внутренне скорчился от смеха.

– И кто же выиграл скачку, Луптон? – обратился он к жениху, пытаясь скрыть свой смех. Жених вынул сигару изо рта.

– Скачку? – переспросил он. На его губах появилась тонкая усмешка. Ему не хотелось обсуждать «забег» к церковным дверям. – Мы успели оба. Она, правда, дотронулась до дверей первой, но я ухватил ее за плечо.

– Что такое? – спросил Джеральд.

Биркин рассказал ему о «соревновании» между женихом и невестой.

– Гм! – неодобрительно хмыкнул Джеральд. – А из-за чего это вы опоздали?

- Луптон все рассуждал о бессмертии души, – сказал Биркин, – а потом у него не оказалось крючка для ботинок.
- Боже мой! – воскликнул Маршалл. – Разговоры о бессмертии души в день собственной свадьбы! Больше тебе нечем было занять голову?
- А чем тебе не нравится эта тема? – спросил, заливаясь румянцем, жених – гладко выбритый военно-морской офицер.
- Можно вообразить, что ты идешь на казнь, а не на свадьбу. Бессмертие души! – повторил зять с уничижительной интонацией.
- Но шутка оказалась неудачной.
- И к какому же выводу ты пришел? – поинтересовался Джеральд, почувствовав запах философской дискуссии.
- Душа тебе сегодня не нужна, мальчик мой, – сказал Маршалл. – Она будет тебе только мешать.
- Черт, Маршалл, иди поговори с кем-нибудь еще, – с внезапной нетерпимостью воскликнул Джеральд.
- Богом клянусь, так я и сделаю! – в сердцах вскричал Маршалл. – Слишком много разговоров о чертовой душе.
- Он обиженно удалился, Джеральд сердито смотрел ему вслед, и по мере того, как коренастая фигура мужчины становилась все меньше и меньше, он успокаивался и доброе расположение духа вновь возвращалось к нему.
- Знаешь что, Луптон, – внезапно обернулся к жениху Джеральд. – В отличие от Лотти, Лора не привела в семью дурака.
- Вот и тещь этим свое тщеславие, – рассмеялся Биркин.
- Я не обращаю внимания на таких людей, – также рассмеялся жених.
- А что с гонками – кто их затеял? – спросил Джеральд.
- Мы опоздали на церемонию. Лора уже была на верхних ступеньках лестницы, когда подъехал наш кэб. Она увидела, что Луптон мчится за ней по пятам. И рванулась вперед. Но почему ты такой сердитый? Неужели твое чувство семейной гордости уязвлено?
- Еще как, – сказал Джеральд. – Если ты что-то делаешь, делай это как следует, а если не собираешься делать как следует, лучше ничего не делай.
- Очень интересный афоризм, – сказал Биркин.
- А ты не согласен? – спросил Джеральд.
- Почему же, – ответил Биркин. – Только мне становится скучно, когда ты начинаешь сыпать афоризмами.
- Черт тебя подери, Руперт, ты ведь хочешь, чтобы прерогатива усыпать разговор афоризмами принадлежала тебе, – сказал Джеральд.
- Нет, я просто хочу, чтобы они не мешали разговору, а ты все сыплешь ими, как горохом. Джеральд мрачно улыбнулся его шутке. И слегка приподнял брови, словно сообщая, что тема закрыта.
- Как ты думаешь, руководствуются ли люди какими-нибудь стандартами поведения? – вызывающим тоном спросил он Биркина, пытаясь понять его.
- Стандартами? Нет. Я терпеть не могу стандарты. Хотя безликая чернь без них обойтись не может. Любой хоть что-то представляющий из себя человек может просто быть собой и делать все, что пожелает.
- И что же в твоём понимании «быть собой»? – спросил Джеральд. – Это афоризм или клише?
- Я просто говорю, что следует делать только то, что тебе хочется. Мне кажется, Лора показала нам прекрасный пример, метнувшись от Луптона к дверям церкви. Это был чистой воды шедевр. В нашем мире труднее всего действовать спонтанно, импульсивно – но так и только так должен поступать высоконравственный человек, если, конечно, ему позволяет физическая форма.
- Ты же не думаешь, что я буду всерьез принимать твои слова? – спросил Джеральд.



– Знаешь, Джеральд, ты один из немногих, от кого я ожидаю именно этого.

– Тогда, боюсь, я не смогу оправдать твои ожидания, – по крайней мере, в данный момент. Ты правда считаешь, что люди должны вести себя так, как им нравится?

– Я считаю, что все так и поступают. Просто мне хотелось бы, чтобы они приняли свою индивидуальность, которая заставляет их поступать так, как никто другой в этом мире поступать не сможет. Люди же получают удовольствие от того, что копируют остальных.

– А мне бы, – мрачно сказал Джеральд, – не хотелось бы жить в мире, населенном спонтанно ведущими себя людьми, говоря твоими словами, теми, кто ведет себя так, как никто более. Да они все в пять минут перережут друг другу глотки.

– Это значит только то, что тебе бы очень хотелось перерезать кому-то глотку, – сказал Биркин.

– С чего ты взял? – злорадно поинтересовался Джеральд.

– Ни один человек, – рассуждал Биркин, – не перережет глотку другому, если только у него нет подобного желания, и если другой человек не захочет, чтобы ее ему перерезали. Это сущая правда. Для убийства нужны два человека: убийца и жертва. Жертва – это тот, кого можно убить. А человек, которого можно убить, обычно испытывает глубокое, страстное, но всегда тайное желание быть убитым.

– Иногда ты несешь полную чушь, – сказал Джеральд Биркину. – На самом деле никому не хочется оказаться с перерезанной глоткой, но многие люди хотели бы перерезать ее нам – не сегодня, так завтра.

– Не самый приятный взгляд на мир, Джеральд, – сказал Биркин. – Неудивительно, что ты сам себя боишься и опасаясь оказаться неудачником.

– И в чем же проявляется моя боязнь собственной персоны? – спросил Джеральд. – К тому же, я не считаю, что я неудачник.

– По-моему, ты просто гредишь о том, чтобы тебе располосовали живот, и воображаешь, что из каждого рукава на тебя наставлен нож, – сказал Биркин.

– Почему ты так решил? – спросил Джеральд.

– Потому что вижу тебя перед собой, – ответил Биркин.

Между мужчинами воцарилось странное молчание, атмосфера враждебности, очень напоминающая любовь. Между ними всегда было так; во время разговоров между ними почти всегда возникала разрушительная связь, странная, опасная близость, которая представляла либо в облики ненависти, либо любви, либо того и другого одновременно. Они расстались, и по их лицам было видно, что на сердце у обоих было легко, словно их расставание стало лишь одним из многих рядовых событий. И они действительно относились к расставанию как к чему-то незначительному. На самом же деле, прикасаясь друг к другу, сердца обоих вспыхивали. Внутренне они страстно желали продолжать общение. Но они бы никогда в этом не признались. Они намеревались продолжать свои отношения на уровне обычной свободной и беззаботной дружбы, они не собирались вести себя неестественно и недостойно мужчины. Они не хотели даже думать о том, что между ними существует более горячая привязанность. Они не допускали ни малейшей мысли, что между мужчинами могут существовать сильные чувства, и это неверие не позволяло расцвести их дружелюбию, которое могло бы многое им дать, но ростки которого они так тщательно выкорчевывали.

### **Глава III**

#### **В классе**

Школьный день близился к концу. В классе тихо и мирно шел последний урок – основы ботаники. Парты были завалены увешанными сережками веточками лещины и ивы, которые ученики старательно зарисовывали. Ближе к полудню небо заволочло тучами: для рисования

света уже не хватало. Урсула стояла перед учениками и наводящими вопросами помогала им понять строение и назначение сережек.

Широкий, медного цвета луч солнца проник в выходящее на запад окно, заливая красным золотом детские головы и окрашивая в густой рубиновый цвет противоположную стену.

Однако Урсула этого не видела. Она была занята, день близился к концу, время бежало неторопливо, как убывающая во время отлива морская вода.

Прошедший день, как и многие другие, был наполнен монотонными занятиями. Под конец все несколько оживилось и торопливо заканчивали начатое. Она засыпала детей вопросами, которые помогли бы им усвоить все, что нужно было усвоить, до того момента, как раздастся удар гонга. Она стояла перед классом в тени, держа в руках ветки с сережками, наклонившись к детям и забывшись в пылу объяснения.

Урсула услышала, как щелкнул замок, но не придавала этому значения. Внезапно она резко выпрямилась. Рядом с ней в потоке багряно-медного света возникло мужское лицо. Оно пылало, как огонь, смотрело на нее, ожидало, когда она обратит на него внимание. Она очень испугалась. Ей показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Все ее скрытые, тайные страхи вырвались наружу и привели ее в трепет.

– Я вас напугал? – спросил Биркин, пожимая ей руку. – Мне показалось, вы услышали, как я вошел.

– Нет, – едва выдавила она.

Он рассмеялся и попросил прощения. Ей стало интересно, что же его так забавляло.

– Здесь слишком темно, – сказал он. – Давайте включим свет.

Он подошел к стене и повернул выключатель. Яркий электрический свет залил класс. Каждый предмет стал отчетливо виден, тонкая магия полумрака, наполнявшая комнату до его прихода, унесла с собой атмосферу романтики, и теперь это место казалось обыденным. Биркин заинтересованно взглянул на Урсулу. Ее зрачки расширились, в глазах читался вопрос, замешательство, уголки рта слегка подрагивали. Она выглядела так, словно только что очнулась от сна. Ее лицо излучало живую нежную красоту, похожую на нежный свет зари. Он взглянул на нее с неизвестным ему ранее удовольствием, чувствуя в сердце радость и непонятную легкомысленность.

– Сережки изучаете? – спросил он, беря с ближайшей парты ветку лещины. – Они уже совсем распустились! А я в этом году их еще не видел.

Он рассеянно смотрел на лежащий у него на ладони пушистый комочек.

– Красные тоже появились! – воскликнул он, увидев алые огоньки женских цветков.

Он пошел между рядами, заглядывая в тетради детей. Урсула наблюдала за его задумчиво-сосредоточенными движениями. В его походке чувствовалась сдержанность, и от нее у девушки замирало сердце. Казалось, молчание сковало ее, и ей оставалось только наблюдать, как он движется в другом, полном людей мире. Его было почти не видно и не слышно, словно он был бесплотным существом среди людей из плоти и крови.

Внезапно он поднял на нее глаза, и при звуке его голоса ее сердце учащенно забилося.

– Дайте-ка им цветные карандаши, – сказал он, – пусть они раскрасят женские цветки красным, а мужские желтым. Я бы закрасил их двумя цветами, а от других отказался бы – только красным и желтым. В данном случае контуры совершенно неважны. Детям нужно объяснить только один-единственный факт.

– Карандашей нет, – сказала Урсула.

– Они где-то должны быть – нужны только красные и желтые.

Урсула отправила мальчика на поиски.

– Тетради будут выглядеть неряшливо, – заливаясь румянцем, попыталась она сказать Биркину.

– Не так уж и неряшливо, – ответил он. – Вам следует заострять внимание на таких вещах.

Следует подчеркивать факт, а не субъективные ощущения. А каков факт? Маленькие красные заостренные рыльца женских цветков, танцующие желтые сережки мужского цветка, желтая

пыльца, перелетающая с одного на другой. Запечатлейте факт в рисунке, как делают дети, рисуя рожицу – пара глаз, нос, рот с зубами – вот...

И он нарисовал на доске фигуру.

В этот момент за стеклянной дверью возникла еще одна фигура. Это была Гермiona Роддис. Биркин подошел и открыл ей дверь.

– Я увидела вашу машину, – сказала она ему, – и решила поискать вас, вы не против? Хотелось посмотреть на вас при исполнении служебных обязанностей.

Она долго смотрела на него игривым, свидетельствующим о их близких отношениях взглядом и вдруг коротко рассмеялась. Только после этого она повернулась к Урсуле, которая, как и весь класс, наблюдала за сценкой между любовниками.

– Как поживаете, мисс Брангвен? – пропела Гермiona своим низким, загадочным, протяжным голосом, в котором слышались насмешливые нотки. – Не возражаете, что я зашла?

Все это время она не спускала с Урсулы сардонического взгляда серых глаз, пытаясь составить о ней представление.

– Вовсе нет, – ответила Урсула.

– Вы уверены? – совершенно хладнокровно, вызывая и с легкой издевкой повторила Гермiona.

– Нет, нет, я очень даже рада, – рассмеялась Урсула, чувствуя некоторое возбуждение и замешательство, так как Гермiona подошла к ней слишком близко, точно они были хорошо знакомы ранее (хотя как могли существовать между ними близкие отношения?), точно она пыталась подчинить Урсулу своей воле.

Гермiona получила нужный ей ответ. Она с удовлетворенным выражением повернулась к Биркину.

– Что вы изучаете? – допытывалась она обычным протяжным тоном.

– Сережки, – ответил он.

– Вот как, – сказала она. – И что вы про них узнали?

Все это время в ее голосе звучала насмешка, как будто все происходящее было для нее лишь игрой. Она взяла ветку с сережками – интерес Биркина к ним заинтриговал ее.

Среди школьных парт она смотрелась более чем странно – необычная фигура в широком старом плаще из зеленоватой ткани, затканной рельефным узором цвета старого золота.

Высокий воротник был из какого-то темного меха, из него же была и подкладка плаща. Из-под плаща выглядывало отороченное мехом платье из тонкой ткани цвета лаванды, на голове красовалась облегающая шляпка из той же тусклой зеленовато-золотистой рельефной материи, тоже отделанная мехом. Эта высокая и непривычная обычному глазу фигура, казалось, сошла с какой-то причудливой картины кисти современного живописца.

– Знаете ли вы, для чего нужны красные овальные цветки, из которых вырастают орехи? Вы когда-нибудь обращали на них внимание? – спросил Руперт. Он подошел ближе и показал ей их на той ветке, что была у нее в руке.

– Нет, – ответила она. – А зачем они нужны?

– Эти цветки производят плоды, а длинные сережки оплодотворяют их своей пылью.

– Неужели, неужели?! – пристально вглядываясь в них, повторяла Гермiona.

– Эти красные комочки рожают плоды, но только если длинные сережки отдадут им свою пыльцу.

– Красные огоньки, красные язычки пламени, – шептала Гермiona.

На какое-то время весь мир перестал для нее существовать, кроме этих крошечных почек, из которых высывались красные пятнышки рылец.

– Как они красивы! Мне кажется, они просто прекрасны, – сказала она, подходя вплотную к Биркину и указывая на красные ворсинки длинным белым пальцем.

– Вы когда-нибудь замечали их раньше? – спросил он.

– Нет, никогда, – ответила она.

– А теперь вы просто не сможете пройти мимо них, – ответил он.

– Теперь они всегда будут у меня перед глазами, – повторила она. – Спасибо вам за то, что показали мне их. Мне кажется, они такие красивые – красные огоньки...

Она впала в странное забытие, в непонятный экстаз. Биркин и Урсула застыли в ожидании. Маленькие красные женские цветки вызвали в ней необъяснимый, мистически-экстатический интерес.

Урок закончился, тетради были убраны, и ученики наконец отправились по домам. А Гермiona все сидела, облокотившись за столом, опираясь на руку подбородком и устремив вверх свое длинное бледное лицо, ни на что не обращая внимания. Биркин подошел к окну и выглянул из залитой ярким светом комнаты на серую, бесцветную улицу, где беззвучно капал дождь.

Урсула сложила свои вещи в ящик комода.

Через некоторое время Гермiona поднялась и подошла к ней.

– Так ваша сестра вернулась домой? – спросила она.

– Да, – подтвердила Урсула.

– Она была рада вернуться в Бельдовер?

– Нет, – ответила Урсула.

– Да, неудивительно, что ей здесь не нравится. Когда я сюда приезжаю, мне приходится собирать все свое мужество, чтобы не поддаться уродству этой местности. Не зайдете как-нибудь ко мне в гости? Или приезжайте вместе с сестрой в Бредолби на несколько дней. Я была бы рада.

– Большое спасибо, – поблагодарила ее Урсула.

– Тогда я вам напишу, – сказала Гермiona. – Как вы думаете, ваша сестра приедет? Я была бы рада. Я считаю ее чудесной художницей. По-моему, некоторые ее работы действительно великолепны. У меня есть две ее раскрашенные деревянные трясогузки. Вы видели их?

– Нет, – сказала Урсула.

– Думаю, они действительно великолепны – настоящий всплеск чувств.

– Ее резные фигурки действительно необычны, – признала Урсула.

– Они просто прекрасны – в них столько первобытной страсти...

– Ну не странно ли, что ей всегда нравится все небольшое? Ей почему-то всегда нужно вырезать мелкие вещицы, чтобы их можно было сжать в руках, – птичек и маленьких зверьков. Ей нравится смотреть на все через обратную сторону театрального бинокля, видеть мир именно под таким углом. Не знаете, почему?

Гермiona окинула Урсулу пристальным, отстраненным, изучающим взглядом, взволновав ту до глубины души.

– Да, – помедлив, сказала Гермiona. – Забавно. Мелкие вещи кажутся ей более утонченными...

– Но ведь это не так! В мыши столько же утонченности, сколько и во льве, разве не так?

Гермiona вновь пристально, изучающе разглядывала Урсулу, словно проверяя свои предположения, и не обращая на сказанное внимания.

– Не знаю, – ответила она и мягко пропела: – Руперт, Руперт, – подзывая мужчину.

Он молча приблизился к ней.

– Разве мелкие предметы более утонченные, чем большие? – со странной усмешкой в голосе спросила она, словно желая поиздеваться над ним.

– Понятия не имею, – ответил он.

– Я терпеть не могу всю эту утонченность, – сказала Урсула.

Гермiona медленно перевела на нее взгляд.

– Правда?

– Мне всегда казалось, что утонченность свидетельствует о слабости, – сказала Урсула, приготовившись отстаивать свою точку зрения.

Гермiona не ответила. Внезапно она нахмурилась, ее лоб прорезали задумчивые складки, было видно, что она всеми силами пыталась подобрать нужные слова для выражения своей мысли.

– Руперт, ты правда считаешь, – начала она так, словно Урсулы не было рядом, – ты правда думаешь, что стоит так поступать? Ты правда считаешь, что в интересах детей стоит разбудить их сознание?

Его лицо покрылось густым румянцем, который выдал царившую внутри бурю чувств. Потом он побледнел, щеки ввалились, он стал похож на духа из преисподней. А эта женщина своим серьезным, надрывающим совесть вопросом терзала самые сокровенные уголки его души.

– Никто не собирается пробуждать в них сознание, – сказал он. – Хочешь-не хочешь, сознание проснется в них и без нашей помощи.

– Но разве не стоит ускорить этот процесс, дать ему толчок? Может, им лучше не знать про сережки, может, будет лучше, если они увидят всю картину в целом, а не станут растаскивать ее на составляющие?

– А чтобы ты сама предпочла – знать или не знать о существовании красных цветков, которые распускаются в поисках пыльцы? – хрипло спросил он. Его голос звучал грубо, презрительно и даже жестоко.

Гермиона думала о своем, все также обратив лицо кверху. Он раздраженно ждал ее ответа.

– Я не знаю, – нерешительно ответила она. – Не знаю.

– Знание для тебя – это все, в этом вся твоя жизнь, – выпалил он.

Она медленно перевела на него взгляд.

– Неужели? – произнесла она.

– Тебе все нужно понимать, ты без этого жить не можешь – тебе только это и нужно, только это знание! – воскликнул он. – Для тебя существует только одно дерево, ты можешь питаться только одним-единственным фруктом.

Она опять замолчала.

– Вот как? – наконец, с тем же неизменным спокойствием произнесла она, а затем поинтересовалась капризно-вопросительным тоном: – Что же это за фрукт, Руперт?

– Да твое пресловутое яблоко, – раздраженно ответил он, ненавидя себя за иносказания.

– Ты прав, – сказала она.

Все в ее облике кричало о том, что у нее больше не осталось сил спорить с ним. Несколько секунд все молчали. Затем, судорожным усилием собравшись с силами, Гермиона как ни в чем не бывало мелодично продолжила:

– Руперт, но если забыть обо мне, как, по-твоему, принесет ли это знание детям пользу, обогатит ли оно их, станут ли они от этого счастливее? Как ты считаешь, такое возможно? Или же лучше не трогать их и оставить им их непосредственность? Может, пусть лучше они останутся животными, примитивными животными, которые не будут ничего знать, будут невежественными, которые не будут копать в себе, а сумеют пользоваться моментом?

Они решили, что на этом ее речь окончена. Но в ее горле что-то заклокотало, и она продолжила:

– Может, пусть лучше они будут кем угодно вместо того, чтобы вырасти искалеченными, с изуродованными душами и чувствами, отброшенными назад в развитии, не имеющими возможности, – Гермиона, словно в трансе, сжала кисти в кулаки, – поддаться секунднему настроению, а всегда делать все сознательно, всегда ощущать на своих плечах бремя выбора, никогда не позволять себе потерять голову.

Они опять решили, что она закончила. Но только он собрался с ответом, она возобновила свою странную тираду:

– Никогда не терять голову, не выходить из себя, все время контролировать себя, все время смущаться, все время помнить, кто ты есть. Все что угодно, только не это! Лучше быть животным, простым лишенным разума животным, чем это, чем эта пустота!

– Ты думаешь, что именно сознание мешает нам жить и заставляет испытывать неловкость? – раздраженно спросил он.

Она открыла глаза и медленно подняла на него взгляд.

– Да, – ответила она.



Она помедлила, смотря на него все это время отсутствующим взглядом. Затем устало провела ладонью по лбу.

Это наполнило его горечью и раздражением.

– Все дело в разуме, – сказала она. – Разум – это смерть.

Она пристально посмотрела на него.

– Разум, – сказала она, судорожно вздрогнув всем телом, – разум – это наша смерть, не так ли?

Разве не он разрушает непосредственность, наши инстинкты? Разве современные молодые люди не умирают прежде, чем им выпадает шанс жить?

– Дело не в том, что они знают слишком много, наоборот, они знают слишком мало, – грубо ответил он.

– Ты уверен? – воскликнула она. – А я считаю, что все как раз наоборот. Им известно слишком много, и это знание подминает их под себя своей тяжестью.

– Их сковывает ограниченный, ложный набор принципов, – возразил он.

Она не обратила внимания на его слова и продолжала свой экстатический допрос.

– Разве когда мы приобретаем знания, оно не лишает нас всего остального?! – горячо воскликнула она. – Если мне все известно про цветок, разве не теряю я сам цветок и не заменяю его знаниями? Мы заменяем что-то реально существующее на призрак, мы продаем жизнь в обмен на мертвый груз знаний, не так ли? В конце концов, что мне в этом знании? Что значит оно для меня? Ничего.

– Ты просто бросаешься словами, – вмешался Биркин. – Знание для тебя все. Взять хотя бы твою страсть к животным проявлениям, даже их ты должна пропустить через голову. Ты не желаешь становиться животным, тебе нужно наблюдать свои животные порывы и получать от этого интеллектуальное удовольствие. Твои чувства вторичны и это намного аморальнее самого закоснелого интеллектуализма. Что есть эта твоя любовь к страсти и животным инстинктам, как не самое отвратительное и самое крайнее проявление интеллектуализма? Страсть и инстинкты – да, тебе очень хочется их познать, но только пропустив через голову, через разум. Ты все держишь в голове, под этим черепом. Только не узнать тебе, что это такое на самом деле: тебе хватит и обмана, который вполне будет соответствовать остальным твоим декорациям.

Гермиона приготовилась отбить его атаку жесткими и ядовитыми фразами.

Изумление и стыд пригвоздили Урсулу к месту. Ей было страшно видеть, что два человека могут так ненавидеть друг друга.

– Все как в той балладе про «Даму с острова Шалот»<sup>1</sup>, – твердо, но без эмоций сказал он. Казалось, он обвинял ее перед невидимыми судьями. – Только зеркалом тебе служит твоя непреклонная воля, твое непоколебимое знание, ограниченный мирок твоего сознания, – помимо этого для тебя ничего не существует. Тебе необходимо разглядывать себя в этом зеркале. И вот ты увидела все, что хотела увидеть, теперь ты хочешь вернуться назад и стать дикаркой, потерявшей разум. Тебе нужна жизнь, полная откровенных ощущений и «страсти». Последнее слово он произнес с издевкой. Он не вставал с места, его била гневная дрожь, он был оскорблен в своих лучших чувствах; он не мог вымолвить ни слова, подобно впавшей в экстаз пифии дельфийского оракула.

– Но страсть твоя лжива, – яростно продолжал он. – Это даже и не страсть, это опять твоя воля. Твоя чертова воля. Ты хватаешь и подчиняешь себе все вокруг, тебе жизненно необходимо иметь все в своей власти. А почему? Потому что в реальной жизни тебе не на что опереться, твоя жизнь ни на чем не основана. Чувственность тебе не ведома. У тебя есть только твоя воля, высокое самомнение, порожденное твоим сознанием, твоя нездоровая жажда власти, жажда объять все разумом.

---

<sup>1</sup> «Дама с острова Шалот» – поэма Альфреда Теннисона, в которой девушке суждено пасть жертвой проклятия, если она посмотрит в сторону Камелота. Девушка умирает, случайно увидев в зеркале отражение рыцаря Ланселота, едущего в Камелот.

Он взглянул на нее не то с ненавистью, не то с презрением, и в то же время его мучило сознание того, что он причиняет ей боль, что заставляет ее страдать, что является причиной ее страданий. Он и сам был себе противен. В какой-то момент ему захотелось пасть на колени и молить о прощении. Но в его душе бушевала буря, в которую превратилась застилающая красной пеленой глаза волна горечи и гнева. Он забыл про нее, сейчас все его существо воплотилось в страстно говорящий голос.

– Спонтанность! – восклицал он. – Ты и спонтанность! Ты, самое расчетливое существо из всех, что земля когда-либо носила на себе! Да ты намеренно будешь вести себя спонтанно – в этом вся ты. Ты стремишься подчинить все своей воле, ты нарочно заставляешь всех вокруг добровольно подчиняться твоей инициативе. Ты мечтаешь вобрать все в свою чертову голову, которую следовало бы раздавить, как орех. Ты станешь другой только тогда, когда тебя как улитку вынут из панциря. Если размозжить твою голову, то, возможно, из тебя и получится импульсивная, страстная женщина, которая умеет чувствовать по-настоящему. А нужна-то тебе порнография, тебе нужно созерцать свое отражение, рассматривать в зеркале свои обнаженно-животные порывы, тебе нужно познавать это разумом, превращать в образ.

В воздухе сгустилась тревожная атмосфера, словно было сказано такое, чего простить никак было нельзя. Но Урсулу волновало теперь только то, как найти ответы на свои вопросы, которые появились у нее после его слов. Она побледнела и мыслями унеслась куда-то далеко.

– Вам правда нужны настоящие чувства? – смущенно спросила она.

Биркин взглянул на нее и сосредоточенно произнес:

– Да, на данный момент ничего другого мне не нужно. Чувственность – это великое потаенное знание, которое не поддается разумному познанию, это темное, неподвластное нашей воле явление, оно позволяет нам понять себя. Оно убивает нас прежних и одновременно возрождает в другом качестве.

– Но как? Разве познавать можно не только разумом? – спросила она, совершенно запутавшись в его умозаключениях.

– Знание бывает у человека в крови, – ответил он. – Когда разум и изведанный им мир тонут во мраке, все должно исчезнуть – потоп должен увлечь вас за собой. Тогда вы превратитесь в пульсирующий мрак, в демона...

– Почему именно в демона? – спросила она.

– «Женщина, рыдающая о демоне...»<sup>2</sup> – процитировал он. – Почему – я не знаю.

Гермиона заставила себя прекратить то, что было для нее хуже смерти, – пренебрежение с его стороны.

– Вам не кажется, что он чересчур увлекается всякими сатанистскими идейками? –

обернувшись к Урсуле, протянула она своим своеобразным звучным голосом, увенчав фразу резким и коротким смешком, в котором слышалась откровенная издевка.

Женщины насмешливо смотрели на него, и их колкие взгляды превращали его в пустое место.

Гермиона рассмеялась резким, торжествующим смехом, глумясь над ним, как будто он был самым последним ничтожеством.

– Нет, – сказал он. – Настоящий дьявол, готовый задушить любое проявление жизни, – это как раз вы.

Гермиона долго и пристально изучала его сердитым и надменным взглядом.

– Вам ведь все про это известно, не так ли? – спросила она с холодной саркастической усмешкой.

– Мне известно достаточно, – ответил он, и его лицо стало жестким и бесчувственным, как сталь.

---

<sup>2</sup> «Женщина, рыдающая о демоне...» – строка из поэмы Сэмюэля Кольриджа «Кубла-Хан».

На Гермину нахлынуло ужасное отчаяние, и в то же время она почувствовала, как с нее спали оковы, она наконец ощутила себя свободной. Она любезно повернулась к Урсуле, точно они были знакомы очень давно.

– Вы правда приедете в Бредолби? – с настойчивостью спросила она.

– Да, мне бы этого очень хотелось, – ответила Урсула.

Гермина благодарно посмотрела на нее, думая при этом о чем-то своем и уносясь мыслями куда-то далеко, точно ее что-то тревожило и словно она не осознавала, где находится.

– Я так рада, – произнесла она, приходя в себя. – Скажем, недели примерно через две. Хорошо? Я напишу вам сюда, на адрес школы. Да? И вы обязательно приедете? Буду очень рада.

Прощайте. Всего хорошего.

Гермина протянула руку и взглянула Урсуле в глаза. Она мгновенно угадала в этой девушке соперницу, но это странным образом воодушевило ее. Она повернулась, чтобы уйти, поскольку всегда чувствовала себя сильнее и выше других, если уходила, оставляя их позади. К тому же она уводила с собой мужчину, уводила с собой, несмотря на то, что он ее ненавидел.

Биркин неподвижно стоял в стороне, думая о чем-то своем. Когда пришла его очередь прощаться, он вновь заговорил.

– Существует огромная разница, – сказал он, – между настоящим чувственным существованием и порочным распутством разума и воли, которым и занимается в настоящее время род человеческий. По вечерам мы включаем электричество, рассматриваем себя, мы впитываем картинку своим разумом. Для того, чтобы понять, что же такое чувственная реальность, нужно отключиться, погрузиться в неизвестное и забыть обо всех желаниях. Это одно из необходимых условий. Для того, чтобы начать жить, придется сначала научиться отказываться от жизни. Но нас же раздражает тщеславие – вот в чем беда. Мы полны тщеславия и начисто лишены гордости. У нас нет гордости, зато тщеславны мы до невозможности, тщеславие – это опора наших пустотелых мирков. Мы скорее умрем, но не откажемся от нашего самодовольства, нашей самонадеянности, нашего своеволия.

В комнате воцарилась тишина. Обе женщины были возмущены и обижены. Слова Биркина звучали как публичное обличение. Напряженная поза Гермину свидетельствовала, насколько он ей неприятен, поэтому она откровенно игнорировала его речь.

Урсула исподтишка наблюдала за ним и не могла понять, кого же она видит перед собой. Он был довольно привлекательной наружности – из-под его худобы и мертвенной бледности проступала интересная, скрытая от посторонних глаз красота; но другой голос рассказывал о нем совершенно иную историю. Величественная красота жизни сквозила в изгибе его бровей и подбородка, в его красивых, тонких, изящных чертах. Урсула не могла понять, где находится источник этой красоты. Но этот человек вызывал у нее ощущение красоты и свободы.

– Но у нас ведь достаточно чувственности, нам не нужно насильно искать ее в себе? – она повернулась к нему и вызывающе посмотрела на него зелеными глазами, в глубине которых мерцали золотые искорки смеха.

В ту же секунду верхняя часть его лица засветилась необычной, беззаботной и невероятно притягательной улыбкой, хотя губы так и остались плотно сжатыми.

– Далеко не достаточно, – сказал он. – Мы слишком увлечены собственными персонами.

– Но дело ведь не в тщеславии! – воскликнула она.

– Только в нем и ни в чем больше.

Она была совершенно обескуражена.

– А вам не кажется, что людям больше всего нравится любоваться собственными чувствами?

– Вот поэтому они воспринимают мир не чувствами, а похотью, а это уже совсем другое дело.

Они ни на минуту не забывают, кто они такие, тщеславие так сильно укоренилось в них; вместо того, чтобы раскрепоститься и жить в другом мире, вращаться вокруг другой оси, они...

– Дорогая, вам уже давно пора пить чай, – вмешалась Гермина, с любезной благожелательностью поворачиваясь к Урсуле. – Вы ведь весь день работали.

Биркин умолк на полуслове.

Раздражение и досада раскаленной иглой пронзили Урсулу.

Его лицо окаменело. Он попрощался так, словно она перестала для него существовать.

Они ушли.

Урсула еще несколько мгновений смотрела на дверь. Затем подошла к выключателю и, выключив свет, снедаемая мыслями и совершенно потерянная, упала в кресло.

Из глаз ее полились горькие слезы, она разрыдалась; но были ли это слезы радости или печали, не знала даже она сама.

## Глава IV

### Пловец

Пролетела неделя. В субботу было пасмурно, и теплый моросящий дождь то шел, то прекращался. В один из таких перерывов Гудрун и Урсула решили прогуляться до Виллей-Грин. Небо было затянуто тучами, но временами становилось ясно, на молодых зеленых ветках сидели птицы, громко щебеча свои песни, все живое на земле пробуждалось и торопливо пускалось в рост. Девушки шли быстро и весело, а вокруг них в мокрой утренней дымке слышалась мягкая, еле уловимая суэта просыпающейся природы. У дороги стоял терновник, усыпанный, словно пеной, мокрыми белыми цветками, а между ними крошечными огоньками горели янтарные капельки. Багряные ветки матово темнели в сером утреннем свете, от высоких живых изгородей, нависших над дорогой, казалось, исходило призрачное сияние – они пробуждались ото сна. Утро было наполнено новой жизнью.

Когда сестры подошли к Виллей-Вотер, их взгляду открылось серое призрачное озеро, сливавшееся вдаль с мокрой, почти прозрачной пеленой деревьев и лугов. Еле ощутимые звуковые вибрации раздавались из придорожных зарослей, птицы пытались пересвистать друг друга, вытекающая из озера вода волшебным журчала.

Девушки быстрым шагом продолжали свой путь. Там, где озеро поворачивало, возле самой дороги, под ореховым деревом они натолкнулись на поросший мхом лодочный сарай с небольшой пристанью и зачальной возле подгнивших зеленых столбов лодкой, которая, словно тень, покачивалась на неподвижной серой воде. Все вокруг тихо шептало о наступлении лета.

Неожиданно из лодочного сарая выбежала белая фигура и быстро, в несколько прыжков, пересекла старый пирс, сильно испугав девушек. Выгнувшись в белую дугу, она стрелой прорезала воздух, послышался сильный всплеск, и над водой среди гладких кругов, в центре слегка волнующихся волн показалась голова пловца. В его распоряжении был весь водный мир, такой обволакивающий и такой недоступный. Он имел возможность погрузиться в чистый, прозрачный первозданный поток.

Гудрун стояла возле каменной стенки и не сводила с него глаз.

– Как же я ему завидую! – сказала она низким, полным страсти голосом.

– Уф! – поежилась Урсула. – Там так холодно!

– Верно, но все равно плавать там так здорово, так чудесно!

Сестры смотрели, как пловец уплывал все дальше и дальше, под дымчатую сень сцепившихся кронами деревьев, рассекая серую, влажную, тяжелую водную гладь мелкими гребками.

– Тебе хотелось бы оказаться на его месте? – спросила Гудрун, взглянув на Урсулу.

– Да, – ответила та. – Хотя не знаю – там так мокро!

– Вовсе нет, – рассеянно сказала Гудрун. Она зачарованно смотрела на движение разбегавшихся волн.

Проплыв достаточно большое расстояние, мужчина повернул обратно, теперь уже на спине, и, не поднимая головы от воды, разглядывал стоящих у стенки девушек. Они видели, как

поднимается и опускается на легких волнах его раскрасневшееся лицо, и ощущали на себе его пристальный взгляд.

– Это же Джеральд Крич, – воскликнула Урсула.

– Я вижу, – ответила Гудрун.

Она, не двигаясь, вглядывалась в воду и в лицо, которое пока мужчина плыл вперед, то поднималось над гладью озера, то погружалось в нее. Он смотрел на них из другой стихии и сознание его превосходства над ними, возможности единолично владеть целым миром наполняло его душу ликованием. Он был неуязвимым и безупречным. Ему нравились эти энергичные, разрывающие водную гладь движения, и острое ощущение обволакивающей ноги холодной воды, которая только еще сильнее бодрила его. Он видел, что в отдалении, с берега за ним наблюдают девушки, и это ему нравилось. Он поднял руку над водой, приветствуя их.

– Он машет рукой, – сказала Урсула.

– Вижу, – ответила Гудрун.

Они наблюдали за ним. Он вновь сделал рукой приветственный жест, не подплывая, однако, ближе.

– Он похож на нибелунга, – рассмеялась Урсула. Гудрун промолчала и все так же не сводила глаз с водной глади.

Внезапно Джеральд развернулся и быстро поплыл в противоположном направлении, на этот раз на боку. Теперь он был на середине озера, он был одинок и неуязвим, это озеро принадлежало только ему. Он радовался, что в объятиях этой дотоле неведомой ему стихии не было никого, кроме него, что никто не задавал ему вопросов и не требовал соблюдать условности. Рассекая воду ногами и телом, он чувствовал себя счастливым – его ничто не сковывало, ничто не связывало, в этом водном мире он был самым собой.

Гудрун страшно завидовала ему. Ее настолько раздирало желание хотя бы на мгновение оказаться в полном одиночестве в этой водной стихии, что здесь, на дороге, она ощутила себя отлученной от рая.

– Боже, как же чудесно быть мужчиной! – воскликнула она.

– Что-что? – удивленно переспросила Урсула.

– Ты свободен, независим, можешь идти, куда только пожелаешь! – заливаясь румянцем, с горящими глазами взволнованно продолжала Гудрун. – Если ты мужчина и хочешь что-нибудь сделать, то ты это делаешь. Только перед женщиной сразу же возникает тысяча и одно препятствие.

Урсула спрашивала себя, что занимало мысли Гудрун, что могло породить такой всплеск эмоций. Ей никак не удавалось понять сестру.

– Что ты задумала? – спросила она.

– Ничего, – торопливо, точно оправдываясь, сказала Гудрун. – Но только представь себе: предположим, мне захотелось поплавать там, в озере. Это же невозможно, в нашей жизни такое невозможно, я не могу прямо сейчас сбросить одежду и прыгнуть в воду. Но это же смешно, из-за этого мы не можем ощутить всей прелести жизни.

Она так разгорячилась, так покраснела, так разошлась, что Урсула совсем смутилась.

Сестры пошли дальше, вверх по дороге. Их путь лежал между деревьями, а чуть выше раскинулась усадьба Шортландс. Они окинули взглядом длинный приземистый дом, перед которым кедровые деревья склоняли свои кроны, а дымка дождливого утра подчеркивала благородство его линий.

Гудрун не сводила с него взгляда.

– Он такой красивый, Урсула, правда? – спросила Гудрун.

– Очень, – ответила Урсула. – В нем столько покоя и очарования...

– У него к тому же есть форма – он часть эпохи.

– Какой эпохи?



– По-моему, восемнадцатого века, века Дороти Вордсворт<sup>3</sup> и Джейн Остен<sup>4</sup>, разве я не права? Урсула рассмеялась.

– Я не права? – повторила Гудрун.

– Возможно. Но, по-моему, Кричи не вписываются в эту эпоху. Насколько мне известно, Джеральд строит небольшую электростанцию, чтобы освещать дом, и к тому же применяет на практике последние достижения прогресса.

Гудрун передернула плечами.

– Разумеется, – сказала она. – Но это ведь неизбежно.

– Действительно, – рассмеялась Урсула. – В нем одном столько энергии, сколько хватило бы на несколько поколений. Его все за это терпеть не могут. Он же берет своих недругов за горло и отшвыривает их в сторону. Как только он усовершенствует все, что только можно, и когда больше нечего будет усовершенствовать, ему не останется ничего кроме как умереть. Но, по крайней мере, рвения ему не занимать.

– Пожалуй, – согласилась Гудрун. – Мне еще не доводилось видеть человека, в котором энергия так сильно была бы через край. Но я, к сожалению, не знаю, куда ее можно направить, на что он ее будет тратить?

– А я знаю, – сказала Урсула. – Он потратит ее на внедрение новейших достижений прогресса!

– Точно, – ответила Гудрун.

– Тебе известно, что он застрелил своего брата? – спросила Урсула.

– Застрелил брата? – воскликнула Гудрун, неодобрительно хмурясь.

– А ты не знала? Это правда. Мне казалось, что ты знаешь. Они с братом забавлялись с ружьем. Он попросил брата заглянуть в дуло, а ружье было заряжено, и мальчику снесло полголовы. Ужасная история, правда?

– Какой ужас! – воскликнула Гудрун. – И давно это было?

– Да, в то время они были еще мальчишками, – ответила Урсула. – По-моему, это один из самых жутких известных мне случаев.

– А он, конечно же, не знал, что ружье заряжено?

– Нет. Понимаешь ли, это старье много лет валялось в конюшне. Никому даже в самом страшном сне не снилось, что оно может выстрелить, никто и не предполагал, что оно заряжено. Ужасно, что это случилось.

– Как страшно! – воскликнула Гудрун. – Страшно даже подумать, что такое с кем-то случилось в детстве, ведь за это потом расплачиваешься в течение целой жизни. Представь себе, двое мальчишек играют – и вдруг такое происходит с ними, происходит совершенно случайно, без всяких причин. Урсула, это ведь очень страшно! Вот что совершенно выводит меня из себя. С убийством еще можно как-то смириться, за ним стоит чей-то умысел. Но чтобы случилось такое...

– Возможно, в этом был какой-то невольный умысел, – сказала Урсула. – Такая игра в убийство изначально включает в себе примитивное желание убивать, разве нет?

– Желание! – холодно и как-то ожесточенно сказала Гудрун. – Не думаю, что они вообще играли в убийство. Просто один мальчишка предложил другому: «Загляни-ка в дуло, а я нажму на курок, посмотрим, что будет». Мне кажется, это чистой воды несчастный случай.

– Нет, – возразила Урсула. – Я бы, например, ни за что на свете не смогла нажать на курок ружья, будь оно даже десять раз не заряжено, если кто-то в это время смотрел бы в дуло. Человек чисто инстинктивно так не сделает – просто не сможет.

Гудрун умолкла на несколько секунд, совершенно не соглашаясь с сестрой.

---

<sup>3</sup> Дороти Вордсворт (1771–1855) – английская писательница.

<sup>4</sup> Джейн Остен (1775–1817) – великая английская писательница.

– Разумеется, – ледяным тоном произнесла она. – Если ты взрослая женщина, то инстинкт тебя остановит. Но я не думаю, что то же можно сказать и о двух играющих мальчиках.

Она говорила холодно и раздраженно.

– Очень даже можно, – упорствовала Урсула.

В этот момент в нескольких ярдах от них женский голос громко произнес:

– Черт бы тебя побрал!

Девушки прошли немного вперед и по другую сторону изгороди, в поле, увидели Лору Крич и Гермину Роддис. Лора Крич сражалась с воротами, пытаясь их открыть. Урсула тут же быстро подошла к ней и помогла приподнять дверь.

– Огромное спасибо, – поблагодарила, покрасневшись, Лора, которая в этот момент была похожа на смущенную амазонку. – Они слетели с петель.

– Да, – сказала Урсула. – К тому же они такие тяжелые.

– На удивление! – воскликнула Лора.

– Как поживаете? – все еще стоя в поле, пропела Гермину, у которой появилась, наконец, надежда, что теперь уж ее точно услышат. – Теперь все хорошо. Вы на прогулку? Конечно.

Этот цвет молодой зелени просто прекрасен, вы не находите? Он такой красивый – прямо-таки сияющий. Доброе утро, доброе утро – вы зайдете ко мне в гости? Большое спасибо... на следующей неделе... да... До свидания, всего хорошего.

Гудрун и Урсула смотрели, как она медленно наклоняет и поднимает голову, кивком прощаясь с ними, как медленно машет рукой, как улыбается странной деланной улыбкой. Все это вкупе с ее тяжелыми, все время спадающими на глаза светлыми волосами придавало этой высокой женщине необычный, вызывающий неприязнь вид. Они повернулись, чувствуя себя служанками, которые больше не требовались хозяйке. Четыре женщины пошли каждая своей дорогой.

Когда сестры отошли на достаточное расстояние, Урсула, щеки которой пылали, заговорила:

– Я всегда считала и продолжаю считать, что она ведет себя нагло.

– Кто? Гермину Роддис? – спросила Гудрун. – Почему?

– Как она обращается с людьми – это же верх наглости!

– Что ты, Урсула, в чем ты усмотрела наглость? – с прохладцей спросила Гудрун.

– Да в том, как она себя ведет. Уму непостижимо, как она умеет издеваться над людьми. Это самое настоящее издевательство. Она нахалка. «Вы зайдете ко мне в гости?» Как будто мы должны теперь пасть на колени и благодарить за оказанную нам честь.

– Я не понимаю, Урсула, чего ты так распаляешься, – несколько раздраженно сказала Гудрун. – Все знают, какие нахалки эти женщины свободных нравов, решившие освободиться от аристократических условностей.

– Но это же никому не нужно – и к тому же так вульгарно, – воскликнула Урсула.

– Нет, я так не считаю. А если бы и считала – то pour moi, elle n'existe pas.<sup>5</sup> Со мной она будет обязана обращаться с должным уважением.

– Думаешь, ты ей нравишься? – поинтересовалась Урсула.

– Да нет, не думаю.

– Тогда почему она пригласила тебя погостить у нее в Бредолби?

Гудрун медленно повела плечами.

– В конце концов, на то, чтобы понять, что мы не такие как все, ума у нее хватает, – сказала Гудрун. – Уж кто-кто, а она не дура. Я бы тоже скорее пригласила в гости неприятного мне человека, чем заурядную женщину, ни на шаг не отступающую от того, что принято в ее кругу. Иногда Гермину Роддис умеет рисковать своей репутацией.

Какое-то время Урсула обдумывала эту мысль.

---

<sup>5</sup> Они для меня не существуют. (фр.)

– Сомневаюсь, – сказала она. – На самом деле она ничем не рискует. Думаю, нам стоит уважать ее только за то, что она знает, что может пригласить нас – простых учительниц – и избежать всяких пересудов.

– Вот именно! – поддержала ее Гудрун. – Подумай об огромном множестве женщин, которые на такое не осмеливаются. Она извлекает наибольшую пользу из своих привилегий – а это уже что-то. Я правда думаю, что на ее месте мы делали бы то же самое.

– Нет, – возразила Урсула. – Нет. Мне бы вскоре это надоело. Я не стала бы тратить свое время на такие игры. Это ниже моего достоинства.

Сестры, словно ножницы, отсекали все, что становилось им поперек дороги; их можно было сравнить с ножом и точилом, которые при соприкосновении друг с другом становились острее и острее.

– Конечно, – внезапно воскликнула Урсула, – ей придется благодарить судьбу, если мы вообще приедем к ней в гости. Ты очень красива, в тысячу раз красивее, чем она была и есть, и, по-моему, одеваешься в тысячу раз лучше. В ней нет свежести и естественности распустившегося цветка, она всегда выглядит одинаково, ее образ продуман до мелочей; к тому же мы гораздо умнее многих ее знакомых.

– Без сомнения! – ответила Гудрун.

– И это просто следует принять как данность, – сказала Урсула.

– Разумеется, следует, – согласилась Гудрун. – Но ты не понимаешь, что быть совершенно заурядной, совершенно обычной, совершенно похожей на любого человека с улицы – это высший шик, потому что при этом ты становишься шедевром рода человеческого, ты не просто человек с улицы, а мастерское его изображение.

– Какая гадость! – воскликнула Урсула.

– Да, Урсула, во многих отношениях ты совершенно права. Ты не осмеливаешься быть кем-то, кто не является &#224; terre<sup>6</sup>, настолько &#224; terre, что это уже становится мастерским изображением заурядности.

– Но ведь это же тупость – притворяться хуже, чем ты есть, – рассмеялась Урсула.

– Ужасная тупость! – согласилась Гудрун. – Урсула, это действительно тупость, ты нашла верное слово. После такого, в конце концов, захочется воспарить ввысь и произносить речи, как Корнель.

Сознание собственной правоты вызвало румянец на щеках Гудрун и волнение в сердце.

– Важничать, – сказала Урсула. – Хочется важничать, стать лебедем в гусиной стае.

– Точно! – воскликнула Гудрун. – Лебедем в гусиной стае.

– Все так заняты игрой в гадкого утенка, – с ироничной усмешкой воскликнула Урсула. – А я вот ни капли не чувствую себя убогим и жалким гадким утенком. Я искренне чувствую себя лебедем среди гусей – и с этим нельзя ничего поделать. Они сами заставляют меня так чувствовать. И их мысли обо мне меня нисколько не волнуют. Je m'en fiche<sup>7</sup>.

Гудрун неприязненно и со странной, не известно откуда появившейся завистью посмотрела на Урсулу.

– Итак, единственное, что нам остается, – презирать их всех, всех до одного, – сказала она.

Сестры повернули назад к дому, где их ждали книги, беседа и работа, где они ждали бы наступления понедельника, начала школьной недели. Урсула часто задумывалась о том, что ей нечего было ждать, кроме как начала и конца учебной недели и начала и конца каникул. Вот и вся ее жизнь! Иногда ее, когда ей казалось, что жизнь пройдет и закончится и ничего, кроме этого, не будет, начинал душить страх. Но на самом деле она никогда до конца в это не верила.

---

<sup>6</sup> Приземленный, заурядный. (фр.)

<sup>7</sup> Плевать я на них хотела. (фр.)

Она была бодра духом, а жизнь казалась ей ростком, который постепенно рос под землей, но еще не достиг ее поверхности.

## Глава V

### Пассажиры

В один прекрасный день Биркина вызвали в Лондон. Он редко подолгу жил на одном месте. Он снимал комнаты в Ноттингеме, потому что с этим городом была связана его профессиональная деятельность. Однако он часто бывал в Лондоне и Оксфорде. Он много ездил, поэтому его жизнь не была размеренной и в ней не было какого-то определенного ритма и единой цели. На вокзальной платформе он заметил Джеральда Крича, который читал газету и, очевидно, ожидал прибытия поезда. Биркин держался на некотором расстоянии, среди других ожидающих. Не в его правилах было кому-нибудь навязываться.

Время от времени Джеральд поднимал глаза от газеты и в характерной для него манере смотрел по сторонам. Даже при том, что он внимательно вчитывался в газету, ему было необходимо пристально наблюдать за окружающими. Казалось, его сознание было разделено на два потока. Он вдумывался в то, о чем читал в газете, и одновременно краем глаза следил за бурлящей вокруг него жизнью, ничего не упуская из виду. Наблюдавшего за ним Биркина такое раздвоение выводило из себя. К тому же он подметил, что Джеральд никого излишне близко к себе не подпускал, хотя в случае необходимости он превращался в необычайно добродушного и общительного человека.

И сейчас, увидев, как на лице Джеральда зажглось это добродушное выражение, Биркин резко вздрогнул. Джеральд же, вытянув руку в приветственном жесте, пошел ему навстречу.

– Привет, Руперт, куда это ты собрался?

– В Лондон. Ты, я вижу, тоже.

– Да...

Джеральд с любопытством изучал лицо Биркина.

– Хочешь, поехали вместе, – предложил он.

– А ты разве не в первом классе? – поинтересовался Биркин.

– Терпеть не могу тамошнюю публику, – ответил Джеральд. – Третий будет в самый раз. Там есть вагон-ресторан, можно будет выпить чаю.

Мужчины стали рассматривать вокзальные часы, поскольку тем для разговора больше не находилось.

– Что пишут в газете? – спросил Биркин.

Джеральд быстро взглянул на собеседника.

– Даже смешно, что они тут печатают, – сказал он. – Вот две передовицы, – он показал на «Дейли Телеграф», – в них нет ничего, кроме обычной газетной болтовни.

Он мельком просмотрел статьи.

– Потом есть еще небольшое – как бы его назвать... – эссе, что ли, рядом с передовицами. Оно утверждает, что среди нас должен появиться человек, который наполнит жизнь новым смыслом, откроет нам новые истины, научит нас относиться к жизни по-новому. В противном случае через несколько лет наша жизнь разобьется на мелкие кусочки, а страна ляжет в руинах...

– Полагаю, это очередная газетная чушь, – сказал Биркин.

– Нет, похоже, автор говорит искренне и причем сам в этом верит, – ответил Джеральд.

– Дай-ка мне, – попросил Биркин, протягивая руку за газетой.

Подошел поезд, они прошли в вагон-ресторан и сели друг против друга за маленький столик возле окна. Биркин просмотрел газету, затем взглянул на Джеральда, который дожидался, пока тот закончит.

– Мне кажется, он действительно думает искренне, – сказал он, – правда, если он вообще о чем-нибудь думает.

– Так ты считаешь, что дела обстоят именно так? Ты правда считаешь, что нам нужны новые убеждения?

Биркин пожал плечами.

– Мне кажется, что люди, которые утверждают, что им нужна новая религия, принимают это новое самыми последними. Им действительно нужна новизна. Но досконально изучить жизнь, на которую мы сами себя обрекли, и отказаться от нее, – вот этого мы не сделаем никогда. Человек должен всей душой жаждать отринуть старое, только в этом случае сможет появиться что-то новое – это истинно даже в масштабах одной личности.

Джеральд неотрывно смотрел на него.

– Ты считаешь, что нам нужно разорвать все ниточки, что связывают нас с этой жизнью, и просто взять и расправить крылья? – спросил он.

– С этой жизнью – да. Нам нужно полностью ее разрушить или же она задушит нас, как старая кожа душит выросший из нее организм. Потому что больше растягиваться она уже не сможет. В глазах Джеральда зажглась загадочная легкая улыбка, хладнокровная и заинтересованно-удивленная.

– И с чего же, по-твоему, нужно начинать? Ты считаешь, что следует перестроить весь общественный порядок? – спросил он.

Маленькая, напряженная морщинка прорезала лоб Биркина. Ему тоже не терпелось продолжить разговор.

– Я вообще ничего не считаю, – ответил он. – Если нам и правда захочется лучшей доли, то придется уничтожить старые порядки. А до тех пор всякие предложения – это лишь скучная забава для людей с большим самомнением.

Легкая улыбка в глазах Джеральда постепенно угасла, и он поинтересовался, пристально смотря на Биркина ледяным взглядом:

– Ты правда думаешь, что все настолько плохо?

– Абсолютно.

Улыбка появилась вновь.

– И в чем ты усмотрел признаки краха?

– Во всем, – ответил Биркин. – Мы все время отчаянно лжем. Одно из наших умений – лгать самим себе. У нас есть идеал совершенного мира – мира понятного, лишнего путаницы и самодостаточного. И, руководствуясь этим идеалом, мы наполняем его грязью; жизнь превращается в уродливый труд, люди – в копошащихся в грязи насекомых, только для того чтобы твои шахтеры могли поставить в свою гостиную пианино и чтобы в твоём современном доме был дворецкий, а в гараже автомобиль. А в масштабах нации наша гордость – это «Ритц» и «Эмпайр», Габи Деслиз<sup>8</sup> и воскресные газеты. Это же просто чудовищно.

После такой тирады Джеральду потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями.

– Ты хочешь заставить нас отказаться от домов и вернуться к природе? – спросил он.

– Я вообще не хочу никого заставлять. Люди вольны делать только то, что им хочется... и на что они способны. Если бы они были способны на что-нибудь другое, они бы и были совершенно другими.

Джеральд вновь задумался. Он не собирался обижать Биркина.

– А ты не думаешь, что это, как ты сказал, пианино этого самого шахтера является символом искренности, символом подлинного желания привнести в шахтерские будни возвышенное?

---

<sup>8</sup> Габи Деслиз (1881–1920) – английская актриса.



– Возвышенное? – воскликнул Биркин. – Да уж. Удивительно, на какие высоты вознесет их это роскошное пианино! Насколько же оно поднимет его в глазах соседей-шахтеров! Его отражение увеличится в глазах соседей, как увеличилась фигура того путника в Брокенских горах, с помощью пианино он вырастет на несколько футов, и будет самодовольно этому радоваться. Он живет ради этого брокенского эффекта, ради своего отражения в глазах других людей. Как и ты. Если ты – важный человек в глазах человечества, то ты важный человек и в своих собственных глазах. Вот поэтому-то ты так усердствуешь в своих шахтах. Если ты производишь уголь, на котором в день готовят пять тысяч обедов, то ты становишься в пять тысяч раз важнее, чем если бы ты готовил ужин только для себя одного.

– Думаю, ты прав, – рассмеялся Джеральд.

– Разве ты не видишь, – продолжал Биркин, – что помогать своему соседу готовить пищу – это то же самое, что есть ее самому? «Я ем, ты ешь, он ест, вы едите, они едят» – а дальше что? Нужно ли каждому спрягать глагол до конца? С меня довольно и первого лица единственного числа.

– Приходится начинать с материальных ценностей, – сказал Джеральд.

Однако Биркин проигнорировал его слова.

– Должны же мы ради чего-то жить, мы ведь не скот, которому вполне хватает пощипать травки на лугу, – сказал Джеральд.

– Вот расскажи мне, – продолжал Биркин, – ради чего ты живешь?

На лице Джеральда появилось озадаченное выражение.

– Ради чего я живу? – переспросил он. – Думаю, я живу ради работы, ради того, чтобы что-то создавать, поскольку у меня есть свое предназначение. Кроме того, я живу, потому что мне дана жизнь.

– А из чего складывается твоя работа? Ежедневно извлекать из земли как можно больше тонн угля. Когда мы добудем нужное количество угля, когда у нас будет обитая бархатом мебель, и пианино, когда мы приготовим и употребим рагу из кролика, когда мы согреемся и набьем животы, когда мы наслушаемся, как юная красавица играет на пианино, – что будет тогда? Что будет после того, как все эти материальные ценности выполнят свою роль прекрасной отправной точки?

Джеральд улыбнулся словам и саркастическому юмору своего собеседника. Однако в то же время они пробудили в нем серьезные мысли.

– Так далеко мы еще не зашли, – ответил он. – Еще очень много людей ждут своего кролика и огня, на котором будут его жарить.

– То есть, пока ты добываешь уголь, мне придется охотиться на кролика? – подшучивая над Джеральдом, спросил Биркин.

– Совершенно верно, – ответил Джеральд.

Биркин изучал его прищуренным взглядом. Он заметил, что Джеральд великолепно умеет превращаться как в добродушно-бесчувственного, так и в необычайно злорадного субъекта – и все это таилось под располагающей к себе внешностью владельца компании.

– Джеральд, – сказал он, – иногда я тебя просто ненавижу.

– Я знаю, – ответил Джеральд. – И почему же?

Биркин задумался, и на несколько минут его лицо стало непроницаемым.

– Мне хотелось бы знать, осознаешь ли ты разумом свою ненависть ко мне, – наконец сказал он. – Ты когда-нибудь сознательно ощущал отвращение ко мне – ненавидел ли меня непонятно за что? В моей жизни бывают странные мгновения, когда я просто смертельно ненавижу тебя. Джеральд несколько опешил, даже немного смутился. Он не вполне понимал, что от него хочет услышать его собеседник.

– Разумеется, иногда у меня возникает к тебе ненависть, – сказал он. – Но я не отдаю этому отчет – по крайней мере, я никогда не ощущал ее чересчур остро.

– Тем хуже, – сказал Биркин.

Джеральд заинтересованно посмотрел на него. Он никак не мог раскусить этого человека.

– Тем хуже, да? – повторил он.

Мужчины на какое-то время замолчали, а поезд все мчался и мчался вперед. По лицу Биркина было видно, что он напряжен и немного раздражен, на его лбу собрались резкие глубокие и неприязненные складки. Джеральд смотрел устало, но настороженно, просчитывая дальнейшие ходы и не до конца понимая, к чему клонит его собеседник.

Внезапно Биркин вызывающе взглянул Джеральду прямо в глаза.

– Джеральд, в чем, по-твоему, суть и смысл твоей жизни? – спросил он.

Джеральд вновь оказался в тупике. Не удавалось ему разгадать, что затеял его друг. Разыгрывал ли он его или говорил совершенно серьезно?

– Так сразу и не скажу, нужно подумать, – ответил он с едва уловимой иронией.

– Может, основа твоей жизни любовь? – откровенно и с предупредительной глубокомысленностью спросил Биркин.

– Ты обо мне говоришь? – переспросил Джеральд.

– Да.

Последовало по-настоящему озадаченное молчание.

– Не могу сказать, – ответил Джеральд. – Пока еще нет.

– А в чем тогда до сих пор заключалась твоя жизнь?

– Ну, я все время что-то искал, пробовал, добивался поставленных целей.

Лоб Биркина собрался в складки, похожие на волны на неправильно отлитом листе стали.

– Я считаю, – сказал он, – у человека должно быть в жизни одно, самое главное, занятие. Таким единственным занятием я назвал бы любовь. Но сейчас я ни к кому не испытываю этого чувства, сейчас во мне нет любви.

– А ты когда-нибудь любил по-настоящему? – спросил Джеральд.

– И да, и нет, – ответил Биркин.

– Не до самоотречения? – спросил Джеральд.

– До самоотречения – нет, никогда, – ответил Биркин.

– Как и я, – сказал Джеральд.

– А тебе хотелось бы? – спросил Биркин.

Джеральд пристально и саркастически посмотрел собеседнику в глаза. Его взор блеснул.

– Не знаю, – ответил он.

– А я хочу – я хочу любить, – сказал Биркин.

– Хочешь?

– Да, и хочу любить без оглядки.

– Без оглядки... – повторил Джеральд.

Он мгновение помедлил и спросил:

– Только одну женщину?

Вечернее солнце, заливающее желтым светом поля, зажгло на лице Биркина натянутое и рассеянное упорство. Джеральд все еще не мог понять, что скрывает душа этого человека.

– Да, только одну женщину, – ответил Биркин.

Но Джеральду показалось, что его друг сам себя пытается убедить в этом, что он не до конца уверен в своих словах.

– Я не верю, что женщина и только женщина станет смыслом моей жизни, – сказал Джеральд.

– Разве ты не считаешь возможным сосредоточить свою жизнь вокруг любви к женщине? – спросил Биркин.

Джеральд прищурился и, пристально наблюдая за своим товарищем, улыбнулся непонятной, жутковатой улыбкой.

– И никогда не считал, – сказал он.

– Нет? А вокруг чего, в таком случае, сосредоточена твоя жизнь?

– Я не знаю – мне хотелось, чтобы на этот вопрос мне ответил бы кто-нибудь другой.

Насколько я понимаю, в моей жизни такого средоточия нет вообще. Она искусственно поддерживается общественными порядками.

Биркин задумался над его словами, точно в них было что-то затрагивающее его душу.

– Понимаю, – сказал он, – У тебя нет ядра, вокруг которого можно было бы построить свою жизнь. Старые идеи уже мертвы и похоронены – они ничего нам не дадут. По-моему, остается только совершенное единение с женщиной – брак в высшем его проявлении – кроме этого не осталось ничего.

– То есть, ты считаешь, что не будет женщины – не будет и всего остального? – спросил Джеральд.

– Именно так – если учитывать, что Бог умер.

– Тогда нам придется трудновато, – сказал Джеральд. Он отвернулся и посмотрел в окно на пролетающие мимо золотые сельские пейзажи.

Биркин не мог не отметить про себя, каким красивым и мужественным было лицо его друга и что ему достало хладнокровия напустить на себя равнодушный вид.

– Ты думаешь, что у нас мало шансов на успех? – спросил Руперт.

– Если нам придется поставить в основу своей жизни женщину, если мы поставим все, что у нас есть, на одну-единственную женщину и только на нее, то, полагаю, что да, – ответил Джеральд.

– Я не думаю, что вообще когда-нибудь буду строить свою жизнь таким образом.

Биркин со злостью следил за ним взглядом.

– Ты прирожденный скептик, – сказал он.

– Ничего не поделаешь, такие уж чувства у меня возникают, – ответил тот.

И он опять посмотрел на собеседника своими голубыми, мужественными, сияющими глазами, в которых читалась насмешливая ирония. На мгновение во взгляде Биркина полыхнул гнев. Но вскоре они уже смотрели обеспокоенно, с сомнением, а потом и вовсе смягчились, и в них появились теплота, горячая нежность и улыбка.

– Меня это очень беспокоит, Джеральд, – сказал он, морща лоб.

– Я уже вижу, – сказал Джеральд и его губы тронула по-мужски скупая улыбка.

Сам того не осознавая, Джеральд поддался влиянию своего друга. Ему хотелось находиться рядом с ним, стать частью его мира. В Биркине он видел некое родство духа. Однако глубже заглядывать ему не хотелось. Он чувствовал, что ему, Джеральду, были известны более основательные, не терявшие со временем своей актуальности истины, чем любому другому знакомому ему человеку. Он чувствовал себя более зрелым, более опытным. В друге его привлекали переменчивая теплота и готовность соглашаться с чужими мыслями, а также блистательная, страстная манера говорить. Он наслаждался богатой игрой слов и быстрой сменой эмоций. На истинный смысл слов он никогда не обращал внимания: ему-то было лучше знать, что за ними скрывается.

Биркин это понимал. Он видел, что Джеральд хотел бы испытывать к нему нежность и в то же время не принимать его всерьез. И это заставляло его держаться твердо и холодно. Поезд бежал дальше, он смотрел в окно на поля, и Джеральд перестал для него существовать.

Биркин смотрел на поля, на закат и думал: «Если человечество будет уничтожено, если наша раса будет уничтожена, как был уничтожен Содом, и останется это вечернее солнце, которое зальет светом землю и деревья, то я готов умереть. То, что наполняет их, останется, оно не исчезнет. В конце концов, что есть человечество, как не одно из проявлений непостижимого? И если человечество исчезнет, это будет означать, что это проявление нашло свое наивысшее выражение, что в его развитии наступил завершающий этап. Та сила, которая находит свое выражение и которой еще только предстоит его найти, не исчезнет никогда. Она здесь, в этом сияющем закате. Пусть человечество исчезнет – а так со временем и случится. Проявления созидательного начала существовать не перестанут, только они-то и останутся в этом мире. Человечество перестало быть проявлением непостижимого. Человечество – это невостребованное письмо. Что-то другое станет сосудом для этой силы, она воплотится в жизнь по-новому. Так пусть же человечество исчезнет как можно скорее».

Джеральд прервал его размышления вопросом:

– Где ты остановишься в Лондоне?

Биркин поднял голову.

– У друга в Сохо. Мы платим за квартиру пополам, и я живу там, когда захочу.

– Отличная идея – иметь более-менее собственное жилье, – сказал Джеральд.

– Да. Но я особенно туда не стремлюсь. Я устал от людей, которых постоянно там встречаю.

– Что за люди?

– Художники, музыканты – в общем, лондонская богема – самые расчетливые богемные крючкотворы из всех когда-либо пересчитывавших свои гроши. Но есть и несколько приличных людей, которые умеют иногда вести себя вполне достойно. Они необычайно яростно ратуют за перестройку этого мира – они, по-моему, живут отрицанием и только отрицанием – они просто не могут жить без какого-нибудь отрицания.

– Кто они? Художники, музыканты?

– Художники, музыканты, писатели, бездельники, натурщицы, продвинутые молодые люди – все, кто открыто пренебрегает условностями и не принадлежит ни к одной среде. Зачастую это юнцы, которых выставили из университета, и девицы, живущие, как они говорят, самостоятельно.

– И все свободные от предрассудков? – спросил Джеральд.

Биркин увидел интерес в его глазах.

– С одной стороны, да. С другой – совершенно ограниченные. Но несмотря на все их непристойное поведение, поют они одну и ту же песню.

Он взглянул на Джеральда и увидел, что в его голубых глазах зажглись огоньки странного желания. Он также заметил, как хорош собой тот был. Джеральд был привлекателен, казалось, в его жилах стремительно бежала наэлектризованная кровь. Его голубые глаза горели ярким и в то же время холодным светом, во всем его теле, его формах была какая-то красота, неподражаемая томность.

– Я проведу в Лондоне два-три дня – мы должны как-нибудь встретиться, – предложил Джеральд.

– Да, – согласился Биркин, – но в театр или мюзик-холл мне не хочется – лучше ты заходи ко мне, посмотрим, что ты скажешь о Халлидее и его приятелях.

– С большим удовольствием, – рассмеялся Джеральд. – Что ты делаешь сегодня?

– Я обещал встретиться с Халлидеем в кафе «Помпадур». Это отвратительное место, но больше нигде.

– Где это? – спросил Джеральд.

– На Пиккадилли-Серкус.

– Понятно – пожалуй, я туда подойду.

– Подходи. Мне кажется, тебя это позабавит.

Близился вечер. Они только что проехали Бедфорд. Биркин смотрел на природу и чувствовал какую-то безнадежность. Он всегда так себя чувствовал, когда поезд приближался к Лондону. Его неприязнь к человечеству, к скоплению человеческих существ, была почти патологической.

– Там, где вечер залил алым светом луг, и вокруг... – бормотал он себе под нос, как бормочет приговоренный к смертной казни человек.

Джеральд, ни на минуту не терявший бдительности, настороженно наклонился вперед и с улыбкой спросил:

– Что ты там бормочешь?

Биркин взглянул на него, рассмеялся и повторил:

– Там, где вечер залил алым светом луг,  
И вокруг  
Все живое – что-то там, не помню слова, – и овцы  
Задремало вдруг...<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Строки из стихотворения английского поэта Роберта Браунинга «Любовь среди руин».

Джеральд также посмотрел через окно на сельский пейзаж. А Биркин, уже потерявший и интерес, и расположение духа, сказал ему:

– Когда поезд подходит к Лондону, я всегда чувствую себя приговоренным к смерти. Я чувствую такое отчаянье, такую безнадежность, как будто наступил конец света.

– Неужели?! – сказал Джеральд. – А конец света тебя пугает?

Биркин медленно повел плечами.

– Не знаю, – сказал он. – Пожалуй, да, когда все свидетельствует о его наступлении, а он никак не наступает. Но больше всего меня пугают люди – даже не представляешь, насколько.

В глазах Джеральда появилась возбужденно-радостная улыбка.

– Что ты говоришь! – сказал он. И посмотрел на собеседника серьезными глазами.

Через несколько минут поезд уже летел по уродливым кварталам разросшегося Лондона. Все в вагоне были наготове и ждали, когда, наконец, можно будет выбраться на свободу. Наконец они вышли под огромную сводчатую крышу вокзала и оказались в крошечном городском мраке. Биркин сжал зубы – он был на месте.

Мужчины вместе сели в такси.

– Ты не чувствуешь себя отлученным от рая? – спросил Биркин, когда они уже быстро неслись вперед в маленьком, отгораживающем их от внешнего мира автомобиле и выглядывали из него наружу, на огромную, безликую улицу.

– Нет, – рассмеялся Джеральд.

– Вот это-то и есть смерть, – сказал Биркин.

## Глава VI

### *Creme de Menthe*<sup>10</sup>

Несколько часов спустя они встретились в кафе. Джеральд прошел через двустворчатую дверь в просторное помещение с высокими потолками, где в клубах сигаретного дыма неясно виднелись лица и головы посетителей, бесконечное число раз расплывчато отражавшиеся в огромных настенных зеркалах. Ему показалось, что он попал в туманное, сумрачное царство питавших пристрастие к вину призраков, чьи голоса сливались в единый гул, пронизывавший голубую пелену табачного дыма. И тут же стояли обитые красным плюшем диваны, на которых в этой призрачной обители удовольствий можно было найти пристанище.

Джеральд медленно шел мимо столиков, внимательно рассматривая все вокруг блестящими глазами, не упуская ничего из виду. Он шел мимо столиков, и люди поднимали на него затуманенные взгляды. Ему казалось, что он вот-вот окажется в дотоле не известной ему стихии, он направлялся в иной, залитый светом мир мимо погрязших в пороках душ. Это забавляло его и доставляло ему удовольствие. Он окинул взглядом эти склонившиеся над столиками призрачные, эфемерные, озаренные смутным светом лица. И тут он увидел Биркина, который поднялся с места и махал ему рукой.

За столиком рядом с Биркиным сидела девушка с темными, шелковистыми, пышными волосами, которые были коротко подстрижены согласно царившей в кругу художников моде и лежали ровно и прямо, точно у древней египтянки. Она была небольшого роста, хрупкая, с теплым цветом лица и огромными темными настороженными глазами. В ее облике сквозило

---

<sup>10</sup> Creme de Menthe – мятный ликер зеленого цвета.



изящество, почти красота, и в то же время была в ней некая притягивающая вульгарность, которая тут же зажгла в глазах Джеральда маленькую искорку.

Биркин, который казался замкнутым, оторванным от реальности, призрачным, представил ее как мисс Даррингтон. Она резко и как бы неохотно протянула руку для приветствия, пристально разглядывая Джеральда темными, широко раскрытыми глазами. Он сел, и тепло волной накатило на него.

Появился официант. Джеральд посмотрел, чем были наполнены бокалы. Биркин пил что-то зеленое, перед мисс Даррингтон стояла маленькая ликерная рюмка, на дне которой оставалось совсем чуть-чуть напитка.

– Не желаете ли еще ...

– Бренди, – сказала она, допивая последнюю каплю и ставя рюмку на стол.

Официант исчез.

– Нет, – повернулась она к Биркину, продолжая прерванный разговор. – Он не знает о моем возвращении, он ужаснется, увидев меня здесь.

Она слегка картавила, произнося слова так, как лепетал бы их ребенок, и это одновременно казалось и естественным, и намеренным. Ее голос был тусклым и бесцветным.

– Где же он тогда? – спросил Биркин.

– Устраивает выставку для узкого круга приглашенных в доме леди Снельгроув, – ответила девушка. – Уоррен тоже там.

Они замолчали.

– Итак, – спросил Биркин бесстрастно, но заботливо, – что ты намерена делать?

Девушка угрюмо помедлила. Для нее этот вопрос был не из приятных.

– Ничего, – сказала она. – Завтра начну искать место натурщицы.

– К кому ты пойдешь? – спросил Биркин.

– Сначала пойду к Бентли. Но, боюсь, он сердится на меня за мое исчезновение.

– Это когда ты позировала для его мадонны?

– Да. А если я ему не нужна, я знаю, что всегда смогу работать у Кармартена.

– Кармартена?

– Лорда Кармартена – фотографа.

– Прозрачная ткань, голые плечи...

– Да. Но все совершенно прилично.

Опять повисла пауза.

– А что ты будешь делать с Джулиусом? – спросил он.

– Ничего, – ответила она. – Просто буду его игнорировать.

– Так у вас все кончено?

Она не ответила на его вопрос, угрюмо отвернувшись в сторону.

К их столику торопливо подошел еще один молодой человек.

– Привет, Биркин! Привет, Киска, когда это ты вернулась? – нетерпеливо спросил он.

– Сегодня.

– А Халлидей знает?

– Понятия не имею. Мне все равно.

– Ха-ха. Так между вами все по-прежнему, не так ли? Не возражаете, если я присяду к вам?

– Не видишь, мы с Р'упертом р'азговариваем, – холодно, и в то же время трогательно, словно ребенок, сказала она.

– Чистосердечное признание облегчает душу, не правда ли? – съязвил молодой человек. –

Ладно, всем пока.

Окинув Биркина и Джеральда пронзительным взглядом, молодой человек ушел, развернувшись так круто, что полы его пальто взметнулись в стороны.

Все это время на Джеральда никто не обращал никакого внимания. Однако его чувства говорили ему, что девушка тянется к нему всем телом. Он ждал, прислушивался к разговору, пытаясь сложить воедино разрозненную информацию и понять, о чем идет речь.

– Ты будешь жить у себя на квартире? – спросила Биркина девушка.

– Да, дня три проживу, – ответил Биркин. – А ты?

– Пока не знаю. Я всегда могу пойти к Берте.

Последовало молчание.

Неожиданно девушка обернулась к Джеральду и достаточно официально, вежливо и холодно спросила его, как спросила бы женщина, сознающая более высокое положение своего собеседника и в то же время не отрицающая возможности возникновения между ними более интимных отношений:

– Вы хорошо знаете Лондон?

– Не сказал бы, – рассмеялся он. – Я бываю в городе достаточно часто, а сюда пришел впервые.

– Так вы не художник? – спросила она, и по ее голосу сразу можно было сказать, что она будет общаться с ним не так, как с людьми своего круга.

– Нет, – ответил он.

– Он человек военный, а кроме того – исследователь и Наполеон от промышленности, – отрекомендовал его богемному обществу Биркин.

– Вы военный? – спросила девушка с холодным и в то же время живым любопытством.

– Уже нет, несколько лет назад я вышел в отставку, – ответил Джеральд.

– Он участвовал в последней войне, – сказал Биркин.

– Вот как? – спросила девушка.

– А затем исследовал дебри Амазонки, – продолжал он, – теперь же он управляет угольными шахтами.

Девушка с пристальным любопытством взглянула на Джеральда. Такое описание собственной персоны насмешило его. Однако он гордился собой, чувствовал себя настоящим мужчиной. Его голубые пронизательные глаза заискрились смехом, на румянном лице с четко выделяющимися на нем светлыми усами читалось удовлетворенное выражение, оно сияло жизненной силой. Он разжигал в ней любопытство.

– Как долго вы пробудете здесь? – поинтересовалась она.

– Пару дней, – ответил он. – Но я никуда особенно не тороплюсь.

Она не сводила с его лица пристального и глубокого взгляда, подстегивая его интерес и поднимая в нем волну возбуждения. Он с острым наслаждением ощущал свое тело, ощущал собственную привлекательность. Он чувствовал, что способен на все, способен даже испускать электрические разряды. И он ощущал на себе пылкий взгляд ее темных глаз. А ее глаза были действительно прекрасными – темными, широко распахнутыми; она смотрела на него страстно и откровенно. Но в них было и другое выражение – горькое и грустное, – которое плавало на поверхности, словно масляная пленка на воде. Она сняла шляпку, так как в кафе было жарко; на ней была свободная блузка простого покроя, которая завязывалась вокруг шеи тесемкой. Но несмотря на всю простоту, сшита она была из богатого персикового креп-де-шина, и он мягкими, тяжелыми складками обволакивал ее юную шею и тонкие запястья. Она выглядела просто и безукоризненно, настоящей красавицей, за что следовало бы благодарить ее природную привлекательность и изящество форм, мягкие темные волосы, спадающие ровной пышной массой с обеих сторон лица, четкие изящные и нежные черты лица. Легкая полнота, длинная шея и яркая невесомая туника, окутывающая ее стройные плечи, – все это придавало ее облику легкую египетскую нотку.

Она сидела совершенно недвижно, почти растворяясь в пространстве, настороженно, и витая мыслями где-то далеко.

Джеральда невероятно сильно к ней потянуло. Его вдруг пронзила чудесная, сулящая наслаждение мысль: она будет подчиняться ему! – и он с каким-то бессердечием лелеял эту мысль. Она была жертвой. Он ощущал, что она была в его власти, и он собирался быть снисходительным. Станные электрические потоки один за другим устремлялись вверх по его ногам, даря ему необычайную полноту чувственного удовольствия. Выпусти он этот разряд на

волю, его сила мгновенно уничтожила бы ее. Но она ждала чего-то, не обращая ни на кого внимания и погрузившись в свои мысли.

Какое-то время они болтали о пустяках. Вдруг Биркин произнес:

– А вот и Джулиус! – и, встав, он помахал вновь прибывшему.

Девушка с любопытством и какой-то злорадностью, даже не повернувшись, кинула взгляд через плечо. Джеральд наблюдал, как всколыхнулись возле ушей ее темные, шелковистые волосы. Он чувствовал, что ее пристальный взгляд устремлен на приближающегося мужчину, поэтому тоже посмотрел на него.

К ним неуклюжей походкой направлялся полный бледный молодой человек с довольно длинными густыми светлыми волосами, ниспадающими из-под черной шляпы. На его лице светилась наивная, теплая и в то же время вялая улыбка.

Желая поскорее поздороваться, Джулиус Халлидей торопливо шел к Биркину, и только подойдя совсем уж близко, заметил девушку. Он попятился, побледнел и воскликнул фальцетом:

– Киска, а *ты* что тут делаешь?!

Посетители кафе как один подняли головы, точно животные, услышавшие крик своего сородича. Халлидей словно пригвоздило к месту и только губы его слегка подрагивали, растягиваясь в безвольной улыбке, похожей на гримасу умственно отсталого человека.

Девушка не сводила с него мрачного, глубокого, как ад, взгляда, который говорил о чем-то известном только ему и ей и в то же время молил о помощи. Этот человек был пределом ее мечтаний.

– Зачем ты вернулась? – повторил Халлидей все тем же высоким истеричным голосом. – Я же сказал тебе не возвращаться.

Девушка не ответила, но и не сводила с него того же пристального злобного, тяжелого взгляда, который вынудил его отступить к другому столику, на безопасное расстояние от нее.

– Ладно уж, тебе же хотелось, чтобы она вернулась. Давай-ка, присаживайся, – сказал ему Биркин.

– Нет, я не хотел, чтобы она возвращалась, я приказал ей не возвращаться. Зачем ты вернулась, Киска?

– Уж не затем, чтобы что-нибудь от тебя получить, – сказала она полным отвращения голосом.

– Тогда зачем ты вообще вернулась?! – закричал Халлидей, срываясь на писк.

– Она приходит и уходит, когда пожелает, – ответил за нее Руперт. – Так ты присядешь или нет?

– Нет, с Киской я рядом сидеть не буду, – вскричал Халлидей.

– Я тебя не укушу, не бойся, – необычайно резко и отрывисто сказала она, хотя при этом чувствовалось, что его растерянность тронула ее.

Халлидей подошел и присел за столик, приложил одну руку к сердцу и воскликнул:

– Вот так поворот! Киска, и зачем ты все это делаешь... Чего ты вернулась?

– Уж не затем, чтобы что-нибудь из тебя выудить, – повторила она.

– Это я уже слышал, – пропищал он.

Она повернулась к нему спиной и завела разговор с Джеральдом Кричем, в глазах которого едва уловимо светились веселые огоньки.

– А в окружении дикарей вам было страшно? – спокойно и как-то вяло поинтересовалась она.

– Нет – особого страха я не испытывал. Вообще-то, дикари совершенно безобидные, они еще не знают, что к чему, их нельзя по-настоящему бояться, потому что тебе известно, как с ними обходиться.

– Правда? А мне казалось, что они очень жестокие.

– Я бы так не сказал. На самом деле, не такие уж они и жестокие. В животных и людях не так уж много жестокости, поэтому я не стал бы говорить, что они очень уж опасны.

– Только если они не собираются в стаи, – вмешался Биркин.

– Правда? – спросила она. – Ой, а я-то думала, что дикари все как один опасны и что они разделяются с человеком прежде, чем он успеет моргнуть.

– Неужели? – рассмеялся Крич. – Вы их переоцениваете. Они слишком похожи на всех остальных, только познакомишься – и весь интерес сразу же пропадает.

– О, так значит, исследователи вовсе не отчаянные храбрецы?

– Нет, здесь все дело не столько в преодолении страха, сколько в преодолении трудностей.

– А! Но вы когда-нибудь чего-нибудь боялись?

– Вообще? Не знаю. Да, кое-чего я все-таки боюсь – что меня закроют, запрут где-нибудь – или свяжут. Я боюсь оказаться связанным по рукам и ногам.

Она не сводила с него своих черных глаз, пристально изучая его, и этот взгляд ласкал такие глубинные уголки его души, что внешняя оболочка оставалась совершенно незатронутой. Он наслаждался тем, как она по капле высасывает из него раскрывающие его истинную природу откровения, забираясь в самые потаенные, тщательно скрываемые, наполненные мраком, глубины его сердца. Она хотела познать его сущность. Казалось, ее темные глаза проникали в самые дальние уголки его обнаженного тела. Он чувствовал, что она предала себя в его руки, что между ними неизбежно произойдет близость, что она должна будет разглядеть его, познать его. Это пробуждало в нем интерес и ликование. К тому же он чувствовал, что она должна будет отдаться на его милость, признать в нем повелителя.

Сколько вульгарности было в этом разглядывании, погружении в его душу, сколько раболепия! И дело было не в том, что ей были интересны его слова; ее увлекало то, что он позволил ей узнать о себе, его сущность; ей хотелось разгадать его секрет, познать, что значит быть мужчиной.

Джеральд странно и как-то невольно улыбался – полной яркого света и в то же время возбужденной улыбкой. Он положил руки на стол, свои загорелые, сулящие погибель руки, по животному чувственные и красивые по форме, вытянув их в ее сторону. Они завораживали ее. И она это знала, – она словно со стороны наблюдала за своим восхищением.

К столику подходили и другие мужчины, перекидываясь парой слов с Биркиным и Халлидеем. Джеральд, понизив голос так, чтобы было слышно только Киске, поинтересовался:

– Откуда это вы вернулись?

– Из деревни, – ответила девушка тихо, но по-прежнему звучно. Ее лицо застыло. Она перевела взгляд на Халлидея, и ее глаза загорелись мрачным огнем. Плотный белокурый молодой человек совершенно ее не замечал; он и правда боялся ее. На какое-то время Киска забыла про Джеральда. Пока что он не всецело завладел ее душой.

– А какое отношение имеет к этому Халлидей? – спросил он также очень тихо.

Несколько секунд она молчала, а затем неохотно рассказала:

– Он вынудил меня жить с ним, а теперь хочет выкинуть меня, как ненужную вещь. В то же время он не позволяет мне уйти к кому-нибудь другому. Он хочет, чтобы я похоронила себя в деревне. И теперь он говорит, что я преследую его, что он не может от меня избавиться.

– Никак не поймет, что ему нужно, – сказал Джеральд.

– Ему нечем понимать, поэтому он и не может ничего понять, – ответила она. – Он ждет, чтобы кто-нибудь подсказал ему, что делать. Он никогда не делает того, что ему хочется – он просто не знает, чего ему хочется. Он совершенный младенец.

Джеральд несколько секунд разглядывал нежное, простоватое лицо Халлидея, напоминавшее лицо слабоумного человека. Эта нежность, однако, была по-своему привлекательна: можно было радостно погрузиться с головой в эту мягкую и теплую разлагающуюся пучину.

– Он что, держит вас в своей власти? – спросил Джеральд.

– Видите ли, он заставил меня бросить все и жить с ним против моей воли, – ответила она. – Он пришел ко мне и лил слезы, я никогда не видела столько слез, он говорил, что не переживет, если я уйду от него. И он не уходил, он все стоял и стоял рядом. Он заставил меня вернуться. И так он ведет себя каждый раз. Теперь у меня будет ребенок, а он хочет откупиться от меня

сотней фунтов и отправить меня в деревню, чтобы никогда меня больше не видеть. Но я не собираюсь доставлять ему такого удовольствия, после того как ...

На лице Джеральда появилось загадочное выражение.

– У вас будет ребенок? – недоверчиво спросил он. Он смотрел на нее и не мог поверить: она была такой молодой, ее духу, казалось, была чужда любая мысль о материнстве.

Она, не стесняясь, посмотрела ему в глаза, и при этом в ее собственных темных, наивных глазах появилось хитрое выражение, точно у нее возникли нехорошие мысли, мысли темные и необузданные. Невидимый постороннему глазу огонь начал разгораться в его сердце.

– Да, – ответила она. – Разве это не чудовищно?

– А вы хотите его? – спросил он.

– Не хочу, – ответила она, вложив всю душу в свой ответ.

– Но... – продолжал он, – сколько уже?

– Десять недель, – сказала она.

Все это время она не сводила с него своих темных, широко распахнутых, наивных глаз. Он молча обдумывал ее слова. Затем, внезапно сменив тему разговора и вновь обретая хладнокровие, он заботливо и внимательно спросил:

– А еду здесь подают? Вы хотели бы чего-нибудь съесть?

– Да, – ответила она. – Я бы с удовольствием поела устриц.

– Отлично, – согласился он. – Устрицы, так устрицы.

Он подал знак официанту.

Халлидей вспомнил о ее существовании, только когда перед ней появилось блюдо с устрицами.

Внезапно он вскричал:

– Киска, нельзя же есть устрицы и запивать их бренди!

– Тебе-то что до этого? – спросила она.

– Ничего, – попытался оправдаться он. – Но нельзя есть устрицы и запивать их бренди.

– Да не пью я бренди, – ответила она и выплеснула остатки напитка ему в лицо. Он странно пискнул. Она смотрела на него с полным равнодушием.

– Киска, зачем ты это сделала? – в панике вскричал он.

Джеральду показалось, что он страшно боится ее и что вместе с тем получает от этого страха удовольствие. Казалось, он смаковал свой ужас, наслаждался своей ненавистью к ней, вновь и вновь прогонял эти чувства через себя, высасывая из них все до последней капли – и все это, трясаясь от страха. Джеральд решил, что перед ним полный странностей дурак, но при этом дурак довольно интересный.

– Но Киска, – обратился к ней другой мужчина очень тихим, но едким голосом, в котором слышались интонации воспитанника Итона, – ты обещала не обижать его.

– Я его и не обижаю, – ответила она.

– Что будешь пить? – спросил молодой человек. Он был смугл, гладкокож и полон скрытой жизненной силы.

– Я не люблю пор'тер, Максим, – ответила она.

– Тогда попроси шампанского, – аристократическим шепотом подсказал тот.

Джеральд внезапно понял, что этот намек относился к нему.

– Закажем шампанское? – смеясь, спросил он.

– Да, сухое, будьте добр'ы, – с детской картавостью попросила она.

Джеральд наблюдал за тем, как она ела устрицы. Она делала это изящно и утонченно, кончики ее тонких пальчиков, казалось, были необычайно чувствительными, поэтому она отрывала устрицу от раковины нежными, мелкими движениями, и не менее осторожно и изящно отправляла ее в рот. Ему очень нравилось смотреть на нее, а вот у Биркина это вызывало раздражение. Все пили шампанское. Максим, чопорный молодой русский с гладко выбритым свежим лицом и черными, сальными волосами, похоже, был единственным абсолютно спокойным и трезвым человеком. Биркин был бледен, словно призрак, и витал мыслями где-то далеко, глаза Джеральда улыбались ярко, весело и в то же время холодно, он с



покровительственным видом придвинулся к похорошевшей Киске, которая обмякла от вина, обнажив, подобно цветку красного лотоса, свою гибельную сердцевину, любуясь сама собой, вспыхнув от вина и восхищения мужчин алым румянцем. Халлидей выглядел дурак дураком. Ему хватило одного бокала – он опьянел и стал глупо хихикать. Но он ни на минуту не терял располагающую к нему теплую наивность, в которой и заключалась его привлекательность.

– Я боюсь только черных тараканов, – сказала Киска, внезапно подняв голову и обратив к Джеральду черные глаза, которые, казалось, подернула невидимая поволока страсти.

Он рассмеялся зловещим, исходящим из глубины его существа смехом. Ее детский лепет ласкал его нервы, а ее горящие, влажные глаза, обращенные теперь только к нему и забывшие обо всем на свете, кроме него, вызывали в нем чувство собственной значимости.

– Нет, – запротестовала она. – Ничего другого я не боюсь. Но черные тараканы – фу! – она с отвращением содрогнулась, как будто при одной мысли о них ей становилось плохо.

– Вы имеете в виду, – с дотошностью подвыпившего человека допытывался Джеральд, – что боитесь даже смотреть на тараканов или того, что они вас укусят или принесут иной вред?

– Они что, еще и кусаются?! – вскричала девушка.

– Какая отвратительная мерзость! – воскликнул Халлидей.

– Не знаю, – ответил Джеральд, окидывая взглядом присутствующих. – Кто-нибудь знает, кусаются черные тараканы или нет? Но не в этом дело. Вы боитесь, что они могут покусать или же у вас возникает метафизическое отвращение?

Девушка все это время не спускала с него наивного взгляда.

– О, по-моему, они отвратительны и ужасны! – воскликнула она. – Когда я вижу таракана, у меня по всему телу ползут мурашки. А если он на меня заползет, я точно знаю, что умру не сходя с места – в этом я совершенно уверена.

– Надеюсь, нет, – прошептал молодой русский.

– Я совершенно уверена, Максим, – продолжала настаивать она.

– Значит, они на вас не заползут, – понимающе улыбаясь, сказал Джеральд.

Каким-то непонятным образом между ними установилось взаимопонимание.

– Как говорит Джеральд, это метафизическое отвращение, – закончил Биркин.

Последовала неловкая пауза.

– Так ты, Киска, больше ничего не боишься? – спросил молодой русский своим желчным, глухим и чопорным голосом.

– Не совсем, – отвечала она. – Я много чего боюсь, но это же совсем др'угое. Вот кр'ови я совсем не боюсь.

– Не боишься кр'ови! – передразнил ее молодой человек с полным, бледным, насмешливым лицом, подсаживаясь к их столику со стаканом виски.

Киска посмотрела на него мрачным, неприязненным взглядом, полным презрения и отвращения.

– Ты в самом деле не боишься крови? – настаивал другой, насмешливо ухмыляясь.

– Нет, не боюсь.

– Да ты вообще когда-нибудь видела где-нибудь кровь, кроме как в плевательнице у зубного врача? – продолжал насмехаться молодой человек.

– Я не с тобой разговариваю! – надменно ответила она.

– Но ты же можешь ответить мне? – настаивал он.

Вместо ответа она внезапно пырнула ножом его полную бледную руку. Он с непристойной бранью вскочил на ноги.

– Сразу видно, кто ты такой, – презрительно заявила Киска.

– Да пошла ты! – огрызнулся молодой человек, стоя возле столика и глядя на нее сверху с раздражением и злобой.

– Прекратите! – повинувшись импульсу, резко приказал Джеральд.

Молодой человек не сводил с нее сардонически-презрительного взгляда, хотя на полном, бледном лице было только забитое и смущенное выражение. Из его руки текла кровь.

– Фу, какая гадость, уберите это от меня! – пискнул Халлидей, зеленея и отворачиваясь.

– Тебе нехорошо? – заботливо спросил сардонический молодой человек. – Тебе нехорошо, Джулиус? Черт, друг, это же ерунда, не позволяй ей тешить себя мыслью, что она все-таки тебя доконала – мужик, не давай ей повода для радости, она только этого и ждет.

– Ой! – пискнул Халлидей.

– Максим, он сейчас блеванет, – предупредила Киска.

Обходительный молодой русский встал, взял Халлидея под руку и увлек его за собой. Биркин, побледнев и съездившись, недовольно смотрел на все происходящее. Раненый сардонический молодой человек ушел, с самым завидным присутствием духа игнорируя свою кровоточащую руку.

– На самом деле он жуткий трус, – объяснила Джеральду Киска. – Он чересчур сильно виляет на Джулиуса.

– Кто он такой? – спросил Джеральд.

– На самом деле он еврей. Я его не выношу.

– Ну, давайте забудем про него. А что случилось с Халлидеем?

– Джулиус самый тр’усливый тр’ус на свете, – воскликнула она. – Он всегда падает в обморок, если я беру в руки нож – он меня боится.

– Хм! – хмыкнул Джеральд.

– Они все меня боятся, – сказала она. – Только евр’ей думает, что он сможет показать свою хр’абрость. Но среди них всех он самый большой тр’ус, потому что вечно волнуется о том, что люди о нем подумают – вот Джулиусу на это наплевать.

– Один стоит у подножья лестницы под названием «отвага», а другой – на самом ее верху – добродушно сказал Джеральд.

Киска посмотрела на него и медленно-медленно улыбнулась. Румянец и сокровенное знание, придававшее ей сил, делали ее неотразимой. В глазах Джеральда замерцали два огонька.

– Почему они зовут тебя Киской? Потому что ты ведешь себя как кошка? – поинтересовался.

– Да, думаю, что поэтому, – ответила она.

Он улыбнулся еще шире.

– Скорее всего; или как молодая самка пантеры.

– О боже, Джеральд! – с отвращением сказал Биркин.

Они оба напряженно взглянули на Биркина.

– Ты сегодня какой-то молчаливый, Р’уперт, – обратилась к нему девушка слегка высокомерным тоном, сознавая, что другой мужчина опекает ее в данный момент.

Вернулся Халлидей, у него был жалкий и больной вид.

– Киска, – сказал он. – Лучше бы ты этого не делала. Ох!

Он со стоном рухнул в кресло.

– Тебе лучше пойти домой, – посоветовала она ему.

– Я пойду домой, – сказал он. – Пойдем все вместе. Не зайдете к нам на квартиру? – предложил он Джеральду. – Я был бы очень рад. Пошли – было бы здорово. Ну что?

Он оглянулся в поисках официанта.

– Вызовите мне такси, – он вновь застонал. – О, я чувствую себя совершенно омерзительно!

Киска, смотри, что ты со мной сделала!

– И почему ты такой идиот? – с мрачным спокойствием спросила она.

– Но я же никакой не идиот! Как мне плохо! Давайте, поехали все вместе, будет здорово. Киска, ты тоже едешь. Что? О, ты обязательно должна поехать, да, должна. Что? Девочка моя, не трепыхайся, я себя прекрасно чувствую... О, как мне плохо! Фу! Уп! О!

– Ты же знаешь, что тебе нельзя пить, – холодно проговорила она.

– Я тебе говорю, это не алкоголь – это все из-за твоего омерзительного поведения, Киска, все только из-за него. Как мне плохо! Либидников, давай мы уже пойдем.

– Он выпил только один бокал, только один бокал, – торопливо и приглушенно сказал молодой русский.

Все двинулись к двери. Девушка держалась рядом с Джеральдом и, казалось, они двигались, словно единое целое. Он видел это, и сознание того, что его движений хватало на двоих, наполняло его демонической радостью. Он окутал ее своей волей, и она, скрывшись в ней от посторонних взглядов, растворившись в ней, нежно подрагивала.

Они впятером сели в такси. Халлидей, качаясь, ввалился первым и упал на сиденье у дальнего окна. Затем свое место заняла Киска, Джеральд сел рядом с ней. Они слышали, как молодой русский отдавал указания водителю, а после этого их, тесно прижавшихся друг к другу, накрыла крошечная тьма. Халлидей постанывал и высовывал голову в окно. Они почувствовали, как быстро и почти бесшумно автомобиль тронулся с места.

Киска сидела рядом с Джеральдом. Казалось, она таяла и пыталась нежно проникнуть в его сердце, вливалась в него, точно черная, наэлектризованная струя. Ее существо завораживающей тьмой проникало в его вены и скапливалось у основания позвоночника, готовое в любую секунду со страшной силой выплеснуться на поверхность.

И в то же время ее голос, что-то безразлично говоривший Биркину и Максиму, звучал пронзительно и беспечно. Это молчание, это темное, наэлектризованное взаимопонимание существовало только для нее и для Джеральда. Через некоторое время она нащупала его руку и своей твердой маленькой ручкой сжала ее. Это было такое таинственное, и в то же время такое откровенное заявление, что его тело и разум время от времени пронзала резкая дрожь, он больше не мог контролировать себя. А ее голос продолжал звенеть колокольчиком, но теперь в нем появились еще и насмешливые нотки. Она резко поворачивала голову и роскошная копна ее волос прикасалась к его лицу, и в этот момент его нервы раскалялись до предела, словно по ним пробегал электрический ток. Но средоточие его силы, расположенное у основания позвоночника, не поддавалось колебаниям, и это наполняло его сердце гордостью.

Они подъехали к высокому многоэтажному зданию, поднялись наверх в лифте. Дверь им открыл индус. Джеральд удивленно посмотрел на него, пытаясь понять, был ли он джентльменом – одним из индусов, обучающихся в Оксфорде. Но нет, это был слуга.

– Хасан, приготовь чай, – сказал Халлидей.

– Для меня место найдется? – спросил Биркин.

В ответ на этот вопрос слуга ухмыльнулся и что-то пробормотал.

Он пробудил в Джеральде неясные чувства – он был высоким, стройным и сдержанным, в общем, выглядел как джентльмен.

– Откуда ты взял такого слугу? – спросил он Халлидея. – Он настоящий щеголь.

– Да – потому что на нем одежда другого человека. На самом деле, он все что угодно, но только не щеголь. Он попрошайничал у дороги и умирал с голоду, там-то мы его и подобрали. Я привел его сюда, а один мой приятель снабдил его одеждой. Он совершенно не то, чем кажется. Единственное его достоинство в том, что он не говорит и не понимает по-английски, поэтому ему можно доверять.

– Он такой грязный, – торопливо и тихо сказал молодой русский.

Индус сейчас же возник в дверях.

– Что тебе нужно? – спросил Халлидей.

Индус осклабился и смущенно забормотал:

– Хотеть говорить с хозяин.

Джеральд заинтересованно наблюдал за ним. Стоящий в дверях мужчина был привлекателен и хорошо сложен, он держался спокойно и выглядел элегантно и аристократично. В то же время это был глупо ухмыляющийся дикарь.

Халлидей решил поговорить с ним в коридоре.

– Что?! – услышали гости его голос. – Что? Что ты говоришь? Повтори-ка. Что? Какие деньги?! Хочешь еще денег? Но зачем тебе деньги?

Индус что-то приглушенно говорил, затем Халлидей появился в комнате с такой же глупой улыбкой и сказал:

– Ему нужны деньги на нижнее белье. Одолжите мне кто-нибудь шиллинг. Вот спасибо, на шиллинг он купит все необходимое.

Он взял деньги у Джеральда и опять вышел в коридор, откуда раздался его голос:

– Ты не можешь просить еще денег. Ты и так вчера получил три фунта и шесть шиллингов. Ты не должен просить еще денег. Живо носи чай.

Джеральд окинул взглядом комнату. Это была обычная лондонская гостиная, которая, очевидно, сдавалась вместе с мебелью, а поэтому была совершенно уродливой и лишенной индивидуальности. Но ее украшали резные деревянные статуэтки, привезенные из Западной Африки, изображающие негров. Эти странные и вызывающие волнение деревянные негры походили на человеческие эмбрионы. Одна статуэтка изображала сидевшую на корточках обнаженную женщину с огромным животом и искаженным от боли лицом. Молодой русский объяснил, что в такой позе она рожала, судорожно сжимая руками концы свисающего с шеи жгута, тужась и помогая плоду продвигаться. Странное, пронзительное, едва намеченное художником лицо вновь напомнило Джеральду зародыш, и в то же время оно было прекрасно, так как свидетельствовало о невероятном накале физического чувства, не поддающемся разумному познанию.

– По-моему, это совершенное непотребство, – осуждающе заметил он.

– Не думаю, – ответил ему Максим. – Я никогда не мог понять, что люди вкладывают в понятие «непотребство». По-моему, это прекрасно.

Джеральд отвернулся. В комнате была пара современных картин, выполненных в футуристической манере, стояло большое пианино. Все это вкупе с обычной для лондонских домов мебелью не самого худшего пошиба, завершало обстановку.

Киска сняла шляпку и жакет и присела на диван. Было очевидно, что в этом доме она чувствует себя совершенно свободно, однако в ней все же была какая-то неловкость, напряженность. Она еще не поняла, в качестве кого она приехала в этот дом. На данный момент она была связана с Джеральдом и она не знала, осознавали ли это остальные мужчины. Она задумалась над тем, как будет выпутываться из сложившейся ситуации. Но она не отказывалась испытать то, что ей было суждено испытать. Сейчас, в начале одиннадцатого, ничто не могло ей помешать. Ее лицо покраснелось, словно после сражения, она рассеянно переводила взгляд с одного предмета на другой, смиряясь с неизбежным.

Слуга вернулся с чаем и бутылкой кюммеля. Он поставил поднос на столик возле дивана.

– Киска, – попросил ее Халлидей, – разлей чай.

Она не шелохнулась.

– Давай же! – повторил Халлидей тревожно-нервным тоном.

– Я пришла сюда не так, как приходила раньше, – сказала она. – Я пришла сюда только потому, что так хотели другие, ты здесь не причем.

– Моя дорогая Киска, ты сама себе хозяйка. Мне просто хочется, чтобы ты использовала эту квартиру на свое усмотрение – ты знаешь это, я тебе уже тысячу раз это говорил.

Она ничего не сказала, а лишь медленно и скованно протянула руку к чайнику.

Все расселись по местам и стали пить чай. Джеральд так ясно ощущал электрическое притяжение между ним и девушкой, такой тихой и молчаливой, что еще целый ряд условностей растворился в небытии. Ее молчание и неподвижность озадачивали его. Каким же образом сможет он добиться ее близости? Тем не менее, он не сомневался, что это случится. Он полностью доверял захватившему их потоку. Его замешательство было деланным, старые условности были разрушены, на смену им пришли новые; теперь каждый делал то, что говорило ему сердце, не обращая внимание на то, что именно оно говорило.

Биркин поднялся с места. Был уже час ночи.

– Я пошел спать, – сказал он. – Джеральд, я позвоню утром тебе домой или же ты позвони мне сюда.

– Хорошо, – сказал Джеральд, и Биркин вышел.

После его ухода прошло достаточно много времени, и вдруг Халлидей бодрым голосом предложил Джеральду:

– Слушай, оставайся у меня. Оставайся!

– Мы все не уместимся, – ответил Джеральд.

– Прекрасно уместимся – у нас есть еще три кровати помимо моей – давай же, оставайся. Все уже готово – здесь всегда кто-то есть, все всегда умещаются – обожаю, когда в доме полно народу.

– Но комнат-то всего две, – сказала Киска холодным злым голосом, – Руперт же тут.

– Я знаю, что комнаты всего две, – сказал Халлидей своим странно-высоким тоном. – И что из этого?

Его лицо расплзлось в глупой улыбке, в его голосе слышались напряженность и двусмысленная решимость.

– Мы с Джулиусом будем спать в одной комнате, – сказал русский своим тихим, отчетливым голосом. Они с Халлидеем дружили еще со времен учебы в Итоне.

– Все просто, – сказал, вставая, Джеральд и потянулся, сложив руки за спиной. Затем он вновь стал рассматривать одну из картин. Его ноги каждой жилкой ощущали электрические волны, а в спине, напрягшейся, точно у тигра перед прыжком, разгоралось вводящее в оцепенение пламя. Он был безгранично удовлетворен собой.

Киска поднялась с места. Она метнула на Халлидея мрачный взгляд, взгляд полный тьмы и смертельного холода, при виде которого молодой человек глуповато-довольно расплылся в улыбке. Она вышла из комнаты, холодно произнеся в пустоту: «Спокойной ночи».

Повисла короткая пауза, они услышали, как закрылась дверь, и Максим произнес своим отшлифованным голосом:

– Вот и отлично.

Он многозначительно посмотрел на Джеральда и повторил, кивнув головой:

– Вот и отлично. Ты как раз то, что нужно.

Джеральд взглянул на гладкое румяное, не лишенное привлекательности лицо и на странные, полные непонятных мыслей глаза, и ему показалось, что тихий и безупречный голос молодого русского вибрирует внутри него, а не в воздухе.

– Значит, я то, что надо, – сказал Джеральд.

– Да-да! Ты как раз то, что надо, – повторил русский.

Халлидей лишь улыбался и молчал.

Внезапно в дверях вновь возникла Киска. На ее детском личике было замкнутое и мстительное выражение.

– Я знаю, вы хотите вывести меня на чистую воду, – низким ледяным голосом сказала она. – Но мне все равно, мне плевать на то, насколько я вам поддамся.

Она повернулась и снова вышла из комнаты. На этот раз на ней был перехваченный на талии просторный халат из пурпурного шелка. Она выглядела такой маленькой, по-детски незащитной, возбуждающей жалость. И все же мрачный взгляд ее глаз потопил Джеральда в мощном темном пугающем потоке.

Мужчины вновь закурили и продолжали разговаривать о пустяках.

## **Глава VII**

### **Фетиш**

Наутро Джеральд проснулся довольно поздно. Спал он очень крепко. Киска еще не просыпалась, во сне она была похожа на трогательную маленькую девочку. В ее хрупком, свернувшимся комочком теле было что-то незащитное, и это возбуждало в жилах молодого



человека страстное, неудовлетворенное пламя и острую мучительную жалость. Он посмотрел на нее еще раз. Нет, будить ее было бы жестоко. Он подавил в себе это желание и вышел. Услышав, что Халлидей и Либидников разговаривают в гостиной, он подошел к двери и заглянул в комнату. На нем был красивый голубой шелковый халат с отделкой из ткани аметистового цвета по краям.

К его удивлению, молодые люди стояли возле камина совершенно обнаженными. Халлидей радостно поднял голову.

– Доброе утро, – поздоровался он. – Ах да! Тебе, наверное, нужны полотенца.

И так же без одежды он направился в холл – его белое тело, движущееся между мебелью, странным образом контрастировало с неодушевленной обстановкой комнаты. Он вернулся с полотенцами в руках и занял свое прежнее место, присев на корточки перед каминной решеткой.

– Как чудесно чувствовать всей кожей тепло огня! – сказал он.

– Да, это действительно приятно, – подтвердил Джеральд.

– Как, должно быть, здорово жить в климате, где можно вовсе обойтись без одежды, – сказал Халлидей.

– Да, – сказал Джеральд. – При условии, что там не будет всевозможных кусачих и жалящих тварей.

– Это и впрямь недостаток, – пробормотал Максим.

Джеральд с легким отвращением взглянул на животное в человеческом облике, голое и златокожее, оскорбляющее своей наготой окружающих. Халлидей был другим. У него было массивное, вялое, плотное белое тело, он был красив какой-то тяжелой, надломленной красотой. Он выглядел как Христос в «Пьете». В нем не было совершенно ничего животного – только тяжелая, надломленная красота. И Джеральд вдруг осознал, что глаза Халлидея тоже были прекрасными – голубыми, сияющими теплым, смущенным и опять же надломленным взглядом. Отблески пламени ложились на его плотные, слегка покатые плечи, он сгорбившись сидел перед камином, обратив лицо вверх – лицо слабого, порочного человека, но тем не менее обладающее особой трогательной красотой.

– Тебе лучше знать, – прибавил Максим, – ты же побывал в жарких странах, где люди вообще не знают, что такое одежда.

– Правда? – воскликнул Халлидей. – А где именно?

– В Южной Америке – на Амазонке, – признался Джеральд.

– Как чудесно! Одно из моих заветных желаний – жить день за днем без единого клочка одежды. Если бы мне это удалось, я бы сказал, что прожил жизнь не напрасно.

– Но почему? – спросил Джеральд. – По-моему, что в одежде, что без нее – разница небольшая.

– Но это было бы просто великолепно. Я уверен, что жизнь стала бы совершенно другой – полностью другой, необычайно прекрасной.

– С чего бы это? – спросил Джеральд. – В чем бы изменилась твоя жизнь?

– О! Можно было бы чувствовать мир всем телом, а не просто смотреть на него. Я бы ощущал движение воздуха всей кожей, чувствовал бы все, к чему прикасаюсь, а не был бы только сторонним наблюдателем. Я считаю, жизнь превратилась в кошмар, потому что она стала слишком зримой – мы забыли, что значит слышать, осязать, понимать, мы умеем только видеть. Мне кажется, так быть не должно.

– Да, все верно, это так, – согласился русский.

Джеральд взглянул на него и увидел перед собой гладкое золотистое тело, покрытое в некоторых местах черными волосами, свободно завивающимися красивыми завитками, и ноги, похожие на гладкие стебли растений. У этого русского был цветущий вид, сложен он был хорошо, так откуда же взялось это чувство стыда, это отвращение? С чего вдруг Джеральд ощутил крайнюю неприязнь, почему это унижало его чувство собственного достоинства? «Неужели только в этом и заключается сущность человека? Как банально!» – размышлял он.

Внезапно в дверях в белой пижаме, с мокрыми волосами и брошенным на руку полотенцем возник Биркин. Он был бледен, держался замкнуто и выглядел так, словно в любую минуту растворится в пространстве.

– Если кого интересует, ванная свободна, – сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь, и собирался было уйти, когда Джеральд окликнул его:

– Руперт, подожди!

– Что?

Одинокая белая фигура появилась вновь, заполнив собой пустоту дверного проема.

– Что ты думаешь о той статуэтке? Мне интересно твое мнение, – спросил Джеральд.

Бледный, удивительно похожий на призрак Биркин приблизился к резной фигурке, изображающей рожавшую негритянку. Ее обнаженное, выпяченное вперед тело застыло в странном оцепенении, руками она вцепилась в концы жгута, завязанного чуть ниже груди.

– Это искусство, – сказал Биркин.

– Она прекрасна, она просто прекрасна, – сказал русский.

Все столпились вокруг и пристально рассматривали ее. Джеральд окинул группу мужчин взглядом: золотого, похожего на водное растение русского, высокого, плотного и трогательно-красивого Халлидея; мертвенно-бледного Биркина, который никак не мог решить, какие чувства вызывает в нем эта резная женская фигурка. Ощувив непонятное возбуждение, Джеральд взглянул в лицо деревянной женщины. И его сердце сжалось.

Он живо представил себе посеревшее, наклоненное вперед лицо негритянки с характерными для ее расы чертами, – лицо напряженное, во власти сильнейшего стресса не замечавшее окружающего мира. Это было ужасное лицо, пустое лицо с обострившимися чертами, с которого сила внутренней боли стерла все эмоции. В этом лице ему привиделась Киска. Словно в бреду, он понял – это она.

– Почему же вы называете это искусством? – не испытывая ничего, кроме крайнего отвращения, спросил Джеральд.

– В ней вечная истина, – ответил Биркин. – Она является олицетворением этого состояния, нравится ли тебе это или нет.

– Но это нельзя назвать высоким искусством, – заявил Джеральд.

– Высоким! За этой резьбой стоят сотни и сотни веков развития по прямой; это в какой-то мере высшее проявление культуры.

– Какой культуры? – спросил Джеральд, пребывающий во власти совершенно иных чувств. Эта африканская штукавина не вызвала у него ничего, кроме крайней гадливости.

– Настоящей чувственной культуры, культуры физического познания, физического познания в самом крайнем его проявлении, в котором участвует не разум, а только чувства. В ней столько чувства, что она восхитительна, она совершенна.

Но это несколько не соответствовало взглядам Джеральда. Ему хотелось сохранить хоть какие-нибудь иллюзии, хоть какие-то убеждения, например, что люди должны ходить одетыми.

– Руперт, тебе нравится то, что не должно нравиться, – сказал он, – причем вопреки тебе самому.

– Да, я знаю, но это еще ни о чем не говорит, – направившись к двери, ответил Биркин.

Когда Джеральд шел из ванной в свою комнату, одежда была у него в руках. Дома он настолько тщательно придерживался условностей, что когда он уезжал и наслаждался свободой, как в данный момент, ничто не доставляло ему столько удовольствия, как полнейшее пренебрежение существующими правилами. Так он и шел, накинув на руку свое голубое одеяние, чувствуя, что бросает вызов всему миру.

Киска недвижно лежала на кровати, а ее круглые, темные глаза походили на грустные черные колодцы. Похоже, она страдала. Ее непонятная боль пробуждала в нем жгучее первобытное пламя, едкую жалость, страстное желание вновь заставить ее страдать.

– Ты уже проснулась? – спросил он.

– Который час? – тихо спросила она.

Он приблизился к ней, но она отшатнулась от него, беспомощно вжавшись в подушки и нырнув в них, как в воду. Ее глаза смотрели наивно, как у рабыни, которой овладел хозяин, и чей удел – вновь и вновь быть ему игрушкой, и острое желание пронзило его тело. В конце концов, его воля была законом, и ей придется беспрекословно ему повиноваться. Его тело неувлимо подрагивало. И в этот момент он понял, что должен избавиться от нее, что между ними должен произойти полный разрыв.

Завтрак прошел тихо и совершенно обычно, все четверо мужчин смотрелись свежо и опрятно.

Джеральд и русский выглядели, да и вели себя очень раскованно и *comme il faut*<sup>11</sup>, Биркин выглядел болезненно и изможденно: было видно, что в отличие от Джеральда и Максима он не смог одеться со всей аккуратностью. На Халлидее были твидовые брюки, зеленая фланелевая рубашка и какая-то тряпочка вместо галстука, что как раз соответствовало его натуре. Индус принес на подносе целую гору мягкого поджаренного хлеба, и похоже, в его облике с прошлого вечера ничто не изменилось – он был все тот же до кончиков ногтей.

Когда завтрак был почти закончен, появилась Киска, на которой был пурпурный халат с блестящим кушаком. Она немного пришла в себя, но все так же молчала и безучастно смотрела вокруг. Ее мучило настойчивое стремление окружающих вовлечь ее в разговор. Ее лицо напоминало искусную маску – под страдальческим выражением таились упрямство и злоба. День уже добрался до своей середины. Джеральд поднялся и ушел по делам, радуясь, что ему удалось выбраться. Но это был еще не конец. Он собирался вернуться вечером, так как они решили вместе пообедать, а затем отправиться на представление в мюзик-холл, где он забронировал места для всех, кроме Биркина.

Домой они вернулись поздно вечером, как и в прошлый раз, разгоряченные крепкими напитками. И опять слуга – который неизменно исчезал между десятью и двенадцатью часами ночи – не говоря ни слова, с загадочным видом внес в комнату поднос с чаем и медленно, словно леопард, наклонился, опуская его на столик. Его лицо было бесстрастным, аристократичным, кожа немного отливала серым; он был молод и привлекателен. Но Биркина при виде его слегка подташнивало: легкий сероватый оттенок кожи говорил ему о порочных наклонностях и прогнившей сердцевине, таившихся под налетом аристократизма и таинственности, которым так и не удалось скрыть ужасающую животную тупость. Как и прошлый раз, они задушевно и возбужденно болтали. Но сейчас среди них произошел раскол – Биркин раздраженно выходил из себя, Халлидей безумно ревновал к Джеральду, Киска была непреклонной и холодной, как камень, а Халлидей из кожи вон лез, чтобы привлечь ее внимание. Было видно, что она намеревалась в конце концов окрутить Халлидея, полностью подчинить его себе.

Наутро они опять слонялись без дела и проводили время в праздности. Но Джеральд чувствовал, что над ним сгущаются тучи всеобщей неприязни. Это разбудило в нем упрямство и он решил выстоять любой ценой. Он остался еще на два дня.

Все закончилось омерзительной, безумной сценой, которую Халлидей закатил вечером четвертого дня. Когда они были в кафе, Халлидей набросился на Джеральда с непонятной злобой. Последовала ссора. Джеральд чуть было не подбил Халлидею глаз, но внезапно его охватило резкое отвращение, он потерял ко всему интерес и покинул поле битвы, позволив Халлидею злорадно торжествовать с самым глупейшим видом, Киске – поджимать губки и гнуть свою линию, а Максиму – все так же ни во что не вмешиваться. Биркина с ними не было, он вновь уехал из города.

Джеральд был раздосадован, потому что он ушел, не дав Киске денег. Правда, ей было все равно, дал он ей денег или нет, и он это знал. Но она была бы рада получить десять фунтов, а он бы с радостью ей их дал. Теперь ему было неловко. Он ушел, покусывая губы и кончики коротко подстриженных усов. Он знал, что Киска избавилась от него без малейших сожалений.

---

<sup>11</sup> Благопристойно. (фр.)

Она получила своего Халлидея, которого она так хотела все это время. Она хотела подчинить его своей власти. После этого она выйдет за него замуж. Она желала выйти за него замуж. Она задалась целью стать женой Халлидея. О Джеральде она и слышать больше не хотела; если только когда-нибудь не наступят тяжкие времена, ведь, в конце концов, Джеральд был из тех, кого она называла мужчинами; все же остальные – Халлидей, Либидников, Биркин, вся эта богема – были мужчинами только наполовину. Но она могла жить только среди таких полумужчин. Настоящие же мужчины, такие как Джеральд, чересчур откровенно указывали ей ее место.

И все же Джеральда она уважала, она питала к нему настоящее уважение. Ей удалось узнать его адрес на случай, если в трудную минуту она вдруг решит обратиться к нему. Она знала, что он хотел расплатиться с ней. Что ж, в один далеко не прекрасный день, который неизбежно да наступит, она ему напишет.

## Глава VIII

### Бредолби

Усадьба Бредолби, георгианского стиля дом с коринфским портиком, располагалась в тихой и зеленой части графства Дербишир, на холмах недалеко от Кромфорда. Из окон на фасаде здания открывался вид на луг, деревья, и далее на тихую низинную часть парка, где цепочкой тянулись полные рыбы пруды. Позади стояли деревья, среди которых виднелись конюшни и большой огород, а за ними уже начинался лес.

Место это было очень тихим – до дороги было несколько миль, и к тому же имение располагалось в стороне от озера Дервент, далеко от тех мест, где жизнь кипела ключом.

Между деревьями молчаливое и позабытое всеми золотисто сияло обращенное фасадом к парку здание, не менявшееся на протяжении долгого времени и не имеющее намерений меняться.

В последнее время Гермiona подолгу жила в имении. Она променяла Лондон и Оксфорд на тишину сельской жизни. Отца ее никогда не было: все свое время он проводил в путешествиях, поэтому в доме она жила либо в одиночестве – в компании нескольких своих друзей – либо же с братом-холостяком, членом парламента от Либеральной партии.

Он приезжал в имение, когда в Палате не было заседаний, поэтому, хотя он самым что ни на есть добросовестнейшим образом выполнял свои обязанности, в Бредолби он бывал постоянно. Урсула и Гудрун во второй раз приехали в гости к Гермione в самом начале лета. Они въехали в парк на машине, и их взгляду открылись ложбина с недвижимыми рыбными прудами, украшенный колоннами изящный фасад здания, залитый солнцем и словно сошедший с рисунка художника старой английской школы, и зеленый склон холма в просвете между деревьями. По зеленой лужайке к огромному кедровому дереву с раскидистой кроной шли женщины в платьях лавандового и желтого цвета.

– Это же само совершенство! – отметила Гудрун. – В этом пейзаже есть совершенство старой акварели.

В ее голосе слышались неприязненные нотки, словно картина вызывала у нее восторг вопреки ее настоящим чувствам, словно что-то насильно заставляло ее любоваться этой картиной.

– Тебе нравится? – спросила Урсула.

– Нет, не нравится, хотя в некотором смысле, мне кажется, этот пейзаж можно считать идеальным.

Машина в едином порыве спускалась с холма и вновь поднималась вверх, и вскоре они уже поворачивали к боковому входу. Появилась служанка, а вслед за ней и Гермiona, которая шла, приподняв свое бледное лицо и протянув руки навстречу прибывшим девушкам с протяжными словами:

– А вот и вы – я так рада вас видеть, – она поцеловала Гудрун, – так рада вас видеть, – она поцеловала Урсулу и замерла, обняв ее. – Вы очень устали?

– Мы вовсе не устали, – ответила Урсула.

– Вы устали, Гудрун?

– Во все нет, благодарю вас, – ответила Гудрун.

– Нет... – протянула Гермiona. Она продолжала стоять, не спуская с них взгляда. Девушки смутились – вместо того, чтобы пригласить их в дом, она устроила свою приветственную церемонию здесь, на пороге. Слуги замерли в ожидании.

– Проходите в дом, – наконец пригласила Гермiona, рассмотрев обеих с головы до пят. Она в очередной раз признала, что из двух девушек Гудрун была красивее и привлекательнее, Урсула же была более земной, более женственной. Что касается одежды, то ей больше нравилось, как одета Гудрун. На ней было платье из зеленого поплина, сверху она накинула просторный жакет из ткани в темно-зеленую и темно-коричневую полоску. Шляпку из светлой соломы цвета молодого сена украшала черно-оранжевая плиссированная лента; на ногах были темно-зеленые чулки и черные туфли.

Этот костюм был красив, соответствовал моде и подчеркивал индивидуальность своей обладательницы. Урсула в своем темно-синем выглядела тоже хорошо, хотя и более заурядно. Сама же Гермiona была в иссиня-черном шелковом платье, украшенном коралловым ожерельем, и в кораллово-красных чулках. Но ее платье было измято и покрыто пятнами, можно даже сказать, что оно было грязным.

– Вы, наверное, хотите взглянуть на свои комнаты. Да, давайте прямо сейчас и поднимемся.

Урсула обрадовалась, что наконец появилась возможность остаться в комнате одной.

Но Гермiona медлила. Она стояла слишком близко к Гудрун, навязывая свою близость, чем совершенно смутила и испугала девушку. Казалось, она намеревалась нарушить свой привычный распорядок.

Ланч подали на лужайке под большим деревом с темными, толстыми, сгибающимися до самой земли ветками. Среди гостей были: хрупкая и одетая по последней ноте молодая итальянка; некая мисс Бредли, молодая атлетического вида женщина; сухопарый ученый баронет пятидесяти лет, сыпавший остротами и добродушно посмеивавшийся над всеми резким, напоминавшим лошадиное ржанье, смехом; присутствовали также Руперт Биркин, женщина-секретарь и некая фрейлейн Мерц, молодая, стройная и красивая.

Что ж, еда здесь была отличной. Гудрун, которая на все смотрела критически, дала ей наивысшую оценку. Урсуле нравилось все происходящее: накрытый белой скатертью стол под кедровым деревом, аромат солнечного утра, усыпанные листвой деревья в парке, мирно пасущийся вдалеке олень. Казалось, это место окружено магическим ореолом, который оставлял настоящее снаружи и, словно во сне, увлекал ее в дивное, бесценное прошлое, где было место и для деревьев, и для оленей, и для тишины.

Но она не чувствовала присутствия духа. Слова сыпались, словно картечь, – ни один человек не сказал ничего, что не было бы немного претенциозным; наоборот, эта претенциозность только подчеркивалась постоянными вкраплениями острот, постоянными подбрасыванием в разговор шуток, которые по замыслу должны были придать бурлящему словесному потоку легкомысленные нотки – хотя собравшиеся затрагивали только общие темы и к тому же критиковали всех и вся, – поэтому разговор напоминал не бурлящий поток, а скорее, канаву со стоячей водой.

За столом царил наводящая скуку атмосфера интеллектуальной борьбы. Абсолютно доволен был только пожилой социолог, который обладал настолько замысловатым складом ума, что совершенно не воспринимал происходящее. Биркин впал в уныние. Как выяснилось, Гермiona с удивительной настойчивостью стремилась высмеять и опозорить его перед другими. И она на удивление далеко зашла в своем стремлении, он же был совершенно беспомощен против нее. Она, казалось, сравнивала его с землей. Не часто попадавшие в такое общество Урсула и Гудрун по большей части молчали и только прислушивались к медленным, напыщенным песнопениям



Гермионы, словесным остроумам сэра Джошуа, щебету фрейлейн и ремаркам двух других женщин.

Ланч закончился, под кедр был принесен кофе, гости вышли из-за стола и пересели в расставленные повсюду – и в тени, и на солнце – садовые кресла. Фрейлейн направилась к дому, Гермиона занялась вышивкой, маленькая графиня взяла книгу, мисс Бредли принялась плести корзинку из соломки. Летнее утро уже сменял день, они сидели на лужайке, неторопливо занимались своими делами и перекидывались умными, тщательно обдуманными фразами.

Внезапно послышался скрип тормозов и звук закрывающейся дверцы автомобиля.

– А вот и Солси приехал! – неторопливо пропела Гермиона своим удивительно протяжным голосом. Отложив работу, она медленно поднялась, неторопливо прошла по газону и исчезла за кустами.

– Кто приехал? – переспросила Гудрун.

– Мистер Роддис, брат мисс Роддис – по крайней мере, мне кажется, это он, – пояснил сэр Джошуа.

– Да, это Солси, ее брат, – сказала маленькая графиня, отрываясь на мгновение от книги и совершенно обыденным голосом произнося эту фразу, выговаривая при этом английские звуки на итальянский манер – гортанно и глубоко.

Все замерли в ожидании. Наконец из-за кустов показалась высокая фигура Александра Роддиса, который романтично вышагивал большими шагами – прямо вылитый герой Мередита, которого тот списал с Дизраэли.

Он сердечно поздоровался и сразу же принял на себя обязанности хозяина дома, выказывая непринужденную гостеприимность, с которой он всегда относился к друзьям Гермионы. Он только что вернулся из Лондона с заседания палаты. На лужайке сразу же повеяло духом Палаты общин: министр внутренних дел сказал то-то и то-то, а он, Роддис, напротив, считает то-то и то-то, поэтому премьер-министру он сказал то-то и то-то.

Вскоре из-за кустов появилась Гермиона, но не одна, а в сопровождении Джеральда Крича. Он приехал вместе с Александром. Джеральда представили гостям, Гермиона несколько мгновений подержала его у всех на виду, а затем увлекла его в сторону. Было очевидно, что сейчас именно он был ее почетным гостем.

В кабинете министров произошел раскол; под давлением резкой критики министр образования ушел в отставку. Это положило начало беседе о проблемах образования.

– Конечно, – сказала Гермиона, устремляя лицо ввысь, словно рапсод, – ничто иное не может оправдать существование образования, кроме как радость и удовольствие, которое испытывает человек, обладая знаниями.

В нее голове вихрем проносились какие-то никому не ведомые мысли, она на мгновение задумалась, но вскоре продолжила:

– Профессиональное образование вообще не стоит называть словом «образование» – здесь понятие «образование» утрачивает свой смысл.

Джеральд, учуяв запах спора, радостно собрался с силами и приготовился к выпад.

– Не всегда, – сказал он. – Разве образование это не та же гимнастика для ума, разве то, что, по-вашему, разрушает само понятие образования, не является детищем ума развитого, ума, полного идей, живого?

– Как здоровое, готовое ко всему тело является детищем спорта! – воскликнула мисс Бредли, всем сердцем поддерживая его мысль.

Гудрун молча посмотрела на нее полным отвращения взглядом.

– Ну, – протянула Гермиона, – не знаю. Я, например, получаю огромное удовольствие, когда узнаю что-то новое, это так чудесно; ничто не значит для меня больше, чем познание конкретных фактов – я могу смело сказать, что это именно так.

– Познание чего именно, Гермиона? – спросил Александр.

Гермиона подняла лицо и пробормотала:

– М-м-м, не знаю. Но одним из таких моментов были звезды – я тогда многое узнала о звездах, многое поняла про них. Я тогда чувствовала себя так возвышенно, так раскрепощенно...

Биркин, побелев от гнева, посмотрел на нее.

– Да зачем тебе эта раскрепощенность? – саркастически спросил он. – Ты же не хочешь быть раскрепощенной.

Гермиона обиженно отшатнулась.

– Послушайте, но подобное ощущение безграничной свободы знакомо каждому, – вмешался Джеральд. – Так чувствуешь себя, когда забираешься на вершину горы и видишь оттуда Тихий океан.

– «Когда, преодолев Дарьенский склон, необозримый встретил он простор»<sup>12</sup>, – пробормотала итальянка, на мгновение поднимая глаза от книги.

– И даже не обязательно Дарьенский, – заметил Джеральд, а Урсула рассмеялась.

Гермиона подождала, пока улягутся страсти, и совершенно равнодушным тоном продолжала:

– Да, знание – это величайший дар жизни. Если ты обладаешь знанием, значит, ты счастлив, ты свободен.

– Разумеется, знание – это свобода, – поддакнул Маттесон.

– Спрессованная в таблетки, – вставил Биркин, окидывая взглядом сухопарого, застывшего в одной позе баронета.

Гудрун тут же представила знаменитого социолога в виде плоского пузырька с таблетками из спрессованной свободы внутри. Это ее развеселило. Теперь сэр Джошуа был навеки запечатлен в ее памяти, так как у него было там свое место и свой ярлык.

– Что ты такое говоришь, Руперт? – холодно осадил его Гермиона.

– Если говорить прямо, – ответил тот, – познать можно только что-то завершенное, то, что осталось в прошлом. Это как если бы мы, консервируя крыжовник, закупорили вместе с ним в банке свободу, которой наслаждались прошлым летом.

– Неужели можно познавать только прошедшее? – язвительно спросил баронет. – Можем ли мы сказать, что, зная законы гравитации, мы прикасаемся к прошлому?

– Без сомнения, – ответил Биркин.

– Я сейчас прочитала изумительную вещь, – внезапно вклинилась в разговор маленькая итальянка. – Тут говорится, что мужчина подошел к двери и торопливо бросил глаза на улицу. Все расхохотались. Мисс Бредли подошла и заглянула в книгу через плечо графини.

– Вот! – показала графиня.

– «Базаров подошел к двери и торопливо бросил глаза на улицу», – прочитала она.

Опять раздался громкий смех, но самым странным из всех был смех баронета, прозвучавший, словно грохот камнепада.

– Что это за книга? – живо спросил Александр.

– «Отцы и дети» Тургенева, – ответила маленькая иностранка, отчетливо выговаривая каждый слог. Она взглянула на обложку, словно проверяя себя.

– Старое американское издание, – сказал Биркин.

– Ха, разумеется, перевод с французского, – проговорил Александр четко и ясно, как оратор. – *Bazarov ouvra la porte et jeta les yeux dans la rue.*

Он радостно взглянул на остальную компанию.

– Интересно, откуда взялось «торопливо»? – спросила Урсула.

Все начали строить предположения. И тут, ко всеобщему удивлению, они увидели, что к ним с подносом чая спешит служанка. День прошел очень быстро.

После чая все стали собираться на прогулку.

---

<sup>12</sup> «Когда, преодолев Дарьенский склон, Необозримый встретил он простор» – строка из стихотворения Дж. Китса «При первом прочтении Чапменовского Гомера», пер. С. Сухарева (цит. по книге «Дж. Китс. Стихотворения. Серия „Литературные памятники“, Л.: Наука, 1986)

– Не хотите ли прогуляться? – обратилась к ним Гермiona, подходя к каждому в отдельности. Все отвечали положительно, словно узники, которых выводили на прогулку.

Отказался только один Биркин.

– Руперт, ты пойдешь на прогулку?

– Нет, Гермiona.

– Ты уверен?

– Абсолютно.

Произошла заминка.

– И почему же? – вопросительно пропела Гермiona.

Сознание, что кто-то осмеливается ей противоречить даже в такой мелочи, подняло бурю в ее крови. Прогулка по парку была предназначена для всех без исключения.

– Потому что мне не нравится маршировать в толпе, – ответил Руперт.

На какое-то мгновение слова застряли у нее в горле. Но затем она с каким-то удивительным спокойствием парировала:

– Ну, если малыш раскапризничался, оставим его здесь.

Она получала истинное удовольствие, оскорбляя его. Но он от этих слов только еще больше замкнулся в себе.

Она направилась к остальным и повернулась только чтобы помахать ему платком и со странным смешком протянула:

– Пока-пока, малыш.

«Иди-иди, наглая стерва», – сказал он про себя.

Гости шли по парку. Гермiona хотела показать гостям дикие нарциссы на склоне холма.

– Сюда, сюда, – временами раздавался ее протяжный голос. И им приходилось к ней подходить. Нарциссы были очень красивыми, но разве они кого-нибудь интересовали? К этому времени Урсулу уже тошнило от отвращения, тошнило от самой атмосферы этого места. Гудрун иронично и беспристрастно наблюдала за всем происходящим, подмечая даже самые незначительные детали.

Они подошли посмотреть на пугливого оленя. И Гермiona заговорила с ним так, словно он тоже был маленьким мальчиком, которого ей хотелось обнять и приласкать. Он же был самцом, и поэтому она просто обязана была распространить на него свою власть. К дому они возвращались мимо прудов, и по дороге Гермiona рассказала им о ссоре между двумя лебедями, которые сражались за любовь одной лебедушки. Она со смехом и издевкой описывала, как проигравший соперник сидел на каменистом берегу и прятал голову под крыло. Когда они вернулись к дому, Гермiona остановилась на лужайке и высоким голосом, проникающим во все уголки усадьбы, протянула:

– Руперт! Руперт! – она произносила первый слог протяжно и четко, а второй почти проглатывала. – Ру-у-у-уперт!

Но ответа не последовало. Зато появилась служанка.

– Алиса, а где мистер Биркин? – тихо и слабо поинтересовалась Гермiona. Но какое же настойчивое, почти безумное желание скрывалось под этим бесстрастным голосом!

– Мне кажется, он в своей комнате, мадам.

– В комнате?

Гермiona медленно поднялась по ступенькам, прошла по коридору, вытягивая своим тихим высоким голосом:

– Ру-у-у-уперт! Ру-у-у-уперт!

Она подошла к двери и побарабанила по ней пальцами, продолжая звать:

– Ру-у-у-уперт!

– Что? – наконец раздался его голос.

– Чем ты там занимаешься?

Вопрос прозвучал мягко и пылливо.

Ответа не последовало. Потом он все же открыл дверь.

– Мы вернулись, – сказала Гермiona. – Нарциссы просто очаровательны.

– Да, – произнес он. – Я их уже видел.

Она бросила на него из-под ресниц внимательный, пристальный, бесстрастный взгляд.

– Видел? – эхом повторила она. И застыла на месте, не сводя с него глаз. Ее необычайно возбуждала эта война между ними, когда он вел себя, словно беспомощный капризный мальчишка, а она укрывала его от всех невзгод здесь, в Бредолби. Однако в глубине души она понимала, что разрыв между ними неизбежен и поэтому она инстинктивно ненавидела его.

– Чем ты тут занимался? – переспросила она мягким, безразличным тоном. Он не ответил, поэтому она, почти не осознавая, что делает, прошла в его комнату.

Он снял со стены ее будуара китайский рисунок, на котором были изображены гуси, и с удивительным умением и живостью копировал его.

– А, копируешь рисунок, – сказала она, подходя к столу и рассматривая его работу. – Да. Как замечательно у тебя получается! Тебе очень нравится этот рисунок?

– Он просто великолепен, – ответил он.

– Да? Я рада, что тебе нравится, потому что мне он тоже был всегда по душе. Мне подарил его китайский посол.

– Я знаю, – сказал он.

– Но зачем ты его копируешь? – спросила она небрежно, растягивая слова. – Почему бы не нарисовать что-нибудь свое?

– Я хочу понять этот рисунок, – ответил он. – Если скопировать этот рисунок, то можно узнать о Китае больше, чем если прочтешь множество книг.

– И что же тебе удалось понять?

В тот же момент все ее чувства обострились, она, казалось, запустила в него свои огромные щупальца, чтобы высосать из него все его секреты. Она должна была овладеть его знаниями. Ее терзало страшное, гнетущее желание, почти мания – узнать все, что узнал он.

Несколько мгновений он молчал, потому что ему ужасно не хотелось ей отвечать. Затем, подчиняясь ее настойчивости, он начал:

– Я знаю, где сосредоточена жизненная сила китайцев, как они чувствуют и воспринимают реальность, что гусь – это горячее, пронзающее воду средоточие в потоке холодной воды и грязи, я знаю, как гусиная кровь жгучим, жалящим теплом проникает в кровь китайцев подобно разрушительному огню, я знаю, как обжигает холод этой грязи, я знаю, в чем кроется загадка лотоса.

Гермiona искоса посмотрела на него. Щеки ее были мертвенно-бледны, глаза странно и опьяненно взирали из-под тяжелых, почти смыкающихся век, а плоская грудь конвульсивно вздымалась.

Он взглянул на нее с дьявольским и непреклонным выражением в глазах, и ее вновь охватило странное раздражение. Она отвернулась, словно ей стало плохо, и вновь ощутила, что разрыв неизбежен. Ее разум не смог понять его слова, Биркин захватил ее врасплох, сметая все ее защитные механизмы, и уничтожил ее, словно он владел какой-то коварной, магической силой.

– Да, – повторяла она, не понимая, что говорит. – Да.

Она сглотнула и попыталась взять себя в руки. Но это ей не удалось, она была неспособна понять его слова, ее воля была парализована. И хотя она призвала на помощь все свои силы, ей никак не удавалось оправиться от нанесенного им удара. Разбитая и уничтоженная, она ощущала всю боль и весь ужас своей гибели. А он все смотрел на нее, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Она мертвенно побледнела – казалось, кто-то выпил из ее жил всю кровь, и теперь она походила на привидение или на человека, которого мучают разъедающие душу призраки смерти. Она распрощалась с жизнью, словно мертвец, у которого разорвались все связи с божественной силой и внешним миром. Он же был все так же неумолим, все так же желал отомстить ей.

Когда Гермiona спустилась к ужину, в ней появилось что-то необычное, потустороннее; ее глаза смотрели тяжело, они были чернее тучи и в них читалась какая-то непонятная сила. Она надела

платье из жесткой парчи светло-болотного цвета, которое плотно облегалo ее тело и делало ее выше, страшнее, бледнее. Яркий свет, заливавший гостиную, обнажал деспотизм и мрачность ее натуры, но сейчас, в полумраке столовой, она чопорно сидела во главе стола, на котором догорали свечи, и казалась сильной, могущественной. Она слушала собеседников, принимала участие в разговоре, но мыслями была где-то далеко.

Веселая компания выглядела экстравагантно – все, за исключением Биркина и Джошуа Маттесона, облачились в вечерние наряды. На маленькой итальянской графине было платье из дорогого бархата с широкими оранжевыми, золотыми и черными полосками. На Гудрун – изумрудно-зеленое платье, отделанное причудливым кружевом, на Урсуле – желтое, украшенное вуалью цвета потускневшего серебра, мисс Бредли была в серо-алом платье с отделкой из блестящей ткани. У фрейлейн Мерц было голубое платье. При виде этих глубоких цветов, освещенных множеством свеч, Гермionу внезапно пронзило острое удовольствие. Она видела, что беседа продолжается и не скоро закончится, и что голос Джошуа заглушал все остальные; что никогда не закончится перезвон женского смеха и обмен фразами; что ее окружают яркие цвета, белый стол, а сверху и снизу ложатся тени; и ей казалось, что она впадает в желанный экстаз, содрогаясь от наслаждения и одновременно страдая, что она как будто вернулась с того света. Она почти не участвовала в разговоре, но, однако, не упустила ни одного слова, ни одного звука.

Компания просто и без всяких церемоний перешла в гостиную, словно это была одна семья. Фрейлейн передавала чашки с кофе, все курили сигареты или длинные трубки из белого фарфора, которых оказалось очень много.

– Закурите? Сигарету или трубку? – кокетливо спрашивала фрейлейн.

Гости сидели кружком: сэр Джошуа с лицом человека из восемнадцатого века; Джеральд, веселый, статный молодой англичанин; Александр, высокий и привлекательный политик, раскованный и яркий; Гермiona, загадочная, как Кассандра, только повыше ростом; и остальные женщины в ярких нарядах. Все прилежно курили длинные белые трубки, сидя полукругом в уютной, полной теней гостиной перед отделанным мрамором камином, в котором потрескивали поленья.

Разговор то и дело переходил на политику и общественные проблемы, он был интересным и необычайно свободным. Мощный заряд энергии наполнял эту комнату, мощный и разрушительный. Казалось, все идеи низвергались в плавильный котел, а они, как подумалось Урсуле, были ведьмами, которые заставляли варево кипеть. Атмосфера была пронизана воодушевлением и удовольствием, однако новичкам было трудно выдержать такую силу мысли и мощную, захватывающую, разрушительную игру умов, которой Джошуа, Гермiona и Биркин забавлялись, а остальные должны были подчиняться.

Но тоска, странное гнетущее чувство охватило Гермionу. Неприметно, но не без использования своей вездесущей воли, она подвела разговор к своему завершению.

– Солси, сыграй нам что-нибудь, пожалуйста, – попросила Гермiona, окончательно ставя точку. – Может, кто-нибудь потанцует? Гудрун, вы же не откажетесь танцевать? Мне бы очень этого хотелось. Anche tu, Palestra, ballerai? – si, per piacere<sup>13</sup>. И вы тоже, Урсула.

Гермiona поднялась с места и медленно потянула расшитый золотом шнур, который висел над каминной полкой, на мгновение прильнула к нему, а затем внезапно выпустила из рук. Она выглядела, как погрузившаяся в свои мысли, впавшая в глубокое забытие жрица.

Была призвана служанка, которая вскоре вернулась с охапкой шелковых одеяний, шалей и шарфов, по большей части привезенных с Востока, которые за много лет скопились у Гермiony, большой любительницы красиво и экстравагантно одеваться.

– Это будет танец трех женщин, – решила она.

– И что же они будут исполнять? – спросил Александр, резко поднимаясь с места.

---

<sup>13</sup> А ты, Палестра, будешь танцевать? – Ну, пожалуйста. (ит.)



– Vergini Delle Rocchette<sup>14</sup>, – тут же отозвалась графиня.

– Но они же такие скучные, – запротестовала Урсула.

– Три ведьмы из «Макбета», – предложила фрейлейн интересную мысль.

В конце концов было решено представить сцену с Наоми, Руфью и Орпой<sup>15</sup>.

Урсуле досталась роль Наоми, Гудрун – Руфи, а графине – Орпы. Было решено представить небольшой танцевальный номер в стиле балетных номеров Павловой и Нижинского.

Первой была готова графиня. Александр сел за рояль, мебель отодвинули в сторону. Орпа, в прекрасных восточных одеждах, в медленном танце рассказывала о смерти мужа. Затем появилась Руфь, и они вместе рыдали и плакали, а затем вошла Наоми, неся им утешение. Во время представления не было произнесено ни слова, женщины выражали свои эмоции жестами и движениями. Маленькое представление длилось около четверти часа.

Урсула была прекрасна в облике Наоми. Все мужчины в ее семье погибли, ей оставалось только одиноко стоять, бурно переживать случившееся и ни о чем не просить.

Руфь, предпочитавшая мужчинам женщин, любила ее. Орпа, живая, чувственная, утонченная вдова, должна будет вернуться к прежней жизни и повторить все сначала. Изображаемые в пантомиме чувства были неподдельными и пугающими. Было странно видеть, как Гудрун с сильной, отчаянной страстью льнула к Урсуле, улыбаясь ей легкой коварной улыбкой; как Урсула молча принимала эту страсть, поскольку больше не могла позаботиться ни о себе, ни о других, но в ней еще бушевали опасные и неукротимые чувства, заглушающие ее боль.

Гермионе нравилось наблюдать. Она смотрела на порывистую верткую чувственность графини, беспредельное, но вероломное влечение Гудрун к женскому началу сестры, опасную беспомощность Урсулы, которую, казалось, снедала какая-то тяжесть, которую она никак не могла с себя сбросить.

– Это было прекрасно! – в один голос вскричали зрители.

Но в душе Гермiona испытывала страшные муки, так как она сознавала, что происходящее было неподвластно ее разуму. Она громко предложила исполнить еще один номер, и по ее воле графиня и Биркин насмешливо станцевали на мотив песенки «Мальбрук в поход собрался»<sup>16</sup>.

Джеральд был взволнован, видя, как отчаянно Гудрун льнет к Наоми. Истинная сущность свойственного только женщинам безрассудства, скрытого до поры до времени, и насмешки взбудоражили его кровь. Он не мог забыть, как Гудрун обращала к небу лицо, как она предлагала себя, льнула, какая отчаянность и в то же время ирония пронизывала ее тело. А Биркин, выглядывавший из своего угла, словно рак-отшельник из своей раковины, видел только чудесно сыгранные Урсулой нерешительность и беспомощность. Природа щедро одарила ее опасной силой. Она походила на причудливый, самозабвенный бутон, который, раскрывшись, дал бы выход обладающему огромной мощью женскому началу. Сам того не осознавая, он тянулся к ней. Его будущее было в ее руках.

Александр заиграл какую-то венгерскую пьесу, и все закружились в танце, поддавшись царившему настроению. Джеральд испытывал огромную радость, получив возможность размять ноги и приблизиться к Гудрун, и хотя его ноги еще не отвыкли от вальсов и тустепа, он чувствовал, как по ним, по всему телу разливается освобождающая его сила. Он еще не знал, как следует танцевать этот судорожный, похожий на регтайм, танец, но он понял, как следует начинать. Биркин танцевал стремительно и с неподдельным весельем – ведь ему наконец-то удалось избавиться от угнетающего давления неприятных ему людей.

---

<sup>14</sup> «Девы скал» (ит.) – пьеса итальянского драматурга Данте Габриэля Д'Аннунцио.

<sup>15</sup> Наоми, Руфь и Орпа – героини ветхозаветной «Книги Руфи». Наоми – вдова, потерявшая своих сыновей, мужей Орпы и Руфи. Овдовевшая Орпа вернулась в свою семью, а Руфь осталась с Наоми.

<sup>16</sup> «Мальбрук в поход собрался» – старинная шуточная песня.

И как же Гермiona ненавидела его за эту безрассудную веселость!

– Теперь я вижу, – восхищенно воскликнула графиня, наблюдая за его искренне-веселыми движениями, которыми он решил ни с кем не делиться, – мистер Биркин-то изменник.

Гермiona медленно перевела на нее взгляд и содрогнулась, понимая, что увидеть и сказать такое мог только человек другой культуры.

– Cosa vuol dire, Palestra?<sup>17</sup> – нараспев спросила она.

– Смотри, – сказала графиня по-итальянски. – Он не человек, он хамелеон, настоящий мастер меняться.

«Он не человек, он полон коварства, он не такой, как мы», – проносилось в сознании Гермiony. А ее душа корчилась в муках, желая полностью отдаться ему, потому что у него была сила, с помощью которой он всякий раз ускользал от нее, которая позволяла ему существовать, не соприкасаясь с ней, потому что он не знал, что такое постоянство, потому что он не был мужчиной, он был недомужчиной. Она отчаянно ненавидела его, это отчаяние разбивало ей сердце и сминало ее, она остро чувствовала, как начинает разлагаться изнутри, подобно труп, и это ужасающее, вызывающее дурноту чувство разложения ее внутреннего мира, ее тела и души, было в данный момент единственным.

Поскольку дом был полон гостей, Джеральда поместили в маленькую комнату, сообщавшуюся с комнатой Биркина и в обычные дни служившую гардеробной. Когда гости разобрали свечи и пошли наверх, где приглушенно горели лампы, Гермiona перехватила Урсулу и отвела ее в свою спальню поболтать. Оказавшись в этой странной, большой комнате, Урсула почувствовала, как ее сковали какие-то невидимые оковы. Казалось, что Гермiona, величественная и полная смутных намерений, давит на нее, умоляет ее. Они рассматривали привезенные из Индии шелковые блузки, заключавшие в себе, в своей форме роскошь и чувственность, почти порочное великолепие. Вдруг Гермiona подошла совсем близко, ее грудь судорожно всколыхнулась, и от страха Урсула чуть не потеряла сознание. Как только запавшие глаза Гермiony узрели страх на лице другой женщины, ее вновь охватило чувство, будто она летит с обрыва в пропасть. Урсула вцепилась в сшитую для четырнадцатилетней индийской княжны блузку из алого и голубого шелка и машинально восклицала:

– Мне кажется, она прекрасна – кто только осмелился соединить эти яркие цвета...

В комнату неслышно вошла служанка Гермiony, и Урсула, охваченная сильным влечением, в панике ускользнула.

Биркин сразу же лег в постель. Он чувствовал себя счастливым и хотел спать. А счастливым он себя почувствовал, когда начал танцевать. Но Джеральду непременно нужно было поговорить с ним, поэтому он, не раздеваясь, уселся на кровать Биркина, как только тот лег, и завел разговор.

– Кто такие эти сестры Брангвен? – спросил Джеральд.

– Они живут в Бельдове.

– В Бельдове! И чем же они занимаются?

– Преподают в школе.

Молчание.

– Преподают! – через некоторое время воскликнул Джеральд. – Вот почему мне казалось, что я их уже где-то видел.

– Ты разочарован? – спросил Биркин.

– Разочарован? Нет – но как они оказались в гостях у Гермiony?

– Она познакомилась с Гудрун в Лондоне – это та, которая помоложе, с более темными волосами; она художница, занимается скульптурой и лепкой.

– Так она не преподает в школе – только другая?

– Они обе преподают – Гудрун учит рисованию, а Урсула исполняет обязанности классной дамы.

---

<sup>17</sup> Что ты имеешь в виду, Палестра? (ит.)

– А чем занимается их отец?

– Он преподаёт основы ремесла.

– Вот это да!

– Рушатся, рушатся классовые барьеры!

Джеральду всегда, когда в голосе друга появлялась насмешка, становилось не по себе.

– Да, их отец преподаёт в школе основы ремесла. Мне-то что до этого?

Биркин рассмеялся. Джеральд посмотрел в его лицо, выражающее насмешку, язвительность и равнодушие, и не смог уйти.

– Я не думаю, что тебе повезет часто встречать Гудрун в обществе. Она птичка беспокойная, через пару недель она сорвется с места.

– И куда же она полетит?

– В Лондон, Париж, Рим – только одному Богу известно. Я всегда жду, что она устремится в Дамаск или Сан-Франциско; это райская птичка. Бог знает, что она забыла в Бельдове.

Наверное, этот убогий городишко предвещает ей, что ее ждет что-то грандиозное, подобно тому, как дурной сон порой предвещает удачу.

Джеральд немного поразмыслил.

– Откуда тебе так много про нее известно? – спросил он.

– Мы встречались в Лондоне, – ответил приятель, – в кружке Алджернона Стренджа. Она знает о Киске, Либидникове, об остальном – хотя лично она с ними не знакома. Она никогда не была одной из них – она более консервативна. По-моему, мы знакомы уже около двух лет.

– И она зарабатывает деньги не только как преподавательница? – поинтересовался Джеральд.

– Иногда, довольно редко. Ее модели хорошо продаются. Вокруг ее имени была шумиха.

– И за сколько?

– От одной до десяти гиней.

– Они недурны? Что они из себя представляют?

– Мне кажется, что некоторые просто восхитительно как хороши. Те две трясогузки, что у Гермiony в будуаре – ты их видел – ее работа, она вырезала их из дерева и раскрасила.

– А я думал, это опять туземная резьба.

– Нет, это ее. Вот такие они и есть – животные и птицы, иногда странные человечки в повседневной одежде; так интересно, когда они выходят из-под инструмента. Они очень забавные, и одновременно непонятные и тонкие.

– Возможно, когда-нибудь она станет известной художницей, – предположил Джеральд.

– Возможно. Но я не думаю. Она забросит искусство, если что-нибудь другое захватит ее. Ее противоречивая натура не позволяет принимать все это всерьез – она никогда не увлекается на полном серьезе, она чувствует, что не должна до конца отдавать себя какому-то делу. И она не отдает – в любой момент она готова дать задний ход. Вот чего я терпеть не могу в таких, как она. Кстати, как у вас все устроилось с Киской после того, как я ушел? Я ничего не знаю.

– Да отвратительно. Халлидей начал выступать, и я едва не дал ему тумака – мы устроили самую настоящую драку, теперь таких не бывает.

Биркин молчал.

– Понятно, – сказал он. – Джулиус в некотором смысле безумец. С одной стороны, он ужасно религиозен, а с другой, его завораживают всякие непристойности. В один момент он целомудренный прислужник, омывающий ноги Иисуса, а в другой уже рисует на него неприличные карикатуры; действие, противодействие – а между ними нет ничего. Он и правда ненормальный. С одной стороны, ему нужна девственная лилия, девушка с личиком младенца, а с другой стороны, он во что бы то ни стало должен обладать Киской, осквернять себя ее телом.

– Вот чего я не пойму, – сказал Джеральд. – Любит он ее, эту Киску, или нет?

– И любит, и не любит. Она шлюха, в его глазах она самая настоящая развратная шлюха. И его страстно тянет с головой окунуться в грязь, которую она олицетворяет. А затем он выныривает

с именем девственной лилии, девушки с личиком младенца на устах и наслаждается самим собой. Старая история – действие и противодействие, а между ними ничего.

– Я не думаю, – после паузы ответил Джеральд, – что Киску это очень уж оскорбляет. Я с удивлением обнаружил, что она и правда невероятно развратная.

– Но мне показалось, что она тебе понравилась! – воскликнул Биркин. – Я всегда испытывал к ней теплые чувства. Но лично у меня с ней никогда ничего не было, честное слово.

– Пару дней она мне и правда нравилась, – сказал Джеральд. – Но уже через неделю меня бы от нее выворачивало. Кожа этих женщин пахнет так, что в конце концов ты чувствуешь крайнее омерзение, даже если раньше тебе и нравилось.

– Я знаю, – ответил Биркин. Затем, с некоторым раздражением добавил: – Отправляйся в постель, Джеральд. Бог знает, сколько сейчас времени.

Джеральд взглянул на часы и вскоре поднялся с постели и направился в свою комнату. Через несколько минут он возвратился, уже в ночной рубашке.

– Еще кое-что, – сказал он, вновь усаживаясь на кровать. – Мы бурно расстались, и у меня не было времени заплатить ей.

– Ты про деньги? – спросил Биркин. – Она вытянет все, что ей нужно, из Халлидея или из одного из своих дружков.

– Но тогда, – сказал Джеральд, – мне бы хотелось отдать то, что я ей должен, и закрыть этот счет.

– Ей до этого нет никакого дела.

– Да, скорее всего. Но я чувствую, что надо мной висит долг, а хочется, чтобы его не было.

– Правда? – спросил Биркин. Он смотрел на белые ноги Джеральда, сидящего на краю кровати в своей рубашке. Это были белокожие, полные, мускулистые ноги, красивые, с четкими очертаниями. И в то же время они пробуждали в Руперте жалость и нежность, которые возникают при виде ножек ребенка.

– Я бы все же выплатил долг, – сказал Джеральд, рассеянно повторяя свои слова.

– Это не имеет совершенно никакого значения, – сказал Биркин.

– Ты всегда говоришь, что это не имеет значения, – несколько озадаченно сказал Джеральд, с нежностью смотря на лежащего собеседника.

– Не имеет, – повторил Биркин.

– Но она вела себя вполне прилично, правда...

– Отдай кесарю кесарево, – сказал, отворачиваясь, Биркин. Ему показалось, что Джеральд говорит только ради того, чтобы говорить. – Иди отсюда, я устал – уже слишком поздно, – сказал он.

– Хотелось бы, чтобы ты сказал мне что-нибудь, что имеет значение, – сказал Джеральд, не отводя взгляда от лица другого мужчины и чего-то ожидая. Но Биркин отвернулся в сторону.

– Ну хорошо, засыпай, – сказал Джеральд, любовно положив руку на плечо Биркина, и ушел. Утром, когда Джеральд проснулся и услышал шаги Биркина, он крикнул ему:

– Я все равно считаю, что я должен был заплатить Киске десять фунтов.

– Бог ты мой, – ответил Биркин, – не будь таким педантичным. Закрой счет в своей душе, если пожелаешь. По-моему, именно там ты не можешь его закрыть.

– Как же ты это понял?

– Я тебя неплохо знаю.

Джеральд задумался на несколько секунд.

– Мне кажется, что самый правильный метод обращения с Кисками – платить им.

– А правильный метод обращения с любовницами – содержать их. А правильный метод обращения с женами – жить с ними под одной крышей. *Integer vitae scelerisque purus...*<sup>18</sup> – ответил Биркин.

---

<sup>18</sup> Живущий правильной жизнью, с незапятнанной репутацией. (лат.).

- Не надо говорить гадости, – сказал Джеральд.
- Мне скучно. Не интересуют меня твои грешки.
- А мне плевать, интересуют или нет – меня-то они интересуют.

Наступившее утро вновь оказалось солнечным. Приходила служанка, принесла воду для умывания и раздвинула занавеси. Биркин приподнялся на кровати и с ленивым удовольствием смотрел из окна на парк, зеленый и пустынный, романтический, увлекающий в прошлое. Он размышлял о том, каким прекрасным, каким однозначным, каким законченным и сформировавшимся было все, созданное в минувшие эпохи, в чудесные прошедшие времена, – этот золотистый дом, дышащий покоем, этот парк, несколько веков назад погрузившийся в дрему. А затем ему подумалось, насколько же коварна и обманчива эта застывшая красота: ведь Бредолби был самой настоящей жуткой каменной тюрьмой, и из этой мирной обители нестерпимо хотелось вырваться на свободу! Но уж лучше запереть себя здесь, чем участвовать в омерзительной борьбе за выживание, которую люди ведут в наше время.

Если бы только было возможно создавать будущее по велению своего сердца – потому что сердцу постоянно требуется хотя бы немного незапятнанной истины, оно постоянно, но решительно просит, чтобы в жизни появились самые простые человеческие истины.

– По-моему, ты не оставил мне ничего, чем можно было бы интересоваться, – раздался голос Джеральда из маленькой комнаты. – Нельзя ни Кисок, ни шахт, ничего нельзя.

– Да интересуйся, чем хочешь, Джеральд. Только мне это не интересно, – сказал Биркин.

– И что же мне теперь делать? – продолжал голос Джеральда.

– Делай, что хочешь. А что делать мне?

В тишине Биркин чувствовал, как в голове Джеральда одна за другой проносятся мысли.

– Черт подери, я не знаю, – послышался добродушный ответ.

– Понимаешь ли, – сказал Биркин, – часть тебя хочет Киску, и ничего кроме Киски, часть тебя требует шахту, работу, работу и ничего кроме работы, вот ты и мечтаешь.

– Есть еще одна часть, и она тоже чего-то хочет, – произнес Джеральд непривычно тихим, искренним голосом.

– Чего? – удивленно спросил Биркин.

– Я надеялся, что это ты мне скажешь, – ответил Джеральд.

Повисла пауза.

– Я не могу тебе сказать – я не знаю, куда нужно идти мне самому, что уж говорить про тебя.

Ты должен жениться, – проговорил Руперт.

– На ком – на Киске? – спросил Джеральд.

– Возможно, – ответил Биркин. Он встал и подошел к окну.

– Вот каков твой рецепт, – сказал Джеральд. – Но ты даже не испытал это на себе, а у тебя уже выработалось к этому отвращение.

– Правда, – согласился Биркин. – И все же я найду свой путь.

– С помощью брака?

– Да, – упрямо ответил Биркин.

– И нет, – добавил Джеральд. – Нет, нет, нет, мальчик мой.

Они замолчали, и в комнате возникла странная напряженная атмосфера.

Они всегда держались друг от друга на некотором расстоянии, соблюдали дистанцию, они не хотели быть связанными друг с другом. Однако их всегда непонятным образом тянуло друг к другу.

– *Salvator femininus*<sup>19</sup>, – саркастически заметил Джеральд.

– А почему бы и нет? – спросил Биркин.

– Нет смысла, – сказал Джеральд, – вряд ли это сработает. А на ком бы ты женился?

---

<sup>19</sup> Спаситель женщин. (лат.)



– На женщине, – ответил Биркин.

– Прекрасно, – похвалил Джеральд.

Биркин и Джеральд спустились к завтраку самыми последними. Гермiona требовала, чтобы все вставали рано. В противном случае ее мучило ощущение, что у нее отнимают часть дня, ей чудилось, что она не успевает насладиться жизнью. Казалось, она хватала время за горло и высасывала из него жизнь. Она была бледной и бесплотной, точно привидение, как будто она осталась там, в призрачном утреннем свете. Но ее власть никуда не исчезла, ее воля все так же подчиняла себе все вокруг. Когда двое молодых мужчин появились в комнате, в воздухе отчетливо стало ощущаться напряжение.

Гермiona посмотрела на них снизу вверх и радостно пропела:

– Доброе утро! Вы хорошо поспали? Я очень рада.

Она отвернулась и больше не обращала на них внимания. Биркин, который очень хорошо ее знал, понял, что она решила не принимать его в расчет.

– Берите с буфета все, что захочется, – сказал Александр с легкой укоризной в голосе. –

Надеюсь, ничего еще не остыло. О нет! Руперт, выключи, пожалуйста, подогрев на том блюде.

Спасибо.

К некоторым вещам Гермiona относилась без особого энтузиазма, и тогда уже Александр проявлял свою власть. Само собой разумеется, свои интонации от перенял от нее. Биркин сел и оглядел стол. За много лет близких отношений с Гермioniой эта комната, этот дом и царящая в нем атмосфера стали знакомыми до боли, и сейчас они не вызывали иных чувств, кроме отвращения. У него не могло быть ничего общего с этим местом. Как хорошо он знал Гермionу, которая чопорно сидела, погружившись в молчание, с задумчивым выражением на лице, и в то же время ни на секунду не теряя своей властности, своего могущества! Он знал, что в ней ничего не менялось, что она точно застыла, и это выводило его из себя. Ему трудно было поверить, что он все еще в своем уме, что перед ним не статуя из зала царей какой-нибудь египетской гробницы, где сидели великолепные мертвецы, память о которых жива и поныне. Как досконально он знал Джошуа Маттесона, который постоянно говорил и говорил резким и в то же время жеманным голосом, мысли которого постоянно сменяли одна другую, который всегда вызывал интерес у других и никогда не говорил ничего нового – его слова были заранее известными, какими бы новыми и мудрыми они ни казались; Александра, принявшего на себя роль хозяина, такого хладнокровно-бесцеремонного; весело щебечущую и вставляющую в нужный момент словечко фрейлейн; уделяющую всем внимание маленькую итальянскую графиню, которая вела свою игру и бесстрастно, точно выслеживающая добычу ласка, наблюдала за всем происходящим, получала от этого одной ей понятное удовольствие, не выдавая себя ни единым словом; затем – мисс Бредли, высокую и подобострастную, с которой Гермiona обращалась холодно, насмешливо и презрительно, из-за чего и все остальные относились к ней пренебрежительно. Как предсказуемо было все это, точно шахматная партия с заранее расставленными фигурами, теми же фигурами – королевой, ферзями, пешками, – что и сотни лет назад, которые движутся согласно одной из множества комбинаций, как раз и задающих направленность игры. Однако ее исход известен заранее, она не обрывается, словно страшный сон, и в ней нет ничего нового.

Вот Джеральд, с приятным удивлением на лице; игра доставляет ему удовольствие. Вот Гудрун, наблюдающая за происходящим огромными недвижными, настороженными глазами; игра завораживает ее и в то же время вызывает у нее отвращение. Вот Урсула, на лице которой озадаченность, точно ей причинили боль, и она еще не осознала ее.

Внезапно Биркин поднялся с места и вышел.

– Довольно, – произвольно вырвалось у него.

Гермiona поняла смысл его движения, хотя и не разумом. Она подняла затуманенные глаза и наблюдала за его внезапным бегством – как будто непонятно откуда взявшиеся волны унесли его прочь, а затем разбились об нее. Однако ее неукротимая воля заставила ее остаться на месте и машинально время от времени задумчиво вставлять свои мысли в общий разговор. Но она

оказалась во мраке, она ощущала себя ушедшим на дно кораблем. Для нее все было кончено, она потерпела крушение и погрузилась во тьму. А между тем никогда не дающий сбоя механизм ее воли продолжал работать, этого у нее было не отнять.

– А не искупаться ли нам в столь чудесное утро? – взглянув на гостей, внезапно предложила она.

– Отлично, – сказал Джошуа, – сегодня великолепное утро.

– Да, сегодня чудесно, – отозвалась фрейлейн.

– Да, давайте купаться, – согласилась итальянка.

– У нас нет купальных костюмов, – усмехнулся Джеральд.

– Возьми мой, – предложил ему Александр. – Мне нужно идти в церковь и читать проповеди. Меня ждут.

– Вы верующий? – с внезапно проснувшимся интересом спросила итальянская графиня.

– Нет, – ответил Александр. – Вовсе нет. Но я верю, что древние институты следует поддерживать.

– В них столько красоты, – изящно вернула фрейлейн.

– Действительно, – воскликнула мисс Бредли.

Гости высыпали на лужайку. Стояло солнечное, теплое летнее утро, и сейчас, когда лето только начиналось, земля жила тихой, похожей на воспоминание жизнью. Где-то в отдалении слышался перезвон церковных колоколов, на небе не было ни облачка, лебеди на озере походили на брошенные в воду белые лилии, павлины важно и надменно прохаживались по траве, то укрываясь в тени, то выходя на солнце. Хотелось с головой окунуться в эту безупречность, свойственную только миру, которого более не существовало.

– Всего хорошего, – попрощался Александр, весело помахав им перчатками, и, направляясь к церкви, исчез за кустами.

– Итак, – начала Гермiona, – кто будет купаться?

– Я не буду, – сказала Урсула.

– Вам не хочется? – медленно оглядывая ее, спросила Гермiona.

– Нет, мне не хочется, – ответила Урсула.

– Мне тоже, – присоединилась к ней Гудрун.

– А что с моим костюмом? – поинтересовался Джеральд.

– Понятия не имею, – рассмеялась Гермiona с многозначительной ноткой в голосе. – Платок подойдет? Большой платок!

– Подойдет, – ответил Джеральд.

– Тогда пойдем, – пропела Гермiona.

Первой лужайку пересекла маленькая итальянка, крошечная, похожая на кошку, мелькая при ходьбе белыми ногами, слегка нагибая голову, повязанную золотистым шелковым шарфом. Она вприпрыжку миновала ворота, пробежала по траве и встала, подобно статуэтке из бронзы и слоновой кости у самого края воды, сбросив свои одежды и разглядывая подплывших к ней удивленных лебедей. Затем выбежала мисс Бредли, похожая в своем темно-синем костюме на большую сочную сливу. Потом подошел Джеральд с полотенцем на руке, обвязав вокруг бедер алый шелковый платок. Он, похоже, щеголял своей фигурой, которую в свете яркого солнца можно было отчетливо рассмотреть, медленно и с улыбкой прохаживаясь взад-вперед; его обнаженное тело было бледным, но смотрелось вполне естественно. Вслед за ним появился сэръ Джошуа в пиджаке и, наконец, Гермiona в лилово-золотом платке, которая с натянутым изяществом вышагивала в огромной лиловой шелковой накидке. Красивым было ее прямое, длинное тело, ее прямо ступающие белые ноги; она шла так, что края ее накидки разлетались в разные стороны, и в ней чувствовалось какое-то неизменное великолепие. словно таинственный дух прошлого, пересекла она лужайку и медленно и величаво подошла к воде. Три больших, гладких и красивых, искрящихся в лучах солнца пруда цепочкой спускались в долину. Вода переливалась через маленькую каменную стенку, струилась по камням и с

плеском устремлялась из верхнего пруда в нижний. Лебеди уплыли к противоположному берегу. Приятно пахло тростником, легкий бриз ласкал кожу.

Первым в воду прыгнул сэр Джошуа, за ним Джеральд, который поплыл к другому краю пруда. Там он вынырнул и присел на стенку. Послышался плеск, и маленькая графиня, словно крыса, уже плыла к нему. Они оба уселись на солнце, смеясь и скрестив руки на груди. Сэр Джошуа подплыл к ним и встал рядом, по грудь в воде. Вскоре к ним подплыли Гермiona и мисс Бредли, и компания рядом разместилась на берегу.

– Они наводят на меня ужас! Нет, серьезно, они и правда ужасны! – воскликнула Гудрун. – Они похожи на рептилий. Они самые настоящие ящерицы, только огромные. Ты видела когда-нибудь что-нибудь похожее на сэра Джошуа? Урсула, он самое настоящее порождение доисторического мира, в котором повсюду ползали огромные ящерицы.

Гудрун презрительно посмотрела на сэра Джошуа, которому вода доходила до груди: длинные, седеющие волосы, прилизанные водой, лезли ему в глаза, шея переходила в толстые, грубо высеченные плечи. Он разговаривал с пухлой, огромной и мокрой мисс Бредли, которая взирала на него с берега и было похоже, что она вот-вот скатится в воду, точно скользкий тюлень из зоопарка.

Урсула молча наблюдала. Джеральд, который сидел между Гермioniой и итальянкой, радостно смеялся. Его ярко-соломенные волосы, крупная фигура и улыбка заставили ее вспомнить о Дионисе. Гермiona, полная чопорной, зловещей грации, наклонялась к нему, и ему становилось страшно, как будто в следующий момент она могла сделать все, что угодно. Он чувствовал, что в ней таится опасность, что в ее душе скрыто судорожное безумие. Но он только продолжал громко смеяться и излишне часто заговаривал с маленькой графиней, которая строила ему глазки.

Они соскользнули в воду и теперь плыли рядом, словно стая котиков. Гермiona самозабвенно разрезала гладь озера, медленно и властно, и в воде она казалась огромной. Палестра плыла проворно и молча, точно водяная крыса, белое тело Джеральда исчезало под водой и появлялось, словно тень. Один за другим они вышли из воды и направились к дому.

Но Джеральд задержался на мгновение, чтобы поговорить с Гудрун.

– Вы не любите воду? – спросил он.

Она пристально посмотрела на него непроницаемым взглядом – он стоял перед ней почти раздетый и вода капельками скатывалась по его телу.

– Очень даже люблю, – ответила она.

Он помолчал, ожидая, что она как-нибудь объяснит свое поведение.

– И вы умеете плавать?

– Да, умею.

Но он все равно не спросил, почему она не вошла в воду. Он почувствовал ее иронический настрой. Он ушел, и впервые за время его пребывания здесь его что-то заинтересовало.

– Так почему же вы не купались? – все же задал он свой вопрос, вновь превратившись в прилично одетого молодого англичанина.

Прежде чем ответить, она немного помолчала, пытаясь сопротивляться его напористости.

– Не та компания, – ответила она.

Он рассмеялся – ведь ее слова полностью совпали с тем, что думал он. Он смаковал острый вкус ее слов. Сама того не желая, она стала для него олицетворением реального мира. Ему хотелось соответствовать ее понятиям, оправдать ее ожидания. Он вынужден был признать, что ему важны только те критерии, которые устанавливала она. Остальных он инстинктивно относил к людям посторонним, какое бы общественное положение они ни занимали. И Джеральд ничего не мог с этим поделать, он был обязан стремиться к ее стандартам, обязан воплотить в жизнь ее представление о мужчинах и о человеческих существах в целом.

После обеда, когда всем остальным хотелось удалиться к себе, Гермiona, Джеральд и Биркин медлили, желая закончить разговор. Темой разговора, спровоцированного в общем-то искусственно и изобилующего умными сентенциями, было новое государство, новый

человеческий мир. Если предположить, что старый общественный порядок лопнет и будет уничтожен, что же появится вслед за ним из хаоса?

Сэр Джошуа утверждал, что величайшей общественной мыслью была идея социального равенства людей. Джеральд настаивал, что идея в том, что каждый человек создан для выполнения своей небольшой миссии – пусть он сначала ее выполнит, а затем делает все, что пожелает. В этом случае людей объединит сама работа. Только работа, процесс создания ценностей, удерживает людей вместе. Этот процесс, конечно, механический, но общество и есть ни что иное, как механизм. Они объединяются только на работе, а в остальное время вольны делать все, что пожелают.

– О! – воскликнула Гудрун. – Тогда у нас больше не должно быть имен – мы должны последовать примеру немцев – у нас будут только герр Обермейстер и герр Унтермейстер. Могу себе представить: «Я миссис Владелец-Шахт Крич, я миссис Член-Парламента Роддис. Я мисс Преподавательница-Искусства Брангвен». Мило, ничего не скажешь.

– Все было бы гораздо лучше отлажено, мисс Преподавательница-Искусства Брагвен, – сказал Джеральд.

– Что «все», господин Управляющий-Шахтами Крич? Отношения между вами и мной, *par exemple* ?<sup>20</sup>

– Да, например, – воскликнула итальянка. – Те самые отношения между мужчиной и женщиной?

– Это не общественные отношения, – саркастически заметил Биркин.

– Точно, – согласился Джеральд. – В моих отношениях с женщинами общественным проблемам делать нечего. Это моя личная территория.

– Ставлю десять фунтов, что так оно и есть, – сказал Биркин.

– Вы не считаете женщину существом общественным? – спросила Урсула Джеральда.

– Женщина сочетает в себе две функции, – ответил Джеральд. – Она общественное существо в том, что касается общества. Но в своем личном пространстве она сама себе хозяйка и только она может решать, как себя вести.

– А не слишком ли сложно состыковывать эти две функции? – спросила Урсула.

– Вовсе нет, – ответил Джеральд. – Они состыковываются естественным путем – сегодня мы видим это повсюду.

– Ты выдаешь желаемое за действительное, – заметил Биркин.

Джеральда мгновенно охватило раздражение, и он насупил брови.

– Ты так считаешь? – спросил он.

– Если, – наконец вступила в разговор Гермiona, – если только мы поймем, что по духу мы едины, что по духу мы все братья, то остальное будет уже неважно, – не будет больше недоброжелательства, зависти, этой борьбы за власть, которая сметает все на своем пути, которая не несет ничего, кроме разрушения.

Эта тирада прозвучала в полной тишине, и практически сразу же гости поднялись из-за стола.

Но когда они ушли, Биркин повернулся к ней и с горечью произнес:

– Гермiona, все как раз наоборот. По духу мы все разные, между нами нет никакого равенства – одно только социальное неравенство зависит от случайным образом сложившихся материальных факторов. Мы равны в отвлеченном смысле, с точки зрения цифры, если хочешь. Каждый человек испытывает голод и жажду, у него два глаза, один нос и две ноги. В числовом выражении мы все одинаковы. Но с точки зрения духовности существует лишь абсолютное различие – равенство или неравенство здесь в счет не идет. Именно на этих двух понятиях следует строить государство. Твоя же демократия лжива – твое братство людей не имеет под собой никакой реальной основы, и это можно будет увидеть сразу, начав применять ее на практике, а не оставляя в виде математической модели. Сначала мы все пили молоко, теперь мы

---

<sup>20</sup> Например. (фр.)

едим хлеб и мясо, нам всем хочется ездить в автомобилях – и в этом-то начало и конец братства человеческого. Никакого равенства. Но я, который знает, что я такое, разве нужно мне быть равным какому-нибудь мужчине или женщине? По духу я отличаюсь от них так же, как отличается одна звезда от другой, я отличаюсь как в количественном, так и в качественном выражении. Вот на этом и следует строить государство. Один человек несколько не лучше другого, и не потому, что они равны, а потому, что по внутренним своим свойствам они настолько разные, что нет никаких оснований для сравнения. А как только начинаешь сравнивать, то оказывается, что один человек значительно лучше другого, потому что самой природой заложено в него все это неравенство. Мне бы хотелось, чтобы каждый человек получил причитающуюся ему долю мирских благ и избавил меня тем самым от своих докучливых притязаний; мне хотелось бы сказать ему: «Ты получил, что хотел – у тебя есть твоя доля этого мира. А теперь ты, твердящий об одном и том же, займись своим делом и не мешай мне заниматься своим».

Гермиона искоса наблюдала за ним со злобной насмешкой. Он чувствовал, что каждое его слово она встречает мощной волной ненависти и отвращения. Эти черные потоки ненависти и злобы, изливавшиеся из ее души, становились все мощнее и мощнее. Она воспринимала его слова своими чувствами, разум же словно ничего не слышал, не обращал на них внимание.

– Руперт, по-моему, у тебя мания величия, – весело сказал Джеральд.

Гермиона издала странный хрюкающий звук. Биркин отшатнулся.

– Пусть так, – сказал он голосом, из которого внезапно исчезли все эмоции, хотя до этого он звучал так настойчиво, что заставлял умолкнуть любого. Биркин вышел из комнаты.

Однако позднее его стала мучить совесть. Как же жестоко, безжалостно обошелся он с бедной Гермионой! Ему хотелось загладить свою вину, сделать ей приятное. Он же обидел ее, он хотел ей отомстить. Теперь ему хотелось вновь наладить с ней отношения.

Он отправился в ее будуар. Это было укромное место, изобилующее подушками и коврами. Она сидела за столом и писала письма. Когда он вошел, она подняла на него ничего не выражающий взгляд и смотрела, как он дошел до дивана и опустился на него. И вновь обратилась к письму. Он взял толстую книгу, которую читал раньше, и через мгновение погрузился в нее. Он сидел к Гермионе спиной. Писать она больше не могла. В ее голове царил хаос, разум затмевала черная мгла, она пыталась вновь подчинить себе свою волю, подобно сражающемуся с водоворотом пловцу. Но все ее усилия ни к чему не привели, она потерпела поражение; тьма накрыла ее, и она чувствовала, что ее сердце сейчас выскочит из груди. Это чудовищное напряжение все нарастало и нарастало, оно превратилось в ужасающую панику, в которую впадает человек, которого заживо замуровывают в стене.

И тут она поняла, что этой стеной было его присутствие, его присутствие убивало ее. Если она не сможет пробиться через эту стену, она погибнет самой страшной смертью, стена поглотит ее, объятую ужасом. Этой стеной был он. Она должна была разрушить стену – разрушить его, прежде чем он разрушит ее, она должна самым страшным образом уничтожить того, кто все время вплоть до настоящего момента мешал ей жить. Она должна это сделать, или же ее конец будет ужасным.

По ее телу пробегала похожая на электрические волны страшная дрожь, казалось, ее внезапно сразил электрический разряд величиной во много вольт. Она ощущала, как он, это немыслимое, чудовищное препятствие, молча сидит на диване. Уже одно только это – его молчание, его сутулая спина, его затылок – затмевало ее разум, душило ее.

По ее рукам пробежала сладострастная дрожь: наконец-то ей суждено будет узнать, что такое высший пик страсти! Ее руки дрожали, наполняясь силой и становясь неизмеримо и непреодолимо сильными. Какое наслаждение, как сладка эта сила, какое безумное наслаждение! Наконец-то ее чувственное исступление достигнет высшей точки. Сейчас, сейчас! Объятая страхом и ужасом, она знала, что оно охватило ее, и в конце ее ждет нестерпимое блаженство. Ее ладонь сомкнулась на прекрасном голубом лазуритовом шаре, который она использовала как пресс-папье. Перекатывая его в ладони, она поднялась с места. Сердце в



груди жарко пылало, экстаз совершенно лишил ее рассудка. Она подошла к нему и несколько мгновений самозабвенно стояла за его спиной. Он, словно окутанный ее чарами, не двигался и ничего не осознавал.

И вдруг быстрым рывком она, охваченная пламенем, влившимся в жилы подобно расплавленной молнии и позволившим ей испытать совершенный, неопиcуемый словами чувственный пик, невыразимую радость, она изо всех сил опустила драгоценный камень на голову сидящего. Но помешали ее пальцы, и удар был смягчен. Мужчина уронил голову на стол, где лежала его книга, камень скользнул в сторону, по уху; она же содрогнулась от неподдельного наслаждения, обостренного жгучей болью в пальцах. Но чего-то все же не хватало. Она еще раз занесла руку, чтобы нанести второй удар по голове, в полуобморочном состоянии лежавшей на столе. Она должна размозжить ее, нужно размозжить ее прежде, чем экстаз закончится и исчезнет навеки. В тот момент она была готова отдать тысячу жизней, умереть тысячу раз ради того, чтобы ощутить этот высший экстаз.

Но она не могла действовать быстро, она была не в состоянии тут же повторить удар. Сила духа заставила Руперта очнуться, поднять голову и посмотреть на нее. Он увидел ее руку, в которой был судорожно зажат лазуритовый шар. Это была левая рука – он вдруг с ужасом, словно в первый раз, осознал, что она была левшой. Пытаясь защититься, он торопливо накрыл голову толстым томом Фукидида, и удар, который чуть не сломал ему шею и разбил на куски его сердце, пришелся по книге.

Он был сокрушен, но не сломлен. Он повернулся к ней лицом, опрокинул столик и отпрыгнул от нее. Он был похож на стеклянный сосуд, разлетевшийся на мелкие осколки, ему казалось, что он весь состоит из мелких фрагментов, что он разбит на кусочки. Однако движения его были четкими и последовательными, душа его была прочна, как никогда ранее, он давно ожидал нечто подобное.

– Нет, Гермiona, нет! – произнес он низким голосом. – Я тебе не позволю.

Высокая, смертельно бледная женщина следила за ним с непрерывным вниманием, напряженно сжимая в руке камень.

– Отойди и дай мне уйти, – приказал он, подходя ближе.

Она отошла в сторону, повинаясь какой-то силе, не переставая следовать за ним взглядом; ему показалось, что перед ним падший ангел, которого лишили могущества.

– Это ни к чему не приведет, – сказал он, проходя мимо нее. – Я не собираюсь умирать. Тебе ясно?

Выходя из комнаты, он все время держался к ней лицом, чтобы не дать ей вновь нанести удар. Пока он был начеку, она не осмеливалась даже шевельнуться. А он не терял бдительности ни на минуту, и она была бессильна. Так он и ушел, а она осталась стоять.

И стояла она, словно окоченев, еще очень долго. А потом, шатаясь, добралась до кушетки, упала на нее и заснула глубоким сном.

Проснувшись, она не забыла того, что совершила, но ей казалось, что она ударила его так, как ударила бы любая женщина, ведь он причинял ей нестерпимые страдания. Она была абсолютно права. В душе она знала, что была права. Ее правота была непогрешима, она сделала то, что следовало сделать. Она была права, она была невиновна. И на ее лице навсегда поселилось одурманенное, почти зловещее выражение сознания собственной почти экстатической правоты.

Биркин, едва помня себя и в то же время прекрасно зная, куда ему нужно идти, покинул дом и направился напрямик в парк, на природу, к холмам. На ярко светившее солнце набежали тучи, накрапывал дождик. Он побрел к той стороне долины, которой не касалась рука садовника, где было царство орешника, бесконечного множества цветов, куртинок вереска и маленьких султанчиков молодых елочек, выпускающих мягкие лапки. Везде было мокро, по склону серой, или просто кажущейся серой, долины бежал ручей.

Биркин чувствовал, что он никак не может взять себя в руки, что его окутывает мрак. Но он знал, что у него все же была какая-то цель. Здесь, на мокром склоне, заросшем кустами и

цветами, скрытый от любопытных глаз, он чувствовал себя счастливым. Ему хотелось прикасаться к растениям, насытить себя их прикосновениями. Он снял одежду и, обнаженный, сел среди примул, мягко прикасаясь к ним ступнями, затем голеньями, коленями, руками, вверх до подмышек; он лег на землю и позволил им прикоснуться к его животу, к груди. Их прикосновения были такими нежными, такими прохладными, такими еле ощутимыми, они не лишали своего прикосновения ни одной точки его тела, насыщая его до предела.

Но цветы были слишком нежными. По высокой траве он прошел к елочкам, которые были не выше человеческого роста. Когда он с мукой в сердце проходил между елями, они хлестали его своими мягко-острыми лапами, осыпали холодным дождем его живот и ударяли по пояснице собранными в пучки мягко-острыми иголками. Чертополох покалывал его тело ощутимо, но не до боли, потому что его движения были слишком медленными и осторожными. Лечь на землю и переверачиваться с живота на спину среди липнувших к телу, прохладных молодых гиацинтов, лечь на живот и осыпать спину пригоршнями чудесной мокрой травы, нежной, как дыхание, мягкой и более утонченной, более прекрасной, чем прикосновение любой из женщин; а затем покалывать бедра живыми темными ошетилившимися лапами ели; ощущать на плечах легкие жалящие удары ветвей орешника, а после прижаться грудью к серебристому стволу березы, вобрать в себя всю ее гладкость, ее твердость, ее жизненно важные бугорки и выпуклости, – как это было прекрасно, как великолепно, какое это давало удовлетворение! Ничему другому это не было под силу, ничто более не могло удовлетворить его – только эта прохлада и нежность, с которой растительный мир проникал в его кровь. Как ему повезло, что существует на свете эти прекрасные, нежные, отзывчивые растения, которые ожидают его так же, как он ожидает их; какую он ощущал полноту чувств, каким счастливым он был!

Он вытерся платком и вспомнил о Гермione и о том, как она его ударила. Голова сбоку еще болела. Но в конце концов, разве все это имеет значение? Какое ему дело до Гермione и вообще до всех людей? Ведь существует это идеальное, дышащее прохладой уединение, такое чудесное, такое свежее, такое неизведанное. И правда, как же он ошибся, решив, что ему нужны люди, что ему нужна женщина! Не нужна ему женщина – совершенно не нужна. Листья, примулы, деревья, – все это такое чудесно-прохладное, такое желанное. Они по-настоящему проникли в его душу и стали его продолжением. Сейчас его голод был утолен и он был этому очень рад.

Гермione была права, когда пыталась убить его. Что могло быть общего между ними? Зачем ему притворяться, что его вообще интересуют человеческие существа? Вот где был его мир, здесь никто и ничто ему не нужны, если рядом с ним, с его сущностью эти милые, утонченные, отзывчивые растения.

Но пора было возвращаться в реальный мир. Таково было требование жизни. Но раз он понял, где его место, остальное неважно. Теперь он знал, где его место. Его место, его брачное ложе было здесь. А остальной мир не имел никакого значения.

Он пошел вверх по склону, спрашивая себя, неужели рассудок покинул его. А если это и так, то свое безумие он предпочитал общепринятому здравому смыслу. Он радовался своему безумию, он был свободен. Ему не нужна была банальная рациональность этого мира, она не вызывала в нем ничего, кроме отвращения. Он ликовал, что теперь он очнулся в заново открытом мире своего безумия. Этот мир был таким неиспорченным, дарил такое удовлетворение!

Что же касается некоторой грусти, поселившейся в его душе, так это бередили его осколки прежней морали, требующие, чтобы человеческое существо держалось себе подобных. Но он устал от старой морали, от человеческих существ и от человечества в целом. Сейчас его любовь была отдана мягким и нежным растениям, таким прохладным и лишенным изъянов. Он переживет старую печаль, он отбросит прежнюю мораль, и в своем новом мире он будет совершенно свободным.

Он чувствовал, как с каждой минутой боль в голове усиливается. Теперь он направлялся к ближайшей железнодорожной станции. Шел дождь, а у него не было шляпы. Но сейчас ведь многие чудачки расхаживают под дождем без шляп...

Он вновь и вновь задавался вопросом, насколько тяжесть на сердце и подавленность были вызваны боязнью, что кто-нибудь увидел, как он без клочка одежды на теле лежал среди цветов. Какое же отвращение он испытывал к человечеству, к другим людям! Это отвращение было неотделимо от ужаса, точно ночной кошмар, – одна мысль о том, что кто-нибудь мог его увидеть, ввергала его в ужас. Если бы только он мог оказаться на острове, как Александр Селькирк<sup>21</sup>, где не было бы ничего, кроме животных и растений, он был бы свободен и счастлив, не было бы этой тяжести, этих дурных предчувствий. Он мог бы отдавать свою любовь растениям и быть счастливым, ему не нужно было бы задаваться вопросами.

Нужно было написать записку Гермине: она начнет волноваться из-за него, а ему ничуть этого не хотелось. Поэтому на станции он написал следующее: «Я еду в город – в ближайшее время в Бредолби я не вернусь. Но все в порядке, я не хочу, чтобы ты сожалела о том, что ударила меня – ни на секунду. Скажи остальным, что это одна из моих причуд. Ты была совершенно права, когда ударила меня – потому что я знаю, что ты хотела меня ударить. Поэтому все так и вышло».

Однако в поезде он почувствовал себя плохо. Каждое движение отдавалось нестерпимой болью, его тошнило. На станции он почти на ощупь дотоптался до кэба, словно слепой, удерживала его только смутная воля.

Неделю или две он не вставал с постели, но Гермине об этом не сообщал, а она думала, что он обиделся; они совершенно отстранились друг от друга. В ней появилась восторженность, отвлеченность, поскольку она была уверена в своей непогрешимой правоте. Она жила и дышала своей самооценкой и мыслью, что поступила правильно.

## Глава XIX

### Угольная пыль

Однажды днем, возвращаясь домой из школы, сестры Брангвен спустились между живописными домиками Виллей-Грин вниз по склону холма и вышли к железнодорожному переезду. Ворота были закрыты, потому что, как оказалось, приближался состав, вывозивший уголь из шахт. Было слышно хриплое сопение паровоза, осторожно пробиравшегося между насыпями. Одноногий стрелочник выглядывал из своего убежища, маленькой придорожной сторожки, точно рак-отшельник из своей раковины.

Пока девушки ждали, когда проедет поезд, к переезду на гнедой арабской кобыле рысью подъехал Джеральд Крич. Он держался в седле умело и мягко, наслаждаясь нежным подрагиванием животного, чьи бока он сжимал коленями. Он выглядел очень живописно (по крайней мере так считала Гудрун), нежно и плотно прижимаясь к спине стройной гнедой кобылы с развевающимся по ветру длинным хвостом. Он знаком приветствовал девушек, подъехал к переезду, ожидая открытия ворот, и повернулся в сторону, откуда должен был появиться поезд. Хотя его живописный вид и вызвал на лице Гудрун ироничную улыбку, ей было приятно на него смотреть. Он был хорошо сложен, спокоен, светлые, топорщащиеся в разные стороны усы выделялись на загорелом лице, а обращенные в сторону голубые глаза ярко и холодно сияли.

Невидимый за насыпями локомотив пыхтел все ближе. Кобыле это не понравилось. Она отпрянула в сторону, как будто необъяснимый шум причинил ей боль. Однако Джеральд вернул ее на место и заставил стоять прямо перед воротами. Резкие выдохи двигателя обрушивались на нее все с новой и новой силой. Повторяющийся резкий, непонятный,

---

<sup>21</sup> Александр Селькирк – прототип Робинзона Крузо из романа Дефо.

страшный гул пронзал ее, и в конце концов она дико затряслась, охваченная паникой. С силой разжавшейся пружины она отскочила назад. Лицо Джеральда при этом зажглось сиянием, почти расцвело в улыбке, и он настойчиво вернул ее на прежнее место.

Постепенно шум нарастал, маленький паровоз, кляца стальным сцепным механизмом, с громким скрежетом выполз на переезд. Кобыла отскочила, как отскакивает от раскаленного утюга капля воды. Гудрун и Урсула в страхе прижались к изгороди. Но Джеральд был суров, и кобыла опять стала на прежнее место. Казалось, невидимый магнит прижимал, соединял всадника с лошастью, позволяя ему управлять ее телом вопреки ее желанию.

– Глупец! – громко воскликнула Урсула. – Почему он не отъедет в сторону, пока не проедет поезд?

Гудрун смотрела на мужчину темными, широко раскрытыми, зачарованными глазами. А он, упрямый и сияющий, оставался на месте, насилуя кружащую на месте кобылу, которая извивалась и бросалась из стороны в сторону, словно порыв ветра, но тем не менее не могла выйти из его повиновения. Не в ее власти было ускакать от безумного грохота колес, пронзавшего ее тело, когда товарные платформы медленно, тяжело, устрашающе лязгая, преследуя одна другую, преодолевали переезд.

Состав, точно вознамерившись проверить все возможности животного, начал тормозить; платформы разом сбавили ход, загремев железными буферами, кляца ими, словно огромными литавами, с лязгом наталкиваясь друг на друга, словно в каком-то ужасном противоборстве, с грохотом подъезжая все ближе и ближе. Кобыла раскрыла рот и волна ужаса медленно подняла ее на дыбы. Внезапно она выбросила вперед передние копыта, словно пытаясь отогнать от себя ужас. Она подалась назад и девушки прижались друг к другу, чувствуя, что она вот-вот опрокинется и подомнет под себя всадника. Но он наклонился вперед с застывшим на лице довольным выражением и вернул ее в прежнее положение, подавил ее, вынудил опуститься на землю.

Но дикий ужас, отбрасывавший ее от путей, заставлявший ее крутиться и вертеться на месте, словно в центре водоворота, был еще сильнее его власти, его давления. Гудрун вдруг почувствовала резкое головокружение, дурнота проникла в самое ее сердце.

– Нет! Нет! Отпусти ее! Отпусти ее, ты, безмозглое чудовище! – во весь голос закричала Урсула, совершенно выйдя из себя.

Гудрун было очень неприятно, что ее сестра могла так забыться. Невыносимо было слышать этот властный и откровенный во всей полноте чувств голос.

На лице Джеральда появилось жестокое выражение. Он с силой опустил в седло, вонзившись в спину кобылы, словно нож в ножны, и вынудил ее повернуться. Она шумно хватала носом воздух, ее ноздри превратились в два огромных пышущих жаром отверстия, рот широко открылся, а в остекленевших глазах застыл ужас. Зрелище было отвратительное. Но он, ни на мгновение не ослабляя своей хватки, впился в нее с почти механической безжалостностью, как острый меч вбивается в плоть. От напряжения и с человека, и с лошади градом катился пот. Тем не менее, человек был холоден и спокоен, как солнечный свет в зимнее время.

А в это время платформы продолжали медленно катиться мимо них, одна за другой, одна за другой, как бесконечная череда кошмарных сновидений. Цепи крепления скрежетали и позвякивали, когда промежуток между платформами увеличивался или уменьшался, кобыла била копытами и теперь уже только по инерции пыталась в ужасе отойти назад, потому что человек проник во все уголки ее существа; она жалко и слепо била копытами в воздухе, а человек обвинял ее торс ногами и заставлял ее повиноваться, как заставлял повиноваться собственное тело.

– Кровь! У нее кровь течет! – воскликнула Урсула, сходя с ума от ненависти. И одновременно, несмотря ни на что, она была единственным человеком, который понимал намерения всадника. Гудрун увидела струйки крови, стекающие по бокам кобылы, и мертвенно побледнела. И вдруг из раны хлынула кровь и с каждой минутой струилась все сильнее и сильнее. Все завертелось у Гудрун перед глазами и погрузилось во мрак – больше она ничего не видела.

Когда она пришла себя, все ее чувства куда-то исчезли, в душе царил холод и спокойствие. Платформы все так же с грохотом проезжали мимо, человек и кобыла все так же боролись друг с другом. Но теперь Гудрун была равнодушна и безучастна, она больше ничего не чувствовала. Ее сердце окаменело, в нем не было ничего, кроме холода и безразличия.

Показался крытый вагон сопровождающего, грохот платформ постепенно стихал, появилась надежда, что когда-нибудь этот невыносимый шум смолкнет. Казалось, что тяжелое дыхание машинально вырывалось из легких кобылы; человек расслабился, ощущая, что вышел из борьбы победителем, что животному не удалось сломить его волю. Крытый вагон был уже близко, вот он проехал мимо, и человек, находившийся внутри, не сводил взгляда с разыгравшейся на дороге сцены.

Гудрун на мгновение перестала быть участницей происходящего и отстраненно взглянула на нее глазами мужчины из крытого вагона – сейчас для нее это был всего лишь вырванный из вечности эпизод.

Состав уезжал все дальше и дальше, и на смену ему пришло чудесное, благословенное молчание. Насколько же желанной была эта тишина! Урсула с ненавистью посмотрела на буфера постепенно уменьшающегося вагона. Стрелочник стоял возле своей сторожки, готовясь подойти и открыть ворота. Но Гудрун внезапно выбежала вперед, прямо под копыта беснующейся лошади, откинула засов и широко распахнула ворота, бросив одну половину стрелочнику и толкая вторую перед собой. Джеральд прищипорил лошадь и она бросилась вперед, едва не задев Гудрун. Но девушка не испугалась. Когда он натянул поводья и кобыла дернула головой в сторону, Гудрун, которая в это время стояла на обочине, воскликнула странным, высоким голосом, похожим на крик чайки или, скорее, на вопль ведьмы:

– Похоже, вы собой гордитесь!

Она верно выбрала слова – они прозвучали очень отчетливо. Человек, увлекаемый своей танцующей лошадью, удивленно и заинтересованно посмотрел на нее.

Кобыла трижды ударила копытами по звенящим, как барабан, шпалам переезда и быстрым галопом понесла своего седока вверх по дороге, бросаясь то влево, то вправо.

Девушки провожали их взглядами. К ним, стуча по шпалам деревянной ногой, ковыляющей походкой приблизился стрелочник. Он закрыл ворота, а затем сказал, обернувшись к девушкам:

– Да, такой умелый молодой наездник! Уж кто-кто, а он своего добьется!

– Да! – категоричным голосом, полным ярости, воскликнула Урсула. – Он что, не мог увести лошадь в другое место, пока не проедут платформы? Он глупец и насильник. О чем он думает, разве достойно мужчины измываться над лошадью? Она же живое существо, зачем он запугивает и мучает ее?

Воцарилось молчание, стрелочник покачал головой и ответил:

– Да, краше этой лошади редко увидишь – она красавица, очень красивая лошадка. А вот родитель его никогда бы не совершил такого над животным – только не он. Джеральд Крич и его родитель – они разные, как вода и молоко, два разных человека, разная внутри у них начинка.

Воцарилось молчание.

– Но зачем он так поступает?! – воскликнула Урсула. – Зачем? Он что, чувствует себя великим, издеваясь над нежным животным, у которого все чувства в десять раз тоньше, чем у него?

И вновь последовала настороженная пауза. Мужчина опять покачал головой, и это был знак, что хотя ему многое и известно, он ничего не скажет.

– По-моему, он хочет научить кобылу ничего не бояться, – ответил он. – Чистых кровей арабская лошадь, в наших местах такой породы не найти, совсем не такая, как наши лошади. Слухи ходят, что он вывез ее из самого Константинополя.

– Уж конечно! – сказала Урсула. – Лучше бы он оставил ее туркам. Уверена, они обращались бы с ней более подобающим образом.

Мужчина вернулся в свою сторожку к своей жестяной кружке с чаем, а девушки свернули в переулок, полностью усталый мягкой черной пылью. Гудрун в каком-то забытьи вспоминала,



как необузданное, цепкое человеческое тело впивалось в живое тело лошади, как сильные, неукротимые бедра белокурого мужчины сжимали пульсирующие бока кобылы и заставляли ее беспрекословно подчиняться; она вспоминала и легкое белое притягательно-повелительное сияние, исходящее от его живота, бедер и икр, окутывающее кобылу, обволакивающее ее, заставляющее безмолвно подчиняться человеку, подчиняться, несмотря на ужас, несмотря на кровавые раны.

Девушки шли молча. Слева от них, возле шахты, высились терриконы и ажурные очертания шахтных копёров, черные пути с остановившимися платформами сверху напоминали морскую гавань: платформы-корабли были пришвартованы в огромной бухте – на железной дороге. Возле второго переезда, пересекавшего несколько рядов блестящих рельсов, находилась шахтерская ферма, а у дороги, в загоне для скота, ржавел огромный и совершенно круглый железный шар, который когда-то служил паровым котлом. Вокруг него сновали куры, по желобу поилки прыгали цыплята, а напившиеся воды трясогузки порхали между платформами то туда, то обратно.

По другую сторону широкого переезда, у дороги, была свалена груда светло-серого камня, которым латали дороги; возле нее стояла тележка и двое мужчин: средних лет мужчина с бакенбардами на висках опирался на лопату и что-то говорил молодому парню в гетрах, стоящему возле лошади. Они оба смотрели в сторону переезда.

И тут недалеко от них, на этом самом переезде, появились девушки – маленькие, броские фигурки, залитые ярким послеполуденным солнцем. На обеих были легкие яркие летние платья и жакеты: на Урсуле – вязаный оранжевый, на Гудрун – бледно-желтый; Урсула была в канареечно-желтых чулках, Гудрун – в ярко-розовых. Пересекающие широкие пути женские фигурки, казалось, сияли; при движении они переливались белым, оранжевым, желтым и розовым, выделяясь на раскаленной и засыпанной угольной пылью местности.

Мужчины, несмотря на жаркое солнце, остались на своем месте и наблюдали за ними. Старший – невысокий, энергичный человек с морщинистым, словно выдубленным, лицом – был среднего возраста; молодому же было около двадцати трех лет. Они молча смотрели, как девушки приближались к ним, как они шли мимо, как удалялись вниз по пыльной дороге на одной стороне которой стояли жилые дома, а на другой торчала пыльная молодая кукуруза.

Потом старший мужчина с бакенбардами на висках похотливо изрек, повернувшись к своему молодому товарищу:

– Какова, а? А она ничего, да?

– Ты про которую? – заинтересованно и насмешливо спросил тот, что помоложе.

– Про ту, в красных чулках. Что скажешь? Да я б за пять минут с ней недельную получку выложил; эх! Только за пять минут.

Парень снова рассмеялся.

– Уж твоя хозяйка тебе на это кое-что высказала бы.

Гудрун обернулась и посмотрела на них. Чудовищами казались ей эти мужчины, застывшие у кучи бледно-серого шлака и провожающие их взглядами. А мужчина с бакенбардами вообще не вызывал у нее ничего, кроме отвращения.

– Ты высший класс, девочка, – сказал ей вслед мужчина.

– Думаешь, стоит она недельной получки? – задумчиво спросил парень.

– Стоит? Да я, черт ее подери, сей момент деньжата бы выложил...

Парень оценивающе окинул взглядом удаляющихся Гудрун и Урсулу, словно пытаясь понять, что именно в них равнялось недельной зарплате. И, не найдя ничего такого, он отрицательно покачал головой.

– Не, – сказал он. – Я бы столько не дал.

– Нет? – удивился старик. – Черт, а я хоть сейчас.

И он продолжил кидать лопатой шлак.

Девушки шли вниз между домами с шиферными крышами и закопченными кирпичными стенами. Насыщенно-золотое очарование наступающего заката накрыло весь шахтерский

район, и эта смесь уродства и наложившейся на него красоты дурманила чувства. На дороге, устланной черной пылью, густой свет казался более теплым, более интенсивным, огненный вечер набросил волшебную тень на бесформенное уродство этого места.

– Это место красиво какой-то жуткой красотой, – сказала Гудрун, поддавшись очарованию и страдая от этого. – Чувствуешь, как оно притягивает тебя, обволакивает, окутывает своим горячим дыханием? Я чувствую. И тупею от этой красоты.

Они шли мимо стоящих в ряд шахтерских домов. Иногда они видели, как позади домов шахтеры мылись прямо на улице – вечер был очень теплым. Они были голыми до самых бедер, с которых едва не спадали широленные моlesкиновые штаны. После умывания они садились на корточки возле стен, разговаривали или молчали, наслаждаясь жизнью и отдыхая после утомительного рабочего дня.

Они говорили с резкими интонациями, но эти ярко выраженные диалектные особенности приятно будоражили кровь. Они обволакивали Гудрун теплой пеленой, ей казалось, будто рабочие ласкают ее, она чувствовала исходящую от людских тел вибрацию; воздух этого места был пропитан изысканной смесью физического труда и присутствия множества мужчин. Но здесь это было делом обычным, а поэтому никто из местных не обращал на это внимания. Однако в душе Гудрун всколыхнулись сильные чувства, почти отвращение. Раньше она никак не могла понять, чем Бельдовер так сильно отличается от Лондона и от южных районов Англии, почему создаваемое этим городом впечатление было настолько другим, почему ей казалось, что здесь начинается иной мир. И только сейчас она поняла, что здесь царствовали сильные мужчины, обитающие в подземном мире и проводящие большую часть своей жизни во мраке. В их голосах она улавливала сладострастные вибрации мрака, могучего, опасного потустороннего мира, в котором неведомо, что такое разум, и не известно, что значит быть человеком. Так звучали неведомые ей тяжелые, смазанные маслом машины. Такое холодное, стальное сладострастие было свойственно только машинам.

Уже в тот же вечер, когда она вернулась домой, ей показалось, что она борется с волной разрушительной силы, исходящей от тысяч сочащихся энергией шахтеров, проводящих большую часть своей жизни в подземельях и наполовину превратившихся в машины. Эта волна захлестывала разум и сердце, пробуждала губительное желание и притупляла чувства.

В ее душе поднялась ноющая тоска по этому месту. Она ненавидела его, она понимала, что у него нет ничего общего с современным миром, что в нем царили уродство и беспросветная глупость. Иногда она пыталась вырваться из него, словно новая Дафна, которая превращалась не в дерево, а в машину. И все же ее постоянно тянуло сюда. Она всеми силами пыталась создать гармонию между своими чувствами и атмосферой этого места, ей хотелось наконец насытиться им.

Вечером ее потянуло на главную улицу города, не обустроенную, уродливую и в то же время насыщенную могучим духом тайной чувственной тупости. Куда бы она ни взглянула, везде были шахтеры. Они двигались с присущим им странным, извращенным достоинством, они были по-своему привлекательны. Держались они неестественно прямо, а их бледные, изможденные лица были задумчивыми и покорными. В этих существах из другого мира было свое очарование, речь их звучала нестерпимо сочно, как дребезжание машин, сводя с ума гораздо сильнее, чем в давние времена это удавалось сиренам.

По вечерам в пятницу ее, как и женщин-простолудинок, притягивал к себе маленький рынок. Днем шахтеры получали деньги, а вечером открывалась торговля. Ни одна женщина не оставалась дома, все мужчины выходили на улицу, отправляясь вместе с женой за необходимым или же встречаясь с приятелями. Тротуары на многие мили заполняли толпы людей, небольшая базарная площадь на вершине холма и главная улица Бельдовера казались черными, столько было там мужчин и женщин.

Было темно, на рынке повсюду горели керосиновые лампы, отбрасывая красноватые отблески на сосредоточенные лица шахтерских жен, покупающих то одно, то другое, и на бледные, замкнутые лица их мужей. Воздух звенел от криков зазывал и гула человеческих голосов,

плотный поток двигался по тротуару навстречу непрерывному человеческому океану рыночной площади. Ни одна из витрин не осталась неосвещенной, женщины заполнили магазины; мужчины – шахтеры всех возрастов – стояли в основном на улице. Люди тратили деньги с какой-то расточительной вольностью.

Подъезжающие телеги не могли проехать. Им приходилось ждать, возница кричал и ругался, пока плотная толпа не расступалась. Повсюду можно было наблюдать, как молодые парни из отдаленных районов болтали с девушками, стоя прямо на дороге или же облепив углы зданий. Двери пабов были открыты, везде горел свет, непрерывным потоком входили и выходили мужчины, которые возгласами приветствовали своих друзей, переходили через дорогу поздороваться, или стояли в группках и кружках, что-то обсуждая, что-то постоянно обсуждая. Разговор – жужжащий, резкий, приглушенный – все время вертелся вокруг шахтерского вопроса и политических махинаций, он разрезал воздух, точно скрежет разладившегося машинного механизма. При звуках их голосов Гудрун ощущала дрожь и головокружение. Они пробуждали в ней непонятное, щемящее желание, совершенно демоническое чувство, которому не суждено было найти свое завершение.

Гудрун по примеру всех простых девушек этого района, прогуливалась взад-вперед возле рынка, взад-вперед по отшлифованному до блеска тротуару протяженностью в двести шагов. Она знала, что так поступают только простолюдины; что ее отцу и матери будет больно об этом слышать; но ее захлестнула тоска, она должна была оказаться среди людей. Иногда она ходила в кино, которое так любили деревенские жители: это была распушенная, непривлекательная публика. Но находиться среди них ей было жизненно необходимо.

И, как многие простые девушки, она нашла своего «парня». Это был электрик, один из электриков, которых приняли на работу согласно новым распоряжениям Джеральда. Это был серьезный, умный мужчина, грамотный, страстно увлеченный социологией. Он совершенно один жил в арендованном коттедже в Виллей-Грин. Он был джентльменом и джентльменом небедным. Хозяйка его коттеджа распространяла о нем разные слухи: что он поставил огромную деревянную ванну в спальне и каждый раз, приходя с работы, приказывал принести огромное количество воды, купался, после чего ежедневно надевал чистую рубашку, чистое белье и чистые шелковые носки; что он очень трепетно и педантично относился к таким вещам, но во всем другом был самым заурядным и нетребовательным.

Гудрун обо всем этом знала. В дом Брангвенов сплетни неизбежно слетались сами по себе. В-первых, Палмер был другом Урсулы. Но в его бледном, элегантном, серьезном лице читалось то же томление, что мучило Гудрун. Ему тоже было необходимо прогуливаться взад-вперед по улице в пятницу вечером. Поэтому он гулял с Гудрун, и между ними завязалась дружба. Но он ее не любил; на самом деле ему нужна была Урсула, но в силу какой-то странной причины между ними ничего не возникло. Ему нравилось иметь Гудрун рядом в качестве «брата по разуму» – и на этом все и заканчивалось. Да и она не питала к нему настоящего чувства. Ему требовалась женщина, на которую можно было бы опереться. На самом деле он абсолютно ничего из себя не представлял, его совершенство было совершенством элегантной машины. Он был слишком холоден, слишком недоверчив, поэтому женщины по-настоящему его не интересовали – он был слишком большим эгоистом. Ритм его жизнь задавали мужчины. Он презирал каждого из них по отдельности, питал к ним отвращение, но в массе они завораживали его, как завораживало его оборудование. Для него они были новым оборудованием – только совершенно, совершенно ненадежным.

Итак, Гудрун прогуливалась с Палмером на улице или шла с ним в кино. Когда он отпускал какое-нибудь саркастическое замечание, его длинное бледное, достаточно утонченное лицо оживало. Вот такими были эти двое: два утонченных человека, с одной стороны, а с другой, это были два сосуда, испытывающие потребность в людях, и поэтому общающиеся с шахтерами, которые никак не подходили под определение «человек». Но в душе все они – Гудрун, Палмер, похотливые юнцы, изможденные мужчины средних лет – хранили один секрет. На всех них

лежала тайная печать гибельной силы, невыразимой саморазрушительности, роковой неуверенности, некоей ущербности воли.

Иногда Гудрун решалась взглянуть на себя со стороны, понаблюдать, как эта трясина затягивает ее все глубже и глубже. И тогда яростное презрение и гнев вновь захлестывали ее. Она чувствовала, что становится одной из многих – так плотно окружал ее этот мир, подминая под себя, не давая дышать. Это было ужасно. Она задыхалась. Она пыталась убежать, она лихорадочно пыталась найти спасение в работе. Но вскоре она опять уступала. Она уезжала в деревню – мрачную, полную очарования деревню. Чары вновь начинали действовать.

## Глава X

### Альбом

Однажды утром сестры отправились в отдаленную часть озера Виллей-Вотер и, усевшись у самой воды, занялись рисованием. Гудрун перебралась на усыпанную мелкими камешками отмель и, скрестив ноги, села, чтобы поближе рассмотреть торчащие из прибрежного ила мясистые водоросли. Она смотрела на ил – мягкий, обволакивающий, хлюпающий под набегающей волной ил; из этой холодной разлагающейся массы тянулись вверх толстые, прохладные на ощупь, сочные водоросли с прямыми, как иглы, пухлыми стеблями. Они были преимущественно темных тонов – темно-зеленого, темно-фиолетового и бронзового. Листья крепились к стеблям под прямым углом. Эту сочность, мясистость растений она воспринимала чувственным зрением, она знала, как они вырастают из ила, знала, как они разворачивают листья, как стоят над водой.

Урсула наблюдала за бабочками, стайками кружившими у воды: маленькие голубые появлялись внезапно, словно искорки внутри драгоценного камня, большая черно-красная сидела на цветке и самозабвенно подрагивала крылышками, впитывая всем своим тельцем чистый, еле уловимый солнечный свет; две белые бабочки резвились у самой воды; казалось, они светятся; однако когда они подлетели поближе, оказалось, что их крылышки по краям тронуты оранжевым – вот откуда происходило это свечение. Урсула поднялась и побрела прочь, забывшись подобно бабочкам.

Гудрун, сгорбившись, сидела на отмели и делала наброски, долгое время не отрываясь от альбома, а если и поднимала взгляд, то только для того, чтобы бессознательно и пристально изучать жесткие, гладкие, сочные стебли. Туфли она сбросила, шляпа лежала на берегу перед ней.

Внезапно плеск весел вывел ее из забытья. Она огляделась по сторонам. По озеру плыла лодка, в которой находились женщина и мужчина: мужчина сидел на веслах, а женщина пряталась от солнца под кричаще-ярким японским зонтиком. Это были Гермiona и Джеральд. Она поняла это в мгновение ока. И тут же острое предчувствие пронзило ее, словно электрический разряд, и этот разряд был сильнее, во много раз сильнее того слабого напряжения, которое она чувствовала в Бельдове.

Мысли о Джеральде позволяли ей забыть о бледных, превратившихся в машины обитателях потустороннего мира – о шахтерах, о той вязкой грязи, в которой они жили. Он же возвышался над грязью. Он был повелителем. Она видела его спину и ловила каждое движение его белых бедер. И не только это: наклоняясь вперед, налегая на весла, он, казалось, превращается в одно сплошное светящееся облако. Он словно преклонялся перед чем-то. Его сверкающие, белокурые волосы были похожи на упавшую с неба молнию.

– А вон Гудрун, – отчетливо прозвучал над водой голос Гермiony. – Давай-ка подплывем к ней и поболтаем.

Джеральд оглянулся и у кромки воды увидел девушку, которая пристально разглядывала его. Повинуясь магнетическому притяжению, он бессознательно направил лодку к тому месту, где она стояла. В его мире, мире его сознания, она все еще была пустым местом. Он знал, что Гермiona получает странное удовольствие, сметая на своем пути все общественные барьеры – так, по крайней мере, это выглядело со стороны, – и предоставил ей возможность воспользоваться ситуацией.

– Здравствуйте, Гудрун, – пропела Гермiona, обращаясь к ней по имени согласно самой новой моде. – Чем вы здесь занимаетесь?

– Здравствуйте, Гермiona. Я делаю наброски.

– Правда? – Лодка подходила все ближе и ближе, и наконец уперлась носом в берег. – Можно нам посмотреть? Мне бы очень хотелось взглянуть.

Не было смысла противостоять Гермione, если она вознамерилась что-нибудь сделать.

– Ну... – неохотно промолвила Гудрун, потому что она терпеть не могла показывать свои неоконченные работы, – тут нет ничего интересного.

– Неужели? Но можно мне все же взглянуть?

Гудрун протянула ей альбом, и Джеральд потянулся в ее сторону. При этом ему на память пришли слова Гудрун и выражение ее лица, с которым она повернулась к нему, когда он сидел на беснующейся лошади. И сознание, что теперь она в некотором роде находится в его власти, наполнило его сердце чувством необычайной гордости. Возникшее между ними чувство было сильным и неподвластным разуму.

Гудрун, словно во сне, смотрела, как тянулось к ней его тело, как оно приближалось, словно блуждающий огонь, как он устремился к ней, протянул ей прямую, словно стебель прибрежного растения, руку. От такого острого, сладострастного ощущения его близости кровь заледенела в ее жилах, и темная пелена заволокла разум. Раскачиваясь в лодке, он походил на танцующий на волнах огонь. Он осмотрелся вокруг. Лодку немного снесло в сторону. Джеральд взял весло и вернул ее в прежнее положение. Прекрасным, словно сон, было утонченное наслаждение от медленного покачивания причаливающей лодки, от того, как разрезала она тяжелую и в то же время ласковую воду.

– Вы рисовали вот это, – сказала Гермiona, оглядывая прибрежные растения и сравнивая их с рисунком Гудрун.

Гудрун посмотрела туда, куда указывал длинный палец Гермiony.

– Это они, да? – повторила Гермiona, требуя подтвердить свою догадку.

– Да, – механически ответила Гудрун, которой было совершенно все равно.

– Позвольте мне посмотреть, – попросил Джеральд и протянул руку за альбомом. Но Гермiona проигнорировала его просьбу – как он осмелился, она ведь еще не закончила. Но и он был не из тех, кому можно было перечить, его воля была такой же непреклонной, как и ее, поэтому он тянулся и тянулся вперед, пока не дотронулся до альбома.

Гермiona непроизвольно содрогнулась от неожиданного поворота событий, и ее мгновенно захлестнула волна отвращения. Она разжала пальцы, хотя Джеральд еще не успел взять альбом, и тот ударился о край лодки и плюхнулся в воду.

– Ну вот! – пропела Гермiona со странным торжествующим злорадством в голосе. – Мне жаль, мне очень-очень жаль. Джеральд, ты сможешь его достать?

Последние слова она произнесла притворно-обеспокоенно, и Джеральд почувствовал острую неприязнь к этой женщине. Он перегнулся через край лодки, пытаясь достать этюдник. Он ощущал всю нелепость своего положения, сознавая, что его ягоды выставлены на всеобщее обозрение.

– Да не нужен он мне, – громко и звучно сказала Гудрун. Казалось, она задела его за живое. Но он потянулся дальше, и лодка сильно закачалась. Однако Гермiona даже не шелохнулась. Он ухватил альбом, который уже тонул, и вынул его. С него капала вода.

– Мне ужасно жаль, ужасно жаль, – повторяла Гермiona. – Боюсь, это я во всем виновата.



– Нет, правда, уверяю вас, ничего страшного, для меня это совсем неважно, – громко и четко произнесла Гудрун, заливаясь алым румянцем. Она нетерпеливо протянула руку за своим мокрым альбомом, желая, чтобы эта комедия наконец закончилась.

Джеральд отдал ей альбом. Он был сам не свой.

– Мне страшно жаль, – повторяла Гермiona, пока ее извинения не начали выводить Джеральда и Гудрун из себя. – Может, можно что-нибудь сделать?

– Каким образом? – с ледяной иронией поинтересовалась Гудрун.

– Можно ли спасти рисунки?

На мгновение воцарилось молчание, которым Гудрун ясно дала понять Гермione, насколько неприятна ей ее настойчивость.

– Уверяю вас, – резко и отчетливо повторила Гудрун, – с рисунками ничего не случилось, они не испортились и я смогу использовать их, как и раньше. Я всего лишь хотела сверяться с ними во время работы.

– Можно, я подарю вам новый альбом? Позвольте мне это сделать. Мне искренне жаль. Я чувствую, что это все случилось только из-за меня.

– Насколько я видела, – сказала Гудрун, – вы вообще ни в чем не виноваты. Если кто и виноват, так это мистер Крич. Но все это такие мелочи, что просто смешно обращать на это внимание. Джеральд пристально наблюдал, как Гудрун давала Гермione отпор. Он чувствовал, что в ней скрыт источник хладнокровия и силы. Он, словно ясновидец, видел ее насквозь. Он видел, что в ней живет опасный, недоверчивый дух, неистребимый и неумолимый. В нем не было изъянов, но было благородство.

– Я ужасно рад, если вам все равно, – сказал он, – если мы не причинили вам серьезного ущерба.

Она ответила на его взгляд взглядом своих чудесных голубых глаз, который пронзил его душу, и произнесла ласкающим, полным нежных чувств голосом:

– Разумеется, мне совершенно все равно.

Этот взгляд, этот голос связали их воедино. Ее интонации говорили: они были из одного теста, они оба принадлежали к некой дьявольской когорте. Поэтому она понимала, что теперь он принадлежит ей. Где бы они ни встретились, между ними всегда будет существовать тайная связь. И он ничего не сможет с этим поделать. Ее душа возликовала.

– До свидания! Я так рада, что вы простили меня. До свидания!

Гермiona пропела свое прощание и помахала рукой. Джеральд по инерции схватил весло и оттолкнулся от берега. Однако все это время он не сводил блестящих, едва заметно улыбающихся и полных восхищения глаз с Гудрун, которая все еще стряхивала воду с альбома, стоя там, на отмели. Она отвернулась и не смотрела на удаляющуюся лодку. Джеральд же греб и постоянно оглаживался на нее, самозабвенно любясь ею.

– По-моему, мы слишком отклонились влево, – пропела забытая им Гермiona из-под яркого зонтика.

Джеральд посмотрел по сторонам и ничего не ответил, сложив весла и взглянув на солнце.

– А по-моему, мы идем ровно, – добродушно сказал он, вновь принимаясь грести, забыв обо всем.

Это добродушное забытие пробудило в Гермione сильную неприязнь – ведь для него она перестала существовать, и ей было не суждено вернуть себе свое превосходство.

## Глава XI

### Остров

Тем временем Урсула, свернув в сторону от Виллей Вотер, брела вдоль маленького искрящегося ручейка. Полуденный воздух звенел от пения жаворонков. Заросшие утесником склоны холма, казалось, окутывала ярко-зеленая дымка. В нескольких местах у самой воды цвели незабудки. Повсюду чувствовалось оживление, все искрилось и переливалось. Она задумчиво брела дальше, переходя вброд ручейки. Ей хотелось подняться к запруде, на которой стояла мельница. В большом доме, ранее принадлежавшем мельнику, теперь никто не жил, кроме рабочего с женой, которые приспособили под жилье кухню. Урсула прошла через пустующий скотный двор, через заросший огород и около водовода взобралась на склон. Когда она поднялась на самый верх, чтобы оттуда полюбоваться заросшей бархатной гладью пруда, она заметила мужчину, возившегося на берегу со сломанным яликом. Орудовал пилой и молотком не кто иной, как Биркин.

Она наблюдала за ним, стоя у истока водовода. Для него же в эти минуты весь мир перестал существовать. Он погрузился в работу с яростью дикого зверя, не прерываясь ни на мгновения, стремясь довести задуманное до конца. Она чувствовала, что ей следовало бы уйти, что он не обрадуется ее появлению. Всем своим видом он говорил, как захватила его работа. Но девушке не хотелось уходить. Поэтому она решила идти вдоль реки, пока он не оторвется от своего занятия. Что он вскоре и сделал.

Как только он ее заметил, то бросил инструменты и пошел ей навстречу со словами:

– Как поживаете? Я пытаюсь починить ялик, а то он пропускает воду. Как, по-вашему, я все правильно делаю?

Она пошла рядом с ним.

– Вы дочь своего отца и поэтому сможете сказать, все ли верно я сделал.

Она перегнулась через борт и внимательно осмотрела заплату.

– Я-то, конечно, дочь моего отца, – сказала она, не решаясь оценить его работу. – Но я ничего не понимаю в столярном деле. По-моему, все выглядит так, как и должно, вы не считаете?

– Да, верно. Надеюсь, этот ялик не отправит меня на дно, а больше мне ничего не нужно. Хотя вообще-то это тоже неважно, я ведь все равно выплыву. Не поможете ли мне спустить его на воду?

Общими усилиями они перевернули тяжелый ялик, и вскоре он уже был на плаву.

– Теперь, – сказал он, – я испытаю его, а вы посмотрите, что будет. Если он меня выдержит, я отвезу вас на остров.

– Да, пожалуйста! – воскликнула она, взволнованно наблюдая за ним.

Пруд был широким и абсолютно спокойным, он излучал то сияние, которое могут излучать только глубокие водоемы. Из воды торчали два островка, сплошь покрытые кустарником, среди которого кое-где росли деревья.

Биркин оттолкнулся от берега, и ялик неуклюже поплыл по озеру. К счастью, он плыл так, что Биркин сумел ухватиться за ивовую ветку и подтянуть его к острову.

– Здесь настоящие заросли, – сказал он, заглянув вглубь, – но очень даже неплохо. Я сейчас вас заберу. Ялик немного протекает.

Через мгновение он уже стоял рядом с ней, и она забралась в мокрую лодку.

– Он вполне сможет нас довезти, – сказал он и тем же способом, что и раньше, доставил ее на остров.

Они остановились под ивовым деревом. Она поежилась, увидев, что им предстояло пройти через заросли из прибрежных растений – зловонного норичника и болиголова. Он же смело прошел в самую середину.

– Я их скошу, – сказал он, – и тут будет романтично – идиллическое место, как в новелле «Поль и Виргиния».

– Да, здесь можно было бы устраивать прекрасные пикники, как на картинах Ватто! – с энтузиазмом воскликнула Урсула.

Он помрачнел.

– Я не хотел бы, чтобы здесь устраивались пикники в стиле Ватто, – сказал он.

– Вам нужна только ваша Виргиния, – рассмеялась она.

– Виргинии будет достаточно, – криво усмехнулся он. – Нет, даже и ее будет многовато.

Урсула пристально взглянула на него. Она больше не встречала его с того дня в Бредолби. Он исхудал, щеки ввалились, а лицо было мертвенно-бледным.

– Вы были больны? – неприязненно спросила она.

– Да, – холодно ответил он.

Они присели под ивой и из этого своего убежища на суше смотрели на пруд.

– Вы боялись? – спросила она.

– Чего? – вопросом на вопрос ответил он, поворачиваясь к ней.

Какая-то холодность, безысходность, сквозившие в его облике, вызывали в ее душе тревогу, выбивали из привычной колеи.

– По-моему, очень страшно тяжело болеть, – промолвила она.

– Приятного мало, – согласился он. – Я, например, никак не мог понять, боюсь я смерти на самом деле или нет. В одно мгновение тебе страшно, а в другое нет.

– Но вы не испытывали стыда? По-моему, болеть так унижительно – болезнь унижает человеческое достоинство, а вы как думаете?

Он задумался.

– Возможно. Хотя во время болезни ты ежесекундно осознаешь, что твоя жизнь в корне не такая, какой должна быть. Вот это действительно унижительно. В конце концов я не считаю, что болезнь ни о чем нам не говорит. Ты болеешь, потому что неправильно живешь – не можешь жить правильно. Мы болеем из-за того, что неспособны жить, вот это-то и унижительно для человеческого достоинства.

– А разве вы не можете жить правильно? – спросила она почти язвительно.

– Совершенно не могу – мою жизнь нельзя назвать особенно успешной. У меня такое ощущение, что я постоянно бьюсь лбом о невидимую стену.

Урсула рассмеялась. Она была напугана, а когда она была напугана, то смеялась и пыталась казаться беспечной.

– Бедный, бедный лоб! – сказала она, смотря на эту часть его лица.

– Неудивительно, что он такой уродливый, – ответил он.

Несколько мгновений она молчала, пытаясь преодолеть желание обмануть саму себя.

Самообман в такие минуты всегда служил ей защитным механизмом.

– Но я ведь счастлива – мне кажется, жизнь чертовски приятная штука, – сказала она.

– Прекрасно, – ответил он с ледяным безразличием.

Она достала из кармана обертку от шоколадки и принялась складывать из нее кораблик. Он смотрел на нее отсутствующим взглядом. В этих произвольных движениях кончиков ее пальцев было что-то трогательное и нежное, неподдельное волнение и обида.

– Я на самом деле наслаждаюсь жизнью, а вы нет? – спросила она.

– Почему же, наслаждаюсь, просто меня злит, что все большая часть меня не может понять, что ей нужно. Я чувствую, что запутался, что в моей голове все смешалось, и я никак не могу выйти на прямую дорогу. Я действительно не знаю, что мне делать. Нужно же что-нибудь когда-нибудь делать.

– Почему вам всегда нужно что-то делать? – резко спросила она. – Это удел плебеев. Мне кажется, лучше жить, как патриции, ничего не делать, быть собой, жить подобно цветку.

– Я согласен с вами, – сказал он, – это правильно, если твои лепестки раскрылись. Но я не могу заставить зацвести свой цветок. Он либо засыхает на корню, либо в нем заводится жучок, либо ему не хватает питания. Черт, да это вообще не цветок. Это сплошной клубок противоречий.

Она вновь засмеялась. Он был таким раздражительным и возбужденным... Она же ощущала только беспокойство и озадаченность. Что же человеку в этом случае делать? Должен же быть какой-нибудь выход.

Повисло молчание, и ей захотелось плакать. Она нащупала еще одну обертку от шоколадки и начала складывать второй кораблик.

– А почему, – спросила она через некоторое время, – цветок не может расцвести, почему в жизни людей больше нет достоинства?

– Просто сама идея достоинства потеряла всякий смысл. Человечество высохло на корню. На кусте висят мириады человеческих существ – они, эти ваши здоровые молодые мужчины и женщины, такие красивые и цветущие. Но на самом деле это сплошь яблоки Содома, плоды Мертвого моря, чернильные орехи. На самом деле, в этом мире у них нет никакого предназначения – внутри у них нет ничего, кроме горькой, гнилой трухи.

– Но ведь есть и хорошие люди, – запротестовала Урсула.

– Они хороши для сегодняшней жизни. Но человечество – это засохшее дерево, на котором висят мелкие блестящие чернильные орешки – люди.

Урсуле вопреки своему желанию не удалось напустить на себя безразличное выражение, сравнение было слишком точным и живописным. И она также не могла не заставить его продолжить свою мысль.

– Даже если вы и правы, то почему так происходит? – недружелюбно спросила она. Они возбуждали друг в друге тонкое страстное желание помериться силами.

– Почему? Почему люди – это орешки, наполненные горькой трухой? Потому что созревая, они не падают с дерева. Они висят и висят на одном месте до тех пор, пока это самое место не станет историей, а потом в них заводится червяк и они засыхают.

Последовала долгая пауза. Теперь его слова звучали раздраженно и саркастически. Урсула была обеспокоена и озадачена, оба они не замечали ничего кроме того, что в данный момент занимало их больше всего.

– Но если все остальные неправы, то как вы можете утверждать истину? – воскликнула она. – Чем вы-то лучше других?

– Я? Я тоже неправ! – воскликнул он в ответ. – По крайней мере, моя правота в том, что я это понимаю. На самом деле мне отвратительно то, что я из себя представляю. Я ненавижу человеческое существо, которым я являюсь. Человечество – это одна большая многоголовая ложь, а любая, пусть даже самая незначительная истина глубже самой огромной лжи.

Человечество в этом мире значит гораздо меньше одного человека, потому что один человек иногда все же говорит правду, а человечество это ложь, ложь и еще раз ложь. Они еще утверждают, что любовь – это самое лучшее, что только есть на свете, они, эти мерзкие лжецы, твердят это ежесекундно; но вы только посмотрите, чем они занимаются! Взгляните на миллионы людей, ежеминутно кричащих на каждом углу, как прекрасна любовь, как важно заниматься благотворительностью! И понаблюдайте, чем они все это время занимаются. По делам узнаются они, эти грязные лжецы, эти трусы, которые не осмеливаются ответить ни за свои действия, ни за свои слова.

– Но, – грустно сказала Урсула, – это же не отменяет того, что любовь – величайшее явление в нашем мире? Их поступки не умаляют истинности того, о чем они говорят.

– Совершенно верно, потому что если бы все было так, как они говорят, они постоянно подтверждали бы это своими действиями. Но они продолжают лгать, и поэтому в конце концов их захлестывает безумие. Неправда, что любовь – самое прекрасное, что есть в мире. С таким же успехом можно заявить, что самое прекрасное – это ненависть, поскольку ненависть – это противоположность любви. Единственное, что нужно в этом мире людям – это ненависть, еще раз ненависть и ничего кроме ненависти. И они этой ненависти добиваются. Они все до единого очищают свои души нитроглицерином и делают это во имя любви. Но это самая убийственная ложь. Если нам нужна ненависть, хорошо, пусть будет ненависть – смерть, убийство, мучения, чудовищные разрушения – пусть все это будет; но только не говорите, что все это во имя любви. Я ненавижу человечество, мне бы хотелось, чтобы оно провалилось в преисподнюю. Если оно сгинет, если завтра человечество канет в вечность, потеря будет неощутима. Реальный мир останется прежним. Нет, он будет даже лучше. Истинное древо жизни сбросит с себя омерзительный груз плодов Мертвого моря, это страшное бремя, эту отягощающую обузу – жалкое подобие человека, этот мертвый груз лжи.

- Неужели вы хотите, чтобы все люди как один исчезли с лица земли? – спросила Урсула.
- Очень хочу.
- И чтобы наша планета опустела?
- Воистину да. Разве вы сами не находите, как прекрасна и чиста мысль о мире, в котором нет людей, а есть только непримятая трава и затаившийся в ней кролик?
- Услышав такую неподдельную искренность в его голосе, Урсула перестала задавать вопросы и задумалась. Эта мысль и в самом деле показалась ей привлекательной: чистый, прекрасный мир, в котором нет ни одного человека. Ее сердце замерло и вдруг возликовало. Но умозаключения Биркина все еще вызывали в ней недовольство.
- Но вы же сами будете мертвы, – запротестовала она, – так какой вам от этого прок?
- Я с готовностью отдам свою жизнь, если буду знать, что мир очистится от людей. Это чудесная мысль, она позволяет мне чувствовать себя свободным. К тому же, очередной гнусный род человеческий, марающий своим существованием этот мир, больше не возникнет никогда.
- Да, – сказала Урсула, – мир превратится в пустыню.
- В пустыню? Разве? Только потому, что человечество исчезнет с лица земли? Не льстите себе. Все как существовало, так и будет продолжать существовать.
- Каким образом? Людей-то не будет!
- Вы в самом деле считаете, что мироздание зиждется на человеке? Вовсе нет. Существуют деревья, трава и птицы. Мне очень нравится думать, что жаворонки будут взмывать в утреннее небо над миром, в котором нет людей. Человек – это ошибка, он обязан исчезнуть. Есть трава, и кролики, и змеи, и невидимые хозяева этого мира – добрые духи, которые будут беспрепятственно обитать в этом мире, которым не будет мешать грязное человечество; и добрые демоны, сотканные из чистейшей материи – разве это не чудесно?
- Урсуле были по душе его мысли, очень по душе, как бывают по душе красивые сказки. Но это был всего лишь красивый образ. Она-то прекрасно знала, каков на самом деле человеческий мир, какой чудовищной была его действительность. Она понимала, что человечество ни за что бы не исчезло тихо и не оставляя после себя следов. Ему предстоял еще очень долгий путь, долгий и страшный. Ее тонкая, женственная, обладающая сверхъестественной проницательностью душа прекрасно это чувствовала.
- Если бы только человечество исчезло с лица земли, твари земные прекрасно жили бы и дальше, они начали бы новую жизнь, не оскверненную человеческим прикосновением. Человек – это одна из ошибок мироздания – подобно ихтиозаврам. Если бы люди исчезли, только представьте себе, сколько чудесного родилось бы в эти ничем не загруженные дни – родилось бы прямо из огня.
- Но ведь человечество никогда не исчезнет, – заметила она лукаво и коварно, хотя и знала, какие ужасы грозят миру в этом случае. – А если и исчезнет, то мир исчезнет вместе с ним.
- О нет, – возразил он, – это не так. Я верю, что рядом с нами существуют гордые ангелы и демоны, предвестники будущего. Они уничтожат нас, потому что в нашей жизни не осталось величия. Ихтиозавры не могли держать голову высоко: они, как и мы, пресмыкались и копошились в грязи. Кроме того, взгляните на цветки бузины и на колокольчики – все они, даже бабочки – свидетельство того, что процесс нерукотворного сотворения мира продолжается. А человечество так и останется личинкой – оно сгниет внутри кокона, и ему не суждено обрести крылья. Человечество – это пародия на все живое, так же как мартышки и бабуины – пародия на человека.
- На протяжении всего монолога Урсула не сводила с него глаз. Нетерпеливая ярость постоянно рвалась на поверхность из глубин его души, и в то же время ей казалось, что все происходящее только забавляет его. К тому же у этого человека было безграничное терпение. И вот именно этому терпению, а не его ярости, она верила меньше всего. Она понимала, что несмотря ни на что, несмотря на все свои чувства, он будет постоянно спасать мир. В глубине сердца она ощущала самодовольную радость оттого, что он не изменится, что она может быть в нем



уверена, но вместе с тем к ее чувствам примешивались острое презрение и неприязнь. Она хотела, чтобы он принадлежал только ей, его желание играть в Спасителя Мира не вызывало у нее ничего, кроме отвращения. Как невыносимо было ей его умение отвлекаться от главного, разбрасываться по пустякам! Он вел бы себя так же, говорил те же вещи, так же всецело дарил бы свое тепло любому, кто оказался бы на ее месте. Это была самая отвратительная, искусно замаскированная форма продажности.

– Но в любовь между отдельными людьми вы, наверное, верите, – возразила она, – даже если любовь ко всему человечеству для вас всего лишь слова?

– Я вообще не верю в любовь – не больше, чем в ненависть или в печаль. Любовь – это такое же чувство, как и все остальные, поэтому она хороша, пока ты ее чувствуешь. Но я не думаю, что она может превратиться в абсолютную величину. Она всего лишь часть человеческих взаимоотношений и ничего более. Я не считаю, что она должна постоянно присутствовать в сердце человека – ее должно быть столько же, сколько грусти или предчувствия радости. Любовь – это вовсе не что-то, к чему всеми силами надо стремиться, это чувство, которое в зависимости от обстоятельств ты либо испытываешь, либо нет.

– Если вы не верите в любовь, – начала она, – тогда почему вас вообще интересуют люди? Зачем тогда вообще беспокоиться о судьбе человечества?

– Почему? Да потому что я все еще являюсь его частью.

– Нет, просто вы его любите, – настаивала она.

Ее слова все больше раздражали его.

– Если я и люблю его, – сказал он, – значит, я болен.

– Но вы же при этом не хотите излечиться от этой болезни, – сказала она с ноткой холодной насмешки.

Он замолчал, почувствовав, что она пытается задеть его.

– Пусть вы не верите в любовь, во что же тогда вы верите? – насмешливо спросила она. – Неужели в конец света и в траву?

Он почувствовал собственную глупость.

– Я верю в невидимых властителей мира, – сказал он.

– И только? И вы не верите ни во что осязаемое, кроме травки и птичек? Да, в вашем мире даже и посмотреть не на что...

– Может быть и так, – уязвленный, надменно и холодно ответил он и, напустив на себя отстраненный и высокомерный вид, вернулся на свое место.

В этот момент Урсула почувствовала, насколько он ей неприятен. Но в то же время в ее душе возникла пустота, словно у нее что-то отняли. Он уселся, поджав под себя ноги, а она смотрела на него. В нем сквозила какая-то педантичная чопорность, свойственная учителям воскресных школ, которая ее откровенно отталкивала. И в то же время в изгибах его тела было столько энергии, столько привлекательности, в них чувствовалась необычайная раскрепощенность: в очерке бровей, подбородка, всего тела таилось что-то чудесно живое, чего не мог скрыть даже его болезненный вид.

Это вспыхивающее при виде его двойственное чувство порождало в ее сердце отчаянную ненависть: в один момент в нем просыпается чудесная, вожделенная многими жизненная хватка, уникальное качество идеального мужчины, а в следующий она пропадает неизвестно куда, и ее обладатель превращается в Спасителя Мира и учителя воскресной школы – самого что ни на есть наичопорнейшего педанта.

Он поднял на нее глаза. Он увидел, что ее лицо словно светится, точно изнутри его освещает сильный и сладостный огонь. От благоговейного восторга у него перехватило дыхание. В ней сиял ее собственный животворный огонь. Он подошел к ней, охваченный трепетом и повинуюсь неподдельному, прекрасному влечению. Она сидела с видом растерявшейся королевы, и ее теплая живая улыбка порождала вокруг нее ореол сверхъестественного существа.

– Раз уж мы заговорили о любви, – сказал он, поспешно беря себя в руки, – то проблема в том, что мы так опошили это слово, что оно стало вызывать у нас отвращение. Следует запретить

произносить его, на долгие годы превратить его в табу, пока мы не начнем употреблять его в новом, более высоком значении.

Между ними появилась ниточка взаимопонимания.

– Но у этого слова есть одно значение... – проговорила она.

– Ах, Боже мой, нет, давайте не будем вкладывать в это слово только такой смысл, – воскликнул он. – Пора избавиться от старых значений.

– Но все же оно означает «любовь», – настаивала она. В глубине устремленных на него глаз зажглись странные, злобные желтые огоньки

Он ошеломленно замер, отшатнувшись от нее.

– Нет, – сказал он, – не любовь. Если вы так об этом говорите, то это никакая не любовь. У вас нет права произносить это слово.

– Я предоставляю вам вынуть его в нужный момент из Ковчега завета, – насмешливо сказала она.

Они вновь обменялись взглядами. Внезапно она вскочила на ноги, повернулась к нему спиной и пошла прочь. Он тоже встал, но не так стремительно, как она, и, подойдя к самой воде, сел и рассеянно стал играть цветами. Срывая маргаритку, он бросал ее в пруд стеблем в воду, чтобы цветок качался на волнах, подобно маленькой кувшинке, устремив свое раскрытое личико в небо. Отдаляясь, она медленно-медленно кружила, точно пляшущий дервиш.

Биркин провожал цветок взглядом и бросал в воду следующий, а затем еще один и, сидя возле воды, наблюдал за ними сияющим задумчивым взглядом. Урсула, обернувшись, посмотрела на него. Ее охватило непонятное чувство, ей показалось, что в этот момент между ними что-то происходит. Но она не могла понять, что именно. Она только вдруг поняла, что теперь ее сковывают невидимые узы. Ее разум больше не подчинялся ей. Она могла лишь смотреть на маленькие яркие диски маргариток, медленно отправлявшиеся в плаванье по темной, глянцевой воде. Миниатюрная флотилия плыла навстречу свету, превращаясь в отдалении в едва видимые белые пятнышки.

– Скорее поплыли обратно, давайте догоним их, – сказала она, боясь, что ей придется еще какое-то время остаться в заключении на этом острове.

Они сели в ялик и оттолкнулись от берега.

Она была рада вновь оказаться на большой земле. Она пошла вдоль берега в сторону водовода. Волны разбросали маргаритки по всему пруду – крохотные сияющие цветочки, словно капельки восторга, словно символы величайшей радости, светились то тут, то там. Почему они так сильно ее трогали, почему так завораживали?

– Взгляните, – сказал он, – ваш кораблик из фиолетовой бумаги возглавляет караван, а цветки, как плоты, идут в его фарватере.

Несколько маргариток медленно, словно стесняясь, подплыли к ней, выписывая робкие, но изящные «па» на темной прозрачной воде. Они подплыли ближе, и их радостная и яркая непорочность была настолько трогательной, что на глаза ее навернулись слезы.

– Почему они такие милые? – воскликнула она. – Почему мне кажется, что они такие прекрасные?

– Это очень хорошие цветы, – сказал он со скованностью, появившейся в ответ на ее страстный возглас. – Вы знаете, что маргаритка состоит из множества отдельных цветков, которые становится единым целым. По-моему, ботаники ставят такие растения на вершину эволюционной лестницы, верно?

– Да, они называются сложноцветными, мне кажется, вы совершенно правы, – ответила Урсула, которая никогда ни в чем не была уверена. Если в одно мгновение ей казалось, что она в чем-то совершенно уверена, то в следующее она уже в этом сомневалась.

– Этим все и объясняется, – сказал он. – Маргаритка – это миниатюрное выражение идеальной демократии, следовательно, это самый совершенный из цветков и в этом-то его прелесть.

– Нет, – воскликнула она, – вовсе нет – никогда. Демократия тут ни при чем.

– Вы правы, – признал он. – Это золотая толпа пролетариата, окруженная ярко-белым оперением богатеев-бездельников.

– Какая гадость – опять вы со своими общественными лозунгами! – воскликнула она.

– Действительно! Это же просто маргаритка – оставим-ка ее в покое.

– Пожалуйста! Пусть хотя бы один раз это будет для вас то, чего вы не можете разгадать, – сказала она, – если такое вообще существует в природе, – иронично присовокупила она.

Они стояли рядом, забыв обо всем. Они оба не двигались, словно пораженные молнией, и едва осознавали, где находятся. Возникшее между ними небольшое противостояние разорвало оболочку их сознания, превратив их в две обезличенные силы, столкнувшиеся между собой. Он почувствовал, что молчание затянулось. Ему хотелось что-нибудь сказать, найти новую, боле привычную тему и продолжить разговор.

– Знаете, – сказал он, – я снимаю комнаты здесь, на мельнице. Может быть, мы могли бы еще раз как-нибудь приятно провести время?

– Неужели? – сказала она, не обращая внимания на то, что он вполне допускал возможность возникновения между ними близких отношений.

Он тут же одернул себя и заговорил с теми же интонациями, что и раньше.

– Как только я пойму, что смогу жить в одиночестве, что мне будет этого достаточно, – продолжал он, – я сразу же брошу работу. Она для меня больше ничего не значит. Я не верю в человечество, хотя и притворяюсь, что являюсь его частью, я ни в грош не ставлю общественные идеалы, согласно которым я строю свою жизнь, мне отвратительна вымирающая органическая форма социального человечества – поэтому моя работа в сфере образования ни что иное, как показуха. Я откажусь от нее как только очищу свою душу – возможно завтра – и буду жить сам по себе.

– У вас достаточно средств к существованию? – спросила Урсула.

– Да, у меня около четырехсот фунтов годового дохода. Это облегчает мое положение.

Повисла пауза.

– А как же Гермiona? – спросила Урсула.

– Все наконец кончено – полный крах, да ничего другого и не могло быть.

– Но вы все еще общаетесь?

– Было бы странно, если бы мы притворялись, что незнакомы, не так ли?

Во вновь повисшей паузе чувствовалось, что Урсуле хочется продолжить разговор.

– Но, может, было бы лучше разом покончить со всем? – через некоторое время спросила она.

– Не думаю, – сказал он, – время покажет.

Они опять замолчали на некоторое время. Он стал размышлять вслух.

– Чтобы найти то единственное, что действительно нужно человеку, он должен отказаться от всего – полностью все отринуть, – заявил он.

– И что же это за «одно-единственное»? – вызывающе спросила она.

– Не знаю, наверное, свобода.

Ей хотелось, чтобы он сказал «любовь».

В этот момент откуда-то снизу раздался громкий собачий лай. Биркин как будто заволновался. Она же не придавала этому значения. Только подумала, чего это он вдруг смутился.

– Дело в том, – тихо произнес он, – что, насколько я понял, пришли Гермiona и Джеральд Крич. Ей хотелось взглянуть на комнаты до того, как я привезу мебель.

– Понятно, – отозвалась Урсула. – Она сама будет обставлять комнаты для вас.

– Возможно. А это что-нибудь меняет?

– Нет, не думаю, – сказала Урсула. – Если говорить честно, я ее не выношу. Мне кажется, она насквозь лживая, если вы, который постоянно говорит о лжи, хотите узнать мое мнение. Она поразмыслила и снова заговорила:

– Да, хочу вам сказать, мне неприятно, что она будет обставлять ваши комнаты. Да, мне неприятно. Мне неприятно, что вы вообще позволяете ей приходить к себе.

Он замолчал, нахмутив брови.

– Возможно, – сказал он. – Я не хочу, чтобы она обставляла мои комнаты, и я вовсе не поощряю ее присутствие. Но я же не должен из-за этого грубить ей, так ведь? В любом случае, мне придется спуститься и встретить их. Вы пойдете со мной?

– Вряд ли, – холодно, но нерешительно промолвила она.

– Пожалуйста, пойдите! Пойдите, заодно посмотрите, где я живу. Идемте.

## Глава XII

### Ковер Гермионы

Он направился вниз по берегу, а она с большой неохотой последовала за ним. Но в то же время оставаться в стороне она просто не могла.

– Вы и я – мы уже достаточно хорошо друг друга узнали, – сказал он.

Она ничего не ответила.

В большой темноватой кухне дома мельника жена рабочего что-то говорила своим пронзительным голосом Гермионе и Джеральду. Эти двое – она в платье из мерцающего голубого фуляра, он во всем белом – странными светлыми пятнами выделялись в полумраке комнаты; на стенах в клетках сидело с десяток канареек, которые одна громче другой распевали свои песни. Клетки были развешаны вокруг маленького квадратного окна на дальней стене, в которое, просачиваясь на пути через крону дерева, проникал чудесный луч солнца. Резкий голос миссис Салмон перекрывал птичий щебет, с каждой минутой становившийся еще яростнее и исступленнее, из-за чего женщине приходилось вновь повышать голос, на что птицы отвечали с еще более бурным воодушевлением.

– А вот и Руперт! – голос Джеральда перекрывал весь шум. Его ушам было нестерпимо больно, ведь слух у него был очень тонким.

– Ах уж эти трещотки, и поговорить-то вам не дадут! – недовольным тоном пронзительно взвизгнула жена рабочего. – Накрою-ка я их.

Она метнулась сначала в одну сторону, потом в другую, накидывая на птичьи клетки тряпку, которой вытирала пыль, фартук, полотенце и скатерть.

– Замолкайте уже, дайте ж людям словечко-то вставить, – сказала она своим чересчур резким голосом.

Остальные наблюдали за ней. Скоро все клетки оказались накрытыми, и вид у них стал необычно траурный. Но из-под тряпок все еще доносились странные непокорные трели и клекотание.

– Да не будут они больше, – уверяла миссис Салмон. – Они сейчас спать улягутся.

– Неужели? – вежливо произнесла Гермиона.

– Да, – подтвердил Джеральд. – Они автоматически засыпают, поскольку им кажется, что наступил вечер.

– Их так легко обмануть? – воскликнула Урсула.

– Да уж, – ответил Джеральд. – Вы не читали рассказ Фабра, в котором рассказывается о том, как он, будучи еще ребенком, спрятал курице голову под крыло, а она возьми и засни? Это сущая правда.

– И после этого он стал натуралистом? – спросил Биркин.

– Возможно, – кивнул Джеральд.

Тем временем Урсула заглянула под одно из покрывал. В углу клетки, нахохлившись и распушив перышки, сидела приготовившаяся ко сну канарейка.

– Как странно! – воскликнула она. – Она действительно думает, что пришла ночь! Какая глупость! Нет, подумайте только, разве можно уважать существо, которое так легко ввести в заблуждение!

– Да, – пропела подошедшая посмотреть Гермiona. Она положила свою руку на запястье Урсулы и тихо усмехнулась.

– По-моему, он такой смешной, – хихикнула она. – Выглядит, точно ничего не подозревающий муж.

Затем, не убирая своей руки с запястья Урсулы, она увлекла девушку в сторону и поинтересовалась приглушенным тягучим голосом:

– Как вы сюда попали? Мы и Гудрун видели.

– Я пришла посмотреть на пруд, – сказала Урсула, – и обнаружила здесь мистера Биркина.

– Вот как? Это место в духе сестер Брангвен, не так ли?

– Боюсь, и я так думала, – ответила Урсула. – Я хотела скрыться здесь, когда увидела, что вы отчаливаете там, в нижней части озера.

– Неужели?! А теперь мы загнали вас в нору.

Гермiona широко раскрыла глаза, и это удивленное и одновременно возбужденное движение показалось каким-то сверхъестественным. У нее был холодный, глубокий взгляд, неестественный и бессмысленный.

– Я уже собиралась уходить, – сказала Урсула, – но мистер Биркин настоял, чтобы я взглянула на его комнаты. Жить здесь, наверное, чудесно! Это идеальное место для жизни.

– Да, – рассеянно произнесла Гермiona. После этого она отвернулась от Урсулы и напрочь забыла о ее существовании.

– Как вы себя чувствуете, Руперт? – пропела она другим, полным нежности голосом, обращаясь к Биркину.

– Очень хорошо, – ответил тот.

– Вам здесь удобно?

Загадочное, зловещее и сосредоточенное выражение появилось на лице Гермiony, ее грудь конвульсивно содрогнулась, и казалось, она почти впала в экстатическое состояние.

– Достаточно удобно, – ответил он.

Последовала долгая пауза; Гермiona не сводила с него тяжелого, затуманенного взгляда.

– Вы считаете, что вам удастся обрести здесь свое счастье? – наконец спросила она.

– Я уверен, что именно так и будет.

– Говорю вам, я сделаю для него все, что в моих силах, – сказала жена рабочего. – И хозяин мой тоже, уверяю вас; поэтому будем надеяться, что ему тут будет удобно.

Гермiona повернулась и медленно окинула ее взглядом.

– Благодарю вас, – сказала она и вновь повернулась к ней спиной. Она вернулась в прежнее положение и, поворачивая свое лицо к нему, спросила так, будто кроме них в комнате больше никого не было:

– Ты уже обмерил комнаты?

– Нет, – ответил он. – Я чинил ялик.

– Сделаем это сейчас? – медленно, холодно и равнодушно предложила она.

– Есть у вас сантиметровая лента, миссис Салмон? – спросил он женщину.

– Да, сэр, думаю, есть, – ответила женщина, в тот же момент бросаясь к шкатулке для рукоделия. – У меня только одна, не знаю, подойдет ли...

Хотя женщина протянула ленту Биркину, взяла ее Гермiona.

– Большое спасибо, – сказала она. – Она прекрасно подойдет. Благодарю вас.

Она обернулась к Биркину и с легким игривым движением спросила:

– Займемся этим сейчас, Руперт?

– А как же остальные, им будет скучно, – вяло запротестовал он.

– Вы не возражаете? – рассеянно спросила Гермiona, поворачиваясь к Урсуле и Джеральду.

– Ни в коей мере, – ответили они.

– С какой комнаты начнем? – вновь обращая лицо к Биркину, спросила она с той же игривостью – ведь теперь у нее с ним было общее занятие.

– Будем мерить по ходу комнат, – сказал он.



– Пока вы тут занимаетесь, пойду согрею вам чаю, – также весело сказала жена рабочего – теперь и ей было чем заняться.

– Пожалуйста, – сказала Гермиона, поворачиваясь к ней с любопытным движением, которое словно говорило, что в данный момент эта женщина близка ей, которое словно выделяло жену рабочего среди остальных, оставляя их в стороне, и притягивало ее почти к самой груди Гермионы.

– Я буду вам очень благодарна. Куда вы подадите чай?

– А куда бы вам хотелось? Можно в эту комнату, а можно на лужайку.

– Где будем пить чай? – протяжным голосом обратилась Гермиона к остальной компании.

– На берегу пруда. Мы сами отнесем, вы только все приготовьте, миссис Салмон, – сказал Биркин.

– Конечно, – сказала польщенная женщина.

Компания направилась к входу в переднюю комнату. Она была пустой, зато в ней было чисто и солнечно. Окно выходило на заросший палисадник.

– Это должна быть столовая, – сказала Гермиона. – Будем мерить так, Руперт: вы идите туда...

– Давайте я помогу, – предложил Джеральд, подойдя и берясь за край сантиметра.

– Нет, спасибо, – воскликнула Гермиона, наклоняясь к полу в своем ярко-голубом фуляровом платье. Делать что-то самой, делить работу с Биркиным было для нее высшим наслаждением.

Он смиренно повиновался ей. Урсуле и Джеральду оставалось только наблюдать. В характере Гермионы была одна особенность: в каждое мгновение времени она приближала к себе кого-то одного, а остальные превращались в наблюдателей. Это позволяло ей торжествовать над другими.

Они обмеряли столовую и обменивались мнениями, и Гермиона решала, что ленту следовало бы положить на пол. Когда ей противоречили, в ней вспыхивал странный судорожный гнев.

Поэтому через некоторое время Биркин позволял ей поступать по-своему.

Они перешли через холл в другую переднюю комнату, немного уступающую первой по размерам.

– Это будет кабинет, – сказала Гермиона. – Руперт, у меня есть ковер, который я хотела бы видеть на полу в этой комнате. Можно я вам его подарю? Пожалуйста, мне было бы очень приятно отдать его вам.

– Что он из себя представляет? – довольно резко спросил он.

– Вы его не видели. Основной тон розово-красный, но остальные цвета – голубой, ярко-насыщенный синий и очень глубокий темно-синий. Мне кажется, вам он понравится. А вы как думаете?

– Звучит очень интересно, – ответил он. – Откуда он? С Востока? Он пушистый?

– Да. Его привезли из Персии. Он из верблюжьей шерсти, очень шелковистый на ощупь. По-моему, это бергамский ковер – двенадцать футов на семь. Подойдет?

– Думаю да, – ответил он. – Но не нужно дарить мне дорогой ковер. Я прекрасно обойдусь и старой оксфордской подделкой под турецкий.

– Можно я все же вам его подарю? Пожалуйста!

– Сколько он стоит?

Она посмотрела на него и сказала:

– Не помню. По-моему, совсем недорого.

Он взглянул на нее, и его лицо стало жестким.

– Гермиона, я не хочу его брать, – сказал он.

– Позвольте мне подарить его этим комнатам, – сказала она, подходя к нему и с легкой мольбой кладя руку на его локоть. – А то я буду огорчена.

– Ты знаешь, что я не хочу, чтобы ты делала мне подарки, – беспомощно повторил он.

– Я и не собираюсь делать тебе подарки, – насмешливо сказала она. – Но ковер-то ты возьмешь?

– Хорошо, – сдался он наконец, и она восторжествовала.

Они поднялись вверх по лестнице. Наверху были две спальни, которые повторяли расположение нижних комнат. Одна была уже наполовину обставлена, и, очевидно, Биркин здесь спал. Гермiona обошла комнату, не пропустив ничего, вбирая в себя все детали, высасывая из всех неодушевленных предметов знаки его пребывания в этом месте. Она потрогала кровать и осмотрела постельное белье.

– Вы уверены, что вам на этом удобно? – спросила она, нажимая рукой на подушку.

– Вполне, – холодно ответил он.

– Вы не мерзнете? Здесь нет стеганого пухового одеяла. Мне кажется, вам оно нужно. Не стоит кутаться в одежду.

– У меня есть одеяло. Его скоро привезут.

Они сделали в комнатах все замеры и обсудили все детали.

Урсула стояла у окна и наблюдала, как женщина несет поднос с чаем к берегу реки. Ей была невыносима пустая болтовня Гермiony, ей хотелось чаю, она была готова на все что угодно, только бы убежать от этой суматохи и деловой атмосферы.

Наконец все вышли на поросший травой берег, чтобы с наслаждением перекусить на свежем воздухе. Гермiona разливала чай. Теперь она и вовсе не обращала на Урсулу никакого внимания. А Урсула, больше не ощущая на себе ее странного юмора, обернулась к Джеральду:

– О, мистер Крич, совсем недавно я вас просто ненавидела.

– За что? – спросил Джеральд, удивленно отшатываясь.

– За то, что вы так плохо обращались со своей лошастью. Как же вы мне были ненавистны!

– Что он такого сделал? – пропела Гермiona.

– Он заставил свою чудесную, нежную арабскую лошадь стоять у железнодорожного переезда, когда мимо проезжали эти ужасные платформы; бедное создание, она чуть не сошла с ума от страха, она была в настоящей панике. Это было самое кошмарное зрелище, какое только можно себе представить.

– Зачем ты это сделал, Джеральд? – холодно поинтересовалась Гермiona.

– Она должна научиться превозмогать себя. Зачем она нужна мне в этой местности, если она вздрагивает и начинает брыкаться всякий раз, когда раздается гудок паровоза?

– Но разве стоило подвергать ее ненужной пытке? – спросила Урсула. – Зачем было нужно все время держать ее у переезда? С таким же успехом можно было отъехать вверх по дороге и избежать этого кошмара. Вы пронзали ее бока шпорами, и она обливалась кровью. Это было так ужасно!

Джеральд напустил на себя высокомерный вид.

– Мне придется ездить на ней, – ответил он. – И если я хочу быть уверен, что в любой ситуации она меня не подведет, ей придется научиться не бояться шума.

– Почему же? – страстно вскричала Урсула. – Она ведь живое существо, почему она должна превозмогать себя только потому, что вы так пожелали? Она имеет такое же право распоряжаться собой, как и вы.

– Тут я с вами не соглашусь, – сказал Джеральд. – Я считаю, что кобыла должна делать только то, что приказал ей я. И не потому, что я купил ее, а потому, что так заведено. Для человека более естественно использовать лошадь так, как ему захочется, нежели бросаться перед ней на колени и умолять ее сделать так, как он просит, и выполнить свое чудесное предназначение.

Урсула только было попыталась вставить слово, как Гермiona подняла подбородок и затанула свое тягучее песнопение:

– Я и правда считаю – я действительно считаю, что мы должны иметь смелость использовать жизнь животного, стоящего на более низкой, чем мы, ступени развития, согласно нашим нуждам. Если честно, мне кажется, что неправильно было бы смотреть на каждое живое существо как на самих себя. По-моему, есть какая-то неискренность в переносе своих чувств на любое одушевленное существо. Это говорит о неумении понимать разницу между явлениями, о нехватке трезвого суждения.

– Действительно, – резко сказал Биркин. – Ничто не вызывает такого отвращения, как сентиментальность, которая проявляется, когда животных наделяют человеческими чувствами и сознанием.

– Да, – устало промолвила Гермiona, – мы должны занять определенную позицию. Либо мы будем использовать животных, либо они нас.

– Это факт, – сказал Джеральд. – У лошади, как и у человека, есть воля, хотя настоящего разума у нее нет. И если вы своей волей не подчините себе волю лошади, то тогда лошадь подчинит вас себе. С этим я ничего не могу поделать. Я не могу позволить лошади управлять мной.

– Если бы только мы научились использовать свою волю, – сказала Гермiona, – наши возможности были бы безграничны. Воля может исправить все, вернуть все на путь истинный. В этом я полностью убеждена – но только если волю использовать правильно и разумно.

– Что вы имеете в виду – разумно использовать волю? – спросил Биркин.

– Один великий врач многому меня научил, – сказала она, обращаясь не то к Урсуле, не то к Джеральду. – Например, он рассказал мне, что если хочешь избавиться от вредной привычки, нужно заставить себя ей следовать, когда тебе этого не хочется, – заставляй себя, и она исчезнет.

– Как это? – спросил Джеральд.

– Например, если грызешь ногти, то грызи их, когда тебе не хочется, заставляй себя. И тогда увидишь, что привычка исчезнет.

– А это действительно так? – спросил Джеральд.

– Да. И это применимо ко многому. Когда-то я была странной и нервной девушкой. А потом я научилась управлять своей волей, и простым усилием воли я сделала себя такой, какой я и должна была быть.

Урсула не сводила глаз с Гермiony, чей голос звучал так протяжно, так бесстрастно и в то же время был полон скрытого напряжения. Странная дрожь охватила девушку. Гермiona обладала какой-то удивительной, мистической способностью вызывать в людях дрожь, и эта способность притягивала, и одновременно отталкивала.

– Такое использование воли чревато последствиями! – резко воскликнул Биркин. – Это отвратительно. Такую волю иначе как бесстыдством не назовешь.

Гермiona пристально посмотрела на него затуманенным, тяжелым взором. Ее лицо было нежным, бледным и худым, почти прозрачным, губы плотно сжаты.

– Я уверена, что это вовсе не так, – сказала она через некоторое время. Казалось, ее слова и ощущения существовали отдельно от того, что она говорила и думала на самом деле, между ними была странная пропасть. Казалось, она тщательно взвешивает мысли, порождаемые водоворотом темных сумбурных ощущений и реакций, и эта тщательность, этот безупречный подбор мыслей, эта ее непогрешимая воля не вызывали у Биркина ничего, кроме отвращения. Ее голос всегда оставался бесстрастным и сдавленным, а также безгранично уверенным. В то же время она испытывала дурноту, похожую на ту, что возникает при морской болезни, и эта дурнота едва не захлестывала ее разум. Однако ум ее оставался непоколебимым, а воля нерушимой. Это вызывало в душе Биркина безумную ярость. Но он никогда, никогда бы не осмелился сломить ее волю – выпустить на свободу водоворот ее подсознания и посмотреть на нее в состоянии истинного безрассудства. И несмотря на это, он постоянно наносил ей удары.

– Естественно, – говорил он Джеральду, – лошади не обладают волей в буквальном смысле этого слова, у них нет такой воли, какая свойственна людям. У лошади не одна воля. Если говорить серьезно, то у нее их две. Одна воля заставляет ее полностью подчиниться человеку, в то время как другая тянет ее на свободу, заставляет ее быть дикаркой. Иногда эти воли пересекаются: если вы знаете, что чувствует седок, которого понесла лошадь, то вы понимаете, о чем я говорю.

– Подо мной тоже однажды взбунтовалась лошадь, – сказал Джеральд, – но при этом я не понял, что у лошади две воли. Я понял только, что она напугана.

Гермиона перестала прислушиваться к разговору. Когда разговор коснулся этой темы, она просто стала думать о чем-то своем.

– Почему лошадь должна хотеть добровольно подчиниться человеческой воле? – спросила Урсула. – Вот чего я никак не могу понять. Я вообще не верю в то, что она этого хочет.

– Еще как хочет. Ведь подчинить свою волю вышестоящему существу – это, пожалуй, любовь в самом крайнем, в самом возвышенном ее проявлении, – сказал Биркин.

– Какое у вас интересное представление о любви, – иронично усмехнулась Урсула.

– А женщина очень похожа на лошадь: в ней противостоят две воли. Одна заставляет ее полностью подчиниться. Другая же вынуждает проявить свой норов и отправить своего наездника навстречу смерти.

– Значит, я лошадь с норовом, – рассмеялась Урсула.

– Лошадей приручать очень опасно, так что уж говорить о женщинах, – сказал Биркин. – Поэтому не все придерживаются мнения, что их нужно подчинять себе.

– Уже хорошо, – заметила Урсула.

– Действительно, – с улыбкой добавил Джеральд. – Так еще интереснее.

Терпение Гермионы кончилось. Она поднялась с места и обычным тягучим голосом пропела:

– Какой красивый вечер! Иногда чувство прекрасного так меня переполняет, что мне кажется, будто я сейчас умру.

Урсула, к которой были обращены эти слова, встала вместе с ней, тронутая до глубины души. Сейчас Биркин был для нее воплощением ненависти и высокомерия. Они с Гермионой отправились вдоль берега и, собирая нежные первоцветы, разговорились о прекрасных, успокаивающих душу вещах.

– Хотелось бы вам, – спросила Урсула Гермиону, – иметь платье из хлопка этого оттенка желтого с такими оранжевыми крапинками?

– Да, – ответила Гермиона, наклоняясь, чтобы рассмотреть цветок и впуская эту мысль в свое сердце, позволяя ей успокоить себя. – Оно было бы очень красивым. Мне бы очень хотелось такое платье.

И она обернулась к Урсуле с искренне-теплой улыбкой.

Джеральд же остался с Биркиным, задумав испытать его до конца, понять, что он имел в виду, говоря о двойственной воле лошади. Лицо Джеральда отражало внутренне волнение.

Гермиона и Урсула продолжали свою прогулку, объединенные внезапными узами глубокой привязанности и родством душ.

– Я в самом деле не хочу ввязываться во всю эту критику и анализ жизни. На самом деле я хочу видеть мир, не разбирая его по кусочкам, когда он еще обладает красотой, цельностью и свойственной ему от природы непорочностью. У вас нет такого чувства, будто мы уже достаточно пострадали, стремясь познать мир разумом? – спросила Гермиона, останавливаясь перед Урсулой и сжимая опущенные руки в кулаки.

– Да, – согласилась Урсула. – Вы правы. Я тоже страшно устала от того, что мы суем нос туда, куда его совать не стоит.

– Я так этому рада. Иногда, – сказала Гермиона, вновь останавливаясь, как вкопанная, и поворачиваясь к Урсуле, – иногда мне кажется, что я должна строить свою жизнь именно на основе такого познания. Порой я задаюсь вопросом, а не проявляю ли я слабость, отрицая его. Но я чувствую, что не могу так жить – просто не могу. Мне кажется, что это все испортит.

Исчезнет красота и истинная непорочность – а я чувствую, что не смогу без них жить.

– Жить без этого было бы ошибкой, – воскликнула Урсула. – Нет, было бы безбожно думать, что все можно понять умом. Правда, что-то мы все же должны оставить в руках Божьих, такое всегда было и всегда будет.

– Да, – сказала Гермиона, разубежденная, точно ребенок, – такое и правда должно быть. А Руперт, – она задумчиво посмотрела на небо, – он умеет только разделять мир на фрагменты. Он похож на мальчишку, который разбирает игрушки на части, чтобы посмотреть, что у них внутри. Я считаю, что так быть не должно. Как вы сказали, это совершенно безбожно.

– Как разорвать бутон, стремясь увидеть, каким будет цветок, – сказала Урсула.

– Да. А это же настоящая смерть. Бутон уже никогда не сможет расцвести.

– Конечно, – согласилась Урсула. – Это самая настоящая смерть.

– Да, да.

Гермиона долго и пристально смотрела на Урсулу, и казалось, была удовлетворена ее согласием. Женщины замолчали. Как только между ними возникло взаимопонимание, в ту же секунду они перестали доверять друг другу. Сама того не желая, Урсула чувствовала, что Гермиона ей очень неприятна. Единственное, что она могла сделать – не выказывать свое отвращение открыто.

Они вернулись к мужчинам, словно две заговорщицы, которые удалялись, чтобы выработать план действий. Биркин окинул их взглядом. Эта холодная наблюдательность была ненавистна Урсуле. А он все молчал.

– Нам уже пора, – сказала Гермиона. – Руперт, мы собираемся ужинать в доме Кричей, может, присоединитесь? Собирайтесь, пойдемте с нами прямо сейчас.

– Я не одет, – ответил Биркин. – А вы знаете, какой Джеральд ревностный сторонник условностей.

– Никакой я не ревностный сторонник, – возразил Джеральд. – Но если бы вам надоела носящаяся по дому буйная толпа, не признающая никаких правил, так, как надоела она мне, вам бы тоже захотелось, чтобы хотя бы во время еды люди придерживались правил и вели себя тихо.

– Хорошо, я приду, – ответил Биркин.

– Может, мы подождем, пока вы оденетесь? – упорствовала Гермиона.

– Как пожелаете.

Он поднялся и пошел внутрь. Урсула сказала, что ей пора домой.

– Еще одно, – обратилась она к Джеральду. – Должна заметить, что хотя человек и держит в своей власти всех зверей и птиц, я считаю, что он не имеет права игнорировать чувства низшего существа. Я все равно думаю, что было бы разумно и правильно, если бы вы переждали поезд в стороне и проявили бы больше чуткости.

– Понятно, – с улыбкой и одновременно каким-то раздражением сказал Джеральд. – Я запомню на будущее.

«Они все считают, что я из тех женщин, кто повсюду сует свой нос», – идя домой, думала про себя Урсула. Но она была готова спорить с ними и дальше.

Она шла домой, поглощенная мыслями. Ее очень тронула Гермиона, ей действительно удалось войти с ней в контакт, и между женщинами установилось что-то вроде связи. И в то же время ее не покидало неприязненное чувство. Но она отбросила эту мысль. «На самом деле она славная, – говорила она себе. – И ничего плохого она не хочет». Она пыталась думать так же, как Гермиона, и забыть о Биркине. Он вызывал в ней острую враждебность. Тем не менее она была связана с ним единой нитью – какой-то глубинной идеей. Это раздражало ее, но вместе с тем спасало.

Только время от времени она начинала резко вздрагивать. Эта дрожь шла из глубин подсознания и рождена она была пониманием того, что она бросила Биркину вызов и что он – преднамеренно или инстинктивно – этот вызов принял.

Между ними завязалась борьба, итогом которой могла стать смерть одного из них – или новая жизнь; хотя ни он, ни она не знали, что послужило яблоком раздора.

## **Глава XIII**

### **Мино**



Проходили дни, а Биркин не давал о себе знать. Неужели она не стоила его внимания, неужели ее тайна ничего для него не значила? Тревожное беспокойство и едкая горечь тяжким грузом легли на сердце Урсулы. В то же время она чувствовала, что это не так, что на этом он не поставит точку. Она никому ничего не говорила.

Вскоре он и в самом деле прислал ей записку, в которой просил ее придти на чай вместе с Гудрун в его городскую квартиру.

«Почему он приглашает и Гудрун? – был ее первый вопрос. – Хочет ли он обезопасить себя или же думает, что одна я не приду?»

Мысль о том, что он просто хочет защитить себя, была ей невыносима. Но в конце концов она сказала себе:

– Я не собираюсь брать с собой Гудрун, потому что мне хочется, чтобы он сказал мне что-то важное. Поэтому Гудрун ничего об этом не узнает, и я поеду одна. Тогда все будет ясно.

Она сидела в вагоне спешащего прочь из города поезда, который взбирался на холм и нес ее туда, где жил он. Казалось, она попала в призрачный мир, избавившись от груза мира реального. Она, словно дух, оторванный от материальной вселенной, рассматривала проносившиеся внизу грязные городские улочки. Разве она имеет к этому какое-то отношение? Погрузившись в пучину этого призрачного мира, она превратилась в пульсирующую бесформенную массу. Она больше не думала о том, что скажут про нее люди. Они больше для нее не существовали, она забыла про них. Шелуха материального мира спала с нее, обнажив ее, непонятную и загадочную, она была похожа на орех, который выпадает из своей скорлупы – единственного известного ему мира – и устремляется навстречу неизведанному.

Домовладелица провела ее к Биркину; он уже ждал ее, стоя посреди комнаты. Он, как и Гудрун, не вполне владел собой. Она увидела, что он взволнован и потрясен, что он похож на болезненное, бесплотное молчаливое существо, средоточие яростной силы, которая захватила ее и от которой у нее все поплыло перед глазами.

– Вы одна? – спросил он.

– Да. Гудрун не смогла приехать.

Он мгновенно понял почему.

Они сидели молча, ощущая повисшее в комнате напряжение. Она видела, какой красивой была его комната, что в ней было много света, что ее линии были очень спокойными; она также заметила фуксию, усыпанную висячими ало-пурпурными цветками.

– Какие чудесные фуксии! – сказала она, чтобы хоть что-нибудь сказать.

– Не правда ли? Вы думали, я забыл свои слова?

В голове Урсулы все смешалось.

– Я не хочу, чтобы вы вспоминали об этом – если вы не хотите вспоминать об этом, – через силу выдавила она, хотя ее разум окутала темная пелена.

Несколько мгновений они молчали.

– Нет, – сказал он. – Дело не в этом. Просто если мы познаем друг друга, каждый из нас должен будет навечно вручить себя другому. Если между нами возникнут какие-нибудь отношения – пусть даже дружба – они должны быть полными и незыблемыми.

В его голосе слышалось какое-то недоверие, даже ожесточение. Она не ответила. Ее сердце сжалось слишком сильно. Она не смогла бы сказать ни слова.

Видя, что она не собирается отвечать, он с горечью продолжал, выдавая себя с головой:

– Не могу сказать, что могу предложить вам любовь – и не любовь я требую от вас. Мне нужно нечто более обезличенное, что требует гораздо больше усилий и что очень редко встречается.

Вновь повисло молчание, которое она вскоре нарушила:

– То есть, вы хотите сказать, что не любите меня?

Эти слова причиняли ей сильную боль.

– Да, если говорить такими словами. Хотя, возможно, это неправда. Я не знаю. В любом случае, чувства любви к вам я не испытываю – да я и не хочу его испытывать. Потому что в конце концов оно иссякает.

– Любовь в конце концов иссякает? – спросила она, совершенно оцепенев.

– Да. По своей сути человек всегда один, он стоит выше любви. Существует истинное обезличенное «я», которое выше любви, выше любой эмоциональной связи. В вас тоже есть это «я». Но мы хотим убедить себя, что любовь – это основа всего. Вовсе нет. Любовь – это лишь производная величина. Настоящая основа личности выше любви, это откровенная оторванность от реального мира, это взятое в отдельности «я», которое не ходит на свидания и не строит отношения, и никогда не умело этого делать.

Она смотрела на него широко раскрытыми, взволнованными глазами. Ее лицо светилось отвлеченной серьезностью.

– То есть, вы хотите сказать, что не можете любить? – вся дрожа, спросила она.

– Да, если вам так нравится. Я любил. Но есть предел, где любви не существует.

Она не могла принять это. Она чувствовала, как от этих слов у нее начинает кружиться голова. Но она не могла поддаться этому дурману.

– Но откуда вам это известно, если вы никогда по-настоящему не любили? – спросила она.

– То что я говорю, правда; в вас, во мне существует предел, куда любовь не может проникнуть, который нельзя увидеть, как нельзя увидеть некоторые звезды.

– Тогда любви не существует! – воскликнула Урсула.

– В конечном итоге, нет, но существует что-то другое. Если мы рассуждаем о любви, то ее нет. Эти слова на несколько мгновений полностью захватили Урсулу. Затем она приподнялась и твердо произнесла неприязненным голосом:

– Тогда разрешите мне уехать домой – что я здесь делаю?

– Дверь там, – сказал он. – Вы вольны поступать так, как вам заблагорассудится.

Он с великолепной и явной нерешительностью выжидал, какой будет ее реакция на такую крайность с его стороны. Она недвижно замерла, а затем вновь села на свое место.

– Но если там любви не существует, тогда что же там? – почти насмешливо воскликнула она.

– Нечто, – сказал он, взглянув на нее и изо всех сил борясь с собственными чувствами.

– Как?

Он долго молчал, не имея сил разговаривать с ней, пока она так настроена против него.

– Существует, – совершенно пустым голосом сказал он, – конечное «я», которое очистилось от всех наслоений, это «я» безлично и не имеет никаких чувств. Такое конечное «я» есть и в вас. И именно там мне хотелось бы повстречать это ваше «я» – не здесь, где властвуют чувства и любовь, а за пределом, где слова и условности излишни. Там мы становимся двумя обнаженными, неизведанными сущностями, двумя совершенно не известными друг другу существами; именно там нам бы хотелось приблизиться друг к другу. Там не может быть никаких обязательств, потому что не существует правил поведения, потому что с этой равнины никогда не собирали урожая взаимопонимания. Тот мир довольно бесчеловечен – там нельзя ни в какой форме опереться на письменные источники – ведь ты переступаешь грань общепринятого и все известное нашему миру там неприменимо. Можно только подчиняться зову, принимать все как оно есть и ни за что не нести ответственности. Там никто ни о чем не попросит, там не нужно ничего отдавать – каждый берет то, что диктует ему примитивное желание.

Урсула слушала его речь, почти лишившись сознания, ее разум оцепенел, такими неожиданными и неуместными были его слова.

– Это чистой воды эгоизм, – сказала она.

– Чистой воды – да. Но это вовсе не эгоизм. Я ведь не знаю, что мне от вас нужно. Строя с вами близкие отношения, я отдаюсь на милость неизведанного, у меня нет ни запасных вариантов, ни путей к отступлению, я пускаюсь в неизведанное, освободившись от всего наносного. Только тот мир требует, чтобы мы поклялись друг другу, что мы оба отринем все ненужное, откажемся от всего – даже от самих себя, перестанем существовать, с тем чтобы наши совершенные сущности смогли заполнить собой наши пустые оболочки.

Она же продолжала думать о своем.

– То есть, я вам нужна не потому, что вы меня любите? – настаивала она.

– Нет, не поэтому. Вы мне нужны, потому что я верю в вас – если, конечно, я вообще в вас верю.

– Вы не уверены? – рассмеялась она, хотя в глубине души у нее внезапно вспыхнула обида.

Он пристально смотрел на нее, едва понимая, о чем она говорит.

– Да, наверное, я все же верю в вас – иначе бы я не сидел здесь и не говорил того, что говорю, – ответил он. – Но это единственное доказательство, которым я располагаю. В данный момент у меня нет особой веры в вас.

Внезапное появившиеся в его голосе усталость и недоверие всколыхнули в ее душе неприязнь.

– Вы не находите меня красивой? – вызывающе настаивала она.

Он посмотрел на нее, проверяя, скажут ли ему его чувства о том, что она красива.

– Я не чувствую, что вы красивы, – ответил он.

– И даже не привлекательна? – саркастически продолжала она, кусая губы.

Он внезапно раздраженно нахмурился.

– Разве вы не понимаете, что дело вовсе не в визуальной оценке, – воскликнул он. – Я не хочу вас видеть. Я видел множество женщин, мне страшно надоело их созерцать. Мне нужна женщина, которую я бы не видел.

– Извините, но я не могу доставить вам удовольствие, превратившись в невидимку, – рассмеялась она.

– Да, – сказал он, – вы для меня невидимы, и не заставляйте меня воспринимать вас зрением. Я не хочу ни видеть, ни слышать вас.

– Тогда зачем вы пригласили меня на чай? – язвительно осведомилась она.

Он не обратил на ее вопрос никакого внимания. Он разговаривал с самим собой.

– Я хочу отыскать вас там, где вы о своем существовании и не ведаете, отыскать такую Урсулу, которую ваша обычная сущность полностью отрицает. Мне не нужна ваша красота, мне не нужны ваши женские чувства, мне не нужны ни ваши мысли, ни ваше мнение, ни ваши идеи – для меня все это безделушки.

– Вы очень самоуверенны, мсье, – продолжала она высмеивать его. – Откуда вы знаете, каковы мои женские чувства, каковы мои идеи или мысли? Вы даже не знаете, что я о вас думаю.

– И меня нисколько это не волнует.

– Я считаю, что вы большой глупец. Мне кажется, вы хотите сказать, что любите меня, и ходите вокруг да около, не зная, как это сделать.

– Хорошо, – с внезапным раздражением сказал он, окидывая ее взглядом. – Тогда уходите и оставьте меня одного. Больше не хочу слышать ваши показные шутки.

– А это и правда шутки? – насмешливо спросила она, и на ее лице больше не было хмурого выражения – только смех. Она истолковала эту фразу как скрытое признание в любви. Но в его словах было много и глупостей.

Много минут протекли в молчании, она радовалась и чувствовала воодушевление, как ребенок. Сосредоточенное выражение исчезло с его лица, и он начал смотреть на нее просто и естественно.

– Я хочу создать с тобой необычный союз, – тихо сказал он, – не просто завести интрижку – тут ты права, – а построить равновесие, идеальное равновесие между двумя отдельными сущностями, подобно тому, которое удерживает рядом звезды.

Она взглянула на него. Он был очень серьезным, и эта его серьезность всегда казалась ей смешной и банальной. Из-за нее она переставала чувствовать себя свободно и раскрепощенно.

И в то же время он очень сильно ей нравился. Но ох уж это его витание в облаках...

– Не кажется ли тебе, что все это слишком уж внезапно? – подшучивала она.

Он рассмеялся.

– Лучше прочитай условия договора до того, как мы его подпишем, – ответил он.

Молодой серый кот, который до этого спал на диване, спрыгнул на пол и потянулся, вытягивая длинные лапы и выгибая тонкую спину. Затем он замер на мгновение в сидячем положении, по-

королевски выпрямив спину. И вдруг, словно молния, метнулся из комнаты в открытую стеклянную дверь и выскочил в сад.

– Куда это он? – спросил, поднимаясь с места, Биркин.

Кот, размахивая хвостом, величественно прошествовал по тропинке. Этот стройный молодой джентльмен был обычной серой масти, с черными полосками и белыми лапами. Вдоль забора, сжавшись в комок, пробиралась пушистая коричневатая-серая кошка. Мино подошел к ней с важным выражением на лице и с чисто мужской небрежностью. Мягкая пушистая бродяжка скорчилась перед ним и униженно прижалась к земле, обратив на него свои чудесные зеленые, словно огромные изумруды, глаза. Он посмотрел на нее, как посмотрел бы на любую другую. Тогда она проползла еще несколько дюймов, постепенно приближаясь к задней двери, съежившись в великолепной, мягкой, самозабвенной позе и передвигаясь, словно тень. Он пошел за ней, горделиво гарцуя на своих длинных лапах, а затем внезапно, без всякой причины, легко ударил ее лапой по мордочке. Она отскочила на несколько шагов, словно лист, подхваченный порывом ветра, а затем почтительно замерла на месте, свернувшись в комочек и нетерпеливо ожидая того момента, когда можно будет бежать дальше. Мино же притворился, что не обращает на нее внимания. Прищуренным взглядом он оглядывал свои владения. Через минуту коричневатая-серая пушистая тень все же решилась и мягко прокралась на несколько шагов вперед. Она прибавила шагу, и казалось, что вот-вот она исчезнет, как видение, но тут молодой серый повелитель прыжком отрезал ей путь и дал ей легкую, но увесистую пощечину. Она беспрекословно повиновалась ему и отпрянула назад.

– Это дикая кошка, – сказал Биркин. – Она пришла из леса.

Бродячая кошка мгновенно осмотрелась вокруг, и какое-то время пристально рассматривала Биркина зелеными огоньками глаз. Затем она торопливо побежала, мягко и быстро перебирая лапками, и ей удалось добежать до самой середины сада. Здесь она остановилась и оглянулась. Мино с видом полного превосходства повернулся к хозяину и медленно прикрыл глаза, замерев на месте в той позе, какую мог бы избрать художник, создавая статую идеального молодого кота. Дикая кошка все это время не спускала с него своих круглых, зеленых, удивленных глаз, сияющих, словно таинственные огоньки. И она снова серой тенью скользнула к кухне. Словно порыв ветра, Мино совершил неподражаемый прыжок и белым, мягким кулачком отвесил кошке два крепких удара. Слепо повинувшись ему, она прижала уши и отползла назад. Он пошел следом вслед за ней и неторопливо стукнул ее белыми лапками еще несколько раз, когда она меньше всего этого ожидала.

– Зачем он это делает? – негодуя воскликнула Урсула.

– Они состоят в очень близких отношениях, – ответил Биркин.

– И поэтому он бьет ее?

– Да, – рассмеялся Биркин, – думаю, он хочет, чтобы она это ясно поняла.

– Как нехорошо с его стороны! – воскликнула она и, выйдя в сад, крикнула Мино: – Прекрати, не издевайся над ней. Хватит ее бить.

Бродячая кошка исчезла, точно быстрая, неуловимая тень. Мино взглянул на Урсулу, а затем перевел неодобрительный взгляд на хозяина.

– Мино, неужели ты издевался? – спросил Биркин.

Молодой стройный кот взглянул на него и медленно прищурился. Затем окинул взглядом свою территорию и местность за ее пределами так, словно рядом с ним не было двоих людей.

– Мино, – сказала Урсула, – ты мне не нравишься. Ты задира, как и все мужчины.

– Нет, – сказал Биркин, – не стоит его обвинять. Никакой он не задира. Он всего лишь настаивает, чтобы бедная бродяжка смирилась с его властью как с неизбежностью, поняла, что такова ее судьба: потому что, как ты уже заметила, она точно ветер – мягкая и непостоянная. Я целиком и полностью на его стороне. Ему хочется первоклассной неизменности отношений.

– Да, я понимаю! – воскликнула Урсула. – Он воспринимает это по-своему. Я знаю, что скрывается за твоими красивыми словами – я бы назвала это по-другому: он любит покомандовать.

Молодой кот вновь взглянул на Биркина, показывая, что шумное поведение женщины не вызывает у него ничего, кроме раздражения.

– Я вполне согласен с тобой, котикша, – сказал Биркин коту. – Сохраняй свое мужское достоинство и высшее знание.

Мино вновь прищурился, точно смотря на солнце. Затем, внезапно осознав, что с людьми его больше ничего не связывает, вытянул хвост, напустил на себя непринужденный и веселый вид и поскакал прочь, блаженно перебирая белыми лапами.

– Сейчас он догонит прекрасную дикарку и научит ее своей высокой премудрости, – рассмеялся Биркин.

Урсула взглянула на стоящего среди цветов мужчину, волосы которого развеивал ветер, а в глазах светилась ироничная улыбка, и воскликнула:

– Как меня раздражают все эти заявления о том, что мужчины – это высшие существа! Это ведь чистая ложь! Я не имела бы ничего против, если бы этому были доказательства.

– Дикая кошка, – сказал Биркин, – не имеет ничего против. Она понимает сердцем, что так оно и есть.

– Неужели?! – воскликнула Урсула. – Расскажите это своей бабушке!

– Непременно.

– Это несколько не отличается от отношения Джеральда Крича к его лошади – это все жажда унижать другое существо, неприкрытое стремление к власти – такое примитивное, такое мелочное.

– Я согласен, что стремление к власти примитивно и мелочно. Но в случае с Мино... он просто стремится ввести эту кошку в состояние идеального равновесия, заставить ее построить божественные и прочные взаимоотношения с одним-единственным самцом. Ведь без него, как ты понимаешь, она всего лишь бродяжка, отделившийся от хаоса пушистый комочек. Это *volonté de pouvoir*, если можно так выразиться, *воля суметь*, если рассматривать *pouvoir* как глагол.

– А! Это все софизмы! Вся та же пресловутая сказка про Адама!

– Да-да. Пока Адам и Ева были рядом, но не были вместе, пока она была звездой в его орбите, они жили в несокрушимом раю. – Вот-вот, – воскликнула Урсула, указывая на него пальцем. – Вот что вам нужно – звезда в его орбите! Спутник, спутник Марса – вот какая участь ей уготована! Так-так – вы себя выдали! Вам нужен спутник. Марс и его спутник! Вы это сказали, сказали, вы проговорились!

Он стоял и улыбался, и в его улыбке одновременно сквозили и растерянность, и радостное удивление, и раздражение, и восхищение, и любовь. Ей были свойственны живость ума, искрометность, которая вырывалась наружу, словно разгорающийся огонь, и одновременно – известная злопамятность и опасная пламенная чувственность.

– Я сказал вовсе не это, – ответил он. – Может, позволишь мне объяснить?

– Нет, нет! – воскликнула она. – Я не хочу, чтобы ты мне что-то объяснял. Ты это сказал, ты сказал про спутник, и теперь ты от этого не отвертишься. Ты это сказал.

– Теперь ты никогда не поверишь мне, что я этого не говорил, – ответил он. – Я ни словом, ни звуком не упоминал про спутник, я никогда и не стремился найти себе спутник, никогда.

– Ты извращенец! – воскликнула она с искренним негодованием.

– Сэр, чай готов, – сказала, появляясь в дверях, хозяйка.

Они взглянули на нее с тем же выражением, с каким немногим раньше на них смотрели кошки.

– Спасибо, миссис Дейкин.

И вновь воцарилось молчание, связь между ними разорвалась.

– Давай-ка выпьем чаю, – предложил он.

– Да, с удовольствием, – ответила она, беря себя в руки.

Они сидели лицом друг к другу за накрытым к чаю столом.

– Я не говорил и не думал о спутнике. Я имел в виду две равноценные единичные звезды, между которыми существует равновесная связь...



– Ты выдал себя, теперь я знаю, что за мелочную игру ты ведешь, – воскликнула она, без промедления приступая к еде.

Он увидел, что она и слушать не будет его дальнейшие объяснения, поэтому он стал разливать чай.

– Какие вкусоности! – воскликнула она.

– Возьми сахар, – сказал он.

Он передал ей чашку. Чайный стол был изысканно сервирован – здесь были и хорошенькие чашки, и тарелки в ярко-лиловых и зеленых тонах, и вазы красивых форм, и стеклянные блюда, и старинные ложки, – и все это стояло на богатой и изысканной серо-черно-бордовой тканой скатерти. Но во всем этом Урсула чувствовала влияние Гермiony.

– У тебя здесь все такое красивое! – почти сердито сказала она.

– Мне это нравится. Я получаю истинное наслаждение, когда пользуюсь вещами, которые сами по себе красивы, которые доставляют удовольствие. Миссис Дейкин просто молодец. Она заботится о том, чтобы в моем доме все было замечательно.

– Действительно, – сказала Урсула, – сегодня домохозяйки намного превосходят жен. Они проявляют гораздо больше заботы. Здесь все гораздо красивее и законченнее, чем если бы все это обустроивала твоя жена.

– А как же внутренняя пустота? – рассмеялся он.

– Нет, – сказала она, – я завидую тому, что у мужчин могут быть такие чудесные домохозяйки и такой красивый дом. Им больше нечего желать в этом мире.

– Если мы говорим о ведении хозяйства, то надеюсь, это так. Мерзко, когда мужчина женится, только чтобы получить женщину, которая бы вела его дом.

– И все же, – сказала Урсула, – в сегодняшнем мире мужчина почти не нуждается в женщине, не так ли?

– Если говорить о мире внешнем, то может быть, она нужна ему, только чтобы делить его постель и рожать ему детей. Но по сути своей потребность в женщине та же, что и раньше. Только никто особенно не старается осознать это.

– И насколько эта проблема насущна?

– Мое искреннее убеждение, – сказал он, – что мир не распадается только потому, что его держат вместе известные оковы – союз, природу которого невозможно понять разумом, крайнее единение людей. А быстрее всего эти оковы накладывают друг на друга мужчины и женщины.

– Это всем давно известно, – сказала Урсула. – Но почему любовь обязательно должна становиться оковами? Я, например, оков на себе не чувствую.

– Если ты следуешь на запад, – сказал он, – то отказываешься от мысли пойти на север, восток и юг. Если ты вступаешь в некий союз, то отказываешься от хаоса.

– Но ведь любовь – это свобода, – заявила она.

– Не надо читать мне морали, – ответил он. – Любовь – это направление, которое отрицает все остальные направления. Это, если хочешь, свобода вдвоем.

– Нет, по-моему, любовь включает в себя абсолютно все.

– Сентиментальная болтовня, – отрезал он. – Тебе просто нужен хаос. Эти заявления о свободе в любви, о том, что свобода – это любовь и любовь – это свобода, – все это нигилизм в крайнем своем проявлении. На самом деле, если ты и кто-то другой становитесь едиными, дороги назад нет, ваш союз не станет истинным до тех пор, пока вы поймете, что это необратимо. А раз это необратимо, то есть только один путь, как только один путь есть у звезды.

– Ха! – с горечью воскликнула она. – Все это давно устаревшая мораль.

– Нет, – возразил он, – это закон мироздания. Человек имеет свое предназначение. Человек должен посвятить себя построению союза с другим человеком – и это навеки. Но за это нужно платить – платить постоянным поддержанием своей сущности в мистическом равновесии и целостности – в таком равновесии, какое уравнивает между собой звезды.

– Когда ты витаешь в облаках, я не могу тебе верить, – сказала она. – Если бы ты говорил искренне, не пришлось бы залезать в такие дебри.

– Ну и пожалуйста, не верь, – сердито сказал он. – Довольно и того, что я сам себе верю.

– В этом-то твоя очередная ошибка, – ответила она. – Ты не доверяешь себе. Ты сам до конца не веришь в то, что говоришь. На самом деле не нужен тебе этот союз, в противном случае ты бы не стал так долго говорить, а уже давно бы заключил его.

На мгновение он оторопел, пораженный до глубины души.

– Каким образом? – спросил он.

– Просто полюбив, – презрительно отпарировала она.

Некоторое время он безмолвно сидел, как прикованный. Затем произнес:

– Говорю тебе, я не верю в такую любовь. Говорю тебе, ты хочешь, чтобы любовь ублажала твои эгоистические побуждения, была твоим орудием. Любовь нужна тебе в качестве подручного средства – как и многим другим. У меня это не вызывает ничего кроме отвращения.

– Нет, – воскликнула она, резко откидываясь назад, точно кобра, и сверкая глазами. – Это то, чем можно гордиться – я хочу гордиться...

– Гордость и подобострастие, гордость и подобострастие, знаю я вас, – сухо парировал он. – Вы сначала гордые и подобострастные, а потом подобострастные начинают заискивать перед гордыми – знаю я вас и вашу любовь. Туда-сюда, сюда-туда – это пляска двух противоположностей.

– Да знаешь ли ты, – с издевкой спросила она, – какая она – моя любовь?

– Да, знаю, – бросил он.

– Какая самоуверенность! – возмутилась она. – Разве может такой самоуверенный человек утверждать истину? Все свидетельствует о том, что ты не прав.

Он огорченно замолчал.

Они говорили и сражались до тех пор, пока оба не устали.

– Расскажи мне о себе и о своей семье, – попросил он.

Она рассказала ему о Брангвенах, о своей матери, о Скребенском, своем первом возлюбленном, и о последующих увлечениях. Он сидел молча, наблюдая за ней все то время, пока она говорила. И, казалось, в его взгляде проскальзывало почтение. Ее лицо сияло красотой; когда она рассказывала о том, что ее сильно волновало или огорчало, оно светилось отраженным светом. И этот прекрасный свет, исходящий от ее существа, согревал и ласкал его душу.

«Если бы она и правда могла полностью вручить мне себя», – подумал он про себя со страстной настойчивостью, но безо всякой надежды. И тут в глубине души ему почему-то захотелось засмеяться.

– Мы оба так много страдали, – с ироничной улыбкой сказал он.

Она взглянула на него, и на ее лице вспыхнула безудержная радость, а глаза засияли дивным золотистым светом.

– Действительно?! – резко воскликнула она беззаботным тоном. – Даже как-то странно.

– Очень странно, – подтвердил он. – Теперь при виде страданий я не испытываю ничего, кроме скуки.

– Я тоже.

Глядя на ее прекрасно-насмешливое, беззаботное лицо, он испытывал чувство, очень похожее на страх. Она была из тех, кто пройдет весь путь до конца, не зависимо от того, куда он ведет – в рай или в ад. И одновременно он относился к ней с настороженностью, он боялся женщины, которая была способна на такое самоотречение, в которой было так много опасной, сметающей все на своем пути разрушительной силы. Однако же смех продолжал душить его.

Она подошла и положила руку ему на плечо, устремив на него удивительный, сияющий взгляд – очень нежный, но в котором в то же время плясали бесенята.

– Скажи, что любишь меня, назови меня «моя любовь», – умоляюще попросила она.

Он заглянул ей в глаза и все понял. На его лице промелькнуло насмешливое сочувствие.

– Я действительно люблю тебя, – мрачно сказал он. – Но мне нужно нечто совсем иное.

– Но почему? Почему? – настойчиво спрашивала она, приближая к нему свое чудесное сияющее лицо. – Почему этого недостаточно?

– Потому что мы сможем лучше понимать друг друга, – сказал он, обнимая ее.

– Нет, не сможем, – произнесла она сильным, чувственным голосом, говорящим о том, что она готова подчиниться ему. – Мы можем только любить друг друга. Скажи: «любовь моя», скажи это, скажи!

Она обвила руками его шею. Он обнял и нежно поцеловал ее, шепча слова, полные любви, иронии и смирения.

– Да, любимая, да, любовь моя. Пусть тогда нам будет достаточно любви. В таком случае я люблю тебя – я люблю тебя. До остального мне нет дела.

– Хорошо, – прошептала она, доверчиво прижимаясь к нему.

## Глава XIV

### Праздник у воды

Каждый год мистер Крич устраивал у озера праздник, на который приглашал более-менее знакомых ему людей. По Виллей-Вотер пустили прогулочный пароходик и несколько весельных лодок. Гости либо пили чай под навесом на лужайке возле дома, либо отправлялись на пикник под большое ореховое дерево возле эллинга. В этом году среди приглашенных оказались старшие служащие компании и весь персонал школы.

Джеральд и младшие Кричи относились к этому празднику совершенно равнодушно, но устраивать его вошло в привычку, к тому же это очень радовало отца – только так он мог собрать жителей округи и вместе повеселиться. Ему нравилось радовать людей, зависящих от него или не обладавших его средствами. Дети, напротив, предпочитали компанию таких же богатых, как и они. Они терпеть не могли подобострастия, благодарности или неловкости людей скромного достатка. Но при всем при этом они выразили готовность придти на этот праздник, как повелось с самого детства, тем более что сейчас все они чувствовали себя немного виноватыми, и им больше не хотелось перечить отцу, чье здоровье в последнее время и так сильно пошатнулось. Поэтому Лора с воодушевлением приготовилась выступить вместо матери в роли хозяйки дома, а Джеральд взялся за организацию водных развлечений. Биркин написал Урсуле, что хочет увидеться с ней на празднике. Гудрун же, хотя ее очень сильно раздражало покровительственное отношение Кричей, также решила присоединиться к матери и отцу, если погода будет хорошей.

В день праздника небо сияло голубизной, ярко светило солнце и дул легкий ветерок. Обе сестры надели белые креповые платья и шляпки из мягкой соломы. На талии Гудрун красовался отливавший синевой кушак с розовыми и желтыми разводами, на ногах были розовые чулки, а с одной стороны к шляпке было прикреплено черно-желто-розовое украшение, от которого поля отгибались вниз. На руку девушка набросила желтый шелковый жакет, поэтому выглядела она экстравагантно, словно живописное полотно из Салона. Отцу ее вид определенно не нравился, поэтому он заметил:

– А не лучше ли было сразу вырядиться в маскарадный костюм и не мучаться?

Но Гудрун выглядела ярко и привлекательно, к тому же она носила одежду с подчеркнуто вызывающим видом. Когда люди пялились на нее и хихикали, она громко говорила Урсуле:

– Regarde, regarde ces gens-là! Ne sont-ils pas des hiboux incroyables?<sup>22</sup>

И с этой репликой по-французски на устах она бросала взгляд через плечо на смеющихся.

– Нет, правда, это совершенно невыносимо! – вторила ей Урсула так, чтобы это было слышно остальным.

---

<sup>22</sup> – Посмотри, посмотри на них! Ну разве это не ужасные совы? (фр.)

Этими словами девушки разделялись со своим извечным врагом. Однако их отец все больше и больше выходил из себя.

Урсула была во всем белоснежном, в простой розовой шляпке без всякой отделки, темно-красных туфлях, и с оранжевым жакетом в руках. Принарядившись таким образом, девушки шли вслед за родителями в Шортландс.

Они смеялись, глядя, как их мать, одетая в летнее платье из ткани в лилово-черную полоску и шляпку из лиловой соломы, скромно шла рядом с мужем в таком истинно девичьем трепете и смущении, какие были неведомы ее дочерям. Ее муж, хотя на нем и был его лучший костюм, имел, как всегда, довольно помятый вид, словно был отцом молодого семейства, которому перед выходом пришлось держать на руках ребенка, пока одевалась его жена.

– Взгляни-ка на эту юную парочку! – спокойно сказала Гудрун. Урсула окинула взглядом отца и мать, и ее внезапно охватил приступ безудержного веселья.

Девушки, остановившись, заливались смехом при виде стеснительной чудаковатой пары, пока из глаз не потекли слезы.

– Мама, это мы над тобой смеемся! – крикнула Урсула, почти без сил следуя за родителями.

Миссис Брангвен обернулась, и по ее лицу было видно, что она слегка удивлена и озадачена.

– Вот как? – произнесла она. – А не скажете ли, что во мне такого смешного?

Она не могла понять, что в ее облике было не так. Она держалась со спокойной уверенностью и легким безразличием к любой критике, словно она была выше людского суждения. Ее наряды всегда были причудливыми и, как правило, неаккуратными, однако она носила их без всякого смущения и даже с известным удовлетворением. Что бы она ни надела, до тех пор, пока ее наряд оставался опрятным, в ее внешности не к чему было придраться; она инстинктивно чувствовала, как правильно держаться.

– Ты выглядишь так величественно, настоящая сельская баронесса, – сказала Урсула, добродушно посмеиваясь над наивной озадаченностью матери.

– Точно, настоящая сельская баронесса! – эхом отозвалась Гудрун.

Сквозь данную матери от природы надменность вдруг проглянуло смущение, и девушки вновь прыснули.

– Отправляйтесь обратно домой, дуры вы этикие, хватит насмехаться! – закричал отец, покраснев от раздражения.

– Мм-ме! – скорчила гримасу Урсула в ответ на его ярость.

В его глазах заплескали желтые огоньки, и он подался вперед.

– Не глупи, не стоит обращать внимание на этих дурочек, – сказала миссис Брангвен, поворачиваясь на ходу.

– Будь я проклят, если стану терпеть присутствие этих вопящих и хохочущих зазнаек! – вскричал он в бешенстве.

Девушки остановились возле изгороди, не в силах перестать смеяться над его яростью.

– Раз ты обращаешь на них внимание, то ты ничуть не умнее их, – сказала миссис Брангвен, тоже начиная злиться теперь, когда он был в самой настоящей ярости.

– Отец, сюда идут какие-то люди, – закричала Урсула притворно-предупреждающим голосом. Он быстро бросил взгляд вокруг и поспешил за женой, окаменев от ярости. Девушки, ослабевшие от смеха, пошли следом.

Когда люди прошли, Брангвен громко и иступленно вскричал:

– Если это будет продолжаться, я возвращаюсь домой! Будь я проклят, если позволю делать из себя дурака в общественном месте!

Он совершенно вышел из себя. При звуке его глухого, полного злобы голоса девушкам вдруг расхотелось смеяться, и внутри у них все сжалось от отвращения. Выражение «общественное место» не вызывало у них ничего, кроме отвращения. Ну и что из того, что это общественное место? Но Гудрун решила заключить перемирие.

– Мы смеемся не со зла, – сказала она с такой неуклюжей нежностью, что эти слова покорили ее родителей. – Мы смеемся, потому что мы вас любим.

– Раз они такие обидчивые, давай пойдем впереди, – сердито предложила Урсула. Так они и дошли до Вилли-Вотер. Озеро было чистым и безмятежным, на одном его берегу к воде спускались залитые солнцем луга, на другом, обрывистом и крутом, темнел густой лес. Небольшой прогулочный пароходик суетливо отчалил от берега, оставляя позади себя звуки музыки, шум веселящейся на палубе толпы и плеск воды под гребными лопастями. Около эллинга толпились ярко одетые люди, казавшиеся издали совсем маленькими. А на дороге вдоль изгороди стояли простолюдины, с завистью взирая на празднество, словно души, не допущенные в рай.

– Ты смотри-ка! – прошептала Гудрун, увидев толпу приглашенных. – Какое милое сборище! Дорогая, только представь себя среди них!

Инстинктивный страх Гудрун перед этой толпой передался и Урсуле.

– Мне они совсем не нравятся! – тревожно произнесла она.

– Ты только представь, как они будут себя вести, – только представь, – продолжала Гудрун все тем же слабым, подавленным голосом. Тем не менее, она решительно шла вперед.

– Полагаю, нам удастся ускользнуть от них, – с беспокойством ответила Урсула.

– Если не удастся, то нам придется туго, – был ответ Гудрун. Ее крайне ироничное презрение и опасение очень раздражало Урсулу.

– Нам не обязательно здесь оставаться, – сказала она.

– Я и пяти минут не останусь среди этих ничтожеств, – заявила Гудрун.

Они подошли совсем близко и у ворот увидели полицейского.

– Еще и полицейский, чтобы никто не ускользнул! – воскликнула Гудрун. – Черт, миленькая вечеринка.

– Надо бы присмотреть за папой и мамой, – нервно промолвила Урсула.

– Мама определенно сможет прекрасно продержаться до конца праздника, – несколько презрительно ответила Гудрун.

Однако Урсула знала, что отец был зол, расстроен и чувствовал себя не в своей тарелке, поэтому она была далеко не так спокойна. Они остановились у ворот и ждали, пока родители их догонят. Высокий худой мужчина в измятом костюме терялся и злился, словно мальчишка, все приближаясь и приближаясь к месту проведения этого светского торжества. Он не чувствовал себя джентльменом, он вообще не чувствовал ничего, кроме крайнего раздражения.

Урсула пошла рядом с ним. Они отдали свои билеты полицейскому и по очереди вышли на лужайку: высокий, разгоряченный, краснолицый мужчина, раздраженно нахмуривший по-мальчишески узкий лоб; моложавая спокойная женщина, полностью владеющая собой, несмотря на явно растрепавшуюся прическу; пристально рассматривающая все вокруг Гудрун с округлившимися темными глазами, с бесстрастным, почти угрюмым лицом, точно идя вперед, она пятилась в противостоянии; и, наконец, Урсула, на лице которой светилось заинтригованное и озадаченное выражение, которое появлялось всегда, когда она попадала в сложную ситуацию.

Их ангелом-спасителем стал Биркин. Улыбаясь, он подошел к ним со светской любезностью, которая всегда появлялась у него, когда он находился в обществе, и которая была несколько неестественной. Но он приподнял шляпу и искренне улыбнулся, и улыбка отразилась даже в его глазах, поэтому Брангвен с облегчением и от души вскричал:

– Как поживаете? Вижу, что вам уже лучше.

– Да, мне гораздо лучше. Как поживаете, миссис Брангвен? С Гудрун и Урсулой мы прекрасно знакомы.

В его улыбающихся глазах была неподдельная теплота. С женщинами, особенно с уже не молодыми, он разговаривал мягко и очень внимательно.

– Да, – с прохладцей сказала миссис Брангвен, в то же время польщенная. – Они довольно часто о вас говорят.

Он рассмеялся. Гудрун отвела глаза, почувствовав себя уничтоженной. Гости небольшими группками стояли вокруг. Под сенью ореха, держа в руках чашки с чаем, расположилось



несколько женщин, поблизости хлопотал официант в парадной форме, девушки жеманно поигрывали зонтиками, а молодые люди, только что вернувшиеся с прогулки на лодках, сидели на траве, скрестив ноги, сняв пиджаки, по-мужски закатав рукава и сложив руки на обтянутых белыми брюками коленях. Их яркие галстуки трепал ветер, а они смеялись и острили, пытаясь произвести впечатление на молодых девиц.

«Почему же они настолько невоспитанные, почему бы им не надеть пиджаки и больше не допускать такой интимности в своей внешности?» – неприязненно подумала Гудрун. Она питала отвращение к этим молодым людям с зализанными волосами, пытающимся расположить к себе других своей добродушной фамильярностью.

К ним подошла Гермiona Роддис в роскошном белом кружевном платье, набросив на плечи огромную, расшитую крупными цветами шелковую шаль со свисающей до земли бахромой и покачивая огромной плоской шляпой. На фоне ярких нарядов стоящих рядом с ней людей эта высокая женщина со спадающими на глаза густыми волосами и необыкновенным удлинённым бледным лицом, со свисающей до самой земли бахромой огромной расшитой пестрыми цветами кремовой шали смотрелась потрясающе, ошеломляюще, почти жутко.

– Странновато она выглядит! – услышала за своей спиной Гудрун насмешливые голоса девушек. Она была готова их убить.

– Как пожива-а-ете? – пропела Гермiona, милостиво подойдя к ним и медленно обводя взглядом отца и мать Гудрун. Для последней это был тяжкий момент испытания. Чувство сословного превосходства настолько сильно укоренилось в Гермione, что она позволяла себе знакомиться с людьми только из чистого любопытства, словно они были экспонатами на выставке. Гудрун и сама бы делала то же самое, но ей вовсе не нравилось, когда ее положение давало другим возможность так с ней обращаться.

Прекрасная Гермiona, областав семью Брангвенов своим вниманием, увлекла их к тому месту, где Лора Крич принимала гостей.

– Это миссис Брангвен, – пропела Гермiona, и Лора, на которой было накрахмаленное вышитое льняное платье, поздоровалась с ней, сказав, что рада ее видеть.

В этот момент подошел Джеральд, очень привлекательно выглядящий в белом костюме, поверх которого была надета черно-коричневая спортивная куртка. Его также представили старшим Брангвенам, и он тут же заговорил с миссис Брангвен так, будто она была леди, а с Брангвеном – будто тот джентльменом не был. В поведении Джеральда было нечто нарочитое. Ему пришлось пожимать руки левой рукой, поскольку правую он повредил и теперь прятал ее, забинтованную, в кармане пиджака.

Гудрун была необычайно благодарна своим спутникам за то, что никто не спросил его, что с ним случилось.

Пароход приближался, на нем громко играла музыка, с палубы доносились возбужденные голоса. Биркин отправился за чаем для миссис Брангвен, Брангвен присоединился к работникам школы, Гермiona присела рядом с матерью, а девушки отправились на пристань посмотреть, как причаливает пароход.

Он весело пыхтел и гудел, а когда лопасти остановились и были отданы концы, с легким стуком причалил. Пассажиры тут же весело столпились у борта, ожидая, когда можно будет сойти на берег.

– Подождите, подождите, – командовал Джеральд резким голосом.

Им пришлось ждать, пока не закрепят концы и не подадут маленький трап. И тогда все высыпали на берег, веселясь так, словно прибыли из Америки.

– О, как это мило! – восклицали молодые девушки. – Так прекрасно!

Официанты с судна бегали в эллинг с корзинами в руках, капитан стоял на маленьком мостике, облокотившись на перила. Убедившись, что никаких эксцессов не произошло, Джеральд подошел к Гудрун и Урсуле.

– Может, отправитесь следующим рейсом и выпьете чаю на борту? – спросил он.

– Нет, спасибо, – холодно ответила Гудрун.

– Вы не любите воду?

– Воду? Отчего же, очень даже люблю.

Он пристально посмотрел на нее.

– Тогда вам не нравится идея поездки на пароходе?

Она не торопилась с ответом, а затем медленно произнесла:

– Да, совершенно верно.

Она вспыхнула, казалось, она на что-то злилась.

– *Un peu trop de monde*<sup>23</sup>, – объяснила Урсула.

– Что? *Trop de monde* ? – он издал короткий смешок. – Да, их тут хватает.

Гудрун с сияющим лицом повернулась к нему.

– Вы когда-нибудь плавали на пароходе по Темзе от Вестминстерского моста до Ричмонда?

– Нет, – сказал он. – Никогда.

– Это одно из самых ужасных ощущений в моей жизни.

Она говорила быстро и взволнованно, ее щеки залил румянец.

– Там совершенно негде было сидеть, совсем негде, мужчина на верхней палубе всю дорогу пел этот свой старинный гимн про морские глубины: он был слеп и у него была маленькая шарманка. Он ждал, что ему заплатят, поэтому можете себе представить, на что это было похоже. Из трюма несло кухней, раскаленными машинами и машинным маслом; мы ехали, и ехали, и ехали; а по берегу нас в буквальном смысле преследовали эти ужасные мальчишки, они бежали по этому кошмарному речному илу, иногда проваливаясь в него по пояс – они подворачивали края штанов и увязали в этой неподдающейся описанию грязи по колена. Они все время тарасились на нас и горланили, точно падальщики: «Пожалуйста, сэр, пожалуйста, сэр, пожалуйста, сэр», как самые настоящие падальщики, это было так омерзительно! А отцы семейства, стоящие на палубе, смеялись, когда мальчишки падали в грязь, и иногда бросали им полпенса. Видели бы вы, с какой жадностью эти мальчишки кидались в ил за брошенными монетами – ни один стервятник, ни один шакал по омерзительности и близко к ним не стоит. Я больше никогда не поеду на прогулочном пароходе – никогда.

Пока она говорила, Джеральд пристально смотрел на нее, и в его глазах отражалось легкое возбуждение. Волновало его не то, *что* она говорила: его возбуждала она сама, возбуждала своей едва заметной живой иронией.

– Естественно, – произнес он, – у каждого организма есть свой дефект.

– Что? – вскричала Урсула. – В моем организме нет дефекта.

– Он не об этом говорит, он говорит про ситуацию в целом, когда отцы семейства, смеясь, развлекаются, бросая полпенсовые монеты, а матери в это время раскладывают на своих жирных коленях всякую снедь и едят, едят, постоянно едят, – ответила Гудрун.

– Да, – согласилась Урсула. – Дело ведь не в мальчишках, а в самих людях, в общем их поведении, можно сказать.

Джеральд рассмеялся.

– Хорошо, – сказал он, – не поедете, значит, не поедете.

Это укоризненное замечание вызвало краску на лице Гудрун. На какое-то время воцарилось молчание. Джеральд, точно часовой, наблюдал за посадкой на пароход. Он выглядел очень привлекательным и сдержанным, однако его почти что военная бдительность вызывала известное раздражение.

– Тогда выпейте чаю прямо здесь или пойдите к дому, мы установили на лужайке навес, – предложил он.

– А нельзя ли нам взять весельную лодку и сбежать отсюда подальше? – спросила Урсула, которая всегда излишне торопилась.

– Сбежать? – улыбнулся Джеральд.

---

<sup>23</sup> Слишком много людей. (фр.)

– Видите ли, – воскликнула Гудрун, краснея за явную грубость своей сестры, – мы здесь никого не знаем, мы здесь совершенно чужие.

– О, я вполне могу снабдить вас несколькими знакомыми, – без обиняков предложил он. Гудрун изучающе взглянула на него, пытаясь понять, от чистого ли сердца шло его предложение.

– Нет, – сказала она, – вы прекрасно понимаете, о чем мы говорим. Нельзя ли нам сплавать в ту сторону и исследовать тот берег?

Она указала на рожицу на другой стороне озера, растущую на холме неподалеку от берега.

– По-моему, вон там совершенно чудесно. Мы сможем там даже искупаться. Когда солнце так освещает это место, просто глаз не отвести. Нет, правда, оно напоминает долину Нила – воображаемого Нила, конечно же.

Такой повышенный интерес к отдаленному местечку вызвал улыбку на лице Джеральда.

– А это не слишком близко? – с иронией поинтересовался он, но сразу же прибавил: – Хорошо, конечно же, плывите туда, только сначала давайте найдем лодку. Похоже, что их уже разобрали.

Он окинул взглядом озеро и сосчитал все находящиеся там лодки.

– Как было бы здорово! – мечтательно воскликнула Урсула.

– А чаю вам не хочется? – поинтересовался он.

– Хорошо, – согласилась Гудрун, – выпьем по чашечке и поедем.

Он, улыбаясь, переводил взгляд с одной сестры на другую. Он был слегка обижен и в то же время забавлялся.

– А вы сможете сами управлять лодкой? – спросил он.

– Да, – холодно произнесла Гудрун, – вполне.

– Да, конечно! – воскликнула Урсула. – Мы обе умеем грести не хуже водомеров.

– Правда? Тогда, может, возьмете мое небольшое каноэ, я не вывел его на воду только из-за боязни, что кто-нибудь перевернется в нем и утонет. Если вы поедете в нем, с вами ничего не случится?

– Нет, совершенно ничего, – сказала Гудрун.

– Как мило с вашей стороны! – воскликнула Урсула.

– Пожалуйста, ради меня, постарайтесь, чтобы ничего не случилось – ответственность за развлечения на воде лежит на моих плечах.

– Хорошо, – клятвенно пообещала Гудрун.

– Кроме того, мы обе отлично плаваем, – сказала Урсула.

– Ну, тогда я прикажу собрать вам корзину с сэндвичами и вы сможете устроить себе пикник – мы же ради этого здесь собрались, не так ли?

– Как воистину замечательно! Это было бы просто чудесно! – с теплотой воскликнула Гудрун, опять заливаясь румянцем.

Кровь живее побежала по его жилам, когда он увидел, с какой благодарностью Гудрун посмотрела на него.

– А где же Биркин? – спросил он со странным блеском в глазах. – Ему придется помочь мне спустить каноэ на воду.

– Что с вашей рукой? Неужели вы ее поранили? – спросила Гудрун и сразу же умолкла, не желая говорить на личные темы. Только теперь они впервые заговорили о его ране. То, как она избегала касаться этой темы всколыхнуло в его жилах новую таинственную волну возбуждения. Он вынул руку из кармана. Она была перевязана. Он взглянул на нее и опустил в карман. При виде забинтованной ладони Гудрун содрогнулась.

– Ладно, я вполне управлюсь и одной рукой. Каноэ легкое, как перышко, – сказал он. – А вот и Руперт! Руперт!

Биркин оставил своих собеседников и подошел к ним.

– Как это случилось? – спросила Урсула, которой еще полчаса назад не терпелось задать этот вопрос.

– Как я поранил руку? – сказал Джеральд. – Ее зажало в машине.

– Фу! – сказала Урсула. – Больно было?

– Да, – ответил он. – В основном сначала. Сейчас уже лучше. Машина раздробила пальцы.

– Боже! – с болью в голосе воскликнула Урсула. – Ненавижу, когда люди сами причиняют себе боль. Я могу ее почувствовать.

И она встряхнула рукой.

– Чем я могу помочь? – спросил Биркин.

Мужчины отнесли узкую и длинную коричневую лодку к озеру и спустили ее на воду.

– Вы точно уверены, что с вами ничего не случится? – спросил Джеральд.

– Абсолютно, – уверила Гудрун. – Я бы ни в коем случае не села бы в нее, если бы хоть на мгновение в этом усомнилась. Но в Арундейле я плавала на каноэ и, уверяю вас, со мной ничего не случится.

Она завершила его, по-мужски дав ему слово; они с Урсулой сели в это хрупкое сооружение и тихо отчалили. Мужчины стояли и наблюдали за ними. Гудрун сидела на веслах. Она чувствовала, что мужчины на нее смотрят, и ее движения стали медленными и довольно неуклюжими. Ее лицо пылало, точно красный флаг.

– Огромное вам спасибо, – крикнула она им, когда лодка поплыла прочь. – Ощущение чудесное – точно сидишь на листе.

Услышав такое сравнение, он рассмеялся. Ее голос издали звучал резко и странно. Он наблюдал, как она направляла лодку прочь. В ней было что-то детское, какая-то доверчивость и почтительность, как в ребенке. Она гребла, а он все не сводил в нее глаз. И Гудрун получала огромное удовольствие от того, что могла казаться похожей на ребенка, нуждающегося в заботе мужчины, того мужчины, что стоял там, на пристани, такого привлекательного и активного, одетого во все белое, и кроме всего прочего, самого значительного из всех, с которыми на сегодняшний день она была знакома. Нерешительного, неприметного, озаренного каким-то светом Биркина, стоящего рядом с ним, она не принимала во внимание. Она не могла одновременно думать больше, чем об одном человеке.

Лодка с легким шелестом плыла по воде. Они миновали купальщиков, раскинувших свои полосатые навесы между ивами в том месте, где лужайка спускалась к воде, и теперь плыли мимо открытого берега, мимо лугов на склонах холмов, позолоченных клонившимся к закату солнцем. Другие лодки медленно прокрадывались на противоположный берег, под деревья; слышался смех и голоса. Но Гудрун направляла свою лодку к чудесной рощице, парившей вдали в золотом свете.

Сестры нашли небольшую заводь, где в озеро впадал маленький ручеек и рос тростник, болотистая земля поросла розовым иван-чаем, а берег был покрыт галькой. Здесь, на отмели, их хрупкая лодка осторожно причалила; девушки скинули туфли и чулки и выбежали по воде на траву. Озеро, подернутое легкой рябью, было теплым и прозрачным, девушки вынесли лодку на берег и радостно огляделись вокруг. Здесь, у этого забытого всеми устья ручейка, они были совершенно одни, а небольшая рощица шелестела прямо за их спинами, на пригорке.

– Давай быстренько искупаемся, – предложила Урсула, – а потом будем пить чай.

Они огляделись вокруг. Они были скрыты от посторонних глаз и никто не смог бы подобраться к ним незамеченным. В несколько мгновений Урсула сбросила одежду и, нагая, скользнула в воду и поплыла. Гудрун тут же присоединилась к ней. Некоторое время они молча и самозабвенно плыли, огибая устье ручейка. Затем выскочили на берег и побежали назад к рощице, словно две нимфы.

– Как же прекрасно быть свободной! – воскликнула Урсула, бегавшая между деревьями без единого лоскутка одежды на теле и с развевающимися волосами.

Роща была березовой, деревья в ней – высокими и красивыми. Их стволы и ветви напоминали стального цвета столбы, равномерно окутанные дымкой насыщенно-зеленой листвы; с северной же стороны, как в окне, виднелось сияющее открытое пространство.

Когда девушки обсохли, натанцевавшись и набегавшись, они быстро оделись и уселись пить душистый чай. Они сидели в северной части рощицы, в лучах золотистого солнца, лицом к заросшему травой склону – совершенно одинокие в своем маленьком девственном мирке. Чай был горячим и ароматным, к нему прилагались вкуснейшие сэндвичи с огурцом и икрой и пропитанные вином пирожные.

– Ты счастлива, Черносливка? – восторженно воскликнула Урсула, взглянув на сестру.

– Урсула, я совершенно счастлива, – серьезно ответила Гудрун, глядя на заходящее солнце.

– Я тоже.

Когда они были вдвоем и делали то, что им нравилось, в их замкнутом мирке им никто и ничто более не требовалось. И это были чудесные моменты свободы и наслаждения, понятные только детям, когда все в мире кажется волшебным и восхитительным приключением.

Они покончили с чаем, но продолжали сидеть, молча и серьезно. И тут Урсула, у которой был сильный и красивый голос, тихонько начала напевать «Анхен из Тарау»<sup>24</sup>. Гудрун, сидя под деревьями, слушала, и в ее сердце закралась щемящая тоска.

Урсула, сидящая и задумчиво воркующая песенку в центре своей собственной вселенной, казалась ей такой умиротворенной, такой самодостаточной, такой сильной и полностью лишенной сомнений, что Гудрун почувствовала себя лишней. Ее всегда мучило опустошающее, болезненное чувство, что она выброшена из этой жизни, что она наблюдает за ней со стороны, в то время как Урсула участвует в ней самым непосредственным образом; эта мысль о собственной невовлеченности причиняла Гудрун страдания и всегда побуждала девушку напоминать другим о своем присутствии, о том, что на нее тоже следует обратить внимание.

– Не возражаешь, если я под твою песенку займусь далькрозовой ритмикой<sup>25</sup>, Торопыжка? – спросила она странным, приглушенным голосом, едва двигая губами.

– Что ты там говоришь? – спросила Урсула, поднимая на нее умиротворенно-удивленный взгляд.

– Споешь для меня – я потанцую по далькрозовой системе? – спросила Гудрун, страдая от того, что ее вынуждали повторять.

Урсула на мгновение задумалась, собирая воедино свои разлетевшиеся мысли.

– Чем займешься? – рассеянно спросила она.

– Далькрозовой ритмикой, – еще раз повторила Гудрун, страдая от своей застенчивости, даже несмотря на то, что причиной была ее сестра.

– Ах, Далькроз! Я не расслышала имени. Конечно – мне нравится на тебя смотреть, – воскликнула Урсула с живостью приятно удивленного ребенка. – А что мне петь?

– Пой, что угодно, а я подстроюсь под твой ритм.

Но Урсула, как бы она ни старалась, не могла вспомнить ни одной мелодии. И вдруг она запела насмешливым, дразнящим голосом:

– Моя любовь – благородная дама...

Гудрун, руки и ноги которой, казалось, сковала невидимая цепь, медленно начала танцевать в эвритмичной манере, перебирая и притопывая ногами, совершая медленные и размеренные движения руками – то раскидывая их в стороны, то поднимая над головой, то вновь мягко их разводя, обращая лицо к небу и ни на секунду не переставая отбивать ритм, притопывая ногами в такт песне. Она белым видением порхала то в одну, то в другую сторону в странном, импульсивном экстазе, точно подхваченная потоком магического заклинания, перебегая с места на место короткими пробежками.

---

<sup>24</sup> «Анхен из Тарау» – старинная немецкая народная песня.)

<sup>25</sup> Далькрозова система (также эвритмика или ритмика) – система обучения танцу, построенная на сочетании музыкальных форм и пластических движений. Швейцарский композитор Э. Жак-Далькроз был одним из ее пропагандистов.



Урсула сидела на траве и пела, ее глаза смеялись, она от души забавлялась, но в их глубине мерцали желтые огоньки – инстинктивно она понимала ритуальный смысл всех этих порханий, взмахов и наклонов белой фигуры ее сестры, охваченной первобытным, безрассудным, мятущимся ритмом и властным желанием, загипнотизировав, подчинить себе.

«Моя любовь – благородная дама, в ней много страсти и мало обмана», – звенела насмешливая, ироничная песня Урсулы, и Гудрун все быстрее и стремительнее кружилась в танце, перестукивая ногами, словно пытаясь сбросить с них какие-то невидимые оковы, внезапно выбрасывая руки вперед, вновь перестукивая ногами, устремляясь вперед, запрокинув голову и обнажая прекрасную полную шею, полуприкрыв глаза и ничего не видя. Желтое солнце стояло низко, клонясь к закату, и в небе уже показался тонкий, едва видный рожок месяца.

Урсула самозабвенно пела, как вдруг Гудрун остановилась и негромко окликнула ее дразнящим голосом:

– Урсула!

– Что? – очнулась Урсула, выходя от транса и открывая глаза.

Гудрун стояла, замерев, и с лукавой улыбкой показывала в сторону.

– Ой! – мгновенно испугавшись, вскрикнула Урсула и вскочила на ноги.

– Они ничего тебе не сделают, – раздался саркастический голос Гудрун.

Слева стояли несколько мохнатых шотландских коровок, которых вечернее солнце окрасило в яркие цвета. Они вонзали в небо свои рога и с любопытством тянули носы вперед, желая узнать, что тут происходит. Их глаза сверкали сквозь спутанную шерсть, а из кожистых ноздрей со свистом вырывался воздух.

– Они ничего нам не сделают? – испуганно воскликнула Урсула.

Обычно Гудрун боялась рогатого скота, но сейчас она полуотрицательно, полунасмешливо покачала головой, и на ее губах заиграла легкая улыбка.

– Урсула, по-моему, они очаровательны, – воскликнула Гудрун высоким, пронзительным голосом, похожим на крик чайки.

– Очаровательны-то очаровательны, – тревожно воскликнула Урсула, – но вдруг они на нас нападут?

Гудрун вновь взглянула на сестру с загадочной улыбкой и отрицательно покачала головой.

– Уверена, что нет, – сказала она, словно и сама пытаясь в это поверить; но в то же время она чувствовала внутри себя какую-то тайную силу и должна была испытать ее. – Садись и спой еще что-нибудь, – приказала она высоким, резким тоном.

– Мне страшно, – дрожащим голосом воскликнула Урсула, глядя на приземистых коровок, которые стояли, упершись в землю копытами, и наблюдали за происходящим сквозь спутанную бахрому шерсти темными хитрыми глазами. Тем не менее она вернулась на место.

– Они совсем безобидные, – раздался высокий голос Гудрун. – Спой что-нибудь, тебе нужно просто петь.

Было очевидно, что ее снедало загадочное страстное желание станцевать перед этими коренастыми, красивыми коровами.

Урсула запела срывающимся голосом, то и дело не попадая в ноты:

– «А где-то в Теннесси»<sup>26</sup> ...

Ее голос звучал озабоченно. Но, несмотря на это, Гудрун вытянула руки вперед, запрокинула голову и в странном трепещущем танце устремилась навстречу животным, вытягиваясь, словно охваченная магической силой, перестукивая ногами так, будто она была не способна контролировать свои чувства, выбрасывая вперед руку – предплечье, запястье, кисть. Она резким броском вытягивала руки вперед и опускала их вниз, вперед, вперед и вниз; а они, коровки, смотрели, как сотрясались и поднимались ее груди, как она, словно во власти страстного экстаза, запрокидывала голову, открывая шею, но вместе с тем эта, не знающая

---

<sup>26</sup> «А где-то в Теннесси» – популярная песня Альфреда Скотта-Гатти (1847–1918)

покая, белая фигура, неуловимо подбиралась ближе и ближе, погружившись в восторженный транс, подобно волне накатывая на животных, которые ждали, слегка нагнув головы, немного испуганно и ошеломленно. Они, чьи гладкие рога пронзали прозрачный воздух, неустанно наблюдали, как белая женская фигура наплывала на них, охваченная завораживающей дрожью – танцем. Она чувствовала, что они стоят прямо перед ней, казалось, электрические заряды перетекали из их грудей в ее ладони. Она вот-вот дотронется до них, они уже близко. Резкая дрожь страха и одновременно удовольствия пронзила ее тело. А Урсула, словно заколдованная, все также выводила тонким, высоким голосом, который так не подходил для этой песни, мелодию, звеневшую в вечернем воздухе подобно магическому песнопению.

Гудрун слышала, как тяжело, беспомощно, испуганно и в то же время зачарованно дышали животные. Да, этим гуляющим на свободе шотландским коровкам с растрепанной мохнатой шерстью страх не ведом. Внезапно одна из них всхрапнула, нагнула голову и попятилась.

– Хей! Эй там! – донесся до них громкий голос из роицы.

Коровы тут же бросились в рассыпную, отступая назад, словно повинуюсь единому порыву, и устремились вверх по склону. Их шерсть развевалась подобно рыжим языкам пламени. Гудрун замерла в ожидании на своем месте, Урсула поднялась на ноги.

Джеральд и Биркин наконец-то нашли их, и Джеральд закричал, чтобы отогнать от девушек коров.

– Может, скажете, что это вы такое делаете? – воскликнул он высоким, удивленно-озадаченным голосом.

– Зачем вы пришли? – резко вопросом на вопрос ответила Гудрун.

– Как это, по-вашему, называется? – повторил Джеральд.

– Это называется ритмикой, – смеясь, трепещущим голосом ответила Урсула.

Гудрун стояла, напустив на себя холодный вид, и неприязненно рассматривала вновь пришедших удивленным, мрачным взглядом, замерев на несколько мгновений. А потом она стала подниматься по склону холма, вслед за коровами, которые там, наверху, опять превратились в маленькое зачарованное стадо.

– Куда вы? – крикнул ей вслед Джеральд. И поспешил за ней.

Солнце спряталось за холмом, тени жались к земле, и свет постепенно угасал.

– Не самая подходящая для танца песня, – сказал Биркин Урсуле с мимолетной сардонической усмешкой. В следующее мгновение он уже тихо напевал себе под нос и вытанцовывал перед ней причудливую чечетку, – все его тело ходило ходуном, застывшее лицо вспыхивало бледным светом, ноги отбивали быструю насмешливую дробь, и казалось, что его трясущееся туловище мечется, как тень, между головой и ногами.

– Похоже, мы все походили с ума, – сказала Урсула, испуганно рассмеявшись.

– Жаль, что нельзя стать еще более безумным, – ответил он, не прекращая своей нескончаемой конвульсивной пляски. И внезапно он наклонился к ней и поцеловал ее пальцы, едва коснувшись их губами, а затем приблизил лицо к ее лицу и, едва заметно ухмыляясь, заглянул в ее глаза. Она в замешательстве отпрянула.

– Обиделась? – иронично спросил он, внезапно останавливаясь и обретая прежнюю сдержанность. – Мне казалось, тебе нравится легкий налет романтики.

– Но только не так, – сказала она, смущенная и озадаченная, почти оскорбленная.

Но в глубине души она была очарована этим трясущимся, подергивающимся телом, которое безудержно отдавалось собственным движениям, и этим мертвенно-бледным иронически улыбающимся лицом. Но она мгновенно напустила на себя чопорный, осуждающий вид. Для человека, который обычно был таким серьезным, подобное поведение было почти непристойным.

– А почему бы и не так? – насмешливо спросил он и в ту же секунду вновь начал ту же невероятно быструю, раскованную, бешеную пляску, с вызовом поглядывая на девушку.

И с теми же стремительными, неизменными движениями он все приближался и приближался, и тянулся к ней с невероятно глумливой, язвительной усмешкой, и поцеловал бы ее вновь, если бы она не отшатнулась.

– Нет, не надо! – воскликнула она – ей стало по-настоящему страшно.

– Корделия вернулась, – саркастически сказал он.

Эти слова больно кольнули ее, точно были страшным оскорблением. Она понимала, что по его замыслу они таковыми и были и это совершенно сбило ее с толку.

– А ты, – воскликнула она в ответ, – почему ты всегда вкладываешь в свои слова такую откровенность, такую ужасающую откровенность?

– Чтобы их было легче произносить, – ответил он, довольный своей мыслью.

Джеральд Крич, прищуриw сияющие упорством глаза, быстрым шагом направился к холму вслед за Гудрун. Коровы стояли на выступе холма, уткнувшись друг в друга носами, и наблюдали за тем, что происходило внизу – как мужчины в белом суетятся возле белых женских фигур; но больше всего их занимала медленно приближавшаяся к ним Гудрун. Она на мгновение остановилась, оглянулась назад, на Джеральда, а затем посмотрела на стадо.

Внезапно она вскинула руки и резко бросилась к длиннорогим коровам – она бежала короткими, прерывистыми перебежками, останавливаясь на мгновение и пристально рассматривая их, а затем вновь всплескивая руками и вновь атакуя их. Так продолжалось до тех пор, пока они не перестали топтаться на месте и, сопя от страха, не подались назад, не оторвали головы от земли и не бросились врассыпную навстречу вечернему сумраку. Они убежали так далеко, что стали казаться совсем крошечными, но даже и тогда они не останавливались.

Гудрун смотрела им вслед, и на лице ее застыл вызов.

– Зачем нужно было их так пугать? – спросил, поравнявшись с ней, Джеральд.

Она не ответила на его вопрос, только отвернулась в сторону.

– Знаете, это небезопасно, – настойчиво продолжал он. – Если бы они побежали, это могло бы плохо кончиться.

– Побежали куда? Прочь? – бросила она громким язвительным тоном.

– Нет, – сказал он, – побежали на вас.

– Побежали на меня? – продолжала насмешничать она.

Но он так ничего и не понял.

– Видите ли, однажды они насмерть забодали корову одного здешнего фермера, – сказал он.

– Меня это никак не касается, – произнесла она.

– А вот меня это касалось самым непосредственным образом, – ответил он, – поскольку этот скот моя собственность.

– Каким же образом он превратился в вашу собственность? Вы что, проглотили его? Дайте-ка мне одну корову, – сказала она, протягивая руку.

– Вы знаете, куда они пошли, – сказал он, указывая на холм. – Можете взять одну, если только согласитесь на то, чтобы ее прислали потом.

Она окинула него непоницаемым взглядом.

– Думаете, я боюсь вас и ваших коров? – осведомилась она.

Он злорадно прищурился. Его губы тронула легкая высокомерная улыбка.

– Почему я должен так думать? – спросил он.

Она не сводила с него мрачного, смутного, пристального взгляда. Она подалась вперед, резко размахнулась и сжатой в кулак рукой отвесила ему легкий удар.

– Вот почему, – насмешливо сказала она.

В ее душе вспыхнуло страстное желание ударять его еще и еще. Она вытеснила из своего сознания страх и смятение. Ей хотелось следовать своим желаниям, в ее душе не было места страху.

От этой легкой пощечины он отступил на несколько шагов. Он мертвенно побледнел и угрожающее выражение мрачным пламенем вспыхнуло в его глазах. Несколько секунд он не мог вымолвить ни слова, у него перехватило дыхание, и страшный поток неуправляемых

эмоций переполнил сердце с такой силой, что, казалось, оно вот-вот лопнет. Внутри него словно взорвался сосуд с темными страстями, волной захлестнувшими его сознание.

– Первый удар за вами, – вымолвил он наконец, с трудом выдавливая из себя слова, прозвучавшие так тихо и мягко, что ей показалось, будто они родились в ее голове, словно они и не были произнесены.

– За мной же останется и последний, – непроизвольно выпалила она с искренней уверенностью. Он молчал, он не решился противоречить ей.

Она стояла с непринужденным видом, отвернувшись от него и устремив взгляд вдаль. И в ее сознании сам собой возник вопрос: «Почему ты ведешь себя так странно и непонятно?» Но она сердилась на себя и поэтому отбросила его от себя. Но эти слова продолжали звучать в ее голове, и поэтому девушка засмущалась.

Джеральд, белый как мел, пристально наблюдал за ней. В его взгляде, сосредоточенном и сияющем, зажглось решительное выражение. И вдруг она набросилась на него.

– Видите ли, это из-за вас я веду себя таким образом, – сказала она, и в ее словах прозвучала некая двусмысленность.

– Из-за меня? С какой стати? – спросил он.

Но она только отвернулась и пошла в сторону озера. Там, на воде, один за другим загорались фонари, едва видные теплые огоньки-призраки плыли в молочной дымке сумерек. Мрак, словно черная глазурь, растекся по земле. Над головой бледно желтело небо, а вода в одной части озера цветом походила на молоко. Вдалеке, на пристани, в темноте сияли маленькие точки собранных в гирлянды цветных лампочек. На прогулочном пароходике зажигались огни. А все вокруг погружалось в выползавший из-под деревьев сумрак.

Джеральд, точно призрак в своем белом костюме, спускался по голому травянистому склону. Гудрун поджидала его. Затем она мягко протянула руку, дотронулась до него и тихо сказала:

– Не сердитесь на меня.

Пламя опалило его и затмило его рассудок. И он, запинаясь, сказал:

– Я не сержусь на тебя, я тебя люблю.

Разум оставил его; Джеральд машинально попытался усилием воли взять себя в руки и спасти себя от гибели. Гудрун залилась серебристым смехом, в котором одновременно слышалась и насмешка, и ласкательные нотки.

– Это то же самое, только другими словами, – сказала она.

Непередаваемый восторг, тяжким грузом обрушившийся на его разум, чудовищный экстаз, полная потеря контроля над собой, – все это было выше его сил. Он схватил ее за локоть, и рука его казалась налитой свинцом.

– Значит, все в порядке, да? – сказал он, удерживая ее.

Она пристально посмотрела на его застывшее лицо, на остановившийся взгляд и ее кровь заледенела.

– Да, все в порядке, – сказала она тихо и опьяненно, заволакивающим голосом, словно колдунья, произносящая заклинание.

Он машинально шагал рядом с ней. Но постепенно он начал приходить в себя. Он очень страдал. Когда он был мальчиком, он убил своего брата, и теперь, как и Каин, был изгнанником.

Возле лодок они увидели сидящих Урсулу и Биркина, которые болтали, смеясь. Биркин поддразнивал Урсулу.

– Чувствуешь болотный запах? – спрашивал он, приносясь. Он легко воспринимал различные запахи и быстро распознавал их.

– Да, пахнет приятно, – отвечала она.

– Нет, – говорил он, – так пахнет тревога.

– Почему именно тревога? – смеялась она.

– Эта мрачная река кипит и бурлит, – сказал он, – она выбрасывает из себя лилии, змей и блуждающие огни, и все время катит вперед свои волны. Вот о чем мы постоянно забываем – движется она только вперед.

– Что движется?

– Другая, темная река. Мы всегда замечаем только серебристую реку жизни, которая течет, унося мир к свету, вперед и вперед, на небеса, впадая в яркое вечное море, в небо, изобилующее ангелами. Но есть и другая река – она-то и является нашим реальным миром.

– Что за другая река? Никакой другой реки я не вижу, – сказала Урсула.

– Тем не менее, ты в ней живешь, – сказал он, – это темная река разложения. Она, эта темная река порока, течет в нас так же, как и другая. И наши цветы питаются от нее: наша рожденная морем Афродита, все наши белоснежные светящиеся цветы плотского экстаза, весь наш сегодняшний мир.

– То есть ты хочешь сказать, что Афродите известно, что такое смерть? – спросила Урсула.

– Я хочу сказать, что она – загадочный цветок, порожденный процессом умирания, – ответил он. – Когда поток творческого созидания иссякает, мы становимся частью обратного процесса, мы начинаем питать процесс разрушительного созидания. Афродита родилась во время первого спазма умирания вселенной – затем родились змеи, лебеди и лотосы – болотные цветы – и Гудрун и Джеральд, – все это рождено в процессе разрушительного созидания.

– И мы с тобой? – спросила она.

– Возможно, – ответил он. – Какая-то наша часть появилась на свет именно так. Но являемся ли мы такими в целом, я пока что не знаю.

– Значит, ты считаешь, что мы цветы смерти – *fleurs du mal*?<sup>27</sup> Я себя такой не ощущаю, – запротестовала она.

Он какое-то время молчал.

– Я тоже не чувствую себя таким, – ответил он. – Есть люди, которые являются самыми настоящими цветами темного царства разложения – лилиями. Но ведь должны же быть на свете и розы – теплые и пламенные. Знаешь, Гераклит<sup>28</sup> утверждал, что «иссохшая душа самая лучшая». Я слишком хорошо понимаю, что это означает. А ты?

– Я не уверена, – ответила Урсула. – Ну и что из того, что все люди – это цветы смерти, то есть вообще не цветы? Неужели это что-то меняет?

– И ничего – и все. Разложение катит свои волны вперед, так же как и созидание, – говорил он. – Оно движется вперед и вперед, а заканчивается оно вселенской пустотой, концом света, если угодно. Но чем конец света хуже его начала?

– Всем, – с каким-то ожесточением сказала Урсула.

– В конечном итоге да, – согласился он. – Это означает, что после будет новый виток созидания – но уже без нашего участия. Если это конец, значит, мы порождение этого конца – *fleurs du mal*, если угодно. А если мы цветы зла, значит, мы не розы счастья, вот и все.

– Но я-то, – воскликнула Урсула, – я-то как раз роза счастья.

– Искусственная? – иронично поинтересовался он.

– Нет, живая, – обиделась она.

– Если мы – конец, значит, мы не начало, – сказал он.

– Нет, начало, – парировала она. – Начало вытекает из конца.

– Следует за концом, а не вытекает из него. Оно будет после нас, не мы будем его творцами.

---

<sup>27</sup> *Fleurs du mal* (фр.) – ссылка на главное поэтическое произведение Шарля Бодлера «Цветы зла», ставшее одной из ключевых работ символизма.)

<sup>28</sup> Гераклит – древнегреческий философ, чьи работы повлияли на философскую концепцию Ницше и на произведения Лоуренса.



– Нет, знаешь ли, ты и в самом деле дьявол, – сказала она. – Ты хочешь лишить нас надежды. Ты хочешь, чтобы мы стали смертными.

– Нет, – ответил он, – я просто хочу, чтобы мы знали, кто мы есть.

– Ха! – гневно воскликнула она. – Ты просто хочешь, чтобы мы познали смерть.

– Вы совершенно правы, – раздался из мрака позади них тихий голос Джеральда.

Биркин поднялся на ноги. Джеральд и Гудрун подошли ближе.

Всем захотелось курить, поэтому на какое-то время воцарилось молчание. Биркин поочередно прикуривал всем сигареты. Спички вспыхивали в сумеречном свете, и вскоре все четверо, стоя у кромки воды, умиротворенно выпускали в воздух сигаретный дым. Озеро тускло мерцало среди черных берегов, постепенно отдавая свой свет. Воздух вокруг был неосязаемым, неземным, и в нем, словно голоса из потустороннего мира, раздавались звуки банджо или какого-то похожего на него инструмента.

По мере того, как угасал золотистый океан над их головами, луна постепенно набирала яркость, и вскоре улыбкой возвестила о своем воцарении над миром. Темный лес на противоположном берегу растворился во всеобщем мраке. И эту окутывавшую каждый уголок тьму то тут, то там пронзали огни. В дальней части озера появилась чудесная нить цветных огоньков, похожих на бледно-зеленые, бледно-красные и бледно-желтые бусинки.

Легкое облачко музыки слетело с парохода, когда он, весь залитый светом, устремился во мрак, оставляя после себя шлейф из звуков музыки, и огоньки, которыми он был украшен, дрожали при каждом движении, словно живые существа.

Огни появлялись повсюду – и над тусклой водой, и в дальнем конце озера, где вода, в которой отражалось пока еще не поддававшееся ночи небо, казалась молочно-белой и куда тьма еще не добралась, – на невидимых лодках раскачивались одинокие, хрупкие сияющие пятна фонарей. Раздался плеск весел, и из бледного сумрака выплыла лодка, устремившись под деревья, в черную тень, и там ее фонари, казалось, заиграли огнем, превратившись в восхитительные висячие багровые шары. И сразу же на водной глади озера вокруг лодки призрачным красным пламенем закачалось их отражение. Эти багровые огненные создания бесшумно сновали вокруг, порхая над самой водой в компании дрожащих, едва видимых отражений.

Биркин принес фонари с большой лодки, и четыре призрачные белые фигуры, желающие зажечь их, столпились возле них. Урсула подняла первый фонарь, и Биркин опустил в его чрево огонь из озаренных розовым светом, сложенных лодочкой рук. Он разгорелся и четверо людей отошли в сторону, чтобы посмотреть на огромную светло-голубую луну, свисающую из руки Урсулы и отбрасывающую на ее лицо причудливые тени. Фонарь моргнул и Биркин наклонился над этим средоточием света. Его лицо сияло, точно призрачное видение, оно было рассеянным и вместе с тем демоническим. Над ним смутно вырисовывалась окутанная мраком фигура Урсулы.

– Вот так-то лучше, – мягко сказал он.

Она подняла фонарь. На нем над темной землей в залитом светом бирюзовом небе парила стая аистов.

– Как красиво, – восхитилась девушка.

– Просто сказка, – эхом отозвалась Гудрун, которой тоже захотелось взять фонарь в руки и поднять его, любуясь им.

– Зажгите один и для меня, – попросила она.

Джеральд стоял рядом с ней, не в силах шевельнуться. Биркин зажег выбранный ею фонарь. Ее сердце взволнованно билось, так не терпелось рассмотреть его. Он был нежно-желтого цвета, на нем над темными листьями возвышались темные высокие и прямые стебли, унося цветочные головки прямо в желтый воздух, а над ними, в чистом, ярком свете порхали бабочки.

Гудрун негромко вскрикнула, словно восторг пронзил все ее существо.

– Он прекрасен, о, как же он прекрасен!

Его красота действительно поразила ее, и восхищение девушки было безмерным.

Джеральд придвинулся к ней, проникнув в ореол окружавшего ее света, как будто для того, чтобы рассмотреть фонарь поближе. Он был совсем близко от нее, он стоял, дотрагиваясь до нее и вместе с ней рассматривая бледно-желтый светящийся шар. Гудрун повернула к нему свое лицо, озаренное нежным светом фонаря, и так они и стояли, точно одно светящееся существо, очень близко друг к другу, окутанные светом, оставив остальных за его пределами. Биркин отвел глаза и отправился зажигать Урсуле второй фонарь. На нем было изображено бледно-бордовое морское дно с черными крабами и водорослями, чувственно движущимися в прозрачной воде, плавно перетекавшей в огненно-багряное небо.

– У тебя тут небеса над землей и море под ней, – сказал ей Биркин.

– Точно, все, кроме самой земли, – рассмеялась она, наблюдая за его ожившими руками, которые порхали над фонарем, регулируя пламя.

– Мне ужасно хочется взглянуть, что на втором моем фонаре, – воскликнула Гудрун взволнованным, резким голосом, неприятно отозвавшимся в душах остальных.

Биркин подошел к ней и зажег его. Он был чудесного густого синего цвета, с красным дном, и на нем мягкие белые воды несли огромную белую каракатицу. Ее голова приходилась как раз на то место, где огонь горел ярче всего, а выпуклые глаза смотрели пристально и с холодной сосредоточенностью.

– Какая же она страшная! – в ужасе воскликнула Гудрун. Стоящий рядом Джеральд глухо хмыкнул.

– По-моему, она просто чудовище! – воскликнула она с отвращением.

Он же вновь рассмеялся и предложил:

– Отдай его Урсуле, а себе возьми тот, что с крабами.

Гудрун примолкла.

– Урсула, – сказала она затем, – ничего, если я отдам тебе этот ужасный фонарь?

– А мне он нравится, по-моему, цвета подобраны великолепно, – сказала Урсула.

– Да, я знаю, – ответила Гудрун. – Но ты не будешь возражать, тебе же придется прикрепить его на лодку? У тебя не возникает желания тут же его разбить?

– Нет, – сказала Урсула. – Мне не захочется его разбивать.

– Значит, ты согласишься поменяться на крабов? Ты точно не возражаешь?

Гудрун подошла к ней, чтобы произвести обмен.

– Вовсе нет, – ответила Урсула, расставаясь с крабами и забирая у сестры каракатицу.

Но вместе с тем ей было очень неприятно, что Гудрун и Джеральд позволяют себе командовать ею, облекая себя правом превосходства.

– В таком случае, идемте, – сказал Биркин. – Я прикреплю их к лодкам.

Он и Урсула направились к большой лодке.

– Руперт, отвезешь меня обратно? – спросил окутанный бледным вечерним сумраком Джеральд.

– Лучше поезжай с Гудрун в каноэ, – ответил Биркин. – Так будет гораздо интереснее.

На мгновение все замолчали. Биркина и Урсулу, стоящих у самой воды, было почти не видно, сияли только раскачивающиеся на лодке фонари. Все вокруг казалось призрачным.

– Ты не против? – спросила его Гудрун.

– Я-то с радостью, – ответил он. – Но как же ты будешь грести? Тебе не обязательно везти меня на себе.

– А почему бы и нет? – поинтересовалась она. – Я смогу везти тебя, везла же я Урсулу.

По ее тону он понял, что ей хотелось, чтобы он сидел в ее лодке и принадлежал только ей одной, и расслышал в нем благодарные нотки за то, что она сможет распространить свою власть и на него тоже. Он подчинился, и ощутил в своем теле странную наэлектризованность. Она передала ему фонари, а сама отправилась поправить тростник, примятый каноэ. Он последовал за ней, огни фонарей танцевали на его обтянутых белыми фланелевыми брюками бедрах, от чего окружавший их мрак казался еще более глубоким.

– Поцелуй меня, прежде чем мы поедем, – донесся до нее из тени его мягкий голос.

Она замерла на месте в крайнем замешательстве, правда, только на одно мгновение.

– Зачем? – с неподдельным удивлением воскликнула она.

– Как это зачем? – иронично эхом откликнулся он.

Некоторое время она пристально вглядывалась в его лицо, а затем потянулась вперед и подарила ему неспешный, потрясающий поцелуй, долго не отрываясь от его губ. Потом забрала у него фонари, а он стоял, растворяясь в чудесной жаркой лаве, охватившей все его члены.

Они спустили каноэ на воду, Гудрун заняла свое место, и Джеральд оттолкнулся от берега.

– Твоей руке не будет от этого хуже? – заботливо спросила она. – Потому что я и сама бы справилась.

– С рукой все в порядке, – сказал он низким мягким голосом, который ласкал ее слух своей необычайной красотой.

Она не сводила с него глаз, а он сидел близко, невообразимо близко к ней на корме этого каноэ, вытянув ноги в ее сторону и касаясь ботинками ее туфель. Она гребла очень медленно, неохотно, страстно желая, чтобы его губы произнесли нечто очень важное. Но он молчал.

– Тебе хорошо сейчас? – спросила она нежным, заботливым голосом.

Он коротко рассмеялся.

– Между нами лежит пропасть, – отозвался он тем же низким, рассеянным голосом, будто его устами говорила какая-то непонятная сила. И как по волшебству, она осознала, что они, сидя на разных концах лодки и уравнивая друг друга, действительно были разделены пространством. Эта внезапная мысль наполнила ее острым восторгом и удовольствием.

– Но я же совсем рядом, – игриво и ласково произнесла она.

– И в то же время далеко, так далеко, – ответил он.

Она радостно помолчала, а затем звучным, взволнованным голосом продолжила:

– Но пока мы на воде, ничего не изменится.

Она, подчинив его своей власти, искусно флиртowała с ним.

По озеру плыло около дюжины лодок, и на их бортах, почти у самой воды, также раскачивались розовые или лунно-голубоватые фонари, огненно отражаясь в волнах.

Вдалеке раздавались звуки скрипок и банджо, слабый плеск гребных лопастей пароходика, увешанного гирляндами цветных огоньков, с которого время от времени извергались, освещая пространство, фейерверки – римские свечи, россыпи звезд и другие незамысловатые фигуры, озарявшие гладь озера и бесстыдно высвечивающие крадущиеся по воде лодки. Затем вновь наступала желанная темнота, фонари и маленькие гирлянды лампочек мягко горели, слышался приглушенный плеск весел и звуки музыки.

Гудрун погружала весла в воду почти бесшумно. Недалеко впереди Джеральд видел темно-синий и розовый фонари Урсулы, которые, когда Биркин налегал на весла, качались бок о бок; видел он и переливающееся, растворяющееся в черных водах цветное сияние, преследующее лодку тех двоих в кильватере. И он знал, что и за его спиной нежно окрашенные огоньки озаряют ночь мягким светом.

Гудрун положила весло и огляделась. Каноэ чуть-чуть покачивалось на волнах. Бледные ноги Джеральда едва не касались ее.

– Как же красиво! – воскликнула она с тихим благоговением в голосе.

Она не сводила с него глаз, а он откинулся назад, в неяркое облако фонарного света. Она могла видеть его лицо, хотя на нем и лежали тени. Эти тени предвещали скорый рассвет.

И острая страсть к нему жгла ее грудь – его неподвижная и загадочная мужественность сообщала ему особую привлекательность. Потoki чистого мужского существа, подобно аромату, исходили от мягких, рельефных контуров его тела, заставляя ее с чарующей полнотой ощущать его присутствие, доводя ее до экстаза, наполняя пьянящей дрожью.

Ей невероятно нравилось смотреть на него. И в этот момент прикосновения были бы лишними, сейчас в ней не было желания насытить себя, ощутить под своими руками его живую плоть. Он сидел так близко и в то же время был совершенно неосязаемым. Ее руки, сжимающие весло,

казалось, оцепенели, ей хотелось только видеть его, эту прозрачную тень, всей душой ощущать его присутствие.

– Да, – рассеянно согласился он. – Очень красиво.

Он вслушивался в окружающие их слабые звуки: во всплеск падающих с весел капель, в легкое постукивание фонарей друг об друга за его спиной, в шелест просторного платья Гудрун, в странные шорохи, доносящиеся с берега. Его разум окутала темная пелена, каждый уголок его существа пропитался этой ночью, и первый раз в своей жизни он растворился в окружающем мире. Обычно он был собранным, невероятно внимательным и твердым. Сейчас же он освободился от сковывающих его пут и постепенно сливался с тем, что существовало вокруг него. Так начался настоящий, восхитительный сон, первый великий сон его жизни. Вся его жизнь была борьбой, он всегда должен был быть настороже. А его ждали покой, сон и забвение.

– Куда мне грести? К пристани? – задумчиво спросила Гудрун.

– Куда угодно, – ответил он. – Пусть лодка плывет, куда хочет.

– Тогда скажи мне, если мы на что-нибудь натолкнемся, – попросила она очень тихим, лишенным выражения голосом, каким обращаются только к очень близкому человеку.

– Тебе скажут об этом фонари, – ответил он.

Так, в полной тишине, они и качались на волнах. Он не хотел нарушать этой всеобъемлющей тишины. Ей же было неловко сидеть совершенно молча, ей хотелось заговорить, вновь обрести уверенность в себе.

– Тебя не хватают? – спросила она, страстно желая завязать разговор.

– Хватят? – словно эхо, отозвался он. – Нет! А что?

– Просто мне кажется, что тебя могут искать.

– Зачем кому-то меня искать?

Но затем, вспомнив о приличиях, добавил изменившимся голосом:

– Но тебе, наверное, хочется вернуться.

– Нет, я не хочу возвращаться, – ответила она. – Уверю тебя, что не хочу.

– У тебя точно не будет неприятностей?

– Совершенно уверена.

И вновь воцарилось молчание. На пароходике играли скрипки, иногда раздавался гудок, на палубе кто-то затянул песню. И вдруг ночную тишину расколол громкий вопль, повсюду раздались крики, засуетились лодки и раздался ужасный скрежет гребного винта, которому резким движением был дан обратный ход.

Джеральд выпрямился, и Гудрун со страхом взглянула на него.

– Кто-то упал в воду, – сказал он со досадой и отчаянием, пристально вглядываясь взглядом во мрак. – Сможешь подъехать поближе?

– Куда, к пароходу? – дрожа всем телом, спросила Гудрун.

– Да.

– Скажешь мне, если я отклонюсь в сторону, – сказала она, и ее нервный голос выдал, что она находится во власти дурного предчувствия.

– Ты идешь совершенно ровно, – сказал он, и каноэ заскользило вперед.

Крики и шум не смолкали, во мраке, над поверхностью воды, они звучали особенно страшно.

– По-моему, это непременно должно было случиться, – с неуместным цинизмом заметила Гудрун.

Но он не слушал ее, поэтому она оглянулась через плечо, чтобы посмотреть, куда нужно было грести. В темной воде раскачивалась россыпь чудесных пузырьков света – пароход, казалось, был уже совсем близко. Его огоньки раскачивались в сером мраке только что наступившей ночи. Гудрун гребла изо всех сил. Но теперь, когда поездка в каноэ перестала быть простой забавой, ее движения стали неуверенными и неуклюжими, ей трудно было грести быстро. Она посмотрела на Джеральда. Он пристально вглядывался в темноту и казался невероятно собранным, настороженным и замкнутым, он выглядел очень знающим. Сердце в ее груди

упало, и ей показалось, что жизнь оставила ее. «Да нет, – думала она про себя, – никто не утонет. Конечно же, не утонет. Это было бы чересчур эпатажно и сенсационно».

Но ее сердце превратилось в ледышку, потому что на его лице теперь возникло резкое, бесстрастное выражение. Точно по своей природе он был частью страха и ужаса, точно он вдруг опять стал самим собой.

И тут раздался громкий и истошный крик девочки:

– Ди... Ди... Ди... Ди... О, Ди... О, Ди... О, Ди!

Кровь застыла в жилах Гудрун.

– Значит, это Диана, ну еще бы! – пробормотал Джеральд. – Вот мартышка, опять принялась за свои проделки.

И он вновь взглянул на весло – лодка, по его мнению, шла недостаточно быстро. Гудрун так нервничала, что почти не могла грести. Она старалась изо всех сил. А голоса все также перекликались и отвечали друг другу.

– Где, где? Вот туда – да, там. Которая? Нет – не-е-ет. Черт подери, здесь, здесь...

Лодки слетались со всех концов озера, было видно, как разноцветные фонари мерцают у самой глади озера, а их отражения расплывчатыми дорожками судорожно тянутся за ними. Пароход почему-то вновь загудел. Лодка Гудрун так быстро летела вперед, что фонари сильно раскачивались из стороны в сторону за спиной Джеральда.

И вдруг вновь донесся высокий, истошный детский крик, в котором на этот раз прорывались рыдание и паника:

– Ди... О, Ди... О, Ди... Ди!..

Эти пронзительные звуки рассекали вечерний сумрак, словно стрелы.

– Ах, Винни, Винни, почему ты еще не в постели... – пробормотал Джеральд.

Он наклонился, расшнуровал ботинки и поочередно сбросил их, упираясь носком одной ноги в пятку другой. Затем на дно лодки полетела и его мягкая соломенная шляпа.

– Нельзя прыгать в воду с больной рукой, – задыхаясь, севшим, полным тревоги голосом сказала Гудрун.

– Что? Не бойся, она не будет болеть.

Стащив с себя куртку, он бросил ее в лодку между ног. Теперь он остался во всем белом. Сидя с непокрытой головой, он чувствовал, как ремень врежется ему в живот.

Они подплывали к пароходу, который спокойной огромной массой возвышался над ними – неисчислимые лампочки сияли восхитительным светом, превращаясь в глянцевых темных водах возле борта в грязно-красные, грязно-зеленые и грязно-желтые колеблющиеся язычки пламени.

– Пожалуйста, вытащите ее!!! Ди, милая! Вытащите ее! О, папочка, о, папочка!!! – надрывно стонал детский голос.

Кто-то, надев спасательный жилет, спрыгнул в воду.

Две лодки подплыли ближе, тщетно качая фонарями, остальные сновали вокруг.

– Эй, на палубе – Рокли! – эй там!

– Мистер Джеральд! – донесся испуганный голос капитана. – Мисс Диана в воде.

– Кто-нибудь ищет ее? – раздался резкий голос Джеральда.

– Молодой доктор Бринделл, сэр.

– Где?

– Их нигде не видно. Все ищут, но пока результатов нет.

Повисла зловещая пауза.

– В каком месте она упала?

– По-моему, там, где сейчас лодка, – последовал неопределенный ответ, – та, с красными и зелеными фонарями.

– Подплыви туда, – тихо попросил Гудрун Джеральд.

– Вытащи ее, Джеральд, о, вытащи ее! – умоляюще рыдал детский голосок.

Джеральд оставил его без внимания.



– Откинсь назад, вот так, – сказал он Гудрун, поднимаясь на ноги в раскачивающейся лодке. – Тогда она не перевернется.

В следующее мгновение он, выпрямившись и мягко оттолкнувшись от лодки, стрелой ушел под воду. Лодку, а вместе с ней и Гудрун, сильно качало, на взволнованной воде засверкал блуждающий огонь, и внезапно девушка осознала, что это был всего лишь лунный свет, и что Джеральд исчез. Так, значит, исчезнуть все-таки можно! Страшная обреченность лишила ее возможности думать и чувствовать.

Она знала, что он ушел из этого мира, а мир не изменился, только его, Джеральда, в нем уже не было. Ночь была бескрайней и пустой. То тут, то там раскачивались фонари, люди на пароходе и в лодках разговаривали приглушенными голосами. Она слышала, как стонала Винифред: «о, Джеральд, пожалуйста, достань ее, найди ее», и как кто-то пытался ее утешить. Гудрун бесцельно направляла лодку то в одну, то в другую сторону. Страшная, огромная, холодная, безграничная водная гладь наводила на нее непередаваемый страх. Неужели Джеральд никогда не вернется? Ей хотелось тоже прыгнуть в эту воду, также познать весь этот ужас.

Она вздрогнула, потому что кто-то сказал: «А вот и он». Она увидела, как Джеральд, словно нерпа, выплыл на поверхность. И она инстинктивно направила лодку к нему. Но рядом была другая, более большая, лодка. Гудрун сразу же направилась за ней. Ей просто необходимо было находиться поблизости. И тут она увидела его – в тот момент он походил на морского котика. Он выглядел совсем как котик, ухватившийся за борт лодки. Его белокурые волосы намокли и прилипли к его круглой голове, а лицо, казалось, было озарено едва заметным светом. Она слышала его прерывистое дыхание.

А затем он забрался в лодку. И о! Каким же восхитительным был изгиб его тускло белеющих в темноте ягодиц, которые были выставлены на всеобщее обозрение, когда он забирался в лодку – они убивали ее своей красотой. То, как мягко округлилась его спина, каким восхитительно серовато-белым пятном пронзали тьму ягодицы, когда он переваливался через борт, – это видение было слишком прекрасным, невыносимо прекрасным. Она смотрела и знала, что это видение сулит ей гибель. Она ощущала только ужасную обреченность и красоту, необыкновенную красоту!

Он уже казался ей не человеком, а воплощением целого периода ее жизни. Она видела, как он вытер воду с лица и посмотрел на перевязанную руку. И поняла, что все ее старания были напрасны, что жизнь подвела ее к крайнему пределу в его лице, и за этот предел ей никогда не суждено выйти.

– Погасите свет, так будет лучше видно, – внезапно раздался его голос, такой равнодушный, такой человеческий. Ей казалось невероятным, что мир, в котором обитают люди, – это не ее фантазия. Она обернулась назад и, наклонившись, задула фонари. А задуть их оказалось совсем не просто. Все фонари погасли, и только цветные лампочки на борту парохода все еще горели. Ночь накрыла все вокруг своим ровным иссиня-серым покрывалом, в небе сияла луна, сновавшие повсюду лодки казались мрачными призраками.

Раздался еще один всплеск, и Джеральд вновь ушел под воду. Гудрун сидела в лодке, сердце ее терзал мучительный страх. Огромная, ровная гладь озера, такая тяжелая и устрашающая, наводила на нее ужас. Она осталась наедине с этой расстилающейся перед ней мертвой гладью озера. Но это уединение не было приятным – это было чудовищное, холодное ожидание.

Гудрун замерла на поверхности этой коварной стихии, ожидая, когда наступит ее черед исчезнуть в ее глубинах.

По взволнованному перешептыванию она поняла, что он вновь забрался в лодку. Ей так хотелось оказаться рядом с ним. Она напряженно искала его взглядом, вглядываясь в накрывшую воду тьму. Но невыносимое одиночество уже окружило ее сердце прочной стеной, через которую уже ничто не могло проникнуть.

– Отправьте пароход к пристани. Он здесь больше не понадобится. Приготовьте сети, будем прочесывать озеро, – раздался решительный, властный, земной голос.

Пароход постепенно отходил назад.

– Джеральд! Джеральд! – дико закричала Винифред.

Он не ответил. Пароход медленно развернулся, трогательно и неуклюже описав на воде круг, и тихо заскользил к берегу, погружаясь во мрак. Плеск гребных лопастей становился все тише и тише. Легкую лодку Гудрун качало на волнах, и девушка машинально опустила весло в воду, чтобы обрести равновесие.

– Гудрун? – раздался голос Урсулы.

– Урсула!

Лодки девушек столкнулись.

– А где Джеральд? – спросила Урсула.

– Он опять нырнул, – жалобно сказала Гудрун. – А я знаю, что при его раненой руке и общем состоянии ему нельзя нырять.

– На этот раз обратно все же повезу его я, – сказал Биркин.

Лодки вновь зашатало на создаваемых пароходом волнах. Гудрун и Урсула пристально вглядывались в темноту в поисках Джеральда.

– Вон он! – воскликнула Урсула, у которой было самое острое зрение.

Под водой он пробыл совсем недолго. Биркин направил свою лодку к нему, Гудрун следовала за ним. Джеральд медленно подплыл и ухватился за борт раненой рукой. И, не удержавшись, вновь погрузился под воду.

– Помогите же ему! – резко бросила Урсула.

Джеральд снова всплыл, и Биркин, наклонившись, помог ему забраться в лодку. Гудрун вновь пристально наблюдала за тем, как он выбирался из воды, – на этот раз тяжело, медленно, слепо и неповоротливо карабкаясь наверх, словно какое-то земноводное животное. Луна вновь отбросила слабый отблеск на его мокрую белую фигуру, на ссутулившуюся спину и округлые ягодицы. Но теперь у него был вид человека, потерпевшего поражение. Джеральд вскарабкался в лодку и упал с медленной неуклюжестью. К тому же он хрипло дышал, словно больное животное. Весь обмякший, он неподвижно сидел в лодке, повесив голову, округлую, как у тюленя, – во всем его облике было что-то потустороннее, бессознательное. Гудрун дрожала всем телом, машинально следуя за ними в своей лодке. Биркин молча направился к пристани.

– Куда это ты? – внезапно спросил Джеральд, словно только что очнувшись от забытья.

– На берег, – ответил Биркин.

– Нет! – повелительно сказал Джеральд. – Никто не вернется на берег, пока они в воде.

Поворачивай обратно, я буду их искать.

Услышав его повелительный, страшный, едва ли не безумный голос, женщины пришли в ужас.

– Нет! – сказал Биркин. – Не будешь.

В его словах слышалась неуверенная настойчивость. Все время, пока шла эта борьба характеров, Джеральд сидел молча. Но чувствовалось, что он готов убить Биркина. А тот уверенно и непоколебимо гнал лодку вперед и вперед.

– Во все-то тебе нужно вмешиваться! – с неприязнью проронил Джеральд.

Биркин не ответил. Он продолжал грести к суше. Джеральд, мокрая голова которого походила на тюленью, сидел, безвольно сложив руки, и молчал, подобно безгласному животному, хватая ртом воздух и скрежеща зубами.

Они добрались до пристани. Джеральд, промокший до нитки и из-за этого казавшийся голым, поднялся по лестнице. Там, скрытый во мраке, стоял его отец.

– Отец! – выдохнул он.

– Да, мальчик мой? Иди домой и сними с себя мокрую одежду.

– Мы не сможем спасти их, отец, – сказал Джеральд.

– Надежда все еще есть, мальчик мой.

– Боюсь, что нет. Мы не знаем, где они. Их невозможно найти. К тому же там, внизу, чертовски холодное течение.

– Мы спустим воду, – сказал отец. – Отправляйся домой и займись собой. Руперт, проследи, чтобы о нем позаботились, – опустошенным голосом добавил он.

– Отец, мне жаль. Мне так жаль! Это я во всем виноват. Но ничего нельзя сделать; что можно было сделать на данный момент, уже сделано. Я мог бы нырять и дальше – правда, недолго, и совершенно напрасно.

Он прошел босыми ногами по толстым доскам платформы, и внезапно наступил на что-то острое.

– Ты еще и без обуви, – сказал Биркин.

– Вот его ботинки! – крикнула Гудрун снизу. Она закрепляла лодку.

Джеральд ждал. Гудрун подошла, держа в руках его ботинки. Он начал их надевать.

– Если человек умирает, – сказал он, – то все заканчивается, и заканчивается навсегда. Зачем вновь возвращаться к жизни? Там, под водой, смогут уместиться многие тысячи.

– Двоих вполне достаточно, – пробормотала она.

Он натянул второй ботинок. Его била сильная дрожь, и когда он говорил, зубы его стучали.

– Возможно, это так, – сказал он. – Но удивительно, как там так много места, там, под водой, целая вселенная; там холодно, как в склепе, и ты чувствуешь собственное бессилие, как будто лишаешься головы.

Он так сильно дрожал, что едва мог говорить.

– Знаешь, в нашей семье так повелось, – продолжал он, – если что-то случается, этого уже не исправить – только не в нашей семье. Я всегда это замечал, – случившееся исправить невозможно.

Они пересекли шоссе и направились к дому.

– Знаешь, там, внизу, так холодно, тот мир не имеет границ, он разительно отличается от того, что есть на поверхности, ему нет конца – и ты удивляешься, как могло случиться, что столько людей живы, и спрашиваешь себя, почему мы находимся там, наверху. Ты уходишь? Мы ведь увидимся снова? Спокойной ночи и спасибо тебе. Огромное спасибо.

Девушки еще немного постояли на берегу, надеясь, что что-то еще можно сделать. В небе ясно, с дерзкой яркостью, светила луна. Маленькие темные лодки сгрудились на воде, слышались голоса и приглушенные крики. Но все было тщетно.

Как только вернулся Биркин, Гудрун отправилась домой.

Ему поручили открыть водовод, начинавшийся на краю озера возле шоссе, по которому вода в случае необходимости подавалась на отдаленные шахты.

– Пойдем со мной, – попросил он Урсулу, – когда закончим, я провожу тебя до дома.

Он заглянул в коттедж работника, отвечавшего за водовод, и взял у него ключ. Они свернули с шоссе и через ворота прошли к озеру, где начинался огромный выложенный камнем канал, принимавший в себя потоки воды, и где под воду спускались каменные ступеньки. Сбоку от лестницы были створки шлюза, запиравшие водовод.

Ночь была серебристо-серой и прекрасной, только разрозненные отзвуки беспокойных голосов нарушали ее тишину. Серое сияние лунного света дорожкой отражалось в озере, по которому с плеском двигались темные лодки. Но разум Урсулы больше ничего этого не воспринимал, ничто в мире теперь не имело для нее значения, все стало призрачным.

Биркин зажал ключом железный рычаг, открывающий створки, и повернул его. Зубья начали медленно расходиться. Его белая фигура отчетливо виднелась в лунном свете – он, точно раб, все вращал и вращал рукоятку. Урсула отвела взгляд. Ей было невыносимо видеть, что он так упорно, напрягая все силы, работает ключом, наклоняясь и поднимаясь и вновь наклоняясь и поднимаясь, как самый настоящий невольник.

И вскоре раздался громкий плеск воды, вытекающей из темной, поросшей деревьями низины, испугав ее до глубины души; этот плеск постепенно превратился в хриплый рев, а затем и в тяжелый грохот, с каким устремляется вниз огромная масса воды. Этот страшный, ни на минуту не прекращающийся грохот воды наполнил ночную тишину, и все остальное погрузилось в него, ушло на дно и затерялось. Урсула, казалось, едва не теряла сознание. Она прижала руки к ушам и взглянула на сияющую высоко в небе ласковую луну.

– Пойдем отсюда, хорошо? – крикнула она Биркину, который стоя на ступеньках, смотрел на воду, проверяя, снижается ли ее уровень. Казалось, она зачаровывала его. Он взглянул на Урсулу и кивнул.

Маленькие темные лодки подобрались ближе, на шоссе вдоль изгороди толпились зеваки, пришедшие посмотреть на происходящее. Биркин и Урсула отнесли ключ в коттедж, а затем пошли прочь от озера. Девушке не терпелось уйти. Она не могла больше слышать жуткий, давящий грохот несущейся по каналу воды.

– Ты считаешь, они мертвы? – крикнула она во весь голос, чтобы он мог ее услышать.

– Да, – ответил он.

– По-моему, это ужасно.

Он ничего не ответил. Они поднимались вверх по холму, уходя от шума все дальше и дальше.

– Тебе ведь все равно, да?

– Мне нет никакого дела до мертвых, – сказал он, – с того самого момента, когда они умирают. Но ужасно то, что они все еще пытаются цепляться за живых и не отпускают их.

Урсула задумалась.

– Конечно, – сказала она. – Сам факт того, что человек умер, немного значит, не так ли?

– Да, – ответил он. – Нет никакой разницы от того, жива Диана Крич или нет.

– Как это нет никакой разницы?

– А разве это не так? Пусть лучше уж она будет мертва – тогда она будет казаться более живой. После смерти о ней будут говорить только хорошее. Останься она в живых, она бы продолжала метаться из стороны в сторону, никому не нужная.

– Ты говоришь ужасные вещи, – пробормотала Урсула.

– Нет! Я предпочитаю видеть Диану Крич мертвой. Ее жизнь была совершенно неправильной. А что касается молодого человека – бедняга – вместо долгой дороги он решил воспользоваться короткой. Смерть прекрасна – нет ничего лучше ее.

– В то же время самому тебе умирать не хочется, – с вызовом бросила она ему.

Некоторое время он молчал. А затем сказал изменившимся голосом, испугав ее такой переменной:

– Мне бы хотелось, чтобы все закончилось – мне хотелось бы покончить с этим процессом умирания.

– А ты еще не покончил? – нервно спросила Урсула.

Они молча шли под деревьями. И тут он начал говорить, и слова его звучали медленно, как-то испуганно:

– Существует жизнь, которая на самом деле есть смерть, и жизнь, которая не есть смерть. Я уже устал от жизни-смерти – от той жизни, которой мы живем. Но подошла ли она к концу, известно только Богу. Мне нужна любовь, похожая на сон, похожая на второе рождение, которая будет хрупкой, как только что появившийся на свет младенец.

Урсула слушала внимательно, но в то же время пропускала все, что он говорил, мимо ушей.

Она, казалось, сначала понимала, о чем он говорил, а затем отказывалась понимать. Она хотела слушать, но не участвовать в разговоре. Ей не хотелось делать то, что он пытался заставить ее сделать, ей хотелось руководствоваться только своими желаниями.

– А разве любовь должна быть похожа на сон? – грустно спросила она.

– Не знаю. В то же время она похожа и на смерть – а я очень хочу умереть в этой жизни – и одновременно она дает человеку гораздо больше, чем жизнь. Ты появляешься на свет, подобно нагому младенцу из утробы матери, – все старые преграды и старое тело исчезает, тебя окружает новый воздух, который ранее ты никогда не вдыхал.

Она слушала и пыталась понять. Ей, как и ему, было отлично известно, что слова сами по себе ничего не значат, они всего лишь жест, всего лишь устраиваемая нами пантомима. И душой она поняла смысл его пантомимы и отшатнулась, хотя желание и бросало ее вперед.

– Но, – мрачно сказала она, – разве ты не говорил, что тебе нужна вовсе не любовь, а что-то более широкое?

Он смущенно обернулся. Ему всегда было неловко, когда ему приходилось что-то объяснять. А сейчас это нужно было сделать. Куда бы ты ни шел, если хочешь двигаться вперед, придется прокладывать себе путь. Иметь какие-то соображения и высказать их вслух, значит, проложить себе путь сквозь стены темницы подобно тому, как рождающийся младенец прокладывает себе путь из матки. С каждым новым движением он теперь выбирался из старой оболочки, – намеренно, сознательно, страстно борясь за свою свободу.

– Мне не нужна любовь, – сказал он, – я не хочу ничего о тебе знать. Я просто хочу высвободиться из своей сущности, хочу, чтобы ты также отказалась от своей и чтобы мы обнаружили, насколько мы разные. Не стоит говорить, если ты устал и разбит. Ты начинаешь говорить как Гамлет, и слова кажутся неискренними. Верь мне только тогда, когда услышишь в моем голосе толику здоровой гордости и равнодушия. Когда я начинаю впадать в серьезный тон, я сам себе противен.

– Почему ты не хочешь быть серьезным? – поинтересовалась она.

Он подумал, а затем угрюмо ответил:

– Не знаю.

Они пошли дальше молча, как два чужих человека. Он был растерян и витал мыслями где-то далеко.

– Разве не странно, – начала она, внезапно кладя руку на его локоть в порыве нежности, – что мы всегда говорим только в таком ключе! Похоже, в некотором смысле мы друг друга любим.

– О да, – согласился он, – даже слишком сильно.

Она беззаботно рассмеялась.

– Тебе бы хотелось, чтобы все было по-твоему, так? – поддразнила она его. – Ты никогда бы не смог принять это на веру.

Его настроение изменилось, он тихо рассмеялся, повернулся и обнял ее прямо посреди дороги.

– Да, – мягко сказал он.

Он медленно и ласково целовал ее лицо и лоб с нежной радостью, безгранично ее удивившей, но не пробудившей в ней ответа. Это были легкие и слепые, идеально-спокойные поцелуи. Она отстранялась от них. Они походили на странных мягких и неживых мотыльков, вылетающих из темных глубин ее души и садившихся ей на лицо. Ей стало неловко. Она отшатнулась.

– По-моему, кто-то идет, – сказала она.

Они посмотрели на темную дорогу и пошли дальше, в Бельдовер. И внезапно, чтобы он не счел ее глупой скромницей, она остановилась и крепко обняла его, притянула к себе и осыпала его лицо крепкими, острыми поцелуями страсти. Хоть он и становился другим человеком, но старая кровь взыграла в нем.

«Не так, ну не так», – ныло его сердце, когда нежность и восхитительное оцепенение прошло, уступив место волне страсти, поднявшейся по телу и бросившейся ему в лицо в момент, когда она притянула его к себе. И вскоре в нем пылало только прекрасное безжалостное пламя страстного желания. Но под покровом этого пламени по-прежнему таилось мучительное томление по чему-то совершенно иному. Но и это вскоре прошло: теперь он воцарился в ней с сильнейшей страстью, которая возникла так же неизбежно, как приходит смерть, и также беспричинно.

Вскоре, удовлетворенный и разбитый, насытившийся и уничтоженный, он проводил ее и пошел домой, погрузившись в древнее пламя жаркой страсти, скользя во мраке подобно расплывчатой тени. Ему послышалось, что где-то там, в темноте, далеко-далеко, кто-то рыдал. Но какое ему было до этого дело? Разве было для него что-нибудь важнее этого восхитительного, наполняющего душу ликованием ощущения физической страсти, которая заново разгорелась в нем, как разгорается из углей костер? «Я чуть было не стал ходячим мертвецом, самым настоящим пустозвоном», – ликуяще восклицал он про себя, проклиная другое существо в себе. Но несмотря на то, что оно стало совсем маленьким и забило очень глубоко, оно все еще было живо.



Когда он вернулся, люди все так же прочесывали озеро. Он остановился у воды и слушал, как Джеральд что-то говорит. Грохот воды сотрясал ночную тишину, луна светила ярко, холмы за озером потонули во мраке. Озеро постепенно мелело. В воздухе запахло сыростью обнажившихся берегов.

А вверх, в Шортландсе, свет горел во всех окнах, говоря, что никто в доме не ложился спать. На пристани стоял старый доктор, отец пропавшего молодого человека. Он не говорил ни слова и только ждал. Биркин тоже стоял и наблюдал за происходящим, и вскоре одна из лодок привезла Джеральда.

– Ты еще здесь, Руперт? – спросил он. – Никак не можем их найти. Видишь ли, там, под водой, чрезвычайно крутые откосы. Вода залегает между двумя отвесными склонами, к тому же дно разветвляется, поэтому Бог знает, куда их могло унести течение. Все не так просто, как с ровным дном. Вот и не знаешь, даст что-нибудь прочесывание или нет.

– А тебе обязательно трудиться самому? – осведомился Биркин. – По-моему, тебе лучше отправиться в постель.

– В постель! Боже мой, и ты думаешь, я смогу уснуть? Вот найдем их, тогда я отсюда и уйду.

– Но люди найдут их и без твоего участия – чего ты уперся?

Джеральд взглянул на Биркина, ласково положил руку на его плечо и произнес:

– Не беспокойся за меня, Руперт. Если о чьем здоровье и нужно подумать, так только о твоём, не о моем. Как ты себя чувствуешь?

– Сносно. Но ты же отнимаешь у себя жизнь – ты растрачиваешь самое лучшее, что в тебе есть. Джеральд помолчал, но вскоре сказал:

– Растрачиваю? А что еще можно с ней делать?

– Может, хватит уже? Ты насильно ввязываешься в этот кошмар и вешаешь самому себе на шею жернов, ужасные воспоминания. Уходи сейчас же!

– Жернов из ужасных воспоминаний! – повторил Джеральд. Затем он вновь любовно положил руку на плечо Биркина. – Боже, как красочно же ты изъясняешься, Руперт!

У Биркина упало сердце. Он до тошноты ненавидел свое умение красочно изъясняться.

– Брось все. Пойдем ко мне... – предложил он ему настойчивым тоном, каким обычно уговаривают пьяного человека.

– Нет, – хрипло отказался Джеральд, не снимая руки с плеча Биркина. – Большое спасибо, Руперт – с радостью найду к тебе завтра, если хочешь. Ты же все понимаешь, да? Я хочу дождаться конца. Но я обязательно приду завтра, обязательно. Я бы лучше поболтал с тобой, чем занимался чем-то другим, уверяю тебя. Я обязательно приду. Ты много для меня значишь, Руперт, даже представить себе не можешь, как много!

– Как же много я для тебя значу, если сам не могу этого представить? – раздраженно поинтересовался Биркин.

Он всем телом ощущал лежащую на своем плече руку Джеральда. И ему не хотелось спорить. Он просто желал, чтобы это неприглядное отчаяние оставило, наконец, его друга.

– Скажу тебе в другой раз, – хрипло произнес Джеральд.

– Пойдем со мной сейчас – я настаиваю, – сказал Биркин.

Повисло напряженное и искреннее молчание. Биркин спрашивал себя, почему его сердце билось так сильно. Затем пальцы Джеральда с силой впились в плечо Биркина, словно что-то сообщая ему, и он сказал:

– Нет, я доведу дело до конца, Руперт. Спасибо тебе, я понял, что ты хотел сказать. Мы с тобой совершенно нормальные люди, знаешь ли.

– Я-то может быть и нормальный, но вот про тебя такого не скажешь, раз ты тут слоняешься, – сказал Биркин. И пошел прочь.

Тела погибших удалось поднять только на рассвете. Диана крепко обвила руками шею молодого человека и задушила его.

– Она убила его, – сказал Джеральд.

Луна скатилась по небосклону и, в конце концов, зашла. Воды в озере стало в четыре раза меньше. Обнажились неприглядные глинистые склоны, пахшие сыростью и стоячей водой. Над восточным холмом занималась заря. Вода в канале продолжала грохотать.

Когда птицы свистом приветствовали наступившее утро, а холмы позади опустошенного озера озарились утренней дымкой, разрозненная процессия потянулась в Шортландс – люди несли на носилках тела погибших, Джеральд шел рядом, а позади, в полном молчании, седобородые отцы. В доме все были на ногах, ожидая вестей. Кто-то должен был пойти в комнату матери и все ей сообщить. Доктор же украдкой пытался вернуть к жизни своего сына, но вскоре силы его оставили.

В то воскресное утро жители всех близлежащих деревень взволнованно перешептывались.

Шахтеры и их домочадцы чувствовали себя так, словно эта трагедия коснулась их лично; они были потрясены и напуганы гораздо сильнее, чем если бы погиб кто-то из их среды. Такая трагедия, и в Шортландсе, самом знатном доме этого района! Одна из молодых хозяек, своевольная юная госпожа, без остановки танцевавшая на крыше парохода, утонула вместе с молодым доктором в самый разгар празднества! Куда бы шахтеры ни пошли в это воскресенье, разговоры были только про это несчастье. А во время воскресного обеда люди ощущали странный трепет. Казалось, ангел смерти кружит где-то поблизости, все чувствовали присутствие какой-то высшей силы. У мужчин были взволнованные, озабоченные лица, женщины смотрели серьезно, некоторые из них даже плакали. А детям всеобщее смятение поначалу даже нравилось. Воздух был перенасыщен чувствами, атмосфера была почти волшебной. Но все ли этим наслаждались? Всем ли пришлось по душе такая встряска?

Гудрун снедало неистовое желание побежать к Джеральду и утешить его. Каждую минуту она размышляла, как будет лучше всего утешить его, какими бы словами она могла поддержать его. Она была потрясена и напугана, но не переставала думать о том, как она будет держать себя с Джеральдом, как будет играть свою роль. Вот что возбуждало ее больше всего – как она сыграет свою роль.

Урсула была глубоко и страстно влюблена в Биркина, и все валилось у нее из рук.

Любые разговоры о несчастном случае были ей совершенно безразличны, однако ее отстраненность со стороны вполне могла сойти за беспокойство. Она как можно чаще пыталась остаться наедине с собой и страстно желала увидеть его вновь. Ей хотелось, чтобы он пришел к ней в дом, – на меньшее она бы не согласилась, он должен был прийти только сюда. Она ждала его. Она целый день не выходила из дома, ожидая, что вот-вот он постучит в дверь. Едва ли не каждую минуту она машинально выглядывала в окно. Он придет.

## **Глава XV**

### **Воскресный вечер**

День близился к концу, и жизненная сила капля за каплей вытекала из Урсулы, а вместо нее в душе девушки возникло чувство ужасной безнадежности. Ей казалось, что ее страсть умерла, истекая кровью, оставив вместо себя лишь пустоту. Она оцепенела, совершенно уничтоженная, и это ощущение было страшнее смерти.

– Пусть хоть что-нибудь произойдет, – говорила она себе, как будто это были последние минуты ее жизни и на нее внезапно нашло прозрение, – иначе я умру. Моя жизнь кончена.

Она сидела, подавленная, уничтоженная, погрузившись во мрак, который предвещал о скорой смерти. Она чувствовала, что ее жизнь с каждым мгновением приближалась к той самой черте,

за которой зияла бездна и с которой оставалось только, подобно Сафо<sup>29</sup>, прыгнуть навстречу неведомому.

Мысль о неминуемой гибели одурманивала ее. Каким-то загадочным образом ее чувства давали ей знать, что смерть близка. Всю свою жизнь она руководствовалась стремлением выполнить свое предназначение, но сейчас ее путь подходил к концу. Она познала все, что должно было познать, испытала все, что ей суждено было испытать, для нее сейчас настала та горькая минута зрелости, когда ей оставалось только упасть с ветки в объятия смерти. Следовало выполнить свое предназначение до конца, узнать, как закончится это приключение. А следующая ступенька вела за грань смерти. Значит, так тому и быть! И эта мысль принесла покой ее душе. В конце концов, если человек выполнил свое предназначение, он умирает с легким сердцем подобно тому, как переспевший фрукт падает на землю. Смерть – это величайший финал, она позволяет познать высший пик жизни. Смерть естественным образом продолжает жизнь. И пока мы еще живы, мы это знаем. Так стоит ли думать о том, что там, за гранью? Никому не удавалось заглянуть дальше крайней точки. Достаточно уже того, что смерть – это величайшее явление, венец всему. Стоит ли задаваться вопросом, что будет после, если она сама нам неведома? Так пусть мы умрем, ведь смерть – это величайшее явление, венчающее собой все остальное, это еще один великий ключевой момент нашей жизни. Если мы застынем в ожидании, если мы помешаем этому процессу, то так и будем неловко топтаться перед закрытыми воротами, забыв о собственном достоинстве. Перед нами, как перед Сафо, лежит безграничное пространство. Там и закончится наше путешествие. Хватит ли у нас мужества продолжать его, не вырвется ли у нас крик: «Нет, я не могу»? Мы будем продолжать двигаться вперед, навстречу смерти, какой бы та ни была. Если человек знает, каким будет его следующий шаг, разве может страшить его тот, что будет за этим? Зачем задаваться вопросом, что будет после? Мы знаем, каким будет следующий шаг. Это будет шаг в объятия смерти. «Я должна умереть, я должна быстро умереть», – думала про себя Урсула, словно в экстазе, и эта мысль отчетливо, спокойно и со сверхъестественной уверенностью отпечаталась в ее сознании. Но где-то в глубине ее существа, где царил мрак, поднимались волны горьких рыданий и безнадежности. Но на них не должно обращать внимание. Человек должен двигаться туда, куда ведет его несокрушимое присутствие духа, не следует останавливаться на полпути из-за страха. Никаких остановок, никакого малодушия. Если сейчас тобой владеет желание ступить в неизведанное, погрузиться в пучину смерти, разве можно лишить себя глубинных истин из-за подобных мелочей?

«Так пусть все закончится», – говорила она себе. Она приняла решение. Она не собиралась лишить себя жизни – нет, этого она никогда бы не сделала, это было так страшно и гнусно! Она просто знала, каким будет ее следующий шаг. А следующий шаг вел в безграничное пространство смерти. Так ли это? Или же...

Ее разум погрузился в забытие, она сидела у огня в какой-то полудреме. Но внезапно мысль возникла вновь. Темное безвоздушное пространство смерти! Сможет ли она погрузиться в него? О да, это ведь то же самое, что заснуть. Хватит с нее! До сих пор она терпела – ей удавалось выстоять. Теперь пришло время расслабиться, не нужно было больше сопротивляться.

В каком-то душевном экстазе она поддалась, уступила и ее окутал мрак. И, погружаясь во тьму, она чувствовала, как раздирают ее тело невыразимые смертные муки, как оно содрогается в глубинных, чудовищных спазмах разложения, приносящих страдание, которое не в силах вытерпеть ни одно человеческое существо.

«Неужели тело мгновенно чувствует то, что чувствует душа?» – задавалась она вопросом. И с ясностью, даруемой высшим знанием, она понимала, что тело – это всего лишь одно из проявлений духа, поскольку преобразование мирового духа есть также преобразование

---

<sup>29</sup> Сафо – древнегреческая поэтесса, которая, отвергнутая прекрасным Фаоном, бросилась со скалы в море.

физического тела. Но так будет только до тех пор, пока человек не задается целью, пока он не абстрагируется от биения этой жизни, не сосредоточится на одном и не останется таким навсегда – отрезанным от жизни, скованным своей собственной волей. Уж лучше умереть, чем жить по инерции, жить жизнью, в которой нет ничего, кроме повторения пройденного. Умереть – значит перейти в неведомое. Умереть – значит испытать радость, испытать радость при мысли о том, что ты отдаешься на милость стихии, которая гораздо обширнее привычного нашему рассудку мира, а именно абсолютному неведомому. Вот это и есть радость. Но стыдно и унижительно человеку жить, словно механизм, замкнувшись в себе усилием собственной воли, быть существом, оторванным от непознанного. В смерти же нет ничего позорного. Позорна только жизнь, каждое мгновение которой ничем не заполнено, которой человек живет только по инерции. Жизнь и в самом деле может стать постыдным унижением для человеческой души. Но смерть – это не позор. Смерть, которая есть безграничное пространство, нам никогда не удастся запятнать.

Завтра будет понедельник. Понедельник, начало еще одной школьной недели! Еще одной тягостной, бесплодной школьной недели, наполненной монотонными и отлаженными до автоматизма занятиями. Разве смерть не была бы намного желаннее? Разве она не во сто крат прекраснее и благороднее такой жизни? Жизни рутинной, лишенной глубинного смысла, утратившей всякую значимость. Как омерзительна жизнь, какой непередаваемый позор для человека жить в наше время! Гораздо пристойнее и чище было бы умереть. Эта до стыда унижительная рутинность бытия и ничтожность жизни по инерции выше человеческих сил. А в смерти, возможно, она сможет реализовать себя. Довольно. Разве это жизнь? На загруженных машинах не распускаются цветы, тот, чье существование, – сплошная рутина, не замечает неба, круговерть исключает созерцание пространства. А жизнь – это и есть сплошная круговерть, оторванное от реальности вращение по инерции.

От жизни нечего ожидать – она одна и та же во всех странах и у всех людей. Единственным выходом становится смерть. На мрачный небосвод смерти можно смотреть с восторгом, подобный тому, что ощущают дети, когда выглядывают из окна класса наружу, где царит полная свобода. Но ребенок становится взрослым и понимает, что душа заперта на замок в этом жутком, огромном здании под названием жизнь, из которого только один выход – смерть. Но какая отрада! Как приятно думать, что как бы человечество не старалось, ему не удалось овладеть царством смерти, уничтожить его. Море превратилось в смертоносную тропу и грязный торговый путь, его разодрали на клочки не хуже городской земли, каждый дюйм которой усыпан мусором. Небо тоже стало чьей-то собственностью, его поделили, и у каждого куска появился свой владелец. Была нарушена неприкосновенность воздуха – люди поднимались в него и вели в нем боевые действия. Они не пощадили ничего, повсюду выросли утыканные копьями стены и теперь осталось лишь ползти и ползти между ощерившимися стенами по жизненному лабиринту, униженно преклонив колени.

Но в огромном, мрачном, безграничном царстве смерти человечество потерпело крах. Хватит и того, что они, эти всеядные божки, натворили на земле. Но царство смерти смогло отразить их наступление, перед ее лицом они вдруг съеживались и обретали свой изначально пошлый и глупый вид.

Как прекрасна, как великолепна и безупречна смерть, с каким удовольствием можно предвкушать ее! В океане смерти можно будет смыть с себя всю ложь и позор, и грязь, в которых человек увяз здесь, на земле, окунуться в резервуар истинной чистоты и с радостью освежиться, и стать выше рассудочного познания, выше любых вопросов, выше любого унижения. Предвкушение совершенной смерти многое дает человеку. Как прекрасно, что осталась эта точка, этот идеальный, лишенный человеческого присутствия иной мир, о котором только и осталось сегодня мечтать!

Какова бы ни была жизнь, она не может лишить нас смерти, равнодушного, божественного небытия. Так давайте не будем мучать себя вопросами о том, что можно обрести в смерти и чего в ней обрести нельзя. Знание – это прерогатива разума, умирая же, мы лишаемся его, как

лишаемся всех человеческих качеств. Но радость, охватывающая нас при этом, компенсирует всю горечь знания и омерзительность нашей человечности. В царстве смерти мы перестаем быть людьми и лишаемся способности познавать. Вот что мы получаем после своей смерти и мы предвкушаем это, как старший сын предвкушает наследство, которое должно перейти к нему после смерти отца.

Урсула в забытьи тихо и одиноко сидела у камина в гостиной. Дети играли в кухне, все остальные отправились в церковь. Она же погрузилась в крошечную темноту собственной души.

Звон колокольчика привел ее в чувство; дети в радостной тревоге прибежали из кухни в комнату.

– Урсула, там кто-то пришел.

– Я знаю. Не глупите, – ответила она.

Она тоже была озадачена, почти напугана. Она с трудом заставила себя подойти к двери.

На пороге стоял Биркин, натянув плащ до самых ушей. Он все же пришел, пришел, когда она погрузилась в такие глубины. Она видела, как за его спиной темнеют дождливые сумерки.

– А, это ты, – вымолвила она.

– Я рад, что ты дома, – входя в дом, тихо сказал он.

– Все ушли в церковь.

Он снял плащ и повесил его на вешалку. Дети рассматривали его, выглядывая из-за угла.

– Билли и Дора, идите раздеваться, – сказала Урсула. – Мама скоро вернется, она огорчится, если увидит, что вы все еще не в постелях.

Дети, внезапно превратившись в послушных ангелочков, беспрекословно ушли. Биркин и Урсула прошли в гостиную.

Огонь догорал. Биркин посмотрел на Урсулу и изумился ее нежной и сияющей красоте, ее блестящим, широко распахнутым глазам. Стоя на некотором расстоянии от нее, он наблюдал за ней с замершим сердцем. Казалось, свет полностью преобразил ее.

– Чем ты сегодня занималась? – поинтересовался он.

– Ничем, просто сидела.

Он взглянул на нее. В ней появилась какая-то перемена. И в своих мыслях она была далеко от него. Она отчужденно сидела и ее лицо светилось ярким светом. Ни он, ни она не произнесли не слова, они сидели молча в мягком полумраке комнаты. Он чувствовал, что ему следовало бы уйти, что он не должен был приходить. Но ему не хватало решимости сделать первый шаг. Он был ей не нужен, она сидела, забывшись и витая мыслями где-то далеко.

И вдруг послышались детские голоса, застенчиво, тихо, с нарочитым волнением и робостью звавшие ее по имени:

– Урсула! Урсула!

Она поднялась с места и открыла дверь. На пороге, широко раскрыв глаза и с ангельскими личиками стояли облаченные в длинные ночные рубашки дети. Сейчас они вели себя очень хорошо, прекрасно справляясь с ролью послушных деток.

– Уложи нас спать! – громким шепотом попросил Билли.

– Вы сегодня просто ангелочки, – мягко сказала она. – Зайдите и скажите мистеру Биркину «спокойной ночи».

Босоногие дети застенчиво ступили в комнату. Билли широко улыбался, но его огромные голубые глаза клятвенно обещали, что он будет вести себя хорошо. Дора же поглядывала из-под копны светлых волос, но жалась сзади, словно маленькая лишенная души дриада<sup>30</sup>.

– Прощаетесь со мной? – спросил Биркин необычно тихим и ровным голосом.

Дора тут же упорхнула к двери, словно листок, подхваченный дуновением ветерка. Билли же с готовностью подошел медленными и неслышными шагами и подставил крепко сжатые губки

---

<sup>30</sup> Дриада – в греческой мифологии бестелесное существо, обитающее в дереве.



для поцелуя. Урсула смотрела, как полные мужские губы, собравшись в трубочку, нежно дотронулись до губ мальчика. Затем Биркин поднял руку и нежным ласковым движением прикоснулся к круглой, доверчивой щеке мальчика. Никто не произнес ни слова. Билли походил на ангелочка с картины или кроткого мальчика-служку, а Биркин, который смотрел на него сверху вниз, выглядел как высокий, суровый ангел.

– Ты хочешь, чтобы тебя поцеловали? – разорвала молчание Урсула, обращаясь к маленькой девочке. Но Дора бочком отошла в сторону, словно маленькая дриада, которая не позволяет к себе прикасаться.

– Пожелай мистеру Биркину «спокойной ночи». Ну же, он ждет, – сказала Урсула.

Но малышка только сделала шаг к двери.

– Глупенькая, глупенькая Дора! – сказала Урсула.

Биркин почувствовал в ребенке недоверие и враждебность. Но причину этого он так и не смог понять.

– Тогда отправляйтесь в постели, – сказала Урсула. – Идите, пока мама не вернулась.

– А кто послушает нашу молитву? – с беспокойством спросил Билли.

– А кого ты выбираешь?

– Тебя.

– Хорошо.

– Урсула?

– Что еще, Билли?

– Нужно говорить «кого ты хочешь»?

– Да.

– А что такое «кого»?

– Это винительный падеж от «кто».

Последовало задумчивое молчание, а затем доверчивое:

– Правда?

Биркин, сидя у камина, улыбнулся про себя.

Когда Урсула спустилась вниз, он сидел недвижно, опустив руки на колени. Он показался ей – такой неподвижный, нетронутый временем – ссутулившимся идолом, изваянием бога какого-то чудовищного религиозного культа. Он взглянул на нее и его лицо, бледное и призрачное, засветилось почти слепящей белизной.

– Тебе нехорошо? – спросила она, чувствуя отвращение, природу которого она не вполне понимала.

– Я об этом не задумывался.

– А разве нельзя знать, не задумываясь?

Он быстро окинул ее мрачным взглядом и увидел, что ей противно. Ее вопрос остался без ответа.

– Разве ты не можешь понять, хорошо ты себя чувствуешь или нет, не задумываясь об этом? – настаивала она.

– Не всегда, – холодно ответил он.

– По-моему, это просто чудовищно.

– Чудовищно?

– Да. Мне кажется, недопустимо иметь так мало связей с собственным телом, что нельзя даже понять, плохо ты себя чувствуешь или хорошо.

Он хмуро взглянул на нее.

– Я согласен, – сказал он.

– Так почему ты не лежишь в постели, если чувствуешь недомогание? Ты выглядишь бледным, как мертвец.

– Это оскорбляет твои чувства? – иронично осведомился он.

– Да, оскорбляет. Это совершенно отвратительно.

– А! Ну извини.

– К тому же идет дождь, и вечер совершенно мерзкий. Нет тебе прощения, что ты так пренебрежительно относишься к своему организму – тот, кто так мало внимания обращает на собственное тело, заслужил все эти страдания.

– Так мало обращает внимания на собственное тело, – машинально повторил он ее слова. Она умолкла на полуслове, и в комнате воцарилось молчание.

Остальные члены семьи вернулись из церкви – сначала вошли девочки, затем мать и Гудрун, а уже за ними и отец с сыном.

– Добрый вечер, – сказал, слегка удивившись, Брангвен. – Вы ко мне?

– Нет, – сказал Биркин, – пустяки, я зашел просто так. День выдался совершенно отвратительный и я подумал, что вы не будете против, если я зайду.

– День действительно сегодня выдался не самый хороший, – посочувствовала ему миссис Брангвен.

В этот момент сверху раздались детские голоса: «Мама! Мама!». Она повернула голову и негромко крикнула в пустоту:

– Я подойду через минуту, Дойси.

Затем она спросила Биркина:

– Скажите, а в Шортландсе все по-прежнему? Нет, – вздохнула она, – бедные они бедные, конечно же, ничего нового.

– Полагаю, сегодня вы провели там весь день? – поинтересовался отец.

– Джеральд зашел ко мне выпить чаю и я проводил его. По-моему, в их доме царит нездоровая атмосфера, все его обитатели настроены несколько истерично.

– Мне казалось, что эти люди не так уж и сильно горюют, – сказала Гудрун.

– Или слишком сильно, – ответил Биркин.

– Ах да, конечно же, – злорадно подхватила Гудрун, – либо одно, либо другое.

– Им всем кажется, что они должны вести себя согласно какому-то надуманному своду правил, – сказал Биркин. – А по-моему, если у тебя горе, то лучше закрыть лицо руками и спрятаться за закрытыми дверями, как было принято в старые дни.

– Разумеется! – запальчиво воскликнула, вспыхнув румянцем, Гудрун. – Что может быть отвратительнее такого показного горя – что может быть ужаснее и неправдоподобнее! Если уж и горе становится достоянием общественности и выставлено на всеобщее обозрение, то что же тогда называется тайной или личной жизнью?

– Вы совершенно правы, – сказал он. – Я умирал там со стыда, когда все ходили вокруг с фальшивым печальным видом, считая, что они не должны вести себя естественно, как обычные люди.

– Ну, – сказала миссис Брангвен, обидевшись на такие резкие слова, – не так-то просто пережить такую трагедию.

И она поднялась наверх к детям.

Биркин остался еще на несколько минут, а затем ушел. После его ухода Урсула так сильно возненавидела его, что ей показалось, что жгучая ненависть превратила ее мозг в колющий кристалл. Все ее существо, казалось, заострилось и постепенно превратилось в самую настоящую стрелу ненависти. Она не могла понять, что вызвало в ней такой силы эмоции. Оно, это острое и не имеющее границ чувство, эта совершенная, ясная, неподвластная разуму ненависть просто в один момент захлестнули ее. Девушка не могла и подумать о таком, она совершенно вышла из себя. Это было словно наваждение. Она чувствовала себя одержимой. Эта жалящая ненависть к нему пылала в ней несколько дней. Она была сильнее всех эмоций, которые Урсуле когда-либо доводилось испытать. Своей силой она выбросила девушку из привычного мира в какое-то ужасное пространство, где все, на чем держалась ее прежняя жизнь, утратило свой смысл. Урсула потерялась и запуталась, и на этом ее прошлая жизнь закончилась.

Сила ее ненависти совершенно не поддавалась разумному объяснению, она была иррациональной. Урсула не понимала, за что она так ненавидит его, ее ненависть была

абсолютно абстрактной. В ее голове вдруг пронеслась мысль, пригвоздив ее к месту, что ее чувства настолько изменились. Он превратился во врага, изысканного, словно бриллиант, и такого же несокрушимого и единственного в своем роде, средоточием всего, что вызывало у нее неприязнь.

Она вспомнила его лицо, бледное и крайне изможденное, его глаза, в которых светилась мрачная, несокрушимая воля и уверенность в себе, и дотронулась до своего лба, словно желая проверить, не сошла ли она с ума – так преобразило ее душу белое пламя жесточайшей ненависти.

Она, ее ненависть, была вечной, Урсула ненавидела Биркина не за то или это; она больше не хотела иметь с ним ничего общего, она жаждала оборвать все связи, объединяющие их. Ее чувство было предельным, его было невозможно описать словами, оно было исключительным и не походило ни на что другое. Казалось, он, словно пучок света, сосредоточил в себе суть враждебности, и этот пучок света не только уничтожал ее, но и отрицал ту Урсулу, которой она была раньше, упразднял весь ее мир. Он был в ее глазах жирной чертой, перечеркивающей всех и вся, странным, уникальным существом, которое своим существованием ввергало ее в небытие.

Когда она узнала, что он опять слег, ее ненависть стала на несколько порядков сильнее, если только такое возможно. Это чувство озадачивало ее и превращало в пустое место, но девушка ничего не могла с этим поделать. Она ничего не могла поделать с охватившим ее чувством, которое сделало ее другим человеком.

## **Глава XVI**

### **Как мужчина мужчине**

Он болел и недвижно лежал в постели, все в этой жизни ему опостылело. Он знал, что сосуд, в котором теплилась его жизнь, мог вот-вот дать трещину. Но он также знал, что он был невероятно крепким и прочным. И ему было все равно. В тысячу раз лучше было попытаться счастья в смерти, чем мириться с жизнью, жить которой не хотелось. Однако самым лучшим вариантом было бы продолжать борьбу, бороться до тех пор, пока эта жизнь не будет приносить удовлетворение.

Он знал, что Урсула справлялась о его здоровье. Он знал, что его жизнь была в ее руках. Но он скорее совсем отказался бы от жизни, чем согласился на ту любовь, которую она предлагала. Любовь в ее, устаревшем, понимании казалась ему страшными оковами, некоей повинностью. Он не понимал, что порождало эти чувства, но уже от одной мысли о том, чтобы полюбить, связать себя брачными узами, родить детей, о том, чтобы прожить жизнь рядом с другим человеком в ужасном замкнутом мирке, удовлетворяясь домашним очагом и супружеским счастьем, он покрывался холодным потом.

Ему требовалось что-то более чистое, более откровенное, более холодное. Пылкая ограниченность интимных отношений между мужчиной и женщиной бросала его в дрожь. То, как женатые люди закрывают за собой двери и замыкаются в своем единственно возможном союзе друг с другом, пусть даже этот союз основан на любви, не вызывало у него ничего, кроме крайней гадливости. Таких пар, недоверчиво смотрящих на мир, попарно запирающихся от остальных в своих домах или комнатах, целое сообщество.

В этом сообществе дальнейшая жизнь невозможна, здесь нет места порывам, здесь не допускаются бескорыстные отношения – здесь обитают только супружеские пары, настоящий калейдоскоп пар, отрезанные от мира отступники, бессмысленно повязанные друг с другом узами брака люди. Нет, беспорядочные связи были в его глазах еще большим злом, чем брак, а

не узаконенную любовь он считал еще одним способом соединения двух людей, реакцией на законные брачные узы. Однако эта реакция была еще скучнее самого стимула.

В целом он питал неприязнь к сексу, поскольку он чрезмерно ограничивал человека. Именно секс превращал мужчину в одну половинку целого, а женщину – в другую. Биркин же хотел быть единым завершённым целым и чтобы его женщина была такой же. Ему хотелось, чтобы секс стал одним из рядовых человеческих желаний, чтобы его рассматривали как функциональный процесс, а не как реализацию своих возможностей. Он верил, что секс – это те же самые брачные узы. Но он хотел преодолеть его границы, ему требовался такой союз, в котором бы мужчина был личностью, и женщина была бы личностью, который был бы заключен между двумя абстрактными сущностями, обуславливающими свободу друг друга, уравнивающими друг друга как два полюса одного магнита, как два ангела или два демона.

Он так хотел быть свободным, хотел, чтобы его не мучила потребность слиться с другим человеком, не терзало неудовлетворенное желание. Его желания и потребности должны удовлетворяться естественным образом, без этой пытки, подобно тому, как человек, которого мучает жажда, бессознательно утоляет ее, лишней раз не задумываясь о ней – ведь вокруг столько воды! Биркин хотел чувствовать себя с Урсулой так же свободно, как и с самим собой, оставаться цельным существом с незамутненным и холодным сознанием, и одновременно желал, чтобы между ними, как между разными полюсами, существовало равновесие. Слияние, тискание, путаница, присущие любви, были ему в высшей степени неприятны.

Он считал, что женщины – настоящие чудовища, что они все время цепляются за мужчин, страстно желая получить власть над чем-нибудь, что в любви у них проявляется жажда самоутверждения. Женщине нужно заполучить, овладеть, а потом постоянно контролировать, подчинять себе. Все должно принадлежать ей, Женщине, Великой Матери мироздания, из которой все начиналось и к которой, в конечном итоге, все должно вернуться.

Эта мысль о Великой Матери, о том, что все в мире принадлежит ей в силу того, что оно произошло из ее чрева, привела его в безумную ярость. Мужчина принадлежит ей, потому что она родила его. Мать Скорбящая породила его, и теперь Великая Мать требовала его обратно – требовала отдать ей душу, тело, секс, предназначение и все остальное. Великая Мать вызывала в нем ужас, пробуждала отвращение.

Она, эта женщина, эта Великая Мать, вновь вознеслась высоко. Разве Гермiona не живое тому подтверждение? Гермiona, смиренная, покорная, – все время была самым настоящим воплощением Скорбящей Матери, с ужасным, коварным высокомерием и свойственной только женщинам тиранией требующей назад свое, требующей назад мужчину, порожденного ею в страданиях. Этими страданиями и унижениями она, словно цепями, сковывала своего сына, она превращала его в своего вечного узника.

А Урсула, Урсула была такой же – или, скорее, она представляла обратную сторону медали. Она тоже вела себя как чудовищная, высокомерная хозяйка жизни, как пчелиная матка, от которой зависят все остальные. Он видел в ее глазах желтые искры, он чувствовал, с какой неподражаемой самоуверенностью она присваивает себе право превосходства над другими. Она и сама об этом не подозревала. Она с готовностью преклонила бы колени перед мужчиной. Но только в том случае, если бы была абсолютно уверена в этом мужчине, если она могла боготворить его, как женщина боготворит собственного младенца, – зная, что он принадлежит ей без остатка. И сознание того, что он принадлежит женщине, было для него невыносимо. Мужчину всегда рассматривали, как отколовшуюся от женщины часть, а роль все еще ноющего рубца в месте разрыва досталась сексу. Мужчину нужно соединить с женщиной, только тогда он найдет свое место в этом мире и обретет целостность.

Но так ли это? Почему мы, мужчины и женщины, должны считать себя осколками одного целого? Ведь все обстоит иначе. Мы никакие не фрагменты одного целого. Когда мы отдаляемся друг от друга, наша сущность обретает чистоту и свойственные ей черты, оставляя позади все примеси. Секс – это оставшиеся в нас прежние примеси, это то, что не разложилось

на составляющие. Страсть же – это дальнейшее расслоение смеси, при котором все мужское перетекает в существо мужчины, а все женское достается женщине, и так продолжается до тех пор, пока оба не станут чистыми и цельными, подобно ангелам. Секс больше не может смешать две сущности, и они, словно две звезды, уравниваются друг другом.

В старые времена, до того как появилось понятие пола, мы все были перемешаны, каждый представлял собой смесь. Процесс выделения отдельных сущностей привел к великому противопоставлению полов. Все женское отходило в одну сторону, все мужское в другую. Но и даже тогда разделение не было конечным. А теперь наш жизненный цикл завершен. Теперь должен наступить новый день, когда каждый из нас превратится в отдельную сущность и сможет реализовать себя в своем различии. Мужчина будет только мужчиной, женщина – только женщиной, и они будут четко противопоставлены. Больше не будет этого отвратительного слияния, жертвенности любви, делающей людей не теми, кто они есть. Будет существовать только абстрактная двойственность двух полюсов, каждый из которых не будет загрязнять другой. В каждом на первое место выйдут индивидуальные особенности, секс отойдет на второй план, но они будут идеально уравнивать друг друга. Каждый человек – это единичная, отдельная сущность со своими собственными законами. Мужчина полностью свободен, женщина тоже. Каждый примет отличия другого.

Такие вот мысли посещали Биркина во время болезни. Он любил иногда серьезно поболеть и отлежаться в постели. При этом он очень быстро поправлялся и его мысли становились четкими и ясными.

Как-то раз Джеральд зашел навестить его.

Мужчины питали друг к другу глубокое, острое чувство.

Взгляд Джеральда быстро и беспокойно скользил вокруг, в его поведении проглядывала напряженность и нетерпеливость, казалось, он собирался с силами, чтобы претворить в жизнь какой-то замысел. Он был одет в черное, как того требовали традиции, поэтому выглядел официально, привлекательно и *comme il faut*. Его волосы были настолько белокурыми, что казались почти белыми, точно осколки света, лицо было пронизательным и румяным, а тело, казалось, было переполнено ледяной энергией.

Джеральд действительно любил Биркина, хотя никогда не верил в него. Биркин был слишком иллюзорным созданием – умным, капризным, восхитительным, но ему не доставало практической сметки. Джеральд чувствовал, что его собственные истины были более здравыми и безопасными. Биркин, этот удивительный призрак, был великолепным, но, в конце концов, нельзя же принимать его всерьез, нельзя же считать его настоящим мужчиной из настоящего мужского мира.

– И чего это ты опять слег? – заботливо спросил он, беря больного за руку. Из них двоих именно Джеральд опекал Биркина, именно его физическая сила становилась для последнего надежным убежищем.

– Наверное, это расплата за мои грехи, – ответил Биркин, иронично улыбаясь.

– За грехи? Да, пожалуй, что так. Нужно меньше грешить и больше следить за своим здоровьем.

– Ну так научи меня, как.

Он посмотрел на Джеральда насмешливым взглядом.

– Ну а как твои дела? – поинтересовался Биркин.

– Мои дела? – Джеральд взглянул на Биркина и когда увидел, что тот говорит совершенно серьезно, его взгляд потеплел.

– Не думаю, что что-то изменилось. Я не представляю, каким образом в моей жизни может что-то измениться. Меняться-то нечему.

– Полагаю, что дела твои идут так же успешно, как и раньше, и ты все так же пренебрегаешь потребностями своей души.

– Все верно, – сказал Джеральд. – Что касается бизнеса, ты абсолютно прав. А вот сказать того же про душу не могу, это точно.

– Разумеется.



- И ты не ждешь, что я тебе это скажу? – рассмеялся Джеральд.
- Нет. А как все остальные твои дела, кроме бизнеса?
- Остальные? Это которые? Не могу тебе сказать, я не понимаю, на что ты намекаешь.
- Нет, понимаешь, – сказал Биркин. – Тебе грустно или весело? А как насчет Гудрун Брангвен?
- А что с ней такое? – на лице Джеральда появилось смущение. – Ну, – добавил он, – я не знаю. Могу только сказать, что когда я последний раз ее видел, она дала мне пощечину.
- Пощечину! Это за что же?
- Этого я тебе тоже не могу сказать.
- Неужели! Но когда это произошло?
- В ночь праздника – когда утонула Диана. Она погнала скот вверх по холму, а я пошел за ней – помнишь?
- Да, помню. Но почему она так поступила? Надеюсь, ты ее об этом не просил?
- Я? Нет, не думаю. Я просто сказал ей, что опасно гонять этих шотландских коров – а так оно и есть. Она же обернулась ко мне и заявила: «Полагаю, вы думаете, что я боюсь вас и ваших коров, да?» Когда я спросил ее, почему она так думает, она вместо ответа ударила меня по лицу тыльной стороной ладони.
- Биркин живо рассмеялся, точно эта новость была ему необычайно приятна. Джеральд бросил на него удивленный взгляд и тоже рассмеялся, со словами:
- В то время мне было не до смеха, уверяю тебя. Никогда еще в своей жизни я не был настолько ошарашен.
- И ты не рассердился?
- Рассердился? Думаю, да. Я мог убить из-за пустяка.
- Хм! – выдохнул Биркин. – Бедная Гудрун, как же она будет потом страдать, что настолько себя выдала!
- Он испытывал неподдельный восторг.
- Будет страдать? – спросил Джеральд, который тоже поддался этому веселью.
- Мужчины лукаво и весело улыбались.
- Уверен, и еще как; вспомни, какая она застенчивая.
- Это она-то застенчивая? Тогда что заставило ее так поступить? Потому что я-то думаю, что это было совершенно непреднамеренно и совершенно неоправданно.
- Полагаю, это был минутный порыв.
- Да, но в чем причина этого порыва? Я же ничего ей не сделал.
- Биркин покачал головой.
- Думаю, в ней внезапно проснулась Амазонка.
- Ну, – ответил Джеральд, – я бы предпочел, чтобы это была Ориноко.
- Они оба рассмеялись этой неудачной шутке. Джеральд вспоминал слова Гудрун о том, что победа останется за ней. Но что-то заставило его сдержаться и не рассказывать об этом Биркину.
- И это вызывает у тебя отвращение? – спросил Биркин.
- Вовсе нет. Плевал я на все это.
- На мгновение он замолчал, а затем, смеясь, добавил:
- Нет, я посмотрю, чем это закончится, обязательно посмотрю. Через некоторое время спустя она попросила у меня прощения.
- Вот как? И с того вечера вы не виделись?
- Лицо Джеральда затуманилось.
- Нет, – сказал он. – Мы были... сам можешь представить, что мы пережили с того вечера, когда случился несчастный случай.
- Да. Все успокаивается?
- Не знаю. Разумеется, для нас это было потрясением. Но, по-моему, матери совершенно все равно. Я и правда думаю, что она не обратила на это никакого внимания. И вот что интересно, она всегда отдавала всю себя детям – все остальное было для нее неважным, только дети имели

для нее значение. А сейчас она совершенно равнодушна к происходящему, точно это случилось с одним из слуг.

– Правда? А тебя это расстраивает?

– Это потрясение. Но если честно, я не особенно переживаю. Я не чувствую разницы. Нам всем придется умереть и, похоже, нет никакой разницы, умер ты или ты все еще жив. Понимаешь, я не чувствую горя. Только равнодушие. И я не могу понять, почему это так.

– Тебе все равно, умрешь ты или нет? – спросил Биркин.

Джеральд взглянул на него глазами, голубыми, как оружейная сталь. Он чувствовал неловкость и одновременно безразличие. Но самом деле, ему было в высшей степени не безразлично и при этом еще и страшно.

– О, – сказал он, – я не хочу умирать, почему я должен этого хотеть? Но меня это никогда не волновало. Я не сталкивался с этим лицом к лицу. Понимаешь ли, меня это совершенно не интересует.

– *Timor mortis conturbat me*<sup>31</sup>, – процитировал Биркин и добавил: – Нет, теперь смерть больше не является поворотным моментом. Удивительно, но человек теперь и не задумывается о ней. Смерть превращается в еще один обычный день.

Джеральд пристально посмотрел на своего друга. Их глаза встретились, и между ними возникла невидимая нить взаимопонимания.

Джеральд прищурился и продолжал смотреть на Биркина холодно и беспристрастно, острым взглядом, который смотрел на определенную точку пространства и в то же время не видел ее.

– Если смерть перестала быть переломным моментом, что же такое эта точка, за пределами которой все меняется? – спросил он странно-задумчивым, холодным и ясным голосом.

Его слова звучали так, будто он понял, что его друг знает, каким будет его, Джеральда, ответ.

– Да, что же это за точка? – подхватил Биркин.

И в комнате воцарилось недоверчивое молчание.

– После того, как умрет наша душа, и до того момента, как мы растворимся в небытие, нам предстоит еще долгая дорога, – сказал Биркин.

– Я согласен, – ответил Джеральд, – но куда ведет эта дорога?

Казалось, он пытается заставить собеседника дать ему ответ, который он и сам прекрасно знал.

– Вниз по наклонной плоскости разложения личности – таинственного, всеобщего разложения. Деградация проходит через множество извечных стадий. После смерти мы продолжаем жить и двигаться вперед, постепенно вырождаясь.

Джеральд слушал его со слабой, еле заметной улыбкой на губах, которая не пропадала ни на минуту, – очевидно, ему было известно гораздо больше, чем Биркину; похоже, он знал об этом из первоисточника, он испытал это на собственном опыте, в то время как Биркин всего лишь наблюдал и делал выводы, не вполне ухватывая суть проблемы, подобравшись, тем не менее, к ней довольно близко. Но Джеральд не собирался раскрывать свое сердце. Если Биркин сможет добраться до его секретов, прекрасно! Если нет – помогать ему он не собирается. Джеральд хотел до конца оставаться темной лошадкой.

– Конечно, – внезапно начал он, меняя тему разговора, – единственный человек, кто наиболее болезненно ощутил, что произошло, это отец. Он этого не переживет. Для него мир рухнул. Теперь все его мысли заняты одной лишь Винни – он обязан спасти Винни. Он говорит, что ее нужно бы послать в школу, но она и слышать об этом не хочет, поэтому он этого никогда не сделает. Разумеется, она живет довольно странной жизнью. Все в нашей семье удивительным образом не умеют жить. Мы можем что-то делать, но так и остаемся на одном месте. Это удивительно – недостаток, передающийся по наследству.

– Ее нельзя посылать в школу, – сказал Биркин, у которого появилась новая идея.

– Я знаю. Но почему?

---

<sup>31</sup> Страх смерти охватил меня (из католической заупокойной службы). (лат.)

– Она странная девочка – особенная девочка, возможно, еще более особенная, чем ты сам. По моему мнению, особенных детей не следует отсылать в школы. Там должны учиться только совершенно заурядные дети – мне так кажется.

– А я склоняюсь к совершенно противоположному мнению. Возможно, она станет более нормальной, если ее отправить в школу, где она сможет подружиться с другими детьми.

– Видишь ли, она не сможет ни с кем подружиться. Ты же не смог, так? А она не пожелает даже притворяться. Она гордячка и одиночка, она по природе своей стоит в стороне. Если у нее натура одиночки, так зачем же толкать ее в стадо?

– Я не хочу никуда ее толкать. Но мне кажется, что школа пойдет ей на пользу.

– А тебе она пошла на пользу?

Джеральд угрожающе прищурился. Школа была для него форменной пыткой. В то же время он не задавался вопросом, должен или не должен человек проходить через эту пытку. Казалось, он верил в образование, обретенное через подчинение и муки.

– Я терпеть не мог школу, однако сейчас я понимаю, что должен был пройти через это, – сказал он. – Школа немного выровняла мой характер – а человек не сможет выжить, если в чем-то не станет похожим на остальных.

– Ну, – сказал Биркин, – я начинаю думать, что человек не выживет в этом мире, если только не будет во всем отличаться от других. Бесплезно пытаться встать в ряд, когда единственное, что ты хочешь сделать, – разрушить этот ряд. У Винни необычная натура, а для необычных натур должен существовать необычный мир.

– Да, но где его взять, этот твой необычный мир? – поинтересовался Джеральд.

– Создай его. Вместо того, чтобы отсекал куски от себя, пытаясь стать таким же, как все, отсекай куски от этого мира, чтобы подогнать его под себя. Если честно, два исключительных человека уже создают другой мир. Мы с тобой создаем другой, не похожий на этот, мир. Ты же не хочешь жить в таком же мире, в котором обитает твой зять. Тебе требуется нечто другое. Разве тебе хочется стать обыкновенным и заурядным? Вовсе нет. Ты хочешь быть свободным и уникальным и мечтаешь существовать в уникальном свободном мире.

Джеральд взглянул на Биркина проницательным многозначительным взглядом. Но он никогда бы в открытую не признался в своих чувствах. В некоторых вещах он разбирался гораздо лучше Биркина – гораздо лучше. Поэтому этот другой мужчина наполнял его нежной любовью, словно он был маленьким, невинным ребенком – необычайно умным, но безгранично наивным.

– И вместе с этим ты совершенно неоригинален – ведь ты считаешь меня чудачком, – язвительно сказал Биркин.

– Чудачком! – удивленно воскликнул Джеральд.

И тут, как замысловатый бутон раскрывается в цветок, его лицо раскрылось и на нем зажглось простодушное выражение.

– Нет, я никогда не считал тебя чудачком.

И он с загадочным видом изучал собеседника. Биркину так не удалось понять, о чем же говорил взгляд Джеральда.

– Я чувствую, – продолжал Джеральд, – что в тебе постоянно присутствует какая-то нерешительность – возможно, это из-за того, что ты неуверен в себе. Но что я-то никогда в тебе не уверен, это точно. Ты исчезаешь и меняешь свои очертания, как самый настоящий призрак.

Он посмотрел на Биркина и его взгляд проник в самое сердце. Биркин был удивлен и заинтригован. Ему казалось, что уж у кого-кого, а у него-то душа была. Он изумленно смотрел на Джеральда. А тот заметил, какими добрыми и красивыми были глаза его друга, какая была в них живая, порывистая доброта, привлекавшая его и в то же время разочаровывающая, потому что Джеральд ни на мгновение в нее не поверил. Он знал, что Биркин прекрасно проживет и без него, забыв про него без лишних страданий. Мысль об этой живой, молодой, животной непосредственной отстраненности постоянно преследовала Джеральда и наполняла его горьким скептицизмом. Такие серьезные и важные идеи в устах Биркина часто – ох, как часто – звучали лживо и лицемерно.

А в голове Биркина царили совсем иные мысли. Внезапно перед ним встал еще один вопрос – вопрос о возможности любви и вечного союза между двумя мужчинами. Такой союз был действительно необходим ему – всю свою жизнь он ощущал потребность в такой чистой и полной любви к мужчине. Да, он всегда любил Джеральда, но в то же время всегда отрицал это. Он лежал в постели и размышлял, а его друг сидел рядом, захваченный собственными мыслями.

– Знаешь, рыцари в Древней Германии имели обыкновение заключать «кровное братство», – сказал он Джеральду с совершенно новым радостным блеском в глазах.

– Это когда они делали на руках надрезы и прикладывали их друг к другу, чтобы кровь одного проникла в жилы другого? – спросил Джеральд.

– Да – и клялись быть верными друг другу, быть братьями по крови в течение всей жизни. Мы должны так сделать. Только без ран, это уже пережиток прошлого. Но мы с тобой должны поклясться любить друг друга – любить безоговорочно, глубоко и полно, не отступая назад. Он взглянул на Джеральда ясным взглядом, в которых только что обретенная мысль заглянула в счастливые выражение. Джеральд зачарованно смотрел на своего друга, и этот сковывающий, совершенно гипнотический интерес сразу же зародил в его сердце недоверие, желание разорвать эти оковы и ненависть к самому феномену притяжения.

– Когда-нибудь мы поклянемся друг другу в верности, хорошо? – попросил Биркин. – Мы поклянемся поддерживать друг друга, поклянемся в полной, несокрушимой верности, отдавать себя другому – и не делать ни шагу назад.

Биркин очень усердно подбирал слова, пытаясь выразить свои мысли. Но Джеральд его почти не слушал. Его лицо сияло какой-то светлой радостью. Он радовался, но сохранял свою внешнюю невозмутимость. Он не позволял чувствам вырваться на поверхность.

– Ну что, поклянемся друг другу в верности когда-нибудь? – спросил Биркин, протягивая Джеральду руку.

А Джеральд чуть коснулся протянутой ему изящной, теплой руки, как будто он боялся и не решался на крепкое пожатие.

– Пока, пожалуй, не стоит, я хочу во всем этом получше разобраться, – извиняющимся тоном произнес он.

Биркин наблюдал за ним. В его сердце закралось легкое разочарование и даже какое-то презрение.

– Ладно, – сказал он. – Но попозже ты должен сказать мне о своем решении. Ты понял, о чем я говорю? Никакой слезливой чувствительности. Только обезличенный союз, в котором партнеры сохраняют свою свободу.

Они замолчали. Биркин не сводил глаз с Джеральда. Сейчас он видел не физическое существо, не животное, которым обычно был для него Джеральд и которое обычно так нравилось ему, а именно человека – совершенного и в то же время ограниченного своим предназначением, приговоренного к определенной участи. Биркин после таких страстных столкновений с Джеральдом всегда начинал чувствовать в своем друге эту обреченность, некую гибельную половинчатость, которую сам он считал целостностью – и из-за этого на него накатывало презрение или даже скука. Но самую сильную неприязнь в Биркине порождало желание его друга держаться своих оков. Джеральд всегда оставался самим собой, настоящая беззаботная веселость была ему неведома. У него был свой пунктик, нечто вроде мономании.

На какое-то время в комнате воцарилось молчание. Потом Биркин, выждав, пока рассеется напряжение, возникшее между ними в результате их спора, сказал легким голосом:

– Почему бы не подыскать для Винифред хорошую гувернантку – кого-нибудь совершенно необычного?

– Гермiona Роддис предложила пригласить Гудрун, чтобы она научила девочку рисовать и лепить из глины. Ты ведь знаешь, как хорошо у Винни идут дела с пластилином. Гермiona утверждает, что у нее есть художественный талант.

Джеральд говорил обычным легкомысленно-оживленным голосом, словно ничего необычного не произошло. Но то, как держался Биркин, свидетельствовало, что он-то ничего не забыл.

– Неужели! Я и не знал. Если Гудрун согласится учить ее, это будет замечательно – лучше и быть не может – если у Винифред есть талант. Потому что у Гудрун он точно есть. А каждый талантливый художник может спасти художника в другом человеке.

– А мне казалось, что обычно люди искусства плохо между собой ладят.

– Возможно. Но только художник может сотворить для другого мир, в котором тот сможет жить. Если получится устроить это для Винифред, большего нельзя будет и желать.

– Ты считаешь, Гудрун может не согласиться?

– Не знаю. Она девушка довольно самолюбивая. Она не станет делать то, что, по ее мнению, будет для нее унижительным. А если и станет, то довольно скоро перестанет. Поэтому я не знаю, снизойдет ли она давать частные уроки, особенно здесь, в Бельдове. Но это было бы как раз то, что надо. У Винифред особая натура. И если вы дадите ей что-нибудь, что поможет ей реализовать себя, то это будет просто прекрасно. Она никогда не сможет жить обычной жизнью. Это сложно даже тебе, а она намного более чувствительна, чем ты. Ужасно думать, какой будет ее жизнь, если она не найдет способ выразить себя, реализовать свои силы. Ты сам видишь, что случается, если пустить все на самотек. Ты сам понимаешь, что на брак надеяться не стоит – взгляни, что случилось с твоей собственной матерью.

– Ты считаешь мою мать ненормальной?

– Нет! Я просто думаю, что ей хотелось чего-то большего в жизни, а вовсе не серых будней. А когда в ее жизни этого не случилось, в ней что-то надломилось.

– Но сначала она успела родить целый выводок ненормальных детей, – мрачно отозвался Джеральд.

– Не более ненормальных, чем все остальные, – ответил Биркин. – Даже у самого нормального человека внутри бушуют ужасные бури.

– Иногда мне кажется, что жизнь – это сплошное несчастье, – с бессильным гневом внезапно воскликнул Джеральд.

– Ну, – заметил Биркин, – а почему бы и нет? Пусть иногда тебе кажется, что твоя жизнь – это несчастье, потому что в остальное время она может быть чем угодно, но только не тем, что называют словом «несчастье». В твоей жизни очень много занимательных моментов.

– Меньше, чем тебе кажется, – сказал Джеральд, и по его лицу можно понять, что и ему есть чего желать.

Они замолчали, обратившись каждый к своим мыслям.

– Не понимаю, какая разница между обучением детей в школе и уроками Вин, – сказал Джеральд.

– Такая же, как между общественным деятелем и личным слугой. Сегодня знать, король и истинный аристократ – это народ и только народ. Человек может быть готов служить народу, но давать частные уроки...

– Я вообще не хочу никому служить...

– Понятное дело. И Гудрун, скорее всего, будет думать так же.

Джеральд несколько минут подумал, а затем сказал:

– В любом случае, отец не будет обращаться с ней как с прислугой. Он будет суетиться и выражать свою признательность.

– Так и должно быть. И так должны поступать все вы. Вы думаете, что такую женщину, как Гудрун Брангвен, можно нанять за деньги? Она занимает в обществе такое же положение, как и вы, – если не более высокое.

– Неужели? – воскликнул Джеральд.

– Да, а если у вас не хватает смелости понять это, то, надеюсь, она оставит вас с носом.

– Тем не менее, если она мне ровня, я бы не хотел, чтобы она работала в школе, поскольку я обычно не считаю учительниц людьми своего круга.



– Как и я, черт бы их побрал. Но разве человека можно считать учителем только потому, что он работает в школе, или проповедником, только потому что он читает проповеди?

Джеральд рассмеялся. От разговоров в таком ключе ему всегда становилось неловко. Заявлять, что он лучше других, потому что стоит выше их на социальной лестнице, ему не хотелось, а заявлять о своем превосходстве, основываясь на присущих ему внутренних качествах, он не собирался, поскольку он считал неприемлемым ставить в основу своей системы ценностей один только непреложный факт существования. Поэтому он решил взять за исходную точку шаткое положение о превосходстве над другими в силу своего общественного положения. А Биркин как раз стремился заставить Джеральда согласиться с тем, что человеческие существа отличаются друг от друга именно в силу различия их внутренних качеств, чего он, Джеральд, делать совершенно не собирался. Это было против его социальной гордости, против его принципов. Он поднялся и собрался уходить.

– Я совершенно забыл о делах, – улыбнулся он.

– Нужно было напомнить тебе раньше, – отозвался Биркин с усмешкой.

– Я ожидал, что ты скажешь что-нибудь в этом роде, – несколько натянуто рассмеялся

Джеральд.

– Правда?

– Да, Руперт. Мы, все остальные люди в этом мире, не можем и не должны становиться такими, как ты – иначе вскоре положение наше окажется не самым приятным. Когда человек воспаряет в небеса, он забывает о делах.

– Но наше теперешнее положение не так уж и плохо, – едко сказал Биркин.

– Дела обстоят не настолько хорошо, как ты думаешь. В любом случае, мы хотя бы не голодаем и не страдаем от жажды...

– ...и вполне удовлетворены жизнью, – добавил Биркин.

Джеральд подошел к кровати и с высоты собственного роста посмотрел на Биркина: шея того была обнажена, спутанные волосы красиво спадали на горячий лоб, в спокойном взгляде не было ни тени сомнения, а лицо светилось иронией. Джеральд, крепко стоящий на земле, переполненный энергией, не хотел уходить, так приковал его к себе его друг. У него не было сил уйти.

– Итак, – сказал Биркин, – до свидания.

Он вынул руку из-под простыни, улыбаясь и сверкая глазами.

– До свидания, – сказал Джеральд, крепко пожимая горячую руку друга. – Я еще вернусь. Там, на мельнице, мне тебя не хватает.

– Я приду через несколько дней, – сказал Биркин.

Глаза мужчин встретились. Взгляд Джеральда был острым, как у ястреба, но теперь в нем играли темный свет и невысказанная любовь. Биркин же, казалось, смотрел на друга из темных глубин тревожным непонятным взглядом, который в то же время был наполнен теплом, обволакивающим разум Джеральда подобно освежающему сну.

– Тогда до свидания. Тебе ничего не нужно?

– Нет, спасибо.

Биркин смотрел, как черная мужская фигура вышла за дверь, как исчезла белокурая голова, а затем повернулся на бок и погрузился в сон.

## **Глава XVII**

### **Угольный магнат**

А в Бельдове в жизни Урсулы и Гудрун наступило затишье. Урсуле казалось, что Биркин уже не занимал все ее помыслы, что теперь он опять стал для нее обычным человеком, что в ее мире

он перестал быть важной фигурой. У нее были свои друзья, свои занятия, своя жизнь. Она с радостью вернулась к прежним привычкам, едва ли не забыв про него.

Гудрун же, после того, как ее душа переполнилась острым ощущением близости Джеральда Крича, после того, как между ними установилась некая физическая связь, думала о нем с полнейшим равнодушием. Сейчас она мечтала о другом – о том, чтобы уехать из Англии и начать новую, не похожую на ее нынешнюю жизнь. Поэтому все ее существо говорило ей, что ей не стоит выстраивать серьезных отношений с Джеральдом. Будет гораздо проще и спокойнее, если их отношения не выйдут за рамки обычного знакомства.

Возможно, она отправится в Санкт-Петербург – там вместе с неким русским, увлекавшимся ювелирным делом, жила ее подруга, скульптор, как и сама Гудрун. В русских ее привлекало их умение жить чувствами и не иметь никаких обязательств. В Париж ей ехать не хотелось. Там было неинтересно и ужасно скучно. Она бы с радостью поехала в Рим, Мюнхен, Вену, в Санкт-Петербург или же в Москву. В Санкт-Петербурге и Мюнхене жили ее приятельницы.

У нее было немного своих денег. Домой она вернулась частично для того, чтобы сэкономить, теперь же она продала несколько своих работ, на выставках ее работы хвалили. Она знала, что если бы отправилась в Лондон, то стала бы «звездой». Но лондонская жизнь была ею давно изведена, поэтому ей хотелось чего-то другого. У нее было семьдесят фунтов, о которых никто ничего не знал. Она уедет сразу же как только получит ответ от своих подруг. Ведь, несмотря на видимую безмятежность и спокойствие, ей постоянно нужно было двигаться с места на место.

Однажды сестры зашли в один коттедж в Виллей-Грин купить меду. Тучная, бледная и остроносая миссис Кирк, проницательная, льстивая, с какими-то пронырливыми, чуть ли не кошачьими повадками, пригласила девушек войти в свою чересчур уютную, чересчур аккуратную кухоньку. Повсюду царил почти кошачий комфорт и чистота.

– Итак, мисс Брангвен, – сказала она своим несколько плаксивым, вкрадчивым голосом, – рады вы вернуться на старое место?

Гудрун, которой предназначались эти слова, сразу же возненавидела ее.

– Мне все равно, – отрезала она.

– Правда? Полагаю, здесь все сильно отличается от Лондона. Вам нравится бурлящая жизнь и большие величественные города. А вот некоторым из нас приходится довольствоваться Виллей-Грин и Бельдовером. И раз уж разговор зашел об этом, как вам наша школа?

– Как мне школа? – Гудрун медленно окинула ее взглядом. – Вы имеете в виду, считаю ли я ее хорошей?

– Да. Каково ваше мнение?

– Мое мнение, что это превосходная школа.

Гудрун держалась холодно и недоброжелательно. Она знала, что простые люди школу ненавидели.

– А, вот как! Про нее разные слухи ходят, то одно, то другое. Приятно узнать мнения тех, кто в ней работает. Не все же должны думать одинаково, правда? Вот мистер Крич из Хайклоуза отзывается о ней очень одобрительно. О, бедняга, боюсь, недолго ему осталось. Он очень плох.

– Ему стало хуже? – спросила Урсула.

– О да, с того момента, как они потеряли мисс Диану. От него осталась одна только тень.

Бедняга, вся его жизнь одна сплошная неприятность.

– Вот как? – с легкой иронией спросила Гудрун.

– Да, именно так. Нечасто встретишь такого милого и доброго джентльмена. А вот дети его не в него пошли.

– Наверное, они похожи на мать? – спросила Урсула.

– Очень похожи, – миссис Кирк немного понизила голос. – Когда она впервые появилась в наших краях, это была высокомерная и гордая леди – и еще какая! Стоять перед ней нужно было с опущенными глазами и под страхом смерти нельзя было к ней обращаться.

Лицо женщины стало жестким и хитрым.

– Вы знали ее в самом начале ее замужества?

– Да, знала. Я нянчила троих ее детей. Это были настоящие бандиты, маленькие дьяволята – а уж этого Джеральда кроме как извергом иначе и не назовешь – он уж в шесть месяцев был самым настоящим дьяволом.

В голосе женщины слышались издевательские и злорадные нотки.

– Вот как! – сказала Гудрун.

– Своевольный, деспотичный – одну няньку он довел, когда ему только было шесть месяцев. Он пинался, визжал и вертелся, словно демон. Я частенько отвешивала ему шлепка, когда он был совсем еще грудничком. О, ему бы пошло на пользу, если бы его почаще пороли. Но она не позволяла наказывать их – не-е-ет, она даже слышать об этом не хотела. Клянусь, мне вспоминается, как они с мистером Кричем ссорились. Когда у него лопалось терпение, когда они выводили его из себя и он больше не мог сносить их выходки, он запирался в кабинете и порол их. А она в это время металась взад и вперед, как тигрица, с убийственным выражением на лице. Она умела взглянуть на тебя так, что казалось, ее глазами смотрела сама смерть. Когда же дверь открывалась, она влетала в комнату, всплескивая руками: «Что ты делаешь с моими детьми, ты, изувер!» Она словно теряла рассудок. Мне кажется, он даже боялся ее; он и пальцем бы их не тронул, если бы они не выводили его из себя. А уж какая жизнь была у слуг! И мы только радовались, когда один из них получал то, что заслужил. Это были не дети, а сущее наказание.

– Неужели! – сказала Гудрун.

– Именно так. Ты не разрешаешь им бить посуду на столе, запрещаешь им таскать котенка на веревке, ты не даешь им того, чего они выпрашивают – а выпрашивают они абсолютно все, что угодно – тогда начинается вой, и вот уже идет их мамочка и говорит: «Что с ним такое? Что вы с ним сделали? Что такое, хороший мой?» А затем она набрасывается на тебя с таким видом, будто сейчас растопчет тебя. Но меня ей топтать не удавалось. Я единственная из всех могла сносить ее дьяволят – потому что сама-то она с ними возиться не желала. Нет, она не желала заниматься ими сама. А они хотели, чтобы было так, как они хотят и ничего не желали слушать. И каким же мастер Джеральд был красавцем! Я ушла, когда ему было год с половиной, кончилось мое терпение. Но я отвешивала ему шлепка, когда он был совсем еще грудничком, уж поверьте мне, и ничуть об этом не жалею...

Гудрун уходила в ярости, ненавидя и презирая эту женщину. Фраза: «Я отвешивала ему шлепка» приводила ее в бессильную, неистовую ярость. При этих чудовищных словах девушке хотелось задушить ту, кто их произнес. Они навеки впечатались в ее память и с этим приходилось смириться. Гудрун знала, что когда-нибудь она обязательно перескажет их Джеральду и посмотрит, как он их воспримет. И она ненавидела себя за такие мысли.

А в Шортландсе борьба длиною в жизнь подходила к своему завершению. Отец слег и медленно умирал. Ужасные внутренние боли лишили его возможности участвовать в каждодневных занятиях, оставив ему лишь обрывки сознания. Он все чаще погружался в молчание, он все хуже и хуже понимал, что происходит вокруг. Боль, казалось, заняла все его мысли. Он знал, что она существовала, что она опять вернется. Ему казалось, что какое-то существо притаилось в царившем внутри него мраке. Но у него не было ни сил, ни желания выслеживать его и пытаться разгадать, что оно из себя представляет. А там, во мраке, таилась великая боль, время от времени разрывавшая его на части, а затем вновь оставляющая его. Когда приступ начинался, он корчился, подчиняясь мукам без единого звука, когда же боль оставляла его в покое, он пытался не думать о ней. Раз она – порождение тьмы, пусть остается непознанной. Поэтому он никогда не признавал ее существование, разве только в самом потайном уголке души, где скопились все его скрытые страхи и тайны. А что касается всего остального – да, боль приходила, затем уходила, но все-оставалось по-прежнему. Она в некотором роде даже подстегивала его, придавала ему силы.

Тем не менее постепенно она стала сутью всей его жизни. Она постепенно высосала из него все силы, обескровила его, ввергла в темноту, она отлучила его от жизни и увлекла его во мрак. И

теперь, в этих сумерках его жизни, он мало что видел. Дела, работа, – все это полностью отошло от него. Его интерес к общественным проблемам пропал, точно его никогда и не было. Теперь даже семья больше не заботила его, – только иногда остатком сознания он припоминал, что такой-то и такая-та были его детьми. Но это уже был исторический факт, который для него уже не имел никакого значения. Ему приходилось напрягать силы, чтобы вспомнить, кем они ему приходятся. Даже его жена почти не существовала для него. Она была сродни черной мгле, сродни терзающей его боли. По какому-то странному совпадению темнота, в которой обитала его боль, и мрак, в котором находилась его жена, были для него едины. Его мысли и представления лишились четких очертаний и слились воедино, и теперь его жена и поглотившая его боль объединились против него в одну темную силу, с которой он не осмеливался встретиться лицом к лицу. Он не решался вытащить на свет зверя, притаившегося в его душе. Он знал только, что существовала некая тьма и в ней обитало некое существо, время от времени выбиравшееся наружу и питавшееся его плотью. Но он не осмеливался проникнуть туда и вытянуть гадину наружу. Он предпочитал не замечать ее существования. Только в его расплывчатых мыслях эта тварь представляла то в облике жены, разрушительницы, то в виде боли, разрушения, в виде мрака, у которого было два лица.

Жену он видел редко. Она все время проводила в своей комнате. Только изредка она спускалась, вытянув голову, и своим тихим ровным голосом интересовалась, как он себя чувствует. И он отвечал ей в своей привычной манере, устоявшейся за долгие тридцать лет: «Думаю, что все так же, дорогая». Но даже прикрываясь этой привычкой, он не переставал бояться ее.

Всю жизнь он был верен своим убеждениям, не отступая от них ни на шаг. И теперь он умрет, не сломавшись, не открыв самому себе, какие чувства он испытывает к ней в действительности. Всю жизнь он говорил: «Бедная Кристиана, у нее такой суровый нрав». С непреклонной волей он придерживался этого мнения, он заменил свою враждебность жалостью, и жалость стала ему и защитой, и оружием, которое ни разу не подвело. В душе он существовал ею, ведь она была такой яростной и беспокойной. Но сейчас эта жалость, как и нить жизни, истончилась и ее место заполнил страх, почти ужас. Однако он умрет до того, как расколется броня его жалости, подобно тому как погибает насекомое, когда его панцирь трескается. Только это и придавало ему силы. Остальные будут продолжать жить и узнают, как это – жить умирая, что представляет из себя этот ввергающий человека в пучины отчаяния процесс. Остальные да, но только не он. Он не позволит смерти восторжествовать над ним.

Он так упорно следовал своим убеждениям, он отдавал делу любви и заботы о ближнем всего себя. Возможно, этого ближнего он любил гораздо больше самого себя – то есть ушел гораздо дальше, чем предписывала заповедь. Но этот огонь – забота о благе людей – постоянно горел в его сердце, помогая ему преодолевать все невзгоды. Он был крупным работодателем, он владел множеством шахт. Но мысль о том, что во Христе он был един со своими рабочими, никогда не покидала его. Нет, он даже чувствовал себя ниже их, поскольку они через свою бедность и труд гораздо ближе него стояли к Богу. В душе он всегда верил, что именно его рабочие, его шахтеры держали в своих руках ключ к спасению. Чтобы стать ближе к Богу, он должен стать ближе к своим шахтерам, его жизнь должна быть сосредоточена вокруг них. Неосознанно он считал их своим кумиром, воплощением своего божества. Через них он поклонялся высшему, величайшему, сострадающему божеству человечества.

И все это время, подобно одному из ужаснейших демонов ада, его жена противостояла ему. Эта странная, похожая на хищную птицу женщина, обладающая чарующей красотой и холодностью ястреба, сначала, как пернатая узница, билась грудью о прутья его филантропии, но вскоре уже перестала трепыхать крыльями. Мир и обстоятельства были против нее и сделали ее клетку нерушимой; она не могла победить собственного мужа и он посадил ее в клетку. И поскольку она стала его пленницей, его страсть к ней всегда оставалась смертельно острой. Он всегда любил ее, любил до безумия. В ее клетке ей ни в чем не отказывали, ей было позволено абсолютно все. Но она почти потеряла рассудок. Ей, женщине дикого нрава, женщине

самолюбивой, было невыносимо видеть, как унижался ее муж, относящийся ко всем и каждому с мягкостью и любезной добротой. Бедняки не могли ее обмануть. Она знала, что кланяться приходят только самые гнусные из них; большинство, к счастью для него, были слишком гордыми, чтобы что-то просить, и слишком независимыми, чтобы идти с протянутой рукой. Однако скулящие, паразитирующие, омерзительные человеческие существа, приползавшие на коленях за подачками и сосущие теплую кровь народа подобно вшам, были и в Бельдове. Дикая ярость затмевала разум Кристианы Крич, когда она видела, как очередная пара бледнолицых просительниц в отвратительной черной одежде с раболепным и траурным видом ползла по дороге к дому. Ей хотелось спустить на них своих собак: «Эй, Рип! Эй, Ринг! Эй, Рейнджер! Ату их, ребятки, гоните их!» Но Кроутер, дворецкий, как и большинство слуг, подчинялся только мистеру Кричу. Тем не менее, когда ее мужа не было, она набрасывалась на раболепствующих просителей, словно волчица: «Что вам всем здесь нужно? Здесь для вас ничего нет. Вас вообще не должно быть на дороге. Симпсон, выведите их и проследите, чтобы ни один из них больше не проходил за ворота». И слугам приходилось подчиняться ей. А она стояла, глядя своим орлиным взором, как конюх с неуклюжим смущением прогонял мрачных просителей с дороги, как будто гнал перед собой поспешно удиравших от него упрямых кур. Но они стали узнавать у привратника, когда мистера Крича не было дома, и рассчитывали свои посещения. Сколько раз за первые годы их брака Кроутер мягко стучал в дверь: «К вам посетитель, сэр».

– Кто?

– Грокок, сэр.

– Что ему нужно?

Вопрос задавался нетерпеливым, но довольным тоном. Кричу нравилось, когда к нему обращаются за помощью.

– По поводу ребенка, сэр.

– Проводи его в библиотеку и скажи, чтобы больше не приходили после одиннадцати утра.

– Почему ты встаешь из-за стола? Пошли их прочь, – обычно коротко говорила его жена.

– Не могу. Я просто выслушаю, что он хочет мне сказать.

– Сколько их уже было сегодня? Может, вообще обеспечишь им свободный доступ в дом? Они скоро выживут меня и детей.

– Ты же знаешь, дорогая, что мне не трудно выслушать их. А если они и правда попали в беду, в таком случае, мой долг – помочь им выбраться из нее.

– Твой долг – пригласить всех крыс мира поглотать твои кости.

– Хватит, Кристиана, все совсем не так. Не будь бессердечной.

Но она внезапно вылетала из комнаты и бросалась в кабинет. Там сидели смиренные просители, выглядевшие так, будто пришли на прием ко врачу.

– Мистер Крич не сможет вас принять. Он не может принимать вас в такой час. Вы думаете, что он ваша собственность, что можете приходить, когда вам заблагорассудится? Вы должны уйти, вам здесь нечего делать.

Бедняки смущенно вставали. Но мистер Крич, бледный, с черной бородкой, с осуждением появлялся за ее спиной и говорил:

– Да, мне не нравится, что вы приходите так поздно. Я могу принимать вас по утрам, но не позже. Итак, Гиттенс, что случилось? Как твоя хозяйка.

– Э, ей совсем худо, мастер Крич, она почти что померла, да...

Иногда миссис Крич считала своего мужа некоей таинственной кладбищенской птицей, что питается горем других людей. Ей казалось, что он не мог найти себе места, пока кто-нибудь не выливал на него какую-нибудь жуткую историю, которой он упивался с печальным, сочувственным удовлетворением. Жизнь для него теряла свой смысл, если в ней не было какого-нибудь мрачного горя подобно тому, как теряет смысл жизни гробовщик, если никто вокруг не умирает.



Миссис Крич замкнулась в себе, не в силах жить в его мире, где повелевал раболепствующий народ. Мрачное одиночество тугим жгутом обвилось вокруг ее сердца, ее одиночество было страшным, но непреклонным, ее враждебность тихой, но не терявшей при этом своей силы, как у плененного ястреба. Шли годы, и нитей, связывающих ее с жизнью становилось все меньше и меньше, она словно погружалась в некий другой сверкающий мир и не осознавала, что происходила вокруг. Она бродила по дому и по прилегающей к нему местности, оглядывая все острым, но невидящим взглядом. Она редко говорила, с внешним миром ее ничего не связывало. Она даже перестала думать. Ее, подобно отрицательному полюсу магнита, занимало только яростное желание противостоять.

Она родила много детей, поскольку она никогда не возражала своему мужу ни словом, ни делом. Она просто не замечала его. Она подчинялась ему, позволяла ему делать с собой все, что ему хотелось, и как ему хотелось. Она походила на угрюмо подчиняющего ястреба.

Взаимоотношения между ней и ее мужем были бессловесными и таинственными, но они были глубокими и страшными, через них женщина и мужчина пытались разружить внутреннюю сущность друг друга. И он, торжествующий повелитель этого мира, постепенно лишался своей жизненной силы, вся живость вытекла из него, как вытекает кровь во время сильного кровотечения. Она неуклюже ходила по своей клетке, точно плененный ястреб, но внутри нее по-прежнему пылал ее яростный огонь, даже несмотря на то, что разум был разрушен.

Он до последнего, пока силы не оставили его, приходил к ней и заключал ее в свои объятия. Ужасный белый, разрушительный свет, горящий в ее глазах, только восхищал и возбуждал его. Но сейчас жизненные соки полностью вытекли из его жил, теперь, когда он стоял на пороге смерти, он боялся ее больше всего на свете. Но он всегда напоминал себе, как счастлив он был, и говорил, что с тех пор, как он узнал ее, он любил ее чистой и всепоглощающей любовью. Он думал о ней как о чистом, добродетельном существе; белое пламя, известное только ему одному, пламя ее страсти, он считал белоснежным цветком. Она вся была чудесным белоснежным цветком, пробуждавшим в нем бесконечное желание. Теперь он умирал, но все его идеи и понятия остались прежними. Они канут в небытие только когда дыхание покинет его тело. До того момента они останутся для него непреложными истинами. Только смерть сможет обнажить полноту всей лжи. А пока что она оставалась его снежным цветком. Он подчинил ее себе, и ее смирение казалось ему величайшей ее добродетелью, девственностью, которую он никогда не сможет отнять и которая завораживала его, подобно чарам.

Внешний мир был ей больше не нужен, но в своем внутреннем мире она была такой же непреклонной и непоколебимой. Она просто сидела в своей комнате, словно мрачный, нахохлившийся ястреб, не двигаясь и не думая. Ее дети, за которых она так яростно боролась в молодости, теперь мало что значили для нее. Для нее больше ничего не существовало, она жила в самой себе. Только Джеральд, сияющий Джеральд, все еще вызывал в ней проблески чувств. Хотя в последнее время, с того момента, как он возглавил компанию, он, как и все остальные, растворился в пустоте. В то время как умирающий отец напротив нуждался в его сопереживании. Между отцом и сыном всегда существовало некое противостояние. Джеральд боялся и презирал своего отца, и в детстве и юности пытался как можно реже сталкиваться с ним. Отец же часто испытывал к старшему сыну самую настоящую неприязнь, но отказывался признать себе в этом, боясь, что она завладеет всем его существом. Он старался обращать на Джеральда как можно меньше внимания, оставив его в покое.

Однако с тех пор, как тот вернулся домой и принял на себя управление компанией, показав себя прекрасным руководителем, отец, устав от тревог и треволнений внешнего мира, передоверил все своему сыну, тем самым показав, что все имущество переходит к нему, и поставив себя в довольно трогательную зависимость от своего молодого противника. Это мгновенно всколыхнуло волну острой жалости и привязанности в сердце Джеральда, постоянно омраченном презрением и невысказанной враждебностью. Потому что Джеральд ненавидел идею Заботы о Ближнем; в то же время она была сильнее его – ведь она подчинила себе его внутреннюю жизнь, и он не мог ничего с этим поделать. Поэтому он не мог не смириться с той

идеей, олицетворением которой был его отец, одновременно всем сердцем ненавидя ее. И спасения не было. Теперь, несмотря на глубокую и угрюмую неприязнь, он был во власти жалости, печали и нежности.

Отец, пробудив в Джеральде сострадание, обеспечил себе защиту. А вот для любви у него была Винифред. Она была его самой младшей дочерью, только ее, единственную из всех, он любил очень сильно – великой, жалостливой, покровительственной любовью умирающего человека. Он хотел постоянно защищать ее, окутывать ее теплом и любовью, полностью ограждать от всего. Если бы только он смог спасти ее, она никогда бы не узнала, что такое боль, печаль и страдание. Всю свою жизнь он был таким праведным, так неизменно расточал добросердечие и доброту! И эта любовь к девочке по имени Винифред была последним проявлением его праведности. Не все еще стало ему безразличным. Мир для него уходил в небытие по мере того, как истощались его силы. Не было больше бедных, сирых и убогих, которых нужно было защищать и утешать. Все для него перестало существовать. Сыновья и дочери больше не волновали его, они больше не накладывали на него бремя противоестественной ответственности. Все это ушло из его жизни. Он перестал за это цепляться и стал свободным. Остался только трусливый страх – боязнь жены, сидящей в странном бездумном молчании в своей комнате или подходившей к нему медленными, крадущимися движениями, вытянув голову вперед. Но он старался не думать об этом. Однако даже вся праведность его жизни не могла избавить его от внутреннего ужаса. Тем не менее он отбрасывал от себя эту мысль. Он никогда не сломается. Смерть наступит раньше.

К тому же есть Винифред! Если бы только он был уверен в ней, если бы только он мог быть уверен! С момента гибели Дианы и развития его болезни желание быть уверенным во всем, что касалось Винифред, превратилось почти в наваждение. Казалось, что даже умирая, он должен за кого-то беспокоиться, кого-то любить, осыпать заботой.

Она была странным, чутким, легко возбудимым существом, унаследовавшим от отца его темные волосы и тихое поведение, но она была обособленной, порывистой. Она казалась маленьким эльфом, настолько беззаботной она была. Она разговаривала и играла, как самый веселый и самый беспечный ребенок среди всех, она тепло и восхитительно нежно привязывалась ко многому – к отцу, но особенно к своим животным. Однако если она слышала, что ее любимого котенка Лео переехала машина, она свешивала на бок голову и отвечала со слабой, похожей на отвращение, гримаской на лице: «Правда?». После чего забывала про него. Она просто начинала испытывать неприязнь к слуге, который принес ей эту плохую весть и который хотел, чтобы она расстроилась. Она ничего не хотела знать, это было основой ее жизни. Она избегала свою мать и остальных членов семьи. Она обожала папочку, потому что он желал ей счастья и потому что в ее присутствии он, казалось, становился опять молодым и беззаботным. Ей нравился Джеральд, потому что он был всегда таким одиноким. Ей нравились люди, которые умели превращать ее жизнь в игру. Она обладала удивительным врожденным умением трезво смотреть на вещи и была в одно и то же время истой анархисткой и истинной аристократкой. Она признавала равных себе по душевным качествам людей и с блаженным неведением игнорировала тех, кто в ее глазах таковым не был – и неважно, были ли это ее братья и сестры, богатые друзья их семьи или же простые люди или слуги. Она была одиночкой и жила сама по себе, без каких бы то ни было связей с другими людьми. Казалось, ее жизнь была не дорогой к какой-то цели, не непрерывной линией, а только чередой отдельных эпизодов.

Отец в каком-то иступленном забытии считал, что его судьба зависит от того, сможет ли он обеспечить Винифред счастливую жизнь. Она, которая никогда не будет страдать, потому что ни к кому серьезно не привязывается; она, которая потеряет самое драгоценное, что только есть в ее жизни, и будет на следующий день прежней, словно намеренно забыв о случившемся; она, которая обладает такой удивительно легкой и свободной волей, анархистка, почти нигилистка, словно бездушная птичка порхающая туда, куда захочет, привязываясь к людям и принимая на себя ответственность только на одно мгновение; которая каждым своим движением обрезала

нити серьезных взаимоотношений блаженными, свободными руками, истинная нигилистка, потому что ее никогда ничто не заботило, – она-то и стала объектом последней страстной заботы отца.

Когда мистер Крич узнал, что Гудрун Брангвен могла бы заниматься с Винифред рисованием и лепкой, он увидел в этом для своей дочки путь к спасению. Он верил, что у Винифред есть талант, он встречал Гудрун и знал, что та была неординарной женщиной. У него появилась возможность передать Винифред в ее руки, в руки праведного существа. Тем самым можно было направить жизнь его девочки в правильное русло, наполнить ее живительной силой, тогда он будет уверен, что в ее жизни будет некая цель, что она не останется беззащитной. Если бы только ему удалось привить девочку на некое древо созидания, прежде чем он умрет, то его миссия была бы выполнена. И вот появилась возможность осуществить это.

Он без промедления обратился к Гудрун.

А Джеральд, по мере того, как отец все больше и больше отдалялся от жизни, все сильнее и сильнее чувствовал себя незащищенным. В конце концов, именно отец всегда был для него олицетворением этого мира. Пока отец был здоров, ответственность за человеческие жизни не отягощала плечи Джеральда. Но теперь отец умирал и его сын увидел, что он совершенно беззащитен и бессилён перед водоворотом жизни. Он чувствовал себя, как чувствовал бы себя возглавивший бунт первый помощник капитана, увидев, что капитан погиб и что впереди лишь ужасающий хаос. Он не унаследовал от отца установленный порядок жизни и жизненную идею. Идея объединения человечества, казалось ему, умирает вместе с его отцом; централизующая сила, которая удерживала все вместе, рухнула вместе с его отцом и части были готовы разлететься в стороны, словно во время ужасного взрыва. Джеральд словно оказался на корабле, распадавшемся под его ногами, он отвечал за судно, палуба которого расплзалась в стороны.

Он знал, что всю свою жизнь он пытался разрушить жизненные рамки, уничтожить их, а теперь со страхом ребенка, сломавшего игрушку, увидел, что обрел свое собственное разрушение. И в последние месяцы, находясь во власти смерти, разговоров Биркина и проникающего в него существа Гудрун он совершенно растерял то механическое средоточие, которому он так радовался. Иногда его пронзала острая ненависть к Биркину, Гудрун и всем остальным. Он хотел вернуться к самому тупому консерватизму, к самым тупым из людей, придерживающимся условностей. Он хотел обратиться в самый жесткий торизм. Но это желание закончилось слишком быстро и не позволило ему осуществить задуманное.

Все свое детство и отрочество он страстно желал окунуться в первобытное дикое состояние. Его идеалом было время гомеровских героев, когда мужчина возглавлял армию героев или проводил всю свою жизнь в восхитительной Одиссее. Он горько ненавидел все, что сопровождало его собственную жизнь, настолько, что он никогда толком не бывал в Бельдове и долине, где располагались шахты.

Он совершенно отстранился от почерневшего угольного района, который тянулся вдаль по правую руку от Шортландса, он обратился только к сельской местности и лесам за Виллей-Вотер. Да, хрип и грохот угольных шахт все время были слышны в Шортландсе, но с самого раннего детства Джеральд не обращал на них внимания. Он игнорировал весь этот промышленный океан, чьи почерневшие от угля волны набегали на территорию усадьбы. Мир на самом деле был пустынным местом, где можно было охотиться, плавать и ездить верхом. Он бунтовал против власти в любом ее проявлении. Жизнь для него была первобытной свободой. А затем его отправили в школу, где ему было совершенно невыносимо. Он отказался поступать в Оксфорд, выбрав вместо этого университет в Германии. Он провел много времени в Бонне, Берлине и Франкфурте. Там в его разуме зажглось любопытство. Он хотел видеть и познавать в своей странной наблюдающей манере, словно это его забавляло. Затем он должен был понять, что такое война. Затем он должен был отправиться в дикие места, которые так привлекали его. В результате он понял, что человечество было везде одинаковым, а для такого человека, как он, любознательного и холодного, мир дикарей был менее занимательным, чем мир европейцев.

Поэтому он вооружился различными социологическими идеями и желанием преобразований. Но они всегда были поверхностными, это была всего-навсего забава для его ума. Они интересовали его только постольку поскольку они были противодействием существующему порядку, разрушительным противодействием.

Наконец, он решил, что заниматься шахтами может быть даже интересно. Отец попросил его помогать ему в конторе. Джеральд получил образование в сфере горной добычи, но его это никогда не интересовало. А теперь он взглянул на мир с новым интересом.

В его сознании, точно на фотографии, запечатлелось величие этой отрасли промышленности. Внезапно она оказалась реальной и он стал ее частью. Вниз по долине бежала шахтерская железная дорога, связывая одну шахту с другой. По рельсам шли составы, короткие составы из тяжело груженных платформ, длинные эшелоны пустых вагонеток, на каждой из которых белыми буквами были написаны инициалы: «С. В. & Со».<sup>32</sup>

Эти белые буквы на всех вагонетках он видел с самого раннего детства и, как будто он никогда не видел их, они были такими знакомыми, но такими забытыми. А теперь он внезапно увидел на стене свое имя. Теперь он увидел свою власть.

Так много вагонеток с его инициалами бежало по стране. Он видел, как они въезжают в Лондон в составе товарного поезда, видел их в Дувре. Он смотрел на Бельдовер, на Селби, на Вотмор, на Летли-Бенк, – крупные шахтерские деревни, которые зависели только от его шахт. Они были чудовищными и отвратительными, в детстве они сильно поразили его. А теперь он смотрел на них с гордостью. Четыре совершенно новых городка и огромное множество уродливых промышленных деревушек находились в его власти. Он видел поток шахтеров, возвращавшихся из шахт на обед, тысячи почерневших, слегка искаженных человеческих существ с красными ртами – все они подчинялись его воле. Он медленно катил в своей машине через маленькую рыночную площадь Бельдовера вечером в пятницу, через плотную массу человеческих существ, занятых своими покупками и покупавших все необходимое на неделю. Они все подчинялись ему. Они были уродливыми и неотесанными, но они были его орудиями. Он был повелителем машины. Они медленно и по инерции расступались перед его машиной. Его не интересовало, расступались ли они с живостью или с недовольством. Ему было безразлично, что они думали о нем. Его видение внезапно воплотилось в жизнь. Внезапно он осознал четкое предназначение человечества. Слишком много было разговоров о страданиях и чувствах, слишком много гуманистической болтовни. Это было смешно. Страдания и чувства отдельных людей совершенно ничего не значили. Это было просто явление, как погода. А имело значение как раз четкое предназначение отдельного человека. О человеке нужно говорить как о ноже: острый ли он? А остальное неважно.

Все в этом мире имеет свое предназначение, и совсем неважно, хорош ли ты или не очень, если ты более или менее успешно исполняешь свое предназначение. Шахтер – хороший шахтер? Значит, выполняет. Управляющий хорош? Этого достаточно. А сам Джеральд, который отвечал за все это предприятие, был ли он хорошим руководителем? Если да, то он выполнил предназначение своей жизни. Остальное было на вторых ролях.

Шахты, которые ему достались, были слишком старыми. Они истощались, работа, затраченная на разработку пластов, не окупала себя. Поговаривали, что две шахты будут закрыты. И именно в этот момент на сцене появился Джеральд.

Он огляделся вокруг. Повсюду были шахты. Они были старыми, все в них устарело. Они, как старые львы, больше ни на что не годились. Он вновь огляделся. Ха! Эти шахты были всего-лишь неуклюжим произведением несовершенного ума. Вот он, выкидыш недоразвитого ума. Так пусть сама их идея исчезнет. Он выкинул их из своего ума и стал думать только об угле там, под землей. Сколько там его было?

---

<sup>32</sup> «С. В. & Со» – «Братья Крич и компания».



А угля было много. Старые выработки не позволяли подобраться к нему, вот и все. Значит, нужно свернуть шею старым выработкам. Уголь залегал здесь пластами, хотя эти пласты были тонкими. Там она лежала, пассивная материя, как лежала вечно, с самого начала бытия, подчиняясь только воле человека. Воля человека была определяющим фактором. Человек был архибогом земли. Его разум послушно служил этой воле. Человеческая воля была абсолютом, первым и единственным.

А его воля желала подчинить Материю своим целям. Главным здесь было подчинение, борьба – самой сутью, а плоды победы были просто результатами. Джеральд занялся шахтами не ради денег. По правде говоря, деньги его не особенно интересовали. Он не любил ни хвалиться деньгами, ни тратить их расточительно; не более того занимало его и положение в обществе, все это не было для него особенно важным. Ему было нужно по-настоящему реализовать свою волю в борьбе с природными явлениями. Сейчас его воля желала прибыльно вынимать уголь из земли. Прибыль была всего лишь составляющей победы, но сама победа заключалась в том, чтобы достигнуть желаемого. Он возбужденно дрожал при мысли о таком вызове. Каждый день он стал проводить в шахтах, изучая, проверяя, консультируясь с экспертами, и постепенно в его мозгу сложилась целостная картина, как у генерала, который планирует свою кампанию.

Потребовалась полная остановка. Шахты работали по старой системе, которая уже давно изжила себя. Изначально идея заключалась в том, чтобы извлечь из недр как можно больше денег, чтобы принести владельцам приличное состояние, рабочим – достаточные заработки и хорошие условия труда и вместе с этим увеличить благосостояние страны. Отец Джеральда, владелец во втором поколении, имея значительное состояние, думал только о рабочих. Для него шахты в первую очередь были огромными полями, приносящими хлеб и довольство для сотен человеческих существ, живущих вокруг них. Он жил и боролся вместе со своими компаньонами за то, чтобы повысить благосостояние своих рабочих. И благосостояние рабочих повышалось на свой манер. Бедных и нуждающихся было очень мало. У всех был достаток, потому что в шахтах было хорошо и легко работать. И шахтеры в те дни, оказавшись богаче, чем могли ожидать, радовались и ликовали. Они считали себя богачами, они поздравляли себя с такой удачей, они вспоминали, как их отцы голодали и страдали, и чувствовали, что наступили лучшие времена. Они были благодарны тем первопроходцам, новым хозяевам, которые открыли шахты и выпустили наружу это изобилие.

Но человек никогда не удовлетворяется – так и шахтеры перешли от благодарностей своим хозяевам к неодобрительному ропоту. Их достаток казался им все меньше по мере того, как он задумывались о своем положении, им было нужно больше. Почему это хозяин единственный из всех так богат?

Кризис разразился, когда Джеральд был еще мальчиком, когда Федерация владельцев шахт закрыла шахты, потому что рабочие не были согласны с уменьшением заработной платы. Это закрытие поставило Томаса Крича в новые условия. Поскольку он принадлежал к Федерации, он обязался своей честью закрыть шахты и не пускать в них рабочих. Он, отец, Патриарх, был вынужден лишить средств к существованию своих сыновей, своих людей. Он, богатый человек, который вряд ли попадет на небо из-за своего богатства, теперь должен был повернуться к бедным, к тем, кто был гораздо ближе ко Христу, чем он сам, которые были смиренными и презираемыми и близкими к совершенству, которые мужественно и благородно трудились, и сказать им: «Вы не будете ни работать, ни есть».

Именно это осознание состояния войны разбивало его сердце. Он хотел вести свое дело, основываясь на любви. О, он хотел, чтобы любовь была движущей силой всему, даже шахтам. А теперь из-под полы любви цинично был вынут меч, меч железной необходимости. Это по-настоящему разбивало его сердце. У него должна быть иллюзия, но теперь эта иллюзия была разбита. Рабочие не были настроены против него, они были настроены против владельцев как таковых. Это была война, и хотел он того или нет, только он оказался в своем сознании на противоположной стороне.



Ежедневно собирались бурлящие массы шахтеров, воодушевленные новым религиозным импульсом. Они были охвачены идеей: «Все люди на земле равны», и они приводили эту идею к ее материальному воплощению. В конце концов, разве не этому учил Христос? А что такое есть идея, если не зачаток действия в материальном мире? «Все люди равны по духу, все они сыновья Господни. Откуда тогда это видимое неравенство?» Это было доведенное до материального воплощения религиозное кредо. Но у Томаса Крича не было на это ответа. Он не мог не признать, со всей искренностью своей души, что это неравенство было неправильным. Но он не мог забыть о своем имуществе, которое и являлось самой сутью этого неравенства. Поэтому люди начали бороться за свои права. Последние искры последнего религиозного пыла на земле, страсти равенства, вдохновляли их.

Протестующие толпы людей бурлили повсюду, их лица были озаренными, словно они шли на священную войну, их окутывала жадность. Как отделить жажду равенства от пламени алчности, где начинается борьба за равное обладание мирскими благами? Бог был всего лишь орудием. Каждый человек требовал равенства в божестве – в великой созидательной машине. Каждый человек был равной частью этого божества. Но каким-то образом, в душе Томас Крич знал, что все это ложь. Когда машина становится божеством, и люди начинают молиться на созидание или работу, значит, самым высшим и истинным на земле разумом, воплощением Бога на земле является механический разум. А остальное имеет вспомогательное значение, каждый в своем роде.

Разразились забастовки, вотморский надшахтный копер горел. Эта шахта была расположена в самой дальней части района, вблизи лесов. Были введены войска. В тот роковой день из окон Шортландса можно было видеть языки пламени, – неподалеку полыхал пожар, и маленький шахтерский поезд с вагонами для рабочих, в которых те ездили в отдаленный Вотмор, пересекал долину, полный солдат, забитый красными мундирами. Затем раздались отдаленные выстрелы и пришло сообщение, что толпа рассеяна, один человек застрелен, огонь потушен. Джеральд, который тогда еще был мальчиком, был полон дикого возбуждения и восторга. Ему хотелось вместе с солдатами стрелять в рабочих. Но ему не разрешалось выходить за ворота. У ворот были выставлены часовые с оружием. Джеральд в восхищении стоял рядом, а группы насмешливых шахтеров прохаживались взад-вперед по переулку, крича и насмехаясь: – Эй ты, который и шахтерской пятки не стоишь, давай-ка пульки из своей пушки!

Стены и заборы были исписаны бранными словами, слуги покидали дом.

И все это время Томас Крич надрывал свое сердце, отдавая на благие цели сотни фунтов.

Повсюду была бесплатная еда, целые горы бесплатной еды. Любой получал хлеб, стоило только попросить, а буханка стоила только три полпенса. Каждый день где-нибудь раздавали бесплатный чай и дети никогда не получали столько вкусностей. Днем по пятницам в школу приносили огромные корзинки с булочками и пирогами, а также огромные фляги с молоком и школьники получали все, что хотели. Некоторые объедались пирогов и молока до тошноты. А затем все подошло к концу, и рабочие вернулись к работе. Но как прежде уже не стало. Была создана новая обстановка, воцарилась новая идея. Даже у машины все части должны быть равными. Ни одна часть не должна была подчиняться другой – все должны быть равны. Появился инстинкт хаоса. Волшебное равенство – это абстрактное понятие, а обладание или создание – это процессы. По своему предназначению и во время процессов один человек по необходимости подчиняется другому. Это закон бытия. Но теперь воцарилось желание хаоса и идея механического равенства стала оружием разрушения, которая должна была претворить в жизнь волю человека, желание хаоса.

Во время стачки Джеральд был мальчиком, но он жаждал быть мужчиной, чтобы бороться с шахтерами. Отец, однако, попал в ловушку между двумя половинчатыми истинами и надломился. Он хотел быть истым христианином, одним целым, единым со всеми остальными людьми. Он даже хотел раздать все, что имел, бедным. Однако он был большим сторонником промышленности и прекрасно знал, что он должен оставить при себе все, что имеет, и сохранить свою власть. Это была для него высшая необходимость, как и желание раздать все,

что он имел, – и даже более высшая, поскольку именно исходя из нее он и действовал. И потому что он не основывал свои действия на другом идеале, он довлел над ним. Мистер Крич умирал от разочарования, потому что ему приходилось отступать от него. Ему хотелось быть добрым, любящим, жертвенным, благодетельным отцом. А шахтеры кричали ему о его тысячах дохода в год. Их нельзя было ввести в заблуждение.

Когда Джеральд вырос, усвоив общепринятый уклад жизни, он изменил эту ситуацию. Плевать ему было на равенство. Вся эта христианская болтовня о любви и самопожертвовании была настоящим старьем. Он знал, что положение и власть были именно тем, что нужно этому миру, и бесполезно спорить об этом. Они были именно тем, что нужно, по той простой причине, что они являлись функциональной необходимостью. Они не были началом и концом всего. Все было как в механизме.

Так случилось, что он сам оказался центральной, контролирующей деталью, а массы рабочих были деталями, которые в разной степени контролировались. Это было так, потому что так повелось. И стоит ли так суетиться только потому, что центральный рычаг приводит в движение сотню внешних колес или потому что вся вселенная вращается вокруг солнца? В конце концов, глупо говорить, что Луна и Земля, Сатурн, Юпитер и Венера имеют такое же право находиться в центре вселенной, отделившись друг от друга, как солнце. Такое утверждение делается только теми, кто тяготеет к хаосу.

Даже не потрудившись обдумать свои выводы, Джеральд моментально принял решение. Он отбросил тему демократии и равенства как совершенно бессмысленную. Важна была только великая общественная производственная машина. Пусть она идеально работает, пусть она производит достаточное количество всего, что нужно, пусть каждому человеку достанется разумная доля – большая или меньшая в зависимости от его функциональной значимости или величия, а затем, при условии, что все это выполнено, пусть придет дьявол, пусть каждый человек заботится о своих развлечениях и аппетитах, но только так, чтобы не мешать другим. Итак, Джеральд приступил к работе, чтобы привести огромную ветвь промышленности в порядок. Из своих путешествий и прочитанных во время них книг он понял, что основополагающей тайной жизни была гармония. Понятие гармонии было для него совершенно туманным. Мир радовал его, он чувствовал, что нашел свои собственные решения. И он продолжал претворять свою философию в жизнь, силой наводя порядок в сложившемся мире, истолковывая волшебное слово «гармония» как практичное слово «организованность». Он моментально понял, какой должна быть компания и что нужно делать. Он будет бороться один на один с Материей, с недрами и скрытым в них углем. Это была единственная идея – обрушиться на неодушевленную материю подземного мира и подчинить ее своей воле. А для этой борьбы с материей нужно было иметь совершенные, идеально организованные орудия, механизм, который был бы настолько тонким и настолько хорошо работал, что он олицетворял бы разум одного человека, и который безжалостно повторяя заданные движения, непреодолимо, нечеловечно осуществил бы задуманное. Именно такой нечеловеческий принцип в механизме, который он хотел бы создать, вдохновлял Джеральда с почти религиозным воодушевлением. Он, человек, мог создать совершенного, неизменного, богоподобного посредника между собой и Материей, которую он собирался подчинить себе. Его воля и земная Материя были двумя противоположностями. И между ними он мог создать настоящее выражение его воли, воплощение его власти, великую и совершенную машину, систему, истинно упорядоченную деятельность, механические повторения, повторения ad infinitum<sup>33</sup>, а, следовательно, вечные и безграничные.

Он нашел свое вечное и бесконечное в чистом автоматизме полного сочетания в одно настоящее, сложное, бесконечно повторяющееся движение, словно вращение колеса – только созидательное вращение, как вращение вселенной можно назвать созидательным вращением,

---

<sup>33</sup> До бесконечности. (лат.)

созидательное повторение до бесконечности. А Джеральд был Богом этой машины, Deus ex Machina<sup>34</sup>. А вся созидательная воля человека была божественной сущностью.

Теперь у него было дело жизни – распространить по всей земле великую и совершенную систему, в которой бы воля человека работала без сучка и задоринки, вечно, словно действующее божество. Начинать нужно было с шахт. Условия заданы: во-первых, упрямая Материя подземного мира; затем орудия ее подчинения, орудия человеческие и металлические; и в конце концов его истинная воля, его собственный разум. Это потребует восхитительной настройки множества инструментов – человеческих, животных, металлических, кинетических, динамических, – чудесного сплавления мириад мелких отдельных сущностей в одно большое идеальное единство. И тогда, в этом случае родится совершенство и воля высшего существа будет полностью воплощена, воля человечества будет идеально претворена в жизнь; потому что разве человечество не существует в удивительном противостоянии неодушевленной Материи, разве история человечества не является историей завоевания одним другой?

Шахтеры остались в дураках. Пока они все еще были в объятиях идеи о божественном равенстве людей, Джеральд приступил к своим обязанностям, рассмотрел их дело и продолжил в своем качестве человеческого существа выполнять волю человечества в целом. Он просто являлся представителем шахтеров в высшем смысле этого слова, когда он чувствовал, что единственный способ идеально воплотить в жизнь волю человека – создать совершенную, нечеловеческую машину. Он представлял самую их сущность, они же находились далеко позади, они были устаревшими со своей борьбой за их материальное равенство. Это желание уже воплотилось в его новое и более обширное желание – создать совершенный механизм, который был бы посредником между человеком и Материей, желание перевести божественность на язык чистого механизма.

Как только Джеральд начал работу в компании, по старой системе пробежали смертельные конвульсии. Всю его жизнь его обуревал яростный, несущий разрушение демон, который иногда охватывал его, как охватывает безумие. Теперь, словно вирус, этот демон проник в компанию и начались жестокие разрушения. Ужасно и бесчеловечно он докапывался до каждой мелочи; не было ни одной личной сферы, в которую он не вторгся бы, без всяких сантиментов он выворачивал все наизнанку. Старые седовласые управляющие, старые седовласые клерки, дряхлые пенсионеры, – он смотрел на них и убирал с дороги, словно поваленные деревья. Все предприятие казалось ему домом престарелых. Но эмоции его не заботили. Снабдив стариков достаточными пенсиями, он начал искать им достойную замену, и когда ее находил, без сожалений заменял старых работников новыми.

– Я получил жалобное письмо от Ледерингтона, – говорил его отец смиренным, просящим тоном. – По-моему, бедняга мог бы поработать подольше. Мне всегда казалось, что он все делает хорошо.

– На его месте сейчас работает другой человек, отец. Ему лучше уйти, поверь мне. Ты ведь согласен, что его пенсия вполне прилична?

– Да не пенсия ему нужна, бедняге. Он чувствует себя совершенно старым. Говорит, что думал, что ему по силам проработать еще лет двадцать.

– Такая работа мне не нужна. Он ничего не понимает.

Отец вздыхал. Больше он ничего не хотел знать. Он поверил, что шахтам требуется обновление, если они должны работать дальше. В конце концов, для всех же будет хуже в будущем, если их придется закрыть. Поэтому он больше не вникал в просьбы своих старых и преданных слуг, и только повторял: «Как скажет Джеральд».

Отец все больше и больше погружался во мрак. Костяк его реальной жизни был раздроблен. Он действовал правильно, согласно своим целям. А его цели были связаны с религиозным учением.

---

<sup>34</sup> «Бог из машины» – в греческом и римском театре приспособление, вывозившее на сцену артистов, изображающих богов. (лат.)

Однако, похоже, они устарели и на их место встали другие. Он не понимал. Он только перевел свои цели во внутреннее пространство, в тишину. Прекрасные свечи веры, которые больше не подходили для освещения мира, тихо и спокойно горели во внутреннем пространстве его души и в тишине его ухода от дел.

Джеральд приступил к реформам, начав с конторы. Необходимо было серьезно экономить, чтобы обеспечить возможным внедрение нововведений.

– Что это еще за «вдовый уголь»? – спросил он.

– Мы всегда позволяли всем вдовам шахтеров, работавших у нас, брать бесплатно меру угля раз в три месяца.

– Теперь им придется за это платить. Наша компания – это не благотворительное учреждение, как все привыкли думать.

Вдовы, это избитое выражение сентиментального гуманизма – он чувствовал отвращение даже при одной мысли о них. Они были буквально отвратительны. Почему они не сгорали на похоронных кострах своих мужей, подобно сати в Индии? Как бы то ни было, пусть платят за уголь.

Тысячами способов он снизил расходы, причем сделал это настолько тонко, что это едва ли было заметно для рабочих. Шахтеры должны были платить за перевозку своего угля и за его транспортировку поездом; они должны были оплачивать свои инструменты, заточку, содержание фонарей, за многие мелочи, которые складывались для каждого почти в шиллинг в неделю. Шахтеры не совсем поняли это, хотя и выражали сильное недовольство. Но это помогало сэкономить компании сотни фунтов каждую неделю.

Постепенно Джеральд взял все в свои руки. А затем он начал крупную реформу. В каждом отделе появились опытные инженеры. Была установлена огромная электростанция, которая использовалась как для освещения и откатки, так и для тяги. Электричество было подведено к каждой шахте. Из Америки привезли новое оборудование, какого шахтеры никогда не видели – огромных железных людей, как их называли, и необычные приспособления. Работа шахт была полностью изменена, контроль перешел от шахтеров, групповая система работы была упразднена. Теперь все работало согласно более точному и аккуратному научному методу. Работу контролировали образованные и опытные люди, а шахтеры превратились в механические орудия труда. Им приходилось работать тяжело, намного тяжелее, чем раньше, работа была ужасной и угнетающей своей монотонностью. Но они все подчинялись ей. Радость ушла из их жизней. Надежда рухнула, по мере того, как они становились все более и более похожими на машины. В то же время они приняли новые условия. Они даже черпали в них удовлетворение. Сперва они ненавидели Джеральда Крича и клялись что-нибудь с ним сделать, убить его. Но время шло и они принимали все с каким-то роковым удовлетворением. Джеральд был их верховным жрецом, он представлял ту религию, которую они в действительности ощущали внутри себя. Про его отца уже никто более не вспоминал. Возник новый мир, новый порядок, жесткий, ужасный, бесчеловечный, но дарующий наслаждение своей разрушительной направленностью. Рабочие чувствовали удовлетворение от того, что они принадлежат к огромной и чудесной машине, хотя та и разрушала их. Это было именно то, что нужно. Это было самым высшим из того, что мог сотворить человек, совершенно удивительное и сверхчеловеческое. Их возбуждало сознание принадлежности к этой великой и сверхчеловеческой системе, которая выходила за пределы ощущений или разума, была чем-то воистину божественным. Их сердца умерли внутри них, но души были удовлетворены. Это было то, чего они хотели. В противном случае Джеральду ни за что бы не удалось сделать то, что он сделал. Он шел на шаг впереди, давая им то, что они хотели – это участие в великой и совершенной системе, которая подчиняла жизнь идеальным математическим формулам. Это была известная свобода, такая, в которой они нуждались. Это был первый огромный шаг в разрушение, первая великая стадия хаоса – замена органического принципа жизни механическим и подчинение каждой отдельной органической единицы великой механической



цели. Это было настоящее разрушение органичной формы и истинная механическая ее организация. Это была первая и самая утонченная стадия хаоса.

Джеральд был удовлетворен. Он знал, что шахтеры говорили, что ненавидят его. Но он уже давно перестал ненавидеть их. Когда они потоком устремлялись мимо него вечерами, устало шаркая по тротуару сапогами, слегка сгорбившись, они не обращали на него внимания, они даже не здоровались с ним, они проходили мимо него серо-черным потоком равнодушного смирения. Они не представляли для него интереса, иного чем инструменты, и он не представлял для них интереса кроме как высшего контролирующего механизма. Они имели свое бытие как шахтеры, он же имел свое бытие как руководитель. Он восхищался их качествами. Но как люди, личности, они были всего лишь случайностями, хаотичными маленькими неважными явлениями. И люди молчаливо соглашались с этим. Потому что Джеральд уже давно согласился с этим сам.

Он победил. С его помощью отрасль обрела новую, ужасающую идеальность. Угля теперь добывалось гораздо больше, чем раньше, прекрасная и тонкая система работала почти совершенно. Он набрал действительно умных инженеров как в горнодобывающей отрасли, так и в сфере электричества, и они обошлись ему совсем не дорого. Высокообразованный человек стоит немногим больше обычного рабочего. Его управляющие, которые все были выдающимися людьми, стоили не дороже, чем старые неумехи времен его отца, которые были всего-навсего повышенными в должности шахтерами. Его главный управляющий получал тысячу двести фунтов в год, а экономил фирме почти пять тысяч. Вся система была настолько хорошо отлажена, что в Джеральде не было больше никакой необходимости. Она была настолько идеальной, что иногда его охватывал странный страх и он не знал, что ему делать. Несколько лет он провел в каком-то активном забытьи... Все, что он ни делал, казалось ему божественным, он был почти божеством. Он весь превратился в чистую, возбужденную деятельность.

Но теперь он добился успеха – наконец-то он добился успеха! И раз или два в последнее время, когда он по вечерам оставался в одиночестве и ему нечем было заняться, он внезапно вскакивал в ужасе, не понимая, кто он есть, и спешил к зеркалу. Долго и пристально рассматривал он свое лицо, глаза, словно выискивая что-то. Его охватывал иссушающий смертный страх, но он не знал, чего он так боялся. Он смотрел на свое лицо. Вот оно, красивое и здоровое, такое же, как и всегда, однако оно было каким-то ненастоящим, это была маска. Он не осмеливался прикоснуться к ней, боясь, что это и правда окажется только маской. Его глаза были голубыми и пронизательными, как и всегда и также твердо сидели в своих глазницах. Но он не был уверен, что это не были ненастоящие голубые пузырьки, которые через мгновение лопнут, оставив под собой совершенную пустоту. Он мог видеть в них тьму, словно это были лишь полные мрака пузыри. Он боялся, что однажды он сломается и станет совершенно бессмысленным пузырем, заключающем в себе пустоту.

Но его воля все еще была твердой, он мог читать и размышлять. Ему нравилось читать о примитивных народах, книги по антропологии, а также работы по спекулятивной философии. Его разум был очень активным. Но это было словно пузырь, порхающий в темноте. В любое мгновение он мог лопнуть и погрузить его в хаос.

Он не умрет. Он это знал. Он будет продолжать жить, но смысл пропадет из его существа, его божественный разум исчезнет. Он чувствовал странное безразличие, опустошенность, и ему было страшно. Но он не мог реагировать даже на страх. Казалось, центры его чувств атрофировались. Он оставался спокойным, расчетливым и здоровым, все еще имел свободу делать то, что захочет, но он все время ощущал со слабым, едва заметным, но поистине уничтожающим ужасом, что в этот переломный момент его мистический разум разрушался, поддавался разложению.

И это было тяжело. Он знал, что равновесия нет. Ему нужно было обязательно идти в каком-нибудь направлении и найти облегчение. Только Биркин определенно избавлял его от этого страха, возвращал ему самодостаточность его жизни своей странной живостью и



переменчивостью, которая, казалось, заключала в себе квинтэссенцию веры. Но Джеральду всегда приходилось возвращаться от Биркина, как с церковной службы, обратно во внешний мир работы и жизни. Он был на своем месте, ничего не изменилось, а слова были пустым звуком. Он должен был жить в постоянной связи с миром труда и миром материи. А это становилось все сложнее и сложнее, он ощущал на себе странное давление, словно внутри него был вакуум, а снаружи что-то очень сильно давило.

Наибольшее удовлетворение и облегчение приносили ему женщины. После оргии с какой-нибудь разбитной женщиной он чувствовал облегчение и забывал обо всем. Но самое ужасное в этом было то, что теперь ему было очень трудно поддерживать в себе интерес к женщинам. Они его больше не привлекали. Киска была вполне ничего в своем роде, но она была выдающимся случаем – но даже она почти ничего для него не значила. Нет, женщины в этом смысле больше не приносили ему радость. Он чувствовал, что прежде чем испытать физическое возбуждение, ему нужно, чтобы возбудился его мозг.

## Глава XVIII

### Кролик

Гудрун осознавала, что ей очень хочется поехать в Шортландс. Она отдавала себе отчет, что это выглядело так, будто она готова признать Джеральда Крича своим возлюбленным. И хотя она колебалась, поскольку такой поворот событий был ей неприятен, она знала, что поедет. Ей не хотелось признаваться себе в своих чувствах. Она, мучительно вспоминая пощечину и поцелуй, говорила себе: «Ну и что в этом такого? Что значит один-единственный поцелуй? Да даже и та пощечина? Это лишь мгновение, которое давным-давно прошло. Я поеду в Шортландс ненадолго, ведь скоро меня здесь не будет, я просто посмотрю, как все сложится». Потому что ее постоянно снедало ненасытное желание все видеть и все познавать.

Ей также хотелось узнать, что представляла из себя Винифред. С того самого вечера, когда Гудрун услышала, как девочка кричала на пароходе, она ощущала, что между ними установилась некая мистическая связь.

Гудрун разговаривала в библиотеке с отцом девочки, после чего он послал за ней самой. Она пришла в сопровождении своей мадемуазель.

– Винни, это мисс Брангвен, которая была так добра, что согласилась помочь тебе рисовать и лепить твоих животных, – сказал отец.

Девочка заинтересованно взглянула на Гудрун, а затем подошла к ней, опустив глаза, и протянула руку. Из-под детской скованности Винифред проглядывало невозмутимое хладнокровие и безразличие, а также какое-то безотчетная грубость.

– Как поживаете? – спросила она, не поднимая глаз.

– Спасибо, хорошо, – ответила Гудрун.

Винифред отошла в сторону, и теперь Гудрун представили француженке.

– Прекрасный день вы выбрали для прогулки, – живо и радостно сказала мадемуазель.

– Действительно, прекрасный.

Винифред наблюдала за ними со своего места. Она развлекалась, в то же время еще не вполне определив для себя, что представляла из себя эта ее новая знакомая. На ее пути возникало так много новых людей, но мало кто из них стал для нее чем-то большим, чем просто очередным новым лицом. Разумеется, мадемуазель была не в счет, девочка просто тихо и легко смирилась с ее присутствием, подчинившись ей с некоторым презрением, уступив ей с детским равнодушным высокомерием.

– Итак, Винифред, – сказал отец, – разве ты не рада, что мисс Брангвен приехала? Она создает из дерева и глины таких животных и птиц, что о них пишут в лондонских газетах самые что ни на есть хвалебные отзывы.

Губы Винифред тронула легкая улыбка.

– Кто тебе это сказал, папочка? – осведомилась она.

– Кто мне сказал? Гермiona, а еще Руперт Биркин.

– Вы знакомы с ними? – спросила, поворачиваясь к Гудрун, Винифред с легким вызовом в голосе.

– Да, – ответила Гудрун.

Винифред по-другому взглянула на нее. Она была готова принять Гудрун в качестве очередной служанки. Теперь же она поняла, что им предстоит общаться так, как общаются друзья. Она была рада этому. Вокруг нее было столько людей, с которыми общение на равных не представлялось возможным, но которых она терпела с неизменной приветливостью.

Гудрун была совершенно спокойной. И для нее все это было очень важным. Новая возможность казалась ей занятой. Винифред была замкнутой, скептически настроенной девочкой, она никогда бы не одарила человека своей привязанностью. Гудрун она понравилась и даже заинтриговала. Первая встреча прошла унижительно неуклюже. Ни Винифред, ни ее наставница не знали, как вести светскую беседу. Однако вскоре они встретились в ином, сказочном мире. Винифред не замечала людей, если они, в отличие от нее самой, были серьезными и скованными. Она не воспринимала ничего, что выходило за пределы мира развлечений; самыми главными людьми в ее жизни были ее четвероногие любимцы. На них-то, по иронии судьбы, она и обрушивала свою любовь и привязанность. Остальным же человеческим существам она просто подчинялась, подчинялась со скукой и легким безразличием.

Одним из ее любимцев был пекинес по кличке Лулу.

– Давай-ка нарисует Лулу, – предложила Гудрун, – и посмотрим, получится ли у нас уловить его «лулуизм».

– Милый мой! – воскликнула Винифред, подбегая к собаке, которая с грустным созерцательным взглядом возлежала у камина, и целуя ее выступающий лобик. – Сокровище мое, будешь позировать? Позволишь мамочке нарисовать свой портретик?

Затем она довольно хихикнула и, повернувшись к Гудрун, поторопила ее:

– Давайте скорее рисовать!

Они взяли карандаши и бумагу.

– Драгоценнейший мой, – восклицала Винифред, стискивая собаку в объятиях, – сиди смирно, пока мамочка рисует твой чудесный портретик.

Собака с печальным смирением подняла на девочку свои выпуклые глаза. Винифред страстно расцеловала ее и сказала:

– Интересно, каким будет мой рисунок! Скорее всего, кошмарным.

И она рисовала, хихикая про себя, и иногда только восклицала:

– О сокровище мое, какой же ты красавчик!

И, все также хихикая, она с каким-то кающимся видом подбегала обнять песика, словно чем-то неуловимо обижала его. А он смиренно сидел, и на его темной бархатной мордочке виднелись отблески далеких веков.

Винифред рисовала медленно, в ее сосредоточенном взгляде мелькали злорадные искорки, она застыла на одном месте, свесив голову набок. Казалось, она колдовала, выполняя какой-то магический ритуал. Внезапно рисунок оказался законченным. Она взглянула на собаку, затем на бумагу и воскликнула, с обидой за собаку и в то же время с каким-то дьявольским восторгом.

– Красавец мой, за что ж тебя так?!

Она подошла к собаке и сунула ей листок под самый нос. Песик склонил голову в сторону, огорченный и смертельно обиженный, а она порывисто поцеловала его крутой бархатный лобик.

– Это ж Лулу, это же маленький Лулу! Взгляни на свой портретик, малыш, взгляни на портретик, посмотри, как мамочка тебя нарисовала.

Она посмотрела на рисунок и хихикнула. Затем, еще раз чмокнув пса, она поднялась на ноги и с серьезным видом подошла к Гудрун, протягивая ей листок.

На нем был в гротескной манере схематично изображен причудливый зверек, и в этой картинке было столько злорадства и комизма, что улыбка сама собой появилась на лице Гудрун. А стоящая рядом Винифред довольно хихикнула:

– Он ведь совсем не похож, да? Он намного красивее, чем это чудовище. Он такой красавец – ммм, Лулу, мой сладкий.

Она порхнула к обиженной собачке и заключила ее в объятия. Пекинес взглянул на нее укоряющим и мрачным взглядом, в котором читалась вечность бытия. Затем она вновь подбежала к своему рисунку и удовлетворенно усмехнулась.

– Он ведь совсем не такой, правда? – спросила она Гудрун.

– Напротив, он как раз такой, – ответила та.

Девочка везде носила рисунок с собой, бережно прижав его к груди и с молчаливой застенчивостью демонстрировала его всем и каждому.

– Смотри, – сказала она, вкладывая листок отцу в руку.

– Да разве это Лулу? – воскликнул он.

И удивленно посмотрел вниз, услышав почти дьявольский смешок стоящей рядом с ним девочки.

Когда Гудрун первый раз приехала в Шортландс, Джеральда там не было. Но на следующий же день после возвращения он отправился ее искать.

Утро выдалось солнечным и теплым, он гулял в саду и останавливался на дорожках, рассматривая цветы, распустившиеся за время его отсутствия. Он был свеж и собран, как никогда ранее, тщательно выбрит, волосы, сияющие в лучах солнечного света, были тщательно расчесаны на пробор; короткие, светлые усы были коротко подстрижены, а глаза мерцали насмешливым, добрым и в то же время таким обманчивым светом. Он был одет во все черное, одежда прекрасно сидела на его плотном теле. Но когда он, залитый утренним светом, останавливался перед клумбами, он выглядел одиноко и потеряно, словно ему чего-то не хватало.

Внезапно рядом с ним оказалась Гудрун. На ней был синий костюм и шерстяные желтые чулки, как у учеников школы Крайст-Хоспитал. Он удивленно поднял на нее глаза. Ее чулки все время приводили его в смущение – на этот раз на девушке были бледно-желтые чулки и тяжелые черные туфли.

Винифред, которая играла в саду с мадемуазель и собаками, прилетела вслед за Гудрун, словно бабочка. На девочке было платье в черно-белую полоску. Ее волосы были подстрижены коротко и ровно.

– Мы ведь будем рисовать Бисмарка, да? – спросила она, просовывая руку под локоть Гудрун.

– Да, обязательно. А ты хочешь?

– О да, еще как! Мне ужасно хочется нарисовать его портрет. Он сегодня такой великолепный, такой яростный. Он такой огромный, прямо вылитый лев.

И девочка злорадно рассмеялась такому сравнению.

– Он самый настоящий царь зверей, самый настоящий.

– Bonjour mademoiselle,<sup>35</sup> – маленькая гувернантка-француженка приветствовала ее легким кивком, который был особенно неприятен Гудрун, поскольку она видела в нем необычайное высокомерие.

---

<sup>35</sup> Здравствуйте, мадемуазель. (фр.)

- Winifred veut tant faire le portrait de Bismarck!.. Oh, mais toute la matinee c’est... – «Сегодня утром мы будем рисовать Бисмарка!» – Bismarck, Bismarck, toujours Bismarck! C’est un lapin, n’est-ce pas, mademoiselle?<sup>36</sup>
- Oui, c’est un grand lapin blanc et noir. Vous ne l’avez pa vu?<sup>37</sup> – спросила Гудрун на своем хорошем, но довольно тяжеловесном французском.
- Non, mademoiselle, Winifred n’a jamais voulu me le faire voir. Tant de fois je le lui ai demandé, “Qu’est-ce donc que ce Bismarck, Winifred?” Mais elle n’a pas voulu me le dire. Son Bismarck, c’est un mystère.<sup>38</sup>
- “Oui, c’est un mystere, vraiment un mystère!”<sup>39</sup> Мисс Брангвен, скажите, что Бисмарк – это загадка, – воскликнула Винифред.
- Бисмарк – загадка, Bismarck, c’est un mystère, der Bismarck, er ist ein Wunder,<sup>40</sup> – изображая, что она читает заклинание, пропела Гудрун.
- Ja, er ist ein Wunder,<sup>41</sup> – повторила Винифред со странной серьезностью, под которой таилась злая усмешка.
- Ist er auch ein Wunder?<sup>42</sup> – презрительно ухмыльнулась мадемуазель.
- Doch!<sup>43</sup> – коротко отрезала Винифред с полнейшим безразличием.
- Doch ist er nicht ein König.<sup>44</sup> Бисмарк не был королем, Винифред, как это получается с твоих слов. Он был всего лишь – il n’était que chancelier.<sup>45</sup>
- Qu’est-ce qu’un chancelier?<sup>46</sup> – поинтересовалась Винифред с легким презрительной безучастностью.
- А chancelier – это канцлер, а канцлер, по-моему, это что-то вроде судьи, – сказал подходя к ним Джеральд и здороваясь с Гудрун за руку. – Вы скоро песню про Бисмарка придумаете. Мадемуазель немного подождала, а затем едва заметно повторила свой кивок и свое приветствие.
- Так они, мадемуазель, не позволяют вам увидеть Бисмарка? – спросил он.

---

<sup>36</sup> Винифред хочет сделать портрет Бисмарка! И именно сегодня утром. Бисмарк, Бисмарк, вечно этот Бисмарк! Это же кролик, разве не так, мадемуазель? (фр.)

<sup>37</sup> Да, огромный черно-белый кролик. Вы его видели? (фр.)

<sup>38</sup> Нет, мадемуазель, Винифред никогда не разрешала мне. Я постоянно спрашиваю: «Ну где же этот Бисмарк, Винифред?». А она мне его не показывает. Этот Бисмарк, он самая настоящая загадка. (фр.)

<sup>39</sup> Да, он загадка, именно загадка. (фр.)

<sup>40</sup> Бисмарк – это загадка, Бисмарк – это чудо. (фр., нем.)

<sup>41</sup> Да, он чудо. (нем.)

<sup>42</sup> Он еще и чудо? (нем.)

<sup>43</sup> Именно. (нем.)

<sup>44</sup> Только он никакой не король. (нем.)

<sup>45</sup> Он был лишь канцлером. (фр.)

<sup>46</sup> А кто такой канцлер? (фр.)

– Non monsieur<sup>47</sup>.

– Как нехорошо с их стороны! Что вы собираетесь с ним сделать, мисс Брангвен? Мне бы хотелось отослать его на кухню, чтобы его там изжарили.

– Только не это! – воскликнула Винифред.

– Мы собираемся запечатлеть его на бумаге, – сказала Гудрун.

– Да, положите его на бумагу, выпотрошите, расчленилите на четыре части и подайте его на блюдецке, – сказал он, намеренно делая вид, что не понимает их.

– Нет! – еще громче воскликнула Винифред, давась от смеха.

Гудрун, уловив в его голосе шуточные нотки, пристально посмотрела на него и улыбнулась.

Он почувствовала, как по его телу пробежал ток. Они многое сказали друг другу этим взглядом.

– Как вам нравится в Шортландс? – спросил он.

– Очень нравится, – беспечно ответила она.

– Я рад. Вы видели эти цветы?

Он увлек ее за собой. Она послушно последовала за ним. Винифред увязалась за ними, а гувернантка держалась поодаль.

Они остановились перед сальпиглоссисом, на котором распустились мраморные цветки.

– Они просто прекрасны! – воскликнула Гудрун, пристально разглядывая их.

Он не мог понять, почему от ее благоговейного, почти экстатического восхваления цветов задрожала каждая жилка его тела. Девушка наклонялась вперед и прикасалась к колокольчикам своими необычайно чувствительными и нежными подушечками пальцев. Он смотрел на нее и чувствовал умиротворение. Когда она распрямилась, она перевела вдохновленный красотой цветов взгляд на него.

– Что это за цветы? – спросила она.

– По-моему, какие-то петунии, – ответил он. – Но точно не могу сказать.

– Я такие вижу впервые, – сказала она.

Они стояли рядом, и им казалось, что вокруг никого нет, их души общались между собой. Он был влюблен в нее.

Она физически ощущала рядом с собой похожую на жучка гувернантку-француженку, сметливую и наблюдательную. Гудрун взяла Винифред за руку и, сказав, что они идут взглянуть на Бисмарка, направилась прочь.

Джеральд смотрел им вслед и не мог отвести глаз от мягкого, дышащего умиротворением тела Гудрун, окутанного шелковистым кашемиром. Каким нежным, красивым и податливым, должно быть, было ее тело! Его разум залила радостная волна. Гудрун была всем, чего он только мог желать, она была самой прекрасной! Он хотел только прильнуть к ней, и ничего более. Он жаждал только такого бытия, в котором она была бы рядом и он отдавал бы ей всего себя.

Наряду с этим он остро и отчетливо ощущал аккуратную и хрупкую утонченность француженки. Высокие каблуки, тонкие лодыжки, безукоризненно сидящее черное шелковое платье и красиво уложенные в высокую прическу темные волосы придавали ей сходство с изящным жуком. Какую неприязнь будила в нем законченность и идеальность ее облика! Ему было крайне неприятно смотреть на нее. И в то же время он восхищался ею. В ней не было ни малейшего изъяна.

А вот яркие цвета в одежде Гудрун вызывали у него отторжение – вся семья носила траур, а она разоделась, словно попугай! Вот-вот, самый настоящий попугай! Он наблюдал, с какой неторопливостью отрывала она от земли ноги. Его взгляд скользнул по бледно-желтым лодыжкам, по темно-синему платью. Ему это нравилось. Очень нравилось. Даже в ее одежде чувствовался вызов – она бросала вызов всему миру. И он улыбнулся, как улыбается охотник звукам рога.

---

<sup>47</sup> Нет, мсье. (фр.)



Гудрун и Винифред прошли через дом на задний двор, где находились конюшни и хозяйственные постройки. Там было пусто и тихо. Мистер Крич ненадолго уехал прогуляться, а конюх только что привел с прогулки лошадь Джеральда. Девушки подошли к стоящей в углу клетке для кроликов и увидели черно-белого кролика.

– Разве он не красавец! О, смотрите, как он прислушивается! Какой у него глупый вид! – коротко рассмеялась Винифред, а затем добавила: – О, давайте нарисуем, как он прислушивается, ладно? В том, как он слушает, вся его суть – правда, Бисмарк, лапочка моя?

– Может, вынем его? – предложила Гудрун.

– Он очень сильный. Он ужасающе силен.

Девочка посмотрела на Гудрун, склонив голову на бок с необычайно расчетливым сомнением.

– Но давай все же попытаемся.

– Хорошо, почему бы и нет. Но он очень сильно брыкается.

Они взяли ключ и подошли к дверце. Кролик бешено забегал по клетке.

– Иногда он может очень сильно исцарапать, – возбужденно воскликнула Винифред. – О, только взгляните на него, какой он великолепный!

Кролик судорожно носился кругами.

– Бисмарк! – воскликнула девочка с еще большим волнением. – Ты ужасно себя ведешь! Ну ты чудовище!

Винифред взглянула на Гудрун и в ее взволнованный голос закрались опасливые нотки.

Сардоническая улыбка тронула губы Гудрун. Винифред издала какое-то странное возбужденное воркование.

– Ой, он замер! – воскликнула она, увидев, что кролик уселся в самом дальнем углу клетки. –

Нужно вынимать его прямо сейчас, – возбужденно прошептала она, не сводя глаз с Гудрун, затаив дыхание и бочком подходя ближе и ближе.

«Вынимайте же его!» – злобно хихикнула она про себя.

Они открыли клетку. Резким движением Гудрун просунула руку и ухватила скорчившегося, замершего на месте здорового кролика за длинные уши. Он уперся в пол всеми четырьмя лапами и дернулся назад. Она подтащила его к дверце, раздался скрежет и в следующее мгновение он уже бешено извивался в воздухе, брыкаясь всем телом, точно сжатая и с силой разжимавшаяся пружина.

Гудрун отвернула лицо в сторону и старалась держать этот беснующийся черно-белый комок на максимально возможном расстоянии от себя. Но кролик был на удивление сильным, и только так ей удалось не выпустить его из рук. Она почти лишилась своего хладнокровия.

– Бисмарк, Бисмарк, как ужасно ты себя ведешь! – испуганно воскликнула Винифред. – Да отпустите же его, он просто чудовище.

Буря, которая вдруг ожила в руке Гудрун, ошеломила ее. Но затем кровь вновь прилила к ее щекам и страшная ярость захлестнула ее рассудок. Ее била дрожь, подобная той, что сотрясает стены дома во время урагана, она совершенно вышла из себя. Она едва не задохнулась от гнева при виде этой бессмысленной и по-животному глупой борьбы; зверь сильно расцарапал своими когтями ее запястья, и на нее нахлынуло желание причинить ему сильную боль.

Когда она попыталась зажать ходящего ходуном кролика подмышкой, появился Джеральд. Он моментально разглядел в ней мрачное желание не щадить животное.

– Нужно было поручить это кому-нибудь из слуг, – воскликнул он, подбегая к ней.

– О, он настоящее чудовище! – едва ли не в панике воскликнула Винифред.

Джеральд протянул нервную, жилистую руку и все так же за уши забрал кролика у Гудрун.

– Он ужасающе силен, – раздраженно воскликнула она высоким, как у чайки, голосом.

Кролик, зависнув в воздухе, сжался в комок и выбросил задние лапы вперед, выгибаясь дугой. Казалось, в него вселился дьявол.

Гудрун увидела, как напрягся Джеральд и как в его глаза появилась слепая ярость.

– Знаю я этих плутишек... – сказал он.

Длинный беснующийся зверь вновь выбросил вперед лапы, и на мгновение показалось, что он парит в воздухе, словно дракон. Затем он, невероятно сильный, как взрывная волна, опять сжался. Мужчина, напрягая все силы в противоборстве животному, резко отклонился то в одну, то в другую сторону. Внезапно его охватила неукротимая ярость, затмив его рассудок. Со стремительностью молнии он откинулся назад и, словно ястреб, свободной рукой схватил кролика за шею. В то же мгновение кролик, почувствовав дыхание смерти, издал адский, чудовищный вопль. Он изогнулся еще раз в последней конвульсии, расцарапав мужчине запястье и разорвав рукав, превратившись в вихрь лап, в котором то и дело мелькал белый живот. Мужчина хорошенько встряхнул кролика, быстро просунул подмышку и прижал локтем. Зверь притих и съезжился. На лице мужчины засияла улыбка.

– В жизни бы не сказал, что кролик может быть таким сильным, – сказал он, поворачиваясь к Гудрун, и увидел, что она бледна, как смерть, и что на этом белом лице горят огромные, черные, как ночь, глаза, что она была похожа на существо из потустороннего мира. Визг кролика, которым завершилась его борьба с человеком, обнажил ее истинные чувства. Он смотрел на нее, и беловатое, почти электрическое свечение его лица становилось все сильнее и сильнее.

– Он никогда мне особенно и не нравился, – ворковала Винифред. – Я не люблю его так, как Лулу. Он ужасно противный.

Гудрун взяла себя в руки, и ее губы искривились в улыбке. Она поняла, что разоблачила себя.

– Ужасный шум они поднимают, когда визжат, да? – воскликнула она резким, похожим на крик чайки, голосом.

– Чудовищный, – ответил он.

– Он не должен так глупо себя вести всякий раз, когда его собираются достать из клетки, – сказала Винифред, протягивая руку и нежно дотрагиваясь до притихшего подмышкой Джеральда кролика, который, казалось, умер.

– Джеральд, он ведь живой, да? – спросила девочка.

– Да, он должен быть жив, – сказал тот.

– Да, должен! – воскликнула девочка с внезапным веселым удивлением. И она уже с большей уверенностью дотронулась до кролика. – У него сердце так и стучит. Какой он смешной, да? По-моему, очень.

– Куда ты хотела бы его отнести? – спросил Джеральд.

– В маленький зеленый дворик, – сказала она.

Гудрун посмотрела на Джеральда загадочным мрачным и тяжелым взглядом, не-почеловечески пронизательным и одновременно молящим, точно принадлежащим существу, которое всецело подчинилось его власти и которое одновременно полностью подчинило его себе. Он не находил слов, которыми можно было бы начать разговор. Он чувствовал, что между ними установилось какое-то дьявольское взаимопонимание, и знал, что должен что-нибудь сказать, чтобы скрыть это. Он ощущал в своем теле силу молнии, она же безотказно принимала в себя его чудовищное, магическое белое пламя. Он чувствовал неуверенность и страх.

– Он вас поранил? – спросил он.

– Нет, – ответила она.

– Он самая настоящая бесчувственная тварь, – сказал он, отворачиваясь.

Они дошли до небольшой лужайки, огороженной старыми стенами из красного кирпича, в трещинах которых росли вьющиеся растения. Мягкая, красивая, давно не кошенная трава ровным ковром устилала дворик, над головой сияло голубое небо. Джеральд бросил кролика на траву. Тот застыл, скорчившись, и больше не двигался. Гудрун наблюдала за ним с легким ужасом.

– Почему он не шевелится? – воскликнула она.

– Дуется на нас, – ответил он.

Она посмотрела на него и легкая зловещая улыбка мелькнула на ее бледном лице.

– Что за глупец! – воскликнула она. – Он глуп до омерзения!

Ее мрачный насмешливый голос дрожью отозвался в его голове. И вновь взглянув в его глаза, она еще раз дала ему насмешливо понять, что понимает и его белое пламя, и его жестокость. Между ними установилась тесная связь, которая тяготила их обоих. Как он, так и она были связаны друг с другом ужасающими тайнами.

– Сильно он вас поранил? – спросил он, осматривая свою белую и твердую мускулистую руку, на которой краснели глубокие раны.

– До чего же гадко! – воскликнула она, вспыхивая румянцем при виде такого неприглядного зрелища. – А у меня всего лишь безделица.

Она подняла руку и показала глубокую красную царапину на белой шелковистой плоти.

– Вот дьявол! – воскликнул он.

Но один только взгляд на эту красную полосу, пересекающую нежную, шелковистую руку, помог ему раскрыть глубинную сущность Гудрун. Сейчас ему не хотелось прикасаться к ней. Если бы ему было нужно дотронуться до нее, ему бы пришлось делать это через силу. Казалось, эта длинная глубокая красная полоса прорезала его собственный мозг, растерзав на части его сознание и выпустив наружу красные волны потаенных желаний, непристойных желаний, о которых сознание не подразумевало и которых не могло себе вообразить.

– Он не очень сильно вас поранил? – сочувственно осведомился он.

– Вовсе нет, – воскликнула она.

А кролик, который сбился на траве в мягкий и неподвижный комок, точно решив притвориться цветком, внезапно пробудился к жизни. Он вновь и вновь кругами носился по лужайке со скоростью выпущенной из ружья пули, словно пушистый метеорит, и им показалось, что этот круг, подобно тесному обручу, все сильнее и сильнее сжимался вокруг их мозга. Они замерли в изумлении и на их лицах появились таинственные улыбки, словно они знали, что кролик повиновался какому-то странному заклинанию. А он носился и носился кругами возле старых красных стен, как самый настоящий вихрь.

И тут совершенно внезапно он успокоился, пристроился в травке и задумался, шевеля носом, который очень походил на раскачивающийся на ветру кусочек меха. Проведя несколько минут в размышлениях, пушистый шар с раскосыми черными глазами, то ли глядящими на людей, то ли нет, медленно заковылял вперед и быстрыми движениями, характерными для кроликов, принялся щипать траву.

– Он спятил, – сказала Гудрун. – Он определенно спятил.

Джеральд рассмеялся.

– Вопрос в том, – сказал он, – какой смысл скрыт в слове «спятить». Не думаю, что у него кроличье помешательство.

– Не думаете? – переспросила она.

– Нет. Просто это значит быть кроликом.

На его лице появилась странная едва заметная двусмысленная улыбка. Она взглянула на него, поняла ход его мыслей и осознала, что он был таким же посвященным, как и она. Это ей не понравилось и на мгновение привело ее в замешательство.

– Слава Богу, мы не кролики, – сказала она высоким пронзительным голосом.

Улыбка на его лице стала еще шире.

– Не кролики? – спросил он, пристально смотря на нее.

Ее лицо тоже осветилось улыбкой, словно говоря, что понимает ход его непристойных мыслей.

– Нет, Джеральд, – сказала она твердо и медленно, почти по-мужски. – Мы больше, чем просто кролики, – и она посмотрела на него с обескураживающей беспечностью.

У него появилось ощущение, что она медленно, с непревзойденной тщательностью разорвала на куски его сердце. Он отвернулся.

– Кушай, кушай, малыш! – мягко понукала кролика Винифред, подползая вперед, чтобы погладить его. Он поскакал от нее прочь. – Мамочка тогда погладит твою шерстку, милый мой, раз ты такой загадочный...

## Глава XIX

### Одержимый луной

После болезни Биркин на некоторое время отправился на юг Франции. Он не писал и никто о нем ничего не знал. Оставшись одна, Урсула чувствовала, что все валится у нее из рук. В мире не осталось надежды. Она казалась себе крошечной маленькой скалой, которую все сильнее и сильнее захлестывал поток пустоты. Она и только она одна оставалась реальной – как скала в волнах прибоя. Остальное было пустотой. Она была твердой и безразличной, и внутри ощущала одиночество.

Сейчас она не ощущала ничего, кроме презрительного, упорного равнодушия. Весь мир погружался в серую трясину пустоты, она не была ни с чем связана, ни к чему не привязана. Она презирала и чувствовала отвращение ко всему миру, ко всем людям. Она любила только детей и животных: детей она любила страстно, и в то же время холодно. Ей хотелось обнять их, защитить их, подарить им жизнь. Но сама эта любовь, основанная на жалости и отчаянии только сковывала ее и причиняла ей боль. Больше всего она любила животных, которые были одиночками и не любили общество, как и она сама. Ей нравились лошади и коровы, пасущиеся на лугах. Каждая из них была выдающейся и заключала в себе волшебство. Им не нужно было возвращаться к омерзительным социальным условностям. Они не знали, что такое задушевность и страдания, к которым она до глубины души питала отвращение.

С людьми, с которыми она общалась, она могла быть очень любезной, могла даже льстить им. Но никто на это не поддавался. Инстинктивно люди чувствовали, что она презирает и насмехается над той человеческой сущностью, что скрыта у того или другой в душе. Она испытывала очень сильные недобрые чувства к человеческим существам. То, что обозначалось словом «человеческое» было ей противно и отвратительно.

Большую часть времени ее сердце было закрыто, обьятое скрытым инстинктивным бременем презрительной насмешки. Ей казалось, что она любила, ей казалось, что она была полна любви. Именно так она думала о себе. Но странная яркость ее существа, удивительный блеск внутренней жизненной силы были всего лишь сиянием крайнего отрицания и ничего кроме отрицания.

В то же время иногда она смягчалась и поддавалась, она желала чистой любви, только чистой любви. Другое чувство, это состояние постоянного несмягчаемого отрицания было для нее тяжким бременем, заставляющим ее страдать. Ее вновь охватило ужасное желание чистой любви.

Однажды вечером она вышла прогуляться, так как она вся онемела от этих постоянных душевных страданий. Тот, чье время разрушения настало, должен умереть. Эта мысль сформировалась в ней, приобрела законченный вид. И этот итог принес ей облегчение. Если судьба позволит смерти или падению унести с собой всех тех, кому пришло время уходить, разве нужно ей беспокоиться, зачем упорствовать в своем отрицании? Она была свободна от всего этого, она может найти новый союз в другом месте.

Урсула пошла по направлению к Вилли-Грин, к мельнице. Она подошла к Вилли-Вотер. После того эпизода, когда озеро пришлось обезводить, теперь оно почти вновь наполнилось. Она повернула и пошла через лес.

Спустилась ночь, было темно. Но она забыла про страх, она, в которой были такие богатые источники страха. Среди деревьев, вдалеке от человеческих существ, царил какое-то волшебное умиротворение. Чем полнее было одиночество, когда не было и намека на человеческое присутствие, тем лучше она себя чувствовала. В реальном мире она ощущала страх, она боялась встречать людей.

Она резко остановилась, заметив что-то по правую руку между стволами деревьев. Казалось, огромный призрак наблюдал за ней, ускользая от нее. Урсула замерла. Но это была всего лишь

луна, поднимавшаяся между тонкими стволами деревьев. Она казалась такой загадочной с ее белой, мертвенной улыбкой. И не было возможности укрыться от нее. Ни днем, ни ночью не было спасения от этого зловещего лика, торжествующего и светящегося, как у этой луны, с ее широкой улыбкой.

Урсула поспешила дальше, пытаясь спрятаться от белого диска. Она просто взглянет на пруд и мельницу, а затем пойдет домой.

Опасаясь собак и не желая из-за них идти через двор, она повернула и направилась вдоль склона холма, чтобы спуститься к пруду. Луна казалась нереальной над пустынным, открытым пространством, Урсула страдала от того, что была выставлена на всеобщее обозрение. По земле тусклыми пятнами металась бегающая кролика. Ночь была прозрачной, как кристалл, и очень тихой. Было слышно, как вдали блеет овца.

Она свернула на крутую, скрытую деревьями насыпь над прудом, где ольха переплетала свои корни. Она была рада скрыться в тень от луны. Так она и стояла, на вершине осыпавшейся насыпи, ухватившись рукой за дерево, смотря на воду, которая была прекрасна в своей неподвижности и на поверхности которой плыла луна. Но ей почему-то не понравилась эта картина. Она не возбуждала в ней никаких чувств. Она прислушалась к глухому бормотанию воды в шлюзе. И она хотела, чтобы эта ночь дала ей что-то иное, ей хотелось другой ночи, а не этой ярко-лунной откровенности. Она чувствовала, что ее душа плачет внутри нее, отчаянно рыдает.

Она увидела движущуюся вдоль воды тень. Это мог быть только Биркин. Значит, он вернулся, никому ничего не сказав. Она приняла эту мысль безоговорочно, ей было все равно. Она села между корнями ольхи, окутанная и скрытая мраком, слушая звук шлюза, который звучал так, как могла бы звучать падающая ночная роса.

Острова были темными и едва видными, камыш тоже был весь объят мраком, только на некоторых из них вода отбрасывала слабое колеблющееся отражение. Тихо плеснула рыбка, озаряя озеро светом. Этот огонь холодной ночи, постоянно нарушавший первобытную темноту, вызывал в ней отвращение. Ей хотелось, чтобы вокруг было абсолютно темно, абсолютно.

Чтобы не было никакого шума или движения.

Биркин, казавшийся маленьким и темным, с блестящими в лунном свете волосами, рассеянно подошел ближе. Она была совсем рядом, но он ее еще не заметил и не знал, что она здесь. А если он сделает что-нибудь, чего он не захочет, чтобы видели другие люди, считая, что он совершенно один? Но в таком случае, какое кому до этого дело? Разве имеют какое-то значение мелкие личные тайны? Какое имело значение то, что он делал? Какие могут быть тайны, когда мы одни и те же организмы? Могут ли у нас быть какие-то тайны, когда мы все-все знаем?

Идя вперед, он неосознанно дотрагивался до увядших цветочных головок и бессвязно бормотал себе под нос.

– Тебе не уйти, – говорил он. – Бежать некуда. Ты можешь лишь замкнуться в себе.

Он бросил увядшую цветочную головку в воду.

– Это настоящее пение на два голоса – они лгут, а ты им подпеваешь. Правда была бы ненужна, если бы никто не лгал. Потому что тогда никому не надо было бы ничего подтверждать.

Он тихо стоял, смотря на воду и бросая в нее головки растений.

– Кибела<sup>48</sup>, черт бы ее побрал! Чертова Сириа Деа!<sup>49</sup> Разве кто-то выражает недовольство тем, что она есть? А что остается?

Урсуле захотелось громко и истерично рассмеяться, когда она услышала, как его одинокий голос произносит эти слова. Это было странно и смешно.

---

<sup>48</sup> Кибела – верховная богиня-мать римского пантеона.

<sup>49</sup> Сириа Деа – вавилонская богиня любви и войны.



Он стоял и пристально смотрел на воду. Затем наклонился и поднял камень, а затем резким движением бросил его в пруд. Урсула увидела, как запрыгала и размылась луна, потеряв свои очертания. Она, казалась, выпустила свои огненные щупальца, словно каракатица, словно светящийся коралл, резко пульсируя перед ней.

А его тень у самой кромки воды вглядывалась в нее несколько мгновений, а затем наклонилась и что-то нащупала там. Затем вновь раздался взрывообразный звук, всплеск яркого света, луна взорвалась в воде и разлетелась в стороны сполохами белого, опасного огня. Быстро, словно белые птицы, разрозненные пятна света выросли на глади озера, торопливо и суетливо разбегаясь, сражаясь с рябью черных волн, которые пробивали себе путь. Самые отдаленные кусочки света, пытающиеся вырваться наружу, казалось, толпились у берега, словно стремясь взобраться на него, а черные волны нахлынули тяжело, устремляясь к самому центру. Но в самом центре, в самом сердце пруда все еще оставалось живое, еле уловимое дрожание белой луны, которое не совсем еще было разрушено – белый поток огня изгибался и трепетал, но даже теперь он не был расколот, даже теперь не разрушен. Он, казалось, собирается в единое целое странными, яростными судорогами, в слепом усилии. Она, эта несокрушимая луна, набирала силу, она отвоевывала свои позиции, и лучи, эти тонкие линии света, бежали обратно, возвращаясь к набравшей силу луне, которая дрожала на воде с ликованием от сознания, что вновь отвоевала свои позиции.

Биркин стоял и наблюдал, не шелохнувшись, пока пруд вновь не стал почти спокойным, а луна вновь обрела свою невозмутимость. Затем, удовлетворясь этим, он поискал еще камни. Урсула почувствовала его невидимую целеустремленность. И через мгновение осколки света разбросало взрывом и бросило ей в лицо, ослепляя ее; после этого, сразу же, раздался второй всплеск. Луна подпрыгнула белым пятном и разорвала воздух. Стрелы яркого света полетели в разные стороны, а центр заполонила тьма. Луны больше не было, на ее месте осталось поле битвы, усыпанное разбитым светом и тенями, сливавшимися воедино. Тени, мрачные и тяжелые, вновь и вновь набегали туда, где было лунное сердце, полностью уничтожая его. Белые осколки качались вверх-вниз и не могли найти себе прибежища, разрозненно сияя на воде, словно лепестки розы, которые ветер разбросал на огромной территории.

И они, вновь сверкая, прокладывали себе путь к центру, вслепую, жадно, находя дорогу. И вновь Биркин и Урсула наблюдали, как все успокоилось. Вода с громким плеском набегала на берег. Он увидел луну и незаметно подобрался, когда заметил, как в средоточии лунного цветка стремительно и хаотично перемежались свет и тень, как собирались разбросанные осколки, как эти осколки находили свое место, трепеща в усилии вернуться обратно.

Но и теперь он не был удовлетворен. Словно безумец, он должен был продолжать. Он нашел крупные камни и один за другим бросал их в пылающий белым светом центр луны, пока не осталось ничего, кроме раскачивающегося гула и вспененной воды, луны больше не было, только несколько расколотых капель танцевали и сверкали кое-где в темноте, без всякой цели или смысла, в темной путанице, словно черно-белый калейдоскоп, который кто-то взял и произвольно разбросал. В пустынной ночи раздавался плеск волн и стук, а со стороны шлюза доносились острые, постоянные всплески звука. Осколки света появлялись то тут, то там, мучительно пробивая свой блеск через тени, в далеке, в странных местах, среди свисающих теней ив на берегах. Биркин стоял, слушал и был доволен.

Урсула погрузилась в забытие, ее разум словно растворился. Она чувствовала, что пала на землю и растеклась, как вода по суше. Она продолжала сидеть во мраке, неподвижная и обессиленная. Хотя даже сейчас она чувствовала, не видя, что в темноте осколки света суетливо подталкивали друг друга, в центре тихо танцевала целая группа, изгибаясь и собираясь вместе. Они вновь образовали центр, они вновь набирали жизнь. Постепенно слившиеся друг с другом осколки воссоединились, порхая, раскачиваясь, танцуя на воде, отшатываясь, словно в страхе, но упорно стремясь на свое место, притворяясь по мере приближения, что они разбегаются в стороны, но продолжая подходить, сверкая, все ближе и ближе к отметке, и группа загадочным образом становилась все больше и ярче по мере того, как сияющие осколки становились

единым целым, пока растерзанный цветок, искаженная, выщербленная луна вновь не закачалась на волнах, воскрешенная, обновленная, пытающаяся оправиться от потрясения, преодолеть обезображивание и смятение, стать целой и собранной, обрести покой.

Биркин рассеянно замер у воды. Урсула боялась, что он вновь начнет бить камнями луну. Она соскользнула со своего места и пошла к нему со словами:

– Хватит, не надо больше бросать в нее камни.

– И как долго ты была здесь?

– Все это время. Ты не будешь больше бросать камни, нет?

– Мне хотелось увидеть, смогу ли я заставить ее исчезнуть из пруда, – сказал он.

– Да, но это было ужасно. Почему ты так ненавидишь луну? Она не сделала тебе ничего плохого, ведь так?

– Разве это ненависть? – спросил он.

И они замолчали на несколько минут.

– Когда ты вернулся? – спросила она.

– Сегодня.

– Почему ты ни разу не написал?

– Не знал, что сказать.

– А почему нечего было сказать?

– Не знаю. Нарциссы уже отошли?

– Да?

Вновь повисло молчание. Урсула посмотрела на луну. Она собралась в единое целое и слегка подрагивала.

– Одиночество пошло тебе на пользу? – спросила она.

– Возможно. Только я этого не ощущаю. Но я многое преодолел. А ты, занималась чем-нибудь важным?

– Нет. Я думала об Англии и пришла к выводу, что у нас с ней все кончено.

– Почему об Англии? – удивленно спросил он.

– Не знаю, так получилось.

– Дело ведь не в нации, – сказал он, – Франция намного хуже.

– Да, я знаю. Я решила, что я покончила со всем этим.

Они сели у корней деревьев, в тени. И в этом молчании он вспомнил красоты ее глаз, которые иногда наполнялись светом, словно весной, обещая что-то великолепное. Он медленно сказал, выдавливая из себя слова:

– В тебе есть золотой свет, который мне бы хотелось, чтобы ты отдала мне.

Слова прозвучали так, словно он обдумывал их какое-то время.

Она удивилась, и едва не отшатнулась от него, но в то же время его слова ей польстили.

– Какой свет? – спросила она.

Но он не решился ответить и больше не произнес ни слова. И так они провели какое-то время.

Постепенно ее охватило чувство печали.

– Моя жизнь такая пустая, – сказала она.

– Да, – коротко ответил он, ему совсем не хотелось слышать это.

– И я чувствую, что никто никогда не сможет полюбить меня по-настоящему, – сказала она.

Но он не ответил.

– Ты считаешь, я знаю, – медленно сказала она, – что мне нужно только все материальное? Это неправда. Я хочу, чтобы ты удовлетворял мою душу.

– Я знаю. Я понимаю, что сама материальность тебе не нужна. Но я хочу, чтобы ты... чтобы ты отдала свою душу мне – тот золотой свет, который и есть ты, о котором ты не знаешь... чтобы ты отдала его мне.

Через мгновение молчания она ответила.

– Но разве я могу? Ты ведь не любишь меня! Тебе нужно только достичь своих собственных целей. Ты не хочешь служить мне, и одновременно ты хочешь, чтобы я служила тебе. Это так несправедливо!

Он усилием воли заставлял себя поддерживать этот разговор и настаивать на том, что ему было нужно от нее – чтобы она отдала ему свою душу.

– Это не одно и то же, – сказал он. – Эти два вида служения совершенно различны. Я служу тебе иначе – не через тебя – где-то в другом месте. Но я хочу, чтобы мы были вместе без всякого беспокойства за самих себя – быть вместе, потому что мы действительно вместе, точно это есть данность, а не то, что мы должны поддерживать своими силами.

– Нет, – сказала она, обдумывая это. – Ты просто сосредоточился на самом себе. У тебя никогда не было энтузиазма, ни одна искра в тебе не вспыхивала для меня. На самом деле тебе нужен только ты сам и твои собственные цели. И ты хочешь, чтобы я просто была рядом и служила тебе.

Но это только отстранило его от нее.

– Ну хорошо, – сказал он, – слова все равно ничего не значат. Либо между нами что-то есть, либо нет.

– Ты даже не любишь меня, – воскликнула она.

– Люблю, – сердито сказал он. – Но я хочу...

Его разум вновь уловил восхитительный золотистый весенний свет, выливавшийся из ее глаз, словно из некоего чудесного окна. Ему хотелось, чтобы она была рядом с ним там, в мире гордого безразличия. Но стоило ли говорить ей, что ему нужна была ее компания в мире гордого безразличия. Стоило ли вообще говорить? Все должно было случиться без всяких слов. А попытка заставить ее, убедить ее, все только бы разрушила. Это была райская птичка, которую никогда нельзя было поймать в силки, она сама должна была проникнуть в сердце.

– Я всегда думаю, что меня будут любить – и всегда меня подводят. Ты не любишь меня, знаешь ли. Ты не хочешь служить мне. Ты хочешь только самого себя.

Гневная дрожь сотрясла его тело, когда она повторила: «Ты не хочешь служить мне». Все райское блаженство в момент исчезло из него.

– Нет, – раздраженно сказал он, – я не хочу служить тебе, потому что служить-то нечему. То, чему ты требуешь от меня служить, – пустота, абсолютная пустота. Это даже не ты, это просто твоя женская суть. А я и гроша ломаного не дам за твое женское эго – это тряпичная кукла.

– Ха! – насмешливо воскликнула она. – Вот как ты обо мне думаешь, да? И ты еще имеешь наглость утверждать, что любишь меня.

Она отвернулась, чтобы уйти домой.

– Тебе нужно райское неведение, – сказала она, обращаясь к нему, сидящему наполовину в тени, снова. – Я знаю, что это означает, спасибо. Ты хочешь, чтобы я была твоей собственностью, чтобы я не критиковала тебя или не имела собственного мнения. Ты хочешь, чтобы я просто была твоей вещью! Нет уж, благодарю покорно! Если тебе нужно именно это, то полно женщин, которые с радостью дадут тебе это. Есть множество женщин, которые лягут на землю, чтобы ты прошел по ним – вот и иди к ним, если это то, что тебе нужно, иди к ним.

– Да, – сказал он, теряя от ярости дар речи. – Я хочу, чтобы ты забыла о своей самовлюбленной воле, своем испуганном эгоистическом отстаивании собственных прав, вот что мне нужно. Я хочу, чтобы ты настолько полно доверяла себе, чтобы могла дать себе волю.

– Дать себе волю! – насмешливым эхом отозвалась она. – Я прекрасно могу дать себе волю, с легкостью. Это ты не можешь дать себе волю, это ты цепляешься за себя, словно это и есть твое единственное сокровище. Ты – ты учитель воскресной школы, ты – ты проповедник.

Столько правды было в ее словах, что он остолбенел и перестал обращать на нее внимания.

– Я не имею в виду, что ты должна дать себе волю в дионисийском экстазе, – сказал он. – Я знаю, что ты сможешь. Но экстаз мне ненавистен, дионисийский ли он или какой-нибудь другой. Ты становишься похожим на белку в колесе. Я не хочу, чтобы ты задумывалась о себе,

я хочу, чтобы ты просто была рядом и забыла о себе, не настаивала ни на чем, а просто радовалась, была уверенной и равнодушной.

– А кто здесь настаивает? – насмешливо сказала она. – Кто не перестает настаивать? Уж точно не я.

В ее голосе слышалась усталая, насмешливая раздраженность. Он замолчал на какое-то время.

– Я знаю, – сказал он, – что пока каждый из нас настаивает в чем-то перед другим, мы полностью ошибаемся. Но мы продолжаем и согласия нам не видать.

Они молча сидели на берегу под сенью деревьев. Ночь вокруг них была светлой, они же сидели в темноте и едва сознавали, что происходит.

Постепенно ими овладела тишина и покой. Она робко положила свою руку на его. Их руки мягко и тихо сомкнулись в спокойствии.

– Ты правда любишь меня? – спросила она.

Он рассмеялся.

– Я называю эти слова твоим боевым кличем, – забавляясь, ответил он.

– Что? – воскликнула она, рассмешенная и по-настоящему удивляясь.

– Твоя настойчивость – твой боевой клич: «Брангвен, Брангвен» – старый воинственный клич.

Твой клич: «Ты любишь меня? Сложи оружие или умри».

– Нет, – умоляюще сказала она, – вовсе не так. Во все не так. Но я же должна знать, что ты любишь меня, разве не так?

– В таком случае знай и закончим на этом.

– Но ты ведь любишь меня?

– Да, люблю. Я люблю тебя и знаю, что это навсегда. А раз это навсегда, больше не стоит об этом говорить.

Она несколько мгновений помолчала, охваченная восторгом и сомнениями.

– Ты уверен? – спросила она, радостно прижимаясь к нему.

– Совершенно уверен – итак, закончим на этом – прими это и хватит об этом.

Она еще ближе придвинулась к нему.

– Хватит об этом? – счастливо пробормотала она.

– Хватит беспокоиться, – сказал он.

Она прильнула к нему. Он прижал ее к себе и мягко, нежно поцеловал ее. Он чувствовал такую умиротворенность и божественную свободу, просто обнимая и нежно целуя ее, лишенный всяких мыслей и желаний или воли, просто сидел неподвижно рядом с ней, чувствовал совершенное умиротворение и единение, в покое, который не было сном, а был сутью блаженства. Удовлетворяться блаженством, без всяких желаний или настойчивости, вот это и был рай: сидеть рядом в счастливой неподвижности.

Она сидела, прижавшись к нему, очень долго, и он осыпал ее легкими поцелуями – ее волосы, лицо, уши, нежно, мягко, как падают капли росы. Но его теплое дыхание на ушах вновь взволновало ее, зажгло древнее разрушительное пламя. Она прижалась к нему и он почувствовал, что ее кровь изменяет свой состав, словно ртуть.

– Но мы же так и будем тихо сидеть, правда? – спросил он.

– Да, – ответила она, словно подчиняясь ему.

И она продолжала прижиматься к нему. Но через какое-то время она отстранилась и взглянула на него.

– Мне нужно домой, – сказала она.

– Правда? Как жаль, – ответил он.

Она наклонилась вперед и подставила губы для поцелуя.

– Тебе и правда жаль? – улыбаясь, прошептала она.

– Да, – ответил он, – жаль, что нельзя так оставаться все время.

– Все время? Правда? – пробормотала она, когда он целовал ее. А затем проворковала, словно в ее горле булькала вода: – Поцелуй, поцелуй меня!

И она лгнула к нему все сильнее и сильнее. Он осыпал ее поцелуями. Но и он знал, что ему нужно, у него тоже были желания. Сейчас ему было нужно только это нежное единение, и больше ничего, никакой страсти. Поэтому вскоре она отстранилась от него, надела шляпку и отправилась домой.

На следующий день, однако, он ощутил томление и желание. Он подумал, что возможно, он был неправ. Возможно, он был неправ, когда пришел к ней с представлениями о том, что ему нужно. Было ли это лишь представлением или же это было преобразованное глубокое томление? Если последнее, то как случилось, что он все время говорил о удовлетворении чувств? Эти два понятия не очень-то между собой согласовываются.

Внезапно перед ним возникла проблема. Она была простой, совершенно простой. С одной стороны, он знал, что ему больше не нужно дальнейшее чувственное познание – ему требовалось что-то большее, более темное, чем может дать обыденная жизнь. Он вспомнил африканские фетиши, которые он видел в квартире Халлидея. Ему на ум пришла одна статуэтка – около двух футов в высоту, высокая, стройная, элегантная фигурка, привезенная из Западной Африки, выполненная из темного дерева, блестящая и гладкая. Это была женщина с волосами, уложенными в высокую прическу в виде дынеобразного купола. Он живо припомнил ее: из всех она нравилась ему больше всего. У нее было длинное и изящное тело, лицо было поразительно крошечным, как у жука, на ее шее были ряды круглых тяжелых колец, словно витая колонна. Он не мог не запомнить ее: ее удивительную элегантность, мелкие, как у жука, черты лица, великолепное длинное изящное тело на коротких уродливых ножках с сильно выдающимися ягодицами, неожиданно тяжелыми для таких стройных, длинных бедер. Она знала то, чего не знал он. За ее плечами стояли тысячелетия истинно плотского, совершенно недуховного знания. Должно быть, прошли тысячелетия с момента загадочного вымирания ее народа – то есть с того момента, когда связь между чувствами и откровенного разума разорвалась, превращая словно по волшебству все ощущения в один тип – чувственные.

Тысячелетия назад то, что сейчас занимало его, должно быть, происходило в этих африканцах: доброта, святость, желание созидать и созидательное счастье, – обо всем этом следовало забыть и оставить только стремление к познанию одного типа – бездумного продвигающего вперед познания, осуществляемого чувствами, познания, начинающегося и заканчивающегося в чувствах, мистического познания через разложение и распад, такого познания, которым обладают жуки, живущие исключительно в мире порока и холоде разложения. Вот почему ее лицо напоминало лицо жука, вот почему египтяне поклонялись катающему шарики скарабее – потому что он знал, что значит обрести знание через порок и разложение.

После смерти, после того момента, когда душа в невыразимых страданиях вырывается прочь из своих органических пут, словно падающий с дерева лист, нам предстоит еще долгий путь. Мы разрываем связи с жизнью и надеждой, мы отрываемся от чистой целостной сути, от созидания и свободы, и мы попадаем в невероятно долгий – как у тех, кто сделал эту статуэтку – процесс истинно чувственного познания, познания через волшебство распада.

Только сейчас он понял, насколько длителен этот процесс – после разрушения созидательного духа пройдут еще тысячелетия. Он понял, что есть великие тайны, которые нужно раскрыть, тайны чувственности, бездумности, ужасные тайны, которые выходят за пределы фаллического культа. Насколько же продвинулись эти западные африканцы в своей извращенной культуре, как далеко они ушли от фаллического познания? Очень, очень далеко.

Биркин вновь припомнил женскую фигурку – удлиненное, длинное, бесконечно длинное тело, удивительные, до необычного тяжелые ягодицы, длинная, скованная оковами шея, лицо с мелкими, как у жука, чертами. Это выходило далеко за пределы всего, что только может охватить фаллическое познание.

Оставался этот способ реализовать себя, так, как делали эти африканцы. Белокожие народы делают это по-другому. У белых народов за спиной стоит арктический север, огромные пространства льда и снега, им суждено разрушительное познание через холод, смерть в снегах. В то время как жители Западной Африки, которых сдерживают обжигающие, несущие смерть



просторы Сахары реализуют себя в разрушении солнцем, разлагаясь под волшебными солнечными лучами.

Так значит, это все, что осталось? Неужели больше не осталось ничего, кроме как разорвать связи со счастливым созидательным началом, неужели время пришло? Неужели дни нашей созидательной жизни закончились? Неужели нам остались только странные, ужасные остатки в виде познания через разложение, знание, свойственное жителем Африки, но неизвестное нам, северянам с белокурыми волосами и голубыми глазами?

Биркин подумал о Джеральде. Он был одним из этих странных восхитительных белокурых демонов с севера, реализующих себя в разрушительном и загадочном холоде. Неужели ему суждено умереть через такое познание, через этот процесс морозного познания, умереть от идеального холода? Был ли он посланником, предвестником всеобщего разложения на белизну и снег?

Биркину стало страшно. К тому же, когда он зашел в своих размышлениях так далеко, он почувствовал усталость. Внезапно его странное, напряженное внимание прорвалось, он больше не мог обдумывать эти загадки. Был и еще один путь, путь свободы. Существовал блаженный переход в чистое, одинокое существование, когда каждая отдельная душа становится над любовью и желанием ради обретения союза, который крепче любого эмоционального тисканья, – восхитительное состояние свободного гордого одиночества, которое связывало себя постоянными нитями с другим существом, которое подчиняется ярму и цепям любви, но никогда не теряет своей гордой отдельной независимости, даже любя и отдавая себя другим. Это был другой путь, только этот путь и оставался. И он должен следовать ему. Он подумал об Урсуле, о том, насколько нежной и утонченной она была, насколько нежной была ее кожа, словно его собственная кожа была совершенной противоположностью. Она действительно была такой удивительно нежной и чувствительной. Почему он забыл про нее? Он должен немедленно отправиться к ней. Он должен попросить ее выйти за него замуж. Они должны немедленно пожениться, дать друг другу определенные клятвы, вступить в определенный союз. Он должен немедленно пойти и спросить ее, сейчас же! Нельзя терять ни минуты!

Он быстрым шагом пошел в Бельдовер, едва осознавая свои действия. Он увидел город на склоне холма, не беспорядочно раскинувшийся, но словно заключенный внутри прямых, ровных рядов шахтерских домов, образуя большой квадрат, и в его фантазиях он казался ему Иерусалимом. Весь мир казался ему странным и сверхъестественным.

Дверь ему открыла Розалинд. Она слегка вздрогнула, как это обычно делают молодые девушки, и сказала:

– О, я скажу папе.

С этим она исчезла, оставив Биркина в холле рассматривать репродукции работ Пикассо, которые совсем недавно привезла Гудрун. Он восхищался этим почти колдовским, плотским восприятием мира, когда появился Вилл Брангвен, раскатывая рукава рубашки.

– Сейчас, – сказал Брангвен, – я надену пиджак.

И он тоже на мгновение исчез. Затем он возвратился и открыл дверь гостиной, говоря:

– Вы должны меня извинить, я кое-что делал в сарае. Проходите, пожалуйста.

Биркин прошел в комнату и сел. Он взглянул на радостное, красноватое лицо другого мужчины, на его узкий лоб и горящие глаза, на довольно чувственный большой рот с пухлыми широкими губами под черными подстриженными усами. Разве не странно, что это было человеческое существо? Кем казался себе Вилл Брангвен и насколько это было незначительным по сравнению с его реальной сущностью. Биркин видел только странную, непередаваемую, почти бессвязную коллекцию страстей и желаний, подавленных чувств и привычек, закоренелых идей, – и все это не смешалось и выступало по одиночке в этом стройном, приближающемся к пятидесятилетию мужчине с радостным лицом, который был таким же нерешительным, как и в двадцать лет, и таким же грубым. Как он мог быть отцом нежной Урсулы, когда он был столь груб. Он не мог быть отцом. Он передал только частичку живой плоти, но дух передался ей

не от него. Дух этот не принадлежал ни одному из ее предков, он появился в ней из неведомого. Его ребенок – это дитя тайны, или же это нерукотворное создание.

– Погода уже не такая отвратительная, как была, – сказал Брангвен, выждав мгновение. Между двумя мужчинами не было точек соприкосновения.

– Да, – согласился Биркин. – Полнолуние было два дня назад.

– О! Так вы верите, что луна влияет на погоду?

– Нет, мне так не кажется. Я недостаточно много знаю об этом.

– Знаете, что говорят? Луна и погода могут меняться вместе, но изменение луны не изменит погоду.

– Вот как? – спросил Биркин. – Я такого не слышал.

Повисла пауза. Затем Биркин сказал:

– Я вас задерживаю? Вообще-то я пришел к Урсуле. Она дома?

– По-моему, нет. Мне кажется, она пошла в библиотеку. Сейчас посмотрю.

Биркин слышал, как он спрашивает о ней в столовой.

– Ее нет, – возвращаясь, сказал он. – Но она долго не задержится. Вы хотели поговорить с ней?

Биркин посмотрел на собеседника удивительно спокойными, ясными глазами.

– Если откровенно, – сказал он, – я хотел попросить ее выйти за меня замуж.

Искорка света загорелась в золотисто-карих глазах пожилого мужчины.

– О-о! – протянул он, взглянув на Биркина, но затем опуская глаза под спокойным, упорным, настороженным взглядом другого мужчины: – Значит, она вас ожидает?

– Нет, – сказал Биркин.

– Нет? Я и не знал, что тут такое заварилось, – неловко улыбнулся Брангвен.

Биркин посмотрел на него и сказал про себя: «Интересно, почему это должно было „завариться“! но вслух он сказал:

– Нет, пожалуй, это несколько внезапно, – при этом, вспоминая об их отношениях с Урсулой, он добавил – хотя я не знаю...

– Довольно внезапно, да? О! – сказал Брангвен, довольно озадаченный и расстроенный.

– С одной стороны да, – ответил Биркин. – Но не с другой.

Повисла короткая пауза, после чего Брангвен сказал:

– Да, она в своем репертуаре...

– О да! – спокойно сказал Биркин.

В резком голосе Брангвена появилась дрожь, когда он ответил:

– Хотя мне также хотелось бы, чтобы она не торопилось. Бесплезно оглядываться вокруг, когда уже будет поздно.

– О, поздно никогда не будет, – сказал Биркин, – раз уж на то пошло.

– Что вы имеете в виду? – спросил отец.

– Если человек раскаивается, что вступил в брак, значит, брак заканчивается, – сказал Биркин.

– Вы так считаете?

– Да.

– Да, но это только ваше мнение.

Биркин, не произнося ни слова, подумал про себя: «Именно так. А что касается твоего мнения, Вилл Брангвен, то нужно его обосновать».

– Полагаю, – сказал Брангвен, – вы знаете, что мы за люди? Как она была воспитана?

«Она, – подумал про себя Биркин, вспоминая, как ругался в детстве, – она еще та кошка».

– Знаю ли я, как она была воспитана? – произнес он вслух.

Он, казалось, намеренно выводит Брангвена из себя.

– Ну, – сказал Брангвен, – в ней есть все необходимое девушке – насколько это возможно, насколько мы могли ей это дать.

– Уверен, что это так, – сказал Биркин и разговор опасным образом застопорился.

Брангвен постепенно раздражался. Одним своим присутствием Биркин вызывал в нем раздражение.

– И я не хочу, чтобы она потом дала задний ход, – сказал он гулким голосом.

– Почему? – спросил Биркин.

Это короткое слово выстрелило в голове Брангвена, точно ружейный выстрел.

– Почему? Потому что я не верю в ваши новомодные поступки и новомодные идеи – туда-сюда, словно лягушка в аптекарской банке. Я с подобным никогда не смирюсь.

Биркин наблюдал за ним пристальным, лишенным эмоций взглядом. Между двумя мужчинами нарастало острое противостояние.

– Да, но разве мои поступки и идеи новомодные? – спросил Биркин.

– Они-то? – Брангвен угодил в свою ловушку. – Я говорю не о вас конкретно, – сказал он. – Я имею в виду, что мои дети были воспитаны так, чтобы думать и поступать, как велит религия, как был воспитан я сам и мне не хочется видеть, что они отступили от этого.

Повисла опасная пауза.

– И за пределы этого? – спросил Биркин.

Отец колебался, он был в не лучшем положении.

– Да? Что вы имеете в виду? Все, что я хочу сказать, это то, что моя дочь... – он оборвал себя на полуслове и замолчал, поняв тщетность своих попыток.

Он чувствовал, что в некоторой степени он сбился с дороги.

– Разумеется, – сказал Биркин. – Я не хочу никому навредить или плохо повлиять. Урсула поступит так, как ей захочется.

Наступила полная тишина, потому что им совершенно не удалось понять друг друга. Биркину стало скучно. Ее отец был существом, отставшим от жизни, он был складом отзвуков старого мира. Молодой человек не сводил глаз с пожилого.

Брангвен поднял взгляд и увидел, что Биркин смотрит на него. На его лице появилось выражение сдерживаемого гнева, униженности и ощущения, что он проигрывает собеседнику в силе.

– Это что касается убеждений, – сказал он. – Я лучше увижу своих дочерей мертвыми, чем они окажутся на побегушках у первого мужчины, который подойдет и свистнет им.

Странное уязвленное сияние появилось в глазах Биркина.

– Что касается этого, – сказал он, – то насколько мне известно, скорее я буду на побегушках у женщины, а не она.

Вновь повисла пауза. Отец был несколько озадачен.

– Я знаю, – продолжал он, – что она будет делать то, что захочет – она всегда так делала. Я сделал для них все, что мог, но это неважно. Они всегда делать то, что доставляет им удовольствие, но если будут продолжать в таком же духе, то им останется только доставлять удовольствие самим себе. Но она обязана помнить, что у нее есть мать и я...

Брангвен обдумывал свои мысли.

– И вот что я вам скажу, я скорее закопаю их в могилу, чем увижу, что они занимаются той пустой ерундой, которую сегодня встретишь на каждом углу. Я скорее похороню их...

– Да, только понимаете, – медленно сказал Биркин усталым голосом, вновь начиная скучать от такого поворота разговора, – ни вам ни мне они не дадут возможности похоронить себя, потому что не их удел быть похороненными.

Брангвен взглянул на него с внезапной вспышкой нетерпеливого гнева.

– Итак, мистер Биркин, – сказал он, – я не знаю, зачем вы сюда пришли и не знаю, о чем просите. Но мои дочери – это мои дочери и мой долг присматривать за ними, пока смогу.

Внезапно Биркин нахмурился, его глаза насмешливо уставились на Брангвена. Но он остался совершенно неподвижным и спокойным. Опять последовала пауза.

– Я не имею ничего против того, чтобы вы женились на Урсуле, – через некоторое время начал Брангвен. – Это меня не касается, она будет делать так, как ей хочется, независимо от того, есть я или меня нет.

Биркин отвернулся, выглянул в окно и позволил себе забыть. В конце концов, что бы это дало? Было бесполезно продолжать этот разговор. Он будет сидеть до тех пор, пока Урсула не

вернется домой, затем он поговорит с ней, затем уйдет. Он не собирался решать этот вопрос через ее отца. Это все было ненужным и ему самому не нужно возобновлять его.

Мужчины сидели в полной тишине, Биркин почти забыл, где находится. Он пришел просить ее стать его женой – хорошо, в таком случае, он будет ждать и спросит ее. Но о том, что она ответит, согласится она или нет, он не думал. Он скажет ей все, ради чего пришел, только об этом он и думал. Он признавал, что для него этот дом не имел совершенно никакого значения. Но сейчас все казалось ему предопределенным. Он видел только на один шаг перед собой, не более. От всего остального на какое-то время он отстранился. Чтобы решить эти вопросы, нужно было положиться на волю случая и на судьбу.

Через какое-то время они услышали скрип калитки. Они увидели, как Урсула поднимается по ступенькам со стопкой книг под мышкой. Ее лицо светилось и было, как обычно, отстраненным. И эта отстраненность, говорившая, что она не совсем здесь, что она не вполне отдает себе отчет о реальности, выводила ее отца из себя. У нее было сводящее с ума свойство испускать собственный свет, который отгораживал ее от реального мира и в котором она выглядела сияющей, точно залитой солнцем.

Они услышали, как она прошла в столовую и бросила стопку книг на стол.

– Ты принесла мне «Спутник девушки»? – окликнула ее Розалинд.

– Да, принесла. Но я забыла, какой номер ты просила.

– Еще бы! – с досадой бросила Розалинд. – Не стоило и удивляться.

Затем они услышали, что она что-то добавила приглушенным тоном.

– Где? – воскликнула Урсула.

И опять послышался приглушенный голос ее сестры.

Брангвен открыл дверь и позвал ее своим сильным, пронзительным голосом:

– Урсула!

Она мгновенно появилась, даже не сняв шляпку.

– О, как поживаете! – воскликнула она, увидев Биркина и озадаченная, словно ее застigli врасплох.

Он удивился такому ее поведению, ведь она знала, что он здесь. Она выглядела необычно, ярко, сногшибательно, словно смущаясь, видя перед собой реальный мир, частью которого она не являлась, имея свой собственный совершенный яркий мир своей сущности.

– Я помешала вашему разговору? – спросила она.

– Нет, только мертвому молчанию, – сказал Биркин.

– О, – рассеянно, с отсутствующим видом сказала Урсула.

Их присутствие не имело для нее важности, она была отстранена и не вбирала их в себя. Ее отца такое поведение всегда сердило, поскольку она наносила этим ему легкую обиду.

– Мистер Биркин пришел поговорить с тобой, не со мной, – сказал ее отец.

– Вот как! – рассеянно воскликнула она, словно это ее не касалось.

Затем, взяв себя в руки, она повернулась к нему с довольно радостным, но все еще легкомысленным выражением, и спросила:

– У вас что-нибудь важное?

– Надеюсь, – иронично ответил он.

– Судя по всему, он собирается сделать тебе предложение, – сказал ее отец.

– О, – сказала Урсула.

– О, – насмешливо передразнил ее отец. – Тебе больше нечего сказать?

Она сжалась, точно ее ударили.

– Вы правда пришли сделать мне предложение? – спросила она Биркина, точно это была шутка.

– Да, – ответил он. – Полагаю, я пришел сделать предложение.

Казалось, он немного стеснялся последнего слова.

– Вот как? – воскликнула она со своей рассеянной живостью. Он мог говорить все, что угодно.

Она казалась довольной.

– Да, – ответил он. – Я хочу – я хочу, чтобы вы согласились выйти за меня замуж.

Она взглянула на него. В его глазах мелькали смешанные чувства, ему было что-то нужно от нее и вместе с тем не нужно. Она слегка поежилась, словно он видел ее насквозь и от этого ей было больно. Она помрачнела, ее душу заволокли тучи и она отвернулась. Ее вытащили из ее светлого мира одиночества. И ей было страшно соприкасаться, все это время ей все казалось неестественным.

– Да, – туманно сказала она сомневающимся, отсутствующим голосом.

Сердце Биркина мгновенно сжалось в какой-то горькой агонии. Для нее все это было пустым звуком. Он вновь ошибся. Она жила в собственном самодостаточном мире. Он и его надежды были лишь случайностями, нарушающими ее границы.

Это привело ее отца в крайнюю степень дикого раздражения. Из-за нее ему приходилось соотносить все это со своей жизнью.

– Итак, что ты скажешь? – воскликнул он.

Она сжалась. Затем полуиспуганно взглянула на отца и сказала:

– Я же молчу, так? – словно боялась, что выдала себя.

– Да, – раздраженно сказал он. – Но тебе не обязательно выглядеть полной дурой. У тебя же еще остались мозги или нет?

Она отшатнулась от него с ощущением враждебности.

– Что значит, остались ли у меня мозги? – повторила она угрюмым отчужденным голосом его слова.

– Ты же слышала, что у тебя спросили? – яростно закричал ее отец.

– Разумеется, слышала.

– Ну и что, тебе трудно ответить? – громовым голосом закричал отец.

– А нужно?

Такой дерзкий ответ лишил его дара речи. Но он ничего не сказал.

– Нет, – сказал Биркин, чтобы смягчить напряженность, – сразу отвечать не нужно. Можете ответить, когда захотите.

Ее глаза метнули мощные искры.

– Зачем мне нужно что-то отвечать? – воскликнула она. – Это ваше личное дело, меня это никак не касается. Зачем вы оба давите на меня?

– Давят на нее! Давят на нее! – воскликнул ее отец в горьком злобном гневе. – Давить на тебя!

Да жаль, что нельзя так надавить на тебя, чтобы ты начала вести себя разумно и прилично!

Давят на нее! Ты за это ответишь, ты своевольная тварь!

Она замерла, стоя в центре комнаты, и ее лицо угрожающе сияло. Она застыла в удовлетворенном противостоянии. Биркин взглянул на нее. Он тоже был зол.

– Никто на вас не давит, – сказал он очень мягким пугающим голосом.

– Нет, давит, – воскликнула она. – Вы вдвоем стремитесь меня во что-то втянуть.

– Это ваше заблуждение, – иронично ответил он.

– Заблуждение! – воскликнул ее отец. – Упрямая дура, вот кто она.

Биркин поднялся с места и сказал:

– Хорошо, вернемся к этому через какое-то время.

И не говоря больше ни слова, он вышел из дома.

– Дура! Дура! – кричал на нее отец с крайней горечью в голосе.

Она вышла из комнаты и поднялась наверх, что-то напевая себе под нос. Но она трепетала всем телом, словно после какой-то ужасной схватки. Из своего окна она видела, как Биркин идет вверх по дороге. Он шел в таком состоянии праведного гнева, что она все время продолжала думать о нем. Он был смешон, но она боялась его. Ей казалось, что она избежала какой-то опасности.

Ее отец сидел внизу, обессиливший, униженный и разочарованный. Казалось, после каждого беспочвенного столкновения с Урсолой, в него вселялись тысячи демонов. Он ненавидел ее так, словно единственное, чем он жил, была эта крайняя ненависть к ней. В его сердце был самый



настоящий ад. Но он вышел из себя, чтобы спастись. Он знал, что должен поддаться отчаянию, смириться, позволить отчаянию охватить себя и покончить с этим.

На лице Урсулы появилось замкнутое выражение, она отгородила себя от всех них. Ощувив на себе собственный удар, она стала жесткой и завершённой в себе, словно драгоценный камень. Она была яркой и неуязвимой, совершенно свободной и счастливой, совершенно раскрепощённой в своем самообладании. Ее отцу придется научиться не замечать ее блаженное забвение, иначе она каждый раз начнет сходить с ума. Эта отчужденность от всего и вся настолько захватила ее, что чем бы она не занималась, в ее лице ни на миг не гас этот яркий свет.

И еще много дней она будет пребывать в таком состоянии, в этом ярком, неприкрытом состоянии чистой импульсивности, не замечая в сущности ничего, кроме самой себя, но всегда готовой снизойти до кого-то. О, горько же приходилось мужчинам, находящимся рядом с ней, ее отец проклинал свое отцовство. Но он должен научиться не замечать ее, не видеть.

Она совершенно не ослабляла своего противостояния, когда находилась в таком состоянии: такая яркая, светлая и привлекательная в своем крайнем противостоянии, такая чистая и в то же время ей никто не верил, и она никому не нравилась. Выдавал ее голос, удивительно четкий и отталкивающий. Только Гудрун находилась в согласии с ней. Именно в такие моменты близость между сестрами была самой полной, их разумы словно сливались. Они ощущали, что их связывают крепкие, неразрывные узы взаимопонимания, превосходящие все остальное. И в эти дни остро ощущаемой разлуки и такой близости между двумя его дочерьми, отца словно касалось дыхание смерти, как будто все его существо разрушалось. Он был раздражителен до безумия, он не знал покоя, казалось, его дочери уничтожают его. Перед ними он лишался дара речи и был бессилен. Его заставляли вдыхать собственную смерть. Он проклинал их в душе и желал только избавиться от них.

А они продолжали блистать своей легкой женской божественностью, которая была так приятна глазу. Они поверяли друг другу свои сокровенные мысли, их откровения делали их невероятно близкими друг другу, они выдавали друг другу все секреты до единого. Они ничего не утаивали, они рассказывали все, пока не преодолевали границы зла. Они вкладывали друг другу в руки знание, они извлекали все ароматы до последнего из яблока познания. Удивительно, насколько их познания дополняли друг друга, насколько знания одной сочетались со знаниями другой.

Урсула видела мужчин как своих сыновей, она сочувствовала их желаниям и восхищалась их смелостью и удивлялась им, как мать удивляется своему ребенку, восторгаясь в некоторой степени их неиспорченности. Но для Гудрун они были вражеским станом. Она боялась и презирала их и даже слишком сильно уважала их за их поступки.

– Разумеется, – с легкостью говорила она, – в Биркине есть такое качество жизни, которое встречается редко. В нем есть необычайно богатый источник жизни, по-настоящему удивительно, как он умеет отдавать себя чему-то. Но в жизни есть столько всего, о чем он не имеет ни малейшего понятия. Либо он вообще не подозревает о существовании этого, либо отвергает его, считая совершенно недостойным внимания – то, что другим людям кажется жизненно важным. В некотором смысле он не достаточно умен, он слишком много сил растрачивает по мелочам.

– Да, – воскликнула Урсула, – в нем слишком много от проповедника. Он что-то вроде священника.

– Именно! Он не может слышать, что хотят сказать другие люди – он просто не может слышать. Его собственный голос слишком громок.

– Да. Он заглушает голос другого человека.

– Заглушает голос другого человека, – повторила Гудрун. – При помощи грубой силы. Разумеется, это бесполезно. Никого нельзя убедить силой. Поэтому с ним невозможно разговаривать – а уж жить с ним, думаю, еще больше невозможно.

– Ты считаешь, что с ним нельзя жить? – спросила Урсула.

– Мне кажется, это отнимало бы слишком много сил, чересчур утомляло. Каждую минуту он заглушал бы тебя своим криком и заставлял подчиняться себе, не оставляя выбора. Он бы полностью контролировал тебя. Он не может допустить, что кроме его разума есть и другие. И в то же время настоящий недостаток его ума в том, что ему не хватает самокритики. Нет, мне кажется, это было бы совершенно невыносимо.

– Да, – рассеянно согласилась Урсула. Она была согласна с Гудрун только наполовину. – Вся беда в том, – сказала она, – что через две недели любой мужчина становится невыносимым.

– Это просто ужасно, – сказала Гудрун. – Но Биркин – в нем слишком много самоуверенности. Он не потерпит, если ты скажешь, что твоя душа принадлежит тебе. Зато его душа...

– Точно, – подхватила Урсула. – У других должна быть только его душа.

– Именно! Можешь ли вообразить себе нечто более ужасное?

Сказанное было настолько точным, что ее передернуло от отвращения.

Эта дрожь отвращения продолжалась в ней некоторое время, и она погрузилась в глубокую меланхолию.

Затем все в ней начало восставать против Гудрун. Та так тщательно поставила крест на ее жизни, заставила все выглядеть так уродливо и так однозначно... На самом деле, даже если то, что Гудрун говорила о Биркине, было верным, все остальное тоже было верным. Но Гудрун подвела под ним жирную черту и перечеркнула его, словно закрытый счет. Вот он – суммирован, оплачен, согласован и вычеркнут. А это было неправдой. Такой максимализм Гудрун, ее умение разделяться с людьми и вещами одной фразой, все это было фальшью. Урсула начала восставать против своей сестры.

Однажды они прогуливались по переулку и увидели на самой верхней ветке куста громко распевавшую птичку. Сестры остановились посмотреть на нее. На лице Гудрун появилась ироничная улыбка.

– Какой важной она себя ощущает! – улыбнулась Гудрун.

– Не правда ли? – воскликнула Урсула с ироничной гримаской. – Это самый настоящий летающий Ллойд Джордж!<sup>50</sup>

– Верно! Летающий Ллойд Джордж! Вот кто это! – восторженно воскликнула Гудрун.

И в течение многих дней эти настырные, надоедливые птицы представлялись Урсуле в виде тучных, приземистых политиков, громко выкрикивающих что-то со своих мест, эдаких мелких людишек, стремящихся заставить услышать себя любой ценой.

Одно это вызывало в ней презрения.

Стайка овсянок внезапно выпорхнула перед ней на дорогу. Они смотрели на нее с таким сверхъестественным невинным выражением, словно горящие желтые стрелы, выпущенные в воздух с какой-то неведомой целью, что она сказала себе: «Нет, это все-таки несправедливо называть их маленькими Ллойд Джорджами. Мы совершенно ничего о них не знаем, они для нас неведомая сила. Несправедливо смотреть на них как на человеческих существ. Они принадлежат к другому миру. Какая же глупая вещь этот антропоморфизм!»<sup>51</sup> Гудрун просто несносная гордячка, раз она решила, что может быть мерой всему, может сводить все к человеческим стандартам. Руперт совершенно прав, человеческие существа, раскрашивающие вселенную своими портретами, просто скучны. Слава Богу, вселенная не обладает человеческими качествами!».

Ей казалось оскорбительным считать этих птиц маленькими Ллойд-Джорджами, это, казалось, разрушает устои жизни. Это было неискренне по отношению к малиновкам, это была клевета. Однако она и сама это делала. Но только под влиянием Гудрун: это было ее оправданием.

---

<sup>50</sup> Ллойд Джордж – премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг. от либеральной партии.

<sup>51</sup> Антропоморфизм – здесь: наделение животных человеческими качествами.

Итак, она отстранилась от Гудрун и от всего, что та олицетворяла, и вновь вернулась в своих мыслях к Биркину.

Она не видела его с момента, когда его предложение потерпело крах. Ей и не хотелось, потому что она не хотела, чтобы он вновь обрушил на нее свое предложение. Она знала, что имел в виду Биркин, когда просил ее выйти за него замуж; рассеянно, безмолвно она это знала. Она понимала, *что* за любовь и *что* за отдача были ему нужны. Но она вовсе не была уверена, что ей самой была нужна именно такая любовь. Она вовсе не была уверена, что ей было нужно это взаимное единство. Нет, ей нужна была невыразимая словами близость. Она хотела получить его полностью, до конца, сделать его своим (о, не произнося ни слова!), стать близкой ему. Выпить его до последней капли – как эликсир жизни. Она делала великие обещания себе о том, что она готова согреть подошвы его ног между своих грудей подобно тому, как это делалось в той тошнотворной поэме Мередита. Но только в том случае, если он, ее возлюбленный, будет полностью любить ее, полностью отречься от себя. И интуитивно она понимала, что он никогда настолько не отречется от себя. Он не верил в крайнее самоотречение. Он открыто это заявил. Это был его вызов. За это она готовилась сражаться с ним. Поскольку она верила в возможность полного подчинения любви. Она верила, что любовь была во много раз сильнее человека. Он же утверждал, что человек гораздо сильнее любви или любых отношений. Для него яркая одинокая душа принимала любовь как одно из условий, условий своего собственного равновесного состояния. Она же верила, что любовь была всем. Человек должен был вырасти до нее. Она должна высосать из него все соки. Пусть он будет безоглядно принадлежать ей и она в ответ станет его смиренной рабыней – хочется ли ей того или нет.

## Глава XX

### Битва

После неудавшегося предложения Биркин в слепой ярости поспешил прочь из Бельдовера. Он чувствовал себя полным дураком, он понимал, что все произошедшее было самым настоящим фарсом. Но не это озадачивало его. Его необычайно, до абсурда злило, что Урсула при каждом удобном случае неизменно вставляла свой до боли известный вопрос: «Зачем вы на меня давите?» и при этом всегда замыкалась в своем восхитительном высокомерии. Он направился напрямик в Шортландс. В библиотеке он нашел Джеральда, недвижно стоявшего у камина спиной к огню с видом человека, совершенно и полностью опустошенного тревогами и заботами, человека, у которого внутри зияет пустота. Он сделал все, что намеревался сделать, – и теперь он не мог найти себе подходящее занятие. Он мог бы сесть в машину, мог бы отправиться в город. Но ему не хотелось ни садиться в машину, ни ехать в город, ни идти к Тирлби. Ему не хотелось двигаться, его охватил приступ вялости, он был словно отключенный от питания механизм.

Джеральду, которому скука была неведома, который постоянно чем-нибудь занимался, который никогда не задавался вопросом: «А что теперь?», все это было невероятно мучительно. Сейчас ему казалось, что внутри него все застыло. Ему больше не хотелось делать ничего, что дало бы какой-то результат. Омертвевшая часть его души просто отказывалась от всего. Он старательно пытался придумать, что можно было сделать, чтобы только заполнить свою душу, чтобы смягчить боль от сознания собственной опустошенности. Только три вещи могли бы вдохновить его, вернуть его к жизни: алкоголь или гашиш, сочувствие Биркина и женщины. В данный момент пить было не с кем. Женщин тоже не было. А Биркин ушел. Поэтому приходилось нести бремя своей опустошенности.

Когда появился Биркин, на лице Джеральда загорелась радостная улыбка.

– Клянусь Богом, Руперт, – сказал он, – я только что пришел к заключению, что ничто в этом мире не может быть важнее человека, который может смягчить боль твоего одиночества, правильного человека.

В его взгляде, обращенном к другому мужчине, сияла неподдельно восхитительная радость. Так радуется избавленный от мук человек. Лицо Джеральда было мертвенно-бледным и каким-то изможденным.

– Полагаю, ты хочешь сказать «правильная женщина», – злорадно поддел его Биркин.

– В некоторых случаях да. Если же ее нет, то ее вполне заменит неординарный мужчина.

При этом он рассмеялся. Биркин сел у камина.

– Чем ты занимался? – спросил он.

– Я? Ничем. У меня сейчас скверное настроение, меня все раздражает, я не могу ни работать, ни развлекаться. Я не знаю, может, это говорит о том, что я старею.

– То есть ты хочешь сказать, что тебе скучно?

– Может, и скучно. У меня все валится из рук. По-моему, мой боевой дух или скрылся в каком-то укромном уголке души или же вообще умер.

Биркин поднял голову и посмотрел ему прямо в глаза.

– Тебе нужно попытаться нанести сокрушительный удар по своей хандре – найти какое-нибудь занятие.

Джеральд улыбнулся.

– Возможно, – сказал он, – только было бы, что искать.

– Согласен! – мягко сказал Биркин.

Последовала долгая пауза, во время которой мужчины изучали друг на друга.

– Приходится выжидать.

– Боже! Выжидать! Чего же ты выжидаешь?

– В старину один парень заявил, что тремя противоядиями от скуки являются сон, выпивка и путешествие, – сказал Биркин.

– Все это я уже перепробовал, – ответил Джеральд. – Ты ложишься спать, и тебя мучают сны; ты напиваешься и начинаешь сквернословить; а во время путешествия ты орешь на портье в гостиницах. Нет, существуют только два лекарства – работа и любовь. Когда ты не работаешь, нужно любить.

– Значит, так тому и быть, – изрек Биркин.

– Посоветуй кого-нибудь в этом случае, – сказал Джеральд. – А то мои варианты уже давно исчерпаны.

– Неужели? И что?

– А то, что осталось только умереть, – ответил Джеральд.

– Ну, так умри, – сказал Биркин.

– Это же ни к чему не приведет, – ответил Джеральд.

Он вынул руки из карманов и потянулся за сигаретой. Он нервничал и чувствовал скованность. Он наклонился к лампе и прикурил сигарету, крепко затягиваясь. Хотя он и был один, он переоделся к ужину, как было заведено в его доме.

– Есть и третье лекарство, не уступающее двум твоим, – сказал Биркин. – Работа, любовь и борьба. Ты забыл про борьбу.

– Пожалуй, да, – сказал Джеральд. – Ты когда-нибудь боксировал?

– Нет, насколько я помню, – ответил Биркин.

– Эх...

Джеральд поднял голову вверх и медленно выпустил струйку дыма в воздух.

– А что? – поинтересовался Биркин.

– Ничего. Я подумал, что можно было бы побоксировать. Возможно, я действительно хочу нанести сокрушительный удар. Это идея.

– То есть, ты решил, что с таким же успехом ты мог нанести этот удар мне? – поинтересовался Биркин.

– Тебе? Возможно! По-дружески, разумеется.

– Еще бы! – язвительно сказал Биркин.

Джеральд облокотился на каминную доску. Он посмотрел сверху вниз на Биркина и в его глазах мелькнул страх, который можно видеть в налитом кровью и возбужденном взгляде жеребца, обращенном с застывшим ужасом на седока.

– Мне кажется, если я забуду про осторожность, то совершу какую-нибудь глупость, – сказал он.

– А почему бы и нет? – холодно ответил Биркин.

Джеральд слушал с острым нетерпением. Он не сводил глаз с Биркина, точно что-то в нем выискивая.

– Когда-то я занимался японской борьбой, – сказал Биркин. – В Гейдельберге в одном доме со мной жил японец, он кое-чему меня научил. Но особых успехов я не добился.

– Интересно! – воскликнул Джеральд. – Я никогда такого не видел. Полагаю, ты говоришь о джиу-джитсу?

– Да. Но у меня плохо получалось – я никогда этим особенно не интересовался.

– Не интересовался? А я наоборот. Как это делается?

– Если хочешь, я покажу тебе то, что сам знаю, – предложил Биркин.

– Правда? – при этом на лице Джеральда появилась непонятная напряженная улыбка. – С радостью поучусь.

– Значит, будем заниматься джиу-джитсу. Только в накрахмаленной рубашке вряд ли что получится.

– Так давай разденемся и сделаем все, как положено. Подожди-ка минутку...

Он позвонил в колокольчик, и вскоре появился лакей.

– Принеси сэндвичи и сифон, – приказал он слуге, – и больше не беспокойте меня сегодня – да, и чтобы никто другой также не беспокоил.

Слуга ушел. Джеральд обратил на Биркина горящий взор.

– И вы с японцем боролись? – спросил он. – Без одежды?

– Иногда.

– Вот как! И каким он был, как борец?

– Думаю, хорошим. Но из меня плохой судья. Он был быстрым и вертким, каким-то наэлектризованным. Удивительно, кажется, что эти люди состоят из одной только жидкой энергии, хватка у них нечеловеческая, скорее, как у осьминога.

Джеральд кивнул.

– Да, – сказал он, – это понятно уже при одном взгляде на них. У меня японцы вызывают только отвращение.

– Они отталкивают, но одновременно и притягивают. В обычное время они кажутся мертвенно-бледными. Но когда они возбуждаются и распадаются, в них появляется определенная привлекательность, они словно наполняются непонятной электрической силой – как угри.

– Ну... да, возможно.

Слуга принес поднос и поставил его на стол.

– Больше не входите сюда, – сказал Джеральд.

Дверь закрылась.

– Итак, – сказал Джеральд, – давай разденемся и начнем. Может, сперва выпьем?

– Нет, мне не хочется.

– Тогда и я не буду.

Джеральд закрыл дверь и отодвинул мебель к стенам. Комната была большой, на полу лежал толстый ковер. Затем он быстро сбросил одежду и стал ждать, когда Биркин сделает то же самое. Последний, бледный и худой, разделся и подошел к нему. Он походил скорее на призрак, чем на существо из плоти и крови, поэтому Джеральд скорее чувствовал его присутствие, а не видел его собственными глазами. В то время как сам Джеральд был реальным и осязаемым, сгустком чистой идеальной материи.



– Давай, – сказал Биркин, – я покажу тебе, чему я научился и что я помню. Разреши, я возьму тебя вот так...

И его руки сомкнулись на обнаженном теле другого мужчины. В следующее мгновение он опрокинул Джеральда и уложил его спиной на свое колено, головой вниз. Джеральд, расслабившись и сверкая глазами, вскочил на ноги.

– Забавно, – сказал он. – Повторим.

Мужчины начали бороться. Они были абсолютно разными. Биркин был высокого роста, узким в плечах, хрупким и изящным. Джеральд был крупнее. Он был крепким и плотным, с округлыми бедрами и лодыжками; контуры его тела были полными и необычайно рельефными. Казалось, он давит на землю одновременно всем своим телом, в то время как у Биркина центр тяжести был только один – в самом центре его существа. Хватка Джеральда была очень крепкой, он вкладывал в нее все силы, рассчитывал свои внезапные и неукротимые броски. Биркин же напротив, ориентировался на ситуацию, поэтому ему всегда удавалось выскальзывать. Он сталкивался с Джеральдом так, что, казалось, их тела почти не соприкасаются, подобно тому, как свободная одежда едва касается тела, и внезапно осуществлял жесткий, напряженный захват, мощь которого Джеральд ощущал всеми фибрами своего существа.

Они останавливались, обсуждали методы, отрабатывали захваты и броски; они приспособились друг к другу, подстроились под ритм соперника – между ними возникло некое подобие физического взаимопонимания. И затем устроили настоящий бой. Их бледные тела сплетались все теснее, казалось, они вот-вот сольются в одно целое. Биркин был необычайно ловок, что позволяло ему обрушиваться на партнера со сверхъестественной силой, сковывать его своими объятьями, словно волшебными чарами. Затем волшебство пропадало и Джеральд оказывался на свободе, взбудораженно устремляя вверх свое ослепительно белое тело.

Тела борцов сплетались в одно целое, прижимаясь друг к другу все плотнее и плотнее. Они были бледными и призрачными, но на теле Джеральда в местах касания возникали красные отметины, а Биркин оставался все таким же бледным и напряженным. Казалось, он проникает в более плотное, раскинувшееся тело Джеральда, что его тело пронизывает тело другого мужчины, словно стремясь ненавязчиво подчинить его себе, с быстрым колдовским предвидением сковывая каждое движение другой плоти, направляя ее и нейтрализуя, словно сильный ветер на струнах, играя на ногах и туловище Джеральда. Казалось, весь физический разум Биркина проник в тело Джеральда, словно плоть более крепкого мужчины наполнилось неуловимой, возвышенной энергией, неким могуществом, тонкой сетью, оковами опутывая мышцы Джеральда и проникая дальше, в глубины физической сущности Джеральда.

Они боролись стремительно, в каком-то экстазе, сосредоточившись и позабыв обо всем на свете – две лишенные покровов белые фигуры, сливающиеся в тесном, близком единении борьбы. И в приглушенном свете комнаты можно было разглядеть какой-то похожий на осьминога ком, связку конечностей; напряженный белый телесный клубок, молчаливо катавшийся между уставленными старыми порыжевшими книгами стенами.

Время от времени судорожно вырывалось дыхание или раздавался звук, похожий на вздох, и затем вновь продолжался быстрый стук по устланному толстым ковром полу, и звук разлепляющейся плоти. Порой в этом белом сплетенном узле полных ярости живых существ, медленно раскачивавшихся, не видно было голов – только быстрые, напряженные ноги, твердые белые спины, физический союз двух тел, впившихся друг в друга. Затем внезапно, когда борцы менялись местами, появлялась светлая, взъерошенная голова Джеральда, а в следующий момент пепельно-каштановая, похожая на тень, голова другого мужчины поднималась над клубком с широко раскрытыми, полными ужаса глазами и бессмысленным взглядом.

Скоро Джеральд без сил лежал на ковре, дыхание медленно и тяжело вздымало его грудь, а Биркин неосознанно стоял над ним на коленях. Биркин утомился сильнее. Он часто и судорожно хватал ртом воздух, он едва мог дышать. Казалось, пол раскачивается и уходит из-

под его ног, и его разум застилала полная мгла. Он не понял, как это произошло. Он потерял сознание и упал на Джеральда, а Джеральд не обратил на это внимания. Затем сознание наполовину вернулось к нему, но он видел, что все перед его глазами кружится и раскачивается. Мир кружился, все уплывало в темноту. И он постепенно, постепенно также погружался во мглу.

Он вновь пришел в себя, услышав, какой-то сильный стук снаружи. Что случилось, что это было, откуда взялись эти удары молота, сотрясающие весь дом? Он не знал. И вдруг до него дошло, что это был звук биения его собственного сердца. Но это же невозможно, звук доносился снаружи. Нет, он был внутри него, это билось его собственное сердце. И это биение отдавалось болью, напряжением, перегрузкой. Он подумал, слышал ли его Джеральд. Он не понимал, стоит он, лежит или падает.

Когда он понял, что лежит, распростершись на Джеральде, он удивился, он был изумлен. Но он сел, приподнявшись на руке, и ждал, пока его сердце не успокоится и биение не будет причинять ему боль. Боль была очень сильной, она лишала его сознания.

Но Джеральд еще больше Биркина был не в себе. Они ждали, погружившись во мрак, в небытие, и так протекло много минут, целая бесконечность.

– Конечно, – судорожно выдыхал Джеральд, – не нужно было – так сильно давить – на тебя. Нужно было – сдерживать – свою силу.

Биркин слышал его голос так, как будто его душа стояла позади него, вне его тела, и слушала. Его тело было в изможденном трансе, его души было почти не слышно. Тело не отвечало. Он знал только, что сердце постепенно билось тише. Он сейчас состоял из двух частей – духа, который вышел из него, и тела, которое превратилось в пульсирующий, неподвластный контролю поток крови.

– Я мог бы уложить тебя – используя свою силу, – выдыхал Джеральд. – Но ты все же меня побил.

– Да, – ответил Биркин, напрягая горло и с трудом выталкивая слова, – ты намного сильнее меня – ты мог побить меня – с легкостью.

Затем он вновь расслабился, поддавшись неистовому биению его сердца и пульсированию крови.

– Меня удивляет, – выдыхал Джеральд, – что ты обладаешь такой силой. Почти сверхъестественной.

– Но ненадолго.

Он все еще чувствовал, что его душа была вне его тела и находилась позади, слушая его слова. Однако она, его душа, уже приближалась к нему. И сильное пульсирование крови в груди становилось тише, позволяя ему прийти в себя. Он понял вдруг, что распростерся всем телом на мягком теле другого мужчины. Это удивило его, поскольку ему показалось, что он отстранился от него. Он пришел в себя и сел. Но у него все еще кружилась голова и пол уплывал из-под ног. Он вытянул руку, чтобы найти опору. Рука дотронулась до руки Джеральда, которая лежала на полу. И внезапно рука Джеральда накрыла своим теплом руку Биркина, и они так и остались на своих местах, утомленные и бездыханные, рука одного поверх руки другого. Рука Биркина быстро ответила на пожатие, с силой и теплотой сжав руку другого мужчины. Пожатие Джеральда было внезапным и секундным.

Однако их сознание возвращалось к ним, а темнота отхлынула назад. Теперь Биркин мог дышать почти нормально. Джеральд медленно отнял руку, Биркин медленно, одурманенно поднялся на ноги и направился к столу. Он налил себе виски с содовой. Джеральд также решил выпить.

– Это был самый настоящий поединок, да? – спросил Биркина, потемневшими глазами смотря на Джеральда.

– Боже, да уж! – ответил тот и, взглянув на хрупкое тело другого мужчины, добавил: – Тебе сильно досталось, да?

– Нет. Человеку необходимо бороться, сражаться и быть физически близким кому-нибудь. Это позволяет оставаться в трезвом рассудке.

– Ты так считаешь?

– Да. А ты нет?

– Считаю, – ответил Джеральд.

Между их фразами проходило много времени. Борьба имела для обоих особый смысл – смысл незавершенности.

– Между нами существует умственная, духовная близость, поэтому мы должны быть более или менее физически близки – так мы обретем целостность.

– Раузмеемся, – сказал Джеральд, затем, довольно рассмеявшись, добавил: – Для меня все это удивительно.

Он красивым движением вытянул вперед руки.

– Да, – сказал Биркин, – и я не думаю, что нужно оправдываться перед собой.

– Нет.

Мужчины начали одеваться.

– Я также думаю, что ты красив, – сказал Биркин Джеральду, – и это тоже дает удовольствие.

Нужно наслаждаться тем, что тебе дано.

– Ты говоришь, что я красив – ты имеешь в виду физическую красоту? – спросил Джеральд, чьи глаза мерцали.

– Да. В тебе есть какая-то северная красота, словно свет, отражающийся от снега – и твое тело имеет красивую, пластичную форму. Да, этим обязательно следует наслаждаться. Мы должны наслаждаться абсолютно всем.

Джеральд гортанно рассмеялся и сказал:

– Это одна точка зрения. Я даже могу сказать, что почувствовал себя лучше. Мне это определенно помогло. Такое братство тебе было необходимо?

– Возможно. Как ты считаешь, это и есть клятва?

– Понятия не имею, – рассмеялся Джеральд.

– В любом случае, чувствуешь себя свободнее и более открыто – а это как раз то, что нам сейчас нужно.

– Разумеется, – сказал Джеральд.

Они подошли поближе к огню, захватив с собой графины, стаканы и еду.

– Я всегда перекусываю, прежде чем лечь в постель, – сказал Джеральд. – Так мне лучше спится.

– А мой сон не будет таким сладким, – сказал Биркин.

– Вот как? Вот тебе и пожалуйста, мы совсем не похожи. Надену-ка я халат.

Биркин остался один и стал глядеть на огонь. Его мысли обратились к Урсуле. Казалось, она вновь проникла в его сознание. Джеральд спустился вниз в халате из плотно-зеленого шелка в широкую черно-зеленую продольную полосу, ярком и необычном.

– Ты очень изящен, – сказал Биркин, рассматривая объемное одеяние.

– В Бухаре это было кафтаном, – сказал Джеральд. – Он мне очень нравится.

– Мне тоже.

Биркин молчал, обдумывая, насколько тщательно Джеральд подбирал себе одежду, какой дорогой она была. Он носил шелковые чулки и запонки искусной работы, шелковое белье и шелковые подтяжки. Забавно! Это было еще одно различие между ними. Что касается собственной внешности, Биркин был неизобретательным и относился к ней легкомысленно.

– Разумеется, тебе тоже, – сказал Джеральд, словно размышляя вслух, – в тебе есть что-то загадочное. Ты необычайно силен. Это очень неожиданно и довольно удивительно.

Биркин рассмеялся. Он разглядывал фигуру другого мужчины, белокурую и привлекательную в своем богатом наряде и часть его разума размышляла о разнице между ними – огромной разницы; так различаются, пожалуй, мужчина и женщина, только в другом направлении. Но в

действительности именно Урсула, именно женщина захватила сейчас существо Биркина. Джеральд вновь растворялся во мраке, и он забыл про него.

– Ты знаешь, – внезапно произнес он, – я пошел и сделал предложение Урсуле Брангвен сегодня, попросил ее выйти за меня замуж.

Он увидел, как на лице Джеральда появилось сияющее удивление.

– Да что ты!

– Да. Со всеми формальностями – сначала поговорил с ее отцом, как это принято в нашем мире – хотя это получилось совершенно случайно – или просто обстоятельства сложились неудачно. Джеральд только удивленно смотрел на него, словно не понимая, о чем он говорит.

– Ты же не хочешь сказать, что совершенно серьезно пошел и попросил ее отца разрешить ей выйти за тебя замуж?

– Да, – сказал Биркин, – именно так я и сделал.

– Что? А до этого ты с ней-то говорил об этом?

– Нет, ни слова. Я внезапно подумал, что пойду туда и спрошу ее – а так случилось, что вместо нее появился ее отец – вот я и спросил его.

– Можно ли тебе ее получить? – заключил Джеральд.

– Да-а, точно.

– А с ней ты не говорил?

– Говорил. Она пришла потом. И услышала то же самое.

– Вот как! И что же она ответила? Ты теперь обрученный человек?

– Нет – единственное, что она сказала, что не хочет, чтобы на нее давили.

– Она что?

– Сказала, что не хочет, чтобы на нее давили.

– «Сказала, что не хочет, чтобы на нее давили»! И что же она под этим подразумевала?

Биркин пожал плечами.

– Не могу сказать, – ответил он. – Полагаю, в тот момент ей не хотелось об этом думать.

– Но так ли это? И что ты тогда сделал?

– Вышел из дома и направился сюда.

– Ты направился прямо сюда?

– Да.

Джеральд смотрел на него с удивлением и приятным волнением. До него все еще не доходило.

– Но то, что ты говоришь, все действительно так и было?

– Слово в слово.

– Да?

Он откинулся на спинку кресла с восторгом и приятным изумлением.

– Ну, это хорошо, – сказал он. – И ты пришел сюда побороться со своим добрым ангелом, да?

– Я? – сказал Биркин.

– Ну, все так и выглядит. Разве ты не это сделал?

Теперь пришла очередь Биркина не понимать слова собеседника.

– И что теперь? – спросил Джеральд. – Ты собираешься, так сказать, оставить свое предложение в силе?

– Пожалуй, да. Я поклялся себе, что пошлю их всех к черту. Но мне кажется, через какое-то время я повторю свое предложение.

Джеральд пристально рассматривал его.

– Так значит, она тебе нравится? – спросил он.

– Мне кажется, я люблю ее, – сказал Биркин и на его лице застыло жесткое выражение.

На мгновение лицо Джеральда осветилось радостью, как будто это было сказано специально, чтобы доставить ему удовольствие. Затем на его лице появилась крайняя серьезность, и он медленно кивнул.

– Ты знаешь, – сказал он, – я всегда верил в любовь – в настоящую любовь. Но разве ее сегодня найдешь!

– Не знаю, – сказал Биркин.

– Очень редко, – сказал Джеральд. Затем, после паузы: – Я никогда сам ее не испытывал – только не то, что я назвал бы любовью. У меня были женщины, с некоторыми отношения продолжались довольно долго. Но я никогда не испытывал любви. Мне кажется, я никогда не чувствовал к женщинам такой любви, которую испытываю к тебе – не любовь. Ты понимаешь, о чем я говорю?

– Да. Я уверен, что женщин ты никогда не любил.

– Ты ведь чувствуешь это, да? А как ты думаешь, полюблю ли я когда-нибудь? Ты понимаешь, о чем я?

Он приложил руку к груди, сжимая ее в кулак, словно хотел вытащить что-то из нее.

– Я имею в виду, что я не могу объяснить, что это такое, но я знаю это.

– Так что же это в таком случае? – спросил Биркин.

– Понимаешь ли, я не могу выразить этого словами. То есть в любом случае это что-то прочное, что-то, что не изменится.

Его глаза блестели и в них сияла загадка.

– Как ты думаешь, смогу ли я испытывать такое к женщине? – беспокойно спросил он.

Биркин взглянул на него и покачал головой.

– Я не знаю, – сказал он. – Не могу тебе сказать.

Джеральд был *on qui vive*, словно ожидая приговора. Теперь он откинулся назад на своем стуле.

– Нет, – ответил он, – я тоже, я тоже.

– Ты и я, мы с тобой разные, – сказал Биркин. – Я не могу сказать, что случится в твоей жизни.

– Нет, – сказал Джеральд, – не более чем я. Но говорю тебе, я начинаю в этом сомневаться!

– В том, что ты когда-нибудь полюбишь женщину?

– Ну... да... тем, что мы называем истинной любовью.

– Ты сомневаешься?

– Ну... начинаю.

Последовала длительная пауза.

– В жизни всякое случается, – сказал Биркин. – Можно идти разными дорогами.

– Да, это правда. Я верю в это. И заметь, мне неважно, что будет со мной, неважно, если я не буду ее испытывать.

Он помедлил и пустое, бессмысленное выражение появилось на его лице, выражая его чувства.

– Пока я чувствовал, я так или иначе жил – и меня не волнует как. Но я хочу чувствовать, что я...

– ...удовлетворен, – подсказал Биркин.

– Ну-у-у, возможно, удовлетворен... мы с тобой пользуемся разными словами.

– Это то же самое.

## **Глава XXI**

### **На грани смерти**

Гудрун собралась в Лондон – она вместе с одной приятельницей устраивала небольшую выставку своих работ, и, готовясь оставить Бельдовер, обдумывала свою дальнейшую жизнь. Будь что будет, но в самом ближайшем будущем она отправится в путь. Винифред Крич прислала ей письмо, в котором слова подкреплялись рисунками.

«Папа тоже ездил в Лондон, на прием к врачам. Он очень устал. Ему сказали, что он должен очень много отдыхать, поэтому основную часть времени он проводит в постели. Он привез мне чудесного тропического попугая из дрезденского фарфора, еще фигурку пашущего человека и двух карабкающихся вверх по стеблю мышек, тоже фарфоровых. Только мышки из



копенгагенского фарфора. Они мне нравятся больше всего, хотя они не очень блестят, во всем остальном они очень славные – у них такие тонкие и длинные хвостики. Все фигурки блестят, как стекло. Разумеется, это все из-за глазури, но этот блеск мне не нравится. Джеральду больше всего нравится пахарь в рваных брюках, он пашет на быке, – по-моему, это немецкий крестьянин. Фигурка бело-серая – на нем белая рубашка и серые брюки, она очень блестит и искусно сделана. А мистер Биркин считает, что самая красивая из всех них девушка в расписанной нарциссами юбке, сидящая под цветущим боярышником и обнимающая ягненка. Но это смешно, потому что ягненок-то вовсе не похож на ягненка, да и она выглядит как-то глупо.

Дорогая мисс Брангвен, приезжайте скорее, вас здесь очень не хватает. Прилагаю рисунок, изображающий сидящего на кровати папу. Он говорит, что надеется, что вы не бросите нас. О, дорогая мисс Брангвен, я уверена, что вы нас не бросите. Возвращайтесь скорее, будем рисовать хорьков, они самые прекрасные и благородные из всех зверьков. Мы можем вырезать их из древесины дуба, изобразив, как они играют, на фоне будет зеленая листва. Вырежем их, ладно? Они такие чудесные.

Папа говорит, что нам можно будет оборудовать мастерскую. Джеральд говорит, что для этого прекрасно подойдет помещение над конюшней, только нужно будет сделать окна в крыше, а это совсем нетрудно. Тогда вы сможете оставаться здесь целыми днями и работать, и мы сможем жить в мастерской, как два самых настоящих художника, как человек на картине в холле, со сковородкой в руках и картинами на стенах. Я страстно мечтаю стать свободной, жить вольной жизнью художницы. Даже Джеральд сказал папе, что только художники бывают свободными, потому что они живут в собственном творческом мире».

Это письмо показало Гудрун, каковы были намерения Кричей. Джеральд хотел привязать ее к своему дому, к Шортландсу, и использовал Винифред как предлог. Отец думал только о своей девочке и хватался за Гудрун как за спасительную соломинку. И Гудрун была благодарна ему за его проникательность. Потому что девочка и в самом деле была необычной. Гудрун была довольна. Она была согласна проводить свои дни в Шортландсе, если ей предоставят мастерскую. Школа ей уже порядком поднадоела, ей хотелось сбросить с себя эти оковы. Если у нее будет мастерская, она сможет свободно продолжать работать и в полной безмятежности будет ждать перемен. К тому же ее очень сильно интересовала Винифред, она с радостью была готова воспользоваться возможностью и узнать девочку поближе.

А в тот день, когда Гудрун должна была вернуться в Шортландс, Винифред устроила маленькую праздничную церемонию.

– Тебе следует набрать цветов и подарить их мисс Брангвен, когда она приедет, – улыбаясь, сказал сестре Джеральд за день до этого.

– Нет, – воскликнула Винифред, – это глупо.

– Вовсе нет. Это самый обычный, но при этом очаровательный знак внимания.

– Нет же, это глупо, – запротестовала Винифред со свойственным ее возрасту крайним упрямством.

Тем не менее, эта мысль ей очень понравилась. Ей очень хотелось претворить ее в жизнь. Она порхала по теплицам и оранжереям, мечтательно разглядывая возвышающиеся на своих стеблях цветы. И чем больше она смотрела, тем больше ей хотелось сделать из них букет, тем сильнее очаровывала ее мысль о предстоящей церемонии, тем застенчивее и сдержаннее становилась она, пока под конец совсем не смутилась. Это желание постоянно преследовало ее. Казалось, некая вызывающая сила бросала ей вызов, а у девочки не хватало смелости принять его. Поэтому она вновь и вновь ходила по оранжереям, разглядывая розы в горшках, девственно-белые цикламены и волшебные белые корзинки цветущих лиан. О, какими же красивыми они были, какими восхитительными, она была бы на седьмом небе от счастья, если бы смогла сделать идеальный букет и на следующий день подарить его Гудрун. Желание и крайняя нерешительность едва не довели ее до слез.

Наконец, она скользнула к отцу.

– Папочка... – начала она.

– Что, драгоценная моя?

Но Винифред не решалась подойти, она была смущена до слез. Отец взглянул на нее, и жаркая волна нежности, щемящая любовь всколыхнулась в его сердце.

– Что ты хочешь мне сказать, милая?

– Папочка! – ее глаза слегка улыбнулись. – Очень глупо будет, если я подарю мисс Брангвен цветы, когда она приедет?

Больной мужчина взглянул в ясные, умные глаза дочери и его сердце сжалось от любви.

– Нет, любимая, совсем не глупо. С королевами так обычно и поступают.

Винифред это не очень обнадежило. Она смутно подозревала, что в самой идее о королеве было что-то глупое. Но ей так хотелось сделать романтичным это событие!

– Так можно? – спросила она.

– Подарить мисс Брангвен цветы? Конечно, чижик. Скажи Вилсону, я позволяю тебе взять все, что захочешь.

Девочка слегка улыбнулась еле заметной, рассеянной улыбкой, уже представляя себе, как она будет это делать.

– Но они мне нужны только завтра, – сказала она.

– Завтра так завтра, чижик. Поцелуй-ка меня...

Винифред молча поцеловала больного мужчину и покинула комнату. Она вновь обошла все теплицы и оранжерею, высоким, безапелляционным, искренним голосом объяснив садовнику, что ей нужно, и показав ему выбранные ею цветы.

– Для чего они вам нужны? – спросил Вилсон.

– Просто нужны, – отрезала она.

Как бы ей хотелось, чтобы прислуга не задавала лишних вопросов.

– Да, вы это уже говорили. Но зачем все-таки они вам нужны – для украшения, чтобы кому-то послать или как?

– Я хочу сделать букет для приветствия.

– Букет для приветствия! А кто приезжает – герцогиня Портлендская?

– Нет.

– Вот как? Ну, если вы соедините все цветы, что выбрали, в одном букете, то он получится чрезмерно пестрым.

– А мне как раз и нужен чрезмерно пестрый букет.

– Вот как! Тогда больше не о чем говорить.

На следующий день Винифред, надев платье из серебристо-серого бархата и сжимая в руках вызывающе яркую охапку цветов, с острым нетерпением ждала в классной комнате когда приедет Гудрун, постоянно выглядывая на дорогу. Утро выдалось дождливое. Девочка ощущала необычный аромат оранжерейных цветов, букет был для нее маленьким костром, зажегшим в ее сердце странный, незнакомый огонь. Легкая романтическая атмосфера пьянила ее.

Наконец, Гудрун показалась, и Винифред побежала вниз предупредить отца и Джеральда. Они рассмеялись ее волнению и серьезности и вместе с ней спустились в холл. Лакей уже спешил к двери, и в следующую секунду он уже брал у Гудрун зонтик и плащ. Хозяева дома стояли поодаль и ждали, когда их гостья войдет в холл.

От дождя Гудрун раскраснелась, ветер выбил ее волосы из прически и теперь они завились мелкими колечками. Она походила на цветок, только что распутившийся под дождем, обнажая свое сердечко и испуская тепло впитанного солнечного света.

У Джеральда сжалось сердце, когда он увидел ее красоту и понял, что совсем ее не знает.

Она была в нежно-голубом платье и темно-красных чулках.

Винифред приблизилась к ней с непривычно торжественным и официальным видом.

– Мы так рады, что вы вернулись, – произнесла она. – Это вам.

И она подарила свой букет.

– Мне! – воскликнула Гудрун.

Она на мгновение растерялась, но затем ее лицо вспыхнуло жарким румянцем, казалось, радостное пламя на мгновение ослепило ее. Она подняла загадочный, горящий взгляд на мистера Крича и на Джеральда. И у Джеральда вновь все сжалось внутри, точно выше его сил было видеть ее жаркий, откровенный взгляд. Она обнажила свою душу перед ним, и это было невыносимо. Он отвернулся, чувствуя, что между ними что-то неизбежно должно было произойти. И он пытался разорвать пути этой неизбежности.

Гудрун поднесла цветы к лицу.

– Какие они красивые! – растроганно произнесла она. И затем, охваченная внезапным порывом, наклонилась и поцеловала Винифред.

Мистер Крич подошел и протянул ей руку.

– Я боялся, что вы сбежите от нас, – шутливо сказал он.

Гудрун посмотрела на него светящимся, плутовским, непонятным ему взглядом

– Неужели! – ответила она. – Нет, мне не хотелось оставаться в Лондоне.

Тем самым она дала понять, что рада вернуться в Шортландс. Ее голос был теплым и ласковым.

– Это хорошо, – улыбнулся мистер Крич. – Видите, все в этом доме очень рады видеть вас здесь.

Гудрун с теплотой и застенчивостью посмотрела на него своими темно-синими глазами.

Сознание своей силы заставило ее позабыть обо всем на свете.

– И, похоже, вы вернулись, радуясь полной победе, – продолжал мистер Крич, удерживая ее руку в своей.

– Нет, – сказала она, загадочно улыбаясь. – Что такое радость, я не знала, пока не приехала сюда.

– Полно, полно! Мы не собираемся слушать эти рассказы. Разве мы не читали в газетах отзывы, Джеральд?

– Вы хорошо показали себя, – отозвался Джеральд, пожимая ей руку. – Удалось что-нибудь продать?

– Так, – ответила она. – Не очень много.

– Неважно, – сказал он.

Она спрашивала себя, что он хотел этим сказать. Но она вся светилась, настолько ей понравился оказанный ей прием, настолько ее захватила эта маленькая церемония в ее честь, очень польстившая ее самолюбию.

– Винифред, – сказал отец, – ты ведь найдешь сухие туфли для мисс Брангвен? Вам лучше скорее переодеться.

Гудрун вышла, сжимая в руке букет.

– Совершенно неординарная молодая женщина, – заметил отец Джеральду, когда она ушла.

– Да, – коротко отрезал Джеральд, как будто замечание отца было ему неприятно.

Гудрун проводила в комнате мистера Крича около получаса – ему это очень нравилось. Обычно он выглядел разбитым и бледным, как смерть и казалось, что жизнь вытекает из него капля за каплей. Но как только ему становилось легче, ему нравилось представлять, что он такой же, как и прежде, – здоровый мужчина в самом расцвете сил, что он не пленник потустороннего мира, что он по-прежнему крепок и живет полной жизнью. И Гудрун великолепно подыгрывала этой его фантазии. Когда она была рядом, на драгоценные для него полчаса он вновь обретал силу, жизненную энергию и совершенную свободу, и в эти полчаса он жил более полной, чем когда-либо ранее, жизнью.

Она пришла к нему в библиотеку, где он лежал обложенный подушками. Его лицо походило на желтоватую восковую маску, взгляд был темным и невидящим. Его черная борода, подернутая сединой, теперь, казалось, росла из восковой плоти трупа. Однако он казался веселым и энергичным. Гудрун прекрасно умела подыгрывать ему. Она воображала, что он самый обычный человек. Но жуткое выражение его лица навсегда запечатлелось в ее душе, проникло в

самое ее подсознание. Она знала, что, несмотря на всю свою веселость, его взгляд навсегда останется пустым – это были глаза мертвеца.

– А вот и мисс Брангвен, – сказал он, внезапно оживляясь, когда слуга доложил о ней и она вошла в комнату. – Томас, придвинь мисс Брангвен стул вот сюда – да, вот так.

Он с удовольствием смотрел на ее мягкое, свежее лицо. Оно давало ему иллюзию жизни.

– А теперь, полагаю, вы не откажетесь выпить рюмку хереса и съесть маленькое пирожное. Томас...

– Нет, благодарю вас, – ответила Гудрун.

Но при этих словах ее сердце сжалось от ужаса. Казалось, услышав отказ, больной мужчина погрузился обратно в пучину смерти. Она должна была подыгрывать ему, а не перечить. Через минуту она уже улыбалась своей лукавой улыбкой.

– Я не очень люблю херес, – сказала она. – Зато не откажусь от чего-нибудь другого.

Больной мгновенно ухватился за эту соломинку.

– Никакого хереса! Нет! Что-нибудь еще! Что же? Что у нас есть, Томас?

– Портер, кюрасао...

– С удовольствием выпью кюрасао, – сказала Гудрун, доверчивыми глазами смотря на больного.

– Конечно. Итак, Томас, кюрасао – и маленькое пирожное. Или печенье?

– Печенье, – сказала Гудрун.

Ей ничего не хотелось, но она была мудрой девушкой.

– Да.

Он ждал, пока она усядется поудобнее с рюмкой ликера и печеньем. Теперь он был доволен.

– Вы слышали, – начал он с каким-то воодушевлением, – о наших планах устроить для Винифред мастерскую над конюшней?

– Нет! – притворно-удивленно воскликнула Гудрун.

– О! А мне казалось, что Винифред писала об этом в письме.

– Ах да, конечно. Но я думала, что это только ее фантазии, – снисходительно и проницательно улыбнулась девушка. Больной мужчина воодушевленно улыбнулся.

– Нет-нет. Все так и будет. Под крышей конюшни есть прекрасная комната – с наклонными балками. Мы подумываем о том, чтобы превратить ее в мастерскую.

– Это было бы великолепно! – с взволнованной теплотой воскликнула Гудрун. Балки под крышей ей нравились.

– Вы находите? Это вполне можно устроить.

– Как чудесно это будет для Винифред! Если она собирается заниматься серьезно, то это как раз то, что нужно. У художника обязательно должна быть своя студия, иначе он так и останется любителем.

– Вот как? Да. И мне очень хотелось бы, чтобы вы разделили ее с Винифред.

– Огромное вам спасибо.

Гудрун уже обо всем этом знала, но ей приходилось казаться застенчивой и взволнованной, словно ее переполняло чувство благодарности.

– Но больше всего мне хотелось бы, чтобы вы бросили свою работу в школе и использовали мастерскую на свое усмотрение – работайте в ней столько, сколько пожелаете.

Он смотрел на Гудрун темными, пустыми глазами. Она ответила на это взглядом, полным благодарности. Слова умирающего человека, словно эхо, доносившиеся из его мертвого рта, были неподдельно прекрасными и естественными.

– Что касается вашего заработка – вы же не откажетесь принять от меня столько, сколько вам платит Комитет по образованию? Я не хочу, чтобы вы лишились своего дохода.

– О, – сказала Гудрун, – если я смогу работать в мастерской, то я смогу достойно зарабатывать, не беспокойтесь.

– Ну, – сказал он, радуясь, что ему выпал шанс стать благодетелем, – думаю, мы все это уладим. Вы не против пожить здесь?

– Если есть мастерская, где я могу работать, – ответила Гудрун, – мне больше не остается ничего желать.

– Правда?

Он был очень рад. Но силы его истощились. Она видела, как серая, ужасная пелена боли и разложения, застилавшая его разум, вновь накатила на него, и в пустых потемневших глазах появилась мука. Процесс умирания не прекращался ни на минуту. Гудрун поднялась и мягко сказала:

– А теперь вам следует поспать. Пойду поищу Винифред.

Она вышла, сказав сиделке, что он остался один. Тело больного мужчины умирало день за днем, смерть подбиралась все ближе и ближе к последнему узлу, который еще не давал его человеческой сущности распасться на части. Однако этот узел был крепким и нерушимым – воля умирающего ни на мгновение не дала слабину. Да, на девять десятых он был мертв, однако оставшаяся десятая доля оставалась неизменной, пока смерть не уничтожит и ее. Именно воля не позволяла развалиться его существу, но с каждым днем подчиняющаяся ей зона становилась все меньше и меньше; в конечном итоге от нее останется лишь маленькая точка, которая тоже будет сметена.

А для того, чтобы цепляться за жизнь, ему были необходимы человеческие взаимоотношения, поэтому он хватался за последнюю соломинку. Винифред, дворецкий, сиделка, Гудрун, – все эти люди, с которыми его связывали известные взаимоотношения, служили ему последними источниками, из которых он мог черпать силы. Джеральд в присутствии отца каменел от отвращения. То же самое происходило и с другими детьми, за исключением Винифред. Когда они смотрели на отца, они видели одну только смерть. Их охватывало глубинное отвращение. Они не могли смотреть на знакомое лицо, не могли слышать знакомый голос. Зрелище и звуки смерти пробуждали в них крайнюю антипатию. У Джеральда в присутствии отца перехватывало дыхание. И ему приходилось тут же уходить прочь. Но и отец также не выносил присутствия своего сына. В душе умирающего сразу же просыпалось сильное раздражение.

Когда мастерская была готова, Гудрун и Винифред перенесли в нее все свои вещи. Они получали удовольствие, обставляя ее и приводя в порядок. Теперь они могли вообще не появляться в доме. Они ели в мастерской, и проводили там время в полном умиротворении. А атмосфера в доме постепенно становилась жуткой. Две сиделки в белых одеждах, словно вестники смерти, медленно скользили по дому. Отец уже не вставал, братья, сестры и дети, постоянно посещающие его, наполняли дом приглушенными разговорами.

Винифред регулярно навещала отца. Каждое утро после завтрака она шла в его комнату, где его умывали и усаживали в кровати, и проводила с ним около полудня.

– Тебе лучше, папочка? – задавала она ему неизменный вопрос.

И он также неизменно отвечал:

– Да, мне кажется, что немного лучше, котенок.

Она любовно и заботливо брала его руку в свои. И это мгновение было ему очень дорого.

В середине дня она прибегала снова и рассказывала ему про все произошедшее, а по вечерам, когда задвигались занавески и комната становилась уютной, она сидела у него очень долго.

Гудрун возвращалась домой, Винифред была в доме одна: больше всего ей нравилось находиться рядом с отцом. Они болтали о пустяках, и он становился таким, как до болезни, когда он мог еще ходить. Поэтому Винифред, с тонким умением избегать болезненных тем, свойственным лишь детям, вела себя так, как будто ничего серьезного не происходило.

Инстинктивно она не обращала на это внимания и была счастлива. Однако в глубине души она понимала, что происходит, так, как это понимали взрослые – а возможно, даже и лучше.

Отец довольно умело поддерживал в ней эту иллюзию. Но когда она уходила, он вновь попадал в объятия смерти. Но он еще радовался этим светлым моментам, хотя по мере того, как иссякали его силы, ему все труднее и труднее было сосредоточиваться, и сиделке приходилось отсылать Винифред, чтобы не истощать его силы.



Он никогда не признавался себе, что скоро умрет. Он знал, что так оно и будет, он понимал, что конец близок. И однако не хотел себе в этом признаваться. Эта мысль была ему крайне неприятна. Его воля была негибкой. Ему невыносимо было думать, что смерть все же одолеет его. Для него смерти не существовало. В то же время иногда ему ужасно хотелось кричать, выть и жаловаться. Ему хотелось кричать на Джеральда до тех пор, пока у того не встали бы от страха дыбом волосы.

Джеральд инстинктивно чувствовал это и всеми силами пытался этого избежать. Тлен смерти вызывал в нем слишком сильное отвращение. Умирать следовало бы быстро, подобно римлянам, человек сам должен выбирать свою смерть, как выбирает он свою жизнь. Оковы смерти, в которых погибал его отец, душили его, подобно тому, как душил Лаокоона и его сыновей огромный змей. Великий змей заполучил отца, но вместе с ним в кольца чудовищной смерти попал и сын. Джеральду всегда удавалось выстоять. И странно, но для своего отца он был олицетворением силы.

Когда в последний раз умирающий позвал к себе Гудрун, смерть уже стояла в изголовье. Однако ему требовалось, чтобы кто-нибудь был рядом, когда сознание вновь возвращалось к нему, он должен был хвататься за нити, связывавшие его с миром живых, иначе ему пришлось бы смириться с мыслью о близкой кончине. К счастью, большую часть времени он находился в забытии, был уже наполовину мертв. В течение многих часов он смутно вспоминал прошлое, каким оно было, вновь переживал прожитое. Но до самого конца бывали просветления, когда он понимал, что с ним происходит, чувствовал, что смерть уже совсем близко. В эти мгновения он обращался за помощью во внешний мир, к тому, кто был рядом, так как признать смерть, которая уже почти забрала его к себе, означало умереть навсегда, без всякой надежды на возрождение. Допустить такое он не мог!

Гудрун потрясло его лицо, его потемневшие глаза мертвеца, которые все еще сохраняли твердое и непобежденное выражение.

– Итак, – спросил он слабым голосом, – как у вас дела с Винифред?

– О, у нас все замечательно, – ответила Гудрун.

Разговор периодически прерывался, словно появляющиеся в ее голове мысли были маленькими соломинками, которые плавали в темном хаосе разрушающегося сознания почти мертвого человека и никак не давались в руки.

– Нравится вас ваша мастерская? – спросил он.

– Она просто восхитительна. Более красивой и идеальной студии нельзя себе и представить, – ответила Гудрун.

Она ждала следующих слов.

– И вы считаете, что у Винифред есть задатки скульптора?

Удивительно, насколько пусто и безразлично прозвучали эти слова.

– Уверена, что есть. Когда-нибудь она будет создавать прекрасные вещи.

– А! Значит, ее жизнь не пройдет впустую, не так ли?

Гудрун удивилась.

– Уверена, что нет! – мягко воскликнула она.

– Замечательно!

Гудрун ждала следующего вопроса.

– Жизнь кажется вам прекрасной, жить чудесно, да? – спросил он с жалобной слабой улыбкой, от которой Гудрун стало совсем не по себе.

– Да, – улыбнулась она – иногда она не говорила ему правды, – думаю, я наслаждаюсь своей жизнью.

– Это правильно. Счастливая душа – это огромное достоинство.

Гудрун вновь улыбнулась, хотя в ее душе все оцепенело от отвращения. Неужели человек вот так и умирает – жизнь отнимается у него против его воли, а он все улыбается и пытается довести разговор до конца? Разве нет другого способа? Нужно ли проходить через весь этот ужас, стремясь победить смерть, чтобы ощутить триумф воли, которая останется непреклонной,

пока не растворится во мраке? Да, нужно, это единственно возможный путь. Она безмерно восхищалась самообладанием и выдержкой умирающего мужчины. Но сама смерть внушала ей ужас и отвращение. Она была рада, что с нее было вполне достаточно и этого мира, что ей не нужно было думать о том, что лежит за его пределами.

– Вам удобно в мастерской? Может, нужно еще что-нибудь вас сделать? Вас все устраивает?

– Да. Единственное, что меня смущает, так это ваша доброта ко мне.

– Ну, вы вполне заслуживаете всего этого, – сказал он, радуясь тому, что смог высказать все это.

Он был таким сильным и так цеплялся за жизнь! Но сейчас страх смерти вновь начал отвоевывать свои позиции. Гудрун вернулась обратно, к Винифред.

Гудрун много времени проводила в Шортландсе. Мадемуазель здесь больше не работала, и занятиями Винифред теперь руководил учитель. Но он не жил в доме, он приходил из школы. Однажды Гудрун предстояло прокатиться до города на машине вместе с Винифред, Джеральдом и Биркиным. День был пасмурным и дождливым. Винифред и Гудрун собрались и ждали у двери. Винифред стояла притихшая, но Гудрун не обратила на это внимания. Внезапно девочка растерянно спросила:

– Мисс Брангвен, вы думаете, мой папа скоро умрет?

Гудрун вздрогнула.

– Не знаю, – ответила она.

– Правда?

– Никто не знает этого наверняка. Конечно, он может умереть.

Девочка подумала несколько секунд, и затем поинтересовалась:

– Но вы-то думаете, что он умрет?

Этот вопрос, словно вопрос по географии или естествознанию, требовал однозначного ответа, она задала его настойчиво, словно она стремилась вырвать некое признание у взрослого человека. В настороженном голосе ребенка слышались истинно дьявольские ликующие нотки.

– Считаю ли я, что он умрет? – повторила Гудрун. – Да, считаю.

Огромные глаза Винифред пристально уставились на нее, но девочка не шевельнулась.

– Он очень болен, – добавила Гудрун.

Легкая скептическая улыбка появилась на лице Винифред.

– Я в это не верю! – твердо и насмешливо заявила она и пошла по дорожке.

Гудрун наблюдала за ее одинокой фигуркой, и сердце у нее замерло. Винифред же так самозабвенно играла с маленьким ручейком воды, словно ничего и не было сказано.

– Я соорудила настоящую дамбу, – сказала она, стоя среди луж.

Позади, из холла вышел Джеральд.

– Она просто предпочитает не думать об этом, – объяснил он.

Гудрун взглянула на него. Их глаза встретились, и они обменялись насмешливо-понимающим взглядом.

– Да, просто предпочитает не думать, – повторила Гудрун.

Он вновь посмотрел на нее, и в его глазах заиграли искорки.

– Если Рим в огне, то уж лучше танцевать, потому что он все равно должен сгореть, разве не так? – спросил он.

Она слегка оторопела. Но потом взяла себя в руки и ответила:

– Конечно, лучше уж танцевать, чем рыдать.

– Я тоже так думаю.

И одновременно в них вспыхнуло желание раскрепоститься, забыть обо всем и погрузиться в пучину страшных и безудержных безумств.

Темная страсть охватила Гудрун. Она почувствовала себя сильной. Она ощутила, как ее руки наливаются силой, которая позволила бы разорвать весь мир на части. Она вспомнила, в какие безумства пустились римляне времен заката Римской империи и сердце ее загорелось. Она

поняла, что тоже хочет, чтобы ее жизнь тоже была насыщена такой безрассудностью – или бы в ней было что-то равноценное. О, если бы только все неизведанные и дотоле сдерживаемые движения ее души вырвались наружу, какое буйное наслаждение смогла бы она испытать! Она желала этого, близость мужчины, стоящего позади нее, вызывала в ней дрожь – ведь в нем все говорило о том, что и он тоже не чужд этой неистовой разнузданности. Ей хотелось разделить это тайное неистовство именно с ним. На мгновение только эта отчетливая и прекрасная в своей ясности мысль и занимала ее. Но внезапно она отбросила ее от себя и сказала:

– Можно пойти до домика привратника вслед за Винифред – там и подождем машину.

– Конечно, пошли, – ответил он, идя рядом с ней.

Они нашли Винифред в сторожке – она восхищенно рассматривала белых породистых щенков. Девочка подняла глаза на Джеральда и Гудрун, и в них читалось неприязненное, невидящее выражение. Она не хотела извидеть.

– Взгляните! – воскликнула она. – Трое новых щеночков! Маршалл говорит, что вот этот самый лучший. Разве он не милашка? Но он не такой красивый, как его мамочка.

Она повернулась погладить изящную суку бультерьера, неуклюже стоящую рядом с ней.

– Моя дорогая Леди Крич, – сказала она, – ты красива, как ангел во плоти. Ангел, настоящий ангел. Гудрун, вам не кажется, что она такая красивая, что вполне заслуживает места в раю? Они все попадут в рай, и особенно моя дорогая Леди Крич! Послушайте, миссис Маршалл!

– Да, мисс Винифред? – отозвалась женщина, появляясь в дверях.

– О, пожалуйста, назовите эту собаку Леди Винифред, если она впрямь окажется идеальной, ладно? Скажите Маршаллу, чтобы он назвал ее Леди Винифред.

– Я скажу ему, только, мне кажется, что это мальчик, мисс Винифред.

– Ну вот!

Послышался шум машины.

– А вот и Руперт! – воскликнула девочка и подбежала к воротам.

Биркин остановил машину у ворот сторожки.

– Мы готовы! – воскликнула Винифред. – Я хочу сидеть впереди, рядом с тобой, Руперт. Можно?

– Ты обязательно будешь вертеться и выпадешь наружу, – сказал он.

– Нет, не буду. Я хочу сидеть впереди рядом с тобой. От мотора моим ногам так тепло, так хорошо.

Биркин помог ей забраться вперед, усмехнувшись тому, что Джеральду придется сидеть рядом с Гудрун на заднем сиденье.

– Есть какие-нибудь новости, Руперт? – поинтересовался Джеральд, когда они неслись вдоль по переулкам.

– Новости? – воскликнул Биркин.

– Да.

Джеральд взглянул на сидящую рядом Гудрун и пояснил, смеясь и шурясь:

– Хотелось бы узнать, стоит ли поздравлять его, но я не могу вытянуть из него ничего определенного.

Гудрун глубоко покраснела.

– Поздравлять с чем? – спросила она.

– Ходили слухи о его обручении – по крайней мере, он мне что-то об этом говорил.

Гудрун залилась краской.

– Ты имеешь в виду с Урсулой? – вызывающе спросила она.

– Да. Это так, да?

– Не думаю, что было какое-нибудь обручение, – холодно сказала Гудрун.

– Вот как? Никаких движений вперед, Руперт? – крикнул он.

– Что? В смысле брака? Нет.

– А почему? – крикнула Гудрун.

Биркин быстро оглянулся. В его глазах также читалось раздражение.

– Почему? – ответил он. – А как по-вашему, Гудрун?

– О! – воскликнула она, решив внести свою лепту в разговор, раз уж он начался, – мне кажется, что ей не нужна никакая помолвка. Она из тех девушек, что синице в руке предпочитает журавля в небе.

Голос Гудрун был четким и звучным, как удар гонга. Он напомнил Руперту голос ее отца, такой же сильный и звонкий.

– А мне, – сказал Биркин с веселым, но в то же время решительным лицом, – мне нужен союз, который связал бы нас взаимообязывающими узами. Я не особенно силен в любви, особенно в любви свободной.

Остальные двое были изумлены. Кому предназначались эти громкие слова? Джеральд замер на мгновение в удивлении.

– Так любовь для тебя недостаточно хороша? – воскликнул он.

– Нет! – крикнул Биркин.

– Ха, это уж чересчур выпренно, – сказал Джеральд, и машина влетела в лужу грязи.

– А в чем, собственно говоря, дело? – спросил Джеральд, оборачиваясь к Гудрун.

Такая фамильярность вызвала у Гудрун крайнее раздражение, сродни оскорблению. Ей казалось, что Джеральд намеренно оскорбляет ее и нарушает неприкосновенность личной жизни всех троих.

– В чем дело? – воскликнула она высоким, неприязненным голосом. – Не спрашивай меня! Я ничего не знаю про брак в высшем его проявлении, уверяю тебя, и в наивысшем тоже.

– Это всего лишь заурядное, ни к чему не обязывающее слово! – воскликнул Джеральд. – Со мной то же самое. Я ничего не смыслю в браке и в крайностях его проявления. Мне кажется, это всего-навсего маленький пункт Руперта, на котором он совершенно заиклился.

– Вот именно! Это только его проблема! Не женщина ему нужна, ему нужно воплотить в жизнь свои идеи. Но когда дело доходит до практики, этого оказывается недостаточно.

– Верно. Уж лучше бросаться на женское начало в женщине, подобно тому, как бык бросается на ворота.

Затем он улыбнулся про себя.

– Так ты считаешь, что любовь – это именно то, что надо человеку? – спросил он.

– Да, пока она длится; но не следует ждать, что она будет длиться вечно, – голос Гудрун перекрывал шум.

– В браке или не в браке, в высшем, наивысшем или среднем его проявлении – принимай любовь такой, какая она есть.

– Нравится тебе это или не нравится, – эхом отозвалась она. – Брак – это общественный институт, который насколько я понимаю, с любовью ничего общего не имеет.

Искорки в ее глазах не исчезали ни на минуту. Она чувствовала себя так, как если бы он назвал ее поцеловал ее у всех на глазах. При этой мысли она вспыхнула румянцем, но сердце ее оставалось таким же твердым и непреклонным.

– Ты считаешь, у Руперта не все в порядке с головой? – спросил Джеральд.

Она была благодарна ему за понимание.

– В том, что касается женщин, да, – сказала она, – считаю. Возможно, и существует любовь, связывающая двоих людей на всю жизнь. Но даже и в этом случае брак здесь совершенно не причем. Если люди влюблены друг в друга, что ж, отлично. Если нет, стоит ли устраивать шум по этому поводу!

– Да, – сказал Джеральд. – Именно так я и думаю. Но что же насчет Руперта?

– Я никак не могу понять его – как и он сам не может понять себя, как и все остальные. Похоже, он считает, что, вступив в брак, он сможет достичь третьего неба – или чего-то в этом роде. Все это очень загадочно.

– Необычайно! И кому нужно это третье небо? На самом деле, Руперту очень хочется найти безопасное местечко – в некотором роде привязать себя к мачте.

– Да. И мне кажется, что это будет еще одной ошибкой, – сказала Гудрун. – По-моему, верность своему мужчине будет хранить скорее любовница, чем жена – уже только потому, что она сама себе хозяйка. Он же утверждает, что муж и жена могут достичь больших высот, чем все остальные человеческие существа – но каких именно высот, он не говорит. Они могут познать друг друга, познать божественную и дьявольскую – особенно дьявольскую – стороны друг друга, познать настолько полно, что это вознесет их выше небес, и бросит в пропасть, что глубже самого ада, в... И на самом интересном месте его мысль обрывается и все падает в никуда.

– Он утверждает, что в рай, – рассмеялся Джеральд.

Гудрун передернула плечами.

– Плевать я хотела на этот ваш рай! – заявила она.

– И это говорит не мусульманка! – заметил Джеральд.

Биркин сосредоточенно вел машину, и не слышал, о чем они говорили. А Гудрун, сидя прямо за его спиной, насмешливо радовалась тому, что рассказала Джеральду о его мыслях.

– Он говорит, – добавила она с ироничной гримасой, – что в браке можно обрести вечное равновесие, если ты свяжешь себя узами и в то же время останешься самим собой, не сольешься с другим существом.

– Меня это не вдохновляет, – сказал Джеральд.

– В этом-то все и дело, – сказала Гудрун.

– Я верю, что если ты способен любить, испытать подлинное забвение, значит ты это испытаешь, – сказал Джеральд.

– Я согласна с этим, – ответила она.

– И Руперт, кстати, тоже согласен – хотя он это постоянно отрицает.

– Нет, – сказала Гудрун. – Он не откажется от собственного «я» ради другого человека. На него нельзя положиться. В этом-то, мне кажется, и есть его проблема.

– И в то же время он хочет жениться! Ну женится он, и что дальше?

– А дальше будет рай! – сострила Гудрун.

Биркин за рулем машины почувствовал, как по его спине пополз вверх холодок, словно что-то угрожало его жизни. Но он лишь поежился.

Начинался дождь. Хотя что-то изменилось. Биркин остановил машину и пошел поднимать откидной верх.

## Глава XXII

### Как женщина женщине

Они прибыли в город и простились с Джеральдом на вокзале. Гудрун с Винифред отправились на чай к Биркину, куда также должна была подъехать и Урсула.

Однако первым человеком, еще днем появившимся в его квартире, была Гермiona. Биркина не было, поэтому она просто прошла в гостиную, где рассматривала его книги и ноты, играла на пианино.

Вскоре приехала Урсула.

Присутствие в квартире Биркина Гермiony, о которой она какое-то время ничего не слышала, неприятно удивило ее.

– Какая неожиданная встреча, – сказала она.

– Да, – ответила Гермiona. – Я была в Эксе<sup>52</sup>...

---

<sup>52</sup> Экс – город на Французской Ривьере.



– Поправляли здоровье, наверное?

– Да.

Женщины смотрели друг на друга. Урсуле было неприятно вытянутое серьезное, склоненное лицо Гермiony. В нем было что-то от тупой и переоценивающей свои силы лошади. «Ее лицо смахивает на лошадиную морду, – подумала про себя Урсула, – она мчится вперед, а глаза закрыты шорами». Казалось, у лица Гермiony, как у луны, была только одна сторона.

Оборотной стороны не существовало. Она могла видеть только плоскую, но идеальную для нее, равнину живого сознания. Ее владения заканчивались там, где начинался мрак. Одна половина ее существа, подобно скрытой стороне луны, была нежизнеспособной. Ее существо опиралось исключительно на ее сознание – эта женщина не знала, что такое побежать или куда-то пойти, ей было неведомо, как движется рыба в воде или как шныряет в траве ласка. Ей все время нужно было пропускать все через свое сознание.

Но Урсуле такая односторонность Гермiony доставляла одни страдания. Она просто ощущала холодность этой женщины, которая, казалось, сравнивало ее с землей. Гермiona же, которая только и делала, что размышляла, пока желание вобрать все в свое сознание не лишало ее сил, и которая с таким трудом и так медленно добиралась до высшего пика познания, которое ее так ничем и не насыщало, – эта самая Гермiona сумела в присутствии другой женщины, которую она считала обычной дурочкой, уверенно выставить напоказ свой горький опыт, точно сокровища, облакающие ее беспрекословным превосходством, ставящие ее на самую верхнюю ступеньку жизненной лестницы. Она умела снисходить со своих умственных высот до таких женщин, как Урсула, которые, по ее мнению, на все смотрели исключительно через призму своих чувств. Бедная Гермiona, ее ноющая уверенность в своей правоте была одним из ее наваждений, только ею она и могла прикрываться. Она должна была быть уверена, что ее правота непогрешима, потому что, Бог свидетель, во всем остальном она чувствовала себя лишней и несведущей. В мире мысли, в духовной жизни, она была одной из избранных. И ей хотелось вобрать своим разумом все, что только можно. Но душа ее была разъедена цинизмом. Она не верила в свои собственные истины – они были ненастоящими. Она не верила, что у человека может быть внутренняя жизнь – это была всего лишь иллюзия. Она не верила в духовный мир – он был всего лишь наваждением. Как за соломинку, хваталась она за веру в Мамона<sup>53</sup>, в плотскую жизнь и дьявола – уж они-то, по крайней мере, были настоящими. Она была неверующей жрицей, жрицей без убеждений, воспитанной в свете износившихся убеждений и обреченной повторять тайны, которые утратили в ее глазах свою божественность. Бежать было некуда. Она была листом на засыхающем дереве. Что же ей оставалось делать, кроме как продолжать бороться за старые, высохшие истины, погибать за старые, изношенные верования, быть священной и девственной жрицей оскверненных таинств? Великие истины прошлого были верными только в прошлом. Она была листом на огромном древе познания, которое простояло тысячи лет, а сейчас засыхало. Значит, она должна хранить верность самой последней старой истине, даже если в душе она и относилась ко всему цинично и насмешливо. – Я так рада вас видеть, – тихо сказала она Урсуле, и ее голос звучал, словно магическое заклинание. – Вижу, вы с Рупертом стали близкими друзьями?

– Да, – сказала Урсула. – Он всегда где-то рядом.

Гермiona помедлила, прежде чем ответить. Она прекрасно уловила хвастливые нотки в голосе собеседницы и тут же сочла их необыкновенно вульгарными.

– Правда? – медленно и совершенно хладнокровно воскликнула она. – И вы думаете, вы с ним поженитесь?

Вопрос прозвучал так спокойно и ровно, он был таким простым, откровенным и бесстрастным, что Урсулу он ошарашил, хотя и польстил ее самолюбию. Он доставил ей известное злорадное

---

<sup>53</sup> Маммон – бог богатства и жадности.

удовольствие. Гермione каким-то образом удавалось вкладывать в свои слова восхитительно откровенную иронию.

– Он жаждет этого, – ответила Урсула, – я же не уверена, нужно ли мне это.

Гермиона спокойно и холодно наблюдала за ней. Эти новые хвастливые нотки не остались незамеченными. Как же она завидовала этой инстинктивной самоуверенности Урсулы! И даже ее вульгарности!

– Отчего же вы не уверены? – спросила она в своей привычной протяжной манере. Она с полной непринужденностью, а возможно, даже и с радостью вела этот разговор. – Вы не любите его по-настоящему?

Такой несколько нескромный вопрос вызвал краску на лице Урсулы. Но она была не в силах обидеться. Гермione казалась такой невозмутимой и разумно честной. В конце концов, не каждому дано иметь такой трезвый взгляд на вещи.

– Он говорит, что ему нужна не любовь, – ответила она.

– Что же в таком случае ему нужно? – голос Гермione был ровным и медленным.

– На самом деле он хочет, чтобы я приняла его, вступив с ним в брак.

Гермиона некоторое время молчала, не сводя с Урсулы пристального задумчивого взгляда.

– Правда? – равнодушно через какое-то время произнесла она. А затем, с большим воодушевлением: – И что же вам не нравится? Вы не хотите вступать в брак?

– Нет-нет – не особенно. Я не хочу позволить ему подчинить меня себе так, как он того требует. Он хочет, чтобы я забыла о самой себе – а я чувствую, что просто не смогу этого сделать.

Повисла долгая пауза, но вскоре Гермione вновь заговорила:

– Не сможете, если не захотите.

В комнате опять воцарилась тишина. Гермione пронзила загадочная страстная дрожь. О, вот бы ее он захотел подчинить себе, сделать своей рабой! От этой мысли ее тело сладострастно содрогнулось.

– Понимаете, я не могу...

– Но в чем конкретно...

Они заговорили одновременно и тут же замолчали. Затем Гермione, решив, что первой должна быть она, с какой-то усталостью поинтересовалась:

– Каким же образом он хочет подчинить вас себе?

– Он говорит, что хочет, чтобы я приняла его безоговорочно, приняла разумом – а я не знаю, что он хочет этим сказать. Он говорит, что хочет создать физический союз двух демонических элементов, а не двух человеческих существ. Понимаете, в одно мгновение он говорит одно, в другое – совершенно другое, и постоянно противоречит сам себе.

– К тому же, он всегда думает только о себе и своей неудовлетворенности, – медленно добавила Гермione.

– Да, – воскликнула Урсула. – Как будто речь идет только о нем одном. Вот поэтому наш брак и невозможен.

Но в следующий момент она начала оправдываться.

– Он настаивает, чтобы я приняла в нем неизвестно что, – сказала она. – Он хочет, чтобы я приняла его как абсолютную величину. Но, по-моему, он не хочет ничего давать взамен. Ему не нужны по-настоящему теплые близкие отношения, он не согласится на это, такие отношения для него неприемлемы. Он не позволит мне ни думать, ни чувствовать – он ненавидит эмоции. Последовало долгое молчание, и каким же горьким было оно для Гермione! Отчего же он не потребовал этого от нее? Это он вовлек ее в мир мысли, это он неумолимо толкал ее в пучину познания – а затем за это же ее и возненавидел.

– Он хочет, чтобы я оказалась от собственного «я», – продолжала Урсула, – хочет лишить меня моей сущности.

– Раз ему нужно именно это, – негромко протянула Гермione, – почему он не женится на одалиске?

На ее вытянутом лице теперь было ироничное и довольное выражение.

– Да, – рассеянно согласилась Урсула.

Но самое неприятное было в том, что ему не нужна была одалиска, ему не нужна была рабыня. Гермiona стала бы его рабыней – в ней жило непреодолимое желание пасть ниц перед мужчиной – мужчиной, который, однако, должен был бы боготворить ее и считать ее высшим существом. Ему не нужна была одалиска. Он хотел, чтобы женщина приобрела что-то с его помощью, чтобы она полностью отказалась бы от себя и тем самым вобрала в себя его до последней капли, чтобы она смогла принять его без остатка, до мельчайших проявлений его физической сущности, мельчайших и самых невыносимых.

Но если она, Урсула, сделает это, будет ли он благодарен ей? Будет ли он после всего этого благодарен ей или же он просто использует ее, использует как средство для удовлетворения своих потребностей, не признавая в ней равное существо? Именно так поступали остальные мужчины. Они хотели показать самих себя, они не считали ее личностью, своим отношением они сводили на нет все, что составляло ее внутренний мир. Так же, как сейчас это делала Гермiona, предавая свое женское начало. Гермiona походила на мужчин, она верила только в то, во что верили мужчины. Она изменила своей женской сущности. И будет ли Биркин благодарен ей, Урсуле, или же просто отбросит ее, как ненужную вещь?

– Да, – сказала Гермiona, когда они обе решились прервать свои размышления. – Это было бы неправильно – мне кажется, это был бы неверный шаг...

– Выйти за него замуж? – спросила Урсула.

– Да, – медленно протянула Гермiona. – По-моему, вам нужен другой мужчина – отважный, обладающий сильной волей...

Гермiona вытянула руку и с экстатической силой сжала ее в кулак.

– Вам нужен мужчина, подобный героям ушедших веков – вы должны стоять за его спиной, когда он отправляется на войну, вы должны видеть его силу и слышать его клич... Вам нужен физически крепкий мужчина, с мужской волей, а не ранимое существо.

Она остановилась, словно пифия, выкрикнувшая свое пророчество, а затем устало и экзальтированно продолжила:

– Понимаете ли, Руперт совсем не такой, он другой. У него хрупкое здоровье и хрупкое тело, о нем нужно постоянно, постоянно заботиться. Он такой изменчивый и неуверенный в себе – и чтобы помочь ему, нужно обладать огромным терпением и знаниями. А вы не кажетесь мне терпеливой женщиной. Вам придется приготовиться страдать – причем очень много страдать. Вы даже не представляете себе, сколько нужно вынести для того, чтобы сделать его счастливым. Временами он живет очень напряженной духовной жизнью – слишком, слишком восхитительной. Но после этого наступает срыв. Вы не можете себе представить, что мне пришлось пережить рядом с ним! Мы уже так давно вместе, я знаю его по-настоящему, я прекрасно знаю, что он из себя представляет. И мне кажется, я должна вам это сказать: по-моему, ваш брак обернется катастрофой – для вас еще более ужасной, чем для него.

Гермiona забылась в своих горьких мыслях.

– Он такой неуверенный в себе, такой непостоянный – силы оставляют его, и наступает депрессия. Даже не представляете себе, что такое эти его депрессии. Невозможно описать, сколько боли они приносят. Сначала он заверяет тебя в своей преданности и называет «любимая», но уже через некоторое время обрушивает на тебя свою ярость, пытается уничтожить. Постоянство ему неведомо, и эти ужасающие, чудовищные срывы возникают у него постоянно. Его настроение очень быстро меняется с хорошего на плохое и обратно – с плохого на хорошее. И все остальное по сравнению с этим просто пустяки...

– Да, – с сочувствием сказала Урсула, – должно быть, вы пострадали.

Неземной свет засиял на лице Гермiony. Она сжала кисть, как человек, на которого нашло прозрение.

– И нужно с готовностью отдаться этим страданиям, нужно быть готовой страдать ради него ежечасно и ежедневно, если вы хотите помочь ему, если он сможет хоть чему-нибудь сохранить верность...

– А я не хочу страдать ежедневно и ежечасно, – ответила Урсула. – Не хочу, я постыдилась бы так страдать. Потому что быть несчастной очень унижительно.

Гермиона умолкла и долго не сводила с Урсулы пристального взгляда.

– Вы так считаете? – наконец, вымолвила она.

И этими словами Гермиона хотела показать собеседнице, как далеко той до нее. Ведь страдания для Гермионы были самым главным в ее жизни, она отдавалась им с головой. Но и она тоже верила в счастье.

– Да, – сказала она. – Человек непременно должен быть счастливым.

Но как же тяжело дались ей эти слова!

– Да, – уже совершенно апатично произнесла Гермиона, – только по-моему, ваш брак обернется катастрофой, истинным бедствием, особенно, если вы слишком поспешно выйдете замуж.

Неужели нельзя быть вместе, не связывая себя узами брака? Мне кажется, брак пагубно скажется на вас обоих. Я говорю это скорее ради вашего блага – к тому же, меня беспокоит его здоровье...

– Разумеется, – сказала Урсула. – Сам факт брака не имеет для меня значения – для меня это неважно – это нужно ему.

– Это минутное настроение, – устало отрезала Гермиона с беспрекословным превосходством более опытной женщины.

Повисла пауза. Затем Урсула нерешительно, но вызывающе бросила:

– Вы считаете, что я совершенно приземленная женщина, да?

– Вовсе нет, – ответила Гермиона, – вовсе нет! Я просто считаю, что вы молоды и полны жизненной энергии, дело даже не в возрасте или опыте – все дело в породе. Руперт принадлежит к людям старой породы, его место среди них; вы же кажетесь мне такой молодой, вы принадлежите к новому, неопытному поколению.

– Неужели! – воскликнула Урсула. – А я напротив считаю, что он удивительно молод.

– Да, а в некоторых вопросах он вообще младенец. Тем не менее...

Они обе замолчали. Урсула ощутила глубокую неприязнь и некоторую безысходность.

«Неправда все это, – говорила она себе, мысленно обращаясь к своей сопернице. – Это совсем не так. Это тебе нужен физически сильный мужчина, который сможет подавить тебя, а не мне. Это тебе, а не мне, нужен бесчувственный мужик. Ты ничего не знаешь о Руперте, совершенно ничего не знаешь, и это несмотря на все годы вашей близости. Ты не даешь ему женской любви, ты даешь ему воображаемую любовь, поэтому-то он и отталкивает тебя. Ты ничего не понимаешь. Тебе известны только мертвые истины. Да любая кухарка сможет его понять, но только не ты. Все твое знание – это ничего не значащие засохшие идеи. Ты, фальшивая насквозь, неверная, что ты можешь знать? Что толку в твоих рассуждениях о любви – ты, искаженное отражение женщины? Как ты можешь что-то знать, если ты ни во что не веришь? Ты не веришь в себя, в свое женское начало, так кому нужен твой тщеславный, пустой ум?»

Женщины сидели во враждебном молчании. Гермиону уязвляло, что все ее добрые намерения, все ее предложения самым вульгарным образом отторгались другой женщиной. Урсула ничего не понимала и никогда бы не смогла понять, она навсегда останется лишь неразумной ревнивой женщиной, обладающей хорошей порцией мощной женской эмоциональности, женской привлекательности и очень небольшим количеством женской рассудительности, – но только не умом. А Гермиона уже давным-давно решила для себя, что если ума нет, то не стоит апеллировать к здравому смыслу – просто не стоит обращать внимания на невежу. Ох уж этот Руперт! – теперь одно из его плохих настроений толкнуло его в объятия этой абсолютно женственной, цветущей, эгоистичной женщины – такова была его реакция и с ней ничего нельзя было поделать. Он то бросался вперед, то его откидывало назад – но скоро амплитуда этого бессмысленного метания станет слишком большой, она вызовет в нем раскол и он погибнет. Спасения не было. Это страшное и нецеленаправленное колебание между животными порывами и духовной истиной, эти два противоположных полюса, разорвут его пополам, и он тихо исчезнет из этой жизни. Все было бесполезно – впадая в крайности, он переставал быть

цельным существом, он лишился разума; он был не совсем тем мужчиной, который смог бы сделать счастливой женщину.

Они сидели до тех пор, пока не появился Биркин. Он в мгновение ока уловил царившую в комнате враждебность, извечную и непреодолимую, и закусил губу. Но притворился, что ничего не замечает.

– Здравствуй, Гермiona, ты уже вернулась? Как ты себя чувствуешь?

– Гораздо лучше. А как ты? Что-то ты неважно выглядишь...

– Ну... Знаете, Гудрун и Винни Крич собирались придти на чай. По крайней мере, они мне так сказали. Устроим настоящее чаепитие. Урсула, каким поездом ты приехала?

Эта попытка примирить их ни у одной, ни у другой не вызвала ничего, кроме досады.

Женщины наблюдали за ним – Гермiona с глубокой неприязнью и жалостью, а Урсула с крайним нетерпением.

Он нервничал, но определенно был в хорошем расположении духа и сыпал общепринятыми банальностями. Урсула негодуя удивлялась его манере вести светскую беседу – он умел это делать не хуже любого фата в подлунном мире. Поэтому она напустила на себя холодный вид и замкнулась в молчании. Все происходящее казалось ей необычайно фальшивым и унижительным. А Гудрун все еще не было.

– Я решила провести зиму во Флоренции, – через некоторое время сказала Гермiona.

– Правда? – откликнулся он. – Но там же так холодно!

– А я останюсь у Палестры. У нее очень неплохо.

– Почему тебя так тянет во Флоренцию?

– Точно сказать не могу, – медленно протянула Гермiona.

Она перевела на него свой тяжелый взгляд.

– Барнз открывает свою эстетическую школу, и Оландез собирается прочесть несколько лекций о национальной политике Италии...

– Все это ерунда какая-то, – заметил он.

– Нет, я с тобой не согласна, – возразила Гермiona.

– И кто тебе больше нравится?

– Мне нравится и тот, и другой. Барнз – первопроходец. К тому же меня интересует Италия и то, как будет пробуждаться ее национальное самосознание.

– Уж лучше бы пробудилось что-нибудь другое, только не национальное самосознание, – сказал Биркин, – особенно если учесть, что в Италии под этим подразумеваются торгово-промышленные интересы. Терпеть не могу Италию и ее демагогию. К тому же Барнз самый настоящий дилетант.

Гермiona враждебно замолчала. Но ей все же удалось вернуть Биркина в свой мир! Как незаметно умела она влиять на него – в одно мгновение она перевела его раздраженное внимание на себя. Он принадлежал только ей.

– Нет, – ответила она, – ты ошибаешься.

Внезапно она замерла на месте, подняла лицо вверх, словно пифия, которая вот-вот разразится пророчеством, и экзальтированно продолжила:

– Il Sandro mi scrive che ha accolto il piu grande entusiasmo, tutti i giovani, e fanciulle e ragazzi, sono tutti...<sup>54</sup>

Она говорила по-итальянски, словно об итальянцах можно было говорить только на их языке.

Руперт неприязненно выслушал ее «песнопение», а затем ответил:

– Даже при всем при том мне это не нравится. Их национальное самосознание – всего-навсего индустриализм, который, как и мелочную зависть, я от всего сердца презираю.

---

<sup>54</sup> Сандро [Александр, брат Гермiony] мне писал, что молодежь – и юноши и девушки, приняли его с большим энтузиазмом, что они все охвачены таким порывом... (ит.)



– А по-моему, ты ошибаешься, ты совершенно не прав, – проронила Гермиона. – Я считаю, что рвение современных итальянцев так прекрасно и ненаигранно, ведь это страсть к Италии, L'Italia...

– Вы неплохо знаете Италию? – спросила Урсула.

Гермиона была очень недовольна, что ее речь прервали таким вопросом. Тем не менее, она все же снисходительно ответила:

– Да, вполне хорошо. В юности я вместе с мамой провела там несколько лет. Мама скончалась во Флоренции.

– О...

Повисла пауза, неприятная и для Урсулы, и для Биркина. Одна только Гермиона, казалось, была спокойной и ничего не замечала. Биркин был бледен, его глаза горели словно у больного лихорадкой человека, да и вообще он выглядел крайне изможденно.

Какие же муки испытывала Урсула, сидя в эпицентре противоборства двух характеров! Ей казалось, что ее лоб сковали железные обручи.

Биркин позвонил, чтобы несли чай. Ждать Гудрун дальше казалось невозможным. Когда дверь открылась, в комнату вошел кот.

– Micio! Micio!<sup>55</sup> – позвала Гермиона своим размеренным, неестественно-певучим голосом. Молодой кот оглянулся и медленной и величественной походкой направился к ней.

– Vieni – vieni qua, – говорила Гермиона ласкающе-покровительственным тоном, которая всегда считала себя самой опытной и мудрой, точно мать-настоятельница монастыря. – Vieni dire Buon'Giorno alla zia. Mi ricorde, mi ricorde bene – non he vero, piccolo? E vero che mi ricordi? E vero?<sup>56</sup>

Она медленно и с насмешливым безразличием гладила его по голове.

– Он понимает по-итальянски? – спросила Урсула, не зная ни слова на этом языке.

– Да, – помедлив, отозвалась Гермиона. – Его мать была итальянкой. Она родилась во Флоренции в моей корзинке для бумаг, в утро дня рождения Руперта. Она стала ему подарком. Принесли чай. Биркин разливал его по чашкам. Странно было видеть, насколько нерушимой была близость между ним и Гермионой. Урсула почувствовала себя лишней. Даже чайные чашки и старинное серебро протягивали ниточку от Гермионы к Биркину. Казалось, они принадлежали прошедшему времени, ушедшему миру, в котором было место только для него и для нее и в котором она, Урсула, была чужой. В их изысканной среде она была парвеню. Ее традиции не были их традициями, их принципы не были ее принципами. Но их традиции и принципы были упрочившимися, они были одобрены и обладали божьей благодатью. Он и она, Гермиона и Биркин, были людьми одной и той же старой формации, одной и той же высохшей и закоснелой культуры. А она, Урсула, была отступницей. Именно так чувствовала она себя в их присутствии.

Гермиона налила в блюдо немного сливок. Простота, с которой эта женщина распоряжалась вещами Биркина, выводила Урсулу из себя, обескураживала ее. Это выглядело так, как будто все так и должно было быть, словно так предначертано судьбой.

Гермиона посадила кота себе на колени и поставила сливки перед ним. Кот оперся передними лапами на стол и склонил свою изящную молодую мордочку к блюду.

– Seccuro che capisce italiano, – пропела Гермиона, – non l'avra dimenticato, la lingua della Mamma<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Котик, котик! (ит.)

<sup>56</sup> Иди, иди сюда! Иди поздоровайся с тетей. Он помнит меня, он хорошо меня помнит – разве не так, малыш? Ты правда ведь меня помнишь? (ит.)

<sup>57</sup> Разумеется, он понимает по-итальянски... он ведь не может забыть язык своей мамочки. (ит.)

Она ухватила голову кота длинными, медлительными, белыми пальцами, подняла ее вверх, не позволяя ему пить, не выпуская его из своей власти. Она всегда получала удовольствие, когда могла проявлять свою власть, – особенно над любым существом мужского пола. Кот с видом скучающего мужчины снисходительно прищурился и облизнулся. Гермiona издала короткий, гортанный смешок.

– Ecco, il bravo ragazzo, come e superbo, questo!<sup>58</sup>

Эта спокойная и странная женщина с котом в руках выглядела очень живописно. В ней была выразительность неподвижной статуи, в некотором смысле она была актрисой.

Кот отвернулся от нее, без всяких эмоций высвободился из ее хватки и начал пить, опустив нос в самые сливки, прекрасно удерживая равновесие и лакая со странным, едва слышным прихлюпыванием.

– Не стоит приучать его есть на столе, – сказал Биркин.

– Хорошо, – ответила Гермiona, не противореча ему.

Взглянув на кота, она заговорила своим прежним ироничным протяжным голосом.

– Ti imparano fare brutte così, brutte cose...<sup>59</sup>

Она неспешно подняла голову Мино, подцепив указательным пальцем его белый подбородок. Молодой кот огляделся вокруг с непревзойденным равнодушием, но не стал ни на что смотреть, опустил голову и начал умываться. Гермiona вновь гортанно хмыкнула.

– Bel giovanotto<sup>60</sup>, – сказала она.

Кот потянулся вперед и тронул изящной белой лапкой край блюда. Гермiona опустила его на пол с изящной медлительностью. Эти выверенные, элегантные, осторожные движения напомнили Урсуле о Гудрун.

– No! Non e permesso di mettere il zampino nel tondinetto. Non piace al babbo. Un signor gatto così selvatico!..<sup>61</sup>

Она прижала пальцем мягкую кошачью лапку, а в ее голосе слышалась все та же насмешливая издевка.

Урсула потерпела поражение. Сейчас ей хотелось только одного – уйти. Все оказалось бессмысленным. Гермiona ни за что не сдаст своих позиций, ее же надежды были призрачны и неосуществимы.

– Я пойду, – внезапно сказала она.

Биркин посмотрел на нее едва ли не с испугом – так он боялся ее гнева.

– Не стоит так торопиться, – попытался он удержать ее.

– Нет, – ответила она, – мне пора.

Она повернулась к Гермione, не дав ему возможности сказать что-то еще, протянула ей руку и попрощалась:

– До свидания.

– Всего хорошего, – пропела Гермiona, задерживая руку Урсулы в своей. – А вам действительно нужно уходить?

– Да, мне и правда нужно уходить, – сказала Урсула с окаменевшим лицом, избегая взгляда Гермiony.

– А нужно ли?..

---

<sup>58</sup> Вот храбрый мальчик, какой ты у меня благородный. (ит.)

<sup>59</sup> Оказывается, тебя учат плохому, плохому. (ит.)

<sup>60</sup> Красивый юноша. (ит.)

<sup>61</sup> Нет! Тебе нельзя ставить лапку на блюдечко. Папочка не позволяет. Синьор кот совершенно невоспитанный! (ит.)

Но Урсула уже высвободила свою руку. Она обернулась к Биркину, быстро и чуть ли не язвительно попрощалась с ним и открыла дверь раньше, чем он успел ее перед ней распахнуть. Она вышла на улицу и очень быстро пошла вниз по дороге, охваченная гневом и смутением. Удивительно, какую беспричинную ярость и ожесточение вызвала в ней Гермиона одним своим присутствием. Она понимала, что уступила свое место другой женщине, она знала, что выглядела невоспитанной, неотесанной и неестественной. Но ей было все равно. Она только быстрее шла по дороге, но ей очень хотелось вернуться и насмешливо рассмеяться им в лицо. Потому что они надругались над ее чувствами.

## Глава XXIII

### Прогулка

На следующий день Биркин разыскивал Урсулу. В школе был сокращенный день. Он появился, когда утро подходило к концу, и попросил ее покататься с ним днем на машине. Она согласилась. Но при этом ее лицо было замкнутым и равнодушным, и у него упало сердце. День выдался безоблачный, но туманный. Он подъехал на своей машине и она села рядом с ним. Но по выражению ее лица было видно, что она все еще закрыта для него, что она не реагирует на его знаки. Когда она становилась такой, противостоя ему, словно стена, его сердце сжималось.

Его жизнь казалась ему такой малозначимой, что ему было почти все равно. Иногда ему казалось, что ему нет никакого дела до того, существуют ли Урсула, Гермиона и остальные люди или же нет. Какое ему дело! Зачем нужно бороться за жизнь, связанную с другим существом, жизнь, которая приносит удовлетворение? Почему бы не плыть по течению, ведя вольную жизнь – как в плутовском романе?<sup>62</sup> Почему бы и нет? Зачем ему все эти человеческие взаимоотношения? Разве нужно принимать мужчин и женщин всерьез? Зачем вообще создавать какие-то серьезные связи? Почему бы не жить обыденной жизнью, плыть по течению, принимать все таким, как есть?

И в тоже время он был обречен на древние как мир попытки жить серьезно, именно такая жизнь была предначертана ему.

– Смотри, – сказал он, – что я купил.

Машина бежала по широкой белой дороге между осенними деревьями.

Он протянул ей маленький бумажный сверток. Она взяла его и раскрыла.

– Какая прелесть! – воскликнула она.

Она рассматривала подарок.

– Какая восхитительная прелесть! – воскликнула она вновь. – Но зачем ты мне их дал?

Она постаралась, чтобы в вопросе прозвучала обида.

На его лице промелькнуло утомленное раздражение. Он слегка пожал плечами.

– Потому что мне так захотелось, – сухо сказал он.

– Но почему? Зачем тебе это?

– Ты хочешь выяснить мои мотивы? – спросил он.

Повисло молчание, и она рассматривала кольца, которые были завернуты в бумагу.

– Я думаю, что они прекрасны, – сказала она, – особенно это. Это просто великолепно.

Это было кольцо с круглым опалом, красным и пламенным, в оправе из маленьких рубинов.

---

<sup>62</sup> Плутувский роман – одна из ранних форм европейского романа (XVI–XVIII вв.), зародившаяся в Испании. Повествует о похождениях ловкого пройдохи, авантюриста, обычно выходца из низов или деклассированного дворянина.

– Тебе больше нравится это? – спросил он.

– Думаю, да.

– Мне больше нравится с сапфиром, – сказал он.

– Это?

Это было кольцо с прекрасным сапфиром, ограненным «розочкой», которое окаймляли маленькие бриллианты.

– Да, – сказала она, – оно милое.

Она подняла его на свет.

– Да, пожалуй, оно самое лучшее...

– Голубое, – сказал он.

– Да, красиво.

Внезапно он вывернул руль, чтобы машина не врезалась в тележку фермера. Машина налетела на насыпь. Он был бесшабашным водителем, и в то же время очень ловким. Но Урсула испугалась. В нем всегда была какая-то невнимательность, которая приводила ее в ужас. Она внезапно почувствовала, что он может убить ее, устроив ужасную автомобильную аварию. На мгновение она окаменела от страха.

– По-моему, то, как ты водишь, очень опасно, – сказала она.

– Нет, не опасно, – сказал он, а затем, выдержав паузу, добавил: – А разве желтое кольцо тебе не нравится?

Это был топаз квадратной огранки в стальной оправе, или какой-то другой камень очень тонкой работы.

– Да, – сказала она, – оно мне очень нравится. Но почему ты купил эти кольца?

– Потому что хотел их купить. Они не новые.

– Ты купил их для себя?

– Нет. На моих руках кольца не смотрятся.

– Так зачем же ты их купил?

– Для того чтобы подарить тебе.

– Вот как? В таком случае ты должен отдать их Гермione! Твое место рядом с ней.

Он не ответил. Она так и сидела, зажав драгоценности в руках. Ей хотелось примерить их, но что-то удерживало ее. Более того, она боялась, что ее руки были слишком большими, мысль о том, что ей не удастся надеть их ни на один из пальцев, кроме как на мизинец, приводила ее в чудовищный страх. Они молча ехали по пустынным проселкам.

Ее возбуждала езда на машине, она даже забыла, что он находится рядом.

– Где мы? – внезапно спросила она.

– Недалеко от Ворксопа.

– А куда мы едем?

– Куда глаза глядят.

Такой ответ ей понравился.

Она раскрыла ладонь, чтобы посмотреть на кольца. Они доставляли ей удовольствие, лежащие на ее ладони три кружка с выдающимися драгоценными камнями, пойманные в ее руке. Она обязательно должна была примерить их. Она сделала это тайно, нежелая, чтобы он увидел, чтобы он не узнал, что ее палец был слишком большим для них. Но он тем не менее увидел. Он всегда все видел, если ей этого не хотелось. Это было еще одной его неприятной, настаивающей чертой.

Только кольцо с опалом с его тонкой металлической оправой подошло на ее безымянный палец. А она была суеверной. Нет, и так слишком многое предвещало дурное, она не примет от него это кольцо в знак обручения.

– Смотри, – сказала она, вытягивая руку, чуть согнутую и подрагивающую. – Остальные мне не подходят.

Он взглянул на мерцающий красный, мягкий камень на ее необычайно нежной коже.

– Да, – сказал он.

– Но ведь опалы же предвещают плохое? – жалобно заметила она.

– Ну да. А я предпочитаю все, что пророчит неудачу. Удача слишком вульгарна. Кому нужно то, что принесет удача? Мне – нет.

– Но почему? – рассмеялась она.

И, подталкиваемая желанием увидеть, как будут смотреться на ее руках другие кольца, она надела их на мизинец.

– Их можно расширить, – сказал он.

– Да, – с сомнением ответила она, и вздохнула.

Она понимала, что, принимая кольца, она обручалась с ним. Однако, казалось, судьба была сильнее ее. Она вновь взглянула на драгоценности. Они казались ей очень красивыми, и дело было не в их красоте как украшений, ни в их стоимости, а потому, что это были крошечные осколки красоты.

– Я рада, что ты их купил, – сказала она, с некоторой неохотой, вытягивая руку и нежно кладя ее на его локоть.

Он едва заметно улыбнулся. Ему хотелось привлечь ее к себе. Но в глубине души он чувствовал равнодушие и безразличие. Он знал, что она по-настоящему испытывает к нему страсть. Но это не до конца занимало его. Существовали глубины страсти, когда человек становился обезличенным и равнодушным, когда все эмоции пропадали. В то время как Урсула все еще находилась на эмоциональном уровне, личном уровне, который всегда оставался чертовски личным. Он овладел ей так, как никогда не овладевал собой. Он овладел ей у самого истока ее мрака и стыда, словно демон, смеющийся над потоком волшебного порока, который был одним из источников ее существования – смеющийся, содрогающийся, впивающий, вбирающий ее всю до конца. А что касается нее, когда она сможет отказаться от своего «я», чтобы принять его в самом водовороте смерти?

Сейчас она была совершенно счастлива. Машина продолжала катиться, день был тихий и туманный. Она разговаривала с оживленной заинтересованностью, анализируя людей и движущие ими мотивы – Гудрун, Джеральда. Он рассеянно отвечал. Его больше не интересовали личности и люди – все люди были разными, но сегодня они все были ограничены определенными рамками, говорил он; существовало только немногим больше двух идей, двух огромных потоков действий, которые порождали различные формы реакций. Все эти реакции у различных людей были разными, но они следовали нескольким великим законам и по сути своей никакой разницы между ними не было. Они действовали и противодействовали неосознанно согласно нескольким великим законам, и как только эти законы, эти великие принципы, становились известными, люди теряли свою мистическую загадочность. По своей сути они все были одинаковыми, и разница между ними была только вариацией на заданную тему. Никто из них не нарушал заданных условий.

Урсула была с этим не согласна – для нее люди все еще были неизведанной страной – но возможно не настолько, как она пыталась себя убедить. Возможно, теперь она интересовалась ими только по инерции. Возможно также, что ее интерес носил деструктивный характер, ее анализ был всего-навсего раздиранием на куски. В ней было какое-то внутреннее пространство, где ей не было дела до людей и их отличительных черт, даже чтобы и разрушить их. Казалось, на мгновение она затронула эту внутреннюю тишину, притихла и на мгновение обернулась с мыслями только о Биркине.

– Как чудесно было бы приехать домой, когда уже стемнеет! – сказала она. – Можно выпить чай попозже – ладно? Устроим «большой чай».<sup>63</sup> Разве это будет не чудесно?

– Я обещал поужинать в Шортландсе, – сказал он.

– Но это же неважно – можешь пойти завтра.

---

<sup>63</sup> Большой чай – позднее чаепитие, устраиваемое вместо ужина.



– Там будет Гермiona, – сказал он довольно напряженным голосом. – Через два дня она уезжает. Мне кажется, я должен попрощаться с ней. Я больше никогда ее не увижу. Урсула отстранилась и закрылась от него в яростном молчании. Он нахмурился и его глаза вновь начали мерцать гневным светом.

– Ты ведь не возражаешь, да? – раздраженно спросил он.

– Нет, мне все равно! Какое мне до этого дела? Почему это я должна возражать?

Ее тон был насмешливым и оскорбительным.

– Этот вопрос-то я себе и задаю, – сказал он, – почему ты должна возражать! Но мне кажется, что ты все-таки возражаешь.

– Уверяю тебя, я нисколько не против, и совершенно не возражаю. Иди туда, где твое место – вот и все, что я от тебя хочу.

– Какая же ты дура! – воскликнул он. – Только и твердишь: «Иди туда, где твое место». Да между мной и Гермioniой все кончено! Она для тебя имеет большее значение, если уж на то пошло, чем для меня. Ты можешь только восставать в чистейшей воды противодействии ей – а быть ее противоположностью значит быть ее двойником.

– Ах противоположностью! – воскликнула Урсула. – Знаю я твои уловки. Ты не заставишь меня закрыть глаза своими изворотливыми фразами. Твое место рядом с Гермioniой и ее избитой комедией. Ну а раз так, значит, так тому и быть. Я тебя не виню. Но в таком случае между нами не может ничего быть.

Он остановил машину, охваченный вспыхнувшим раздражением, и они возбужденно продолжили выяснять отношения прямо посередине проселка. Их ссора дошла до критической точки, поэтому они даже не замечали всей нелепости своего положения.

– Если бы ты только не была такой дурой, если бы ты не была такой дурой, – с горьким отчаянием вскричал он, – то ты бы поняла, что можно оставаться приличным человеком, даже если ты и совершил ошибку. Я ошибся в том, что все эти годы провел с Гермioniой – это вело только к смерти. Но, в конце концов, у человека может оставаться немного человеческого приличия. Но нет, тырываешь мне душу своей ревностью при одном только упоминании имени Гермioniы.

– Я ревную?! Я – ревную?! Ты ошибаешься, если так думаешь! Я нисколько не ревную к Гермione, она для меня пустое место, так-то вот! – Урсула прищелкнула пальцами. – Нет, это ты все время лжешь! Именно ты должен всегда к ней возвращаться, точно собака к своей рвоте. Мне ненавистно, то, что олицетворяет собой Гермiona. А олицетворяет она ложь, фальшь, смерть. Но тебе это нужно, ты ничего не можешь с этим поделать, не можешь! Ты все еще часть того старого, удушающего образа жизни – ну так и возвращайся к нему! Но не приходи ко мне, я не имею с этим ничего общего.

И во власти напряженных и сильных чувств, она выскочила из машины и, бросившись к живой изгороди, начала бессознательно срывать розовомытые ягоды бересклета, часть из которых лопнула, обнажив оранжевые семена.

– Ну и дура же ты! – горько и как-то презрительно вскричал он.

– Да, дура. Я – самая настоящая дура. И благодарю за это Бога. Я слишком большая дура, чтобы переварить твои умные мысли. Слава Богу! Отправляйся к своим женщинам – отправляйся, они как раз тебе подходят. Возле тебя всегда увивается несколько штук, и так будет всегда. Иди же к своим духовным невестам – но тогда забудь про меня, потому что я, слава Богу, не такая. Но тебя такое не удовлетворяет, да? Твои духовные невесты не могут дать тебе то, что тебе нужно, они недостаточно заурядны и плотски для тебя, да? Поэтому ты идешь ко мне, но держишь их за спиной! Ты женишься на мне ради каждодневного использования. Но ты оставишь за своей спиной достаточный запас своих духовных невест. Знаю я твою грязную мелочную игру!

Внезапно ее охватило такое пламя, что она в бешенстве топнула ногой, и Биркин отшатнулся, испугавшись, что она может ударить и его.

– А я, я недостаточно интеллектуальна, я не настолько интеллектуальна, как эта Гермiona! Она нахмурилась, а глаза горели, как у тигрицы.

– Так отправляйся к ней, вот что я тебе скажу, отправляйся к ней, иди. Ха, она интеллектуальна, она! Да она самая что ни на есть грязная материалистка. Это она-то интеллектуальна? Да какое ей дело до этого, в чем ее интеллектуальность? Что она такое?

Ее ярость, казалось, вырвалась из нее и опалила его лицо. Он поежился.

– Я говорю тебе, что это грязь, еще раз грязь и ничего, кроме грязи. И тебе нужна эта грязь, ты жить без нее не можешь. Духовность! Это ее-то насмешки, ее тщеславие и ее чудовищный материализм-то духовны? Да она грязная баба, совершенно грязная, она истинная материалистка, это все так омерзительно. Ради чего, в конце концов, она так старается, ради чего вся эта страсть к общественным проблемам, как ты ее называешь. Общественное рвение – да какое у нее может быть рвение! Покажите мне его! Где оно? Ей нужна мелочная минутная власть, ей нужна иллюзия, что она великая женщина, вот и все. В душе же она не верит ни в Бога, ни в черта, она заурядна, как грязь. Вот такова-то она в глубине души. Все остальное – притворство. Но тебе это нравится. Тебе нравится пустая духовность, ты ею питаешься. А почему? Да потому что под ней скрыта грязь. Ты думаешь, я не знаю обо всей порочности твоих и ее сексуальных отношений? Знаю. Вот эта-то порочность тебе и нужна, мерзкий ты лжец! Так получи ее, получи! Мерзкий лжец!

Она отвернулась и судорожно начала обрывать с изгороди ветки бересклета и вдевать их дрожащими пальцами в петлицу своего жакета.

Он сидел и молча наблюдал за ней. В нем поднялась волна удивительной нежности, когда он увидел, как дрожат ее чувствительные пальцы: и в то же самое время он чувствовал гнев и отчуждение.

– Это унижительная сцена, – холодно сказал он.

– Да уж, действительно унижительная, – согласилась она. – Но унижает она больше меня, чем тебя.

– Поскольку ты сама решила унижить себя, – сказал он.

И вновь вспышка озарила ее лицо, а в глазах загорелся желтый огонь.

– Ты! – воскликнула она. – Ты! Ты, любитель правды! Ты, ревнитель чистоты! Твоя правда и твоя чистота смердят! Они воняют падалью, который ты питаешься, ты, питающийся отбросами пес, ты, пожиратель трупов. Ты омерзителен, омерзителен и я хочу, чтобы ты об этом знал. Твоя чистота, твоя непорочность, твоя доброта – да, спасибо, хватит с нас ее! Ты всего-навсего омерзительная, страшная, как смерть, непристойная тварь, – вот кто ты, непристойная и извращенная тварь. Ты и любовь! Ты можешь хоть сто раз говорить, что любовь тебе не нужна. Нет, тебе нужны ты сам, грязь и смерть – вот что тебе нужно. Ты настолько извращен, ты питаешься смертью. А затем...

– Там велосипедист, – сказал он, сжимаясь от ее громкого обличения.

Она взглянула на дорогу.

– Мне все равно! – воскликнула она, но, тем не менее, замолчала.

Велосипедист, проезжавший мимо и слышавший ссору и повышенные голоса, с любопытством взглянул на мужчину, потом на женщину и на стоящую машину.

– Здравствуйте, – бодро поприветствовал он их.

– Добрый день, – сухо отозвался Биркин.

Они молчали, пока мужчина не отъехал подальше.

Лицо Биркина просветлело. Он знал, что по большей части она была права. Она знала, что у него была извращенная натура – такая одухотворенная, с одной стороны, а с другой – до странности порочная. Но разве она сама была лучше? Разве кто-нибудь в этом мире был лучше?

– Все это, возможно, так и есть – ложь, зловоние и так далее, – сказал он. – Но духовная близость Гермियोны немногим отвратительнее твоей эмоционально-ревнивой близости. Но можно сохранять приличия – даже в общении с врагами: ради себя самого. Гермiona мой враг – на всю жизнь. Вот почему я должен ласково убрать ее со своей дороги.

– Ты! Ты, твои враги и твои ласки! Хорошенькое зрелище ты делаешь из себя. Но это никого, кроме тебя не занимает. Я ревную! Да все, что я говорю, – ее голос наполнился яростью, – я

говорю только потому, что это правда, понимаешь ли ты?! Потому что ты это ты, омерзительный и неискренний лжец, побеленный склеп. Вот почему я так говорю. А ты слушай это...

– ...и будь благодарен, – добавил он с насмешливой гримасой.

– Да, – воскликнула она, – и если в тебе есть хоть капля приличия, то ты будешь благодарен.

– Однако во мне нет ни капли приличия, – парировал он.

– Верно! – воскликнула она. – Этой капли в тебе нет. Вот поэтому ты можешь идти своим путем, а я пойду своим. Это ни к чему не ведет, совершенно ни к чему. Поэтому можешь оставить меня сейчас, дальше я с тобой не поеду. Оставь меня.

– Ты даже не знаешь, где ты, – сказал он.

– О, не волнуйся, уверяю тебя, со мной все будет в порядке. У меня в кошельке десять шиллингов, и это позволит мне вернуться из любого места, куда бы ты меня не завез.

Она заколебалась. Кольца все еще были на ее пальцах: два – на мизинце, одно – на безымянном. И она все еще колебалась.

– Отлично, – сказал он. – Если человек – дурак, этому ничто не поможет.

– Совершенно верно, – ответила она.

Но она все еще медлила. Затем на ее лице появилось угрожающее и злобное выражение, она рывком сняла кольца с пальцев и бросила в его сторону. Одно попало ему в лицо, остальные – ударились о пальто и скатились в грязь.

– И забери свои кольца, – сказала она, – иди и купи себе женщину где-нибудь в другом месте – такую, которая с радостью разделит с тобой весь твой духовный бред, их найдется сколько угодно. Или же занимайся с ними своим физическим бредом, а духовный – оставь Гермione. С этим она пошла прочь от него вверх по дороге. Он неподвижно стоял, наблюдая за ее мрачным и довольно некрасивым уходом. Проходя мимо живых изгородей, она хмуро срывала веточки и вставляла их в петлицы жакета.

Она становилась меньше и меньше, и вскоре совсем исчезла из вида.

Его разум накрыла тьма. В нем тлела только одна, маленькая искорка сознания.

Он чувствовал себя разбитым и обессиленным, и в то же время ощущал облегчение. Он отошел к обочине и сел на насыпь.

Без сомнения, Урсула была права. Все, что она говорила, было правдой. Он знал, что его одухотворенность была сопутствующим обстоятельством испорченности, что она была чем-то типа удовольствия от саморазрушения. Для него в саморазрушении было что-то возбуждающее, особенно когда оно переводилось в плоскость духовного. Он осознал это и избавился от этого. Но разве эмоциональная близость Урсулы, эмоциональная и физическая не несла той же опасности, что и отвлеченная духовная близость Гермione? Слияние, слияние, это ужасное слияние двух существ, на котором настаивали все женщины и почти все мужчины, разве не было оно тошнотворным и ужасным, было ли это слияние духа или эмоционального тела? Гермione считала себя совершенной Идеей, к которой должны возвращаться все мужчины; а Урсула была совершенным Чревом, порождающим сосудом, к которому должны вернуться все мужчины! И обе наводили ужас. Почему они не могли остаться отдельными существами, ограниченными собственными возможностями? Зачем нужна вся эта ужасная всеобъемлемость, эта ужасающая тирания? Почему нельзя оставить свободу другому существу, зачем нужно поглощать, плавить, превращать в часть себя? Нужно полностью раствориться в мгновениях, но не в другом существе.

Он не мог смотреть, как его кольца валяются в бледной дорожной пыли. Он поднял их и инстинктивно обтер. Они были маленькими свидетельствами природы красоты, природы счастья в живительном созидании, но его руки были теперь в пыли и песке.

Его разум все еще пребывал во тьме. Ужасный сгусток сознания, который упорно обосновался там, словно навязчивая идея, раскололся, исчез, его жизнь растворилась во мраке, разлившись по ногам и телу. Но теперь в сердце его появилось беспокойство. Он хотел, чтобы она

вернулась. Он дышал легко и часто, как младенец, и его дыхание было невинным, ничем не омраченным.

Она возвращалась. Он увидел, как она отрешенно бредет вдоль высокой изгороди и медленно приближается к нему. Он не шелохнулся, больше он на нее не смотрел. Он словно погрузился в сон, обрел покой, задремав и полностью расслабившись.

Она подошла и встала перед ним, склонив голову.

– Смотри, какой цветок я тебе нашла, – сказала она, жалобно приближая лилово-красную, покрытую колокольчиками веточку вереска к его лицу. Он увидел собрание цветных колокольчиков и похожую на ствол дерева тонкую веточку: и ее руки с их необычайно тонкой, необычайно чувствительной кожей.

– Он милый! – сказал он, смотря на нее с улыбкой и беря у нее цветок. Все опять стало просто, очень просто, проблемы растворились в небытии. Но ему ужасно хотелось заплакать, в остальном ему было скучно и сильные чувства утомили его.

Затем его сердце наполнилось жарким желанием нежности. Он встал и взглянул ей в лицо. Оно было новым и о! удивление и страх озаряли его таким нежным светом. Он обнял ее и она спрятала лицо у него на плече.

Он чувствовал умиротворение, простое умиротворение, стоя на проселке и нежно обнимая ее. Наконец-то покой! Старый, отвратительный мир напряжения наконец-то исчез, он чувствовал, что его душа обрела силу и спокойствие.

Она взглянула на него. Удивительный золотой свет в ее глазах теперь стал мягким и приглушенным, они чувствовали себя друг с другом легко. Он нежно целовал ее, много-много раз. В ее глазах появилась улыбка.

– Я обидела тебя? – спросила она.

Он улыбнулся в ответ и взял ее руку, такую мягкую и податливую.

– Неважно, – сказал он, – все к лучшему.

Он вновь осыпал ее многочисленными поцелуями.

– Правда? – спросила она.

– Конечно, – ответил он. – Подожди, я еще с тобой расквитаюсь.

Она внезапно рассмеялась с диким лукавством в голосе и крепко обхватила его.

– Ты мой, любовь моя, не так ли? – воскликнула она, притягивая его к себе.

– Да, – мягко ответил он.

Его голос был таким мягким и совершенным, что она притихла, словно подчиняясь судьбе, которая наступила. И в то же время она неохотно подчинялась, но все произошло и без ее согласия. Он нежно повторял свои поцелуи с мягкой, тихой радостью, от которой ее сердце почти перестало биться.

– Любимый мой! – воскликнула она, поднимая к нему лицо и глядя на него испуганным, нежным, удивленным, полным блаженства взглядом.

Неужели это было на самом деле? Но его глаза были прекрасными, ласковыми, лишенными напряжения или волнения, они были красивы и слегка улыбались ей, улыбались вместе с ее глазами. Она спрятала лицо у него на плече, пытаясь укрыться от него, потому что он видел ее насквозь. Она знала, что он любит ее, и ей было страшно, она попала во власть неведомой ей стихии, вокруг нее возник новый рай. Она хотела, чтобы он пылал страстью, потому что страсть не вызывала у нее волнения. Эта тихая и хрупкая ситуация пугала ее гораздо больше подобно тому, как пространство пугает сильнее, чем давление.

Она вновь быстро подняла голову.

– Ты любишь меня? – быстро и импульсивно спросила она.

– Да, – ответил он, не замечая ее движения, а только ее неподвижность.

Она знала, что это было правдой. Она высвободилась из его объятий.

– Так и должно быть, – сказала она, оборачиваясь и смотря на дорогу. – Ты нашел кольца?

– Да.

– Где они?

– У меня в кармане.

Она просунула руку в его карман и вынула их. Она горела нетерпением.

– Может, поедem? – спросила она.

– Да, – ответил он.

И они снова сели в машину и примечательное поле их битвы осталось позади.

Они ехали по безлюдной местности, день уже клонился к вечеру, и вокруг ощущалась умиротворенность и красота. В душе он чувствовал приятную легкость, жизнь наполняла его словно из какого-то нового фонтана, казалось, он будто только что появился на свет из содрогающегося чрева.

– Ты счастлив? – спросила она его в своей странной восторженной манере.

– Да, – ответил он.

– Я тоже, – воскликнула она, охваченная внезапным экстазом, обнимая его одной рукой и судорожно прижимая к себе, в то время как он вел машину.

– Остановись, – сказала она. – Мне не нравится, что ты всегда должен что-то делать.

– Нет, – сказал он. – Вот закончим наше маленькое путешествие и будем свободны.

– Будем, любимый, будем, – восторженно воскликнула она, целуя его, когда он повернулся к ней.

Он продолжал вести машину с обновленным сознанием, напряжение, сковывавшее его сознание, исчезло. И, казалось, что сознание разлилось по всему его телу, во всем его теле пробудилось простое, сияющее понимание, словно он только что родился, подобно младенцу, подобно вылупившемуся из яйца птенцу, навстречу новой вселенной.

Уже в сумерках они спустились с длинного склона холма и внезапно справа, под ней, в долине, Урсула увидела очертания кафедрального собора Саутвелла.

– Так вот где мы! – радостно воскликнула она.

Строгий, мрачный, уродливый собор готовился раствориться во тьме наступающей ночи, когда они въехали на узкую городскую улицу, и золотые огни превращали витрины магазинов в фон для библейских сценок.

– Отец приезжал сюда с мамой, – сказала она, – когда они впервые познакомились. Ему здесь очень нравится – он обожает этот собор. А ты?

– Да. Кажется, будто кристаллы кварца торчат из темной долины. Мы устроим свой «большой чай» в «Сарациновой голове».

Когда они спустились вниз по холму, они услышали, что колокола на соборе отзванивали гимн, когда часы проббили шесть.

Славлю тебя, мой Бог, сегодня ночью,  
За то, что ты благословил весь свет...<sup>64</sup>

Урсуле казалось, что мелодия капля за каплей падала с невидимых небес на сумрачный город. Казалось, так звучат покрытые мраком, минувшие века. Все казалось таким отдаленным. Она стояла в старинном дворике маленькой гостиницы, ощущая запах соломы, конюшен и бензина. Над головой она видела первые звездочки. Что все это было? Это не было реальным миром, это был сказочный мир из детства – великое нашедшее свои очертания воспоминание. Мир перестал быть реальным. Она сама была странной, божественной реальностью.

Они сидели вместе у огня в маленькой комнате.

– Это правда? – удивляясь, спросила она.

– Что?

– Все это – это истинно?

– Истинно только самое прекрасное, – сказал он, состроив ей гримасу.

---

<sup>64</sup> Славлю тебя... – религиозный гимн XVII века.



– Правда? – смеясь, усомнилась она и взглянула на него.

Он все еще казался таким далеким. Ее душа смотрела новыми глазами. Она видела в нем странное существо из другого мира. Она была точно во власти чар и все преобразилось. Она вновь вспомнила старое волшебство Книги Бытия, где сыновья Господни увидели прекрасных дочерей человеческих. Он был одним из них, одним из этих странных существ из запредельного мира, которое смотрело на нее и видело, что она была прекрасна.

Он стоял на коврике возле камина и смотрел на нее, на ее лицо, повернутое кверху прямо как цветок, свежий, наполненный светом цветок, слабо мерцающий золотым сиянием, орошенный каплями первого света. И он едва заметно улыбался, словно слов не существовало в этом мире, кроме молчаливого восторга, который один цветок вызывает в другом. Они, улыбаясь, радовались присутствию друг друга, чистому присутствию, о котором нельзя было и подумать, не то что уж познать. Но в его глазах сияла легкая ирония.

Она внезапно прильнула к нему, словно во власти чар. Встав перед ним на колени на коврик, она обвила руками его бедра и прижалась к ним лицом. Сокровища, сокровища! На нее нахлынуло ощущение, словно ее одарили сокровищами.

– Мы любим друг друга! – восторженно сказала она.

– Больше чем любим, – ответил, глядя на нее со своей высоты с сияющим, спокойным лицом. Неосознанно, она скользнула своими пальцами по его ягодицам, по ходу некоего волшебного жизненного потока. Она отыскивала что-то, что-то более восхитительное, более прекрасное, чем сама жизнь. Там, в задней части его бедер, вниз по бокам, скрывалось странное волшебство движения его жизни. Это была странная реальность его существа, самое средоточие его, там, куда стремились бедра. Именно дотронувшись до этого места, она увидела в нем сына Господня, какие существовали в начале мира, не человека. Кого-то иного, кого-то большего, чем просто человек.

Это наконец принесло ей облегчение. У нее были любовники, она знавала страсть. Но это была не любовь и не страсть. Так было, когда дочери человеческие возвращались к сыновьям Господним, странным нечеловеческим сыновьям Господним, которые существовали, когда только был создан мир.

Теперь ее лицо превратилось в одно сияющее пятно вырвавшегося наружу золотого света, когда она смотрела на него, и она положила свои ладони сзади его бедер, когда он стоял перед ней. Он посмотрел на нее сверху вниз и казалось, что его яркие густые брови словно диадема венчают его глаза. Она была прекрасной, словно новый великолепный цветок, распутившийся у его ног, она была райским цветком, чем-то большим, чем просто женщиной, настоящим испускающим свет цветком. Однако в нем была какая-то натянутость и скованность. Ему не нравилось, что эта скорченная фигура испускала такой свет.

Ей больше нечего было желать. Она нашла одного из сынов Господних из Книги Бытия, а он нашел одну из первых самых светлых дочерей человеческих.

Она проводила руками по линии его живота и бедер, сзади, и живительный огонь пробежал по ее жилам, темной струей переливаясь в ее тело из его. Это был темный поток наэлектризованной страсти, который она вызвала в нем и который вобрала в себя. Она создала новую насыщенную электрическую цепь, новый поток страстной электрической энергии между ними, которая возникала в самых темных полюсах тела и замыкалась в идеальную Цепь. Этот темный электрический огонь бежал от него к ней и захлестывал обоих безмерным покоем и удовлетворением.

– Любовь моя, – воскликнула она, поднимая на него взгляд и раскрывая в порыве страсти глаза и рот.

– Любимая, – отвечал он, наклоняясь и целуя ее, постоянно целуя ее.

Она сомкнула руки на полной, округленной выпуклости его живота, когда он наклонился над ней. Ей казалось, что она касается средоточия волшебной темноты, которая и была им.

Казалось, она теряет сознание и падает вперед, и он тоже словно потерял сознание, наклонившись над ней. Для них обоих это было совершенное забвение и в то же время самый

невыносимый переход к жизни, великолепная наполненность, волшебное блаженство, захлестывающее, устремляющееся потоком из источника глубинной жизненной силы, самой черной, самой глубинной, самой странной жизненной силы человеческого тела в основании живота и внизу спины.

После молчания, когда потоки странной темной жидкости покинули ее, захлестнув ее, унеся с собой ее разум, пробежав вниз по спине, к коленям, через ступни, странный поток, уносящий все с собой и превращая ее в совершенно новое существо, она стала абсолютно свободной, она ощущала себя свободной в совершенном покое, в своей совершенной сути.

Она безмолвно и блаженно поднялась, улыбаясь ему. Он стоял перед ней и сиял, он был настолько реальным, что ее сердце почти прекратило биться. Он стоял перед ней, странное, целостное тело, обладавшее удивительными токами, какими обладали тела сыновей Господних, живших в начале мира. В его теле существовали странные потоки, более загадочные и мощные, чем она знала или могла себе представить, дарующие большее удовлетворение, насыщающие и душу, и плоть, насыщающие до конца. Она считала, что нет источника глубже фаллического источника. А теперь, смотрите, из охваченной страстью скалы – человеческого тела, из странно-восхитительных богов и бедер, более глубоких, более загадочных, чем фаллический источник, струились потоки непередаваемой словами тьмы и непроизносимых сокровищ. Они были счастливы и могли совершенно обо всем забыть. Они рассмеялись и решили насладиться принесенной ранее едой. Там кроме всего прочего был пирог с олениной, большой, нарезанный широкими ломтями окорок, яйца, кресс-салат и красная свекла, мушмула, яблочный пирог и чай.

– Как вкусно! – с удовольствием воскликнула она. – Как изысканно все это выглядит! Давай, я разолью чай.

Когда ей приходилось исполнять такие светские обязанности, как, например, разливать чай, она обычно нервничала и чувствовала себя неуверенно. Но сегодня она от всего отрешилась и, чувствуя себя легко, полностью забыла о дурных предчувствиях. Чай изящной струйкой лился из торчащего вперед тонкого носика. В ее глазах сияла теплая улыбка, когда она подавала Биркину чай. Наконец-то она научилась быть спокойной и совершенной.

– Все это наше, – сказала она ему.

– Все, – ответил он.

Она издала странный гукающий звук, полный ликования.

– Я так рада! – воскликнула она с непередаваемым облегчением.

– Я тоже, – сказал он. – Но мне кажется, нам следует отказаться от наших обязанностей, и чем быстрее, тем лучше.

– Каких обязанностей? – удивленно спросила она.

– Нам нужно в одночасье бросить работу.

В ее лице забрезжило новое понимание.

– Разумеется, – сказала она, – само собой.

– Мы должны выбраться отсюда, – сказал он. – Не остается ничего, кроме как выбраться отсюда и как можно быстрее.

Она с сомнением посмотрела на него через весь стол.

– Но куда? – спросила она.

– Не знаю, – ответил он. – Просто побродим немного по свету.

И она вновь вопросительно поглядела на него.

– Я была бы совершенно счастлива на мельнице, – сказала она.

– Это слишком близко к прошлому, – сказал он. – Давай немного поскитаемся.

Его голос мог быть таким мягким и беззаботным, он, проникая в ее жилы, наполнял ее воодушевлением. Тем не менее она мечтала об аллее, о заросшем саде и о покое. Еще она желала роскоши – аристократической экстравагантной роскоши. Шатание по свету вызывало в ней беспокойство, неудовлетворенность.

– И где же мы будем скитаться? – спросила она.

– Не знаю. Мне кажется, что я только что тебя повстречал, и мы отправились в путешествие – просто куда глаза глядят.

– Но куда мы можем прийти? – обеспокоенно спросила она. – В конце концов, мир только один и в нем нет особенно отдаленных мест.

– И все равно, – сказал он, – мне бы хотелось поехать вместе с тобой – в никуда. Мы просто побредем в никуда. Вот туда-то и надо стремиться – в никуда. Хочется убежать от определенных мест этого мира, убежать в свое собственное никуда.

Она все еще обдумывала его слова.

– Понимаешь, любимый, – сказала она, – боюсь, что поскольку мы всего-навсего люди, нам придется принять мир таким, каков он есть – потому что другого не существует.

– Нет, существует, – ответил он. – Есть место, где мы можем быть свободными – в этом месте не нужно носить много одежды – можно вообще ее не носить, там можно встретить немногочисленных людей, которые достаточно пережили, можно принимать все таким, какое оно есть, там ты будешь сама собой и не будешь ни о чем беспокоиться. Там, где есть это место, есть несколько людей...

– Но где? – вздохнула она.

– Где угодно – в любом месте. Давай отправимся на поиски. Именно это и нужно сделать – отправиться на поиски.

– Да, – сказала она, заинтригованная мыслью о путешествии. Но для нее это было всего-навсего путешествие.

– Стать свободными, – сказал он, – стать свободными в свободном месте с несколькими другими людьми.

– Да, – жалобно сказала она. Мысль о «нескольких других людях» ей не нравилась.

– Хотя это даже и не определенное место, – сказал он. – Это совершенные отношения между тобой и мной и другими – совершенные отношения, в которых мы могли бы быть свободными.

– Это так, любимый, так, – сказала она. – Есть ты и я. Это ведь ты и я, да?

Она протянула ему руку. Он подошел к ней и наклонился, чтобы поцеловать ее лицо. Ее руки вновь обняли его, ее ладони легли на его плечи и начали медленно двигаться, переходя на спину, потом медленно по спине, с необычными повторяющимися ритмичными движениями, и продолжая медленно скользить вниз, волшебным спускаясь по животу, по бокам. Ощущение полноты счастья, которому никогда не будет конца, вскружило ей голову. Ей казалось, что она может умереть в момент обретения восхитительных благ, обретения магической веры. Она вобрала его в себя так полно и нестерпимо, что лишилась сознания. В то же время она всего лишь тихо сидела в кресле, обнимая его и забывшись.

Он вновь мягко поцеловал ее.

– Мы никогда не должны разлучаться, – тихо пробормотал он. Она же не говорила ни слова, а только крепче прижимала руки вниз к источнику его темноты.

Они решили, очнувшись от блаженного забытья, написать о своем уходе из мира работы здесь и сейчас же. Она этого хотела.

Он позвонил в колокольчик и приказал принести бумагу для писем без адреса. Официант убрал со стола.

– Итак, – сказал он, – ты первая. Поставь свой домашний адрес и дату – затем пиши:

«Директору отдела образования, Городская ратуша – Сэр...». Так! Я не знаю, как это обычно делается – мне кажется, о своем уходе нужно уведомить заранее... В любом случае: «Сэр, прошу вас удовлетворить мое прошение об отставке с поста школьной учительницы в средней школе Виллей-Грин. Была бы вам очень признательна, если бы вы смогли освободить меня от занимаемой должности как можно скорее, не ожидая истечения месячного срока». Вот так. Записала? Дай-ка посмотреть. «Урсула Брангвен». Отлично. Теперь я напишу свое. Я должен дать им три месяца, но я сошлюсь на здоровье. Я смогу это устроить.

Он сел за стол и написал прошение об отставке.

– Теперь, – сказал он, когда конверты были заклеены и надписаны, – давай опустим их я почтовый ящик вместе. Я знаю, Джеки скажет: «Вот совпадение!», когда получит два совершенно одинаковых письма. Заставим его сказать так или нет?

– Мне все равно, – сказала она.

– Нет? – размышляя, предложил он.

– Это же неважно, правда? – сказала она.

– Да, – ответил он. – Их воображение не коснется нас. Я отправлю твое отсюда, а мое потом. Я не могу позволить себе стать пищей для их сплетен.

Он посмотрел на нее с удивительной, предельной искренностью.

– Да, ты прав, – сказала она.

– Она подняла на него лицо, все сияющее и открытое. Он словно мог погрузиться в самый источник своего сияния. На ее лице появилось отстраненное выражение.

– Поедем? – спросил он.

– Как пожелаешь, – ответила она.

Скоро они выбрались из маленького городка и ехали по извилистым проселкам. Урсула уютно пристроилась рядом с ним, погрузившись в его постоянное тепло и смотрела, как бледный движущийся свет разрезал, делая видимой, ночь. Иногда это была широкая старая дорога с кусками травы с каждой стороны, пролетающая мимо, волшебная и эльфийская в зеленоватом свете, иногда виднелись склоненные над их головами деревья, иногда это были кусты ежевики, иногда стены дома для прислуги или торец фермерской усадьбы.

– Ты пойдешь в Шортландс на ужин? – внезапно спросила его Урсула.

Он удивленно вздрогнул.

– Бог мой! – воскликнул он. – В Шортландс! Да ни за что на свете! Только не туда. Кроме того, мы опоздали бы.

– Куда мы в таком случае поедем? На мельницу?

– Куда захочешь. Жалко ехать куда-то в такую прекрасную темную ночь. Вообще жалко выходить наружу. Жаль, мы не можем остановиться в этой прекрасной темноте. Это было бы лучше всего на свете – эта прекрасная окутывающая нас темнота.

Она сидела и удивлялась. Машина урчала и раскачивалась. Она знала, что ей не удастся уйти от него – темнота поглотила их обоих и скрыла в себе, ее нельзя было преодолеть. Кроме того, в темноте она могла полностью познать волшебство его темного гладкого живота, облаченного в темное и гладкое, и в этом познании была какая-то неизбежность и красота обреченности, обреченности, которую человек желает, которую полностью принимает.

Он вел машину, сидя тихо, словно египетский фараон. Он чувствовал, что он сидел, обличенный древним могуществом, как великие резные статуи реального Египта, что он настолько же реален и наполнен скрытой силой, как они, что на его губах играет рассеянная едва заметная улыбка. Он знал, что такое иметь странный волшебный поток силы в спине и животе, расходящийся по ногам, силы такой совершенной, что она лишала его движений и оставляла на его лице легкую, бездумную улыбку. Он знал, что такое проснуться и получить силу он этого примитивного сознания, глубочайшего физического сознания. И этот источник наделял его истинной и волшебной властью, магической, мистической, таинственной силой, словно электричество.

Было трудно говорить, так прекрасно было сидеть в этой живительной тишине, тонкой, полной немыслимого знания и немыслимой силы, замерев на веки, поддавшись этой вневременной силе, словно обездвиженные, наполненные высшей силой египтяне, застывшие в своей живой, утонченной тишине.

– Нам не нужно возвращаться домой, – сказал он. – У этой машины сиденья опускаются, образуя кровать, а еще мы можем поднять верх.

Она почувствовала радость и испуг и смущенно прижалась к нему.

– А как же дома? – спросила она.

– Пошлем им телеграмму.

Больше они ничего не говорили. Они ехали молча. Но каким-то вторым потоком сознания он направлял машину к выбранной цели. Потому что его свободный разум мог вести его к цели. Его руки, грудь и голова были округлыми и живыми, как у греческих статуй, у него не было застывших прямых рук египетских статуй, и не было мумифицированной, погруженной в сон головы. Искрящийся разум образовывал второй уровень над его истинно египетской сосредоточенностью на мраке.

Они подъехали к деревне, протянувшейся вдоль дороги. Машина медленно ползла, пока они не увидели почту. Тогда они остановились.

– Я пошлю телеграмму твоему отцу, – сказал он. – Я просто напишу: «Осталась на ночь в городе», хорошо?

– Да, – ответила она. Ей не хотелось задумываться над этим.

Она смотрела, как он заходит в здание почты, где, как она увидела, был также и магазин.

Биркин выглядел странно. Даже когда он оказался в освещенном общественном месте, в нем все равно сохранились тьма и загадочность. Живительная тишина, казалось, была его реальностью – едва заметной, мощной и неразгаданной.

А вот и он! Со странным воодушевлением она смотрела на него, на существо, которое никогда не будет разгадано, ужасное в своей мощи, волшебное и реальное. Темная, таинственная его реальность, которая никогда не будет выражена словами, делала ее необычайно свободной, высвобождала ее обретенное совершенство существо. В ней тоже жил мрак, и она тоже обрела свое завершение в тишине.

Он подошел и забросил в машину несколько пакетов.

– Тут хлеб, сыр, виноград, яблоки и шоколад, – сказал он и его голос казался насмешливым из-за безупречной тишины и силы, которые составляли его суть. Ей нужно было прикоснуться к нему. Говорить, видеть – все это было пустое. Было бы издевательством смотреть и видеть перед собой мужчину. Она должна была полностью погрузиться во мрак и тишину, тогда перед ней откроются возможности мистического познания через невидимые прикосновения. Она должна была легко и беззаботно соединиться с ним, обрести знание, которое положило бы конец всякому знанию, обрести реальность уверенности в незнании.

Скоро они вновь оказались в темноте. Она не спрашивала, куда они едут, ей было все равно.

Она сидела, ощущая наполненность и силу, которая точно лишала ее движения, силу безрасудную и обездвижившую. Она была рядом с ним, все напряжение оставило ее, она, подобно зависшей в равновесии звезде, не думала ни о чем. И она не переставала чувствовать темную радость предвкушения. Она прикоснулась и прикоснулась к нему. Своими прекрасными нежными кончиками пальцев, своей реальностью, она касалась его реальности – гладкой, чистой, непередаваемой реальности его сотканых из мрака чресл. Прикасаться, инстинктивно находить простым касанием его живительную реальность, его гладкие, чудесные чресла и сотканые из мрака бедра, – вот что она постоянно ощущала.

Он также ждал, замерев на месте в магическом трансе, чтобы она извлекла из него это знание, как он извлек его из нее. Он познал ее своим мраком, всей полнотой своего темного познания. Теперь она должна была познать его, и он тоже обретет свободу. Ночь перестанет существовать для него, как перестала она существовать для египтян, он застынет в тщательно взвешенном равновесии, он превратится в истинно-мистический средоточие физического существа. Они подарят друг другу это звездное равновесие, которое одновременно даст им свободу.

Она увидел, что теперь они едут между деревьями – огромными старыми деревьями с засыхающим папоротником под ними. Бледные, искривленные стволы казались призрачными, и, словно жрецы древнего культа, в отдалении вздымались волшебные и загадочные папоротники. Это была крошечная-черная ночь, с низко нависшими облаками. Машина медленно двигалась вперед.

– Где мы? – прошептала Урсула.

– В Шервудском лесу.



Было очевидно, что это место ему знакомо. Он ехал медленно, оглядываясь по сторонам. Затем они выехали на зеленую дорогу между деревьями. Они осторожно развернулись и поехали между лесными дубами по зеленому проселку. Зеленый проселок вывел их на небольшую травянистую лужайку, где между холмиками струился маленький ручеек. Машина остановилась.

– Мы останемся здесь, – ответил он. – И выключим свет.

Он тут же выключил фары, и осталась только ночь; тени деревьев казались реальностью другого, ночного бытия.

Он постелил плед на папоротник, и они опустились на него в абсолютной, немыслимой тишине. Лес издавал слабые звуки, но ничто не нарушало тишины, ничто не могло ее нарушить, на мир был наложен какой-то странный запрет, порождая новое волшебство.

Они сбросили одежду и он привлек ее к себе, нашел ее, нашел истинно прекрасную действительность ее навсегда невидимой плоти. Жаждающие, какие-то нечеловеческие, его пальцы на ее скрытой наготы были пальцами тишины на тишине, тело волшебной ночи – на теле волшебной ночи, ночи-мужчины и ночи-женщины, которых никогда не увидит глаз, которых никогда не познает разум, которые были только пульсирующим откровением иного живущего существа.

Она воплотила в жизнь свое влечение к нему. Она дотрагивалась, она получала максимум непередаваемой информации в прикосновении. Темное, таинственное, совершенно тихое чудесное приобретение и вновь утрата; полное принятие и подчинение, волшебство, реальность которого никогда не будет познана; живая чувственная реальность, которую никогда нельзя будет перевести на язык разума, которая останется снаружи, в виде живого организма тьмы, молчания и таинственности, волшебного тела реальности.

Она удовлетворила свое желание. Он удовлетворил свое желание. Потому что она была для него тем, чем он был для нее – древним великолепием, волшебной, пульсирующей реальностью другого существа.

В эту прохладную ночь они спали под пологом машины, и это была ночь непрерывного сна. Когда он проснулся, было уже довольно поздно. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись, а затем отвели глаза, наполненные мраком и тайной. Затем они поцеловались и припомнили, как прекрасна была ночь. Оно было прекрасно, это наследие вселенской темной реальности, и им было даже страшно вспоминать. Они спрятали свои воспоминания и знание в дальние уголки своих сердец.

## **Глава XXIV**

### **Смерть и любовь**

Томас Крич умирал медленно, невыносимо медленно. Все считали невероятным, что нить жизни могла так истончиться и все же не рваться. Больной мужчина был невероятно слаб и изможден, жизнь в нем поддерживалась только морфием и напитками, которые он медленно потягивал. Он был только наполовину в сознании – лишь тонкая ниточка сознания связывала мрак смерти со светом дня. Однако его воля была непоколебима, он был целым и единым. Только вокруг него все должно быть тихо и спокойно.

Присутствие посторонних людей, помимо сиделок, теперь были трудно для него, он должен был делать над собой усилие.

Каждое утро Джеральд приходил в его комнату, надеясь найти, наконец, своего отца мертвым. Однако он все время видел то же прозрачное лицо, те же спутанные темные волосы на восковом лбу и ужасные, жуткие темные глаза, которые, казались, растворялись в бесформенной темноте, оставляя только маленькую искорку зрения. И все время, когда эти

темные, жуткие глаза поворачивались к нему, все тело Джеральда пронзала горящая стрела отвращения, которая, казалось, отдается во всем его существе, угрожая расколоть его разум своим ударом и погрузить его в безумие.

Каждое утро его сын стоял там, прямой и полный жизни, сияя белизной своего существа. Эта сияющая белизна этого странного, близкого существа вводила отца в лихорадочную дрожь боязливого раздражения. Он не выносил жуткого, устремленного на него, пусть даже и на мновение, взгляда голубых глаз Джеральда. Поскольку ни один из них не стремился к длительному контакту – отец и сын смотрели друг на друга, а затем расставались.

В течение долгого времени Джеральд сохранял совершенное хладнокровие, он оставался потрясающе собранным. Но, в конце концов, страх переселил его хладнокровие. Он боялся, что что-то в нем сломается самым ужасающим образом. Он должен был остаться и вытерпеть все до конца. Какое-то извращенное желание заставляло его смотреть, как его отец выходит за грань жизни. И в то же время сейчас каждый день был страшен. Раскаленная до красна стрела ужасного страха, пронзающая все его тело, вызывала дальнейшее воспламенение. Весь день Джеральд постоянно от чего-то ежился, словно кончик Дамоклова меча покалывал основание его шеи.

Бежать было некуда – он был связан с отцом, он должен был увидеть его конец. А воля его отца никогда не давала слабину, никак не поддавалась смерти. Она разорвется только тогда, когда смерть оборвет ее – если только она не продолжит существовать и после физической смерти. И таким же образом воля сына тоже должна быть непреклонной. Он должен оставаться твердым и неуязвимым, смерть и процесс умирания не должны были коснуться его. Это было испытание судом божьим. Мог ли он выстоять и увидеть, как его отец медленно умирает и поглощается смертью, не сломается ли его воля, не отступит ли он перед всемогущей смертью. Словно краснокожий индеец во время пытки, Джеральд переносил весь этот процесс умирания, не дрогнув ни единым мускулом, без трепета. Это даже вызывало в нем ликование. В некоторой степени он желал этой смерти, насильно заставлял себя наблюдать за ней. Он словно сам нес смерть, даже когда он сам дрожал от ужаса. Но он все же мог нести ее, он мог торжествовать через смерть.

Но, истощив все силы во время этого испытания, Джеральд потерял хватку над внешней, повседневной жизнью. То, что было для него всем, стало пустым местом. Работа, удовольствие – все это осталось позади. Он более менее машинально продолжал вести дела, но все эти занятия стали ему чуждыми. Сейчас его занимала эта чудовищная борьба со смертью в собственной душе. Его воля должна была восторжествовать. Будь что будет, но он не склонит голову, не подчинится, не признает себя рабом. Смерть не станет его повелителем.

Но по мере того, как эта борьба продолжалась, все, чем он был, постепенно продолжало разрушаться, и, в конце концов, жизнь вокруг него превратилась лишь в выеденную оболочку; бушующий и бурлящий, словно море, шум, в котором он участвовал лишь поверхностно, а внутри этой полый оболочки были только темнота и мрачное пространство смерти. Он чувствовал, что должен на что-то опереться, в противном случае он упадет внутрь, в великую черную дыру, возникшую в центре его души. Его воля заставляла его жить внешней жизнью, думать внешним разумом, не позволяя внешней его сущности разрушиться или измениться. Но давление было слишком велико. Ему нужно было найти что-нибудь, что помогло бы создать равновесие. Что-то должно было проникнуть в полую пропасть смерти в его душе, заполнить ее и уравновесить своим давлением изнутри давление снаружи. Потому что день за днем он ощущал, что превращается в пузырь, заполненный темнотой, вокруг которого играет переливающаяся разноцветными красками оболочка его сознания и на которую внешний мир, внешняя жизнь, давила с ужасающим напором.

Это крайнее состояние инстинктивно заставило его обратиться к Гудрун. Теперь он готов был отказаться от всего – ему нужно было только создать с ней связь. Он провожал ее в мастерскую, чтобы только быть рядом с ней, говорить с ней. Он ходил по комнате и останавливался то тут,

то там, бесцельно беря инструменты, кусочки глины, маленькие фигурки, которые она забраковала – они были странными и гротескными, – смотря на них и не видя.

А она чувствовала, что он следует за ней, ходит за ней по пятам, словно рок. Она отстранялась от него и в то же время она чувствовала, как он подкрадывался все ближе и ближе.

– Послушай, – сказал он ей однажды вечером необычно отстраненным и неуверенным голосом, – может, останешься сегодня на ужин? Мне бы очень этого хотелось.

Она слегка удивилась. Он произнес эту просьбу так, как мужчина мужчине.

– Меня ждут дома, – сказала она.

– О, они же не будут возражать, правда? – сказал он. – Я был бы ужасно рад, если бы ты осталась.

Ее длительное молчание в конце концов стало знаком согласия.

– Так я скажу Томасу, да? – спросил он.

– Мне нужно будет уйти сразу же после ужина, – сказала она.

Это был темный холодный вечер. В гостиной камин не горел, поэтому они сидели в библиотеке. Большую часть времени он рассеянно молчал, а Винифред говорила очень мало.

Но когда Джеральд действительно оживлялся, он улыбался и говорил с ней мило и просто. Но затем он вновь впадал в длительное молчание, сам того не замечая.

Он чрезвычайно привлекал ее. Он ей казался таким задумчивым, а его необычная, отрешенная молчаливость, которую она не могла разгадать, трогала и заставляла ее удивляться ему, и даже вызывала в ней некоторое почтение к нему.

Но он был очень заботливым. Он передавал ей самое вкусное, что только было на столе, он приказал принести к ужину бутылку сладковатого золотого вина с тонким ароматом, зная, что она предпочтет его бургундскому. Она чувствовала, что ее ценят, что в ней почти нуждаются. Когда они пили кофе в библиотеке, в дверь тихо, очень тихо постучали. Он вздрогнул и сказал: «Войдите». Тембр его голоса, точно звук, высокий дрожащий звук, лишил Гудрун спокойствия. Сиделка в белом, словно призрак, нерешительно появилась в дверях. Она была очень привлекательной, но несколько странной, застенчивой и неуверенной в себе.

– Доктор хотел бы с вами переговорить, мистер Крич, – сказала она низким, едва слышным голосом.

– Доктор! – воскликнул он, вскакивая на ноги. – Где он?

– Он в столовой.

– Скажите ему, что я сейчас приду.

Он залпом допил кофе и пошел за сиделкой, которая растворилась, словно тень.

– Что это была за сиделка? – спросила Гудрун.

– Мисс Инглис – она мне больше всего нравится, – ответила Винифред.

Через некоторое время Джеральд вернулся, он казался озабоченным собственными мыслями и в нем чувствовалась та напряженность и отстраненность, которая свойственна слегка подвыпившему человеку. Он не сказал, зачем он понадобился доктору, но встал перед камином, сложив руки за спиной и его лицо было просветленным, и даже каким-то экзальтированным. Он не то чтобы думал – он просто застыл в чистом напряжении внутри себя, и мысли беспорядочно проносились в его разуме.

– Мне нужно пойти повидать мамочку, – сказала Винифред, – и повидать папочку, прежде чем он уснет.

Она пожелала им обоим доброй ночи.

Гудрун также встала и собралась уходить.

– Ты ведь еще не уходишь, да? – спросил Джеральд, быстро взглянув на часы. – Еще рано. Я провожу тебя, когда ты пойдешь. Садись, не убегай.

Гудрун села, словно хотя он и витал мыслями где-то далеко, его воля подчинила ее себе. Она чувствовала себя почти загипнотизированной. Он был незнакомцем для нее, чем-то непознанным. О чем он думал, что чувствовал, стоя там с таким отрешенным видом и ничего не

говоря? Он удерживал ее – она чувствовала это. Он не отпустит ее. Она смотрела на него, смиренно подчиняясь.

– Доктор сказал тебе что-нибудь новое? – через некоторое время мягко спросила она с тем нежным, робким сочувствием, которое затронуло тонкую нить в его сердце. Он приподнял брови в пренебрежительном, безразличном выражении.

– Нет, ничего нового, – ответил он, словно этот вопрос был совершенно обычным, тривиальным. – Он говорит, что пульс очень слаб, что он очень прерывист. Но это ничего еще не значит, ты и сама знаешь.

Он посмотрел на нее. Ее глаза были темными, мягкими, распахнутыми, в них было растеранное выражение, которое всколыхнуло в нем волну возбуждения.

– Нет, – через какое-то время пробормотала она. – Я в этом ничего не понимаю.

– Как и я, – сказал он. – Знаешь, не хочешь ли закурить? – давай!

Он быстро достал портсигар и протянул ей зажженную спичку. Затем он вновь встал перед ней возле камина.

– Да, – сказал он, – в нашем доме до болезни отца никто никогда особенно не болел.

Он какое-то время размышлял. Затем, взглянув на нее сверху вниз, глубокими, выразительными глазами, от которых ей стало страшно, он продолжил:

– Это что-то, с чем не считаешься, пока не столкнешься с ним. А тогда сталкиваешься, то понимаешь, что это всегда находилось рядом – всегда рядом. Понимаешь, о чем я говорю? О возможности этой неизлечимой болезни, этой медленной смерти...

Он напряженно оперся ногой о мраморный порожек камина и взял сигарету в рот, глядя в потолок.

– Я знаю, – пробормотала Гудрун. – Это ужасно.

Он рассеянно курил. Затем он вынул сигарету из рта и, просунув кончик языка между зубами, выплюнул крошку табака, слегка отворачиваясь, словно человек, рядом с которым никого нет или который погрузился в мысли.

– Я не знаю, какое воздействие это на самом деле оказывает на человека, – сказал он и вновь посмотрел на нее.

Ее обращенные к нему глаза были темными и внимательными. Увидев, что она задумалась, он отвернулся в сторону.

– Но я совершенно другой. Ничего не осталось, если ты понимаешь, о чем я. Кажется, что ты цепляешься за край пропасти и в то же время ты сам являешься этой пропастью. И поэтому ты не знаешь, что тебе делать.

– Да, – пробормотала она.

Резкая дрожь пробежала по ее нервам, резкая, не то удовольствие, не то боль.

– И что же делать? – спросила она.

Он отвернулся и стряхнул пепел с сигареты на крупные мраморные плиты камина, которые лежали, не огороженные ничем – ни каминной решеткой, ни перекладиной.

– Я не знаю, в этом я уверен, – ответил он. – Но я точно знаю, что нужно найти какой-нибудь способ разрешить эту ситуацию – не потому что я этого хочу, а потому что нужно, в противном случае ты конченный человек. Все вокруг, включая и тебя, вот-вот обвалится, и ты едва цепляешься руками. Да, такое положение вещей долго не продлится. Нельзя висеть на крыше и держаться за ее край руками вечно. Ты понимаешь, что рано или поздно тебе придется его отпустить. Ты понимаешь, о чем я говорю? Поэтому нужно что-то делать или произойдет крупный обвал – в том, что касается тебя.

Он слегка подвинулся перед камином, раздавливая уголь каблуком. Он посмотрел на него.

Гудрун чувствовала красоту старых мраморных панелей, покрытых изящной резьбой, обрамляющих его сверху и с боков. Она чувствовала, что судьба, наконец, схватила ее, поймала ее в какую-то ужасную и фатальную ловушку.

– Но что же делать? – смиренно бормотала она. – Ты можешь использовать меня, если я могу тебе чем-нибудь помочь – только как? Я не знаю, чем я могу тебе помочь.

Он озуаающе посмотрел на нее.

– Мне не нужна твоя помощь, – слегка раздраженно сказал он, – потому что ничего поделать нельзя. Мне нужно только сочувствие, понимаешь ли: мне нужен кто-то, с кем бы я мог поговорить по душам. Это снимает напряжение. Но такого человека нет. Вот это-то и удивительно. Нет никого. Конечно, есть Руперт Биркин. Но он не умеет сочувствовать, он умеет только навязывать свою волю. А это совершенно бесполезно.

Она попала в ужасную западню. Она взглянула на свои руки.

Они слышали легкий звук открывающейся двери. Джеральд вздрогнул. Он был расстроен. И его дрожь необычно озадачила Гудрун. Затем он пошел вперед с быстро появившейся, грациозной, намеренной учтивостью.

– А, мама! – сказал он. – Как мило, что ты пришла. Как ты?

Пожилая женщина, закутанная, словно в свободный кокон, в пурпурное платье, медленно подошла вперед, слегка неуклюже, как обычно. Ее сын встал рядом. Он подвинул ей стул и сказал:

– Ты ведь знакома с мисс Брангвен, да?

Мать безразлично скользнула по Гудрун взглядом.

– Да, – ответила она.

Затем она обратила свои удивительные голубые, словно незабудки, глаза на сына, медленно усаживаясь на стул, который он ей придвинул.

– Я пришла справиться о твоём отце, – сказала она быстрым, едва слышным голосом. – Не знала, что у тебя гости.

– Нет? Разве Винифред тебе не сказала? Мисс Брангвен осталась на ужин, чтобы несколько оживить нашу компанию...

Миссис Крич медленно обернулась к Гудрун и посмотрела на нее невидящим взглядом.

– Боюсь, это не доставило ей удовольствия. – Она вновь повернулась к сыну. – Винифред сказала мне, что доктор должен был что-то сказать тебе про отца. Это так?

– Только то, что пульс слабый и очень часто прерывается – поэтому он может не пережить эту ночь, – ответил Джеральд.

Миссис Крич сидела совершенно бесстрастно, точно не слышала этих слов. Ее тело, казалось, сгорбилось на стуле, ее светлые волосы прядями свисали вниз. Но ее кожа была чистой и тонкой, ее руки, сложенные и позабытые, были довольно привлекательны, в них была какая-то мощная энергия. В этой молчаливой неповоротливой массе разлагалось огромное количество энергии.

Она посмотрела на сына, стоящего рядом с ней, пронительного и мужественного. Ее глаза были прекрасного голубого цвета, они были более голубыми, чем незабудки. Казалось, она достаточно доверяла своему сыну и в то же время по-матерински сомневалась в нем.

– А как ты? – пробормотала она своим странным тихим голосом, словно никто, кроме него не должен был слышать ее слова. – Ты же не устроишь сцену, да? Ты же не впадешь в истерику? Загадочный вызов последних слов озадачил Гудрун.

– Я так не думаю, мама, – ответил он довольно холодно, но бодро. – Кому-то придется пройти через это до конца, видишь ли.

– Правда? Правда? – быстро ответила его мать. – Почему ты хочешь взвалить все это на себя? Зачем это тебе – проходить до конца? Это закончится само собой. Ты здесь лишний.

– Нет, я не считаю, что я могу что-то сделать, – ответил он. – все дело в том, как все это на нас влияет.

– Тебе нравится, как это на тебя влияет, да? Это сводит тебя с ума? Тебе нужно осознать собственную важность. Тебе не стоит оставаться в доме. Почему бы тебе не уехать?

Эти слова, очевидно, плоды множества мрачных часов, удивили Джеральда.

– Не думаю, что сейчас, в последнюю минуту, мне стоит уезжать, мама, – сухо заметил он.



– Беречь себя, – ответила его мать, – беречь себя – вот о чем ты должен думать. Ты слишком много на себя взваливаешь. Займись собой или же твои мозги съедут набекрень, вот что с тобой случится. Ты слишком истеричен, ты всегда таким был.

– Со мной все в порядке, мама, – сказал он. – Не стоит беспокоиться обо мне, уверяю тебя.

– Пусть мертвые хоронят своих мертвецов – но не стоит хоронить себя вместе с ними, вот что я тебе скажу. Я довольно хорошо тебя знаю.

Он на это ничего не ответил, поскольку не знал, что сказать. Мать, съездившись, сидела молча, а ее прекрасные белые руки, на которых не было ни единого кольца, судорожно вцепились в подлокотники кресла.

– Ты не сможешь этого сделать, – почти с горечью сказала она. – У тебя духу не хватит. На самом деле от тебя толку не больше, чем от кошки, и так было всегда... Эта молодая женщина останется здесь?

– Нет, – сказал Джеральд. – Сегодня она поедет домой.

– Тогда ей лучше взять догкорт. Она далеко едет?

– Только до Бельдовера.

– А!

Пожилая женщина ни разу не посмотрела на Гудрун, но в то же время, казалось, она сознавала ее присутствие.

– Ты склонен слишком много на себя брать, Джеральд, – сказала его мать, поднимаясь на ноги с некоторым усилием.

– Ты уходишь, мама? – вежливо спросил он.

– Да, опять поднимусь вверх, – ответила она. И, повернувшись к Гудрун, она сказала ей: «До свидания». Затем она медленно подошла к двери, словно она только недавно научилась ходить. У двери с намеком подняла к нему лицо. Он поцеловал ее.

– Не провожай меня, – сказала она своим едва слышным голосом. – Больше ты мне не нужен.

Он пожелал ей доброй ночи, посмотрел как она идет к лестнице и медленно поднимается. Затем он закрыл дверь и вернулся к Гудрун. Гудрун также встала, чтобы уходить.

– Странное существо моя мать, – сказал он.

– Да, – ответила Гудрун.

– Думает о чем-то своем.

– Да, – сказала Гудрун.

Они замолчали.

– Ты хочешь уйти? – спросил он. – Подожди минутку, я попрошу заложить экипаж...

– Нет, – сказала Гудрун. – Я хочу прогуляться.

Он обещал проводить ее по длинной, одинокой дороге и ей этого хотелось.

– Ты можешь с таким же успехом и поехать, – сказал он.

– Я предпочитаю прогуляться, – твердо настаивала она.

– Да? В таком случае я провожу тебя. Ты знаешь, где твои вещи? Я только переобуюсь.

Он надел кепку и плащ поверх смокинга. Они вышли навстречу ночи.

– Давай покурим, – сказал он, останавливаясь у крытого угла портика. – Ты тоже.

Итак, оставляя после себя запах табака в ночном воздухе, они направились по темной дороге, которая шла между тщательно подстриженными изгородями по идущим вниз лугам.

Он хотел приобнять ее одной рукой. Если только бы он смог приобнять ее и прижать себе, когда они шли, он нашел бы свое равновесие. Потому что сейчас он ощущал себя весами, одна чаша которых падает все ниже и ниже в бесконечную пропасть. Он должен восстановить равновесие. И именно здесь была его надежда, его полное восстановление.

Забыв о ней, думая только о себе, он мягко обвил ее талию рукой и притянул к себе. Ее сердце упало и она почувствовала, что ей овладели. Но при этом его рука была такой сильной, что она трепетала в его крепких, тесных объятиях. Она пережила маленькую смерть и была притянута им к себе, когда они шли в яростном мраке. В их двойном движении он уравнивал ее в

противовес себе. И внезапно он почувствовал освобождение и завершенность, он обрел силу и мужество.

Он поднес руку ко рту и выбросил сигарету, эту сияющую искру, в невидимую изгородь. И теперь он чувствовал себя в силах создать с ней равновесие.

– Так-то лучше! – ликующе сказал он.

Его ликующий голос был для нее как сладковатый ядовитый бальзам. Неужели она столько для него значила! Она пригубила этот яд:

– Теперь ты стал счастливее? – мечтательно спросила она.

– Намного, – сказал он тем же самым ликующим тоном, – а я был почти мервым.

Она прижалась к нему. Он чувствовал ее мягкость и теплоту, она была насыщенной, прекрасной материей его существа. Тепло и ее движение подарили ему прекрасное ощущение наполненности.

– Я рада, если я тебе помогла, – сказала она.

– Да, – ответил он. – Если ты не смогла бы этого сделать, то уже никто не смог бы.

«Это так», – сказала она себе, чувствуя дрожь странного, фатального возбуждения.

И они шли, а он, казалось, все ближе и ближе привлекал ее к себе, и уже вскоре крепкие движения его тела стали и ее движениями.

Он был таким сильным, таким прочным, ему нельзя было противостоять. Она шла, в прекрасном перплетении физического движения, вниз по темному, ветренному склону. В далеке светились желтые огни Бельдовера, множество, рассыпанные густым ковром по другому темному холму. Но он и она шли в совершенной, уединенной темноте, за пределами этого мира.

– Насколько я дорога тебе? – спросила она почти жалобно. – Видишь ли, я не знаю, я не понимаю!

– Насколько? – В его голосе послышалась болезненная восторженность. – Этого я тоже не знаю – но очень.

Его заявление озадачило его самого. Приблизившись к ней, он сжег за собой все мосты. Она была ему очень дорога – она была для него всем.

– Но я не верю в это, – раздался ее тихий голос, удивленный, дрожащий. Она дрожала от сомнения и восторга. Именно это ей хотелось услышать, только это. И вот она услышала его, услышала странную радостную вибрацию правды в его словах, но она не могла в это поверить. Она не могла поверить – она не верила. И вместе с тем она верила, торжествуя, с фатальным ликованием.

– Почему нет? – спросил он. – Почему ты не веришь? Это правда. Это правда, как правда то, что мы сейчас стоим... – он неподвижно замер с ней на ветру. – Мне все равно, что есть там, на земле или на небе, за пределами этого места, где мы стоим. И меня не волнует, то, что я здесь – меня волнует, то что здесь ты. Я тысячу раз продал бы свою душу – но мне невыносима мысль, что тебя нет рядом. Я не вынесу одиночества. Мой мозг просто взорвется. Это правда.

Он прижал ее ближе к себе решительным движением.

– Нет, – в страхе пробормотала она. И в то же время она хотела именно этого. Почему же ее оставило обычное присутствие духа?

Они продолжили свою странную прогулку. Они были совершенными незнакомцами и в то же время находились так пугающе, так невообразимо близко! Это казалось безумием. Но именно этого она хотела, именно это было ей нужно!

Они спустились по холму и теперь подходили к квадратной арке, где дорога проходила под железной дорогой, ведущей из шахт. Гудрун знала, что стены этого тоннеля были сложены из квадратных камней, и одна из его сторон была покрыта мхом и по ней сочилась вода, а другая – была совершенно сухой. Она иногда стояла здесь, чтобы послушать, как поезд с грохотом проезжает по расположенным наверху шпалам. Она также знала, что, здесь, под этим глухим и заброшенным мостом, в этой же темноте молодые шахтеры в дождливую погоду прятались со своими возлюбленными. Ей тоже хотелось стоять под этим мостом со своим возлюбленным и целоваться с ним в кромешной темноте.

Когда она подошла ближе к входу, она замедлила шаги.

И вот они замерли под мостом, и он прижал ее к своей груди. Его дрожащее тело было напряженным и полным силы, когда он прижал ее к себе, стиснув ее, бездыханную, ослепленную и уничтоженную так, что почти раздавил ее о свою грудь. Это было и страшно, и восхитительно! Под этим мостом шахтеры тоже прижимали к груди своих милых. А теперь, под этим же мостом, их хозяин прижимал к себе ее! И во сколько раз мощнее и страшнее были его объятия, насколько более сосредоточенной и величественной была его любовь, чем их чувство того же свойства! Она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание, умрет под этим трепещущим нечеловеческим гнетом его рук и его тела – что перестанет существовать. Затем эта невероятная дрожь немного стихла и стала менее заметной. Джеральд слегка ослабил хватку и привлек Гудрун к себе на грудь, опершись спиной на стену.

Она почти лишилась рассудка. Так и шахтеры стояли бы, прижавшись спинами к стене, обнимая своих милых и целуя их, как целовал ее он. О, но были бы их поцелуи такими же изысканными и властными, как поцелуи их хозяина, у которого были такие жесткие губы? Даже острые, короткостриженные усы – у шахтеров их бы не было.

Но возлюбленные шахтеров подобно бы ей безвольно положили голову на плечо своему спутнику и выглядывали бы из темного тоннеля на близкую полосу желтых огней на невидимом холме в отдалении; или же на расплывчатые контуры деревьев и на строения шахтерской лесопилки на другой стороне.

Его руки крепко обвили ее вокруг нее, казалось, он вбирает ее в себя, ее тепло, ее мягкость, ее восхитительную тяжесть, жадно упиваясь этим слиянием физических сущностей. Он приподнял ее и, казалось, наполнял себя ею, словно чашу вином.

– За это можно все отдать! – сказал он глубоким, проникновенным голосом.

Она обмякла и словно начала таять, вливаться в него, как если бы она была неким безгранично теплым и драгоценным бальзамом, наполняя его жилы, словно одурманивающим веществом.

Она обвила руками его шею, он целовал ее, продолжая держать на весу, она вся таяла и перетекала в него, а он был крепкой, сильной чашей, которая принимала в себя эликсир ее жизни. Она растворилась в нем, плененная, оторванная от земли, тая и тая под его поцелуями, проникая в его ноги и кости, точно он был мягким железом, переполненным ее электрической жизнью.

У нее кружилась голова, постепенно ее рассудок затуманился и она перестала жить, все в ней было расплавленным и жидким, и она лежала тихо, поглощенная им, засыпая внутри него подобно тому, как молния спит в чистом, мягком камне. Она умерла и растворилась в нем и он обрел свое завершение.

Когда она вновь открыла глаза, она увидела в отдалении полосу света, ей казалось удивительным, что мир все еще существовал, что она стояла под мостом, спрятав голову на груди Джеральда. Джеральд – а кто он такой? Он был для нее утонченным приключением, желанным неведомым.

Она подняла голову и в темноте над собой увидела его лицо, его красивое мужественное лицо. От него, казалось, исходил слабый белый свет, белое сияние, словно он был гостем из невидимого мира. Она потянулась к нему, как Ева тянулась за яблоком на древе познания, и поцеловала его, хотя ее страсть была проявлением сверхъестественной боязни того, чем он был, дотрагиваясь до его лица своими бесконечно нежными, ищущими пальцами. Ее пальцы ощупали контуры его лица, само лицо. Каким прекрасным и чужим он был – о, и каким опасным! Ее душа была заинтригована совершенным знанием о нем. Это было блистательное, запретное яблоко, лицо мужчины. Она поцеловала его, положив ладони на его лицо, на его глаза, ноздри, провела пальцами по лбу, ушам, шее, чтобы познать его, чтобы вобрать его в себя через прикосновение. Он был таким крепким и красивым, с таким наполняющим, неуловимым совершенством форм, чуждым, но неизъяснимо понятным. Он был непередаваемым врагом, однако в нем горел какой-то жуткий белый огонь. Ей хотелось касаться, и касаться, и касаться его, пока он не просочится в ее рассудок. О, если бы только она могла получить это драгоценное

знание о нем, оно наполнило бы ее и ничто не смогло бы лишить ее этого. Поскольку в каждодневной жизни он был таким неуверенным, таким опасным.

– Какой же ты красивый! – простонала она.

Он удивился и замер. Но она чувствовала, что он дрожит, и непроизвольно прижалась к нему еще сильнее. Он не смог ничего с этим поделать. Ее пальцы подчинили его себе. Бездонное, бездонное желание пробуждали они в нем, и это желание было глубже смерти, где уже не существовало никаких желаний.

Но она познала все, что ей было нужно и этого ей пока было достаточно. На некоторое время ее душа была поражена восхитительным ударом невидимой молнии. Она познала. И это познание стало для нее смертью, от которой ей нужно было оправиться. Сколько же еще было в нем непознанного? Много, много урожая могли собрать ее крупные, но такие нежные и разумные руки с поля его трепещущего жизнью, светящегося тела. Да, ее руки были готовы жадно получать знание. Но сейчас ей было достаточно, больше ее душа не могла вынести. Еще немного и она расколется на куски, она заполнит изысканный сосуд души слишком быстро и он лопнет. Сейчас достаточно – пока достаточно. Будут еще дни, когда ее руки, словно птицы, будут собирать зерна с полей его волшебной пластической формы – но пока что достаточно. И даже он был рад, что его остановили, оттолкнули, отстранили. Поскольку желать гораздо приятнее, чем обладать, и завершенности, конца он боялся так же сильно, как и желал его. Они пошли по направлению к городу, туда, где огоньки были нанизаны на одну линию через большие промежутки вниз по темному шоссе аллеи. Наконец они дошли до сторожки.

– Не ходи дальше, – сказала она.

– Тебе не хочется, чтобы я тебя провожал? – с облегчением спросил он. Ему не хотелось показываться с ней на полных людями улицах с обнаженной и горящей душой.

– Совершенно, поэтому спокойной ночи.

Она протянула руку. Он схватил ее, затем дотронулся до гибельных, властных пальцев своими губами.

– Спокойной ночи, – сказал он. – До завтра.

И они расстались. Он пошел домой, ощущая, что наполнен силой и мощью живого желания. Но на следующий день она не пришла, она прислала записку, что осталась дома из-за простуды. Это было мучением! Но он терпеливо сдерживал свою душу и написал короткий ответ, сообщая, что ему очень грустно, что он не увидит ее.

Через день после этого он остался дома – было бы бесполезно идти в контору. Его отец не доживет до конца недели. И он хотел дождаться этого дома.

Джеральд сидел в кресле в отцовской спальне около окна. За окном земля была черной и раскисшей от зимних дождей. Его отец лежал на кровати и его лицо было пепельно-серым, сиделка недвижно скользила в своем белом платье, аккуратная и элегантная, даже красивая. В комнате пахло одеколоном. Сиделка вышла из комнаты, оставив Джеральда наедине со смертью и по-зимнему мрачным пейзажем.

– Вода все также течет в Денли? – раздался с кровати слабый голос, решительный и раздраженный. Умиравший спрашивал о воде, вытекшей из Виллей-Вотер в одну из шахт.

– Немного. Я прикажу спустить воду из озера, – сказал Джеральд.

– Правда? – слабый голос был уже едва слышен.

Наступила полная тишина. Серолицый больной мужчина лежал, закрыв глаза, мертвее самой смерти.

Джеральд отвернулся. Он почувствовал жар в своем сердце, если это будет продолжаться, то оно разорвется.

Внезапно он услышал странный шум. Обернувшись, он увидел, что его отец широко раскрыл глаза, напряженные и вращающиеся в дикой агонии нечеловеческой борьбы. Джеральд вскочил на ноги и стоял, окаменев от ужаса.

– Га-а-а-а! – раздалось жуткое, клокочущееся хрипение из горла его отца. Полные ужаса, безумия глаза страшно метались в дикой бесплодной мольбе о помощи, они слепо скользнули

по Джеральду, затем лицо отца почернело, и он погрузился в хаос агонии. Напряженное тело расслабилось, рухнуло на подушки, голова скатилась набок.

Джеральд стоял, пригвожденный к месту, в его душе раздавались ужасные отзвуки. Он хотел двинуться, но не смог. Он не мог двинуть и пальцем. В его мозгу звучало эхо, словно пульсируя.

Сиделка в белом неслышно вошла в комнату. Она взглянула на Джеральда, а затем на кровать. – Ах! – вырвался у нее мягкий жалобный возглас и она бросилась к мертвому человеку. – Ах! – донесся до него легкий звук ее возбужденного отчаяния, когда она наклонилась над постелью. Затем она взяла себя в руки, повернулась и пошла за полотенцем и губкой.

Она осторожно вытирала мертвое лицо и бормотала, почти плача, очень нежно: «Бедный мистер Крич! Бедный мистер Крич! Бедный мистер Крич!

– Он мертв? – гулко спросил резкий голос Джеральда.

– Да, он ушел от нас, – ответил тихий, грустный голос сиделки, когда она посмотрела в лицо Джеральду. Она была молода, прекрасна и дрожала.

Странная ухмылка появилась на лице Джеральда, несмотря на весь ужас. И он вышел из комнаты.

Он шел, чтобы сообщить матери. У подножья лестницы он встретил своего брата Бэзила.

– Он умер, Бэзил, – сказал он, с трудом сдерживая свой голос, чтобы не выпустить наружу неосознанный, пугающий восторженный звук.

– Что? – воскликнул, бледнея, Бэзил.

Джеральд кивнул и пошел в комнату своей матери.

Она сидела в своем пурпурном одеянии и шила, шила очень медленно, прокладывая один стежок, потом еще один. Она посмотрела на Джеральда своим голубым невозмутимым взглядом.

– Отца больше нет, – сказал он.

– Он умер? Кто это сказал?

– Ты поймешь это, мама, когда увидишь его.

Она отложила шитье и медленно поднялась.

– Ты хочешь пойти к нему? – спросил он.

– Да, – ответила она.

Возле кровати уже собралась рыдающая толпа детей.

– О, мама! – почти истерично восклицали дочери, громко рыдая.

Но мать прошла вперед. Усопший лежал в объятиях смерти, словно просто задремал, так спокойно, так умиротворенно, словно спящий в чистоте молодой человек. Он еще не начал остывать. Она некоторое время смотрела на него в мрачной, тяжелой тишине.

– А, – с горечью сказала она потом, словно обращаясь к невидимым воздушным свидетелям. – Ты умер.

Она замолчала и стояла, глядя на него сверху вниз.

– Ты прекрасен, – подытожила она, – прекрасен, словно жизнь никогда не касалась тебя – никогда тебя не касалась. Молю господа, чтобы я выглядела по-другому. Надеюсь, когда я умру, я буду выглядеть на свой возраст. Прекрасен, прекрасен, – ворковала она над ним. – Вы видите его таким, каким он выглядел в отрочестве, когда он только первый раз побрился.

Прекрасный человек, прекрасный...

Затем в ее голос прокрались слезы, когда она воскликнула:

– Никто из вас не будет так выглядеть после смерти! Смотрите, чтобы такого больше не было! Это был странный, дикий приказ из небытия. Ее дети инстинктивно прижались друг к другу, сбившись в тесный круг, когда услышали этот страшный приказ в ее голосе. Ее щеки ярко пылали, она выглядела пугающе и величественно.

– Обвиняйте меня, обвиняйте, если хотите, в том, что он лежит здесь, словно юноша-подросток, у которого едва пробилась борода. Вините меня, если хотите. Но никто из вас ничего не знает.



Она замолчала, и тишина стала еще более насыщенной. Затем раздался ее тихий напряженный голос:

– Если бы я думала, что дети, которых я породила, будут выглядеть после смерти вот так, я бы задушила их, когда они были еще в пеленках, да...

– Нет, мама, – раздался странный, звучный голос Джеральда, стоящего сзади, – мы другие, мы не виним тебя.

Она обернулась и пристально взглянула ему в глаза. Затем подняла руки в странном жесте безумного отчаяния.

– Молитесь! – громко сказала она. – Молитесь Богу, поскольку родители не могут вам помочь.

– Мама! – иступленно воскликнули ее дочери.

Но она развернулась и ушла, и все быстро разбежались друг от друга.

Когда Гудрун услышала, что мистер Крич умер, она испытала чувство вины.

Она оставалась дома, чтобы Джеральд не подумал, что ее слишком легко завоевать. Теперь же его с головой захлестнули хлопоты, но ее это все мало взволновало.

На следующий день она как обычно отправилась к Винифред, которая была рада видеть ее и убежать в мастерскую.

Девочка прорыдала всю ночь, а затем, слишком измученная, была рада каждому, кто мог бы ей помочь убежать от трагической реальности.

Они с Гудрун как обычно принялись за работу в тишине мастерской, и это казалось им безграничным счастьем, истинным миром свободы, после всей бесцельности и печальной атмосферы дома. Гудрун оставалась до самого вечера. Они с Винифред попросили, чтобы ужин им принесли в мастерскую, где они свободно обедали, уйдя от людей, переполнявших дом. После обеда к ним пришел Джеральд. В большой мастерской с высокими потолками витали тени и аромат кофе. Гудрун и Винифред придвинули столик к камину в дальнем конце комнаты, на котором стояла белая лампа, освещавшая только небольшую часть комнаты. Они создали для себя маленький мирок, девушек окружали прекрасные тени, балки и перекладки были скрыты мраком над головой, а скамейки и инструменты были скрыты мраком, царившим внизу.

– Как у вас здесь уютно, – сказал Джеральд, входя к ним.

В комнате был низкий кирпичный камин, в котором жарко горел огонь, старый голубой турецкий ковер, небольшой дубовый столик с лампой и сине-белой скатертью и десертом, Гудрун варила кофе в причудливом медном кофейнике, а Винифред наливала молоко в маленькое блюдечко.

– Вы уже пили кофе? – спросила Гудрун.

– Да, но я бы выпил еще немного вместе с вами, – ответил он.

– Тогда бери стакан, а то у нас только две чашки, – сказал Винифред.

– Мне все равно, – ответил он, беря стул и подходя в зачарованное пространство девушек. Как счастливы они были, как им было уютно и хорошо в мире этих тяжелых теней! Внешний мир, где он целый день организовывал похороны, совершенно растворился. Он мгновенно вдохнул роскошь и волшебство.

Они сервировали стол с большой изысканностью – две странные и хорошенькие маленькие чашки, с алым и золотым рисунком, маленький черный молочник с алыми дисками и замысловатый кофейник, спиртовка которого горела ровно, почти невидно. Создавалось ощущение довольно пугающей роскоши, в которой Джеральд сразу же нашел для себя отдушину.

Все сели и Гудрун аккуратно разлила кофе.

– С молоком? – спросила она его спокойно, но в то же время маленький черный молочник с большими красными горошинами нервно подрагивал в ее руке. Она всегда полностью владела собой и в то же время остро волновалась.

– Нет, спасибо, – ответил он.

С удивительной кротостью она поставила перед ним кофейную чашечку и сама взялась за неуклюжий стакан. Казалось, она хотела прислуживать ему.

– Почему бы вам не отдать мне стакан – вам неудобно его держать, – сказал он.

Он предпочел, чтобы стакан был у него, а перед ней стояло что-то более изящное. Но она молчала, радуясь такому несоответствию и своему самоуничижению.

– Вы словно в семейном кругу, – сказал он.

– Да. Для посетителей нас нет дома, – сказала Винифред.

– Нет дома? Значит, я нарушитель уединения?

Он сразу же ощутил, что его формальный костюм был не к месту, что он был посторонним.

Гудрун сидела очень тихо. Она не чувствовала желания разговаривать с ним. В данный момент лучше всего было молчать – или просто вести легкий разговор. Лучше оставить серьезности в стороне. Поэтому они весело и живо болтали, пока не услышали, как внизу мужчина вывел лошадь и крикнул ей «осади, осади!», запрягая ее в догкарт, который должен был отвезти Гудрун домой. Поэтому она собрала свои вещи, пожала на прощание руку Джеральду, избегая встречаться с ним глазами. И она исчезла.

Похороны были тягостными. После, за чаем, дочери не переставали говорить: «Он был нам хорошим отцом – лучшим отцом в мире» или еще: «Трудно найти человека лучше, чем наш отец».

Джеральд соглашался со всем этим. Условная поза была выбрана правильно, а в том, что касалось света, он всегда верил в условности. Он принимал это как само собой разумеющееся. Но Винифред все это было мучительно, она спряталась в мастерской и горько рыдала, мечтая, чтобы пришла Гудрун.

К счастью, все разъезжались. Кричи никогда не задерживались в доме надолго. К обеду Джеральд остался совершенно один. Даже Винифред уехала в Лондон на несколько дней с сестрой Лорой.

Но Джеральду было невыносимо это самое настоящее одиночество. Прошел один день, затем еще один. И все это время он был словно человек, подвешенный на цепях над пропастью. Как бы он ни боролся, он не мог вернуться на твердую землю, он не мог обрести опору под ногами. Он висел и корчился над самой пропастью. О чем бы они ни подумал, везде ему виделась пропасть – были ли это друзья или незнакомые люди, работа или развлечения, – все это показывало ему одну и ту же бездонную пропасть, в которую погружалось его умирающее сердце. Выхода не было, ему было не за что ухватиться. Он должен был корчиться на краю бездны, подвешенный на цепи невидимой физической жизни.

Сначала он ничего не делал, он не совершал никаких движений, надеясь, что это отчаянное искупления. Но оно не проходило, и в нем назрел кризис.

Когда наступил вечер третьего дня, его сердце зазвенело от страха. Наступала еще одна ночь, еще на одну ночь его будут связывать цепи физической жизни, удерживая его над бездонной пустотой. Он не сможет этого вынести. Он был испуган до глубины души, страх сковал его холодом, испуган до невероятности. Он больше не верил в свои собственные силы. Он не мог пасть в эту бездонную пропасть и вновь подняться – если он упадет, он исчезнет навсегда. Он должен вскарабкаться наверх, он должен найти опору. Он потерял веру в свое собственное существо.

После обеда, столкнувшись лицом к лицу с крайним ощущением своей ничтожности, он свернул на запасной путь. Он натянул сапоги, надел пальто и вышел на вечернюю прогулку. Было темно и туманно. Он прошел через лес, спотыкаясь и ощупью находя дорогу к мельнице. Биркина там не было. Отлично – он был почти что рад. Он пошел вверх по холму и слепо побрел по диким склонам, совершенно заблудившись в кромешной тьме. Это было утомительно. Куда он идет? Не важно. Он брел и брел, пока вновь не вышел на тропинку. Тогда он пошел через следующую рощицу. Его разум заволокла тьма, он шел машинально. Не думая

ни о чем и ничего не чувствуя, он спотыкаясь, брел вперед и вышел на открытое пространство. Неловко спускаясь по ступенькам, вновь теряя дорогу и идя вдоль изгородей, отгораживающих поля, пока не нашел выход.

Наконец он вышел на шоссе. Оно уже не давало ему слепо брести через темную мглу. Но теперь он должен был выбрать направление. А он даже не знал, где находится. Но он должен был куда-нибудь пойти, бесцельная прогулка ничего не решит, это будет только попыткой убежать от себя. Ему нужно было выбрать цель.

Он остановился на дороге, которая широким полотном расстилалась перед ним в необычайно темной ночи, не зная, где находится. Это было странное ощущение, его сердце колотилось и звенело вместе с этой совершенно неизведанной темнотой. Так он и стоял какое-то время. Затем он услышал шаги и увидел маленький покачивающийся огонек. Он немедленно пошел навстречу. Это был шахтер.

– Не подскажите, – спросил он, – куда ведет эта дорога?

– Дорога-то? Да в самый Вотмор.

– Вотмор! О спасибо, точно. Мне казалось, я ошибался. Доброй ночи.

– Доброй ночи, – ответил густой шахтерский голос.

Джеральд понял, где он находится. По крайней мере, когда он доберется до Вотмора, он будет знать точно. Он был рад, что выбрался на шоссе. Он пошел вперед, слепо следуя цели.

Это была Вотмор-Виллидж? Да, вот «Королевская голова» – а там и ворота. Он почти бегом спустился по крутому холму. Пронесясь, словно ветер, по долине, он миновал школу и подошел к церкви Виллей-Грин. Церковный двор! Он остановился как вкопанный.

Затем в следующее мгновение он вскарабкался по стене и пошел между могилами. Даже в этой темноте он мог видеть груды мертвенно-бледных увядших цветов у своих ног. Значит, эта могила была здесь. Он наклонился. Цветы были холодными и влажными. Он чувствовал сырой, мертвый запах хризантем и тюльпанов. Он ощутил под ними глину и содрогнулся, такой ужасающе холодной и клейкой она была. Он отшатнулся в отвращении.

Значит, здесь был один центр притяжения, здесь, в полной темноте возле невидимой сырой могилы. Но для него здесь не было ничего. Нет, ему не за чем было здесь оставаться. Ему казалось, что глина, холодная и грязная, налипла на его сердце. Нет, довольно этого!

Тогда куда? – домой? Ни за что! Бесплезно было идти туда. И даже бесплезнее бесплезного. Это нельзя было делать. Должно быть какое-то другое место. Но где?

Его сердце наполнилось опасной решимостью, точно навязчивой идеей. Существовала же Гудрун – она спокойно спит в своем доме. И он может найти ее – он обязательно найдет ее. Он ни за что не вернется сегодня, если не доберется до нее, даже если это будет стоить ему жизни. Он поставил все, что имел, на эту карту.

Она направился через поля к Бельдоверу. Было так темно, никто его не увидит. Его ноги промолки и были холодны, глина тянула их вниз. Но он упорно шел вперед, словно ветер, только вперед, словно навстречу своей судьбе. Его сознание временами покидало его. Он осознал, что находится в деревушке под названием Винторп, но не помнил, как туда добрался. А затем, словно во сне, он очутился на длинной улице Бельдовера, освещенного фонарями. Слышался гул голосов, стук захлопывающейся двери и опустившегося засова, и мужская речь. «Лорд Нельсон» только что закрылся и посетители отправились по домам. Надо бы спросить одного из них, где живет Гудрун – потому что боковые улочки были вовсе ему незнакомы.

– Не подскажите ли мне, где здесь Сомерсет-драйв? – спросил он одного шатающегося мужчину.

– Где чего? – ответил подвыпивший шахтер.

– Сомерсет-драйв.

– Сомерсет-драйв! Слышал я что-то такое, но убей меня не скажу, где это. А кого тебе там надобно?

– Мистера Брангвена – Уильяма Брангвена.

– Уильяма Брангвена?..

– Он преподает в школе в Виллей-Грин, его дочери тоже учительницы.

– А-а-а-а, Брангвен! Теперь я тебя понял. Еще бы, Вильям Брангвен! Да-да, у него еще дочки учительши, как и он сам. А, это он, он! Еще бы мне не знать, где он живет, уж поверь мне, я-то знаю! Э-э, а как там это место обзывается?

– Сомерсет-драйв, – терпеливо отвечал Джеральд. Он слишком хорошо знал своих шахтеров.

– Ну точно, Сомерсет-драйв! – сказал шахтер, раскачивая рукой, словно пытаясь за что-то ухватиться. – Сомерсет-драйв, э! В жизни бы не сказал, где такой есть. Ну, знаю я, где это, точно знаю.

Он неуверенно повернулся на ногах и показал на темную, опустевшую из-за наступления ночи дорогу.

– Иди вот туда вверх – и дойдешь до первого, да, первого угла слева – вот на этой стороне, мимо скобяной лавки Витемса..

– Я знаю, с какой стороны, – ответил Джеральд.

– Э! Пройдешь чуток вниз, туда, где живет лодочник – а там уж и будет Сомерсет-драйв, как они его называют, он отходит в правую сторону – там ничего нет, только тройка домов, не, не думаю, что больше трех, и я точно помню, что ихний дом последний – последний из тройки, да, точно.

– Большое вам спасибо, – сказал Джеральд. – Доброй ночи.

И он ушел, оставив подвыпившего человека на месте.

Джеральд шел мимо темных магазинов и домов, большая часть которых уже погрузилась в сон, и свернул на маленькую тупиковую дорогу, которая оканчивалась темным полем. Он замедлил шаг, приближаясь к своей цели, не зная, что ему делать дальше. А что если на ночь дом запирался?

Но это было не так. Он увидел большое освещенное окно и услышал голоса, а затем звук закрывающихся ворот. Его чуткий слух уловил звук голоса Биркина, его острый взгляд разглядел в темноте Биркина и Урсулу, которая в светлом платье стояла на ступеньке на садовую дорожку. Затем Урсула спустилась и пошла по дороге, держа Биркина под руку. Джеральд спрятался в темноте и они прошли мимо него, счастливо болтая, Биркин тихо, Урсула же высоким и отчетливым голосом. Джеральд быстро подошел к дому.

Большое освещенное окно столовой было закрыто ставнями. Он посмотрел на дорожку и увидел, что дверь осталась открытой и лампа из холла отбрасывала мягкий, цветной свет. Он быстро и тихо прошел по дорожке и заглянул в холл. На стенах висели картины и большие олени рога; с одной стороны вверх поднимались ступеньки, а возле подножья лестницы как раз находилась полуоткрытая дверь столовой.

С замершим сердцем Джеральд вступил в холл, пол которого был выложен цветной плиткой, быстро подошел и заглянул в большую красивую комнату. В кресле у огня спал мистер Брангвен, опершись головой о край большой деревянной каминной доски. Его румяное лицо казалось съжившимся, ноздри раздувались, рот немного раскрылся. Достаточно малейшего звука, чтобы он проснулся.

Джеральд замер на секунду. Он взглянул на дверной проем за спиной. Там было темно. Он вновь замер. Затем он быстро поднялся по лестнице. Его чувства были настолько тонко, настолько сверхъестественно обострены, что, казалось, он держит в своей воле весь этот полусонный дом.

Он преодолел первый пролет и остановился, едва дыша. И здесь тоже, прямо над дверью первого этажа, находилась еще одна дверь. Это должна быть спальня родителей. Он слышал, как мать ходила по комнате при свете свечи. Она ждала, когда ее муж поднимется наверх. Джеральд осмотрел темную площадку. Затем молча и на цыпочках прошел по ней, ощупывая стену кончиками пальцев. Вот дверь. Он остановился, прислушавшись. Было слышно дыхание двух человек. Это не тут.

Крадучись, он пошел дальше. Вот еще одна дверь, слегка приоткрытая. В комнате было темно и пусто. Затем следовала ванная, – он чувствовал тепло и запах мыла. И наконец еще одна спальня – и только одно нежное дыхание. Это она!

Почти с магической осторожностью он повернул ручку двери и на дюйм приоткрыл ее. Дверь слегка скрипнула. Он приоткрыл еще на дюйм, и еще. Его сердце не билось, казалось, он создал вокруг себя молчание, забытье.

Он был в комнате. Спящий человек нежно дышал. Было очень темно. Дюйм за дюймом он нащупывал путь вперед ногами и руками. Он дотронулся до кровати, он слышал дыхание спящего. Он подошел совсем близко и наклонился, как будто его глаза могли различить, что там было. И тут у самого своего лица он увидел круглую темную голову мальчика.

Он пришел в себя, развернулся, увидел, что дверь распахнута и в ней слабый свет. Он быстро отступил, прикрыл дверь, не закрывая ее плотно, и быстро спустился вниз. На самых ступеньках он заколебался. Было еще время сбежать.

Но об этом нельзя было и думать. Он выполнит то, что задумал. Он метнулся, словно тень, мимо двери в родительскую спальню и начал карабкаться по второму лестничному пролету. Ступеньки скрипели под тяжестью его тела – это очень его раздражало. Вот будет ужас, если дверь спальни под ним распахнется и мать увидит его! Но если этому суждено, то этого не миновать. Он все еще держал себя в руках.

Он еще не совсем поднялся наверх, когда услышал быстрый топот внизу, услышал, как закрывается и запирается дверь, услышал голос Урсулы, а затем сонный возглас ее отца. Он быстро взлетел на верхнюю площадку.

Вновь распахнутая дверь, пустая комната. Нашупывая путь вперед кончиками пальцев, идя быстро, словно слепой, боясь, что Урсула поднимется наверх, он нащупал еще одну дверь. Тут, обострив все свои сверхъестественно тонкие чувства, он прислушался. Он услышал, как кто-то ворочается в постели. Это должна быть она.

Очень мягко, как человек, у которого осталось только одно чувство, ощущение, он повернул защелку. Она стукнула. Он замер. Простыни зашуршали. Его сердце не билось. Он вновь отвел защелку и очень мягко толкнул дверь. Открываясь, она скрипнула.

– Урсула? – испуганно произнес голос Гудрун. Он быстро открыл дверь и закрыл ее за собой.

– Урсула, это ты? – опять раздался испуганный голос Гудрун. Он услышал, что она села в постели. Еще мгновение и она закричит.

– Нет, это я, – сказал он, наощупь пробираясь к ней. – Это я, Джеральд.

Она, замерев, сидела в постели в крайнем замешательстве. Она была слишком поражена, застигнута врасплох, и поэтому даже не испугалась.

– Джеральд! – эхом отозвалась она в крайнем изумлении.

Он пробрался к кровати и его вытянутая рука слепо дотронулась до ее теплой груди. Она отшатнулась.

– Давай я зажгу свет, – сказала она, вскакивая с постели.

Он стоял, не двигаясь. Он услышал, как она нащупала коробок спичек, услышал, как двигаются ее пальцы. Затем он увидел ее в свете спички, которую она подносила к свече. Комната осветилась, затем вновь потемнела, когда пламя на свече уменьшилось, чтобы затем разгореться с новой силой.

Она взглянула на него, стоявшего с другой стороны кровати. Его кепка была натянута на лоб, черное пальто застегнуто на все пуговицы до самого подбородка. Его лицо было странным и светящимся. Он казался ей неотвратимым, как посланник судьбы.

Когда она увидела его, она все поняла. Она поняла, что в создавшейся ситуации была предопределенность, которой придется подчиниться. Однако она должна была бросить ему вызов.

– Как ты сюда попал? – спросила она.

– Поднялся по ступенькам – дверь была открыта.

Она взглянула на него.



– И я не закрыл дверь, – сказал он.

Она быстро пересекла комнату и, мягко прикрыв дверь, заперла ее. Затем вернулась обратно. Она была восхитительной со своими удивленными глазами, вспыхнувшими щеками и хотя и короткой, но толстой косой, спускавшейся по спине поверх длинной, до самого пола, прозрачной белой ночной сорочке.

Она увидела, что его сапоги были все в глине, что его брюки были также испачканы глиной. И она спрашивала себя, а вдруг он оставил следы по всему дому. Он казался странным, стоя в ее спальне рядом со смятой кроватью.

– Зачем ты пришел? – почти с досадой поинтересовалась она.

– Потому что хотел, – ответил он.

Это она могла прочесть по его лицу. Это была судьба.

– Ты весь в грязи, – поморщившись, ответила она, но с нежностью.

Он посмотрел на свои ноги.

– Я шел в темноте, – ответил он и почувствовал острое возбуждение.

Повисла пауза. Он стоял у одного края смятой постели, она – у другого. Он даже не сдвинул со лба кепку.

– И что тебе нужно от меня? – вызывающе бросила она ему.

Он отвернулся и не ответил. И только потому, что его лицо было таким необычайно красивым и мистически привлекательным, таким четким и странным, она не прогнала его. Но для нее его лицо было слишком прекрасным и слишком загадочным. Оно очаровывало ее, как зачаровывает истинная красота, окутывало ее чарами, вызывало тоску в сердце, боль.

– Что тебе нужно от меня? – повторила она настороженным голосом.

Долгожданный момент настал – он отбросил кепку и подошел к ней. Но он не мог дотронуться до нее, потому что она стояла босиком в своей ночной рубашке, а он был грязным и мокрым. Ее глаза, широкие, огромные и удивленные, наблюдали за ним и задавали ему самый важный вопрос.

– Пришел, потому что должен был, – ответил он. – А зачем ты спрашиваешь?

Она смотрела на него с сомнением и удивлением.

– Должна и спрашиваю, – сказала она.

Он слегка покачал головой.

– Мне нечего ответить тебе, – сказал он опустошенно.

Вокруг него была удивительная, почти сверхъестественная аура простоты и наивной прямоты.

Он напоминал ей видение, молодого Гермеса.

– Но почему ты пришел ко мне? – упорствовала она.

– Потому что так должно быть. Если бы в этом мире не было тебя, то меня в нем также не было бы.

Она стояла и смотрела на него своими большими, широко раскрытыми, удивленными глазами.

Его глаза, не отрываясь, пристально смотрели в ее. Казалось, он окаменел в своей странной сверхъестественной неподвижности.

Она вздохнула. Значит, она погибла. У нее не было выбора.

– Пожалуй, тебе лучше снять сапоги, – сказала она, – они, должно быть, мокрые.

Он бросил кепку на стул, расстегнул пальто, поднимая руки к подбородку, чтобы расстегнуть его у шеи. Его короткие, ежиком торчащие волосы были взъерошены. У него были такие чудесные волосы, словно пшеница!

Он стащил с себя пальто, быстро сбросил пиджак, развязал бабочку и стал отстегивать запонки, каждая из которых была украшена жемчужиной.

Она наблюдала, прислушиваясь и надеясь, что никто не услышит хруст крахмального белья.

Эти звуки казались ей громкими, как пистолетные выстрелы.

Он пришел за отмщением. Она позволила ему обнять себя, притянуть себя к нему. Он черпал в ней бесконечное облегчение. В нее он выливал весь свой подавленный мрак и разъедающую его смерть, вновь становясь целым. Это было удивительно, восхитительно, это было чудо! Это

было повторяющееся вновь и вновь чудо жизни, познав которое он погрузился в экстаз освобождения и удивления. А она, подчиняясь приняла его, как сосуд, наполненный горьким питьем смерти. В этот переломный момент у нее не нашлось сил противостоять. Ее наполнила ужасная дрожащая, разрушительная сила, она приняла ее в экстазе подчинения, в порыве острого, сильного ощущения.

Он приблизился к ней, все глубже окунаясь в ее обволакивающее мягкое тепло, удивительное созидательное тепло, проникающее в его вены и вновь наполняющее его жизнью. Он чувствовал, что распадается на части и тонет, обретая забвение в океане ее живительной силы. Казалось, сердце в ее груди было вторым непокоренным солнцем, и в его жар и созидательную силу он погружался все глубже и глубже. Каждая жилка его тела, которая была убита и изорвана в клочья, мягко заживала, когда жизнь, пульсируя, возрождалась в нем, едва заметно проникая в его, словно это было всемогущее воздействие солнца. Его кровь, которая, казалась, застыла, когда пришла смерть, заструилась с новой силой, уверенно, прекрасно, мощно.

Он чувствовал, как его ноги наполняются жизнью, как они вновь обретают свою гибкость, как тело наливается неведомой силой. Он вновь становился человеком, сильным и полным. И в то же время он был ребенком, успокоенным, умиротворенным и полным благодарности.

А она, она была великим океаном жизни, и он боготворил ее. Она была матерью и материей всей жизни. А он, ребенок и человек, принимал от нее и обретал целостность. Его истинное тело едва не было убито. Но волшебный поток, исходящий из ее груди, заполнял его, его иссушенный, поврежденный разум, словно целительная лимфа, словно мягкий, успокаивающий поток самой жизни, идеальный, точно чрево, породившее его.

Его разум был разрушен, иссушен, казалось, ткани его тела тоже были разрушены. Он не понимал, насколько был изувечен, насколько разлагающий поток смерти поразил его, поразил истинную ткань его мозга. Но теперь, когда исходящая из нее целительная лимфа перетекала в него, он понял, насколько был разрушенным – словно растение, чьи наружные ткани лопнули во время мороза.

Он зарылся своей изящной головой в ее груди и прижал их к себе руками. Она дрожащими руками прижала его голову к себе, когда он лежал опустошенный, а она сохраняла полное сознание. Чудесное созидательное тепло заполнило его, словно сон плода внутри утробы. О, если бы только она подарила ему поток этой живительной силы, он был бы восстановлен, он снова стал бы единым целым. Он боялся, что она откажет ему, прежде, чем все закончится. Словно ребенок у груди, он страстно лънул к ней и она не могла отвергнуть его. И его иссушенная, разбитая оболочка расслабилась, смягчилась, то, что было иссушенным, жестким и разбитым, вновь стало мягким и гибким, пульсирующим новой жизнью. Он был бесконечно благодарен ей, как Богу, или как младенец благодарен матери за то, что она держит его у груди. Он ощущал похожую на забвение радость и благодарность, как ощущал он, что он вновь становится цельным, и как глубокий, непередаваемый словами сон наваливается на него, сон полного измождения и восстановления.

Но у Гудрун сна не было ни в одном глазу, он разрушил ее и заставил все четко осознать. Она неподвижно лежала, оцепенело вглядываясь широко раскрытыми глазами во мрак, когда он уснул, обвив ее руками.

Ей казалось, что она слышит, как волны разбиваются о какой-то тайный берег, большие, медленные, мрачные волны, накатывающиеся с ритмом судьбы так монотонно, что это казалось вечным. Этот бесконечный шорох медленно накатывающих темных волн судьбы стали частью ее жизни, когда она лежала, уставившись в темноту потемневшими, широко раскрытыми глазами. Она могла видеть так далеко – она могла заглянуть в самую вечность, в и то же время она ничего не видела. Ее голова была ясной, она прекрасно сознавала, что происходит – но что же именно происходило?

Отчаяние, нахлынувшее на нее, когда она замершая лежала, устремив взгляд в вечность, ожидая чего-то и с ясной головой думая о происходившем, прошло и осталась только неловкость. Она слишком долго лежала неподвижно. Она пошевелилась и внезапно смутилась.

Ей хотелось взглянуть на него, увидеть его. Но она не осмелилась зажечь свет, потому что знала, что он проснется, а ей не хотелось нарушать такой идеальный сон, который, как она понимала, даровала ему она.

Она мягко высвободилась из его объятий и приподнялась, чтобы посмотреть на него. В комнате было достаточно светло, чтобы можно различить его спящее чудесным сном лицо. Ей казалось, что, несмотря на темноту, она отлично его видит. Но он был где-то далеко, в другом мире. О, ей хотелось закричать от обиды – он был так далеко, и в том мире он обрел свое завершение. Он казался ей галькой, лежащей на дне глубоко под прозрачной темной водой. А она была здесь, в этом мире, и ей осталось только страдать в своем бодрствовании, в то время как он погрузился в глубокую пучину другой стихии – в бездумный, далекий мир сияющих живых теней. Он был прекрасным, далеким и совершенным. Им никогда не суждено быть вместе. О это чудовищная сверхъестественная пропасть, которая всегда развешивалась между ней и остальными!

Ей ничего не оставалось, как тихо лежать и ждать. Ее захлестнула волна жалости к нему, и темная, затаенная, порожденная завистью ненависть – ведь он, такой идеальный и неуязвимый, смог погрузиться в иной мир, а ее продолжала мучить проклятая бессонница, заставлявшая пребывать ее в крошечном мраке.

Она лежала, и в ее сознании проносились напряженные живые мысли, такое сверхбодрствование лишало ее последних сил. Ей казалось, что часы на церкви отбивают время слишком часто. Она отчетливо ощущала их удары своим бодрствующим разумом. А он спал, и время слилось для него в одно мгновение – неизменное и непреходящее.

Она устала, силы ее истощились. Но ей нужно было продолжать свое поистине ужасающее сверхбодрствование. Сейчас в ее мозгу проносились разные картины – ее детство, девичество, она вспомнила все позабытые происшествия, все нереализованные возможности, различные эпизоды, которых она не понимала; она думала о себе, о своей семье, о друзьях, о любовниках, о знакомых, – обо всех. Казалось, она вытягивала сверкающие сети знания из темной пучины – тянула, тянула и тянула их из бескрайнего моря прошлого, и не могла вытащить, конца все не было; ей приходилось снова и снова вытягивать блестящие нити сознания, вытаскивать их, светящиеся, из бескрайних глубин подсознания до тех пор, пока у нее не осталось сил, пока не остались лишь боль и истощение. Она была готова сломаться, но не сломилась.

О, если бы только она могла разбудить его! Она смущенно повернулась. Сможет ли она когда-нибудь заставить его проснуться и уйти? Сможет ли она нарушить его сон?

И она вновь обратилась к своим мыслям, которые машинально проносились в ее голове и которым не было конца.

Но близился момент, когда она его уже могла разбудить. Эта мысль приносила облегчение. Там, в ночи, часы пробили четыре. Слава Богу, ночь почти закончилась. В пять он должен будет уйти, и она станет свободна. Тогда она сможет расслабиться и стать самой собой. Сейчас ей казалось, что она, прикасаясь к его идеальному спящему телу, становится похожей на нож, который раскалился до бела на точильном камне. В том, как он лежал рядом с ней, было нечто чудовищное.

Последний час оказался самым длинным. Но и он, наконец, прошел. Ее сердце облегченно подпрыгнуло – да, вот он, этот сильный, протяжный удар церковного колокола – наконец-то, после этой нескончаемой ночи. Она ждала, отсчитывая каждый медленный, фатальный дребезжащий звук. «Три, четыре, пять!» Все стихло. Бремя свалилось с ее плеч.

Она приподнялась, нежно наклонилась к Джеральду и поцеловала его. Ей было грустно будить его. Через несколько мгновений она вновь поцеловала его. Но он не шелохнулся. «Милый, как же глубоко ты уснул!» Как жаль будить его. Она позволила ему еще немного полежать. Но ему было пора идти – ему и правда была пора уходить.

С чрезвычайной нежностью она взяла его лицо в свои ладони и поцеловала его глаза. Он открыл глаза, но он не двинулся, а просто смотрел на нее. У нее замерло сердце. Стремясь спрятаться от этого невыносимого, откровенного взгляда, она наклонилась и поцеловала его, шепча:

– Любимый, тебе пора.  
Но ей было страшно до дурноты.  
Он обнял ее. У нее упало сердце.  
– Любимый, ты должен идти. Уже поздно.  
– Сколько времени? – спросил он.  
Голос ее мужчины звучал странно. Она задрожала. Ей было невыносимо тяжело.  
– Пробыло пять, – сказала она.  
Но он лишь вновь обнял ее. Сердце в ее груди плакало, разрываясь на части. Она твердо высвободилась из его объятий.  
– Тебе действительно пора, – сказала она.  
– Еще только минутку, – попросил он.  
Она тихо лежала, прижавшись к нему, но не поддаваясь его чарам.  
– Еще одна минутку, – повторил он, еще крепче прижимая ее к себе.  
– Нет, – скованно сказала она, – я думаю, тебе не следует здесь дольше оставаться.  
В ее голосе послышались холодные нотки, которые заставили его выпустить ее, и она поднялась и зажгла свечу. Значит, это конец.  
Он встал. Его тело было теплым, полным жизни и страсти. Но ему было немного стыдно, он чувствовал какое-то унижение, одеваясь перед ней в свете свечи – он чувствовал, что сейчас, когда она почему-то настроена против него, он беззащитен перед ней, уязвим. Это было трудно понять разумом. Он быстро оделся, не пристегивая воротничок и не завязывая галстук. Однако он чувствовал себя наполненным и целым, обретшим свое завершение. Она же подумала, что очень смешно смотреть на то, как одевается мужчина – странная рубашка, странные брюки и подтяжки. Но ей на выручку вновь пришло воображение.  
«Словно рабочий, собирающийся на работу, – подумала Гудрун. – А я будто жена этого рабочего».  
Внезапно ее охватила неприятная дурнота – дурнота от его присутствия.  
Он засунул воротничок и галстук в карман пальто. Затем сел и натянул сапоги. Они были насквозь мокрыми, как, впрочем, и носки и низ штанин. Сам же он был энергичным и теплым.  
– Пожалуй, следовало бы надеть сапоги внизу, – сказала она.  
Он, не отвечая, мгновенно стянул их и встал, держа их в руках.  
Она всунула ноги в тапочки и запахнулась в широкий халат. Она была готова.  
Взглянув на него, замершего в ожидании, в застегнутом до самого подбородка пальто, низко нахлобученной кепке, и сжимающего в руках сапоги, она почувствовала, как в ней на мгновение ожило страстное, ненавистное влечение. Значит, оно не умерло.  
У него было такое розовое лицо, в его расширившихся глазах читалось новое совершенно выражение. Она почувствовала себя древней старухой.  
Она тяжело подошла к нему, ожидая поцелуя. Он быстро коснулся ее губами. Ей хотелось бы, чтобы его теплая, ничего не выражающая красота не очаровывала бы ее так, не подчиняла своей власти, не завораживала бы ее. Она становилась для нее бременем, которое ей было ненавистно, но сбросить его она не могла. Но когда она смотрела на его высокий мужественный лоб, на небольшой правильной формы нос и заглядывала в его голубые равнодушные глаза, она понимала, что ее страсть к нему пока еще не была удовлетворена и, возможно, никогда не будет удовлетворена. Только теперь у нее не было сил, на нее нахлынула дурнота. Ей хотелось, чтобы он ушел.  
Они быстро спустились вниз. Им казалось, что они ужасно шумят. Он шел за ней, а она, завернувшись в свое ярко-зеленое одеяние, шла впереди, освещая дорогу.  
Она страшно боялась, что разбудит кого-нибудь из родных. Ему же было все равно. Ему было безразлично, узнает ли кто-нибудь об их связи. И она ненавидела его за это. Человек *обязан* быть осторожным. Нужно беречь себя.  
Она прошла на кухню, аккуратную и чистую, какой служанка ее и оставила. Он взглянул на часы – двадцать минут шестого. Затем сел на стул и начал натягивать сапоги. Она ждала,

наблюдая за каждым его движением. Ей хотелось, чтобы все скорее закончилось, для нее все это было огромным потрясением.

Он поднялся – она сняла засов с задней двери и выглянула наружу. Там все еще была холодная, сырая ночь – заря еще не вступила в свои права – и луна все еще висела в сумрачном небе. Она радовалась, что ей не нужно было дальше выходить.

– Ну тогда до свидания, – пробормотал он.

– Я провожу тебя до ворот, – сказала она.

И она вновь торопливо пошла впереди, освещая ему дорогу. У ворот она вновь остановилась, а он встал перед ней.

– До свидания, – прошептала она.

Он ласково поцеловал ее и пошел прочь.

Ей было мучительно слышать звук его твердых шагов, удаляющихся по дороге. О, какой же бесчувственной была эта твердая походка!

Она закрыла ворота и быстро и бесшумно прокралась обратно в постель. Когда она добралась до своей комнаты, когда дверь позади нее закрылась и она оказалась в безопасности, она облегченно вздохнула, груз свалился с ее плеч. Она свернулась калачиком в выемке, которую раньше заполняло его тело, все еще хранившей его тепло. И взволнованная, утомленная, но в то же время удовлетворенная, она вскоре погрузилась в глубокий, тяжелый сон.

Джеральд быстро шел в сыром сумраке приближавшегося рассвета. Он никого не встретил на своем пути. В его голове царил сладостный покой, все мысли куда-то исчезли, его разум походил на стоячий пруд, тело же было теплым и насытившимся, полным соков. Он быстро шел в Шортландс, обретая блаженную цельность.

## **Глава XXV**

### ***Жениться или не жениться?***

Брангвены готовились уехать из Бельдовера. Отцу необходимо было постоянно находиться в городе. Биркин выправил разрешение на брак, но Урсула продолжала откладывать свадьбу. Она никак не могла выбрать определенную дату – она все еще колебалась. Шла третья неделя месяца, который она обязалась отработать в школе. Скоро должно было наступить Рождество. Джеральд ждал, когда поженятся Урсула и Биркин. Он ожидал этого брака с таким чувством, будто вместе с ним что-то должно произойти и в его судьбе.

– Может, стоит организовать две свадьбы? – спросил он однажды Биркина.

– А кто будет второй парой? – поинтересовался Биркин.

– Гудрун и я, – сказал Джеральд с дерзким блеском в глазах.

Изумленный Биркин пристально посмотрел на него.

– Ты это серьезно – или же просто шутишь? – спросил он.

– Серьезнее некуда. Хорошо? Возьмете нас с Гудрун себе в пару?

– Конечно, без всякого сомнения, – ответил Биркин. – Не знал, что вы забрели в такие дали.

– В какие такие дали? – спросил Джеральд, посмотрев на собеседника, и рассмеялся. – Ну да, в каких далях мы только не бывали!

– Осталось поставить это на широкую общественную платформу и задаться высокой моральной целью, – сказал Биркин.

– Что-то вроде этого – вот тебе и дали, и ширина, и высота, – улыбаясь, ответил Джеральд.

– Хорошо, – сказал Биркин, – ничего не скажешь, шаг достойный подражания.

Джеральд пристально посмотрел на него.

– А где энтузиазм? – спросил он. – Мне казалось, тебе чертовски нравится идея жениться.

Биркин пожал плечами.



– С таким же успехом можно сказать, что мне чертовски нравятся человеческие носы. Носы бывают разные – курносые и красные...

Джеральд рассмеялся.

– И браки тоже бывают различные – курносые и красные? – сказал он.

– Точно так.

– Как по-твоему, если я женюсь, мой брак будет курносым? – двусмысленно поинтересовался Джеральд, склонив голову набок.

Биркин коротко рассмеялся.

– Откуда мне знать, каким он будет! – сказал он. – Не надо озадачивать меня моими же сравнениями!

Джеральд некоторое время подумал.

– Знаешь, мне бы очень хотелось узнать твое мнение, – сказал он.

– По поводу твоего брака или брака вообще? Зачем тебе мое мнение? У меня вообще нет никакого мнения. Законный брак меня вообще не интересует. Он нужен только для удобства. Джеральд все еще не сводил с него пристального взгляда.

– А по-моему, это нечто большее, – серьезно сказал он. – Какой бы скучной ни казалась человеку брачная мораль, однако вступление в этот самый брак кажется любому чем-то важным, некой конечной истиной...

– Ты считаешь, что поход к регистратору с женщиной есть некая конечная истина?

– Если ты с ней же и возвращаешься, то да, – сказал Джеральд. – По-моему, это неотвратимый шаг.

– Да, согласен, – ответил Биркин.

– Неважно, как ты относишься к законному браку, вступление в брак – это конечная цель для каждого человека.

– Где-то, скорее всего, это именно так, – согласился Биркин.

– Значит, весь вопрос в том, стоит ли жениться или нет, – продолжал Джеральд.

Приятно удивленный Биркин пристально смотрел на него.

– Ты просто настоящий лорд Бэкон<sup>65</sup>, Джеральд, – сказал он. – Ты отстаиваешь свое мнение прямо как настоящий адвокат – или как Гамлет с его «быть или не быть». На твоём месте я бы не женился: но тебе лучше спросить Гудрун, а не меня. Ты же не на мне собрался жениться, так ведь?

Джеральд не обратил внимания на последнюю фразу.

– Да, – размышлял он, – нужно трезво над этим поразмыслить. Это очень важно. Пора сделать шаг либо в одну, либо в другую сторону. Брак – это одна из двух сторон.

– А вторая? – быстро спросил Биркин.

Джеральд взглянул на него пылким, многозначительным взглядом, который другой мужчина не смог разгадать.

– Не могу сказать, – ответил он. – Если бы я знал...

Он неловко переступил с ноги на ноги и оборвал себя на полуслове.

– Ты имеешь в виду, если бы была альтернатива? – спросил Биркин. – А поскольку таковая тебе не известна, брак – это *pis aller*<sup>66</sup>.

Джеральд взглянул на Биркина тем же пламенным, напряженным взглядом.

– Да, я чувствую, что брак – это *pis aller*, – признался он.

– В таком случае, не женись, – сказал Биркин. – Я скажу тебе, – продолжал он, – то же, что и раньше – брак в старом смысле мне крайне противен. *Egoisme a deux*<sup>67</sup> не имеет с этим ничего

---

<sup>65</sup> Лорд Бэкон – Френсис Бэкон, английский философ.

<sup>66</sup> Последняя соломинка. (фр.)

общего. Это напоминает мне безмолвную охоту, на которую выходят парами: весь мир состоит из пар, каждая пара сидит в своем доме и оберегает собственные интересы, варится в своем маленьком закрытом мирке – это самое отвратительное, что породил этот мир.

– Вполне согласен, – сказал Джеральд. – В этом есть что-то низменное. Но как я уже говорил, альтернативы-то нет.

– Нужно избегать этого инстинкта гнездования. Это даже никакой и не инстинкт, а просто трусливая привычка. Человек не должен создавать себе гнездо.

– Я полностью согласен, – сказал Джеральд. – Но иного нам не дано.

– Значит, придется его найти. Я верю в вечный союз между мужчиной и женщиной. Постоянно менять партнеров очень утомительно. Однако и постоянная связь мужчины и женщины это вовсе не последняя данность.

– Действительно, – согласился Джеральд.

– На самом деле, – сказал Биркин, – напряженность, жажда власти, неполноценность, – все это плоды идеи о том, что связь между мужчиной и женщиной самая высшая и единственно возможная.

– Да, я с тобой согласен, – сказал Джеральд.

– Нужно свергнуть идеал «брак по любви» с его пьедестала. Нам нужно что-то более широкое. Я верю в идеальные отношения между мужчиной и женщиной, они только будут дополнять брак.

– Не думаю, что эти отношения будут такими же, как брак, – сказал Джеральд.

– Не такими же, а равноценными по важности, равноценно созидательными, равноценно священными, если угодно.

– Понимаю, – сказал Джеральд, – ты веришь, что так оно и есть. Только, понимаешь ли, я-то так не чувствую.

Он положил руку на локоть Биркина с некой неодобрительной теплотой. И торжествующе улыбнулся.

Он был готов приговорить себя. Брак был для него приговором. Он был готов осудить себя на брак, превратиться в узника, осужденного долбить шахты в преисподней, не видящего солнца, но живущего ужасной потусторонней жизнью. Он был готов принять это. Брак для него был подобен печати, поставленной под приговором. Он был готов позволить запереть себя в преисподней, словно проклятая душа, обреченная на вечные скитания. Но ни с одной другой душой он не смог бы выстроить чистых отношений. Он просто не мог. Брак не связал бы его с Гудрун. Джеральд связал бы себя с устоявшимся миром, он принял бы заведенный порядок, а после этого погрузился бы в иной мир, где и началась бы его жизнь. Так он и поступит.

Но была и другая возможность – принять предложение Руперта о союзе, завязать с ним отношения, полные искреннего доверия и любви, а затем, впоследствии, установить такие же отношения и с женщиной. Если он свяжет себя с мужчиной, то он сможет позднее связать себя и с женщиной: не просто законными узами, а идеальным, таинственным браком.

Тем не менее, он считал подобное неприемлемым. На него нашло оцепенение, предвещающее либо скорое появление на свет желания действовать, либо гибель. Возможно, так заявляло о себе до сих пор отсутствующее желание, ведь предложение Руперта его странно воодушевило. Но еще большую радость в нем пробудило решение отказаться от этого союза, стремление остаться свободным.

---

<sup>67</sup> Эгоизм двоих. (фр.)

## Глава XXVI

### Стул

Каждый понедельник все, кто желал продать какую-нибудь рухлядь, собирались на старом городском рынке. Как-то Урсула и Биркин неспешно забрели туда. Они говорили о мебели, и им захотелось взглянуть, не было ли среди ненужных вещей, примостившихся на булыжнике, чего-нибудь такого, чего бы им захотелось приобрести.

Старая рыночная площадь была не очень большой – она представляла из себя обычную вымощенную гранитными плитками площадку с расположенными вдоль стены прилавками, с которых продавались фрукты. Рынок находился в бедном квартале города. По одну сторону улицы стояли убогие домишки, по другую – ряд маленьких магазинчиков, выходивших витринами на мощёный каменными плитами тротуар. Улица упиралась в чулочную фабрику – высокое, похожее на тысячи других, здание со множеством вытянутых окон. И завершало картину здание общественной бани, сложенное из красного кирпича, увенчанное башенкой с часами. Люди, ходившие вокруг, все как один казались им коренастыми и неопрятными; в воздухе стоял неприятный запах, убогие улочки, разветвляясь, образовывали целый лабиринт, кишащий беднотой. Время от времени большой коричнево-желтый трамвай скрежетал по рельсам, проходя сложный поворот возле чулочной фабрики.

Урсула ощутила сверхъестественный трепет, оказавшись среди простого люда, да еще на блошином рынке, заставленном старыми кроватями, грудami старой железной утвари, белесыми рядами убогого фарфора и лотками, на которых была навалена одежда, явно не заслуживавшая такого названия. Она и Биркин без особого восторга пошли по узкому проходу между грудami старья. Он рассматривал товар, она – людей.

Она с интересом наблюдала за молодой женщиной на сносках, которая переворачивала матрас и говорила подавленному молодому человеку в потрепанной одежде, чтобы и он потрогал его. Молодая женщина казалась сосредоточенной, энергичной и деятельной, в то время как мужчина – уступчивым и пассивным. Он вынужден был жениться на ней, потому что она ждала ребенка.

Когда они ошупали матрас, молодая женщина спросила, сколько он стоит, у старика, сидевшего на стуле среди своего товара. Тот ответил, и она повернулась к молодому человеку. Последний застыдился и стушевался. Он отвернулся, хотя с места не сдвинулся, и что-то пробормотал в сторону. И вновь женщина обеспокоенно и активно пощупала пальцами матрас, что-то подсчитала в уме и начала торговаться с грязным стариком. Все это время молодой человек стоял рядом, со смущенным и обреченным видом, подчиняясь ей.

– Смотри-ка, – сказал Биркин, – вот очень милый стул.

– Очарователен! – воскликнула Урсула. – Он просто очарователен.

Там на этих мерзких камнях стоял стул со спинкой из простого дерева, вероятно, березы, в котором была такая изящность линий, что на глаза наворачивались слезы. Он был квадратной формы, чистых, тонких линий, а на спинке были четыре короткие деревянные полоски, которые напомнили Урсуле струны арфы.

– Когда-то, – сказал Биркин, – он было позолочен, сиденье было плетеным. А кто-то прибил поверх деревянное сиденье. Смотри, вот остатки красного, на который наносилась позолота. Все остальное черное, кроме тех мест, где краска стерлась и обнажилось дерево, чистое и блестящее. Его привлекательность в изящном единении линий. Смотри, как они проходят, встречаются и взаимодействуют. Но разумеется, деревянное сиденье сюда не подходит – оно разрушает идеальную легкость и единство в напряжении, которое придавало плетение. Хотя оно мне и так нравится.

– Да, – ответила Урсула, – мне тоже.

– Сколько он стоит? – спросил Биркин мужчину.

– Десять шиллингов.

– Пошлите его по этому адресу...

Они его купили.

– Такой красивый, такой совершенный! – сказал Биркин. – У меня сердце сжимается.

Они шли вдоль развалов всякой рухляди.

– Моя драгоценная страна – ведь было же что ей сказать, когда она создавала этот стул.

– А разве сейчас ей нечего сказать? – спросила Урсула.

Она всегда злилась, когда он начинал такие разговоры.

– Теперь нет. Когда я вижу этот четкий, красивый стул, я думаю об Англии, даже об Англии Джейн Остен – даже тогда были живые мысли, которые можно было раскрыть, и при этом человек чувствовал неподдельную радость. А сейчас нам остается только выуживать из груд мусора остатки того, что они хотели выразить. Сейчас не происходит созидания, а есть только омерзительное и порочное механическое движение.

– Это не так, – воскликнула Урсула. – Почему ты всегда стремишься превозносить прошлое в ущерб настоящему? Если честно, я бы не дала многого за Англию Джейн Остен. Видишь ли, она тоже была достаточно материалистичной.

– Она могла позволить себе быть материалистичной, – сказал Биркин, – потому что у нее была сила быть чем-то иным – этой-то силы нам сейчас и не хватает. Мы материалистичны, потому что у нас нет сил стать чем-то другим – как мы ни попытаемся, мы не можем породить ничего, кроме материализма: есть только механицизм, натуральное средоточие материализма.

Урсула погрузилась в сердитое молчание. Она не воспринимала его слова. Она была настроена против чего-то иного.

– А я ненавижу твое прошлое, меня уже тошнит от него, – воскликнула она. – Мне кажется, я уже ненавижу этот старый стул, хотя он и правда красив. Но эта красота не для меня. Жаль, что его не разломали, когда его век окончился, позволив ему вещать нам о прекрасном прошлом. Мне до смерти надоело прекрасное прошлое.

– Но не так, как мне чертово настоящее, – сказал он.

– Да, это тоже самое. Я тоже ненавижу настоящее – но я не хочу, чтобы прошлое заняло его место. Не нужен мне этот старый стул.

На какое-то мгновение он рассердился. Потом он взглянул на небо, сияющее над башней общественной бани и, похоже, справился со своим гневом. Он рассмеялся.

– Хорошо, – сказал он, – тогда пусть его у нас не будет. Мне тоже все это до чертиков надоело. В любом случае, нельзя же продолжать жить на останках старой красоты.

– Нельзя, – воскликнула она. – Мне не нужны старые вещи.

– Все дело в том, что нам вообще не нужны никакие вещи, – ответил он. – Мысль о доме и собственной мебели приводит меня в ужас.

Это на мгновение ее удивило. Но она ответила:

– Меня тоже. Но должны же мы где-то жить.

– Не где-то, а в любом месте, – сказал он. – Человек должен жить везде – у него не должно быть определенного места. Мне не нужно определенное место. Как только у тебя появляется комната и ты завершаешь ее обстановку, из нее хочется бежать. Теперь, когда мои комнаты на мельнице почти обставлены, мне хочется, чтобы они провалились к чертовой матери. Завершенность обстановки давит ужасным грузом, и каждый предмет мебели превращается в скрижаль, на которой записана заповедь.

Она прильнула к нему, когда они уходили с рынка.

– Но что же мы будем делать? – спросила она. – Мы же должны как-то жить. И мне хочется, чтобы в моем окружении была красота. Мне хочется даже естественной роскоши, величия.

– Тебе никогда не получить этого в домах и мебели – или даже из одежды. Дома, мебель, одежда, – все это атрибуты старого вульгарного мира, омерзительного человеческого общества. Если у тебя дом эпохи Тюдоров и старая, красивая мебель, – это всего-навсего значит, что прошлое взяло над тобой верх, и это отвратительно. А если у тебя прекрасный современный

дом, построенный для тебя Пуаре<sup>68</sup>, значит, тобой овладело что-то другое. Все это отвратительно. Собственность и еще раз собственность давит на тебя и превращает тебя в часть единого целого. А ты должна быть как Роден<sup>69</sup>, как Микельанджело и должна оставлять в своем образе фрагмент необработанного камня. Твое окружение должно походить на неоконченный набросок, чтобы оно никогда не привязывало тебя, не сковывало, не властвовало тобой.

Она остановилась посреди улицы и задумалась.

– И у нас никогда не будет нашего собственного законченного мира – никогда не будет дома?

– Упаси Бог, только не в этом мире, – ответил он.

– Но есть только этот мир, – запротестовала она.

Он безразличным жестом вытянул руки.

– Тем не менее, мы будем избегать иметь свои собственные вещи.

– Но ты же только что купил стул, – сказала она.

– Я могу сказать старику, что он мне не нужен, – ответил он.

Она вновь задумалась. Внезапно странная маленькая гримаска исказила ее лицо.

– Нет, – сказала она, – он нам не нужен. Мне надоели старые вещи.

– И новые тоже, – добавил он.

Они развернулись назад.

А там, перед какой-то мебелью стояла молодая пара – женщина, которая скоро должна была родить, и молодой человек с замкнутым лицом. Она была белокурой, невысокой и коренастой. Он был среднего роста и привлекательного телосложения. Его темные волосы падали напробор на его лоб из-под фуражки, у него был до странного отстраненный вид, как у проклятой души.

– Давай отдадим его им, – прошептала Урсула. – Смотри, они собираются обустроить свой дом.

– Я им в этом не помощник и не советчик, – раздражительно сказал он, моментально проникнувшись сочувствием к замкнутому, настороженному юноше и неприязнью к деятельной женщине-производительнице.

– Да, – воскликнула Урсула. – Он вполне им подойдет – для них больше ничего нет.

– Отлично, – сказал Биркин, – предложи его им. А я посмотрю.

Урсула, слегка нервничая, подошла к молодой паре, которая обсуждала железный умывальник – вернее, мужчина смотрел хмуро и с удивлением, словно узник, на омерзительный предмет, в то время как женщина спорила.

– Мы купили стул, – сказала Урсула, – а нам он не нужен. Может, возьмете его? Мы были бы очень рады.

Молодая пара развернулась к ней, не веря, что она обращается именно к ним.

– Не хотите взять его? – повторила Урсула. – Он на самом деле очень красивый, только... только... – она задумчиво улыбнулась.

Молодые люди продолжали таращиться на нее и со значением посмотрели друг на друга, словно спрашивая, как следует поступить. И мужчина удивительным образом практически слился с окружением, словно умел, точно крыса, становиться невидимым.

– Мы хотим отдать его вам, – объясняла Урсула, на которую вдруг нахлынуло смущение и боязнь их.

Молодой человек привлек ее внимание. Это было недвижимое, безмозглое существо, да и не мужчина вовсе, а существо, которое мог породить только город – до странности породистое и утонченное и в то же время настороженное, быстрое, верткое. У него были темные, длинные и изящные ресницы, обрамлявшие глаза, в которых не было разумного выражения, а только ужасающая покорность, внутреннее сознание, темное и влажное. Его темные брови, как и все

---

<sup>68</sup> Пуаре, Поль (1879–1943) – дизайнер, мебельный мастер.

<sup>69</sup> Роден, Огюст (1840–1917) – французский скульптор.



остальные линии, были изящно очерчены. Он будет страшным, но чудесным любовником женщине, настолько щедро одарила его природа. Его ноги будут чудесно чуткими и живыми под его бесформенными брюками, в нем была какая-то утонченность, неподвижность и гладкость темноокой молчаливой крысы.

Урсула поняла все это, и его привлекательность вызвала в ней легкую дрожь. Полная женщина неприязненно уставилась на нее. И Урсула выкинула его из головы.

– Вы возьмете стул? – спросила она.

Мужчина искоса посмотрел на нее оценивающим взглядом, который в то же время был таким вызывающим, почти дерзким. Женщина вся подобралась. В ней была живописность уличной торговки. Она не понимала, что замыслила Урсула, поэтому она смотрела настороженно и злобно. Биркин приблизился к ним, злорадно улыбаясь при виде растерянности и напуганности Урсулы.

– В чем дело? – улыбаясь, спросил он. Он слегка опустил веки и в нем была та же двусмысленная, насмешливая скрытность, которая была и в облике обоих городских существ. Мужчина немного наклонил голову на бок, указал на Урсулу и сказал с удивительно добрым, насмешливым теплом:

– Чего ей надобно, а?

Странная улыбка искривила его губы.

Биркин взглянул на него полуприкрытыми, ироничными глазами.

– Хочет подарить вам стул – вон тот, с этикеткой, – сказал он, показывая на него.

Мужчина посмотрел на указанный объект. Между двумя мужчинами возникло мужское необъяснимое взаимопонимание с некоторой долей настороженности.

– Приятель, чего это ей захотелось нам его отдать? – поинтересовался он таким фамильярным тоном, который показался Урсуле оскорбительным.

– Ей показалось, что он вам понравится – очень красивый стул. Мы купили его, а он нам не нужен. Не бойтесь, вам не обязательно его брать, – сказал Биркин с насмешливой улыбкой.

Мужчина взглянул на него наполовину враждебно, наполовину понимающе.

– А чего это он вам самим не понадобился, если вы его только что взяли? – холодно спросила женщина. – Он не слишком для вас хорош, да, когда вы его поближе рассмотрели? Бойтесь, что у него что-то внутри есть, а?

Она смотрела на Урсулу с восхищением и в то же время с неприязнью.

– Я об этом не задумывался, – сказал Биркин. – Да нет, древесина везде слишком тонкая.

– Понимаете, – сказала Урсула, лицо которой светилось радостью. – Мы только собираемся пожениться и нам казалось, что мы будем покупать вещи. А только что мы решили, что мебель нам не нужна, потому что мы поедем за границу.

Коренастая, слегка неряшливая городская девушка оценивающе взглянула в тонкое лицо другой женщины. Они отдали друг другу должное. Молодой человек стоял в стороне и на его лице не было никакого выражения, оно было бесстрастным, и тонкая линия его черных усов над его достаточно большим, сжатым ртом странным образом казалась неприличным намеком. Он был равнодушным, отчужденным, словно напоминание о чем-то мрачном и двусмысленном, напоминание о трупцах.

– Давай, пожалуй, подсобим им его сплавить, – сказала городская девушка, обращаясь к своему молодому человеку. Он не смотрел на нее, однако улыбнулся одними губами, странно одобрительно отворачиваясь в сторону. В его глазах, в которых сияла темнота, застыло одно и то же выражение.

– Это ваше изменение мнения вам, похоже, чего-то стоило, – сказал он низким голосом, коверкая слова.

– На этот раз только десять шиллингов, – сказал Биркин.

Мужчина посмотрел на него с хитрым, неуверенным выражением, улыбаясь.

– Полсоверена – это по дешевке, приятель, – сказал он. – Не то, что разводится.

– Мы еще пока не женаты, – сказал Биркин.

– Ну, мы тоже, – громко сказала молодая женщина. – Но мы уже женимся, в субботу. И она вновь взглянула на молодого человека одновременно решительно и покровительственно и вместе с тем повелительно и очень нежно. Он криво усмехнулся, отворачивая голову. Она подчинила себе его мужское существо, но Боже, ему же было все равно! В нем была какая-то хитрая гордость и настороженное одиночество.

– Удачи вам, – сказал Биркин.

– И вам того же, – сказала молодая женщина. А затем, неуверенно добавила: – А когда же ваш черед?

Биркин оглянулся на Урсулу.

– Пусть леди только скажет, – ответил он. – Мы отправимся к регистратору сразу, как только она будет готова.

Урсула рассмеялась, охваченная смущением и возбуждением.

– Нет никакой спешки, – сказал молодой человек, двусмысленно усмехаясь.

– Не стоит слишком уж рваться, а то шею сломаешь, – сказала молодая женщина. – Это все равно, что концы отбросить – ты женишься на долгий-долгий срок.

Молодой человек отвернулся, словно эти слова задели его.

– Будем надеяться, что чем дольше он будет, тем лучше, – сказал Биркин.

– Вот так-то, приятель, – восхищенно сказал молодой человек. – Наслаждайся, пока это у тебя есть – не бей мертвую собаку.

– Если только она и в самом деле не мертва, – сказала молодая женщина, оглядывая своего молодого человека с ласковой и в то же время властной нежностью.

– Да, разница есть, – насмешливо сказал он.

– А как быть со стулом? – спросил Биркин.

– Хорошо, мы возьмем его, – ответила женщина.

Они все вместе пошли к продавцу, и при этом красивый, но находящийся в унижительном положении молодой человек держался несколько в стороне.

– Вот и все, – сказал Биркин. – Можете забрать его с собой или изменить адрес на свой.

– Нет, Фред его захватит. Я заставлю его поработать ради старого доброго гнезда.

– Попользуюсь Фредом – с мрачным юмором сказал Фред, забирая стул у продавца. У него были грациозные и в то же время до странности незаметные движения, казалось, он движется украдкой.

– А вот и удобный стульчик для мамочки, – сказал он. – Сюда надобно бы подушку.

И он поставил его на каменную плитку площади.

– Вы не находите его красивым? – рассмеялась Урсула.

– Да, очень, – сказала молодая женщина.

– Присядьте-ка на него, еще пожалеете, что отказались от него, – сказал молодой человек.

Урсула без дальнейших уговоров уселась на стул посреди рыночной площади.

– Весьма удобно, – сказала она, – только довольно жестко. Сами попробуйте.

Она знаком попросила молодого человека присесть. Но он неуклюже, неловко отвернулся в сторону, взглянув на нее блестящими живыми глазами, в которых промелькнуло какое-то хитрое выражение, как у суетливой крысы.

– Не надо его баловать, – сказала молодая женщина. – Он к стульям непривычный.

Молодой человек отвернулся и с ухмылкой сказал:

– Я только ноги на него кладу.

Обе пары расстались. Молодая женщина поблагодарила их.

– Спасибо вам за стул – он будет стоять у нас, пока не сломается.

– Будет украшением, – сказал молодой человек.

– До свидания, до свидания, – попрощались Урсула и Биркин.

– И вам до свиданья, – сказал молодой человек, поднимая глаза и избегая взгляда Биркина при повороте головы.

Обе пары направились в разные стороны, и Урсула прижалась к локтю Биркина. Когда они отошли на некоторое расстояние, она оглянулась и посмотрела, как молодой человек шел рядом с полной, простой молодой женщиной. Штанины его брюк волочились по земле, в нем была какая-то ускользающая увертка, в которой теперь появилось еще и смущение от того, что он нес в руках стройный изящный старинный стул, обхватив спинку, а четыре тонкие квадратные сходящие на нет ножки находились в опасной близости от гранитных плиток тротуара. И в то же время в нем было что-то неукротимое и обособленное, как в быстрой, верткой крысе. В нем была и странная, не видная глазу красота, которая вызывала еще и отвращение.

– Какие они странные! – воскликнула Урсула.

– Дети человеческие, – сказал он. – Они напоминают мне слова Иисуса: «Только кроткие унаследуют землю».

– Но они вовсе не кроткие, – сказала Урсула.

– Нет, не знаю почему, но они самые что ни на есть кроткие, – ответил он.

Они ждали, пока подъедет трамвай. Урсула села наверху и смотрела вниз на город. Закатная дымка уже начала окутывать квадраты переполненных домов.

– И они что, унаследуют землю? – сказала она.

– Да, они.

– Тогда что же остается нам? – спросила она. – Мы ведь не такие как они? Мы же не кроткие.

– Нет. Нам придется жить в расщелинах, которые они нам оставят.

– Какой ужас! Я не хочу жить в расщелинах.

– Не волнуйся, – сказал он. – Это дети человеческие, больше всего они предпочитают рыночные площади и углы улиц. Они оставляют полным-полно расщелин.

– Весь мир, – сказала она.

– Нет, но места хватит.

Трамвай медленно карабкался по холму, где уродливое скопление домишек, серых после зимы, выглядели как видение из ада, только заledenевшего и угловатого. Они сидели и смотрели.

Вдали сердито краснел закат. Все было холодным, каким-то съежившимся, переполненным, точно наступил конец света.

– Даже и в этом случае мне все равно, – сказала Урсула, оглядывая всю эту омерзительность. – Меня это не касается.

– Больше нет, – ответил он, беря ее за руку. – Не нужно смотреть. Нужно просто идти своим путем. В моем мире светит солнце и полно места.

– Да, моя любовь, именно так! – воскликнула она, прижимаясь к нему на верхней площадке трамвая, из-за чего остальные пассажиры уставились на них.

– И мы будем бродить по поверхности матушки-земли, – сказал он, – а на запредельный вид будем смотреть лишь изредка.

Повисло долгое молчание. Ее лицо светилось, словно золото, когда она сидела, обьятая мыслями.

– Я не хочу унаследовать землю, – сказала она. – Я вообще ничего не хочу наследовать. Он накрыл ее руку своей.

– Как и я. Я хочу, чтобы меня лишили этого наследства.

Она крепко сжала пальцы.

– Нам на все будет наплевать, – сказала она.

Он сидел молча и смеялся.

– И мы поженимся и покончим с ними, – сказала она.

Он вновь рассмеялся.

– Это один способ избавиться от него, – сказала она, – жениться.

– И один из способов принять весь мир, – добавил он.

– Весь иной мир, да, – радостно добавила она.

– Но ведь есть Джеральд... и Гудрун, – сказал он.

– Если есть, значит есть, – сказала она. – Это не стоит наших переживаний. Мы не можем изменить их, разве не так?

– Нет, – сказал он. – У нас нет прав пытаться – даже если нас обуревают самые наилучшие побуждения в мире.

– А ты пытаешься заставить их? – спросила она.

– Возможно, – сказал он. – Почему я должен хотеть, чтобы он оставался свободным, если это не его?

Она замолчала на какое-то время.

– В любом случае, мы не можем заставить его быть счастливым, – сказала она. – Он должен обрести это счастье самостоятельно.

– Я знаю, – сказал он. – Но нам же нужны рядом с нами другие люди, так?

– Зачем? – спросила она.

– Не знаю, – напряженно сказал он. – Очень хочется каких-то других близких отношений.

– Но почему? – настаивала она. – Зачем тебе нужно стремиться к отношениям с другими людьми? Зачем они тебе нужны?

Это задело его за живое. Он насупил брови.

– Разве все заканчивается на двух наших сущностях? – напряженно спросил он.

– Да – чего еще желать? Если кто-то захочет быть рядом, пожалуйста. Но зачем гоняться за кем-то?

Его лицо было напряженным и неудовлетворенным.

– Понимаешь ли, – сказал он. – Я всегда представлял себе, что мы можем быть счастливы только если рядом с нами несколько человек – и с этими людьми ты чувствуешь себя свободно. Она на мгновение задумалась.

– Да, это, конечно же, нужно. Но это должно случиться само по себе. Нельзя ничего для этого сделать усилием воли. Тебе всегда почему-то кажется, что ты можешь заставить цветы распускаться. Люди должны любить нас, если в их сердцах возникает любовь к нам – их нельзя заставить.

– Я знаю, – сказал он. – Но разве для этого не нужно ничего делать? Нужно ли вести себя так, как если бы ты был один во всей вселенной – единственное существо в мире?

– У тебя есть я, – сказала она. – Зачем тебе кто-то другой? Зачем тебе нужно, чтобы другие люди соглашались с тобой? Почему ты не можешь жить сам по себе, ты же всегда об этом заявлял. Ты пытаешься давить на Джеральда, как раньше ты пытался давить на Гермиону. Ты должен научиться быть одиночкой. Это так ужасно с твоей стороны. У тебя есть я. И в то же время ты хочешь заставить других людей любить тебя. Ты пытаешься выдавливать из них свою любовь. И при всем при этом не нужна тебе их любовь.

Его лицо было по-настоящему озадаченным.

– Разве? – спросил он. – Вот эту проблему-то я и не могу решить. Я знаю, что мне нужна совершенная и полная связь с тобой: и у нас почти это получилось – она у нас есть. Но если выйти за рамки... Нужны ли мне настоящие, конечные отношения с Джеральдом? Нужны ли мне финальные, почти сверхчеловеческие отношения с ним – отношения двух крайних сущностей – моей и его – или же нет?

Она смотрела на него долгое время странными светящимися глазами. Но ничего не ответила.

## **Глава XXVII**

### **Переезд**

В тот вечер Урсула вернулась домой, полная загадочности и с блестящими глазами – и это вызвало у ее родителей острое раздражение. Отец вернулся домой к ужину и очень устал после вечернего урока и длительного возвращения домой. Гудрун что-то читала, мать сидела молча. Внезапно Урсула сказала радостным голосом, ни к кому конкретно не обращаясь:

– Мы с Рупертом завтра женимся.

Ее отец натянуто обернулся.

– Вы... что? – воскликнул он.

– Завтра? – эхом подхватила Гудрун.

– Неужели! – сказала мать.

Но Урсула только загадочно улыбалась и ничего не ответила.

– Завтра женитесь! – резко воскликнул отец. – О чем это ты говоришь?

– Да, – сказала Урсула. – А почему бы и нет?

Эти слова, которые она так часто произносила, всегда выводили его из себя.

– Все уже готово – мы отправимся прямо к регистратору...

В комнате второй раз повисло молчание после этой беспечной недоговорки Урсулы.

– Урсула, это правда? – спросила Гудрун.

– Можно осведомиться, а зачем такая секретность? – несколько официально потребовала ответа мать.

– Никакой секретности не было, – сказала Урсула. – Вы все знали.

– Кто знал? – отец уже перешел на крик. – Кто знал? Что ты хочешь сказать своим «все знали»?

Он впал в один из своих припадков ярости и она тут же закрылась для него.

– Разумеется, вы знали, – ледяным тоном отрезала она. – Вы знали, что мы собираемся пожениться.

Повисла угрожающая пауза.

– Мы знали, что ты собираешься замуж, так что ли? Знали! Да разве кто-нибудь о тебе что-нибудь знает, ты, изворотливая стерва!

– Отец! – воскликнула Гудрун, громко выражая свой протест и заливаясь румянцем, затем холодным, но ласковым тоном, чтобы дать понять сестре, что ей не следует проявлять строптивость, заметила: – Урсула, по-моему, это весьма скоропалительное решение.

– Нет, вовсе нет, – ответила Урсула с той же приводящей в ярость беззаботностью. – Он уже многие недели ждет, чтобы я согласилась – он даже выправил разрешение. Только я, я сама была не готова. А теперь я готова – что же тут такого неприятного?

– Совершенно ничего, – сказала Гудрун, но в ее тоне звучал холодный укор. – Ты вольна поступать так, как тебе заблагорассудится.

– Ты готова – ты, в этом-то все дело, да? «Я сама была не готова», – с издевкой передразнил он ее. – Ты и только ты, вот что важно, не так ли?

Она взяла себя в руки и наклонила голову вперед, а в ее глазах загорелось угрожающее желтое пламя.

– Важно для меня, – уязвленно и оскорбленно сказала она. – Я знаю, что больше я не важна ни для кого. Ты просто хочешь давить на меня – тебя никогда не заботило, счастлива ли я.

Он подался вперед и наблюдал за ней с таким напряженным лицом, что казалось, от него сейчас полетят искры.

– Урсула, о чем ты говоришь? Придержи язык, – выкрикнула ее мать.

Урсула резко развернулась, и ее глаза сверкнули огнем.

– Нет, не буду! – воскликнула она. – Я не собираюсь придерживать язык и терпеть его издевки.

Какая разница, когда я выйду замуж – разве это что-нибудь меняет? Это не касается никого, кроме меня.

Ее отец напрягся и подобрался, словно готовящийся к прыжку кот.

– Не касается? – закричал он, приближаясь к ней. Она отшатнулась от него.

– Нет, как это может кого-то касаться? – ответила она, задрожав, но все еще упорствуя.



– Значит, мне все равно, что ты делаешь – что с тобой станет? – воскликнул он странным голосом, похожим на вопль.

Мать и Гудрун стояли сзади, словно во власти гипноза.

– Да, – отрезала Урсула. Отец подошел очень близко к ней. – Ты просто хочешь...

Она знала, что это было опасно, и замолчала. Он весь подобрался, каждый его мускул был наготове.

– Что же? – вызывающе провоцировал он ее.

– ...давить на меня, – пробормотала она, и не успели ее губы еще договорить, как его рука дала ей такую пощечину, что девушка отлетела чуть ли не к двери.

– Отец! – прозвительно вскрикнула Гудрун. – Это ужасно!

Он стоял, не двигаясь. Урсула пришла в себя и ее рука уже сжала ручку двери. Она медленно оправлялась от его удара. А он уже сомневался в правильности своего поступка.

– Это правда, – заявила она, непокорно поднимая голову и в ее глазах заблестели слезы. – Чего стоит вся твоя любовь, разве она когда-нибудь чего-нибудь стоила? – только давление, отрицание и тому подобное.

Он вновь приближался к ней, его движения были странными, напряженными, его рука сжалась в кулак, а на лице появилось выражение человека, который вот-вот совершит убийство. Но она быстро, словно молния, вылетела из двери и они услышали, как она быстро поднимается по лестнице.

Он несколько мгновений стоял и смотрел на дверь. Затем, словно побитое животное, развернулся и побрел к своему месту у камина.

Гудрун была совершенно бледной. И только услышала, как в мертвой тишине раздался холодный и злой голос матери:

– Знаешь, не стоит обращать на нее столько внимания.

И вновь повисло молчание, и каждый из присутствующих погрузился в мир собственных переживаний и мыслей.

Внезапно дверь открылась вновь: Урсула, одетая в шляпку и шубку, держала в руках небольшой саквояж.

– Прощайте, – сказала она своим сводящим с ума, радостным, почти насмешливым голосом. – Я пошла.

И в следующее мгновение дверь за ней закрылась, они услышали, как стукнула входная дверь, а затем раздалась ее быстрые шаги по садовой дорожке, затем гулко закрылись ворота, и вскоре звук ее легкой поступи растворился в тишине. В доме повисло гробовое молчание.

Урсула сразу же направилась на вокзал, торопясь и ни на что не обращая внимания, словно на ее ногах были крылья. Поезда не было, значит, ей придется идти пешком до железнодорожного узла. Она шла в темноте и начала рыдать, и рыдала горько, с немой, детской мукой, свойственной тому, чье сердце разбито, она рыдала всю дорогу, рыдала и в поезде. Время пролетело незаметно и неясно, она не знала, ни где она проезжала, ни что происходило вокруг нее. Она просто изливала в слезах свои бездонные глубины отчаянной, отчаянной тоски, ужасной тоски безутешного ребенка.

Однако в ее голосе была все та же оборонительная живость, когда она говорила с хозяйкой Биркина у двери.

– Добрый вечер! Мистер Биркин дома? Можно к нему?

– Да, он дома. Он в кабинете.

Урсула проскользнула мимо женщины. Его дверь открылась. Она услышала его голос.

– Здравствуй! – удивленно воскликнул он, увидев, как она стоит, сжимая в руках саквояж, со следами слез на лице. Она была из тех женщин, по лицу которых было сразу видно, что они плакали – как у ребенка.

– Я, наверное, ужасно выгляжу, да? – спросила она, поежившись.

– Нет, ну что ты! Проходи, – он взял чемодан у нее из рук и ввел ее в кабинет.

И тут же ее губы задрожали, как у ребенка, который вновь вспомнил свою обиду, и слезы вновь полились из глаз.

– Что случилось? – спросил он, обнимая ее.

Она громко рыдала, уткнувшись ему в плечо, а он обнимал ее, ожидая, пока она успокоится.

– Что случилось? – снова спросил он, когда она немного успокоилась. Но она только еще сильнее уткнулась лицом в его плечо, страдая, словно ребенок, который не может объяснить.

– Да в чем же дело? – спросил он.

Внезапно она отстранилась, вытерла глаза, взяла себя в руки и села в кресло.

– Отец меня ударил, – проговорила она, сидя, сжавшись в комок, словно нахохлившаяся птичка, и ее глаза лихорадочно блестели.

– За что?

Она отвернулась и не отвечала. Вокруг ее нежных ноздрей и дрожащих губ были жалкие красные пятна.

– За что? – повторил он своим странным, мягким, глубоко проникающим голосом.

Она довольно вызывающе взглянула на него.

– Потому что я сказала, что мы собираемся завтра пожениться, а он стал на меня давить.

– Как же он на тебя давил?

Ее рот снова открылся, она вновь вспомнила эту сцену и на глаза опять навернулись слезы.

– Потому что я сказала, что ему все равно – а так и есть, только меня обижает его жажда власти надо мной, – сказала она и рыдания вырывались из ее горла все то время пока она говорила, и это заставило его улыбнуться, так как казалось ему ребячеством. Однако это было не ребячество, это было смертельное противостояние, ужасная рана.

– Это не совсем так, – сказал он. – А даже если и так, то ты не должна была этого говорить.

– Это так! Так! – рыдала она. – И я не позволю ему издеваться надо мной, притворяясь, что он любит меня – когда это не так; ему все равно, разве он может... нет, он не может...

Он молча сидел. Она тронула его до глубины души.

– Ну, раз он не может, тебе не нужно было выводить его из себя, – тихо ответил Биркин.

– А я любила его, любила, – рыдала она. – Я всегда его любила, а он так со мной обошелся...

– Значит, это любовь от противного, – сказал он. – Ничего страшного – все будет в порядке. не о чем так плакать.

– Нет есть, – сказала она, – нет есть, есть.

– И что?

– Я больше не желаю его видеть.

– Пока что... Не плачь, тебе все равно пришлось бы разорвать с ним отношения, так уж вышло, не плачь.

Он подошел к ней и поцеловал ее красивые хрупкие волосы, нежно прикоснувшись к ее мокрой щеке.

– Не плачь, – повторил он. – Не надо больше плакать.

Он прижал ее голову к себе, очень крепко и нежно.

Наконец, она успокоилась. Она подняла глаза и он увидел, что они широко раскрыты и испуганы.

– Ты не хочешь меня? – спросила она.

– Хочу ли я тебя?

Его потемневшие, пристально смотрящие глаза озадачивали ее и не позволяли ей продолжать ее игру.

– Ты не рад, что я пришла? – спросила она, опасаясь, что могла оказаться некстати.

– Нет, – ответил он. – Просто мне бы хотелось, чтобы не было этого насилия – это так некрасиво – но, пожалуй, это было неизбежно.

Она молча наблюдала за ним. Казалось, он окаменел.

– Но куда же мне идти? – спросила она, чувствуя себя униженно.

Он на мгновение задумался.

– Останься здесь, со мной, – сказал он. – Мы такие же муж и жена сегодня, какими будем завтра.

– Но...

– Я скажу миссис Варли, – сказал он. – Не беспокойся.

Он сидел и смотрел на нее. Она чувствовала, как его потемневшие, пристальные глаза все время смотрят на нее. Это слегка напугало ее. Она нервно убрала со лба волосы.

– Я уродина, да? – спросила она и высморкалась.

Вокруг его глаз от улыбки собрались морщинки.

– Нет, – сказал он, – к счастью, нет.

И он подошел к ней и схватил ее в объятия, точно она была его собственностью. Она была настолько нежной и красивой, что ему было невыносимо смотреть на нее; единственное, что он мог – прижать ее к себе. Сейчас, смыв с себя все своими слезами, она была обновленной и хрупкой, словно только что распустившийся цветок, цветок настолько новый, настолько нежный, такое совершенно освещенный внутренним светом, что ему было невыносимо смотреть на нее, он должен спрятать ее лицо у себя на груди, закрыть глаза и не смотреть на нее. В ней был совершенность непорочного создания, что-то прозрачное и простое, словно яркий, светящийся цветок, который, распустившись, замирает в первичном благоговении. Она была такой свежей, такой удивительно чистой, такой незапятнанной. А он был таким старым, тяжелые воспоминания пригибали его к земле. Ее душа была новой, еще неопределившейся, в ней сияло непознанное. А его душа была темной и мрачной, в ней осталось только одна крупинка живой надежды, подобно горчичному зернышку. Но одна эта крупинка сочеталась с ее идеальной юностью.

– Я люблю тебя, – прошептал он, целуя ее и дрожа от чистой надежды, словно человек, в котором зажглась чудесная живая надежда, которая была гораздо сильнее оков смерти.

Она не могла знать, что это для него значит, что значили для него эти несколько слов. Словно ребенок, она требовала доказательств, подтверждения и даже излишнего подтверждения, поскольку все казалось ей шатким и неопределенным.

Но она никогда не смогла бы понять ту благодарную страсть, с которой он принял ее в свою душу, крайнюю, невообразимую радость от сознания, что он живет и вполне может стать спутником ее жизни, он, который был почти мертвецом, который почти скатился из этого мира вместе со всеми другими представителями своей расы вниз по склону механической смерти. Он боготворил ее, как старость боготворит молодость, он воссиял в ней, потому что в нем все еще оставалась одна-единственная крупинка веры, делавшая его таким же молодым, как она, и позволявшая ему быть равным ей. Брак с ней был для него воскрешением и жизнью<sup>70</sup>.

Но она ничего этого не знала. Она хотела пользоваться своей властью, хотела, чтобы ей поклонялись.

Между ними была огромная пропасть молчания. Как мог он рассказать ей о великолепии ее красоты, у которой не было ни формы, ни веса, ни цвета, которая заключалась только в неведомом золотом свете! Разве мог он знать, в чем заключалась для него ее красота. Он говорил: «У тебя красивый нос, у тебя восхитительный подбородок». Но эти слова звучали лживо, и она была разочарована и обижена. Даже когда он говорил, шепча правду: «Я люблю тебя, я люблю тебя!», это была не настоящая правда. Это было что-то, превосходящее любовь, некая радость от того, что он сумел превзойти себя, отбросить прежнее существование. Как мог он сказать «я», когда он был чем-то новым и непознанным, а вовсе не самим собой? Это «я», эта старая формула прежних времен, была заблудившимся письмом.

В этом новом, наитончайшем блаженстве, в покое, пришедшем на смену познанию, не было ни «я», ни «ты», а существовал только третий, нереализованный восторг, восторг существования

---

<sup>70</sup> ...был для него воскрешением и жизнью – аллюзия к библейскому «Азмь есть воскрешение и жизнь» – Евангелие от Иоанна 11:25.

не поодиночке, а в соединении существа «я» и существа «она» в одно новое целое, в новое, райское единство, обретенное от этой двойственности.

Как можно было сказать: «Я люблю тебя», если и «я», и «ты» перестали существовать, если они оба стали совсем другими и превратились в новое существо, в котором царило молчание, поскольку не было вопросов, на которые нужно было отвечать, где все совершенно и едино. Речь может существовать только между разными частями. А в идеальном Единстве царит только идеальная тишина блаженства.

На следующий день они сочетались законным браком, и она сделала так, как он просил ее – написала отцу и матери. Мать ответила письмом, отец промолчал.

Она не вернулась в школу. Она жила с Биркиным в его квартире или на мельнице, переезжая вместе с ним, когда переезжал он. И она не видела никого, кроме Гудрун и Джеральда. Она смотрела на все странными, удивленными глазами, но казалось, уже начинала что-то понимать. Однажды днем они с Джеральдом разговаривали в уютном кабинете на мельнице. Руперт еще не вернулся домой.

– Ты счастлива? – улыбаясь, спросил ее Джеральд.

– Очень! – воскликнула она взволнованно и слегка поежилась.

– Да, это видно.

– Правда? – удивленно воскликнула Урсула.

Он посмотрел на нее с полной смысла улыбкой.

– Да, безусловно.

Она была польщена. На мгновение она задумалась.

– А видно, что Руперт также счастлив?

Он прикрыл глаза и отвел взгляд в сторону.

– О да, – ответил он.

– Правда?

– Да.

Он притих, как будто существовало что-то, о чем он не собирался говорить. Он казался грустным.

Она очень чутко поняла намек. Она здала вопрос, который он хотел, чтобы она задала.

– А почему бы тебе тоже не стать счастливым? – спросила она. – У тебя может быть то же самое.

Он на мгновение помедлил.

– С Гудрун? – спросил он.

– Да! – ответила она и ее глаза загорелись. Но было какое-то странное напряжение, стесненность, словно они выдавали желаемое за действительное.

– Ты думаешь, что Гудрун получит меня и будет счастлива? – спросил он.

– Да, я уверена! – воскликнула она.

Ее глаза округлились от восторга. Однако в глубине души она чувствовала стеснение, она понимала, что немного давит.

– О, я так рада, – добавила она.

Он улыбнулся.

– Чему ты так радуешься? – спросил он.

– Я радуюсь за нее, – ответила она. – Я уверена, что ты... что ты как раз тот мужчина, который ей нужен.

– Правда? – спросил он. – И ты думаешь, что она согласится с тобой?

– О да! – торопливо воскликнула она. А затем, подумав, смущенно добавила: – Хотя Гудрун не так проста, да? Не знаешь, что она будет делать через пять минут. В этом она совсем не похожа на меня.

Она вроде бы даже рассмеялась над этим, но ее лицо при этом осталось слегка озадаченным.

– Ты считаешь, что она во многом на тебя не похожа? – спросил Джеральд.

Она нахмурилась.

– Нет, во многом мы похожи. Но я никогда не знаю, что она будет делать, когда подворачивается что-то новое.

– Вот как? – спросил Джеральд. Он помолчал несколько мгновений. Затем сделал неуверенный жест. – В любом случае, я собирался попросить ее уехать со мной на Рождество, – сказал он очень тихо и осторожно.

– Уехать с тобой? Ты имеешь в виду, на какое-то время?

– На столько, насколько ей будет угодно, – сказал он с неодобрительным жестом.

Они оба ненадолго замолчали.

– Разумеется, – в конце концов, сказала Урсула, – может, она ждет не дождется, когда выйдет замуж. Вот увидишь!

– Да, – улыбнулся Джеральд. – Увижу. А если вдруг она не пожелает? Как ты считаешь, захочет она съездить со мной за границу на несколько дней или на пару недель?

– Думаю, да, – сказала Урсула. – Я спрошу ее.

– А может, нам поехать всем вместе?

– Всем вместе? – лицо Урсулы вновь засияло. – О, это было бы великолепно, как ты считаешь?

– Необычайно великолепно, – сказал он.

– Вот тогда ты и посмотришь, – сказала Урсула.

– На что?

– Как пойдут дела. По-моему, лучше провести медовый месяц перед свадьбой, как по-твоему?

Ей понравилась ее собственная острота. Он рассмеялся.

– В некоторых случаях, – сказал он. – Хотелось бы мне, чтобы это был как раз мой случай.

– Правда! – воскликнула Урсула. А затем с сомнением добавила: – Да, возможно ты и прав.

Нужно получать удовольствие.

Немного погодя пришел Биркин и Урсула передала ему их разговор.

– Гудрун! – воскликнул Биркин. – Да она прирожденная любовница, также как Джеральд прирожденный любовник – *amant en titre*. Если, как кто-то сказал, все женщины делятся на жен и любовниц, то Гудрун любовница.

– А мужчины либо любовники либо мужья, – воскликнула Урсула. – А разве нельзя сочетать два в одном?

– Одно исключает другое, – рассмеялся он.

– Тогда мне нужен любовник, – воскликнула Урсула.

– Нет, не нужен, – сказал он.

– Нужен, нужен, – возопила она.

Он поцеловал ее и рассмеялся.

Через два дня после этого Урсула должна была забрать свои вещи из бельдоверского дома. Она не сделала это и семья уехала. Гудрун же сняла квартиру в Виллей-Грин.

Урсула не виделась с родителями с того момента, как вышла замуж. Она плакала из-за их разрыва и, однако, как же хорошо все завершилось! Хорошо это или плохо, но она не могла пойти к ним. Поэтому ее вещи остались там и однажды днем они с Гудрун решили пройтись и забрать их.

День выдался морозный, и когда они добрались до дома, небо было уже расцвечено красным. Темные окна зияли, словно прогалы, и уже только поэтому дом выглядел пугающе. При виде пустой, обезлюдевшей прихожей в сердца девушек проник ледяной холод.

– Не думаю, чтобы я осмелилась прийти сюда в одиночку, – сказала Урсула. – Здесь страшно.

– Урсула! – воскликнула Гудрун. – Разве это не удивительно! Можешь ли ты вообразить себе, что ты жила в этом месте и никогда этого не ощущала! Я же не представляю себе, как жила здесь день за днем и не умирала от страха.

Они заглянули в большую столовую. Это была комната приличных размеров, но для них сейчас и подвал показался бы более уютным. Огромные эркерные окна были неприкрытыми, пол был голым и темные плинтуса шли вокруг светлых досок.



На выцветших обоях темнели темные пятна в местах, где стояла мебель и где висели картины. Ощущение стен – сухих, тонких, легких, – и тонких досок пола, бледных, с темными плинтусами, – все это слилось в уме в одну пелену. Чувства ничего не воспринимали, это было ограждение без наполнения, потому что эти стены были сухими и бумажными. Стояли ли они на земле или же были частью картонной коробки? В очаге лежала куча жженой бумаги и обрывки листов, еще не успевших сгореть.

– Только представь себе, что мы здесь проводили свои дни! – воскликнула Урсула.

– Я знаю, – воскликнула Урсула. – Это слишком омерзительно. Какими же мы должны быть, если мы наполняли вот это!

– Отвратительно! – сказала Урсула. – Это действительно отвратительно.

И она признала в полусгоревших обрывках, лежавших под каминной решеткой, обложки журнала «Вог» – полусгоревшие образы нарядных женщин.

Они прошли в гостиную. Еще одно облако сжатого воздуха, лишенное веса или материи, и только ощущение невыносимого бумажного заточения в пустоте. Кухня выглядела более внушительно, потому что полы в ней были из красной плитки и здесь стояла плита, холодная и ужасающая.

Девушки стали подниматься наверх и их каблуки гулко стучали по голым ступенькам. Каждый звук эхом отдавался в их сердцах. В спальне Урсулы вдоль стены стояли ее вещи – чемодан, корзина для рукоделия, несколько книг, громоздкие пальто, шляпная коробка, – все это одиноко стояло во всеобщей сумрачной пустоте.

– Веселенькое зрелище, да? – сказала Урсула, глядя на свои позабытые вещички.

– Очень, – ответила Гудрун.

Девушки начали перетаскивать все к входной двери. Вновь и вновь раздавались их гулкие, порождавшие эхо шаги. Весь дом, казалось, порождал вокруг них гулкое эхо необитаемости. Отдаленные пустые, невидимые комнаты создавали почти непристойные вибрации.

Они чуть ли не бегом вынесли на улицу последние вещи.

Но было холодно. Они ждали Биркина, который должен был приехать за ними на машине. Они вновь вбежали в дом и отправились наверх в родительскую спальню, чьи окна выходили на дорогу и на поля, над которыми виднелось предзакатное небо, прорезанное черными и красными полосами и на котором не было солнца.

Они уселись на подоконник и стали ждать. Обе девушки оглядывали комнату. Она была пустой, и с полным отсутствием какой-либо мысли, что было необыкновенно удручающе.

– И правда, – сказала Урсула, – эта комната не могла быть святилищем, да?

Гудрун посмотрела на нее пристальным взглядом.

– Это невозможно, – ответила она.

– Как подумаю об их жизни – отца и матери, об их любви, их браке и о нас, детях, о нашем воспитании – была бы у тебя такая жизнь, глупышка?

– Никогда, Урсула.

– Их жизни, они кажутся совершенно пустыми, в них нет смысла. Даже если бы они не встретились, не поженились и не жили вместе, разве это имело какое-нибудь значение?

– Разумеется, ничего нельзя сказать наверняка, – сказала Гудрун.

– Нет. Но если я вдруг пойму, что моя жизнь будет такой, как это, глупышка, – она схватила Гудрун за руку, – я сбегу.

Гудрун на мгновение замолчала.

– Если говорить откровенно, то никто не собирается жить обыденной жизнью – такое даже не приходит в голову, – ответила Гудрун. – С тобой, Урсула, все по-другому. Рядом с Биркиным ты никогда не будешь жить обыденной жизнью. Он особенный. Но с обычным человеком, чья жизнь сосредоточена в одном месте, брак просто невозможен. Хотя, возможно, и я даже в этом уверена, есть тысячи женщин, которые желают именно этого и только об этом и мечтают. Но одна мысль об этом приводит меня в безумный ужас. Хочется быть свободной, стоять выше всего этого, человек должен быть свободным. Можно отказаться от всего остального, но

свободу нужно сохранить – нельзя привязывать себя к Пинчбек-стрит 7, или Сомерсет-драйву или к усадьбе Шортландс. Ни один мужчина не стоит такой жертвы – ни один! Для того, чтобы выйти замуж, нужно иметь свободную волю или не иметь ничего, для этого нужно иметь собрата по оружию, Gl&#252;cksritter<sup>2</sup>. А человек с положением в нашем мире – это просто невозможно, невозможно!

– Какое чудесное слово – Gl&#252;cksritter! – воскликнула Урсула. – Гораздо красивее, чем солдат удачи.

– Правда? – сказала Гудрун. – Я бы отправилась скитаться по миру с Gl&#252;cksritter<sup>71</sup>. Но иметь дом, установленные порядки! Урсула, только подумай, что это значит! Подумай!

– Я понимаю, – сказала Урсула. – У меня уже был один дом – и этого мне достаточно.

– Вполне достаточно, – сказала Гудрун.

– «Маленький серый домик на западе», – иронично процитировала Урсула.

– Это даже звучит как-то серо, не находишь? – мрачно сказала Гудрун.

Их разговор был прерван звуком машины. Приехал Биркин. Урсула удивилась, что в ней сразу же загорелся огонь, что все проблемы с серыми домиками на западе сразу же остались в стороне.

Они слышали, как его каблуки затопали по полу прихожей.

– Есть здесь кто-нибудь? – позвал он и его голос живым эхом пронёсся по дому.

Урсула улыбнулась про себя. Ему тоже было не по себе в этом месте.

– Есть! Мы здесь, – крикнула она вниз.

И они слышали, как он быстро побежал вверх по ступенькам.

– Похоже, здесь живут призраки, – сказал он.

– В таких домах призраки не живут – ведь у этих домов никогда не было индивидуальности, а призраки обитают только там, где есть что-то особенное.

– Согласен. Итак, вы тут оплакивали прошлое?

– Да, – мрачно сказала Гудрун.

Урсула рассмеялась.

– Мы оплакиваем не то, что оно прошло, а то, что оно вообще было, – сказала она.

– А! – с облегчением сказал он.

Он на минуту присел. Урсула подумала, что в его внешности было что-то очень светлое и живое. От этого даже бессыдная пустота этого дома становилась незаметной.

– Гудрун говорит, что даже думать боится о том, что выйдет замуж и ей придется жить в одном и том же доме, – со значением сказала Урсула – они понимали, что это относилось к Джеральду.

Он умолк на несколько мгновений.

– Ну, – сказал он, – если ты заранее знаешь, что это тебе невыносимо, то ты в безопасности.

– В полной! – ответила Гудрун.

– Почему каждая женщина считает, что цель ее жизни – найти мужа и обрести маленький серый домик на западе? Почему это цель ее жизни? Разве должно быть так? – спросила Урсула.

– Il faut avoir le respect de ses betises<sup>72</sup>, – сказал Биркин.

– Но не обязательно уважать betise прежде, чем ты свяжешь себя ими, – рассмеялась Урсула.

– В таком случае, des betises du papa?<sup>73</sup>

– Et de la maman<sup>74</sup>, – насмешливо добавила Гудрун.

---

<sup>71</sup> Gl&#252;cksritter (нем.) – солдат удачи.

<sup>72</sup> Нужно уважать свои недостатки. (фр.)

<sup>73</sup> И недостатки отца? (фр.)

– Et des voisins<sup>75</sup>, – сказала Урсула.

Они засмеялись и поднялись с места. Темнело. Они перенесли вещи в машину. Гудрун заперла опустевший дом. Биркин зажег фары. Во всем этом чувствовалась какая-то радость, словно они отправлялись в путешествие.

– Остановитесь у «Коулсонз». Мне нужно оставить там ключ, – сказала Гудрун.

– Хорошо, – сказал Биркин, и они отправились в путь.

Они притормозили на главной улице. В магазинах начали зажигать свет, запоздавшие шахтеры спешили домой по мостовым – едва заметные тени в серой одежде, покрытой пылью шахт, двигались в голубой дымке. Но их ноги, шаркая по мостовым, создавали многоголосый резкий звук.

С какой радостью Гудрун вышла из магазина и села в машину и унеслась прочь вниз по холму от осязаемого заката, вместе с Урсулой и Биркиным! Как захватывающим приключением казалась ей в это мгновение жизнь! Как глубоко и как неожиданно она позавидовала Урсуле! Жизнь для нее была такой быстрой, точно открытая дверь, такой беззаботной, словно не только этот мир, но и мир прошлого и будущего ничего для нее не значили. О, если бы только она могла быть такой, ей не осталось бы ничего желать. Потому что всегда, кроме моментов волнения, она чувствовала в себе пустоту. Она была не уверена в себе. Она чувствовала, что сейчас, наконец-то, когда Джеральд любил ее так сильно и страстно, она жила полной и законченной жизнью. Но когда она сравнивала себя с Урсулой, в ее душе появлялась зависть, неудовлетворенность. Она не была удовлетворена, вот что, – и ей никогда не суждено было стать удовлетворенной.

Чего ей не хватало сейчас? Брака – восхитительной стабильности брака. Она хотела этого, чтобы там она ни говорила, она говорила неправду. Старая идея брака нравилась ей даже теперь – брака и семейного очага. И в то же время ее рот кривился, когда она произносила эти слова. Она думала о Джеральде и Шортландсе – брак и дом! Ладно, хватит. Он много значил для нее, но... Возможно, она не из тех, кто хочет жить в браке. Она была одной из отверженных в этой жизни, перекасти-поле, у которого нет корней. Нет, нет, так не могло быть. Она внезапно представила себе залитую розовым светом комнату, себя в красивом платье и представительного мужчину во фраке, который обнимал ее перед камином и целовал ее. Эту картину она назвала «Семейный очаг». Ее вполне можно было бы выставить в Королевской Академии.

– Поехали, выпьешь с нами чаю! Поехали! – предложила Урсула, когда они подъехали к коттеджу Гудрун в Виллей-Грин.

– Большое спасибо, но мне нужно домой, – сказала Гудрун, хотя ей очень хотелось поехать дальше с Урсулой и Биркиным.

Это казалось ей истинной жизнью. Однако какая-то нерешительность не позволила ей.

– Пойдем! Это было бы здорово, – упрашивала Урсула.

– Мне ужасно жаль – мне бы очень хотелось, но я не могу, правда, не могу.

Она торопливо вышла из машины, вся дрожа.

– Ну почему? – донесся до нее разочарованный голос Урсулы.

– Нет, я правда не могу, – раздалась в темноте жалобные, полные горечи слова.

– С тобой все будет в порядке? – спросил ее Биркин.

– Конечно! – сказала Гудрун. – Спокойной ночи!

– Спокойной ночи! – попрощались они.

– Приходи в любое время, мы всегда будем тебе рады, – сказал Биркин.

---

<sup>74</sup> И матери. (фр.)

<sup>75</sup> И соседа. (фр.)

– Большое спасибо, – отозвалась Гудрун странным голосом в нос, в котором слышалась горечь одиночества, что очень озадачило его.

Она повернулась к воротам своего коттеджа, а они поехали дальше. Но она мгновенно развернулась и проводила взглядом машину, которая, уезжая, постепенно растворялась в дымке. И когда она шла по дорожке к своему чужому для нее дому, ее сердце было наполнено непонятной горечью.

В прихожей стояли напольные часы, а в циферблат было вмонтировано круглое, румяное, радостное лицо с глазами-прорезями, которое наклонялось в одну сторону, когда тикали часы, и которое самым странным образом строило ей глазки, и возвращалось в исходное положение с тем же самым нежным выражением, когда маятник снова колебался. Это глупое гладкое румяно-коричневое лицо всегда пристально пялилось на нее с нежностью. Несколько минут она стояла и разглядывала его, пока ее не охватило ужасное чувство отвращения и она засмеялась сама над собой бессмысленным смехом. А лицо все раскачивалось и строило ей глазки то с одной стороны, то с другой, то с одной, то с другой. О, как же несчастна она была! В самом эпицентре своего наиболее осязаемого счастья, какой же несчастной она была!

Она взглянула на стол. Варенье из крыжовника и все тот же домашний пирог, в котором было слишком много соды! Хотя варенье из крыжовника было вкусным, его не часто удавалось достать.

Она весь вечер хотела пойти на мельницу. Но она отказывала себе в этом. Вместо этого она пошла туда на следующий день. Она была рада, что застала Урсулу одну. В доме была чудесная, интимная, укромная атмосфера. Они говорили бесконечно, получая наслаждение от разговора.

– Мне кажется, ты здесь очень счастлива, – сказала Гудрун сестре, взглянув на свои яркие глаза в зеркало.

Она всегда завидовала, иногда даже с отвращением, странной положительной наполненности, которая царила вокруг Урсулы и Биркина.

– Как красива эта комната, – громко сказала она. – Это покрытие с грубым плетением – у него такой чудесный цвет – цвет холодного света!

Оно казалось ей совершенным.

– Урсула, – через некоторое время спросила она ничего не выражающим голосом, – ты знаешь, что Джеральд Крич предложил, чтобы мы все вместе уехали на Рождество?

– Да, он говорил об этом с Рупертом.

Жаркий румянец залил щеки Гудрун. Она какое-то время молчала, словно ошарашенная, не зная, что сказать.

– А тебе не кажется, – сказала она наконец, – что это удивительно дерзко?

Урсула рассмеялась.

– Вот за это-то я его и люблю, – сказала она.

Гудрун замолчала. Было очевидно, что хотя ее и убивало, что Джеральд осмелился сделать такое предложение Биркину, эта идея ей необычайно нравилась.

– Мне кажется, в Джеральде есть чудесная простота, – сказала Урсула, – и в то же время он отрицает все и вся! О, мне кажется, что он очень милый.

Гудрун несколько мгновений ничего не отвечала. Она должна была преодолеть оскорбление, которое было нанесено ей таким вольным распоряжением ее свободы.

– А ты знаешь, что ему ответил Руперт? – спросила она.

– Он сказал, что это было бы удивительно весело, – сказала Урсула.

Гудрун вновь опустила глаза и замолчала.

– Ты думаешь, что так и будет? – осторожно спросила Урсула.

Она никогда не была уверена, как много оборонительных сооружений возвела вокруг себя Гудрун.

Гудрун с трудом подняла голову, но продолжала смотреть в сторону.

– Мне кажется, что это может быть необычайно весело, как ты и говоришь, – ответила она. – Но ты не считаешь, что это уж слишком большая вольность – разговаривать о таких вещах с Рупертом, который всего-навсего... понимаешь, что я имею в виду, Урсула – это напоминает, как двое мужчин организуют развлечения с какими-то маленькими *туре*<sup>76</sup>, которых они сняли. О, я считаю, что это совершенно непростительно!

Она так и сказала по-французски – *туре*.

Ее глаза вспыхнули, ее лицо залилось румянцем и приняло замкнутое выражение. Урсула не сводила с нее глаз, ощущая испуг – больше всего ее пугало, что Гудрун сейчас казалась ей совершенно заурядной, настоящей маленькой *туре*. Но она не осмеливалась признаваться себе в таких мыслях – только не сейчас.

– О нет, – воскликнула она, заикаясь. – О нет, все не так, нет! Нет, я считаю, что эта дружба между Рупертом и Джеральдом просто прекрасна. В ней столько простоты – они могут сказать друг другу все, что угодно, как братья.

Гудрун еще больше покраснела. Ей было невыносимо думать, что Джеральд выдал ее – даже Биркину.

– А ты считаешь, что у братьев есть право поверять друг другу такие тайны? – спросила она в глубокой ярости.

– Да, – сказала Урсула. – Все, что они говорят, совершенно прямолинейно. Нет, больше всего меня удивляет в Джеральде то, насколько простым и прямым он может быть! А ты понимаешь, для этого нужно быть неординарным человеком. Большая часть мужчин говорит уклончиво, они такие трусы.

Но Гудрун сидела молча, охваченная яростью. Ей хотелось, чтобы все, что она собиралась предпринять, оставалось в тайне.

– Ты поедешь? – спросила Урсула. – Поехали, мы все будем так счастливы! Есть что-то, что мне очень нравится в Джеральде – он гораздо более мил, чем я предполагала. Он свободен, Гудрун, он действительно свободен.

Гудрун все еще неприязненно молчала, замкнувшись в себе. Но в конце концов она заговорила.

– Ты знаешь, куда он предлагает ехать? – спросила она.

– Да. В Тироле, куда он ездил, когда жил в Германии – чудесное место, куда ездят студенты, маленькое, отдаленное и чудесное, как раз для занятий зимними видами спорта!

Сердитая мысль пронеслась в уме Гудрун: «Все-то они знают».

– Да – громко сказала она, – это в сорока километрах от Иннсбрука, так?

– Точно не знаю, но это будет великолепно, разве не так? Высоко в горах, на девственном снегу...

– Просто замечательно! – саркастически отрезала Гудрун.

Урсула была озадачена.

– Разумеется, – сказала она, – по-моему, Джеральд сказал это Руперту только для того, чтобы это не выглядело, будто он собирается развлекаться с потаскухами...

– Я прекрасно знаю, – сказала Гудрун, – что он довольно часто имеет дело с женщинами такого сорта.

– Да что ты! – воскликнула Урсула. – Что ты такого узнала?

– Я узнала про модель из Челси, – холодно сказала Гудрун.

Теперь замолчала Урсула.

– Ну, – сказала она через некоторое время с сомнительным смешком. – Надеюсь, он хорошо провел с ней время.

От этих слов лицо Гудрун омрачилось еще больше.

---

<sup>76</sup> Туре (фр.) – женщина легкого поведения, потаскуха.



## Глава XXVIII

### Гудрун в кафе «Помпадур»

Приближалось Рождество, и вся четверка готовилась сняться с места. Биркин и Урсула паковали свои малочисленные вещи, готовясь отправить их в выбранную ими страну, туда, где они в конце концов решат остановиться. Гудрун была необычайно взволнована. Ей нравилось быть в полете.

Она и Джеральд собрались раньше, поэтому они решили поехать в Иннсбрук, где они должны были встретиться с Урсулой и Биркиным, через Лондон и Париж. В Лондоне они провели всего одну ночь. Они отправились в мюзик-холл, а после этого в кафе «Помпадур».

Гудрун всем сердцем ненавидела кафе, однако, как и все знакомые ей художники, она постоянно сюда возвращалась. Ее раздражала вся эта атмосфера мелочной греховности, мелочной зависти и второсортного искусства. Тем не менее, когда она бывала в городе, она неизменно приходила сюда. Ее так и тянуло вернуться в этот маленький, медленно вращающийся водоворот, средоточие разложения и порока – просто, чтобы взглянуть на него. Девушка сидела рядом с Джеральдом, потягивала какой-то сладковатый ликер и с мрачной угрюмостью разглядывала сидящие за столиком разношерстные компании. Она ни с кем не здоровалась, но молодые люди часто кивали ей с какой-то насмешливой фамильярностью, она же притворялась, что не узнает их. Ей нравилось сидеть здесь с горящими щеками, сумрачным и хмурым взглядом наблюдать за ними со стороны, точно за животными в зверинце, где обитают только похожие на обезьян деградировавшие существа. Боже, что тут была за отвратительная компания! От отвращения и ярости кровь сворачивалась в ее жилах в густую, темную массу. И в то же время она не могла сдвинуться с места, она должна была продолжать смотреть. Иногда люди заговаривали с ней. Из каждого уголка кафе на нее таращились люди – мужчины, оглядываясь через плечо, женщины – выглядывая из-под шляпок.

Здесь собралась все та же публика – в одном углу сидел Карлайон в компании своих учеников и девушки, Халлидей, Либидников и Киска, – все они были там. Гудрун наблюдала за Джеральдом. Она увидела, как его глаза на какой-то миг остановились на Халлидее и его спутниках. Они ждали, чтобы он обратил на них внимание – они кивками приветствовали его, он кивнул в ответ. Они захихикали и зашушукались. Джеральд не сводил с них пристального сияющего взгляда. Он видел, что они просили о чем-то Киску.

В конце концов она поднялась с места. На ней было затейливое платье из темного шелка, на котором разноцветные мазки и пятна создавали интересную пестроту. Она похудела, взгляд же стал еще более страстным, еще более порочным. Во всем остальном она осталась прежней. Джеральд с тем же пристальным блеском в глазах смотрел, как она шла к нему. Она протянула ему свою худую смуглую руку.

– Как поживаешь? – спросила она.

Он пожал ей руку, но не встал и не пригласил ее присесть, предоставив ей стоять возле столика. Она недоброжелательно кивнула Гудрун, с которой никогда не была знакома лично, но которую не раз видела и о которой много слышала.

– Прекрасно, – сказал Джеральд. – А ты?

– У меня все хор’ошо. А как дела у Р’уперта?

– У Руперта? Тоже все отлично.

– Да, но я не об этом. Он вроде бы собирался жениться?

– О да, он женился.

В глазах Киски взметнулось жаркое пламя.

– Так он все же решился, да? Когда он женился?

– Неделью или две назад.

– Пр’авда! Он нам не писал.

– Нет.

– Вот именно. Тебе не кажется, что он поступил чер'есчур' нехор'ошо?

Последнюю фразу она произнесла вызывающим тоном, давая понять, что видит, как Гудрун прислушивается к их разговору.

– Думаю, сам он так не считает, – ответил Джеральд.

– Почему же? – упорствовала Киска.

Но ответа не последовало. В маленькой изящной коротковолосой девушке, стоявшей рядом с Джеральдом, чувствовалась неприятная насмешливая напористость.

– Ты надолго в город? – спросила она.

– Завтра уезжаю.

– А, только на один вечер. Придешь поболтать с Джулиусом?

– Не сегодня.

– Хорошо. Я так ему и передам.

А затем с дьявольской ноткой добавила:

– У тебя цветущий вид.

– Да, я знаю.

Джеральд говорил довольно спокойно и просто, но в глазах мелькали сатирические искорки.

– Ты хорошо проводишь время?

Этими словами, произнесенными ровным, бесстрастным и спокойным голосом, она хотела задеть Гудрун.

– Да, – совершенно бесцветным голосом ответил он.

– Как жаль, что ты не пр'идешь на квар'тир'у. Ты изменяешь своим др'узьям.

– Не всегда, – ответил он.

Она кивком попрощалась с ними и медленно направилась к своим спутникам. Гудрун смотрела на ее необычную походку – она шла, выпрямив спину и покачивая бедрами. Вскоре раздался ее ровный, монотонный голос.

– Он не придет – он будет занят в другом месте, – говорил он.

За столиком опять раздался смех, приглушенный шепот и издевки.

– Это твоя знакомая? – спросила Гудрун, спокойно поднимая глаза на Джеральда.

– Я жил в квартире Халлидея вместе с Биркиным, – сказал он, глядя в ее спокойные глаза. И она поняла, что Киска была одной из его любовниц – а он понял, что она это поняла.

Гудрун огляделась и знаком подозвала официанта. Из всего разнообразия напитков она выбрала коктейль со льдом. Джеральд удивился – он чувствовал, что что-то было не так.

Все в компании Халлидея были навеселе и каждый стремился сказать гадость. Они громко обсуждали Биркина, высмеивая его по любому поводу, особенно же доставалось ему в связи с его женитьбой.

– О, не заставляйте меня вспоминать о Биркине, – пищал Халлидей. – Меня от него страшно тошнит. Он еще хуже Иисуса. «Боже, что же мне сделать, чтобы спасти свою душу!»

Он пьяно хихикнул.

– Помните письма, – раздался быстрый голос русского, – которые он нам посылал? «Желание священо...»

– О да! – воскликнул Халлидей. – О, они неподражаемы. Кстати, одно завалялось у меня в кармане. Уверен, что оно там.

Он вытащил из своей записной книжки грудку бумажек.

– Уверен, что оно – ик! О Боже! – здесь.

Джеральд и Гудрун сосредоточенно наблюдали.

– О да, как – ик! – великолепно! Не смейся меня, Киска, а то я икаю. Ик! – они все засмеялись.

– О чем он там пишет? – спросила Киска, наклоняясь вперед, и ее темные мягкие волосы упали вперед и заколыхались вокруг лица. В ее маленькой, продолговатой черной голове было что-то на удивление непристойное, особенно когда проглядывали уши.

– Подожди – о, да подожди же! Не-ет, я его тебе не дам, я буду читать его вслух. Зачитаю-ка я вам отрывки – ик! О Боже! Как вы думаете, если выпить воды, эта икота пройдет? Ик! О, похоже, мне уже ничто не поможет.

– Это не то письмо, где он призывает объединить мрак и свет, не тут он говорит про Реку Порока? – живо спросил Максим своим отчетливым голосом.

– Думаю, то самое, – ответила Киска.

– Неужели? А я и забыл – ик! – что это оно, – сказал Халлидей, разворачивая письмо. – Ик! О да! Как великолепно! Это одно из лучших. «В жизни каждой расы наступает момент, – читал он нараспев медленным, ясным, как у проповедника, читающего Библию, голосом – когда желание разрушать превосходит любое другое желание. У каждого человека в отдельности оно проявляется в стремлении разрушить свою собственную сущность» – ик! – он замолчал и поднял глаза.

– Надеюсь, он продолжает заниматься саморазрушением, – раздался бойкий голос русского. Халлидей хихикнул и рассеянно откинулся назад.

– В нем уже нечего разрушать, – сказала Киска. – От него уже почти ничего не осталось, поэтому его нужно просто затушить ногой, как окуроч.

– О, что за чудесное письмо! Как я обожаю его читать! Думаю, оно даже излечило мою икоту! – пискнул Халлидей. – Но стойте, я продолжаю. «Оно проявляется в человеке как желание обратиться к своему истоку, вернуть себя назад, к исходному, вернуться по волнам Реки Порока к первоначальному зачаточному состоянию...! О, как же я его люблю! Это будет еще похлеще Библии.

– Да – Река Порока, – сказал русский. – Я припоминаю это выражение.

– О, да он только и говорит, что о Пороке, – сказала Киска. – Должно быть, он сам развращен до невозможности, раз только об этом и думает.

– Именно! – подтвердил русский.

– Стойте, я же еще не закончил! Вот необыкновенно потрясающий отрывоч! Ну-ка, послушайте: «И через эту ретрогрессию, обращая созидательный поток жизни к его истокам, мы обретаем знание и сверхзнание, ослепляющий экстаз от возможности чувствовать с удвоенной силой». О, мне кажется, эти фразы великолепны до абсурда. По-моему, эти фразы и высказывания Иисуса стоят друг друга. «А если, Джулиус, ты хочешь испытать этот возвращающий к истокам экстаз вместе с Киской, продолжай в том же духе, и ты его испытаешь. Но помни, что при этом где-то глубоко в тебе существует желание позитивного созидания, потребность в по-настоящему доверительных отношениях, которые ты захочешь выстроить, когда закончится весь этот процесс активного разложения с его цветами грязи, когда он в большей или меньшей степени обретет свое завершение». Мне очень интересно, о каких это цветах грязи он тут говорит. Киска, ты самый настоящий цветок грязи.

– Спасибо – а ты кто в таком случае?

– А я, разумеется, еще один цветок, если верить этому письму! Мы все цветы грязи – Fleurs – ик! – du mal! Это неподражаемо – Биркин перепаживает Ад – раздрает на куски «Помпадур» – ик!

– Продолжай. Продолжай, – сказал Максим. – Что там дальше? Это так интересно!

– Мне кажется, что писать такое – ужасная наглость, – сказала Киска.

– Да-да, я тоже так думаю, – сказал русский. – У него мания величия, разумеется, какая-то форма религиозной одержимости. Ему кажется, что он Спаситель людей – давай, читай дальше.

– «Разумеется, – нараспев читал Халлидей, – разумеется, доброта и милосердие сопровождали меня на протяжении всей моей жизни».

Он прервал чтение и хихикнул. А затем вновь принялся за письмо, растягивая слова, как самый настоящий пастор.

– «Когда-нибудь это желание перестанет терзать нас – желание распадаться на части – эта жажда отрицать все сущее и самих себя, раз за разом становясь все меньше и меньше, вступать в близость с намерением разрушать, использовать секс как орудие уменьшения собственной

сущности, отнимая у двух великих стихий – мужчины и женщины – их в высшей степени сложное единение, отвергать старые ценности, превращаться в погоне за ощущениями в стадо дикарей, постоянно искать забвения в необыкновенно омерзительных безумных и бесконечных ощущениях, пылать разрушительным огнем и молиться, что он когда-нибудь выжжет твоё нутро до тла».

– Я хочу уйти отсюда, – сказала Гудрун Джеральду и знаком подозвала официанта. Ее глаза горели, щеки залил румянец. Странное воздействие письма Биркина, прочитанного вслух фразой за фразой таким звучным и ясным монотонным голосом, которым мог бы гордиться любой священник, было настолько сильным, что кровь бросилась ей в голову и затмила ее рассудок. Пока Джеральд оплачивал счет, она встала и подошла к столику Халлидея. Его спутники устали на нее.

– Извините, – сказала она. – Письмо, которое вы читали, оно подлинное?

– О да, – сказал Халлидей. – Самое что ни на есть подлинное.

– Можно мне посмотреть?

Глупо улыбаясь, он, словно замороженный, протянул ей листок бумаги.

– Спасибо, – сказала она.

И она развернулась и своей размеренной походкой направилась между столиками через всю ярко освещенную комнату к выходу – с письмом в руке. Прошло какое-то время, прежде чем кто-то понял, что произошло. Из-за столика Халлидея донеслись нечленораздельные крики, кто-то начал свистеть и уже вскоре весь дальний угол кафе свистел вслед удаляющейся Гудрун. Она смотрелась очень модно в сочетании черного, зеленого и серебристого – на ней была ярко-зеленая блестящая, словно панцирь насекомого, шляпка с полями из матовой зеленой ткани более темного оттенка, отделанная по краям серебром; из блестящей же ткани было темно-зеленое пальто с высоким серым меховым воротником и широкими меховыми манжетами; видневшийся из-под пальто край платья из черного бархата отливал серебром, чулки и туфли были серебристо-серыми. Она двигалась к двери с медлительным, светским равнодушием. Швейцар подобострастно распахнул перед ней двери и, по ее кивку, бросился к краю тротуара, свистом подзывая такси. Огни автомобильных фар моментально вывернули из-за угла и подкатили к ней.

Джеральд удивленно шел за ней среди всего этого свиста, не понимая, что она натворила. Он слышал, как Киска сказала кому-то:

– Иди и заведи его у нее. Это неслыханно! Отправляйся и заведи его у нее. Скажи Джеральду Кричу – вон он пошел... Пойди и заставь его вернуть письмо.

Гудрун стояла возле дверцы такси, распахнутой для нее швейцаром.

– В отель? – спросила она, когда Джеральд торопливо вышел.

– Куда пожелаешь, – ответил он.

– Отлично! – сказала она. А затем водителю: «Отель Вогстафф, Бартон-стрит».

Водитель кивнул головой и опустил флажок.

Гудрун села в такси с неторопливым равнодушием хорошо одетой женщины, презирающей в душе всех и вся. Но ее душа заледенела, так как нервы ее были на пределе. Джеральд вслед за ней сел в такси.

– Ты забыл про швейцара, – холодно сказала она, слегка качнув шляпой.

Джеральд дал ему шиллинг. Мужчина отсалютовал им и они тронулись.

– Из-за чего весь сыр-бор? – спросил Джеральд с любопытством.

– Я ушла, захватив с собой письмо Биркина, – сказала она, и он увидел в ее ладони смятый листок.

Его глаза удовлетворенно заблестели.

– О! – воскликнул он. – Грандиозно! Вот шайка тупиц!

– Я была готова их всех поубивать! – страстно воскликнула она. – Мусор! – они все самый настоящий мусор! И почему Руперт такой идиот, что пишет им такие письма? Зачем он только отдает часть души этим подонкам? Это невыносимо!

Джеральда озадачил ее странный порыв.

Она же не могла больше оставаться в Лондоне. Они должны уехать же первым утренним поездом с Чаринг-Кросса. Когда они ехали по мосту, она, увидев, как сверкает между огромными железными балками река, воскликнула:

– Я чувствую, что больше не смогу видеть этот омерзительный город – я не смогу вновь вернуться сюда.

## **Глава XXIX**

### **На континенте**

Последние недели перед отъездом Урсула провела в невероятном напряжении. Она была сама не своя – она вообще перестала кем-то быть. Она жила тем, что должно было произойти – скоро, скоро, очень скоро. Но пока что она жила только ожиданием.

Она отправилась навестить родителей. Это была неловкая, грустная встреча, которая походила скорее на подтверждение разлуки, нежели на воссоединение. В их отношении друг к другу проскальзывала растерянность, никто не знал, что сказать, все безропотно подчинялось року, который вот-вот разбросает их в разные стороны.

В себя она пришла уже только на корабле, который увлекал ее из Дувра в Остенд. Она смутно помнила, что была с Биркиным в Лондоне, но Лондон был для нее одним расплывчатым воспоминанием, как и то, как они ехали на поезде в Дувр. Все было как во сне.

И наконец теперь, этой угольно-черной, довольно ветренной ночью она стояла на корме корабля, ощущая движение волн и смотря на маленькие, одинокие огоньки, мерцающие на побережье Англии, словно на побережье мира, которого не существует. Наблюдая за тем, как они становятся все меньше и меньше, как их поглощает глубокая и живая тьма, она почувствовала в своей душе какое-то движение, говорящее о том, что она пробуждается от дурмана.

– Давай лучше встанем по ходу движения, хорошо? – предложил Биркин.

Ему хотелось стоять там, где он с каждой минутой становился ближе и ближе к месту назначения. Они оставили свое прежнее место, последний раз взглянув на бледные искры, сверкавшие из неоткуда, из дали, называемой Англией, и обратили свои взгляды к черной бездне, расстилавшейся перед ними.

Они прошли вдоль правого борта к носу судна, мягко разрезавшего воду. В полной темноте Биркин отыскал достаточно защищенный от ветра уголок, где лежал толстый свернутый канат. Отсюда было рукой подать до самой крайней точки корабля, до черного пространства, которое судну еще только предстояло пройти. Здесь они и сели, закутавшись, укрывшись одним пледом, все теснее и теснее прижимаясь друг к другу, пока им не стало казаться, что их тела слились и превратились в одно существо. Было очень холодно, а вокруг был крошечный мрак.

Кто-то из команды судна прошел по палубе, темной, как и все остальное вокруг, совершенно невидимой. Они различали только бледное пятно в том месте, где было его лицо.

Он почувствовал их присутствие и, поколебавшись, остановился, а затем наклонился вперед. Когда его лицо оказалось совсем рядом с ними, он увидел светлые пятна их лиц. И он, точно призрак, удался. Они наблюдали за ним, не произнося не звука.

Им казалось, что они погрузились в полную тьму. Не было ни неба, ни земли, только единая, абсолютная темнота, в которую они, казалось, тихо и сонно опускались, подобно нераскрывшемуся семени, что летит в темном, безграничном пространстве.

Они забыли, где они находились, забыли о том, что есть и что было. Единственная искорка сознания теплилась только в их сердцах, они сознавали лишь движение через эту тьму,



заполонившую все вокруг. Нос корабля с мягким плеском разрезал темную ночь, разрезал неосознанно, слепо, продолжая двигаться вперед.

Урсула ничего не чувствовала – в ее душе жило одно ощущение нереального мира. Она находилась среди этого чернильного мрака, но ее сердце охватило райское блаженство, неведомое и нереальное. Ее сердце было наполнено восхитительным светом, золотистым, словно темный мед, сладким, словно истома дня. Этот свет не мог воссиять над миром, его обителем был неведомый рай, в который она направлялась, – радость от существования, восторг от того, что можно было жить непознанной, но истинно своей жизнью.

Охваченная экстатическим восторгом, она внезапно подняла к нему свое лицо, и он прикоснулся к нему губами. Ее лицо было таким холодным, таким нежным, таким свежим, словно море, что ему показалось, что он поцеловал цветок, постоянно омываемый волнами прибоя.

Но тот блаженный восторг предвкушения, который ощущала она, ему был неведом. Его же переполняло удивление от собственного превращения. Он, словно метеорит, летящий по пропасти между двумя мирами, все глубже и глубже погружался в пучину бесконечного мрака. Мир разлетелся на две части, а он несясь по неопишуемой словами пустоте, словно незажженная звезда. То, что находится там, за пределом, пока еще было не для него. Его тело наслаждалось лишь полетом.

В каком-то трансе он лежал, обнимая Урсулу. Он уткнулся лицом в ее тонкие, хрупкие волосы, он вдыхал их запах вместе с морским воздухом и темнотой ночи. И его душа познала покой: она перестала сопротивляться полету через неведомое. Впервые во время этого последнего путешествия из жизни его сердце обрело полное и абсолютное спокойствие.

На палубе послышалась какая-то суета. Они очнулись и поднялись на ноги. Как же они, оказывается, замерзли и ооченели на ночном холоде! Но райское блаженство в ее сердце и невыразимый словами темный покой в его, – это было великолепно.

Они встали и взглянули вперед. Там, в темноте, виднелись тусклые огни. Они возвращались в мир. Но это не был мир ее блаженства, и не мир его покоя. Это был искусственный, нереальный мир фактов. И в то же время не совсем утраченный мир, потому что в него перетекали покой и блаженство их сердец.

Высадка с корабля той ночью была странной и безрадостной, словно он перевез своих пассажиров через Стикс в безлюдный потусторонний мир.

На темном крытом причале было сыро, огней почти не было, пассажиры гулко шагали по деревянному трапу, везде царила темнота.

Взгляд Урсулы упал на огромные бледные волшебные буквы «ОСТЕНД», видневшиеся во тьме. Все устремлялись вперед, в сумрачный воздух, слепо, с какой-то муравьиной готовностью; носильщики громко разговаривали на ломанном английском, суетливо несли тяжелые чемоданы, и когда они удалялись, их рубахи смутно белели во тьме; Урсула стояла у длинного, низкого, обитого цинковыми листами ограждения, как и сотни других призрачных людей. Этот длинный ряд сложенного багажа и людей-призраков устремлялся в обширную, сырую тьму, а по другую сторону ограждения бледные усатые чиновники в островерхих пилотках переворачивали чемоданы вверх дном и чертили на них мелом крестик.

Готово. Биркин взял ручную кладь, и они пошли прочь, носильщик следовал за ними. Они прошли через огромную дверь и вновь вышли в ночь – и, вновь на платформу! В темном воздухе все еще слышались возбужденные, нечеловеческие голоса, вдоль поезда сновали призрачные видения.

– Кельн – Берлин... – прочитала Урсула табличку, прикрепленную к борту поезда с одной стороны.

– Нам сюда, – сказал Биркин. И рядом с собой она увидела слова: «Эльзасс – Лотарингия – Люксембург – Метц, Базель».

– Вот он, Базель!

Подошел носильщик:

– A B&#226;le – deuxi&#232;me classe? – Voil&#224;!<sup>77</sup>

И он взобрался в высокий поезд. Они последовали за ним. Некоторые купе были уже заняты. Но во многих свет не горел – там никого не было. Багаж был уложен, носильщик получил свои чаевые.

– Nous avons encore? – поинтересовался Биркин, переводя взгляд сначала на часы, а затем на носильщика.

– Encore une demi-heure<sup>78</sup>.

С этими словами голубая униформа удалилась. Он был некрасивым и заносчивым.

– Идем, – сказал Биркин. – Здесь холодно. Давай перекусим.

На платформе был вагон-ресторан. Они пили горячий, жидкий кофе и ели длинные рогалики, разрезанные пополам, в разрез которых была вставлена ветчина. Эти рогалики были настолько толстыми, что Урсула чуть не вывихнула челюсть, пытаясь откусить кусок.

Потом они ходили вдоль высоких вагонов. Все казалось таким странным, таким пустым, словно это был потусторонний мир – все было серым, серым, как грязь, пустынным, покинутым небытием – серым, чудовищным небытием.

Наконец, их поезд устремился навстречу ночи. В темноте Урсула различала плоские поля, мокрые, пугающие, темные просторы континента. Довольно скоро они остановились – в Брюгге! Они ехали дальше по ровной тьме и только иногда их взору открывались спящие фермы, тонкие тополя и пустынные шоссе. Она сидела, держа Биркина за руку, и ощущала полную безнадежность. Он же, бледный, недвижимый, словно выходец с того света, то выглядывал в окно, то закрывал глаза. Затем глаза открывались – темные, как мрак, что царил снаружи.

Вот в темноте вновь замерцали огни – это был Гент! На платформе замелькали призрачные фигуры – удар колокола – и опять движение по темной равнине. Урсула увидела мужчину с фонарем, выходящего с фермы, расположенной у самых путей, и идущего к темным строениям. Ей вспомнилось Болото, ее прежняя замкнутая жизнь на ферме в Коссетее. Боже мой, как же далеко она удалилась от своего детства, но сколько же ей еще предстоит пройти! В течение одной жизни человек проживает многие эпохи. Сколько же воспоминаний о детстве, проведенном в тихой сельской местности, в Коссетее и на Болотной ферме, хранилось в пучине ее памяти! Она помнила Тилли, служанку, которая угощала ее хлебом с маслом, посыпанным коричневым сахаром, старую гостиную, где на циферблате дедушкиных часов над цифрами были нарисованы две розовые розы в корзинке. Теперь же она устремляется навстречу неведомому вместе с Биркиным, она была совершенно другим, незнакомым человеком – и эта пропасть между прошлым и настоящим так велика, что казалось, она не помнила, кто она такая, что девочка, играющая во дворе церковном дворе Коссетее, была только неким историческим персонажем, а не ей, Урсулой.

Они прибыли в Брюссель – у них было полчаса на завтрак. Они сошли с поезда. Огромные вокзальные часы говорили, что было шесть утра. В просторной безлюдной комнате отдыха, такой пугающей, всегда пугающей своей пустотой, обширностью пространства, Урсула и Биркин пили кофе и ели рогалики с медом. Но вот радость – ей удалось умыться горячей водой и причесаться!

Скоро они вновь сели на поезд и продолжили свой путь. Наступал серый рассвет. В купе было несколько людей – тучных, цветущих бельгийских дельцов с длинными коричневыми бородами, которые непрестанно говорили на исковерканном французском, но она слишком устала, чтобы следить за ходом разговора.

---

<sup>77</sup> В Базель? Второй класс? Это здесь! (фр.)

<sup>78</sup> Отправление через полчаса. (фр.)

Поезд постепенно выходил из мрака навстречу слабому свету, и каждый перестук колес нес его навстречу дню. О, как утомительно было это путешествие! Слабо вырисовывались призрачные очертания деревьев. Затем показался белый домик, который был виден уже довольно отчетливо. Как это возможно? А потом она увидела деревню – они долго проезжали мимо каких-то домов. Она все еще путешествовала по старому миру – миру пугающему, все еще несущему на себе бремя зимы. Вон там пашня и пастбище, скелеты голых деревьев, оголенные кости кустов и пустынные приусадебные дворы, лишенные рабочей суеты. На их пути не было ничего нового. Она взглянула Биркину в лицо. Оно было бледным, неподвижным и вечным, слишком вечным. Она, не вынимая рук из-под своего одеяла, умоляюще просунула свои пальцы между его пальцами. Его пальцы ответили на ее прикосновения, его взгляд встретился с ее взглядом. Какими же мрачными были его глаза – точно ночь, точно запредельный мир! О, если бы только он был ее миром, если бы только весь мир заключался для нее в нем! Если бы только он выпустил бы на волю тот мир, который только он и она могли назвать своим!

Бельгийцы вышли, поезд понесся дальше – через Люксембург, через Эльзас и Лотарингию, через Метц. Но она точно ослепла, она больше ничего не видела. Ее душа предпочитала ни на что не реагировать.

Наконец они прибыли в Базель, в гостиницу. Все окружающее она воспринимала в каком-то трансе, от которого ей не суждено было очнуться. Утром, прежде чем поезд понес их дальше, они вышли прогуляться. Она видела улицу, реку, постояла на мосту. Но все это ничего для нее не значило. Она помнила какие-то магазины – в одном было полным-полно картин, в другом продавались оранжевый бархат и горностаевый мех. Но какое это имело значение? Никакого. Она почувствовала себе раскованно только тогда, когда они вновь очутились в поезде. Только здесь ей стало легче. Пока они двигались вперед, она была довольна. Они прибыли в Цюрих, а затем совсем скоро поезд побежал у изножья заснеженных гор. Наконец-то она была почти у цели. Здесь был совсем другой мир.

Вечерний, устланный снежным ковром Иннсбрук был восхитителен. Они ехали по снегу в открытых санях – в поезде было слишком жарко и душно. А гостиница, из-под портика которой струился золотой свет, казалась им домом.

Очутившись в холле, они радостно рассмеялись. Здесь, по-видимому, было много народу.

– Не знаете, мистер и миссис Крич – англичане – приехали из Парижа? – спросил Биркин по-немецки.

Портье мгновение подумал и уже было приготовился ответить, как Урсула увидела неторопливо спускающуюся по лестнице Гудрун в темном поблескивающем пальто, отделанном серым мехом.

– Гудрун! Гудрун! – крикнула она, смотря вверх и махая рукой сестре. – Э-гей!

Гудрун перегнулась через перила и вся леность и скованность мгновенно слетели с нее. Ее глаза зажглись огнем.

– Вот это да – Урсула! – воскликнула она.

И она устремилась вниз, Урсула же побежала вверх. У поворота они встретились и расцеловались, смеясь и что-то возбужденно и нечленораздельно восклицая.

– Ну и ну! – в крайнем удивлении воскликнула Гудрун. – Мы-то думали, что вы приедете только завтра! Мне хотелось встретить вас.

– Нет, мы приехали сегодня! – вскричала Урсула. – Разве здесь не великолепно?

– Просто потрясающе! – ответила Гудрун. – Джеральд только что вышел, чтобы добыть что-нибудь поесть. Урсула, ты, наверное, чудовищно устала.

– Нет, не особенно. Я выгляжу безобразно грязной, да?

– Нет. Ты выглядишь абсолютно свежей. Мне страшно нравится эта твоя меховая шапочка!

Она окинула взглядом Урсулу, на которой было просторное мягкое пальто с пушистым светлым длинноворсовым меховым воротником и пушистая шапочка из того же светлого меха.

– А ты! – воскликнула Урсула. – Как же чудесно выглядишь ты!

Гудрун напустила на себя беззаботный, равнодушный вид.

– Тебе нравится? – спросила она.

– Твое пальто великолепно! – воскликнула Урсула, но в ее голосе слышались легкие насмешливые нотки.

– Спускайтесь или поднимайтесь, – попросил их Биркин, потому что сестры – рука Гудрун на локте Урсулы – стояли на повороте лестницы, у пролета, ведущего на второй этаж, мешая проходить остальным и развлекая народ в холле – от швейцара у двери до толстого еврея в темном костюме.

Молодые женщины начали медленно подниматься, а Биркин и коридорный шли за ними.

– На второй этаж? – спросила Гудрун через плечо.

– Нет, мадам, на третий – прошу в лифт! – ответил коридорный.

Он метнулся к лифту, стремясь опередить их. Но сестры и Биркин не обратили на него внимания и, не переставая болтать, направились вверх по второму пролету. Коридорный, немного разочарованный, последовал за ними.

Восторг сестер от встречи друг с другом был удивителен. Казалось, они встретились в ссылке и объединили свои силы в борьбе против остального мира. Биркин смотрел на них с неким недоверием и удивлением.

Когда они искупались и переоделись, появился Джеральд. Он сиял, точно солнце в морозный день.

– Иди покури с Джеральдом, – попросила Урсула Биркина. – Мы с Гудрун хотим поговорить. Сестры прошли в комнату Гудрун и стали обсуждать одежду и все увиденное. Гудрун рассказала Урсуле о случае с письмом Биркина, о том, что произошло в кафе. Урсула была шокирована и напугана.

– Где это письмо? – спросила она.

– Я его сохранила, – ответила Гудрун.

– Ты ведь отдашь мне его, да? – попросила Урсула.

Но прежде, чем ответить, Гудрун несколько мгновений помолчала:

– Ты правда этого хочешь, Урсула?

– Я хочу его прочитать, – настаивала Урсула.

– Конечно.

Но даже теперь она не могла признаться Урсуле в том, что ей хотелось сохранить его как некое напоминание, символ. Однако Урсула это поняла, и ей это вовсе не понравилось. Поэтому она решила сменить тему.

– Чем вы занимались в Париже? – спросила она.

– О, – лаконично отозвалась Гудрун, – тем же, чем и всегда. Как-то вечером у нас была отличная вечеринка в студии у Фанни Бат.

– Правда? И вы с Джеральдом там, конечно же, были. А кто еще был? Расскажи!

– Ну, – начала Гудрун, – особенно-то рассказывать нечего. Ты знаешь, что Фанни *чудовищно* влюблена в этого художника, Билли Макфарлейна. Он там был – поэтому Фанни не пожалела денег, она тратила их *очень* щедро. Там действительно было на что посмотреть! Разумеется, все *чудовищно* перепились – но по-своему это было даже интересно, все было не так, как в той грязной лондонской компании. Дело в том, что здесь были все, кто хоть что-нибудь значил, а это все полностью меняет. Там был один румын, отличный парень. Он напился едва ли не до безчувствия, а потом взобрался на верх стремянки, что там стояла, и произнес необычайно прекрасную речь. Урсула, это было необычайно великолепно! Он начал по-французски: «La vie, c'est une affaire d'imp&#233;riales»<sup>79</sup> – он говорил это таким красивым голосом, да и сам он такой привлекательный парень – но, в конце концов, он перешел на румынский и никто ничего не понял. А вот Дональд Гилкрист упился в стельку. Он разбил свой фужер об пол и

---

<sup>79</sup> Жизнь – это удел великих душ. (фр.)

заявил, что клянётся Богом, он рад, что родился на этот свет, что Бог свидетель, как прекрасно быть живым. И знаешь, Урсула, это было так ... – Гудрун рассмеялась раскатистым смехом.

– А как Джеральд чувствовал себя среди них? – поинтересовалась Урсула.

– Джеральд! Не поверишь, он распустился, точно одуванчик на солнце! Когда на него находит возбуждение, в нем одном столько распушенности, что хватило бы и на целую сатурналию. Я даже не скажу тебе, чьей талии не обнимали его руки. Нет, Урсула, все женщины падали к его ногам. Там не было ни одной, которая отказала бы ему. Это так удивительно! Можешь ли ты это объяснить?

Урсула шутливо задумалась и искорки заплясали в ее глазах.

– Да, – ответила она, – могу. Он не пропускает ни одной юбки.

– Ни одной! Можешь себе представить! – воскликнула Гудрун. – Но это так, Урсула, каждая женщина в той мастерской была готова отдаться ему. В этом есть что-то от Шантиклера – даже Фанни Бат была готова на это, а она-то *совершенно* искренне любит Билли Макфарлейна! За свою жизнь я никогда так не удивлялась. И знаешь, в конце концов, я почувствовала, что во мне одной заключены *толпы* женщин. Для него я была не меньше, чем королева Виктория. Я олицетворяла целую толпу женщин. Это было так удивительно! И клянусь, в тот раз султан был только моим.

Глаза Гудрун горели, на щеках пылал румянец, она казалась странной, необыкновенной, ироничной. Урсула была очарована – и одновременно ей было неловко.

Пришло время переодеваться к ужину.

Гудрун спустилась вниз в открытом платье из ярко-зеленого, затканного золотом шелка с зеленым бархатным корсажем и необычной черно-белой лентой вокруг головы. Она была очень эффектной, очень привлекательной, что не осталось незамеченным.

Джеральд находился в том полнокровном, цветущем состоянии, когда он был красивее всего. Биркин наблюдал за ними быстрым, насмешливым и несколько зловещим взглядом, Урсула же почти потеряла голову. Казалось, их столик окружили колдовские чары, чары, связывающие их воедино, словно на них приходилось больше света, чем на всех остальных в этом обеденном зале.

– По-моему, просто чудесно, что мы здесь! – воскликнула Гудрун. – Снег просто божественный! Вы заметили, что он наполняет все вокруг восторгом? Это просто великолепно. Здесь чувствуешь себя по-настоящему *bermenschlich* – больше, чем человеком.

– Действительно, – воскликнула Урсула. – Но разве это в некоторой степени не из-за того, что мы просто выбрались из Англии?

– Да, конечно, – отозвалась Гудрун. – В Англии никогда так себя не чувствуешь только по той простой причине, что там на тебя постоянно давит сырость. В Англии совершенно невозможно дать себе свободу, в этом я абсолютно уверена.

И она вновь принялась за свое блюдо. Она находилась в состоянии напряженного волнения.

– Это верно, – согласился Джеральд, – в Англии все совершенно по-другому. Но, возможно, там нам это и не требуется – возможно, в Англии дать себе свободу – это то же самое, что поднести спичку слишком близко к бочке с порохом. Страшно, что может случиться, если *все вдруг дадут себе свободу*.

– Боже мой! – воскликнула Гудрун. – Но разве это было бы не чудесно, если бы вся Англия внезапно взорвалась бы подобно множеству феерверков?

– Это невозможно, – сказала Урсула. – Люди слишком отсырели, порох в них подмок.

– Я в этом не уверен, – запротестовал Джеральд.

– Как и я, – вступил в разговор Биркин. – Когда англичане и правда начнут взрываться, все как один, тогда нужно будет заткнуть уши и бежать.

– Такого никогда не будет, – сказала Урсула.

– Посмотрим, – заметил он.

– Разве не удивительно, – вмешалась Гудрун, – что мы благодарим судьбу за то, что у нас появилась возможность убежать из собственной страны. Я не верю сама себе, я становлюсь



совершенно другой, как только ступаю на чужую землю. Я говорю себе: «Вот начинается новая жизнь нового существа».

– Не будь столь строга к бедной старушке Англии, – попросил Джеральд. – Хотя мы ее ругаем, на самом же деле она нам дорога.

Урсула почувствовала, что в этих словах заключалась бездна цинизма.

– Может быть, – согласился Биркин. – Но это чертовски неудобная любовь – прямо любовь к престарелой матери или отцу, которые ужасно страдают от осложнений перенесенных болезней и которым никогда не суждено выздороветь.

Гудрун взглянула на него затуманенными мрачными глазами.

– Ты думаешь, надежды нет? – спросила она, по своему обыкновению, с вызовом.

Но Биркин уже отступил. На такой вопрос он не стал бы отвечать.

– Есть ли надежда, что Англия станет реальной? Бог его знает. Сейчас она представляет из себя одно большое призрачное облако, сообщество, устремляющееся в небытие. Может, она и обрела бы реальные черты, если бы только не было англичан.

– Ты считаешь, что англичанам придется исчезнуть? – упорствовала Гудрун.

Подобный преувеличенный интерес к тому, что он ответит, со стороны выглядел несколько странно. Казалось, она ищет в нем что-нибудь, что скажет ей о ее дальнейшей судьбе. Ее мрачный, затуманенный взгляд остановился на Биркине, словно она пыталась извлечь из него предсказание своего будущего, точно из некоего инструмента для гадания.

Он поблел.

Вскоре он неохотно произнес:

– Да... но есть ли перед ними какая-либо другая перспектива помимо исчезновения? Они должны избавиться от своей особой марки английскости.

Гудрун наблюдала за ним, словно под гипнозом, не сводя с него пристального взгляда широко раскрытых глаз.

– Но что ты подразумеваешь под словом «исчезнуть»? – упорствовала она.

– Ты имеешь в виду изменение души? – вклинился Джеральд.

– Я вообще ничего не имею в виду, нужно мне это? – отозвался Биркин. – Я англичанин и за это я уже заплатил. Я не могу говорить за Англию – я могу говорить только за себя.

– Да, – медленно сказала Гудрун, – ты, Руперт, очень любишь Англию, *очень*.

– И покинул ее, – ответил он.

– Нет, не навсегда. Ты еще вернешься, – сказал Джеральд, утвердительно качая головой, словно прорицатель.

– Говорят, вши бегут с трупа, – с горькой усмешкой сказал Биркин. – Вот так и я бегу из Англии.

– О, но ты вернешься, – с язвительной улыбкой возразила Гудрун.

– *Tant pis pour moi*<sup>80</sup>, – ответил он.

– Как же родина разозлила его! – удивленно рассмеялся Джеральд.

– Вот вам и патриот! – сказала Гудрун, едва ли не насмешливо.

И Биркин больше не отвечал на вопросы.

Гудрун несколько мгновений наблюдала за ним. Затем она отвернулась. Очарование, которое он вызывал в ней, пропало. Теперь в ней остался только лишь один цинизм. Она взглянула на Джеральда. Он был великолепен, словно кусок радия. Она чувствовала, что при помощи этого фатального живого металла она могла уничтожить себя, могла познать все, что хотела. Эта мысль вызвала улыбку на ее губах. А что она будет делать с собой после того, как уничтожит себя? Потому что в отличие от духа, от мирового духа, который так легко разрушить, Материю разрушить нельзя.

---

<sup>80</sup> Тем хуже для меня. (фр.)

На мгновение он выглядел сияющим и отстраненным, озадаченным. Она протянула свою роскошную руку, словно парящую в облаке зеленого тюля, и прикоснулась к его подбородку своими тонкими пальцами художницы.

– И что же? – поинтересовалась она со странной понимающей улыбкой.

– Что ты имеешь в виду? – спросил он, и в его глазах промелькнуло удивление.

– О чем ты думаешь?

Джеральд выглядел так, словно его только что разбудили.

– Похоже, ни о чем, – ответил он.

– Вот как! – сказала она с мрачным смешком в голосе.

И Биркину показалось, будто она своим прикосновением убила Джеральда.

– Ну да ладно! – воскликнула Гудрун. – Давайте же выпьем за Британию – давайте пить за Британию.

В ее голосе послышалась какая-то дикая бесшабашность. Джеральд рассмеялся и наполнил фужеры.

– По-моему, Руперт имел в виду, – сказал он, – что англичане должны умереть как нация, чтобы они могли существовать как отдельные личности и...

– Как сверженная, – добавила Гудрун с легкой ироничной гримаской, поднимая фужер.

## Глава XXX

### Снег

На следующий день они спустились к маленькой железнодорожной станции под названием Хохенгаузен, которая находилась в конце небольшой долины. Повсюду лежал снег – идеально-белая колыбель из недавно выпавшего, но успевшего замерзнуть снега. По обе стороны этой колыбели возвышались темные утесы, и серебряно-белые потоки устремлялись к бледно-голубым небесам.

Когда они вышли на пустынную платформу, вокруг и над которой был один лишь снег, Гудрун поежилась, словно холод проник в самое ее сердце.

– Боже мой, Джерри, – сказала она с внезапной фамильярностью, – вот это да!

– Ты о чем?

Едва заметным жестом она показала на окружавший их мир.

– Посмотри на это!

Казалось, ей было страшно двигаться дальше. Он рассмеялся.

Они были в самом сердце гор. Высоко над ними, по обе стороны, расстилалось белое снежное покрывало, и в этой долине затвердевших небес человек казался себе маленьким и незначительным – так странно все вокруг сияло, оставаясь неизменным и молчаливым.

– Чувствуешь себя такой маленькой и одинокой, – сказала Урсула, оборачиваясь к Биркину и кладя руку на его локоть.

– Ты не жалеешь, что приехала сюда? – спросил Джеральд Гудрун.

Она не знала, что ответить. Они вышли со станции и пошли между заснеженными насыпями.

– О! – сказал Джеральд, втягивая ноздрями воздух. – Просто прекрасно! Вот наши сани. Давай немного прогуляемся, а потом побежим вверх по дороге.

Гудрун, которая всегда во всем сомневалась, опустилась в своем тяжелом пальто в сани, после того, как Джеральд сел них, и они покатались. Внезапно она вскинула голову и, стремительно вскочив, понеслась, крепко придерживая шапку. Ее ярко-голубая одежда трепетала на ветру, ее плотные алые чулки ярко выделялись на белом фоне. Джеральд наблюдал за ней: казалось, она несется навстречу своей судьбе, оставляя его позади. Он позволил ей оторваться на некоторое расстояние, а затем, вскочив с места, побежал за ней.

Вокруг стояла мертвая тишина. Огромные снежные шапки свисали с карнизов тирольских домиков под тяжелыми крышами, которые вросли в снег по самые окна. Крестьянки в широких юбках, шаях, перекрещенных на груди, и в толстых ботинках оборачивались на нежную решительную девушку, с такой мрачной стремительностью убегавшую от мужчины, который преследовал ее, но никак не мог догнать.

Они миновали постоялый двор с разукрашенными ставнями и балконом, несколько коттеджей, наполовину ушедших в снег; потом была засыпанная снегом пустая лесопилка – она стояла у крытого мостика, пересекавшего спрятавшийся ручей, и они перебежали через него, утопая в нетронутой снежной пелене. Тишина и вселенская белизна наполняли восторгом, сравнимым с безумием. Но ужаснее всего была полная тишина, окутывавшая душу и обволакивающая сердце ледяным воздухом.

– Несмотря на все это, здесь прекрасно, – сказала Гудрун, глядя в его глаза странным, говорящим взглядом.

У него упало сердце.

– Чудесно, – ответил он.

Яростная электрическая сила пробежала по его ногам, его мышцы напряглись, руки наполнились силой. Они шли по резко уходившей вверх заснеженной дороге, размеченной сухими ветками, воткнутыми на некотором расстоянии друг от друга. Он и она существовали по отдельности, как два противоположных полюса одной мощной силы. Но у них было достаточно сил для того, чтобы перепрыгивать за жизненные грани в запретные пределы и возвращаться обратно.

Биркин и Урсула тоже бежали по снегу. Он распорядился относительно багажа, и они пошли впереди саней. Урсула чувствовала радостное волнение, но иногда она внезапно оборачивалась и хватала Биркина за руку, словно желая удостовериться, здесь ли он еще.

– Такого я не ожидала, – сказала она. – Здесь совершенно другой мир.

Они вышли на покрытый снегом луг. Здесь их нагнали сани, разбивающие звоном колокольчиков тишину. Еще через милю, на крутом подъеме, возле наполовину засыпанной церкви из розового камня они догнали Гудрун и Джеральда.

После этого они спустились в овраг – теперь вокруг них были черные стены скал, под ногами – снежная река, а над головами голубое небо. Они прошли по крытому мостику, топоча ногами по доскам, еще раз пересекли снежное покрывало, и начали подниматься вверх и вверх.

Лошади шли быстрым шагом, возница, идущий рядом, пощелкивал длинным кнутом и временами повторял свое странное, дикое «хо-хо». Они медленно миновали скалистые стены и вновь вышли к склонам гор и снежной пелене. Они все шли вверх и вверх, через холодный призрачный блеск послеполуденного солнца. Вечность гор, блестящих, искрящихся снежных скатов, возвышавшихся над и простиравшихся под ними, отбила им всякое желание говорить.

Наконец они вышли на небольшое заснеженное плато, окруженное снежными пиками, как сердцевина распутившейся розы окружена лепестками. Посреди пустынных долин этого рая стояло одинокое строение с коричневыми деревянными стенами и тяжелой белой крышей, забытое всеми в этой глубокой снежной массе, похожее на видение. Оно напоминало скалу, которая скатилась с крутого склона, скалу, принявшую облик дома, которая теперь наполовину погрузилась в снег. Нельзя было поверить, что здесь мог кто-то жить и что этот кто-то не был раздавлен ужасной белой массой, этой тишиной и этим чистым звенящим горным холодом.

Сани же красиво катились. Взмолвленные и смеющиеся люди подошли к двери, гулко прошли по полу этого убежища – в коридоре он был мокрым от снега, но внутри все было по-настоящему теплым.

Вновь прибывшие шумно поднялись по голым деревянным ступенькам вслед за женщиной-служанкой. Гудрун и Джеральд заняли первую спальню. Через мгновение они остались наедине в этой голом, маленьком, замкнутом пространстве комнаты, которая была вся из золотистого дерева: пол, стены, потолок, дверь, – все было отделано золотистой древесиной пропитанной маслом сосны. Напротив двери было окно, но от пола оно было невысоко – крыша была

остроконечной. Возле стены, под сводами потолка, стоял столик с тазом для умывания и кувшином, а напротив стоял еще один столик, на этот раз с зеркалом. По обеим сторонам от двери разместились две кровати, на которых возвышался огромный голубой клетчатый валик изголовья, просто огромный!

И все – никакого шкафа, никаких удобств цивилизации. Они были заперты здесь, в этой клетке из золотистого дерева и у них были только две голубые клетчатые постели. Они взглянули друг на друга и рассмеялись, испуганные подобной неприкрытой уединенной близостью.

В дверь постучали, слуга принес багаж. Это был коренастый мужчина с плоскими скулами, несколько бледный, с торчащими светлыми усами. Гудрун молча наблюдала, как он ставит чемоданы, а затем тяжелой поступью идет прочь.

– Не слишком ли просто для тебя? – спросил Джеральд.

В комнате было не очень тепло, и она слегка поежилась.

– Все чудесно, – уклончиво ответила она. – Взгляни на цвет этого дерева – он чудесен, кажется, что ты находишься внутри ореха.

Он стоял, не сводя с нее взгляд, трогая свои коротко подстриженные усы, слегка отклонившись назад и рассматривая ее пронизательными, мужественными глазами, в которых светилась неизменная страсть, к которой он был точно приговорен.

Она пошла вперед и с любопытством нагнулась к окну.

– О, но вот это!.. – невольно, точно от боли, вскрикнула она.

Окно выходило на долину, зажатую сверху небом и огромными снежными склонами и черными скалами с боков, а в конце, подобно пупу земли, белоснежной стеной и двумя вершинами, сияющими в свете дневного солнца. Молчаливая снежная колыбель устремлялась вперед, между огромными склонами. Сосны, словно волосы неуклюже обрамляли ее по краям. Но эта снежная колыбель переходила в вечный тупик, где высились неприступные стены из снега и скал, и где горные вершины устремлялись в самое небо. Здесь был центр, средоточие, пуп мироздания, здесь земля – чистая, недостижимая, неприступная – принадлежала небесам.

Эта картина наполнила Гудрун странным отторжением. Она прильнула к окну, прижав руки к лицу в каком-то трансе. В конце концов, она прибыла на место, она добралась до своей цели. Здесь и заканчивался ее путь, здесь, в этом снежном пупе земли она превратилась в кусок хрустали и растворилась.

Джеральд навис над ней, выглядывая из-за ее плеча. Он уже чувствовал, что он остался один. Она исчезла. Она совершенно исчезла, и вокруг его сердца остались только ледяные испарения. Он видел оканчивающуюся тупиком долину, огромный тупик из снега и горных вершин под небом. Выхода не было. Ужасающая тишина, холод и прекрасная сумеречная белизна окутали его, а она, словно тень, все так и стояла, прильнув к окну, словно к святыне.

– Тебе нравится? – спросил он чужим и ровным голосом.

В конце концов, она могла бы дать ему понять, что чувствует, что он рядом. Но она лишь отвернула свое нежное, задумчивое лицо от его взгляда. И он понял, что в ее глазах стояли слезы, ее собственные слезы, слезы ее собственной религии, которая сравнивала его с землей. Внезапно он просунул руку под ее подбородок и повернул к себе ее лицо. Ее темно-синие глаза, мокрые от слез, сияли, словно ее душу наполняло крайнее удивление. Они смотрели на него сквозь слезы с ужасом и каким-то страхом. Его светло-голубые глаза смотрели пронизательно, зрачки казались маленькими пятнышками и взгляд их был неестественным. Ее губы раздвинулись, поскольку ей было тяжело дышать.

Страсть нахлынула на него, удар за ударом, подобно звону бронзового колокола – такая сильная, безупречная и беспредельная. Его ноги налились свинцом, когда он смотрел на ее нежное лицо, на ее приоткрывшийся рот, на ее горящие странным жестоким огнем глаза. Его рука ощущала невыразимую мягкость и шелковистость ее подбородка. Он чувствовал себя сильным, как мороз, его руки были ожившим металлом, нельзя было побороть их хватку, их нельзя было сбросить. Сердце билось в его груди, точно колокол.

Он заключил ее в объятия. Она была податливой и безвольной, она не двигалась. Все это время ее глаза, в которых еще не высохли слезы, сияли зачарованно и беспомощно. Он казался непочеловечески сильным, в нем не было изъянов, он был словно наделен сверхъестественной силой.

Он привлек ее к себе и с силой прижал к себе. Ее мягкое, пассивное, расслабленное тело опиралось на его напряженные бронзовые конечности грузом желания, которое, оставшись неудовлетворенным, уничтожит его. Она судорожно дернулась, пытаясь отстраниться от него. Его сердце вспыхнуло ледяным пламенем, он сомнулся вокруг нее, подобно стальному обручу. Он скорее уничтожит ее, нежели позволит ей отвергнуть его.

Но чрезмерная тяжесть его тела была для нее слишком большой. Она вновь расслабилась и лежала такая податливая и мягкая, только хватая ртом воздух, словно в бреду. А для него она была бальзамом, блаженством освобождения, и он скорее бы согласился на целую вечность, заполненную пытками, нежели упустил хотя бы мгновение из этого непрестанного блаженства. – Боже мой, – сказал он, придвинув к ней свое странно преобразившееся лицо, – что же дальше? Она лежала совершенно неподвижно, ее недвижимое лицо походило на лицо ребенка, а ее потемневшие глаза смотрели на него. Она потерялась, она погрузилась в забвение.

– Я всегда буду любить тебя, – пообещал он, глядя на нее.

Но она не слышала. Она лежала и смотрела на него как на существо, которое она никогда не сможет понять, никогда – как смотрит ребенок на взрослого человека – без всякой надежды понять его и только подчиняясь его воле.

Он поцеловал ее, поцелуями закрыл ей глаза, чтобы она не могла больше ничего видеть. Теперь он ждал от нее хоть какого-то знака, подтверждения, признания. Но она только лежала – молча, как ребенок, унесясь мыслями куда-то далеко, словно малыш, на которого нахлынули чувства, но который не может их понять и чувствует растерянность. Он, смирившись, поцеловал ее еще раз.

– Может, спустимся вниз и выпьем кофе с печеньем? – предложил он.

В окно проникал синевато-серый свет сумерек. Она закрыла глаза, отбросила прочь монотонность мертвящего удивления и открыла их вновь навстречу повседневному миру.

– Да, – коротко ответила она, усилием воли беря себя в руки.

Она вновь подошла к окну. На снежную колыбель и на огромные мертвенно-бледные склоны опустился синий вечер. Но в небе снежные вершины были еще розовыми, они сияли, словно запредельные искрящиеся цветущие побеги божественного верхнего мира, такие чудесные и потусторонние.

Гудрун видела эту красоту, она понимала бессмертную красоту этих огромных розовых снежно-огненных пестиков, торчащих в синем свете сумерек. Она могла видеть ее, она понимала ее, но она не была ее частью. Она была отлучена от нее, отделена, она была изгнанной душой.

В последний раз окинув эту картину сожающим взглядом, она отвернулась и начала поправлять свои волосы. Он же развязал ремни на чемоданах и ждал, наблюдая за ней. Она понимала, что он смотрит на нее. Из-за этого ее движения стали несколько торопливыми и лихорадочными.

Они пошли вниз, и у каждого на лице горело странное, потустороннее выражение, огонь полыхал и в их взглядах. Они увидели, что Биркин и Урсула уже сидят в уголке за длинным столом и ждут их.

«Как хорошо и просто они смотрятся вместе», – с завистью подумала Гудрун.

Она завидовала их непосредственности, детской самодостаточности, которая ей самой была неведома. Они казались ей настоящими детьми.

– Какой отличный Kranzkuchen<sup>81</sup>! – глотая слюнки воскликнула Урсула. – Просто объеденье!

---

<sup>81</sup> Бисквитный пирог в форме короны. (нем.)



– Точно, – сказала Гудрун. – Можно и нам Kaffee mit Kranzkuchen? – добавила она, обращаясь к официанту.

Она села на скамью рядом с Джеральдом. Биркин, взглянув на них, почувствовал болезненную нежность.

– Знаешь, Джеральд, я считаю, что это потрясающее место, – сказал он, – *prachtvoll* и *wunderbar* и *wunderschön* и *unbeschreiblich*<sup>82</sup> и тому подобные немецкие прилагательные.

На лице Джеральда появилась легкая улыбка.

– Мне здесь нравится, – сказал он.

Белые деревянные, тщательно выскобленные столы были расположены по трем сторонам комнаты, как и в *Gasthaus*<sup>83</sup>.

Биркин и Урсула сидели спиной к стене, которая была также из пропитанного маслом дерева, а Джеральд и Гудрун сидели в уголке рядом с ними возле плиты.

Это был довольно большой дом, в нем был даже маленький бар, – все здесь было как на сельском постоялом дворе, только проще и безыскуснее, повсюду было это пропитанное дерево – на потолке, на стенах, на полу, а из мебели были только столы и лавки, расположенные по трем сторонам, огромная зеленая плита, бар и двери на четвертой стороне. Окна были двойными, и занавески едва ли их прикрывали. Было начало вечера.

Подали кофе – горячий и вкусный – и целое кольцо кекса.

– Весь кекс вам! – воскликнула Урсула. – Вам досталось больше, чем нам! Я хочу кусочек от вашего.

Как выяснил Биркин, здесь были и другие постояльцы – общим числом десять: два художника, трое студентов, муж и жена, и профессор с двумя дочерьми – все немцы. Четверо англичан, будучи новоприбывшими, сидели в своем укромном уголке, откуда им было очень удобно наблюдать. Немцы заглядывали в дверь, перекидывались словечком с официантом и вновь уходили. Время обеда еще не наступило, поэтому они не заходили в столовую, а, сменив обувь, шли в *Reunionsaal*<sup>84</sup>.

До англичан время от времени доносились звуки цитры, кто-то брэнчал на пианино, иногда долетали смех, возгласы и пение – слабый гул голосов. Поскольку здание было полностью деревянным, оно, казалось, отражало все звуки, как барабан, но вместо того, чтобы усиливать их, оно их приглушало, поэтому треньканье цитры было едва слышным, словно этот инструмент играл где-то очень далеко, а звуки пианино говорили, что оно должно быть маленьким, как небольшой спинет.

Когда они допили кофе, появился хозяин. Это был широкоплечий тиролоец с плоскими скулами, бледной, испещренной оспинками кожей и пышными усами.

– Не хотите ли перейти в *Reunionsaal* и познакомиться с другими дамами и господами? – спросил он, с улыбкой наклоняясь вперед и обнажая свои крупные крепкие зубы. Его голубые глаза быстро перебежали с одного на другого – общаясь с этими англичанами, он чувствовал себя не в своей тарелке. Неудобно ему было и оттого, что он не говорил по-английски, а в своем французском он сомневался.

– Перейдем в *Reunionsaal*, чтобы познакомиться с остальными? – смеясь, повторил Джеральд. Остальные нерешительно помедлили.

– Пожалуй, да – нужно же растопить лет, – сказал Биркин.

---

<sup>82</sup> Роскошно, и чудесно, и прекрасно, и неопишимо. (нем.)

<sup>83</sup> Постоялый двор, гостиница. (нем.)

<sup>84</sup> Общая комната. (нем.)

Женщины, залившись румянцем, встали. И темная широкоплечая, как у жука, фигура хозяина услужливо двигалась впереди, навстречу шуму. Он открыл дверь и пропустил четверых чужаков в зал, где играла музыка.

Мгновенно воцарилось молчание, компания смущенно застыла. Новички почувствовали, как многочисленные белокурые головы обернулись в их сторону. Но хозяин уже кланялся приземистому энергичному мужчине с длинными усами и тихо говорил:

– Herr Professor, darf ich vorstellen<sup>85</sup>...

Герр Профессор был быстрым и решительным. Он с улыбкой низко поклонился англичанам и мгновенно принял на себя роль товарища.

– Nehmen die Herrschaften teil an unserer Unterhaltung?<sup>86</sup> – поинтересовался он с энергичной живостью, повышая голос к концу вопроса.

Четверо англичан улыбались, с внимательной неловкостью стоя в середине комнаты. Джеральд, который говорил за всех, сказал, что они готовы разделить их развлечения. Гудрун и Урсула, смеющиеся и взволнованные, чувствовали, что все мужчины рассматривают их, поэтому они горделиво подняли головы, не глядя ни на кого и чувствовали себя королевами.

Профессор sans ceremonie назвал имена всех присутствующих. Последовало раскланивание с неправильными и с правильными людьми. Здесь были все, кроме супружеской пары. Две высокие светложие профессорские дочки – девушки спортивного телосложения – одетые в простые темно-синие блузки и суконные юбки, с довольно длинными полными шеями, чисто-голубыми глазами, тщательно заплетенными волосами и румянцем на щеках поклонились и отошли в сторону; трое студентов поклонились очень низко, в смиренной попытке выглядеть хорошо воспитанными; там был и худой, смуглолицый мужчина с глазами навывкате – странное существо, похожее на ребенка и одновременно на тролля: быстрый и отстраненный; он едва поклонился; его спутник, крупный белокурый молодой мужчина, одетый по последней моде, покраснел до корней волос и очень низко поклонился.

Представление закончилось.

– Герр Лерке демонстрировал нам, как говорят на кельнском диалекте, – сказал профессор.

– Он должен простить нас за наше вмешательство, – сказал Джеральд, – мы с огромным удовольствием слушаем его.

Все тут же начали кланяться и предлагать присесть. Гудрун и Урсула, Джеральд и Биркин уселись на мягкие диваны у стены. Эта комната, как и весь остальной дом, была отделана пропитанным деревом. В ней было пианино, диваны и стулья, и несколько столов с книгами и журналами. Лишенная всяких украшений, за исключением огромной голубой печи, комната была уютной и приятной.

Герр Лерке был небольшого роста человеком с мальчишеской фигурой, круглым, полным, чувствительным лицом и быстрыми глазами навывкате, похожими на глаза мыши. Он быстро оглядывал то одного, то другого незнакомца, но сам держался отстраненно.

– Пожалуйста, продолжите свою лекцию, – вежливо и несколько властно попросил профессор Лерке, который, ссутулившись, сидел на стуле перед пианино, мигнул, но ничего не ответил.

– Мы были бы вам очень признательны, – сказала Урсула, которая уже несколько минут назад заготовила эту фразу на немецком.

И внезапно маленький, ни на что не реагирующий мужчина развернулся к своей предыдущей аудитории и начал с той же внезапностью, с которой его прервали; хорошо поставленным насмешливым голосом он имитировал ссору между старухой из Кельна и обходчиком путей. У него было легкое и неразвитое тело, точно у мальчика, голос же напротив был зрелым и саркастическим, в его движениях была некая энергичная гибкость и насмешливое,

---

<sup>85</sup> Господин профессор, позвольте представить... (нем.)

<sup>86</sup> Не присоединитесь ли к нашей беседе? (нем.)

проникающее в душу знание. Гудрун ни слова не поняла из его монолога, но она заворуженно наблюдала за ним. Он, должно быть, художник, ни у кого другого нет такого умения приспособливаться, нет такой ауры уникальности.

Немцы сложились пополам от смеха, когда услышали его странные резкие слова, грубые фразы диалекта. Но во время этого приступа они вызывающе поглядывали на четверку англичан – на избранных. Гудрун и Урсула через силу засмеялись. Комната звенела от смеха. Из голубых глаз профессорских дочек текли слезы, на их щеках горел огненный румянец, их отец раздражался удивительными трелями смеха, студенты свешивали головы между коленями – так весело им было.

Урсула удивленно огляделась вокруг – смех непроизвольно пузырился в ней и вырывался наружу. Она взглянула на Гудрун. Гудрун посмотрела на нее и сестры залились смехом, забыв обо всем. Лерке быстро взглянул на них своими выпуклыми глазками. Биркин непроизвольно трясся от смеха. Джеральд Крич сидел очень прямо, но на его лице светилось веселое выражение. И зазвенела новая волна смеха, сотрясая присутствующих в диких судорогах – профессорские дочки уже не могли смеяться и только беспомощно тряслись, на шее профессора вздулись жилы, его лицо побагровело, сильные спазмы беззвучного смеха не давали ему дышать. Студенты выкрикивали что-то нечленораздельное, и концы слов обрывались неконтролируемыми взрывами смеха. Но вдруг артист прекратил свой быстрый говор, смех постепенно стихал – от него остались лишь небольшие всхлипы, – Урсула и Гудрун вытирали глаза, и профессор громко воскликнул:

– Das war ausgezeichnet, das war famos...<sup>87</sup>

– Wirklich famos<sup>88</sup>, – слабым эхом вторили его дочки.

– А мы ничего не поняли, – воскликнула Урсула.

– O, leider, leider!<sup>89</sup> – воскликнул профессор.

– Вы не поняли? – возопили студенты, которые наконец-то нашли в себе смелость заговорить с приезжими. – Ja, das ist wirklich schade, das ist schade, gnädige Frau. Wissen Sie<sup>90</sup>...

Обмен репликами состоялся, новичков приняли в компанию, как новые ингредиенты добавляют в блюдо, теперь в комнате чувствовалось оживление. Джеральд был в своей стихии – он разговаривал живо и непринужденно, и на его лице светилась несвойственная ему веселость. Возможно, в конце концов, и Биркин примет участие в разговоре. Он стеснялся и держался отстраненно, хотя и внимательно ко всему прислушивался.

Урсулу уговорили спеть «Энни Лоури», – как профессор назвал эту песню. Все застыли в крайнем почтении. За всю свою жизнь она никогда не была так польщена. Гудрун аккомпанировала ей на пианино, играя по памяти.

У Урсулы был красивый звенящий голос, но обычно она чувствовала неуверенность и все портила. Сегодня же вечером она чувствовала себя полной сил и ничем не скованной. Биркин отошел куда-то на задний план, она блистала едва ли не в отместку ему – немцы позволили ей почувствовать себя уверенно и безупречно, она ощущала новую, освобождающую уверенность в себе. Когда ее голос выводил мелодию, она чувствовала себя, как чувствует летящая по небу птица, необыкновенно наслаждаясь порханием и ровным движением ее голоса – он походил на движение крыльев птицы, то взмывшей в воздух, то замирающей, то кувыркающейся в воздухе.

---

<sup>87</sup> Это было неподражаемо, это было великолепно. (нем.)

<sup>88</sup> Воистину великолепно. (нем.)

<sup>89</sup> О, как жаль, как жаль! (нем.)

<sup>90</sup> Да, действительно очень жаль, очень жаль, сударыня. Понимаете... (нем.)

Она пела очень проникновенно, вдохновленная всеобщим вниманием. Она была счастлива, что могла одна спеть эту песню. Эмоции и сила были в ней через край, выливаясь на всех этих людей и на нее саму, наполняя ее благодарностью и доставляя невообразимое удовольствие немцам.

В итоге все немцы были тронуты этой восхитительной, тонкой меланхолией, они поблагодарили Урсулу тихо и почтительно, и долго не могли заговорить, находясь под впечатлением.

– Wie schön, wie herrlich! Ach, die Schottischen Lieder, sie haben so viel Stimmung! Aber die gnädige Frau hat eine wunderbare Stimme; die gnädige Frau ist wirklich eine Künstlerin, aber wirklich!<sup>91</sup>

Она ощущала воодушевление, купалась в нем, словно цветок в утренних лучах. Она чувствовала, что Биркин смотрит на нее, как будто ревнуя, и ее грудь задрожала, свет озарил каждую клеточку ее тела. Она была счастлива, точно солнце, только что появившееся из-за туч. А все вокруг восхищались ею и радовались – это было великолепно.

После обеда ей захотелось выйти на минуту, чтобы взглянуть на природу. Компания попыталась было разубедить ее – там было ужасно холодно. Но она сказала, что только посмотрит.

Все четверо закутались потеплее и вышли на улицу – тут было сумеречное, нереальное царство темного снега и призраков из верхнего мира, которые отбрасывали под звездами странные тени. Здесь действительно было очень холодно, – этот неестественный холод ранил и пугал. Урсула не могла поверить, что она вдыхает только воздух. Его упрямая, злобная холодность казалась намеренной, зловредной, нарочитой.

Однако эта сумеречная, призрачная заснеженная тишина была великолепной, она пьянила; между ней и зримым миром простирался невидимый мир – между ней и сияющими звездами. Она видела, как устремляются вверх три звезды пояса Ориона. Каким великолепным он был, настолько великолепным, что хотелось плакать.

А вокруг была все та же снежная колыбель, под ногами скрипел твердый снег, ледяным холодом проникавший через подошвы ее ботинок. Повсюду была ночь и тишина. Ей казалось, что она слышит движение звезд. Ей действительно казалось, что она слышит небесное, музыкальное движение звезд, слышит его совсем рядом. Она представляла, что она – это птица, летящая сквозь эту гармонию движения.

И она еще теснее прижалась к Биркину. Внезапно она осознала, что не знает, о чем он думает. Она не знала, где бродят его мысли.

– Любимый! – окликнула она, останавливаясь и обращая на него взгляд.

Его лицо было бледным, глаза потемневшими и в них слабыми искорками отражались звезды. Он увидел, что ее нежное, обращенное к нему лицо было совсем близко. Он мягко поцеловал ее.

– Что такое? – спросил он.

– Ты любишь меня? – задала она ему свой вопрос.

– Слишком сильно, – тихо ответил он.

Она еще ближе прижалась к нему.

– Не слишком! – умоляюще запротестовала она.

– Чрезмерно, – ответил он едва ли не грустно.

– И тебя удручает, что я стала для тебя всем? – жалобно поинтересовалась она.

Он прижал ее к себе, поцеловал и едва слышно ответил:

– Нет, но я чувствую себя попрошайкой – я чувствую себя бедняком.

Она замолчала и теперь смотрела на звезды. Затем поцеловала его.

---

<sup>91</sup> Как красиво, как трогательно! О, сколько же чувства в этой шотландской песенке! Но, сударыня, у вас чудесный голос; сударыня – настоящая певица. (нем.)

– Так не будь попрошайкой, – жалобно взмолилась она. – Нет ничего позорного в том, что ты любишь меня.

– Разве не унижает человека сознание собственной бедности? – ответил он.

– Разве? Разве это так? – спросила она.

Но он только неподвижно стоял на обжигающе-холодном воздухе, невидимодвигающемся над горными вершинами, и обнимал ее.

– Я бы не вынес этого ледяного, вечного места без тебя, – сказал он. – Я бы не вынес его, оно бы убило во мне всю жизнь.

Она внезапно снова поцеловала его.

– Оно тебе ненавистно? – спросила она озадаченная и удивленная.

– Если бы я не мог придвинуться к тебе, если бы тебя не было бы рядом, я бы возненавидел его. Я бы не смог его вынести, – ответил он.

– Но люди здесь хорошие, – сказала она.

– Я имею в виду тишину, холод, замороженную вечность, – сказал он.

Она удивилась. Но вот ее душа проникла в него и незаметно заняла в его сердце свое место.

– Да, здорово, что нам тепло и что мы вместе, – сказала она.

И они повернули к дому. В ложбине они увидели золотые огни гостиницы, пронизывающие снежно-безмолвную ночь, крохотные, словно гроздь желтых ягод. Они походили на гирлянду мелких оранжевых солнечных бликов в центре снежной тьмы. Позади словно призрак, пронзал звезды высокий снежный пик.

Они дошли до того места, что стало им домом. Они увидели, как из темного здания вышел мужчина, держа зажженный золотой фонарь, так освещавший его ноги, что, казалось, его темные ноги шли по снегу, окутанные ореолом. На темном снегу его фигура казалась маленькой и темной. Он снял засов с двери хлева. Запах коров, горячий, животный, похожий на запах говядины, вырвался навстречу тяжелому холодному воздуху. Они мельком увидели очертания двух животных в темных стойлах, затем дверь вновь закрылась, и больше не было ни одной искорки света. Это вновь возродило в памяти Урсулы воспоминания о Болоте, о детстве, о путешествии в Брюссель и, как ни странно, об Антоне Скребенском.

О Бог, посильно ли вынести бремя этого прошлого, что скатилось в пропасть? По силам ей было думать о том, что это когда-то было! Она оглядела этот молчаливый, вознесенный над всем остальным мир из снега, звезд и сильного холода. А вот появился и другой мир, точно картинка из волшебного фонаря; Болото, Коссетей, Илкстон, – все это было залито обычным, призрачным светом. Там существовала призрачная, ненастоящая Урсула, там был весь этот призрачный фарс ненастоящей жизни. Он был таким ненастоящим и ограниченным, как образы, порождаемые волшебным фонарем. Ей хотелось бы разбить все слайды. Она хотела бы, чтобы ее воспоминания исчезли навсегда, как исчезают слайды, когда их разбивают. Ей хотелось бы, чтобы у нее не было прошлого. Ей хотелось бы спуститься по небесным склонам сюда, держа Биркина под руку, а не копошиться во мраке воспоминаний о детстве и своем воспитании, копошиться медленно, измазываясь в грязи. Она чувствовала, что память – это грязная шутка, которую над ней сыграли. Разве обязательно нужно было, чтобы она «помнила»? Почему ей нельзя окунуться в полное забвение, родиться заново, оставив все воспоминания, всю грязь прошлой жизни за своими плечами. У нее был Биркин, и здесь, наверху, среди этого снега, под звездами она только что пробудилась к жизни. Какое ей дело до родителей и предков? Она ощущала себя совершенно другой, не рожденной от человека, у нее не было ни отца, ни матери, ни внешних привязанностей; она была собой, она была чистой и белоснежной, и только с Биркиным она образовывала единство, которое затрагивало глубинные струны, отдавалось в сердце Вселенной, в душе реального мира, в котором она никогда дотоле не существовала.

Даже Гудрун была чужой, чужой, чужой, даже у нее не было ничего общего с этой личностью, с этой Урсулой, пробившейся в новую реальность. Тот старый мир теней, та действительность прошлого – кому она теперь нужна! Крылья – ее новое состояние – уносили ее на свободу.



Гудрун и Джеральд не пошли внутрь. Они пошли вверх по долине прямо перед домом, а не как Урсула и Биркин, на маленький холм справа. Странное желание влекло Гудрун. Ей хотелось идти и идти вперед, пока она не дойдет до конца этой снежной долины. Затем ей захотелось вскарабкаться на эту белую, венчающую все стену, перелезть через нее и очутиться среди вершин, которые подобно острым лепесткам торчали из сердца замерзшего, таинственного пупа мира. Она чувствовала, что там, за этим странным тупиком, за этой чудовищной стеной из скал и снега, там, в центре мистического мира, среди последней группы вершин, там, в раскрытой сердцевине таилось то, к чему она так стремилась. Если бы только она могла попасть туда, в полном одиночестве, пройти в обнаженную сердцевину вечных снегов и возвышающихся вечных вершин из снега и камня, слиться с этим миром, стать вечной, безграничной тишиной, почившим, неподвластным времени, замороженным средоточием Всего сущего.

Они вернулись назад в дом, в Reunionsaal. Ей было интересно посмотреть, что происходит. Мужчины заставили ее насторожиться, подстегнули ее любопытство. Жизнь по-новому зазвучала для нее, они были такими смирными перед ней и в то же время энергия была в них ключом.

Компания весело развлекалась; все танцевали, танцевали Schuhplatteln, тирольский танец, в котором все хлопают в ладоши и в определенный момент подбрасывают партнерш вверх. Немцы прекрасно танцевали – почти все они были из Мюнхена. Джеральд также вполне мог сойти за подходящего партнера. В углу бренчали три цитры. Во всем чувствовалось невероятное оживление и некое смущение. Профессор повел Урсулу танцевать, топая, хлопая в ладоши и с удивительной силой и энергией подбрасывая ее на довольно большую высоту. Настал момент, когда даже Биркин повел себя по-мужски с одной из свеженьких, сильных профессорских дочек, которая была вне себя от счастья. Все танцевали и в комнате стоял самый настоящий гвалт.

Гудрун смотрела на происходящее с восторгом. Прочный деревянный пол гудел под топочущими мужскими ногами, воздух содрогался от хлопанья в ладоши и от бренчания цитр, висящие лампы были окутаны облаками золотистой пыли.

Внезапно танец окончился и Лерке и остальные студенты выбежали в соседнюю комнату, чтобы принести напитки. Возбужденные голоса слились в один гул, послышался стук крышек на кружках и крики: «Prosit-Prosit!»<sup>92</sup>.

Лерке один успевал везде и всюду, точно гном, – он предлагал дамам напитки, двусмысленно и даже рискованно шутил с мужчинами, смущал и озадачивал официанта.

Ему очень хотелось потанцевать с Гудрун. Как только он увидел ее, ему захотелось установить между ними какую-нибудь связь. Она инстинктивно это почувствовала и ждала, когда же он подойдет. Но какая-то настороженность держала его на расстоянии от нее, поэтому она решила, что не нравится ему.

– Вы станцуете со мной Schuhplatteln, gn#228;dige Frau?<sup>93</sup> – обратился к ней высокий белокурый юноша – друг Лерке.

На вкус Гудрун он был слишком мягким, слишком смиренным. Но ей хотелось танцевать, и белокурый юноша, которого звали Ляйтнер, был для этого достаточно привлекательным в своей неловкой, несколько скованной манере, но это смирение скрывало известный страх. Она согласилась стать его партнершей.

Цитры зазвучали вновь, начался танец. Джеральд, смеясь, плясал с одной из профессорских дочек. Урсула танцевала с одним из студентов, Биркин – со второй профессорской дочкой, профессор – с фрау Крамер, а остальные мужчины танцевали друг с другом, причем с тем же рвением, как если бы на месте их партнеров были женщины.

---

<sup>92</sup> Выпьем, выпьем! (нем.)

<sup>93</sup> Сударыня. (нем.)

Поскольку Гудрун танцевала с хорошо сложенным, мягкосердечным юношей, его приятель, Лерке, еще больше, чем обычно мелочился и раздражался по пустякам, он даже не хотел замечать, что она присутствует в этой комнате. Это подстегнуло ее интерес, но ей хватило одного танца с профессором, который был сильным, точно зрелый, закаленный бык, и таким же полным грубой силы. Честно говоря, она едва терпела его, однако ей нравилось, что ее кружат в танце, и что его грубая, мощная сила подбрасывает ее в воздух. Профессору это тоже нравилось, он поедал ее необыкновенным взглядом огромных голубых глаз, испускавших гальванический огонь. Ей ненавистен был этот выдержанный, полуотцовский анимализм, сквозивший в его отношении к ней, но она восхищалась его силой.

Комната наполнилась возбуждением и сильными животными чувствами. Лерке держался на расстоянии от Гудрун, с которой ему очень хотелось поговорить, словно некая колючая изгородь мешала ему подойти к ней, и в нем поднялась язвительная безжалостная ненависть к его молодому компаньону, Ляйтнеру, который, не имея ни гроша за душой, полностью зависел от него. Он насмеялся над юношей с кислой ухмылкой, от которой Ляйтнер краснел до корней волос и которая наполняла его отвращением, делавшим его беспомощным.

Джеральд, который уже наловчился танцевать, вновь отплясывал – на этот раз с младшей профессорской дочкой, которая только что не умирала от девственного волнения – ведь она считала, что Джеральд такой красивый, такой великолепный! Она была в его власти, точно трепещущая птичка – мятущееся, вспыхивающее румянцем, возбужденное создание. И когда он должен был подбросить ее вверх, она судорожно и дико вздрагивала в его объятиях, а он улыбался. В конце концов, боготворящая любовь к нему настолько охватила ее, что она вообще не могла сказать что-нибудь вразумительное.

Биркин танцевал с Урсулой. В его глазах плясали странные огоньки, казалось, он превратился в некое зловещее, мерцающее, насмешливое, говорящее намеками и совершенно невыносимое существо. Урсула боялась его и в то же время он очаровывал ее. Перед ее глазами стояло четкое видение – она видела сардоническую, плотоядную усмешку в его глазах, он двигался с ней плавно, как животное, и отстраненно. Прикосновение ее рук было каким-то странным, быстрым и хитрым, они все время возвращались на то жизненно важное место под грудями и, поднимая ее насмешливым, двусмысленным движением, несли ее по воздуху так, словно в них не осталось силы, несли ее с помощью какой-то черной магии, отчего ей становилось страшно и ее голова шла кругом. На какое-то мгновение она запротестовала – это было чудовищно. Она должна разорвать эти чары. Но прежде, чем она решилась на это, она вновь подчинилась, вновь поддалась своему страху. Он ни на секунду не забывал, что делает, она читала это в его улыбающемся сосредоточенном взгляде. Он несет за это ответственность, и она должна положиться на него.

Когда они остались одни в темноте, она почувствовала, как его странные порочные эмоции наваливаются на нее. Она была неприязненно озадачена. Почему он вдруг стал таким? – Что такое? – испуганно спросила она.

Но его глаза, страшные, неведомые ей до сего момента, продолжали испускать огонь. В то же время это очаровывало ее. Ее первым желанием было с силой оттолкнуть его, разорвать эти чары насмешливой жестокости. Но очарование было слишком сильно, ей хотелось подчиниться, ей хотелось познать это. Что он сделает с ней?

Он был таким привлекательным и в то же время вызывал такое отвращение! Сардоническая двусмысленность, что мелькала на его лице и светилась в его прищуренных глазах, всколыхнула в ней желание убежать, спрятать от него, а, скрывшись, смотреть на него из своего убежища.

– С чего это ты стал таким? – потребовала она ответа, с внезапной силой и ожесточенностью восстав против него.

Мерцающий огонь в его глазах сгустился, когда он посмотрел в ее глаза. Его глаза презрительно-насмешливо закрылись. А затем вновь открылись, и в них было все та же безжалостная двусмысленность. И она перестала сопротивляться – пусть он делает все, что

захочет. Его порочные желания были ей одновременно и противны, и притягательны. Он отвечал за свои действия, поэтому ей хотелось посмотреть, что же он собирается сделать. Они могут делать все, что пожелают – такая мысль пронеслась в ее голове, когда она уже засыпала. Разве можно отказываться от того, что дает человеку удовлетворение? Разве из-за этого человек деградирует? Да кому какое дело? То, что ведет к деградации, реально, только это совсем иная реальность. А в нем не чувствовалось ни стыда, ни скованности. Разве не чудовищно, что человек, ранее такой одухотворенный, живущий духовной жизнью, сейчас становится таким – она покопалась в своих мыслях и воспоминаниях, а затем добавила: – таким животным? Они оба настоящие животные! Оба такие порочные!

Она вздрогнула.

Но в конце концов, почему бы и нет? Ее охватило возбуждение. Она была животным. Как прекрасно быть чем-то таким, одна мысль о котором вызывает краску на лице! Она обязательно испытает на себе все то, что зовется постыдным. Однако она была спокойна, она была самой собой. Почему нет? Когда она познала все, она стала свободной, и теперь ни одно темное, постыдное удовольствие не минует ее.

Гудрун, наблюдая за Джеральдом в Reunionsaal, внезапно подумала: «Он должен заполучить как можно больше женщин – такова его природа. Абсурдно называть его однолюбом – он от природы ветреный. Такова уж его сущность».

Эта мысль проявилась у нее совершенно произвольно. Гудрун была ошарашена – она точно увидела на стене слова Mene! Mene!<sup>94</sup>

Однако это была всего лишь истина. Некий голос так четко сообщил ей это, что она на мгновение поверила в существование провидения.

«Это истинная правда», – вновь сказала она себе.

Она прекрасно осознавала, что всегда это знала, неосознанно чувствовала это. Однако она утаивала эту мысль – даже от самой себя. Она держала ее в полном секрете. Это знание предназначалось только ей одной, но даже и сама Гудрун не хотела себе в этом признаваться. Она задалась решимостью бороться с ним. Один из них должен превзойти другого. Только кто же это будет? Ее душа превратилась в стальной стержень. И девушка почти что рассмеялась своей уверенности. В ней проснулась некая острая и в какой-то степени самовлюбленная нежность к Джеральду: какой же она была безжалостной!

Удалились все на покой довольно рано. Профессор и Лерке отправились выпить в небольшой бар. Они наблюдали, как Гудрун поднимается на свой этаж по лестнице с перилами.

– Ein sch#246;nes Frauenzimmer<sup>95</sup>, – сказал профессор.

– Ja!<sup>96</sup> – коротко согласился Лерке.

Джеральд странными, по-волчьи длинными шагами подошел к окну, наклонился и выглянул наружу, затем вновь выпрямился и повернулся к Гудрун. Его глаза вспыхнули рассеянной улыбкой. Он показался ей очень высоким; она увидела, как блестят его светлые брови, сходящиеся на переносице.

– Тебе понравилось? – поинтересовался он.

Казалось, он неосознанно смеется в душе. Она взглянула на него. Он был для нее неким непонятым явлением, никак не человеком: скорее какой-то жадной тварью.

– Очень понравилось, – отозвалась она.

---

<sup>94</sup> «Мене! Мене!» (библ.) – царь Вальтасар увидел эти слова на стене во время пира. Они предвещали конец его царствования.

<sup>95</sup> Роскошная женщина. (нем.)

<sup>96</sup> Да. (нем.)

– Кто из присутствующих тебе больше всего понравился? – спросил он, стоя перед ней, такой высокий и сияющий, со сверкающими стоящими ежиком жесткими волосами.

– Кто мне больше всего понравился? – повторила она, готовая ответить на вопрос, но, как оказалось, ей было сложно собраться с мыслями. – Я не знаю, я не так много о них знаю, чтобы можно было судить. А кто больше всего понравился тебе?

– О, мне все равно – мне они безразличны. Дело не во мне. Я хочу знать, что думаешь ты.

– Но почему? – побледнев, спросила она.

Его рассеянный, бессознательный взгляд еще сильнее засветился улыбкой.

– Мне нужно знать, – настаивал он.

Она отвернулась, чтобы разорвать окутывавшие ее чары. У нее появилось странное чувство, что она постепенно попадает под его власть.

– Пока что не могу тебе сказать, – ответила она.

Она подошла к зеркалу и принялась вынимать шпильки из волос. Каждый вечер она несколько минут проводила перед зеркалом, расчесывая свои красивые темные волосы. Это была часть обязательного ритуала ее жизни.

Он пошел к ней и встал за ее спиной. Нагнув голову, она ловко вынимала шпильки, выпуская на свободу теплые волосы. Когда она посмотрела в зеркало, она увидела, что он стоит сзади и рассеянно наблюдает – хотя и невидящим взглядом, но наблюдает, и его глаза со зрачками-точками, казалось, улыбались, и в то же время будто и не улыбались.

Она вздрогнула. Ей потребовалось все ее мужество, чтобы продолжать причесываться, как обычно, чтобы притворяться, что она вовсе не растеряна. В его присутствии она всегда чувствовала себя скованно. Она лихорадочно пыталась найти слова, чтобы хоть что-нибудь сказать ему.

– Что собираешься делать завтра? – беззаботно спросила она, хотя ее сердце дико билось, а в глазах читалась такая непривычная для нее нервозность, что ей казалось, что он обязательно это заметит. Однако она знала и то, что, когда он смотрел на нее, он полностью терял зрение, он становился слепым, точно крот. Между ее сознанием обычной женщины и его замысловатым сознанием чернокнижника шла странная борьба.

– Не знаю, – ответил он, – чем бы тебе хотелось заняться?

Он говорил только для того, чтобы что-нибудь сказать, его мысли витали где-то далеко.

– О, – с протестующими нотками в голосе воскликнула она, – я ко всему готова, уверена, я буду рада любому развлечению.

А про себя она подумала: «Боже, и что я так нервничаю! Дурочка, чего ты нервничаешь! Если он это заметит, мне конец – ты знаешь, что тебе конец, если он заметит, что ты в таком дурацком состоянии».

И она улыбнулась сама себе, словно все это было детской игрой. И в то же время сердце ее сильно колотилось, она едва не теряла сознание. Она видела в зеркале, что он, такой высокий, все еще стоит за ее спиной, все еще возвышается над ней, белокурый и невероятно пугающий.

Он украдкой взглянула на его отражение, готовая отдать все, что угодно, чтобы только он не понял, что она его видит. Он не знал, что она видит его отражение. Он сияющим рассеянным взглядом смотрел на ее голову, на ее свободно спадающие волосы, которые она расчесывала нервной, дрожащей рукой. Она склонила голову набок и яростно вновь и вновь проводила по ним щеткой. Ни за что на свете она не повернулась бы и не взглянула ему в лицо. *Она не могла* – ни за какие богатства мира! И эта мысль делала ее беспомощной, отнимала у нее силы, она едва не падала в обморок. Она знала, что его пугающая, нависшая над ней фигура, стоит там, очень близко к ней, она чувствовала, что его крепкая, сильная, прочная грудь почти прижалась к ее спине. И она чувствовала, что больше этого не вынесет, что через несколько мгновений она падет к его ногам, будет ползать перед ним на коленях и позволит ему уничтожить ее.

Эта мысль обострила ее разум и присутствие духа. Она не осмеливалась повернуться к нему – и он так и стоял, неподвижный и негибемый. Собрав остатки мужества, она сказала ему громким, звучным, беззаботным голосом, выдавив его из своей груди из последних сил:

– О, ты не заглянешь вон в тот чемодан, не дашь мне мою...

Тут силы изменили ей. «Мою что?? Что же??» – кричала она в душе.

Но он повернулся, удивленный и озадаченный тем, что она попросила его заглянуть в ее чемодан, к которому обычно имела доступ только она одна.

Теперь она повернулась к нему, и в ее потемневших глазах мерцало удивительное изможденное возбуждение. Она смотрела, как он наклонился к чемодану и, ни на что не обращая внимания, расстегнул слабо застегнутый ремень.

– Твою что?.. – спросил он.

– О, маленькую эмалевую шкатулку – желтую такую, на которой изображен пеликан, клюющий себя в грудь...

Она подошла к нему, опустила свою красивую обнаженную руку в чемодан и знающе отложила некоторые вещи, под которыми лежала изысканно расписанная шкатулка.

– Видишь, вот она, – сказала Гудрун, поднося ее к его лицу.

Он опешил. Она предоставила ему застегивать чемоданы, а сама быстро заплела волосы на ночь и села на кровать, чтобы развязать ботинки. Больше она спиной к нему не поворачивалась.

Он был озадачен, растерян, но так ничего и не понял. Теперь она повелевала им. Она знала, что он не заметил ее дикого испуга. Ее сердце все еще тяжело билось. Дура, какая же она дура, что позволила довести себя до такого состояния! Как же она благодарила Бога за крайнюю слепоту Джеральда! Слава Богу, он ничего не заметил!

Она медленно расшнуровала ботинки, он тоже начал раздеваться. Слава Богу, кризис прошел! Сейчас она чувствовала к нему нежность, сейчас она почти любила его.

– Да, Джеральд, – ласково и дразняще рассмеялась она, – какую ловкую игру ты провел с профессорской дочкой – разве не так?

– Какую еще игру? – спросил он, оглядываясь на нее.

– Да она влюбилась в тебя – она же по уши влюблена в тебя! – сказала Гудрун самым веселым, самым игривым своим голосом.

– Я так не думаю, – ответил он.

– «Он так не думает!» – передразнила его Гудрун. – Да бедная девочка лежит сейчас, вся обуреваемая страстью, и умирает от любви к тебе. Она думает, что ты удивительный, о, что ты самый прекрасный, прекраснее любого мужчины на свете. Нет, ну разве это не смешно?

– Почему смешно? Что здесь такого смешного? – поинтересовался он.

– Смешно смотреть, как ты заставил ее полюбить себя, – сказала она укоряющим тоном, который задел нотки мужского тщеславия в его душе. – Ну правда, Джеральд, бедная девочка!

– Я ей ничего не сделал, – сказал он.

– Постыдился бы просто так выбивать опору у нее из-под ног.

– Так мы же только танцевали, – ответил он с мимолетной усмешкой.

– Ха-ха-ха! – рассмеялась Гудрун.

Ее насмешка отдалась в его теле загадочным эхом.

Во сне он сжался на кровати в комок, точно закутавшись в собственную мощь, внутри которой, однако, зияла пустота.

А Гудрун спала крепким сном победителя. Внезапно она проснулась, точно от толчка.

Маленькую, отделанную деревом комнатку освещало восходящее солнце, проникавшее в низкое окно. Когда она приподняла голову, то увидела долину – увидела снег, который приобрел розоватый, едва видный магический оттенок, увидела частокол из сосновых деревьев у самого подножья склона. И по этому едва освещенному пространству двигалась какая-то маленькая фигурка.

Она взглянула на его часы; было семь утра. Он все еще спал. А у нее сна не было ни в одном глазу, это откровенное, железное бодрствование было страшным. Она лежала и смотрела на него.



Он спал, подчиняясь своему организму и усталости. Она почувствовала к нему искреннее уважение. До сих пор она боялась его. Она лежала и думала о нем – о том, что он представлял из себя, кем он был в этом мире. У него была твердая, независимая от суждения остальных людей воля. Она думала об изменениях, которые он произвел в своих шахтах за такое короткое время. Она знала, что если на его пути встретится проблема, любая реальная сложность, он обязательно ее преодолеет. Если уж он за что-то брался, то доводил до конца. У него был дар превращать хаос в стройный порядок. Только дайте ему ухватиться за что-нибудь и он обязательно осуществит то, к чему стремится.

На несколько мгновений она воспарила на буйном потоке амбициозных мыслей. Силу воли и умение разбираться в существующем мире, которыми обладает Джеральд, нужно направить на решение существующих проблем и в частности индустриальных проблем в современном мире. Она знала, что со временем он добьется желаемых изменений, что он реорганизуем промышленность. Она знала, что ему это по силам. В качестве орудия для выполнения этих целей он был бесценным, она никогда еще не встречала мужчин с такими возможностями. Он об этом и не подозревал, но она-то об этом знала.

Его лишь нужно направить, нужно дать ему задание, потому что сам он ничего не знал. Она могла бы это сделать. Она могла бы выйти за него замуж, он вошел бы в Парламент от консерваторов и смог бы разгрести всю грязь, что скопилась в вопросах труда и промышленности. Он был совершенно бесстрашным, умелым, он понимал, что каждую проблему можно решить, потому что жизнь похожа на геометрию. И он не будет думать ни о себе, ни о чем-то другом, он будет просто решать проблему. Он был абсолютно наивным. Ее сердце билось все стремительнее, когда она возносилась все выше и выше на крыльях воображения, представляя свое будущее. Он стал бы Наполеоном мирного времени или Бисмарком – а она будет той женщиной, что стоит у него за спиной. Она читала письма Бисмарка, и они чрезвычайно тронули ее. Джеральд же будет более свободным, более раскованным, чем был Бисмарк.

Но даже когда она лежала, охваченная такими мечтами, купаясь в странных неестественных солнечных лучах надежды, что-то в ее душе щелкнуло и, словно волна, на нее накатила чудовищный цинизм.

Все намерения приобрели ироничную окраску: все мысли оставляли насмешливое послевкусие. Когда дело доходило до неотъемлемой реальности, тогда она сразу ощущала горькую иронию надежд и идей.

Она лежала и смотрела, как он спал. Он был необычайно красивым, он был идеальным орудием. Он казался ей совершенным, нечеловеческим, почти сверхчеловеческим инструментом. Ей очень нравилась эта его сторона, она желала бы быть Богом, чтобы у нее была возможность направлять его.

Но в ту же самую секунду насмешливый голос спрашивал ее: «А для чего?» Она подумала о женах шахтеров с их линолеумом и кружевными занавесками и их маленьких дочках в ботинках с высокой шнуровкой. Она подумала о женах и дочерях тех, кто управлял шахтами, об их теннисных турнирах и отвратительных стараниях занять более почетное положение, чем другие, на общественной лестнице. О Шортландсе с тем бессмысленным отличием в статусе, который он давал, о никому не интересной толпе Кричей. Были еще Лондон, Палата общин, сохранившееся до сих пор общество. Боже мой!

Гудрун была молода, но она уже испытала на себе все биение общественного пульса Англии. Она не желала карабкаться на вершину общественной лестницы. С истинным цинизмом жестокой молодости она понимала, что карабкаться на вершину означает, что одно представление просто сменяется другим, что это восхождение сравнимо с тем, что вместо фальшивого пенни тебе всучают фальшивую полукрону. Вся система ценностей была фальшивой. Однако со всем этим цинизмом она осознавала, что в мире, где денежной единицей является фальшивая монета, плохой соверен лучше плохого фартинга. Но она одинаково презирала и бедных, и богатых.

И вот она уже насмехается над собой за подобные мечты. Их достаточно легко воплотить в жизнь. Но в душе она прекрасно понимала, насколько смехотворны ее порывы. Какое ей дело до того, что Джеральд создал дающую небывалые прибыли отрасль промышленности из устаревшего предприятия? Ей-то что до этого! И устаревшее предприятие, и интенсивная, прекрасно организованная отрасль промышленности, – все это фальшивые деньги. Но она делала вид, что ей это не безразлично, и со стороны все так и выглядело – но только со стороны, потому что в душе она знала, что это просто неудачная шутка.

Все в мире по своей природе позволяло ей иронизировать. Она наклонилась к Джеральду и сочувствием сказала про себя: «Ах, дорогой, дорогой, эта игра не стоит даже тебя. Ты и правда хороший – так почему же ты участвуешь в таком неудачном представлении!»

Ее сердце разрывалось от тоски и жалости к нему. Но в то же время от этой невысказанной тирады ее губы искривились в насмешливой улыбке. О, какой же это фарс!

Она подумала о Парнелле и Кэтрин О’Ши. Парнелл! Да, в конце концов, кто принимает всерьез национальное самосознание Ирландии? Разве можно всерьез говорить об Ирландии на политической арене, как бы она там себя не проявила? И кто принимает всерьез политику Англии? Кто? Разве есть кому-то дело, как чинится эта старая латаная-перелатанная Конституция? Все эти национальные идеи нужны не больше, чем наша национальная шляпа – котелок. Да, все это старье, все та же пресловутая старая шляпа-котелок.

Вот так-то, Джеральд, мой юный герой! В любом случае мы пощадим себя, не позволяя себе в очередной раз перемешивать тухлый бульон. Будь прекрасен, мой Джеральд, и безрассуден. Чудесные мгновения существуют. Просыпайся, Джеральд, убеди меня в их существовании. О, убеди меня, мне так это нужно.

Он открыл глаза и взглянул на нее. Она встретила его пробуждение с насмешливой, загадочной улыбкой, в которой чувствовалось безудержное веселье. Ее улыбка отразилась на его лице, он тоже улыбнулся, хоть и ничего не понимал.

Она получила невероятное удовольствие, увидев, как ее улыбка, отразившись, расцвела на его лице. Она вспомнила, что так улыбаются младенцы. Эта мысль наполнила ее необычайным, светлым восторгом.

– Тебе удалось, – сказала она.

– Что? – озадаченно спросил он.

– Убедить меня.

И она нагнулась, страстно целуя его, целуя со всей страстью, так что в нем поднялась волна возбуждения. Он не спрашивал ее, в чем ему удалось ее убедить, хотя ему и хотелось. Он был рад ее поцелуям. Она словно проникала в самое его сердце, стремясь нащупать там средоточие его существа. И ему хотелось, чтобы она затронула это его средоточие, ему хотелось этого больше всего на свете.

Снаружи какой-то мужчина напевал беззаботным, приятным голосом:

«Mach mir auf, mach mir auf, du Stolze,  
Mach mir ein Feuer von Holze.  
Vom Regen bin ich nass  
Vom Regen bin ich nass<sup>97</sup>.

---

<sup>97</sup> Вариант народной песни «Мельничиха»:

– Впусти,пусти меня,гордячка,  
Разведи скорей огонь,  
Я насквозь промок,  
Я насквозь промок. (нем.)

Гудрун знала, что эта песня, которую пел беззаботный насмешливый мужской голос, останется с ней навеки. Она отмечала один из самых чудесных моментов в ее жизни, прекрасную остроту нервного блаженства. Там, застыв в вечности, она и останется.

День был ясным, небо – голубым. По горным вершинам проносился легкий ветерок, колючий, словно рапира, приносящий с собой мелкую снежную пыль.

Джеральд спустился вниз с ясным, беззаботным лицом человека, познавшим удовлетворение. Этим утром он и Гудрун застыли в каком-то единении, не замечая и не осознавая, что происходит вокруг. Они отправились кататься на санках, а Урсула и Биркин последовали за ними.

Гудрун была в алом и насыщенно-синем – алом вязаном джемпере и шапочке и насыщенно-синей юбке и чулках. Она весело ходила по белому снегу, Джеральд шел рядом с ней в чем-то белом и сером с санками в руках. Скоро, уйдя довольно далеко вверх по крутому склону, они уже казались совсем маленькими.

Гудрун казалось, что она словно слилась с этой снежной белизной и превратилась в идеальный, лишенный разума кусок льда. Когда она добралась до вершины склона, где порхал ветер, она огляделась вокруг и увидела нагромождение снежно-скалистых вершин, которые, переходя в небо, казались голубыми. Окружающий ее мир казался ей садом, где вместо цветов, которых жаждало ее сердце, были горные пики. Джеральд в этот момент для нее не существовал.

Она прижалась к нему, когда они покатались вниз по крутому склону. Ей казалось, что ее чувства перетираются в мелкую пыль на некоем жернове, жарком, как огонь. С обеих сторон из-под полозьев саней летел снег, как летят искры от затачиваемого лезвия; белое одеяло вокруг них несло быстрее и быстрее, белый склон ярким пламенем летел на нее, и она, пролетая через эту спящую белизну, растворялась в ней подобно искрящейся капле. В самом низу был резкий поворот, и сани, замедляя ход, накренились так, что Гудрун и Джеральду показалось, что они сейчас упадут на землю.

Сани остановились. Но когда Гудрун поднялась на ноги, они ее не держали. Она издала странный возглас, обернулась и прильнула к Джеральду, спрятав лицо у него на груди, теряя сознание и цепляясь за него. На нее накатила чернота и она несколько мгновений недвижно висела на нем.

– Что с тобой? – произнес он. – Тебе плохо?

Но она ничего не слышала.

Когда она пришла в себя, она встала и удивленно огляделась. Ее лицо было бледным, а огромные глаза ярко блестели.

– Что такое? – повторил он. – Из-за меня тебе стало дурно?

Она посмотрела на него сияющим взглядом человека, пережившего перерождение, и с какой-то пугающей веселостью расхохоталась.

– Нет, – ликующе воскликнула она. – Это был самый прекрасный момент в моей жизни.

И она смотрела на него, продолжая смеяться своим рассыпчатым, высокомерным смехом, словно одержимая дьяволом. Его сердце пронзило острое лезвие, но он не обратил внимания, ему было все равно.

Они вновь вскарабкались наверх и вновь полетели вниз по белому пламени – это было прекрасно, прекрасно! Гудрун, запорошенная снегом, смеялась, сияя глазами, Джеральд отлично управлял санями. Он чувствовал, что мог бы провести санки по волоску, что он мог бы прорезать ими небо и вонзиться в самое их сердце. Ему казалось, что летящие сани – это вырвавшаяся на свободу его сила, ему нужно было только двигать руками, настолько он слился с движением. Они исследовали и остальные склоны, надеясь найти другие спуски. Ему казалось, что должно быть что-то получше того, что им было уже известно. И он нашел то, что ему было нужно, – идеально длинный, крутой склон, спускавшийся к подножью скалы, ведущий к растущим у основания деревьям. Он знал, что там было опасно. Но он также знал и то, что он смог бы провести сани между своими пальцами.

Первые дни пролетели, наполненные блаженным ощущением физического движения – все катались на санях, на лыжах, на коньках, с головой окунувшись в скорость и белизну, которые на это время стали для них жизнью и уносили их души в запредельный мир нерукотворных абстракций – ускорения, тяжести и вечного, замерзшего снега.

В глазах Джеральда появилось новое жесткое необычное выражение и, когда он скользил на своих лыжах, он больше походил на некий мощный, роковой символ, чем на человека – каждый мускул растягивался, повинаясь идеальной траектории, тело, бездушное, лишённое разума, устремлялось вперед, выписывая фигуры вдоль одной силовой линии.

По счастью, в один день шел снег и им пришлось остаться дома: в противном случае, по мнению Биркина, они вообще бы забыли о том, что такое человеческая речь, и общались бы только криками и возгласами, точно представители некоего неизвестного вида снежных существ.

Днем сложилось так, что Урсула сидела в Reunionsaal и разговаривала с Лерке. В последнее время он казался каким-то грустным. Но сегодня он как обычно был оживленным и искрился насмешливым лукавством.

Но Урсула подумала, что он из-за чего-то переживает. Да и его спутник – большой, светловолосый приятной наружности молодой человек – чувствовал себя не в своей тарелке, расхаживая по комнате так, словно не находил себе места, словно что-то на него давило, а он пытался восстать против этого.

Лерке почти не говорил с Гудрун. А его друг напротив постоянно дарил ей свое мягкое, слишком уж почтительное внимание. Гудрун хотелось поговорить с Лерке. Он был скульптором, и ей хотелось узнать его видение искусства. К тому же ее привлекала его фигура. Он походил на маленького бродягу – это заинтриговало ее – и одновременно на старика – это подстегивало ее интерес; к тому же в нем чувствовалось какое-то сверхъестественное одиночество, самодостаточность, отсутствие каких-либо связей с другими людьми, из-за чего ее глаз сразу же увидел в нем художника. Он трещал, словно сорока, лукаво играл словами, его шутки иногда были остроумными, однако большая их часть таковой не была. И, несмотря на все его шутовство, в карих глазах гнома Гудрун улавливала мрачный взгляд и безвольную печаль.

Ее заинтересовала его фигура – фигура мальчика, бездомного бродяги. Он и не пытался скрыть ее. На нем всегда был простой суконный костюм с бриджами до колен. У него были тонкие ноги, но он даже и не пытался прятать их, что для немца уже само по себе было уникально. Он никогда ни на что не разбрасывался, ни на какие мелочи, – несмотря на всю его видимую игривость, он всегда оставался замкнутым в себе.

Ляйтнер, его спутник, был отличным спортсменом, к тому же очень привлекательным – у него были длинные ноги и голубые глаза. Иногда Лерке катался на санях или на коньках, но он не вкладывал в это душу. И его изящные тонкие ноздри, ноздри чистокровного уличного бродяги, презрительно подрагивали, когда он видел гимнастические представления Ляйтнера. Было очевидно, что мужчины, путешествовавшие и жившие вместе, делившие одну спальню, теперь достигли момента, когда стали противны друг другу. Ляйтнер ненавидел Лерке уязвленной, корчащейся, беспомощной ненавистью, Лерке же обращался с Ляйтнером с изысканным презрением и сарказмом. Скоро этим двоим предстояло расстаться.

Они уже довольно редко бывали вместе. Ляйтнер постоянно навязывался то тому, то другому, всегда подчиняясь какому-либо замыслу, Лерке же большую часть времени проводил в одиночестве. Выходя на улицу, он надевал вестфальскую шапочку – плотно облегающую голову коричневую бархатную тулью с огромными коричневыми клапанами, закрывавшими уши, и из-за этого он походил на вислоухого кролика или на тролля. У него было коричнево-красное лицо с сухой блестящей кожей, на которой при любом движении мышц появлялись морщинки. У него были чудесные глаза – карие и навывкате, точно глаза кролика или тролля, или как глаза заблудшего существа. В этих глазах сияло странное, тупое, обездоленное выражение, некое знание, и то и дело мелькали искры сверхъестественного пламени.

Когда бы Гудрун ни заговаривала с ним, он не отвечал ей, замыкаясь в себе, и только смотрел на нее настороженным взглядом, не устанавливая с ней связи. Он дал ей понять, что ему неприятны ее медленный французский и еще более медленный немецкий. Что касается его английского, то он слишком стеснялся говорить на нем. Тем не менее, он понимал большую часть из того, что говорилось. И Гудрун, заинтересовавшаяся им, оставила его в покое.

Однако, когда сегодня она спустилась в бар, он в это время разговаривал с Урсулой. Его красивые черные волосы почему-то вызвали в ее памяти образ летучей мыши – на его округлой, чувственной голове их было мало, а по вискам и того меньше. Он сидел, нахохлившись, словно в душе он и был этой летучей мышью. И Гудрун видела, что он начинает постепенно доверять Урсуле, неохотно, медленно, угрюмо, по крупинкам раскрываясь перед ней. Она подошла и села рядом с сестрой.

Он посмотрел на нее, и отвел взгляд, словно не заметил ее. Но на самом деле она крайне его интересовала.

– Черносливка, ну не интересно ли, – начала Урсула, обращаясь к сестре, – герр Лерке работает над огромным фризом для одной кельнской фабрики, наружным фризом.

Она взглянула на его тонкие бронзовые нервные руки – цепкие, как лапы, как «когти», совершенно не похожие на руки человека.

– *Из чего* он будет? – спросила она.

– *Aus was?* – повторила Урсула.

– *Granit*, – ответил он.

Разговор превратился в лаконичный диалог между соратниками по искусству.

– Какой рельеф? – поинтересовалась Гудрун.

– *Alto relievo*<sup>98</sup>.

– А высота?

Гудрун было очень интересно представлять, как он работает над огромным гранитным фризом для огромной гранитной фабрики в Кельне. Она получила некоторое представление о его замысле. На фризе изображалась ярмарка, крестьяне и ремесленники в современных одеждах, наслаждающиеся развлечениями, – пьяные и потешные, смешно катающиеся на каруселях, глазеющие на представления, целующиеся, спотыкающиеся, дерущиеся, качающиеся на качелях, стреляющие в тирах, – настоящий хаос движения.

Последовал быстрый обмен техническими подробностями. Гудрун была поражена.

– Как же великолепно иметь такую фабрику! – воскликнула Урсула. – А здание красивое?

– О да, – ответил он. – Фриз вписывается в общую архитектуру. Да, это монументальное сооружение.

Затем он успокоился, передернул плечами и продолжил:

– Скульптура и архитектура должны сопровождать друг друга. Прошли дни неуместных статуй, как закончился век фресок. Дело в том, что скульптура всегда является частью замысла архитектора. А поскольку церквям место теперь только в музеях, поскольку теперь нас больше занимает бизнес, так сделаем наше место работы искусством – а нашу фабрику собственным

Парфеноном, эссо!<sup>99</sup>

Урсула задумалась.

– Полагаю, – сказала она, – вовсе не обязательно, чтобы наши крупнейшие фабрики были такими уродливыми.

Он тут же оживился.

– Вот именно! – воскликнул он. – Вот именно! Местам, где мы работаем, не только не обязательно быть уродливыми, но мало того, их уродство, в конце концов, разрушает все

---

<sup>98</sup> *Alto relievo* (ит.) – горельеф.

<sup>99</sup> эссо (ит.) – вот.)



созданное. Люди не будут долго терпеть такое невыносимое уродство. В конце концов, оно их раздавит и из-за него они лишатся своей силы. А это погубит саму *работу*. Они будут думать, что уродлива сама работа: машины, сам процесс труда. В то время как машины и труд необычайно, ослепительно прекрасны. И тогда, когда люди перестанут работать, потому что их чувства будут этому противиться, им будет так невыносимо тошно, что они предпочтут голодать, – вот тогда нашей цивилизации придет конец. *Тогда-то* мы и увидим, как молот используется для разрушения, тогда мы это увидим. Но пока что мы здесь, и у нас есть возможность создавать прекрасные фабрики, прекрасные дома для машины, у нас есть такая возможность.

Гудрун поняла только половину сказанного. Она едва не заплакала от досады.

– Что он говорит? – спрашивала она Урсулу. И Урсула, запинаясь, быстро переводила. Лерке наблюдал за лицом Гудрун, чтобы понять, что она думает.

– Так, значит, вы считаете, – сказала Гудрун, – что искусство должно служить промышленности?

– Искусство должно *истолковывать* промышленность подобно тому, как некогда оно истолковывало религию, – сказал он.

– Но разве ваша ярмарка истолковывает промышленность? – спросила она.

– Разумеется. Чем занимается человек, попадая на такую ярмарку? Он осуществляет деятельность, противоположную труду, – сейчас механизм руководит им, а не он машиной. Он наслаждается механическим движением своего тела.

– Но разве есть работа и только работа – механическая работа? – спросила Гудрун.

– Только работа! – ответил он, наклоняясь вперед, и его глаза напомнили ей два темных колодца, в которых сияет лишь маленькая точка света. – Нет, есть только работа, прислуживание машине или наслаждение механическим движением – движением, этим все сказано. Вы никогда не зарабатывали себе на хлеб, в противном случае вы бы знали, что нас направляет Бог.

Гудрун задрожала и залилась румянцем. Почему-то она едва не заплакала.

– Да, я не зарабатывала себе на хлеб, – ответила она, – но я знаю, что такое работать!

– Travail? – lavoro? – спросил он. – E che lavoro – che lavoro? Quel travail est-ce que vous avez fait?<sup>100</sup>

Он смешал итальянские и французские слова, инстинктивно переходя на иностранный язык, когда хотел ей что-то сказать.

– Вы никогда не работали так, как работает весь мир, – с сарказмом сказал он ей.

– Нет, – ответила она, – работала. И работаю – сейчас я зарабатываю себе на жизнь.

Он помедлил, пристально посмотрел на нее и круто сменил тему разговора. Ему казалось, что она просто бросается словами.

– А разве *вы* работали, как работает весь мир? – спросила его Урсула.

Он недоверчиво посмотрел на нее.

– Да, – угрюмо хмыкнул он. – Я знаю, что такое пролежать три дня в постели из-за того, что тебе нечего есть.

Гудрун смотрела на него расширившимися мрачными глазами, высасывая из него признание, как мозг из его костей. Но его натура не позволяла ему быть откровенным. Однако ее огромные, грустные глаза точно отворили некий клапан в его жилах и вот он уже сам того не желая начал рассказывать.

– Мой отец был из тех людей, которые не любят работать, а матери у нас не было. Мы жили в Австрии, на границе с Польшей. Как мы жили? Ха – как-то да жили! Большую часть времени в комнате с тремя другими семьями – по одной в каждом углу, а в центре у нас было отхожее место – ведро с крышкой, ха! У меня было двое братьев и сестра, а у отца, по-моему, была

---

<sup>100</sup> Работали – работали? А что делали – что делали? Чем вы занимались? (ит., франц.)

женщина. Он на свой лад был свободным человеком – мог подраться с любым человеком в городе – а в нашем городе стоял гарнизон – и в то же время он был маленьким человеком. Но он не стал бы ни на кого работать – он так решил, так и делал.

– Так как же вы жили? – удивилась Урсула.

Он посмотрел на нее – и внезапно перевел взгляд на Гудрун.

– Вы поняли? – спросил он.

– Достаточно, – ответила она.

На мгновение их глаза встретились. Затем он отвел взгляд в сторону. И больше ничего не сказал.

– А как вы стали скульптором? – спросила Урсула.

– Как я стал скульптором... – помедлил он. – *Dunque*<sup>101</sup>... – подытожил он изменившимся голосом и заговорил по-французски. – Когда я достаточно подрос, то воровал на рынке. Позднее я нашел работу – ставил клеймо на глиняные бутылки, прежде чем их отправляли на обжиг. На гончарной фабрике. Там я начал лепить модели. В один прекрасный день я решил, что с меня хватит. Я лежал на солнышке и не ходил на работу. А потом я пешком пошел в Мюнхен, после чего также пешком пошел в Италию – и везде я просил милостыню. Итальянцы хорошо ко мне относились – они были добрыми и почтительными. На всем пути от Бозена до Рима каждый вечер я ел и спал у какого-нибудь крестьянина, пусть даже и на соломе. Я всем сердцем люблю итальянцев. *Dunque, adesso – maintenant* – я зарабатываю тысячу фунтов в год, или же две тысячи...

Его взгляд уперся в пол, он замолчал.

Гудрун взглянула на его хрупкую, тонкую, блестящую кожу, которую покрывал коричнево-красный загар и которая была словно натянута на полные виски; на его редкие волосы – и на пышные, топорщащиеся, похожие на щетку усы, коротко подрезанные над подвижным, довольно бесформенным ртом.

– Сколько вам лет? – спросила она.

Он удивленно взглянул на нее своими гномьими вытаращенными глазами.

– *Wie alt?* – повторил он ее вопрос. И заколебался. Ему явно не хотелось об этом говорить. – А сколько *вам*? – вопросом на вопрос ответил он.

– Мне двадцать шесть, – ответила она.

– Двадцать шесть, – повторил он, глядя ей в глаза. Он замолчал и вдруг сказал: – *Und Ihr Herr Gemahl, wie alt ist er?*<sup>102</sup>

– Кому? – спросила Гудрун.

– Твоему мужу, – с усмешкой сказала Урсула.

– У меня нет мужа, – бросила ей по-английски Гудрун, а по-немецки ответила: – Ему тридцать один год.

Но Лерке пристально наблюдал за ней своими сверхъестественными подозрительными выступающими глазами. В Гудрун было что-то такое, что импонировало ему. Он и впрямь словно был одним из «маленьких человечков», лишенным души, но обретшим друга в человеческом существе. Однако это открытие было для него очень болезненным. Она тоже была им очарована, заморожена, точно с ней заговорило некое причудливое существо, не то кролик, не то летучая мышь, не то тюлень. В то же время она видела, что он не знает, что обладает невероятной проницательностью, что он может понять, какая сила ведет ее по жизни. Он не создавал собственной власти. Он не догадывался, что своими выступающими блестящими настороженными глазами он может заглянуть ей в душу и увидеть, что она из себя представляет, кем является, может прочесть все ее тайны. Ему не нужно, чтобы она была кем-

---

<sup>101</sup> *Dunque, adesso, maintenant* – Итак, сейчас, в настоящее время. (фр. искаж., ит., фр.)

<sup>102</sup> А ваш муж? Ему сколько? (нем.)

то другим – он досконально понимал ее своим глубинным, темным знанием, лишенным примесей из иллюзий и надежд.

Гудрун видела в Лерке каменистое дно жизни. Все остальные держались за свои иллюзии, у каждого обязательно должны были быть прошлое и будущее. Но он с великолепным стоицизмом прекрасно обходился как без прошлого, так и без будущего, давно разделившись со всеми иллюзиями. В конечном итоге он все же не обманывал себя. В конечном итоге его ничто не волновало, ничто не заботило, он не делал ни малейшей попытки куда-нибудь примкнуть. Он представлял собой идеальную, лишенную всяких привязанностей волю, спонтанную и стойкую. Для него существовала только одна работа.

Ее также удивляло, что бедность и порочность его молодости так заинтересовали ее. Образ джентльмена, человека, который выходит в жизнь через школу и университет, казался ей пресным и безвкусным. В ней родилось некое яростное сочувствие к этому порождению грязи. Похоже, он и был настоящим воплощением низменной стороны этой жизни. Ниже, чем он, опускаться было некуда.

Лерке привлекал и Урсулу. Он вызывал почтительное уважение у обеих сестер. Однако бывали мгновения, когда Урсуле казалось, что он, такой вульгарный, стоит неописуемо ниже ее.

А вот Биркин и Джеральд не испытывали к нему ничего, кроме неприязни – Джеральд игнорировал его с презрением, Биркин – с раздражением.

– И что женщины находят такого занимательного в этом заморыше? – спросил Джеральд.

– Да Бог его знает, – ответил Биркин, – если только он не посылает им некие сигналы, которые девушкам льстят и которые позволяют ему заполучить их в свою власть.

Джеральд удивленно посмотрел на него.

– Он *правда* посылает им сигналы? – спросил он.

– О да, – ответил Биркин. – Это абсолютно зависимое существо, которое живет чуть ли не как преступник. А женщин к таким притягивает, словно бабочек к огню.

– Странно, что вот такое их может притягивать, – сказал Джеральд.

– Это-то меня и бесит, – добавил Биркин. – Но их очаровывает, пробуждая в них жалость и отвращение – маленькое грязное чудовище из пучины мрака, вот что он есть такое.

Джеральд неподвижно стоял, погрузившись в мысли.

– И что женщинам нужно там, на самом дне? – спросил он.

Биркин пожал плечами.

– Да кто его знает! – ответил он. – По-моему, удовлетворение от крайнего отвращения. Они словно ползут по некоему воображаемому темному туннелю, и не успокоятся, пока не доползут до конца.

Джеральд выглянул на улицу, где клубилась дымка из мелких снежинок. Сегодня куда ни кинь взгляд, ничего не было видно, совершенно ничего.

– И где же этот конец? – поинтересовался он.

Биркин покачал головой.

– Я там еще не бывал, поэтому не знаю. Спроси Лерке, он, похоже, уже совсем близко. Он продвинулся гораздо дальше, чем нам с тобой когда-нибудь суждено.

– Да, только в чем продвинулся? – раздраженно воскликнул Джеральд.

Биркин вздохнул и на его лбу собрались гневные складки.

– Продвинулся в ненависти к обществу, – сказал он. – Он живет, как крыса, в реке порока, как раз там, где она низвергается в бездонную пропасть. Он гораздо ближе к ней, чем мы с тобой. Он более сильно ненавидит идеал. Он предельно *ненавидит* идеал, но он все еще довлеет над ним. Полагаю, он еврей – или еврей наполовину.

– Возможно, – сказал Джеральд.

– Это гложущее воплощение отрицания, грызущее корень жизни.

– Но почему они так с ним носятся? – воскликнул Джеральд.

– Потому что в душе они тоже ненавидят этот идеал. Им хочется исследовать стоки, а он – та самая волшебная крыса, что плывет впереди всех.

Но Джеральд по-прежнему стоял и смотрел на плотную снежную дымку за окном.

– Вообще-то я не понимаю твоих выражений, – сказал он бесцветным, обреченным голосом. – Но это походит на какую-то причудливую страсть.

– Полагаю, мы хотим одного и того же, – сказал Биркин. – Только мы хотим быстро спрыгнуть вниз, повинаясь некоему экстазу – он же медленно плывет туда, повинаясь потоку, потоку сточных вод.

А тем временем Гудрун и Урсула ждали, когда можно будет вновь поговорить с Лерке. Когда мужчины были рядом, не стоило даже и начинать. Они не могли достучаться до замкнутого маленького скульптора. Он должен был остаться с ними наедине. И он предпочитал, чтобы рядом была Урсула, которая играла роль посредника в передаче его мыслей Гудрун.

– Вы занимаетесь только архитектурной скульптурой? – как-то вечером спросила его Гудрун.

– Только сейчас, – ответил он. – А так я испробовал все – кроме портретов – вот портреты я никогда не делал. Но все остальное...

– Что именно? – настаивала Гудрун.

Он помедлил мгновение, а затем поднялся и вышел из комнаты. Возвратился он почти сразу же, держа в руках маленький бумажный сверток, который он передал девушке. Она развернула его. Это была фотогравюрная репродукция статуэтки, подпись гласила: Ф. Лерке.

– Это довольно ранняя работа – *еще* лишенная механизма, – сказал он, – более легкая для понимания.

Статуэтка изображала обнаженную девушку – маленькую, изящно сложенную – сидящую на огромной лошади без седла. Девушка была молодой и нежной, нераспустившимся бутонem. Она боком сидела на лошади, забыв обо всем и прижав ладони к лицу, словно ей было стыдно и горько. Ее короткие волосы, должно быть, льняные, двумя волнами спадали вперед, наполовину закрывая руки.

Ее конечности были нежными и неразвитыми. Ее ноги, которые совсем недавно начали обретать свою форму, ноги девы, только еще вступающей в жестокую пору женственности, по-детски беспомощно и жалко свисали с бока мощной лошади, одна маленькая ножка обнимала другую, словно пытаясь ее спрятать. Но прятаться было некуда. Она, нагая, сидевшая на непокрытом лошадином торсе, была открыта всем взглядам.

Лошадь стояла, как вкопанная, замерев в каком-то удивлении. Это был огромный, великолепный жеребец, каждый мускул которого играл скрытой силой. Его шея была грозно изогнута, точно лук, мощные напряженные бока были поджарыми.

Гудрун побледнела, и тьма, похожая на стыд, заволокла ее глаза. Она умоляюще посмотрела на него, точно рабыня. Он взглянул на нее и его голова едва заметно дернулась.

– Какого она размера? – бесцветным голосом спросила она, упорно пытаясь казаться такой же, как и всегда, делать вид, что с ней все в порядке.

– Какого размера? – ответил он, вновь переводя на нее взгляд. – Без пьедестала такая, – он показал рукой, – с пьедесталом – такая.

Он пристально смотрел на нее. Этим быстрым жестом он выразил резкость и крайнее презрение к ней, и она вся съежилась.

– А из какого материала она выполнена? – спросила она, вскидывая голову и глядя на него с напускной холодностью.

Он все еще пристально разглядывал ее – ей не удалось лишить его власти над ней.

– Из бронзы – зеленой бронзы.

– Зеленой бронзы! – повторила Гудрун, стоически принимая его вызов.

Она думала о стройных, незрелых, нежных девичьих ногах, которые, будучи выполненными из зеленой бронзы, должны были быть гладкими и холодными.

– Да, прекрасно, – пробормотала она, поднимала на него глаза, в которых читалось какое-то мрачное поклонение.

Он закрыл глаза и ликующе отвернулся в сторону.

– Но почему, – сказала Урсула, – почему вы сделали лошадь такой скованной? Она скованная, точно окоченевший труп.

– Скованная? – повторил он, мгновенно ощетинившись.

– Да. *Смотрите*, это настоящая тупая и безмозглая скотина. Лошади же на самом деле чуткие животные, очень нежные и чуткие.

Он пожал плечами и медленно развел руки в безразличном жесте, словно желая тем самым показать ей, что в этом вопросе она дилетант и нахальная выскочка.

– Wissen Sie, – сказал он, с оскорбительной терпеливостью и снисходительностью в голосе, – эта лошадь есть некая *форма*, часть целостной формы. Это часть произведения искусства, часть формы. Видите ли, это вам не изображение дружелюбной лошади, которую вы балуете кусочком сахара – это часть произведения искусства и она не связана ни с чем иным, кроме как с этим самым произведением искусства.

Урсула, которую задело, что он обращается к ней с такой оскорбительной снисходительностью, словно снисходит с высоты искусства, доступного лишь посвященным, на лишенный таинственности общий уровень дилетанта, с горячностью ответила, залившись краской и поднимая голову.

– Но, тем не менее, это *все же* изображение лошади.

Он вновь пожал плечами.

– Да уж, это определенно не изображение коровы.

Тут в разговор вмешалась Гудрун, вспыхнувшая румянцем и сверкнувшая глазами, которой очень хотелось избежать этого и больше не слушать, как дуреха Урсула упорно выдает свое невежество.

– Что ты имеешь в виду, говоря «изображение лошади»? – воскликнула она, обращаясь к сестре. – Что ты подразумеваешь, говоря «лошадь»? Ты подразумеваешь идею, которая рождается в *твоей* голове и которую ты хочешь воплотить в жизнь. Это же другая идея, совершенно другая идея. Хочешь, называй ее лошадью, а хочешь – не называй. У меня столько же прав сказать, что *твоя* лошадь это никакая не лошадь, что это обман твоего воображения. Урсула, остолбенев, заколебалась. Но слова сами вырвались из ее рта.

– Но почему у него такое представление о лошади? – спросила она. – Я знаю, что это его представление. Я знаю, что на самом деле это изображение его самого...

Лерке яростно захрипел.

– Мое изображение! – насмешливо бросил он. – Wissen sie, gn#228;dige Frau, это есть Kunstwerk, произведение искусства. Это произведение искусства, а никакое не изображение, оно ничего не изображает. Оно не связано ни с чем, кроме себя самого, повседневная жизнь не имеет к нему никакого отношения, между ними нет никакой связи, абсолютно никакой, это две разных и непересекающихся плоскости бытия, поэтому истолковывать одно, руководствуясь другим даже хуже, чем простая глупость, это значит испортить замысел, посеять везде зерно хаоса. Понимаете, *нельзя* смешивать относительный мир действия с абсолютным миром искусства. Этого делать *нельзя*.

– Это совершенно верно, – воскликнула Гудрун, погрузившаяся в какой-то транс. – Эти два понятия полностью и навечно разведены, у них нет *ничего* общего. *Я* и мое искусство, они никак друг с другом не связаны. Мое искусство находится в другом мире, я же существо из этого мира.

Ее лицо было пунцовым и одухотворенным. Лерке, который сидел, повесив голову, словно загнанное животное, быстро, украдкой посмотрел на нее и пробормотал:

– Ja – so ist es, so ist es.<sup>103</sup>

После такой вспышки Урсула замолчала. Она была в ярости. Ей хотелось пристрелить их обоих.

---

<sup>103</sup> Да, так оно и есть, так и есть. (нем.)



– Во всей этой чуши, что вы заставили меня выслушать, нет ни слова правды, – равнодушно заключила она. – Лошадь изображает вашу собственную тупую животную сущность, а девушка – это та, которую вы любили, измучали, а затем перестали замечать.

Он посмотрел на нее с легкой презрительной улыбкой в глазах. На этот последний выпад он даже не потрудился ответить.

Гудрун тоже молчала, охваченная раздражением и презрением. Урсула здесь *была* совершенно наглым чужаком, который топчется там, где ангелы боятся ступить. Но – глупцам нужно если не радоваться, то, по крайней мере, терпеть.

Однако Урсула тоже была упорной.

– Что касается вашего мира искусства и вашего реального мира, – ответила она, – вам приходится их разделять, потому что вам невыносимо видеть, что вы из себя представляете. Вам невыносимо видеть, что животная, окоченевшая, толстокожая грубость – это вы *сами*, поэтому вы заявляете, что «это мир искусства». Мир искусства это всего лишь правда о реальном мире, вот и все – но вы слишком далеко забрались, чтобы это видеть.

Она хоть и дрожала, побледнев, но была полна решимости. Гудрун и Лерке чувствовали к ней крайнюю неприязнь. Как и Джеральд, который вошел в самом начале ее монолога и который стоял и смотрел на нее с абсолютным неодобрением и осуждением. Он чувствовал, что она была недостойна этого, что она свела к банальности таинство, которое делало человека избранным. Он присоединил свое мнение к мнениям тех, остальных. Всем троим хотелось, чтобы она ушла. Но она продолжала молча сидеть, и только душа ее проливали слезы, содрогаясь в безудержных рыданиях, она же лишь вертела в пальцах платок.

Никто не осмеливался нарушить мертвую тишину, потому что всем хотелось, избавиться от воспоминаний о том, как Урсула нарушила запретную зону. Наконец Гудрун спросила холодным, обыденным голосом, словно начиная ничего не значащий разговор:

– Эта девушка была моделью?

– Nein, sie war kein Modell. Sie was eine kleine Malschlerin.<sup>104</sup>

– Ученица художественной школы! – воскликнула Гудрун.

И теперь ей стало все понятно! Она видела эту девушку, ученицу художественной школы, еще несформировавшуюся, но опасно легкомысленную, слишком юную, чьи прямые льняные коротко подстриженные волосы, свисавшие до шеи, слегка загибались внутрь под собственной тяжестью; она видела Лерке, знаменитого мастера-скульптора, и эта девочка, возможно, получившая хорошее воспитание, из хорошей семьи, решила, что она такая замечательная, что может стать его любовницей. О, как же хорошо она знала, к чему приводит подобное отсутствие опыта! Дрезден, Париж, Лондон, – какая разница? Она все про это знала.

– Где она сейчас? – спросила Урсула.

Лерке передернул плечами, показывая, что он ничего не знает, да ему и все равно.

– Это было почти шесть лет назад, – сказал он, – сейчас ей должно быть уже двадцать три, что тут говорить.

Джеральд взял рисунок и взгляделся в него. В нем было что-то, что притягивало и его. На пьедестале он увидел название: «Леди Годива»<sup>105</sup>.

– Но это же не леди Годива, – добродушно улыбаясь, сказал он. – Та была женой какого-то графа, причем женщиной средних лет, которая закрыла свое тело длинными волосами.

– На манер Мод Аллен, – с насмешливой гримасой бросила Гудрун.

---

<sup>104</sup> Нет, это не модель. Она была ученицей в художественной школе. (нем.)

<sup>105</sup> Леди Годива – жена английского графа, которая решила проехать по улицам города обнаженной верхом на коне ради того, чтобы избавить простых людей от притеснений своего мужа.

– Почему Мод Аллен? – переспросил он. – Разве все было не так? Мне казалась, что в легенде все обстояло именно таким образом.

– Да, дорогой мой Джеральд, я абсолютно уверена, что ты правильно понял легенду.

Она смеялась над ним, и в ее смехе слышалось легкое, насмешливо-ласковое презрение.

– Если говорить прямо, я бы скорее увидел женщину, чем волосы, – также со смехом ответил он.

– Кто бы сомневался! – насмеялась Гудрун.

Урсула поднялась и вышла, оставив их втроем.

Гудрун взяла у Джеральда рисунок, и, сев обратно, пристально разглядывала его.

– Разумеется, – сказала она, оборачиваясь к Лерке и решив на этот раз подразнить его, – вы *поняли* свою маленькую ученицу.

Он поднял брови и безмятежно пожал плечами.

– Эту малышку? – спросил Джеральд, показывая на фигурку.

Гудрун держала рисунок на коленях. Она подняла голову и пристально посмотрела Джеральду в глаза, – ему показалось, что его ослепили.

– *Разве* он не понял ее! – сказала она Джеральду с легкой насмешливой игривостью. – Только посмотри на ее ступни – какие они милые, такие хорошенькие, нежные – о, они поистине замечательные, правда...

Она медленно подняла горячий пламенный взгляд на Лерке. Его душа наполнилась жаркой признательностью, он даже будто распрямился, приосанился.

Джеральд посмотрел на маленькие ножки скульптуры. Они были сложены, одна наполовину прикрывала другую с жалкой застенчивостью и испугом. Он долгое время зачарованно смотрел на них. И вдруг отложил рисунок, словно бумага причинила ему боль. Он ощутил, что его душа наполнена пустотой.

– Как ее звали? – спросила Гудрун Лерке.

– Аннета фон Век, – задумчиво отозвался Лерке. – Ja, sie war h&#252;bsch<sup>106</sup>. Она была хорошенькой, но назойливой. Она была сущим наказанием – ни минуты не могла посидеть спокойно – только когда я ударил ее и она заплакала, вот тогда только она высидела пять минут.

Он вспоминал, как работал, думал о своей работе, о единственном в жизни, что имело для него значение.

– Вы правда ее ударили? – осуждающе спросила Гудрун.

Он взглянул на нее и прочел в ее глазах вызов.

– Да, правда, – беззаботно ответил он, – ударил сильнее, чем кого-либо за всю свою жизнь. Мне пришлось, пришлось. Только так я мог закончить работу.

Гудрун несколько мгновений наблюдала за ним огромными, мрачными глазами. Казалось, она изучала его душу. А потом без единого слова опустила взгляд.

– Так почему ваша Годива такая молодая? – осведомился Джеральд. – Она такая маленькая, да еще по сравнению с лошадьё – она недостаточно большая, чтобы управлять ей – настоящий ребенок.

По лицу Лерке пробежала странная судорога.

– Да, – сказал он, – более взрослые мне не нравятся. Они такие прекрасные, когда им шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет – а после этого возраста они меня не интересуют.

Повисла пауза.

– Почему же? – поинтересовался Джеральд.

Лерке пожал плечами.

– Не нахожу в них ничего интересного – или красивого, они для меня бесполезны, бесполезны для моей работы.

---

<sup>106</sup> Да, она была хорошенькой. (нем.)

– То есть вы хотите сказать, что после двадцати женщина теряет свою красоту? – спросил Джеральд.

– Для меня да. Пока ей нет двадцати, она маленькая, свежая, нежная и легкая. А после двадцати пусть она будет такой, какой ей хочется быть, для меня она пустое место. Венера Милосская – это порождение буржуазии, они тоже.

– И вам совершенно безразличны женщины, которым за двадцать? – продолжал допрос Джеральд.

– Они мне ничего не дают, они непригодны для моего искусства, – нетерпеливо повторял Лерке. – Я не считаю их красивыми.

– Вы просто эпикуреец<sup>107</sup>, – сказал Джеральд с легкой саркастической ухмылкой.

– А мужчины? – внезапно спросила Гудрун.

– Да, мужчины хороши в любом возрасте, – ответил Лерке. – Мужчина должен быть большим и властным – старый он или молодой, неважно; у него есть некая масса, увесистость и – и грубая форма.

Урсула в полном одиночестве вышла в мир девственно-белого, только что выпавшего снега. Но ослепляющая белизна, казалось, наваливалась на нее, пока ей не стало больно – ей показалось, что холод медленно душит ее. У нее кружилась голова, она ничего не чувствовала.

И внезапно, каким-то чудом она вспомнила, что где-то там, за этими горами, под ней, лежит темная плодородная земля, что к югу простирается земля, темнеющая под апельсиновыми деревьями и кипарисами, серая от оливок, тех родичей падубов, в тени которых под голубым небом зреют восхитительные мясистые плоды. Чудо из чудес! Этот молчаливый, замороженный мир снежных вершин существовал не везде! Можно было покинуть его и забыть о нем навеки. Можно было уехать.

Ей тут же захотелось осуществить эту мечту. На данный момент ей хотелось разделаться с этим заснеженным миром, с чудовищными, застывшими во льдах горными вершинами. Ей хотелось увидеть черную землю, ощутить запах ее реальности, ее плодородия, увидеть, как растения терпеливо переживают зиму и почувствовать, как почки реагируют на прикосновение солнечного луча.

Она радостно вернулась в дом – теперь у нее была надежда. Биркин лежал в кровати и читал.

– Руперт, – обрушила она на него эту новость, – я хочу уехать.

Он медленно поднял на нее глаза.

– Правда? – мягко спросил он.

Она села рядом с ним и обвила руками его шею. Она не понимала, почему он почти не удивился.

– А ты не *хочешь*? – озабоченно спросила она.

– Я об этом не думал, – сказал он. – Но думаю, что хочу.

Она внезапно выпрямилась.

– Ненавижу, – сказала она, – ненавижу снег, он такой неестественный, он освещает всех каким-то неестественным светом, призрачным блеском, и пробуждает в людях неестественные чувства.

Он неподвижно лежал и задумчиво посмеивался.

– Ну, – сказал он, – мы можем уехать – можем уехать завтра. Завтра мы отправимся в Верону, станем Ромео и Джульеттой, будем сидеть в амфитеатре – согласна?

Она с какой-то нерешительностью и застенчивостью спрятала лицо у него на плече. Он продолжал лежать.

– Да, – мягко сказала она, чувствуя облегчение. Она чувствовала, что у ее души выросли новые крылья, раз он был согласен. – Мне бы очень хотелось, чтобы мы стали Ромео и Джульеттой, – сказала она. – Любимый мой!

---

<sup>107</sup> Эпикуреец – человек с утонченным вкусом, наслаждающийся жизнью.

– Хотя в Вероне дуют страшно холодные ветра, – сказал он, – они прилетают из Альп. Мы будем чувствовать запах снега.

Она села и взглянула на него.

– Ты рад, что мы уезжаем? – озабоченно спросила она.

Его непроницаемые глаза смеялись. Она спрятала лицо на его груди, умоляюще прильнув к нему.

– Не смейся, не смейся надо мной.

– Это еще почему? – рассмеялся он, обнимая ее.

– Потому что я не хочу, чтобы надо мной смеялись, – прошептала она.

Он еще веселее рассмеялся, целуя ее тонкие, нежно пахнущие волосы.

– Ты любишь меня? – крайне серьезно прошептала она.

Внезапно она подставила губы для поцелуя. Ее губы были сомкнутыми, дрожащими и напряженными, его – мягкими, приоткрытыми и нежными. Он на несколько мгновений замер в поцелуе. И волна грусти поднялась в его душе.

– Твои губы такие твердые, – сказал он со слабым укором.

– А твои такие нежные и мягкие, – радостно сказала она.

– Но почему ты всегда сжимаешь губы? – разочарованно спросил он.

– Неважно, – быстро ответила она. – Такая уж я.

Она знала, что он любит ее, она была в нем уверена. Однако она не выносила, когда кто-то пытался подчинить ее себе, ей не нравилось, что он допрашивал ее. Она с восторгом отдавала себя, позволяя ему себя любить. Она чувствовала, что, несмотря на всю радость, которую он испытал, когда она отдала себя ему, ему тоже стало немного грустно. Она подчинялась тому, что он делал. Но она не могла стать собой, она не *осмеливалась* обнажить свою сущность и встретиться с его обнаженной сущностью, отказавшись от всех примесей, забывшись вместе с ним в порыве веры. Она либо отдавала себя *ему*, либо же подчиняла его себе и наслаждалась им. Она наслаждалась им без остатка. Но они никогда не переживали *полную* близость одновременно, один из них все время отставал. Тем не менее, она радовалась надежде, она ликовала и чувствовала себя свободной, чувствовала, что жизнь и свобода бурлят в ней. А он некоторое время оставался неподвижным, мягким и терпеливо ждал.

Они сделали все необходимые приготовления, собираясь уехать на следующий день. Для начала они пошли в комнату Гудрун, где они с Джеральдом только что переоделись к ужину.

– Черносливка, – сказала Урсула, – думаю, завтра мы уедем. Не могу больше выносить этот снег. Он ранит мою кожу и мою душу.

– Он и правда ранит душу, Урсула? – несколько удивленно спросила Гудрун. – Я согласна, что он ранит кожу – это *ужасно*. Но мне казалось, что душа от него только *ликует*.

– Нет, только не моя. Он ранит ее, – сказала Урсула.

– Вот как! – воскликнула Гудрун.

В комнате воцарилось молчание. И Урсула и Биркин почувствовали, что Гудрун и Джеральд почувствовали облегчение, узнав об их отъезде.

– Вы поедете на юг? – спросил Джеральд, и в его голосе послышалась скованность.

– Да, – сказал Биркин, отворачиваясь.

В последнее время между мужчинами установилась непонятной природы враждебность. С самого своего приезда Биркин был рассеянным и безразличным ко всему, он отдался на волю призрачных, легких волн, никем не замечаемый и терпеливо выжидающий; Джеральд же напротив был постоянно напряжен и заключен в кольцо белого света, непрестанно ведя борьбу. Оба они вызывали друг в друге неприязненные чувства.

Джеральд и Гудрун были очень добры к отъезжающим, желая им всего наилучшего, как делают это дети. Гудрун пришла в спальню Урсулы, держа в руках три пары ярких чулок, за страсть к которым она обрела нежеланную известность, и бросила их на кровать. Это были шелковые чулки – красно-оранжевые, васильково-синие и серые, все купленные ею в Париже. Серые чулки были вязаные, тяжелые, без единого шва.

Урсула была в смятении. Она знала, что Гудрун должна была *очень* любить ее, раз была готова расстаться с такими ценностями.

– Я не могу отнять их у тебя, Черносливка! – вскричала она. – Я ни в коем случае не могу лишить тебя их – этих сокровищ.

– *Правда ведь*, они настоящие сокровища? – воскликнула Гудрун, с завистью рассматривая подарки. – *Правда ведь*, они прекрасны!

– Да, ты *обязана* оставить их себе, – сказала Урсула.

– Они мне *не нужны*, у меня есть еще три пары. Я *хочу*, чтобы ты взяла их – я хочу, чтобы ты их взяла. Они твои, вот... – и дрожащими взволнованными руками она засунула любимые чулки Урсуле под подушку.

– От прекрасных чулок получаешь самое настоящее удовольствие, – сказала Урсула.

– Верно, – согласилась Гудрун, – самое великолепное удовольствие.

И она села на стул. Было очевидно, что она пришла поговорить на прощание. Урсула, не зная, чего хотела ее сестра, молча ждала.

– Как ты *считаешь*, Урсула, – довольно скучным тоном начала Гудрун, – ты уезжаешь навсегда и никогда больше не вернешься? Так обстоят дела?

– О, мы вернемся, – возразила Урсула. – Дело ведь не в переездах.

– Да, я понимаю. Но в духовном плане, так сказать, вы уезжаете от всех нас?

Урсула вздрогнула.

– Я не знаю, что с нами произойдет, – сказала она. – Знаю только, что мы куда-то едем.

Гудрун помедлила.

– Ты довольна? – спросила она.

Урсула на мгновение задумалась.

– Полагаю, я *очень* довольна, – ответила она.

Но Гудрун все поняла, увидев в лице сестры непроизвольное свечение, а не прислушиваясь к ее неуверенному голосу.

– А ты не думаешь, что тебе *захочется* возобновить старые связи – с отцом и со всеми нами, Англией, раз уж на то пошло, и миром мысли – ты не думаешь, что тебе понадобится все что в твоём мире?

Урсула молчала, пытаясь представить себе это.

– Я думаю, – вырвалось у нее через какое-то время, – что Руперт прав – когда тебе хочется жить в новом мире, ты падаешь в него из старого мира.

Гудрун пристально наблюдала за сестрой с бесстрастным лицом.

– Я вполне согласна, что человеку хочется жить в новом мире, – сказала она. – Но я *считаю*, что новый мир – это продолжение старого, и что если ты запираешься там наедине с одним человеком, то ты вовсе не обретаешь новый мир, ты просто замыкаешься в своих собственных иллюзиях.

Урсула выглянула в окно. В душе она начала сопротивляться и ей стало страшно. Она всегда боялась слов, так как понимала, что сила высказывания всегда могла заставить ее поверить в то, во что она на самом деле никогда не верила.

– Возможно, – сказала она, чувствуя недоверие как к себе самой, так и ко всему остальному. –

Но, – добавила она тут же, – я *считаю*, что нельзя обрести ничего нового до тех пор, пока тебя заботит старое – понимаешь, о чем я? – даже простая борьба с прежним миром означает, что ты все еще его часть. А раз так, значит, оно того не стоит.

Гудрун поправилась.

– Да, – согласилась она. – В некотором смысле человек создан из того мира, в котором он живет. Но разве мы не заблуждаемся, думая, что из него можно выбраться? В любом случае, коттедж в Абруцци<sup>108</sup> или где-нибудь еще – это не новый мир. Нет, единственное, на что пригоден мир, так это на то, чтобы дождаться его конца.

---

<sup>108</sup> Абруцци – область в Центральной Италии.



Урсула отвела взгляд. Ее пугал этот спор.

– Но ведь *может* быть что-то еще, разве нет? – спросила она. – Можно увидеть его закат в своей душе, причем задолго до того, как конец наступит в реальном мире. А когда ты увидел свою душу, ты становишься чем-то иным.

– А разве *можно* увидеть конец света в своей душе? – спросила Гудрун. – Если ты говоришь, что можно увидеть конец всему, чему суждено случиться, то тут я с тобой не соглашусь. Я просто не могу согласиться. В любом случае, ты же не перенесешься внезапно на новую планету, только потому, что будешь думать, что можешь увидеть закат этой планеты. Урсула внезапно выпрямилась.

– Да, – сказала она. – Да, я знаю. У меня больше нет связей с этим миром. У меня другая сущность, которая принадлежит другой планете, не этой. Нужно только прыгнуть.

Гудрун несколько мгновений раздумала над этим. И на ее лице появилась насмешливая, едва ли не презрительная усмешка.

– А что будет, если ты окажешься в вакууме? – язвительно вскричала она. – В конце концов, здесь царят одни и те же идеи. Вы, которые ставите себя выше других, не можете отрицать того, например, что любовь – это самое высшее начало, как на небе, так и на земле.

– Нет, – сказала Урсула, – все не так. Любовь слишком человечна и слишком ограничена. Я верю в то, что неподвластно человеку, и чего любовь является только малой частичкой. Я верю, что то, что суждено нам осуществить, приходит к нам из неведомого, и это что-то бесконечно превышающее любовь. Это нечто не принадлежит человеку.

Гудрун пристально смотрела на Урсулу спокойным взглядом. Она одновременно и восхищалась сестрой и презирала ее. И внезапно она отвернулась и холодно и угрюмо произнесла:

– Ну, дальше любви я пока что не продвинулась.

В мозгу Урсулы пронеслась мысль: «Ты никогда *не любила*, поэтому-то ты и не можешь вырваться за пределы любви».

Гудрун поднялась, подошла к Урсуле и обвила рукой ее шею.

– Иди и ищи свой новый мир, дорогая, – и в ее голосе звенела неискренняя доброжелательность. – В конце концов, самое приятное путешествие – это поиск Благословенных Островов твоего Руперта.

Ее рука замерла на шее Урсулы, она прикоснулась пальцами к щеке Урсулы. Последняя же почувствовала себя очень неуютно. В покровительственном отношении Гудрун чувствовалось желание обидеть, и Урсуле было слишком больно. Почувствовав сопротивление, Гудрун неловко отстранилась, перевернула подушку и опять показала чулки.

– Ха-ха! – деланно рассмеялась она. – Только послушай, о чем мы говорим – о новых и старых мирах!

И они принялись обсуждать более земные темы.

Джеральд и Биркин пошли вперед, ожидая, когда их нагонят сани, увозившие отъезжающих.

– Сколько вы еще здесь пробудете? – спросил Биркин, смотря на очень красное, почти ничего не выражающее лицо Джеральда.

– О, не могу сказать, – ответил тот. – Пока нам не надоест.

– Не боитесь, что снег растает прежде? – спросил Биркин.

Джеральд рассмеялся.

– А он тает? – спросил он.

– Так значит все в порядке? – продолжал Биркин.

Джеральд слегка прищурился.

– В порядке? – переспросил он. – Я никогда не понимал, что означают эти простые слова. Все в порядке и все не в порядке, разве в какой-то момент они не начинают означать одно и то же?

– Может и так. А как насчет возвращения? – спросил Биркин.

– О, не знаю. Мы можем никогда не вернуться. Я не оглядываюсь назад и не смотрю вперед, – сказал Джеральд.

– ...И не говорю о том, чего нет, – продолжил Биркин.

Джеральд устремил вдаль рассеянный взор своих ястребиных глаз, зрачки в которых стали совсем крохотными.

– Нет, я чувствую, что конец близок. Мне кажется, Гудрун станет моей погибелью. Не понимаю – она такая нежная, ее кожа похожа на шелк, ее руки тяжелые и мягкие. Почему-то это иссушает мое сознание, выжигает мой разум.

Он отошел на несколько шагов, все также глядя вперед, не отрывая взгляда. Его лицо походило в этот момент на маску, используемую в каком-то ужасном религиозном культе.

– От этого мое сердце и моя душа разрываются на части, – говорил он, – и я больше не могу видеть. Однако мне *хочется* оставаться слепым, мне *хочется*, чтобы все рвалось на части, я не хочу, чтобы все было иначе.

Он говорил, словно в трансе, слова лились произвольно, а на лице застыло бесстрастное выражение. Внезапно он сбросил с себя эти чары и злобно, но подавленно, взглянул на Биркина и сказал:

– Знаешь ли ты, что такое испытывать страдания в объятиях женщины? Она такая красивая, такая совершенная, она кажется тебе *такой хорошей*, она разрывает тебя на куски, словно шелковую тряпку. Каждое прикосновение, каждое мгновение врезается в тебя каленым железом – ха, вот оно, совершенство, когда ты взрываешься, когда ты разлетаешься на мелкие кусочки! А после... – он остановился на снегу и внезапно разомкнул сжатые в кулаки руки, – а после нет ничего – твой мозг превратился в обугленные осколки и – он повел вокруг странным театральным движением – все разлетелось. Ты ведь понимаешь о чем я – это божественный опыт, нечто конечное – и вот – ты иссыхаешь, словно тебя ударила молния.

Он шел молча. Его поведение выглядело как бравада, но это было искренняя бравада доведенного до отчаяния человека.

– Разумеется, – продолжал он, – я никогда бы такого не испытал! Это идеальный опыт. А она чудесная женщина. Но – как же я ее иногда ненавижу! Даже удивительно...

Биркин взглянул на него странным, почти бессознательным взглядом. Джеральд, казалось, ничего не чувствовал, хотя и говорил такое.

– Но, может, тебе уже достаточно? – спросил Биркин. – Ну получил ты то, что тебе было нужно. Зачем же беречь старую рану?

– О, – ответил Джеральд, – понятия не имею. Но ничего еще не закончено.

И они пошли дальше.

– Я любил тебя так же, как любила Гудрун, не забывай, – с горечью сказал Биркин.

Джеральд посмотрел на него странно и рассеянно.

– Правда? – сказал он с ледяной иронией. – Или ты думал, что любишь?

Он едва осознавал, что говорит.

Подъехали сани. Из них вышла Гудрун, и они распрощались. Им всем хотелось поскорее расстаться. Биркин сел на свое место, и сани покатились прочь, а Гудрун и Джеральд остались на снегу и махали им вслед. В сердце Биркина прокрался холод, когда он увидел, как одиноко они стоят на снегу, постепенно уменьшаясь и становясь все более одинокими.

## Глава XXXI

### В объятиях снега

Когда Урсула и Биркин уехали, Гудрун почувствовала, что теперь ничто не мешает ее битве с Джеральдом. По мере того, как они все больше и больше привыкали друг к другу, он казался,

все больше и больше давил на нее. Сперва ей удавалось с ним справляться и ее воля оставалась только ее волей. Но очень скоро он начал игнорировать ее женские хитрости, перестал уважительно относиться к ее капризам и личным потребностям – он требовал слепого подчинения себе, не обращая внимание на то, что нужно ей.

Назревал серьезный конфликт, который пугал обоих. Но он был одинок, в то время как она постепенно начала выходить во внешний мир.

Когда Урсула уехала, Гудрун ощутила, что ее собственная жизнь потеряла смысл, стала примитивной. Она в полном одиночестве сидела в своей спальне и разглядывала крупные мерцающие звезды. Прямо перед ней странной тенью возвышалась гора. Здесь было центр всего. Она ощущала какую-то странную неотвратимость, словно она стояла в месте, которое было средоточием всего сущего, где больше ничего не существовало.

– Ты сидишь одна в темноте? – спросил он.

И по его тону она поняла, что ему это не нравится, что ему неприятно уединение, на которое она сама себя обрекла. Но хотя она сидела, замерев на месте, и ожидая, что будет дальше, она испытывала к нему только теплые чувства.

– Если хочешь, зажги свечу, – сказала она.

Он не ответил, но подошел и стал за ее спиной, скрытый мраком.

– Посмотри, – сказала она, – на ту чудесную звезду. Не знаешь, как она называется?

Он приблизился к ней вплотную и, нагнувшись, выглянул в окно.

– Нет, – сказал он. – Она очень изящная.

– *Разве* она не прекрасна! Ты заметил, как она испускает разноцветные лучи – она и правда очень красиво сверкает...

Они сидели в тишине. Не произнося не слова, она опустила руку на его колено и взяла его за руку.

– Ты грустишь, что Урсула уехала? – спросил он.

– Нет, вовсе нет, – сказала она, а затем медленно спросила: – Как сильно ты меня любишь?

Он замкнулся в себе.

– А как ты думаешь, как сильно? – спросил он.

– Я не знаю, – ответила она.

– Но как, по-твоему? – спросил он.

Повисла пауза. Через некоторое время в темноте раздалось жесткое и безразличное:

– На самом деле ты меня почти не любишь, – холодно и едва ли не дерзко ответила она.

При звуке ее голоса кровь заледенела у него в жилах.

– Почему же я не люблю тебя? – поинтересовался он, понимая, что ее обвинение истинно и ненавидя ее за это.

– Не знаю – я относилась к тебе хорошо. Ты пришел ко мне в *ужасном* состоянии.

Ее сердце билось так сильно, что она едва могла дышать, однако она оставалась сильной и безжалостной.

– Я был в ужасном состоянии? – переспросил он.

– Когда ты впервые ко мне пришел. Я *пожалела* тебя. Но любви никогда не было.

Эта фраза, «любви никогда не было», безумным гулом отдавалась в его ушах.

– Зачем тебе так часто повторять, что любви нет? – спросил он голосом, полным сдерживаемой ярости.

– Ты ведь не *думаешь*, что любишь меня? – спросила она.

Он молчал, охваченный ледяным гневом.

– И ты же не думаешь, что *можешь* любить меня, так? – почти язвительно усмехнулась она.

– Нет, – сказал он.

– Ты же знаешь, что *никогда* меня не любил, так?

– Я не знаю, что ты понимаешь под любовью, – ответил он.

– Нет, понимаешь. Ты прекрасно знаешь, что никогда меня не любил. Разве не так?

– Так, – сказал он, упорно следуя голосу истины.

– И ты никогда меня *не полюбишь*, – подытожила она, – не так ли?

В ней чувствовался какой-то дьявольский, невыносимый холод.

– Нет, – согласился он.

– А в таком случае, – ответила она, – чего же ты от меня хочешь?

Он молчал, ощущая лишь холод, испуг, ярость и отчаяние. «Если бы только я мог убить ее, – беспрестанно раздавался шепот в его сердце. – Если бы только я мог убить ее, я стал бы свободным».

Ему казалось, что только смерть могла разрубить этот Гордиев узел.

– Зачем ты мучаешь меня? – спросил он.

Она обвила руками его шею.

– О, я вовсе не хочу мучить тебя, – успокаивающе сказала она, словно утешая ребенка.

От такой дерзости у него похолодело сердце, он перестал воспринимать окружающий мир.

Ликуя, что ей удалось вновь окутать его сочувствием, она не выпускала его шею из кольца своих объятий. Но это сочувствие было мертвенно-холодным, потому что в его основе лежали ненависть и боязнь, что он вновь подчинит ее себе, – а этому она постоянно должна была сопротивляться.

– Скажи, что любишь меня, – умоляюще попросила она. – Скажи, что будешь любить меня вечно – ну скажи, скажи!

Ее голос ласково обволакивал его. Однако в ее чувствах не было места для него, она уничтожала его своим холодным взглядом. А настойчивые требования выдвигала ее неумолимая *воля*.

– Ну скажи, что будешь любить меня вечно, – мягко настаивала она. – Скажи, пусть это и не правда, ну же, Джеральд, скажи.

– Я всегда буду любить тебя, – повторил он, с трудом выдавливая из себя слова.

Она быстро поцеловала его.

– Представь, что эти слова шли от сердца, – сказала она с добродушной усмешкой.

Он стоял с побитым видом.

– Попытайся любить меня немного больше, а желать немного меньше, – добавила она полупрезрительно, полуласково.

Тьма волнами накатывала на его рассудок – огромными темными волнами. Ему казалось, что она унизила само средоточие его сущности, что ей казалось, что с ним не стоит даже и считаться.

– То есть ты говоришь, что не хочешь меня? – спросил он.

– Ты такой настойчивый, в тебе так мало изящества, так мало утонченности. Ты такой грубый. Ты хочешь сломить меня – растратить мою силу, я этого очень боюсь.

– Боишься? – повторил он.

– Да. Теперь, когда Урсула уехала, мне хотелось бы иметь отдельную комнату. А ты можешь сказать, что тебе понадобилась гардеробная.

– Делай, как знаешь, – можешь даже уехать, если хочешь, – удалось произнести ему.

– Да, я это понимаю, – ответила она. – Ты тоже можешь. Можешь оставить меня в любом месте – и можешь мне даже об этом не сообщать.

Его разум погрузился во тьму, он едва держался на ногах. Его охватила страшная слабость, он почувствовал, что может рухнуть на пол.

Сбросив одежду, он упал на кровать и лежал там, как лежит человек, на которого нахлынул мрак, мрак поднимающийся и опускающийся, точно черное волнующееся море. Он лежал почти в безумии, поддавшись этой странной, чудовищной качке.

Через какое-то время она выскользнула из своей постели и подошла к нему. Он не шелохнулся и так и лежал к ней спиной. Он почти не ощущал себя.

Она обвила руками его ужасающее, бесчувственное тело и прижалась щекой к его твердому плечу.

– Джеральд... – прошептала она, – Джеральд.

В нем не было никакой перемены. Она прижала его к себе. Она прижалась грудью к его плечам, поцеловала их через ткань ночной рубашки. Она смотрела на его напряженное, бездвижное тело. Она возбужденно настаивала, ее воля должна была заставить его поговорить с ней.

– Джеральд, дорогой! – прошептала она, наклоняясь к нему и целуя его в ухо.

Играющее, порхающее над его ухом ее дыхание, казалось, сняло скованность. Она почувствовала, как его тело постепенно расслабляется, что оно больше не было таким ужасающе, неестественно жестким. Ее руки обвили его ноги, бедра и лихорадочно двинулись вверх.

По его жилам вновь потекла горячая кровь, его ноги расслабились.

– Повернись ко мне, – настойчиво и ликующе прошептала она, забывшись.

Наконец-то он отошел, и его тело вновь обрело свое тепло и гибкость. Он повернулся к ней и сжал в объятиях. И когда он почувствовал на своем теле ее тепло, ее восхитительную и удивительную мягкость и податливость, его руки напряглись. Он словно пытался раздавить ее, лишить ее сил. Теперь его разум превратился в твердый и неуязвимый алмаз, и не было смысла ему сопротивляться.

Она боялась его страсти – таким напряженным, отвратительным и обезличенным было это разрушавшее ее до самого основания чувство. Она чувствовала, что его страсть убьет ее. Что она ее уже убивала.

– Боже, Боже мой! – воскликнула она, корчась в его объятиях, чувствуя, как внутри нее гибнет сама жизнь. И когда он целовал и успокаивал ее, дыхание медленно вырвалось из ее губ, словно она утратила все силы и умирала.

– Неужели я умру, неужели я умру? – повторяла она про себя, но ни ночь, ни он сам не могли ответить ей на этот вопрос.

Тем не менее, на следующий день она, а точнее та ее часть, что еще не была разрушена, что осталась нетронутой и настороженной, никуда не ушла, она осталась, чтобы завершить начатое, не признаваясь в своей слабости. Он почти не оставлял ее в одиночестве, он преследовал ее, словно тень. Он будто превратился в ее судьбу, постоянно твердившую: «ты должна» и «ты не должна».

Иногда перевес сил был на его стороне, а она была неизмеримо слабой, стелющейся по земле, подобно тихому ветерку; иногда все было наоборот. Но чаша весов склонялась то на одну, то на другую сторону – один существовал, потому что был уничтожен другой, один поднимался вверх, потому что второго сровняли с землей.

«В конце концов, – говорила она себе, – я уйду от него».

«Я смогу от нее освободиться», – говорил он себе в пароксизме страдания.

И он задался целью освободиться от нее. Он собрался даже было уехать и оставить ее у разбитого корыта. Но впервые в жизни его воля подвела его.

«Но куда мне идти?» – спрашивал он себя.

«Разве ты не можешь быть самодостаточным?» – повторял он про себя, пытаясь собрать остатки своей гордости.

«Самодостаточным!» – повторял он, как заклинание.

Вот Гудрун, казалось ему, была самодостаточной, она была замкнутой на себя и цельной, словно вещь в футляре. В душе он понимал это с какой-то спокойной трезвой рассудительностью и соглашался с тем, что она имеет право на то, чтобы замыкаться в себе, быть цельной, не испытывать желания. Он понимал это, он допускал это, ему нужно было только сделать последнее усилие, чтобы обрести такую же цельность. Он знал, что от него требуется еще одно усилие воли, которое поможет ему обратить свои действия на себя, замкнуться в себе, подобно тому, как замкнут в себе камень – неуязвимое, цельное, изолированное от мира совершенство.

Такие мысли всколыхнули в нем страшную растерянность. Да сколько бы он ни старался усилием *воли* стать неуязвимым и самодостаточным, одного желания было мало, а просто стать таковым он не мог. Он понимал, что для того чтобы просто существовать, ему нужно



полностью избавиться от Гудрун – оставить ее, если ей хотелось, чтобы он ее оставил, ничего от нее не требуя, ничего не прося.

Но для того, чтобы ничего от нее не требовать, он должен самостоятельно вступить в полную пустоту. При этой мысли его разум внезапно опустел. Вот оно, это состояние пустоты. С другой стороны, он может уступить и начать лизать ей руки. Или, в конце концов, он мог бы убить ее. Или же мог стать таким же безразличным, бесцельно проживающим мгновение за мгновением, разочарованным. Однако он был слишком серьезным, ему не хватало веселости и утонченности для того, чтобы можно было пуститься во все тяжкие с насмешливой улыбкой на лице.

В его душе открылась странная рана; его грудь, точно грудь жертвы, распоротая по время жертвоприношения, была рассечена, и Гудрун получила все, что в ней было. Сможет ли эта рана срастись? Эта рана, это необыкновенное, бесконечно болезненное отверстие в его душе, где он был уязвим более всего, точно распустившийся цветок, пред ликом вселенной и через которое устанавливалась связь с его другой сутью – иной, непознанной, – эта рана, это отверстие, то место, где раскрывались его защитные оболочки, оставляя его несовершенным, ограниченным, незаконченным, точно цветок, – она-то и была его сокровищем, дарующим ему сладостную боль и восторг. Так зачем ему отказываться от нее? Зачем ему закрываться и становиться непроницаемым, неуязвимым, точно недоразвитый зародыш в оболочке, когда он уже пробился на свет, словно проклюнувшееся зерно, чтобы обрести свое бытие, чтобы охватить недостигнутые горизонты.

Он пронесет все еще длящееся блаженство своего желания через все мучения, которые она навлекла на него. Его охватило странное упорство. Он не оставит ее, что бы она там ни говорила и ни делала. Удивительное, страшное как смерть желание удерживало его рядом с ней. Она была силой, определяющей его бытие, и хотя она относилась к нему с презрением, постоянно отталкивала и отвергала его, он останется с ней, потому что рядом с ней он чувствовал, как кровь струится по его жилам, как он растет, он чувствовал себя свободным, сознавал свою ограниченность и понимал, сколько она может дать ему, как понимал, почему она топчет его и беспрестанно уничтожает.

Она истязала его обнаженное сердце даже в тот момент, когда он был в ее власти. Она истязала и себя. Возможно, ее воля была более сильной. Она с ужасом чувствовала, что он силой разрывает бутон ее сердца, насильно раскрывает его как самое грубое, наглое существо в мире. Точно мальчишка, который отрывает крылышки мухе или раскрывает бутон, чтобы посмотреть, каким будет цветок, он разрывал ее уединение, саму ее жизнь. Он уничтожит ее и она погибнет, как гибнет раскрытый насильно нераспустившийся бутон.

Когда-нибудь она, возможно, и откроется ему, – во сне, когда превратится в идеальный дух. Но сейчас на нее нельзя было давить, ее мир не следовало разрушать. Она судорожно замкнулась в себе.

Вечером они вместе вскарабкались на высокий склон, чтобы полюбоваться закатом. Они стояли на холодном, налетавшем порывами ветру и наблюдали, как желтое солнце погружается в алую бездну и исчезает. На востоке пики и горные гребни озарились ярко-розовым светом, став похожими на яркие иммортели, рассыпанные по коричнево-фиолетовому небу. Это было настоящее чудо, ведь внизу мир погрузился в голубоватые тени, а здесь, наверху, словно знамение, пылала розовым цветом сама красота.

«Какой же красивый вид!» – думала она.

Она словно погрузилась в сон, ей хотелось собрать эти пылающие, вечные вершины и, прижав их к своему сердцу, умереть.

Он тоже видел их, видел, что они красивы. Но их красота не заставила его сердце учащенно биться. Они пробудили в нем лишь горечь, воплотившуюся в зримый образ. Ему бы хотелось, чтобы эти вершины были серыми и лишенными красоты, чтобы она не смогла черпать силы в их созерцании. Почему она так откровенно предавала их отношения, впитывая в себя вечерний свет? Почему она оставила его в одиночестве, предоставив ледяному ветру замораживать его сердце, а сама радовалась розовым снежным вершинам?

– Какая радость от этих сумерек? – спросил он. – Почему они имеют над тобой такую власть? Неужели они так тебе важны?

Она задрожала от яростного гнева.

– Уходи прочь, – закричала она, – оставь меня здесь! Здесь красиво, здесь так красиво, – нараспев твердила она, охваченная каким-то экстазом. – Это самое прекрасное из всего, что я когда-либо видела. Не пытайся встать между мной и этим. Убирайся отсюда, ты здесь лишний! Он немного отступил назад, предоставив ей стоять там, точно статуя, и восторженно смотреть на волшебный сияющий восток. Но розовые небеса уже увядали, засверкали крупные белые звезды.

Он ждал. Он отказался бы от всего, только не от своей тоски.

– Это самая прекрасная картина, которую я когда-либо видела, – сказала она холодно и грубо, в конце концов, поворачиваясь к нему. – Меня удивляет, что тебе хочется это уничтожить. Если ты сам не видишь эту красоту, так хотя бы не мешай мне.

На самом деле, он все уже уничтожил, но она пыталась удержать угасавшее впечатление.

– Когда-нибудь, – мягко сказал он, глядя на нее, – когда ты будешь смотреть на закат, я уничтожу *тебя*. Потому что ты насквозь лжива.

В этих словах он сам давал себе мягкое, чувственное обещание. Она похолодела, но все так же продолжала сопротивляться.

– Ха! – сказала она. – Не боюсь я твоих угроз!

Она больше не позволяла ему находиться рядом, она решила жить отдельно, в ее комнате было место только для нее одной. Но он с удивительным терпением выжидал, оставаясь верным своей тяге к этой женщине.

«Однажды, – давал он себе твердое, наполнявшее его восторгом, обещание, – когда наступит край, я с ней разделаюсь!»

И при мысли о такой возможности по его ногам пробежала острая дрожь, такая же, как в самые неистовые минуты страсти, когда он содрогался от прилива наслаждения.

У нее же тем временем сложился интересный союз с Лерке, союз двух коварных и вероломных личностей. Джеральд об этом знал. Но он, неестественно терпеливо затаившийся и не желающий ожесточаться против нее, не замечал этого, хотя мягкость и доброта, с которыми она относилась к человеку, которого он ненавидел и считал ядовитым насекомым, возбуждали в нем странную, дикую, судорожную дрожь, время от времени накатывавшуюся на него.

Он оставлял ее в одиночестве только тогда, когда отправлялся кататься на лыжах – ему нравился этот вид спорта, она же кататься не умела. В этот момент он, казалось, вихрем уносится из этой жизни, точно ракета, устремляясь в неведомое.

Когда он уходил, она очень часто беседовала с маленьким немецким скульптором. Их искусство давало им неистощимые темы для разговора.

У них были одни и те же идеи. Он ненавидел Местровича<sup>109</sup>, был неудовлетворен работами футуристов, ему нравились деревянные фигурки из Западной Африки, искусство ацтеков, народов Мексики и Центральной Америки. Он был знаком с искусством гротеска, а опьяняло его загадочное механическое движение, вызывая смятение в его душе.

Эти двое, Гудрун и Лерке, вели друг с другом занимательную игру, пронизанную бесконечными двусмысленностями, странную и насмешливую, точно они разделяли только им доступное понимание жизни, точно только они одни были посвящены в пугающие глубинные тайны, которые остальной мир предпочитал не знать. Само их общение происходило путем обмена странными, едва понятными намеками, утонченная страсть египтян или мексиканцев воодушевляла их. Вся эта игра представляла собой изысканную передачу друг другу тонких намеков, и им не хотелось бы переводить ее в другую плоскость. Их чувства получали высшее удовлетворение от нюансов, которыми были полны их слова и движения, от череды

---

<sup>109</sup> Иван Местрович (1883–1962) – югославский скульптор.

содержащих скрытый смысл мыслей, взглядов, слов и жестов, которые были Джеральду хотя и не понятны, но вызывали в нем неприязнь. Его склад ума не позволял ему составить представление о том, что между ними происходит, он мыслил другими, более грубыми категориями.

Они отводили душу, разговаривая о примитивном искусстве, они поклонялись глубинной загадке ощущения. Искусство и Жизнь были для них Реальным Миром и Миром Ирреальным. – Конечно, – говорила Гудрун, – *на самом деле* жизнь ничего не значит – в центре стоит одно только искусство. То, чем человек заполняет свою жизнь *peu de rapport*<sup>110</sup>, совершенно не важно.

– Да, это именно так, – отзывался скульптор. – То, что ты творишь, – вот это и есть тот воздух, которым ты дышишь. А чем ты занимаешься в обыденной жизни, это всего лишь пустышки, вокруг которых люди непосвященные устраивают шумиху.

Удивительно, какое воодушевление и чувство свободы возникали в душе Гудрун после таких разговоров. Она чувствовала, что наконец-то нашла свою опору. Естественно, Джеральд был пустышкой. Любовь в ее жизни была явлением преходящим, постольку поскольку она была человеком искусства. Она подумала о Клеопатре, которая, должно быть, была художницей; она высасывала самое главное из мужчины, она пожинала высшее проявление чувств, и отбрасывала прочь шелуху; Мария Стюарт и великая Рашель, кочующие вслед за театром вместе со своими любовниками, – все они были рупорами любви, посвященными в таинство. В конце концов, кто такой любовник, как не топливо для воплощения в жизнь этого потаенного знания, этого женского искусства, искусства извлекать чистое, идеальное знание из чувственного познания!

Как-то вечером Джеральд затеял с Лерке спор об Италии и Триполи. Англичанин был до странности сдержан, немец, напротив, крайне взволнован. Это была словесная битва, но в основе ее лежало духовное столкновение этих двух мужчин. И на протяжении всей их дуэли Гудрун видела в Джеральде надменное английское презрение к иностранцу. Хотя Джеральд и дрожал, сверкал глазами и заливался румянцем, когда наступал его черед говорить, в каждом его слове сквозила грубость, в жестах читалось крайнее презрение, от которого кровь Гудрун вспыхивала огнем, а Лерке язвил, чувствуя себя униженным, потому что Джеральд беспощадно обрушивал на них свои взгляды, и давал понять, что все, что говорил маленький немец, было лишь глупой ерундой.

В конце концов, Лерке обернулся к Гудрун, притворно-беспомощно поднял руки с каким-то молящим и детским выражением и с ироничным неодобрением пожал плечами.

– Sehen sie, gn#228;dige Frau...<sup>111</sup> – начал он.

– Bitte sagen Sie nicht immer, gn#228;dige Frau<sup>112</sup>, – воскликнула, сверкая глазами Гудрун, щеки которой пылали. Она походила на ожившую Медузу Горгону. Она говорила так громко и отчетливо, что остальные в комнате озадаченно посмотрели на нее.

– Пожалуйста, не называйте меня миссис Крич, – выкрикнула она. Это имя, особенно, когда его произносил Лерке, в течение многих дней нестерпимо унижало ее, сковывало ее.

Оба мужчины в замешательстве посмотрели на нее. У Джеральда побледнели щеки.

– Как же мне тогда вас называть? – с мягкой насмешливой двусмысленностью поинтересовался Лерке.

---

<sup>110</sup> Маленькая интрижка. (фр.)

<sup>111</sup> Видите, сударыня... (нем.)

<sup>112</sup> Пожалуйста, не называйте меня «сударыня». (нем.)

– Sagen Sie nur nicht das<sup>113</sup>, – пробормотала она и вспыхнула алым цветом. – Как угодно, только не так.

По озарению, которое появилось на лице Лерке, Гудрун поняла, что до него дошло. Она была никакая *не* миссис Крич! Та-а-ак, это многое объясняет.

– Soll ich Fräulein sagen?<sup>114</sup> – злорадно осведомился он.

– Я не замужем, – вызывающе сказала она.

Сердце в ее груди трепыхалось, словно взволнованная птичка. Она понимала, что нанесла Джеральду страшную рану, и эта мысль была ей неприятна.

Джеральд сидел очень прямо, не шевелясь, его лицо было бледным и спокойным, как лицо статуи. Он не воспринимал ни ее, ни Лерке, ни всех остальных. Он просто очень тихо сидел, не шевелясь. А в это время Лерке ссутулился и поглядывал на него исподлобья.

Гудрун мучительно захотелось что-нибудь сказать, рассеять это напряжение. Она искривила губы в улыбке и со значением, почти с усмешкой взглянула на Джеральда.

– Правда лучше, – сказала она с гримаской.

Но все равно сейчас она была в его власти – потому что она нанесла ему этот удар, потому что она уничтожила его и не знала, как он к этому отнесся. Она наблюдала за ним с нездоровым любопытством. Интерес к Лерке у нее мгновенно пропал.

Через некоторое время Джеральд поднялся с места и медленными, вялыми шагами подошел к профессору. Они начали разговаривать о Гете.

Она была заинтригована тем, как просто держался этим вечером Джеральд. В нем не чувствовалось ни гнева, ни отвращения, он просто выглядел удивительно невинным и чистым, поистине прекрасным. Иногда на него находила эта отстраненная чистота и она всегда завораживала ее.

Весь вечер она озабоченно ожидала. Она думала, что он будет ее избегать или даст ей какой-нибудь знак. Он же говорил с ней просто, без лишних эмоций, как говорил бы с любым другим человеком в этой комнате. В его душе поселился покой, некая отстраненность.

Она пришла к нему в комнату, охваченная страстной, горячей любовью к нему. Он был таким прекрасным и недоступным. Он целовал ее, он любил ее. Он доставил ей высшее наслаждение. Но он так и не пришел в себя, он оставался таким же простым и далеким, не ведающим, что происходит вокруг. Ей хотелось поговорить с ним. Однако это невинное, прекрасное забвение, охватившее его, удержало ее. Ей стало горько, она вся измучалась.

Однако наутро он смотрел на нее немного искоса – в его глаза закрался ужас и какая-то ненависть. И все вернулось на свои места. Но он все еще не мог начать ей противостоять.

Сейчас ее ждал Лерке. Маленький художник, одинокий в своей замкнутой оболочке, почувствовал, что вот наконец-то появилась женщина, которая могла бы ему что-то дать. Все это время он чувствовал себя не в своей тарелке, он не мог дожидаться возможности поговорить с ней, различными уловками пытаясь приблизиться к ней. В ее присутствии в нем просыпалось волнение, мысли обретали остроту, он всевозможными хитростями пытался быть рядом с ней, словно она была неким центром притяжения.

В том же, что касалось Джеральда, он не заблуждался ни на одно мгновение. Джеральд был одним из чужаков. Лерке просто ненавидел его за его богатство, гордость и красивую внешность. Однако все это – богатство, гордыня, порожденная социальным превосходством, красивые физические данные, – все это было лишь внешними характеристиками. Когда же дело доходило до отношений с такой женщиной, как Гудрун, он, Лерке, обладал такой силой и знанием, которые Джеральду даже и не снились.

---

<sup>113</sup> Не надо все же так говорить. (нем.)

<sup>114</sup> Может, мне называть вас «фрейлейн»? (нем.)

Неужели Джеральд надеялся удовлетворить женщину такого уровня, как Гудрун. Неужели он думал, что гордыня, сильная воля или физическая сила помогут ему? Лерке же знал нечто более глубокое, чем все это. Величайшей властью обладает тот, кто действует исподволь и кто приспособливается, а вовсе не тот, кто слепо нападает. А он, Лерке, знал такое, о чем Джеральд даже и не подозревал. Он, Лерке, мог проникнуть в такие глубины, которые неподвластны уму Джеральда. Джеральд был всего-навсего послушником, неловко переминающимся с ноги на ногу у входа этого таинственного храма, этой женщины. А ему, Лерке, разве не подвластно ему было проникнуть во внутреннюю тьму, разыскать самые потайные уголки души этой женщины и сразиться с ней там, с ее змеиной сущностью, что обвила своими кольцами центральный жизненный стержень.

В конце концов, что нужно женщине? Только ли успех в обществе и реализация своих амбиций на общественном поприще, в человеческом сообществе? Или единение, пусть даже это будет единение, основанное на любви и добре? Нужно ли ей это «добро»? Кто, кроме дурака, согласится принять его от Гудрун? Это всего лишь внешняя сторона ее желаний. А переступите порог ее души и вы увидите, что она с полным, абсолютным цинизмом смотрит на общество и на все те блага, которые оно дает. Проникните внутрь – и вас окутает едкая атмосфера порока, воспаленный мрак чувственности и живое, тонкое, критическое мышление, которое видит мир искаженным и страшным.

И что потом, что дальше? Разве сможет слепая сила страсти насытить ее? Она – нет, в отличие от утонченного восторга, получаемого от острого унижения. Его несокрушимая воля, соприкоснувшись с ее несокрушимой волей, породила мириады тонких граней унижения, последнюю стадию происходящего внутри нее процесса разложения и распада, в то время как внешняя оболочка, человек, совершенно не изменилась и где-то даже проявляла сентиментальность.

Но два человека, любые два человека с этой планеты, могут испытать только ограниченное количество чисто чувственных переживаний. И как только во взаимодействии чувств, наконец, наступает пик, дальше двигаться некуда. Возможно только повторение. Либо же двум персонажам приходится либо разойтись, либо воля одного подчиняется воле другому, либо рядом появляется смерть.

Джеральд проник во внешние покои души Гудрун. Он был для нее наиболее важной частью существующего мира, *ne plus ultra* человеческого мира, такого, каким она его себе представляла. Через него она познала мир и покончила с ним. Познав его до конца, она, словно, Александр Великий, отправилась искать новые земли. Но новых земель *не существовало*, людей больше не существовало, остались только твари, маленькие, чудесные *твари* вроде Лерке. Мир для нее перестал существовать. Существовала только ее внутренняя тьма, ощущение внутри эго, непристойная таинственная загадка крайней порочности, мистическая, дьявольски разлагающая дрожь, распад данного человеку от рождения сгустка жизни.

Все это Гудрун инстинктивно, неосознанно понимала. Она знала, каким будет ее следующий шаг – она знала, в какую сторону ей предстоит двигаться после того, как они с Джеральдом расстанутся. Она боялась Джеральда, боялась, что он может убить ее. Но она не собиралась умирать от его руки. Они все еще были связаны тонкой нитью. И не *ее* смерть разорвет ее. Ей, прежде чем настанет ее конец, нужно будет двигаться дальше, медленно пожиная следующие, изысканные плоды, познавать невообразимые чувственные откровения.

На крайние чувственные откровения Джеральд способен не был. Он не мог задеть ее тайные струны. Но куда он, действуя напрямик, попасть не мог, спокойно, точно жало насекомого, проникало тонкое лезвие намеков Лерке. А значит, настало время обратиться к нему, к этой твари, художнику в высшем его проявлении. Она знала, что Лерке в глубине души ни о чем не тревожился, для него не существовало ни рая, ни ада, ни земли. Он не заручался привязанностями, не устанавливал связей. Он был одиночкой и, отстранившись от остальных, представлял собой некую абсолютную величину.



В то время как в душе Джеральда все еще оставалась связь с остальным миром, связь с целым. И это и было его ограничением. Он был ограниченным, borned; он подчинялся потребности, в крайнем проявлении этого понятия, в доброте, в праведности, потребности быть частью великого замысла. Он не допускал и мысли о том, что великим замыслом мог бы стать восхитительный и изысканный опыт смерти, когда воля остается несломленной до самого конца. Поэтому-то он и был таким ограниченным.

Когда Гудрун отказалась выступать в качестве жены Джеральда, сердце Лерке наполнилось ликованием. Художник, казалось, порхал, словно птица, готовящаяся приземлиться. Он не стал сразу же атаковать Гудрун, он знал, что всему свое время. Но, инстинкт, таящийся в крошечном мраке его души, уверенно вел его в правильном направлении, и он тайно общался с ней – неуволимо, но ясно.

Два дня они беседовали, продолжали разговоры об искусстве, о жизни, которые доставляли им обоим большое наслаждение. Они восхваляли творения ушедших эпох. Восхитительные достижения прошлого наполняли их сентиментальной, детской радостью. Им особенно нравился конец восемнадцатого века – время Гете, Шелли и Моцарта.

Они играли с прошлым и выдающимися людьми прошлого, словно в шахматы, словно в марионетки, и все для того, чтобы доставить себе удовольствие. Все великие люди были их тряпичными куклами, а они, Повелители представления, обставляли все так, как им хотелось. Что касается будущего, то они никогда о нем не упоминали, кроме одного раза, когда один из них, насмешливо смеясь, рассказал другому о своем предвидении крушения мира в странной катастрофе, спровоцированной изобретением человека: человек изобрел такую отличную взрывчатку, что она расколола земной шар на две части, которые направились в разные стороны в космосе, приведя в ужас тех, кто на них жил; или же еще – все живущие на земле люди были поделены на две части и каждая решила, что *она* – идеальная и правильная, другая же половина никуда не годится и должна быть уничтожена – вот и еще один вариант конца света. Или же еще одна картинка, на этот раз из кошмара Лерке, – что весь мир замерз, везде лежит снег, и в этом ледяном жестоком мире обитают только белые существа – полярные медведи, песцы и люди, чудовищные, словно белые снежные птицы.

Они никогда не говорили о будущем, разве что только в подобных историях. Им необычайно нравилось рисовать иронические картины конца мира или же заставлять прошлое сентиментально и изысканно танцевать под их дудку. Они насыщались сентиментальным восторгом, воссоздавая малейшие подробности жизни Гете в Веймаре, вспоминая о Шиллере, его бедности и его преданной любви, или же Жан-Жака и его вздор, или же Вольтера в его имении в Ферни, или же представляя, как Фридрих Великий читал свои собственные стихи. Они часами разговаривали о литературе, скульптуре и живописи, с нежностью говоря о Флакسمане, Блейке и Фусели, и забавляясь беседами о Фейербахе и Берлине. Они могли бы говорить об этом всю жизнь, они чувствовали, что вновь переживали, *in petto*, жизненные пути великих творцов. Но они предпочитали оставаться в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Они говорили на смеси разных языков. За основу оба брали французский. Он большую часть своих фраз заканчивал на плохом английском, она же искусно вплетала немецкую концовку в каждую свою фразу. Этот разговор доставлял ей особое удовольствие. В нем было много странной причудливой экспрессии, подтекста, уклончивого смысла, двусмысленной туманности. Она ощущала чисто физическое наслаждение, выхватывая нить разговора из разно окрашенных фраз, произносимых на трех языках.

И все это время они оба ходили вокруг да около, нерешительно порхая вокруг огня некоей невидимой истины. Он хотел этого, но ему мешала неизменная лень. Ей тоже этого хотелось, но в то же время ей хотелось отсрочить это, отложить на как можно более дальний срок, потому что она все еще испытывала жалость к Джеральду, потому что их еще связывала некая нить. И что еще хуже, когда она думала о нем, в ее сердце звучали отголоски сентиментального сочувствия к самой себе. Из-за того, что между ними было, она ощущала себя привязанной к нему некими неподвластными времени, невидимыми нитями – из-за того,

что было, из-за того, что он пришел в ту ночь к ней, пришел в ее дом в глубочайшем отчаянии, из-за того, что...

А Джеральд с каждым днем все с большей ненавистью думал о Лерке. Он не принимал его всерьез, он просто презирал его, особенно потому, что видел, что его влияние уже проникло в кровь Гудрун. Именно это приводило Джеральда в бешенство – ощущение, что жилы Гудрун наполнены Лерке, его существом, что он властно растекается по ее организму.

– И чего ты так стелешься перед этим гаденышем? – совершенно всерьез поинтересовался он однажды у нее.

Потому что он, истинный мужчина, не видел *ни единой* привлекательной или сколь либо значимой черты в Лерке. Джеральд пытался найти в нем хоть что-нибудь привлекательное или благородное, что обычно так ценится женщинами. Но в нем ничего этого не было, он, подобно насекомому, вызывал лишь гадливость.

Гудрун густо покраснела. Вот такие выпады она ему и не прощала.

– Что ты имеешь в виду? – спросила она. – Боже мой, какое счастье, что я *нетвоя* жена!

Пренебрежительно-презрительные нотки в ее голосе задели его. Он замер, но тут же взял себя в руки.

– Скажи мне, просто ответь, – повторял он снова и снова угрожающе-сдавленным голосом, – скажи мне, что в нем завораживает тебя?

– Ничто меня не завораживает, – ответила она с холодным, неприязненным простодушием.

– Нет, завораживает! Этот иссохший змееныш завораживает тебя. Ты словно птичка, готовая упасть ему в пасть.

Она взглянула на него мрачным, гневным взглядом.

– Я не собираюсь слушать, как ты разбираешь мое поведение, – сказала она.

– Неважно, собираешься ты или нет, – отвечал он, – это не меняет того факта, что ты готова пасть ниц и целовать ноги этому таракану. А я не буду тебя останавливать – давай, упав, осыпь его ноги поцелуями. Но я хочу знать, что тебя к нему привлекает, что?

Она молчала, черная ярость не давала ей вымолвить ни слова.

– Да как ты *смеешь* меня запугивать, – вскричала она, – как ты смеешь, ты, землевладелец чертов, ты, мерзавец! Кто, по-твоему, дал тебе право так со мной обращаться?

Его лицо было бледным и сияющим, и по блеску в его глазах она поняла, что она в его власти – во власти волка. А поскольку она оказалась в его власти, она так возненавидела его, что удивлялась, как это она его не убила до сих пор! В мыслях она уже давно уничтожила его, стерла его с лица земли.

– Дело не в праве, – сказал Джеральд, садясь на стул.

Она смотрела, как меняется его тело. Она наблюдала, как двигалось это скованное, механическое тело, наблюдала, точно в бреду. Ее ненависть отдавала смертельным презрением.

– Дело не в том, какие права я имею на тебя – хотя *кое-какие* права у меня есть, не забывай.

Мне нужно знать, мне просто нужно знать, почему тебя так тянет к этому подонку-скульптору, что сейчас сидит там, внизу? Что в нем есть такое, что превращает тебя в смиренного волхва, готового поклоняться ему? Мне хочется знать, чьи следы ты целуешь?

Она стояла возле окна и слушала. Потом обернулась к нему.

– Правда? – сказала она своим самым тихим, самым язвительным тоном. – Ты хочешь знать, что в нем такого есть? Да просто он умеет понимать женщину, просто он не тупица. Вот и все. Странная зловещая животная улыбка пробежала по лицу Джеральда.

– Но каково это его понимание? – спросил он. – Это понимание блохи, прыгающей блохи с хоботком. Почему ты должна униженно пресмыкаться перед идеями блохи?

Гудрун мгновенно пришло на ум изображение блошиной души, выполненное Блейком. Ей хотелось бы примерить его на Лерке. Конечно, Блейк был еще тем клоуном! Но она должна была ответить Джеральду.

– Ты считаешь, что идеи дурака интереснее идей блохи? – спросила она.

– Дурака! – эхом повторил он.

- Дурака, самовлюбленного дурака! Dummkopf, – ответила она, вернув немецкое словечко.
- Ты считаешь меня дураком? – воскликнул он. – Ну, уж лучше я буду таким дураком, какой есть, чем стану таким, как та блоха внизу.
- Она взглянула на него. Его беспросветная, слепая ограниченность надоела ей, она мешала ей быть собой.
- Ты выдал себя с головой, – сказала она.
- Он сидел и только удивлялся.
- Скоро я уеду, – сказал он.
- Она повернулась к нему.
- Запомни, – сказала она, – я ни в чем от тебя не завишу, ни в чем! Ты устраиваешь свою жизнь, я свою.
- Он задумался над этим.
- То есть ты хочешь сказать, что с этого мгновения мы с тобой – чужие люди? – спросил он.
- Она остановилась на полуслове и вспыхнула. Он загонял ее в ловушку, схватив за руку. Она развернулась к нему.
- Мы никогда, – сказала она, – не сможем быть чужими друг другу. Но если *хочешь* что-нибудь сделать без меня, то я хочу, чтобы ты понял, что ты волен это сделать. Не обращай на меня ни малейшего внимания.
- Даже такого слабого намек на то, что она нуждается в нем и зависит от него, было достаточно, чтобы раздуть в нем пламя страсти. В его теле произошла перемена – горячий расплавленный металл произвольно заструился по его жилам. Его душа застонала, согнувшись под таким бременем, но ему это нравилось. Он призывно взглянул на нее просветлевшими глазами.
- Она мгновенно все поняла и содрогнулась от ледяного отвращения. *Как* он мог смотреть на нее такими прозрачными, теплыми, призывными глазами, желая ее даже теперь? Разве того, что они наговорили друг другу, не достаточно, чтобы развести их миры в разные стороны, навеки сковать их в разных концах света? Но возбуждение преобразило его, и он сидел, охваченный желанием.
- Она смутилась. Отвернувшись, она сказала:
- Я обязательно *скажу* тебе, если захочу что-нибудь изменить... – и с этими словами она вышла из комнаты.
- Он остался сидеть, охваченный горьким разочарованием, которое, казалось, мало-помалу разрушало его сознание. Однако инстинктивно он продолжал сносить ее пренебрежение. Он еще очень долго сидел, не шелохнувшись, ни о чем не думая и ничего не понимая. Потом он поднялся и пошел вниз сыграть партию в шахматы с одним из студентов. Его лицо было открытым и ясным, в нем была какая-то невинная *laisser-aller*, которая больше всего обеспокоила Гудрун и пробудила в ней страх и одновременно глубокую ненависть к нему.
- Именно тогда Лерке, который никогда не задавал личных вопросов, начал расспрашивать ее о ее положении.
- Вы ведь вовсе не замужем, не так ли? – спросил он.
- Она пристально посмотрела на него.
- Ни в коей мере, – ответила она, взвешивая слова.
- Лерке рассмеялся, и его лицо причудливо сморщилось. Жидкая прядка волос спадала ему на лоб, и Гудрун заметила, что его кожа, его руки, его запястья, – все было прозрачно-коричневого цвета. Его руки показались ей невероятно цепкими. Он напоминал ей топаз, такой коричневатый и прозрачный.
- Отлично, – сказал он.
- Однако ему потребовалось набраться мужества, чтобы продолжить свой допрос.
- А миссис Биркин это ваша сестра? – спрашивал он.
- Да.
- А *она* замужем?
- Она замужем.

– А родители у вас есть?

– Да, – ответила Гудрун, – родители у нас есть.

И она вкратце, лаконично объяснила ему свое положение. Он все это время не сводил с нее пристального, любопытного взгляда.

– Так! – удивленно воскликнул он. – А герр Крич, он богат?

– Да, он богат, он владеет шахтами.

– И сколько времени длятся ваши отношения?

– Несколько месяцев.

Повисла пауза.

– Да, я удивлен, – через некоторое время сказал он. – Эти англичане, мне казалось, они такие... холодные. А что вы намереваетесь делать, когда уедете отсюда?

– Что я намереваюсь делать? – переспросила она.

– Да. Вы не можете вернуться к преподаванию. Нет... – он передернул плечами, – это невозможно. Оставьте это отбросам, которые не могут делать ничего другого. Что касается вас – вы знаете, вы неординарная женщина, *eine seltsame Frau*. Что толку отрицать это – разве в этом есть сомнения? Вы выдающаяся женщина, так зачем вам следовать заурядной линии, жить обычной жизнью?

Гудрун, вспыхнув, сидела, разглядывая свои руки. Ей понравилось, с какой простотой он сказал ей, что она неординарная женщина. Он сказал это не для того, чтобы польстить ей – он был слишком самоуверенным и объективным от природы. Он сказал это так же, как сказал бы, что такая-то скульптура замечательная, потому что он знал, что так оно и есть.

И ей было приятно услышать это от него. Остальные люди так страстно пытались подогнать все под одну линейку, сделать все одинаковым. В Англии считалось приличным быть совершенно заурядным. И она почувствовала облегчение, что кто-то признал ее отличность от других.

Теперь ей не нужно было беспокоиться по поводу соответствия общепринятым стандартам.

– Понимаете, – сказала она, – у меня вообще-то нет денег.

– Ах, деньги! – воскликнул он, пожимая плечами. – Если ты взрослый человек, то денег вокруг полным-полно. Только в молодости деньги редко встречаются на пути. Не думайте о деньгах – они всегда есть под рукой.

– Вот как? – смеясь, сказала она.

– Всегда. Этот ваш Джеральд даст вам нужную сумму, только попросите.

Она глубоко покраснела.

– Лучше попрошу у кого-нибудь другого, – с трудом выдавила она, – только не у него.

Лерке пристально рассматривал ее.

– Отлично, – сказал он. – Значит, это будет кто-то другой. Только не возвращайтесь туда, в Англию, в ту школу. Это было бы глупо.

Вновь воцарилась пауза. Он боялся напрямик предложить ей поехать с ним, он даже еще был не вполне уверен, что она была ему нужна; она же боялась, что он ее спросит. Он покинул собственное убежище, он был *необычайно* щедр, разделив с ней свою жизнь, хотя бы даже и на один день.

– Единственное место, где я была, это Париж, – сказала она, – но там совершенно невыносимо. Она пристально посмотрела на Лерке неподвижным взглядом расширившихся глаз. Он наклонил голову и отвернулся.

– Только не Париж! – сказал он. – Там тебе приходится весь день крутиться, как белке в колесе

– бросаясь от *religion d'amour*<sup>115</sup> к новомодным «измам», к очередному обращению к Иисусу.

Едемте в Дрезден. У меня там студия – я могу дать вам работу – о, это будет несложно. Я не видел ваших работ, но я в вас верю. Едемте в Дрезден – в этом красивом городе приятно жить,

---

<sup>115</sup> Религия любви. (фр.)

причем жизнь там вполне сносна, если такое можно сказать о жизни в городе. Там есть все – нет только парижских глупостей и мюнхенского пива.

Он выпрямился и сухо посмотрел на нее. Ей нравилось в нем то, что он говорил с ней так просто, так откровенно, как с самим собой. Для начала он был соратником по искусству, близким ей по духу существом.

– Париж – нет, – размышлял он, – меня от него тошнит. Фу – l’amour. Она мне ненавистна. L’amour, l’amore, die Liebe – неважно, на каком языке, но она вызывает у меня отвращение. Женщины и любовь – скучнее и не придумаешь.

Она слегка обиделась. В то же время его слова отвечали его чувствам. Мужчины и любовь – скучнее не бывает.

– Я согласна, – сказала она.

– Скука, – повторил он. – Какая разница, та на мне шляпа или другая. Так и любовь. Шляпа мне вообще не нужна, я ношу ее только для удобства. Так и любовь мне нужна только для удобства. Вот что я вам скажу, gn#228;dige Frau – он наклонился к ней, а затем сделал странный быстрый жест, точно от чего-то отмахиваясь – хорошо, gn#228;dige Fraulein – вот что я вам скажу: я отдал бы все, все на свете, всю эту вашу любовь за собрата по разуму, – в его глазах, обращенных на нее, мерцали темные, зловещие огни.

– Вы понимаете? – спросил он с легкой улыбкой. – Неважно, будь ей хоть сто лет, хоть тысяча – мне было бы все равно, если бы только она могла *понимать*.

Он резко закрыл глаза.

Гудрун же вновь обиделась. Значит, он не считает ее привлекательной? Она внезапно рассмеялась.

– В таком случае придется мне обождать лет восемьдесят, чтобы соответствовать вашему вкусу. – Я ведь такая страшная, да?

Он окинул ее быстрым, анализирующим, оценивающим взглядом художника.

– Вы прекрасны, – сказал он, – и я очень этому рад. Но дело не в этом – не в этом! – воскликнул он с горячностью, которая невероятно ей польстила. – Просто у вас есть разум, вы умеете понимать. Посмотрите на меня – я маленький, хилый, я ничего не значу в этом мире.

Прекрасно! В таком случае не просите меня быть сильным и красивым. Однако это *моя* сущность, – он странным движением прижал пальцы к губам, – это то самое *я* ищет себе любовницу, и мое *я* желает *твою* сущность, сущность любовницы, которая подошла бы в пару моему особенному разуму. Ты понимаешь?

– Да, – сказала она. – Я понимаю.

– Что касается всего остального, этих амуров, – он махнул рукой, точно отмахиваясь от чего-то назойливого, – они не имеют никакого значения, они меня совершенно не интересуют. Разве есть какая-нибудь разница в том, буду ли я сегодня за ужином пить белое вино или же я вовсе не буду ничего пить? Это *не важно*, не важно. Так и эта любовь, эти амурсы, эта *baiser*. Да или нет, soit ou soit pas, сегодня, завтра или никогда – все это одно и то же, это ничего не значит – не больше, чем белое вино.

Он закончил эту тираду, горестно склонив голову в отчаянном отрицании всего мира. Гудрун пристально смотрела на него, побледнев. Внезапно она потянулась и взяла его за руку.

– Это верно, – сказала она довольно высоким, звучным голосом, – это верно и в моем случае. Важно только понимание.

Он украдкой посмотрел на нее испуганным взглядом. И немного угрюмо кивнул. Она выпустила его руку: он не ответил на ее пожатие. Они сидели молча.

– Ты знаешь, – сказал он, обращая на нее потемневшие, всепонимающие глаза – глаза пророка, – твоя судьба и моя судьба сольются в один поток только до того момента, как... – и он с легкой гримаской оборвал себя на полуслове.

– До какого именно момента? – спросила она, еще больше побледнев, и казалось, ее губы превратились в две белых полосы.



Она всегда была очень восприимчивой к подобным дурным предсказаниям, но он только покачал головой.

– Не знаю, – сказал он, – не знаю.

Джеральд вернулся с лыжной прогулки только вечером, оставшись без кофе и пирога, которыми она насладилась в четыре часа. Снег был превосходным, он в полном одиночестве проделал на своих лыжах большой путь по заснеженным горным гребням; он забирался очень высоко, так высоко, что он видел самую верхнюю точку перевала, которая была в пяти милях отсюда, видел Мариенхютте, полупогребенную под снегом гостиницу на перевале, смотрел в расстилавшуюся под ним глубокую долину, где темнели сосны. Можно было отправиться этим путем домой – но при мысли о доме ему стало не по себе; можно спуститься на лыжах туда, выйти на древнюю имперскую дорогу, под перевалом. Но зачем выходить на дорогу? Мысль о том, чтобы вернуться в мир, была ему крайне неприятна. Он должен навсегда остаться в этих снегах. Он был счастлив наедине с собой, забравшись так высоко, быстро летя на лыжах, выбирая отдаленные спуски и проносясь мимо темных скал, пронизанных жилками искрящегося снега.

Но он почувствовал, что какая-то ледяная рука сдавливает его сердце. Эта необычная терпеливость и наивность, которая держалась в нем на протяжении нескольких дней, постепенно рассеивалась, и ему вновь придется пасть жертвой чудовищных страстей и мучений.

Он неохотно приближался к дому в лощине между пальцев горных вершин, светящемуся и чужому. Он увидел, как там загорались желтые огни, и повернул назад, всем сердцем желая, чтобы ему не нужно было туда возвращаться, вновь встречаться с этими людьми, слушать гул их голосов и чувствовать присутствие других людей. Он был одиноким, словно его сердце было окружено пустотой, словно оно находилось в идеальной ледяной оболочке.

Но как только он увидел Гудрун, его сердце сделало сильный скачок. Она, такая величественная и восхитительная, снисходительно и мило улыбалась немцам. В его душе внезапно проснулось желание – желание убить ее. Он подумал, какой же упоительный, чувственный экстаз, должно быть, ощутит он, убивая ее. Весь вечер его мысли где-то витали, снег и его безумное желание сделали его совершенно иным человеком. Но эта идея жила в нем постоянно – как же, должно быть, восхитительно душить ее, выдавить из нее последнюю искру жизни, чтобы ее обмякшее тело, обмякшее навеки, безвольно лежало – мягкое мертвое тело, мертвое, как булыжник. Тогда она будет, наконец, принадлежать ему всецело и навеки; это будет восхитительный, пьянящий конец.

Гудрун и не подозревала о его чувствах, он казался тихим и дружелюбным, как всегда. И его доброжелательность даже пробудила в ней желание сделать ему больно.

Она вошла в его комнату, когда он уже наполовину разделся. Она не заметила злорадной, торжествующей усмешки, в которой читалась неподдельная ненависть, когда он посмотрел на нее. Она стояла у двери, не снимая руки с ручки.

– Я тут подумала, Джеральд, – сказала она с ошеломляющей беззаботностью, – я никогда не вернусь в Англию.

– О, – сказал он, – а куда же ты отправишься?

Но она оставила его вопрос без ответа. Ей хотелось сделать свои логические заключения, и ей хотелось, чтобы все было так, как задумала она.

– Я не вижу смысла возвращаться, – продолжала она. – Между нами все кончено... – она помедлила, думая, что он что-нибудь скажет. Но он молчал. Он только говорил про себя: «Кончено, да? Пожалуй, что так. Но не закончено. Помни, ничего не закончено. Нужно положить этому конец. Должно быть заключение, некий финал».

Так говорил он про себя, а вслух он не произнес ни слова.

– Что было, то было, – продолжала она. – Я ни о чем не жалею. Надеюсь, и ты ни о чем не жалеешь...

Она ждала, что он все же заговорит.

– О, я ни о чем не жалею, – с уступчивым выражением сказал он.

– Ну и прекрасно, – отозвалась она, – прекрасно. Никто из нас не затаил обиды на другого, все так, как и должно быть.

– Именно так, – рассеянно подтвердил он.

Она помедлила, пытаясь вспомнить, что хотела сказать.

– Наши попытки провалились, – сказала она. – Но мы можем попытаться вновь, в другом месте. По его телу пробежала искра ярости. Казалось, она возбуждала его чувства, хотела пробудить в нем раздражение. Зачем она это делает?

– Какие еще попытки? – спросил он.

– Быть любовниками, полагаю, – сказала она, слегка опешив, но в то же время она сказала это так, что все это предстало совершенно заурядным делом.

– Наша попытка быть любовниками провалилась? – повторил он вслух.

А про себя он говорил: «Я должен убить ее здесь. Мне осталось только это, убить ее».

Тяжелое, страстное желание лишить ее жизни захватило его. Она же и не подозревала об этом.

– А разве нет? – спросила она. – Ты считаешь, что она удалась?

И вновь этот оскорбительно-легкомысленный вопрос огнем пробежал по его жилам.

– Наши отношения могли бы сложиться, – ответил он. – Все могло бы получиться.

Но прежде, чем закончить последнюю фразу, он помолчал. Даже когда он начинал говорить, он не верил в то, что собирался сказать. Он знал, что их отношения никогда бы не сложились удачно.

– Да, – согласилась она. – Ты можешь любить.

– А ты? – спросил он.

Ее широко раскрытые, наполненные мраком глаза, пристально смотрели на него, словно две темные луны.

– А я не могу любить *тебя*, – сказала она откровенным, холодным искренним тоном.

Ослепительная вспышка затмила его сознание, его тело задрожало. Сердце опалило огнем. Его запястья, его руки наполнились невыразимым ожиданием. В нем жило только одно слепое, яростное желание – убить ее. Его запястья пульсировали – ему не будет покоя, пока его руки не сомкнутся на ее шее.

Но до того как он метнулся к ней, на ее лице отразилась внезапная догадка и она молнией выскочила за дверь. В одно мгновение она долетела до своей комнаты и заперлась в ней. Ей было страшно, но она не теряла самообладания. Она понимала, что находится на волоске от пропасти. Но она твердо стояла на земле. Она знала, что она более хитрая, что она сможет его одурачить.

Она стояла в своей комнате и дрожала от возбуждения и страшного воодушевления. Она знала, что сможет провести его. Она могла положиться на свое присутствие духа и на свою пронизательность. Но теперь он понял, что это была война не на жизнь, а на смерть. Один неверный шаг – и она погибла. В ее теле поселилась мрачная напряженная дурнота, некий подъем сил, как у человека, который вот-вот упадет с большой высоты, но который не смотрит вниз, не желая признавать, что ему страшно.

«Я уеду послезавтра», – решила она.

Одного ей не хотелось – чтобы Джеральд подумал, что она боится его, что она бежит только потому, что испугалась. Она совершенно не боялась его. Она понимала, что лучше ей избегать физического насилия с его стороны. Но и даже этого она не боялась. Ей хотелось доказать это ему. Когда она докажет ему, что, кем бы он ни был, она его не боится; когда она докажет ему *это*, она сможет распрощаться с ним навсегда. А пока что война между ними – страшная, как она уже поняла – продолжалась. И ей хотелось быть уверенной в себе. Как бы страшно ей ни было, ему ее не запугать, она его не боится! Он никогда не сможет ее запугать, не сможет властвовать над ней, никогда не получит право распоряжаться ею; она проследит, чтобы это было так, пока не докажет ему это. А как только докажет, освободится от него навсегда.

Но пока что она это еще не доказала – ни ему, ни себе. И именно это удерживало ее рядом с ним. Она была привязана к нему, она не могла жить без него.

Она села на кровати, закутавшись в одеяло, и сидела так в течение многих часов, думая, думая про себя. Казалось, ей никогда не удастся спрясть до конца нить своих мыслей.

«Не похоже, чтобы он по-настоящему любил меня, – говорила она себе. – Он не любит меня. Сколько бы женщин он ни встречал, он хочет заставить их него влюбиться. Он даже не осознает, что делает это. Но это именно так – перед каждой женщиной он разворачивает всю свою мужскую привлекательность, показывает, какой он желанный, пытается заставить каждую женщину думать о том, как чудесно было бы заполучить его в любовники. То, что на женщин он не обращает внимания, есть часть его игры. Он всегда все просчитывает *разумом*. Ему следовало было быть повелителем курятника, чтобы он мог важно вышагивать перед полусотней дамочек, которые были бы все в его власти. Но это его донжуанство *меня* не занимает. Да я играю Донну Жуаниту в тысячу раз лучше, чем он играет Дон Жуана. Видите ли, он мне наскучил. Меня утомляет его мужественность. Нет ничего более скучного, более тупого от природы и более глуповато-тщеславного. Нет, насколько же смешно безграничное мужское тщеславие – настоящие петухи! Все они одинаковы. Возьмем Биркина. Все они существуют в рамках тщеславия, больше сказать нечего. Нет, только их смешная ограниченность и врожденная ничтожность могли сделать их таким тщеславными. Что же до Лерке, так он в тысячу раз интереснее Джеральда. Джеральд такой ограниченный, он скоро зайдет в тупик. Он пожизненно обречен вращать жернова одной и той же старой мельницы. А зерна-то меж ними уже нет. Но такие, как он, все продолжают и продолжают вращать – хотя там уже ничего нет – говорят одно и то же, верят в одно и то же, и действуют одинаково. О Боже, от этого и у камня лопнет терпение.

Я не сделала из Лерке кумира, но, по крайней мере, он свободное существо. Он не пыжится от тщеславия при мысли о том, что он мужчина. Он не толчет воду в ступе. О Боже, как подумаю о Джеральде с его работой – эти конторы в Бельдове, эти шахты – сердце так и падает. Что у *меня* общего с этим – а он еще думает, что может любить женщину! Это с таким же успехом можно требовать и от самодовольного фонарного столба. Эти мужчины с их вечными работами – и вечной Божьей ступой, в которой толчется вода! Это скучно, просто скучно! И как я только докатилась до того, что приняла его всерьез!

По крайней мере, в Дрездене можно будет повернуться ко всему этому спиной. И можно будет заниматься действительно интересными вещами. Было бы любопытно сходить на одно из танцевальных эвритмических представлений, и на немецкую оперу, и в немецкий театр. Будет *действительно* интересно пожить жизнью немецкой богемы. А Лерке – художник, он существо свободное. Можно будет от столького избавиться! Вот что главное – избавиться от постоянного, чудовищного повторения вульгарных действий, вульгарных фраз, вульгарных поз. Я не заблуждаюсь насчет того, что в Дрездене я отыщу эликсир жизни. Я понимаю, что это не так. Но я отстранюсь от людей, у которых есть собственные дома, собственные дети, собственные знакомые, собственное то, собственное это. Я буду жить среди людей, которые не владеют *ничем*, у которых *нет* дома и слуг за спиной, у которых нет ни положения, ни статуса, ни степени, ни круга знакомых, у которых все это есть. О Боже, круги внутри кругов внутри кругов людей, от этого в голове раздается звон, сводящая с ума мертвенная механическая монотонность и бессмысленность. Как же я *ненавижу* жизнь, как я ее ненавижу. Как я ненавижу всех этих Джеральдов, которые не могут предложить тебе ничего другого. А Шортландс! Святые небеса! Только подумаешь, что проживешь там одну неделю, а потом еще одну, а *потом третью*... Нет, не буду об этом думать – это уж слишком!»

И она оборвала свои мысли, по-настоящему испуганная, и правда не в силах больше терпеть. Мысль о том, как один день машинально сменяет другой, день за днем, *ad infinitum*, заставляла ее сердце биться с почти безумной скоростью. Страшные оковы тикающего времени, это подергивание стрелок часов, это бесконечное повторение часов и дней – о Боже, это было выше человеческих сил. И от этого нельзя убежать, нельзя скрыться.

Ей почти захотелось, чтобы Джеральд был рядом, чтобы он спас ее от ужаса собственных мыслей. О, как же она страдала, лежа в одиночестве лицом к лицу с ужасными часами с их вечным «тик-так». Вся жизнь, все в ней сводилось только к одному: тик-так, тик-так, тик-так; отбивается час; затем тик-так, тик-так и подергивание стрелок.

Джеральду было не по силам избавить ее от этого. Он, его тело, его походка, его жизнь – это было то же самое тиканье, то же томительное движение по циферблату, ужасное механическое подергивание на часовом диске. Что такое все его поцелуи, его объятия! Она слышала в них «тик-так», «тик-так».

«Ха-ха, – рассмеялась она про себя, такая напуганная, что ей пришлось заставить себя рассмеяться, – ха-ха, как же безумно страшно быть уверенной, уверенной!»

И затем в мимолетном смущении она спросила себя, удивилась ли она, если бы, встав утром, обнаружила, что ее волосы поседел. Она так часто *чувствовала*, что седеет под гнетом своих мыслей и своих ощущений. Однако волосы, как и прежде, оставались каштановыми, и она оставалась самой собой – цветущей картинкой.

Возможно, она и была цветущей. Возможно, именно ее несокрушимый цветущий вид делал ее такой уязвимой перед истиной. Если бы она была болезненной девушкой, у нее были бы свои иллюзии, свои воображаемые картины. В ее же случае ей было некуда бежать. Она должна была всегда все знать, видеть, и ей не было спасения. Выхода не было. Так она и оставалась лицом к лицу с циферблатом жизненных часов. А если она поворачивалась кругом, как на станции, когда ей хотелось взглянуть на книги в киоске, она чувствовала эти часы спиной, чувствовала этот огромный белый циферблат. Тщетно листала она страницы книг или лепила статуэтки из глины. Она знала, что это *на самом деле* не чтение. Она никогда *по-настоящему* не работала. Она смотрела, как стрелки движутся по вечному, механическому, монотонному циферблату времени. Она никогда толком не жила, она все время наблюдала. И правда, она была маленькими часиками, на циферблате которых умещалось только двенадцать часов, которые стояли vis-a-vis с огромными часами вечности – вот они, точно Дигнити и Импыюденс или Импыюденс и Дигнити<sup>116</sup>.

Эта картина занимала ее. Разве лицо ее походило на циферблат часов – довольно круглое и обычно бледное и бесстрастное. Она хотела было подняться и посмотреть в зеркало, но одна мысль о том, что ее лицо походило на циферблат часов, наполнила ее таким глубочайшим ужасом, что она торопливо принялась думать о другом.

О, почему никто никогда не был добр к ней? Почему не было человека, который заключил бы ее в объятия, прижал бы к груди и дал ей покой – идеальный, глубокий, целительный сон? О, почему не было кого-нибудь, кто бы обнял ее и подарил ей лишенный тревог и идеальный сон? Ей так хотелось такого идеального сна внутри некоей оболочки. Обычно она спала совершенно незащищенная. Она всегда лежала незащищенная, она не знала покоя, не знала, что такое отпущение грехов. О, как же вынести все это, эту бесконечную тяжесть, это вечное бремя!

Джеральд! Мог ли он заключить ее в объятия и защищать ее сон? Ха! Ему самому нужно, чтобы кто-то укладывал его спать – бедняга Джеральд. Вот и все, что ему требовалось. Он только усугублял ее ношу, делал своим присутствием бремя ее сна еще более невыносимым. Он был лишней тяжестью для ее не приносящих плодов ночей, для ее бесплодного сна. Возможно, она дарит ему покой. Возможно, так оно и есть. Возможно, ради этого он и преследует ее, словно изголодавшийся младенец, криком просящий материнскую грудь. Возможно, в этом и скрывался секрет его страсти, его неутолимого желания к ней – она была нужна ему для того, чтобы уложить его спать, чтобы даровать ему покой.

И что дальше? Разве она его мать? Нужен ей такой любовник, этот ребенок, которого требуется нянчить ночи напролет? Она презирала его, ее сердце ожесточилось. Этот Дон Жуан был всего лишь плачущим в ночи младенцем. О-о-о, но как же ненавистен ей этот плачущий в ночи

---

<sup>116</sup> Дигнити и Импыюденс – клички двух собак с картины Эдвина Генри Лендзеера.

младенец! Она с радостью убила бы его. Она задушила бы и закопала бы его, как сделала Хетти Соррель. Нет сомнения, что младенец Хетти Соррель вопил по ночам – с ребенка Артура Донниторна станется. Ха – эти Артуры Донниторны, эти Джеральды этого мира. Днем такие мужественные, а ночью самые настоящие ревущие младенцы. Пусть они превратятся в машины, пусть! Пусть они будут орудиями, идеальными машинами, идеальной волей, которые идут, как часы, постоянно повторяясь. Пусть они будут такими, пусть они полностью погрузятся в свою работу, пусть они будут идеальными частями великой машины, а вместо сна у них будет постоянное повторение пройденного. Пусть Джеральд управляет своей компанией. Это даст ему удовлетворение – как дает удовлетворение тачке постоянное движение по одной и той же колее – вперед-назад, и так весь день: она-то это видела.

Тачка – одно маленькое колесо – основа всей фирмы. Затем тележка, с двумя колесами; затем вагонетка, с четырьмя; затем вспомогательный двигатель, с восемью, затем подъемная машина, с шестнадцатью и так далее, пока дело не доходит до шахтера, с тысячей колесами, до электрика, с тремя тысячами, до управляющего подземными работами, с двадцатью тысячами, затем до генерального управляющего с сотней тысяч маленьких колес, работающих, чтобы осуществить его замыслы, и, в конце концов, достигнет Джеральда с его миллионом колесиков, пальцев и валов.

Бедняга Джеральд, столько маленьких колесиков в его распоряжении! Да он более замысловатый, чем хронометр. Но о боже, какая тоска! Какая тоска, Боже всемогущий! Хронометр – жук – при этой мысли ее душа застыла. Сколько маленьких колесиков нужно сосчитать, учесть и принять во внимание! Довольно, довольно – здесь наступает предел даже человеческой любви к сложным задачам. Хотя, возможно, предела нет.

А в это время Джеральд сидел в своей комнате и читал. Когда Гудрун ушла, неутоленное желание вызвало в нем какое-то оупение. Примерно час он сидел на краю кровати, тупо глядя перед собой, и только маленькие искорки сознания то появлялись, то исчезали. Но он не двигался, в течение долгого времени он оставался неподвижным, склонив голову на грудь.

Потом он поднял голову и понял, что замерз и что пора спать.

Вскоре он уже лежал в темноте. Но темнота была именно тем, чего он не выносил. Густой мрак, сгустившийся над ним, сводил его с ума. Поэтому он поднялся и зажег лампу. Какое-то время он сидел, тупо уставившись перед собой. О Гудрун он не думал, он вообще ни о чем не думал. Затем внезапно пошел вниз за книгой. Всю свою жизнь он боялся наступления ночи, потому что тяжело засыпал. Он знал, что для него это слишком, эти бессонные ночи и ужасающий отсчет времени.

Много часов он просидел, как истукан, в кровати, читая. Он, обладавший острым и твердым умом, читал быстро, но его сердце ничего не воспринимало. В таком ооченении, в таком полубессознательном состоянии он читал всю ночь, пока не забрезжил рассвет, а затем, утомленный и ощущающий отвращение в душе, прежде всего к самому себе, он проспал два часа.

Проснулся он свежим и полным энергии.

Гудрун почти не говорила с ним, если только за кофе, когда она сказала:

– Завтра я уезжаю.

– Поедем вместе до Иннсбрука, чтобы соблюсти приличия? – спросил он.

– Посмотрим, – ответила она.

Это «посмотрим» она произнесла между двумя глотками кофе. И то, как она вдыхала воздух, чтобы произнести это слово, наполнило его отвращением. Он быстро встал, чтобы только избавиться от нее.

Он пошел и отдал распоряжения относительно завтрашнего отъезда. Затем перекусил и весь день катался на лыжах. Возможно, сказал он хозяину, он поднимется в Мариенхютте, а возможно, спустится вниз в деревню.

Для Гудрун этот день был многообещающим, как бывают весенние дни. Она чувствовала, что приближается ее избавление, в ней набирает силы новый фонтан жизненной энергии. Ей



доставляло удовольствие упаковывать вещи, ей доставляло удовольствие складывать книги, примерять различные наряды, смотреться в зеркало. Она чувствовала, что наступает новая пора в ее жизни и радовалась, как красивая девочка, которая всем нравится, с ее мягкой, роскошной фигурой и счастьем.

Днем она собиралась на прогулку с Лерке. «Завтра» было еще окутано туманом. Это наполняло ее блаженством. Может, она поедет в Англию с Джеральдом, может, в Дрезден с Лерке, может, в Мюнхен, где жила ее подруга. Завтра может случиться все, что угодно. А «сегодня» было белым, снежным, искрящимся порогом, за которым возможно все. Все возможно – это-то и очаровывало ее, окутывало восхитительными, радужными, неопределенными чарами – настоящей иллюзией. Все возможно – поскольку смерть неотвратима, и все было возможно, кроме смерти.

Ей не хотелось, чтобы что-то материализовывалось, принимало определенные очертания. Внезапно ей захотелось, чтобы завтра некое непредвиденное событие или сила заставили ее изменить свои планы, выбрать совершенно новый путь. Поэтому, хотя ей и хотелось прогуляться с Лерке в последний раз по снегу, ей не хотелось суетиться или говорить о серьезных вещах.

А Лерке был смешным. В этой его коричневой бархатной шапочке, в которой его круглая голова походила на каштан с болтающимися возле ушей коричневыми бархатными клапанами и спадающей на выкаченные темные глаза, похожие на глаза гнома, с тонкой прядью темных волос, с его блестящей прозрачной коричневой кожей, прорезающейся морщинками при любом движении мышц этого лица с мелкими чертами. Он походил на странного маленького мужчину-карлика, на летучую мышь, а его тело, облаченное в зеленый суконный костюм, выглядело хилым и тщедушным, и однако так сильно отличало своего обладателя от остальных. Он взял для них сани, и они покатались между горами ослепительного снега, который обжигал их начинавшие привыкать лица, смеясь, извергая беспрестанную череду остроумных шуток и многоязычных словесных сплетений. Эти сплетения были для них живыми существами, они были невероятно счастливы, обмениваясь разноцветными клубками юмора и замысловатых фраз. Во время этой игры их сущности играли яркими красками, им нравилось шалить. И они хотели, чтобы их отношения оставались на уровне игры: *поистине* восхитительной игры. Лерке не относился к катанию на санках слишком уж серьезно. Он не вкладывал в это душу в отличие от Джеральда. И Гудрун это нравилось. Она устала, как же она устала от нарочитого пристрастия Джеральда к физическому движению! Лерке позволял саням нестись невероятно быстро и весело, подобно летающему листу. На повороте же он сделал так, что и она, и он упали в снег, а затем они, в целостности и сохранности, поднялись с впивающейся в тело белой земли, смеясь и резвясь, точно пикси. Она знала, что он будет отпускать свои ироничные, игривые ремарки, даже если попадет в ад – если у него, конечно, будет настроение. И это невероятно ей импонировало. Казалось, она возносится над чудовищной действительностью, над монотонностью общепринятых условностей.

Они резвились, пока не зашло солнце, веселясь с легким сердцем и забыв о времени. И вдруг, когда маленькие санки со страшной скоростью скатились к основанию склона и было решено отдохнуть:

– Смотри-ка! – внезапно сказал он и достал откуда-то огромный термос, пакет вафель «Keks» и бутылку шнапса.

– О, Лерке, – воскликнула она. – Какая чудесная идея! Что за *comble de joie*, правда! А что такое шнапс?

Он посмотрел на бутылку и рассмеялся.

– Heidelberg!<sup>117</sup> – сказал он.

---

<sup>117</sup> Черника (нем.)

– Нет! Из черники, добытой из-под снега. Он выглядит так, как будто его сделали из снега. А ты, – она нюхала и нюхала бутылку, – ты чувствуешь запах черники? Разве это не прекрасно? Пахнет именно так, как должна пахнуть черника из-под снега.

Она слегка постучала ногой по снегу. Он встал на колени, свистнул и приложил ухо к снегу. И когда он это сделал, в его темных глазах, устремленных на нее, загорелись искорки.

– Ха-ха! – рассмеялась она, и от того, как замысловато он передразнил ее цветистые фразы, ей сразу же стало тепло.

Он всегда поддразнивал ее, подсмеивался над ее манерами. Но поскольку он, передразнивая ее, смотрелся намного глупее, чем она в очередной своей выходке, она просто смеялась и чувствовала себя свободной.

Она слышала, что их голоса, его и ее, звенели в морозном неподвижном сумрачном воздухе, как серебряные колокольчики. Каким прекрасным, каким *поистине* прекрасным было это серебристое уединение, какой чудесной была их игра!

Она потягивала горячий кофе, аромат которого витал вокруг них в холодном воздухе так, как витают вокруг цветов жужжащие пчелы, пила маленькими глоточками Heidelbergwasser<sup>118</sup>, лакомилась холодными, сладкими вафлями с кремом.

Какой вкусной была еда! Как великолепно все пахло и звучало, каким чудесным все было на вкус здесь, в этой полной тишине, заполненной лишь снегом и наступающими сумерками.

– Ты завтра уезжаешь? – донесся до нее его голос.

– Да.

Последовала пауза, во время которой вечер окутал своей молчаливой, звенящей мертвенной бледностью бескрайние выси, бесконечность, до которой было рукой подать.

– *Wohin* ?

Хороший вопрос – *wohin* ? Куда? *Wohin* ? Какое восхитительное слово. Ей *не хотелось* отвечать. Пусть это слово вечно звенит.

– Не знаю, – сказала она, улыбаясь ему.

Его лицо также осветилось улыбкой.

– Никто не знает, – сказал он.

– Никто не знает, – повторила она.

Повисла пауза, во время которой он быстро поедая вафли, как кролик поедает траву.

– Но, – рассмеялся он, – билет-то у тебя куда?

– О Боже! – воскликнула она. – Нужно же взять билет.

Это был удар. Она видела себя возле окошка кассы на станции. Но вот у нее появилась мысль, которая принесла ей облегчение. Она свободно вздохнула.

– Но ехать-то необязательно, – воскликнула она.

– Именно, – сказал он.

– Я имею в виду, что необязательно ехать в то место, что указано в билете.

Это было неожиданное решение. Можно взять билет, чтобы не ехать в указанное место. Можно сойти с поезда и отклониться от заданного направления. От определенной точки в пространстве. Это идея!

– Тогда возьми билет до Лондона, – сказал он. – Туда никогда не стоит ехать.

– Точно, – ответила она.

Он налил немного кофе в жестяную крышку от термоса.

– Ты скажешь мне, куда поедешь? – спросил он.

– Честно и откровенно, – призналась она, – я не знаю. Все зависит от того, в какую сторону подует ветер.

Он вопросительно посмотрел на нее, а затем сложил губы трубочкой, точно Зефир, и подул в сторону.

---

<sup>118</sup> Здесь: «черничная настойка». (нем.)

– Он дует в направлении Германии, – сказал он.

– Похоже, что да, – рассмеялась она.

Внезапно они увидели, что к ним приближается расплывчатая белая фигура. Это был Джеральд. Сердце Гудрун подскочило от внезапного, глубокого страха. Она поднялась на ноги.

– Мне сказали, что ты здесь, – раздался голос Джеральда, словно трубный глас, в беловатой сумеречной дымке.

– *Мария!* Ты появляешься как привидение, – воскликнул Лерке.

Джеральд не ответил. Он казался им сверхъестественным существом, призраком.

Лерке встряхнул термос – и перевернул его. Оттуда вытекло лишь несколько коричневых капель.

– Кончился! – сказал он.

Джеральд видел странную маленькую фигуру немца отчетливо и ясно, словно через бинокль. И она вызывала в нем крайнее отвращение, он хотел, чтобы она исчезла.

Тут Лерке потряс коробку с вафлями.

– Но вафли еще остались.

Не вставая с саней, он протянул руку и передал их Гудрун. Она неуклюже приняла коробку и взяла одну вафлю. Он бы предложил их и Джеральду, но было очевидно, что Джеральд не хотел, чтобы ему их предлагали, поэтому Лерке нерешительно отставил коробку в сторону. А потом поднял бутылку и посмотрел через нее на свет.

– И есть немного шнапса, – сказал он себе под нос.

Затем внезапно он галантным движением поднял бутылку – странная гротескная фигура – потянулся к Гудрун и сказал:

– Gn#228;diges Fraulein, – обратился он к Гудрун, – wohl...

Раздался звук удара, бутылка отлетела в сторону, Лерке упал навзничь, и все трое замерли, охваченные разными, но одинаково сильными чувствами.

Лерке посмотрел на Джеральда с дьявольской усмешкой на коричневом лице.

– Отличный удар! – сказал он с насмешливой демонической дрожью. – *C'est le sport, sans doute.*

В следующее мгновение он уже, смеясь, сидел на снегу – кулак Джеральда ударил его в челюсть. Но Лерке собрался, встал, дрожа, пристально посмотрел на Джеральда, и хотя его тело было слабым и хилым, в глазах горела дьявольская ухмылка.

– *Vive le h#233;ros, vive...*

Тут он весь обмяк, потому что Джеральд, охваченный черной яростью, налетел на него, и ударом кулака в челюсть, вновь свалил его, отбросив в сторону, точно куль соломы.

Но Гудрун подступила к нему. Она высоко подняла сжатую в кулак руку и опустила ее вниз, с силой ударив Джеральда по лицу и груди.

Он несказанно удивился, словно небеса разверзлись над ним. Его душа раскрылась широко, очень широко, чувствуя удивление и боль. Его тело рассмеялось, повернулось к ней, протянув сильные руки, чтобы, наконец, сорвать плод своего желания. Наконец-то его желание будет утолено!

Он сжал руками горло Гудрун – его руки были твердыми и невообразимо властными. А ее горло было таким прекрасно, таким восхитительно мягким. Кроме того под кожей чувствовались ускользающие жилки, поддерживающие ее жизнь. Это должно быть уничтожено, он может это уничтожить. Какое блаженство! О, какое блаженство, какое, наконец, наслаждение!

Его душа наполнилась ликованием утоленной страсти. Он смотрел, как последние искорки сознания покидают ее раздувшееся лицо, наблюдал, как закатились ее глаза. Какая же она уродливая! Какое блаженство, какое удовлетворение! Как прекрасно, о, как прекрасно это наконец-то дарованное ему Богом наслаждение! Он не чувствовал, что она сопротивляется и борется. Борьба станет ее последним порывом страсти в его объятиях! Чем сильнее она боролась, тем сильнее была его дрожь восторга, пока не наступил критический момент, пока

борьба не достигла своей высшей точки – она перестала сопротивляться, движения становились все спокойнее, она постепенно замирала.

Лерке, лежавший на снегу, пришел в себя, но он был слишком оглушен, слишком разбит, чтобы подняться. Но в его глазах светился разум.

– Monsieur! – сказал он тонким возбужденным голосом: – Quand vous aurez fini...<sup>119</sup>

Джеральда захлестнула волна презрения и отвращения. Отвращение тошнотворной волной пронзило его. О, что же он делает, как же низко он пал! Как будто она была дорога ему настолько, что он мог убить ее, что ее кровь была бы на его совести!

Его тело охватила слабость – страшная расслабленность, он словно обмяк, лишился сил.

Инстинктивно он ослабил хватку, и Гудрун упала на колени. Нужно ли ему видеть, нужно ли ему все это знать?

Ужасающая слабость поселилась в нем, его суставы будто превратились в желе. Он пошел, качаясь, словно подхваченный ветром, развернулся, и все также качаясь, направился прочь.

«Нет, не нужно мне это!» – так говорило в его душе отвращение, когда он, слабый, уничтоженный, брел вверх по склону, только сворачивая в стороны, чтобы на что-нибудь не наткнуться.

– С меня достаточно. Я хочу спать. Хватит.

Головокружение полностью поглотило его существо.

Он был слаб, но отдыхать ему не хотелось, ему требовалось идти вперед и вперед, навстречу своему концу. Не останавливаться, пока он не найдет свою смерть, – это единственное желание все еще горело в его душе. И он все брел и брел вперед, ничего не видя, охваченный слабостью, ни о чем не задумываясь, брел, пока у него еще оставались силы.

Сумерки зажгли небо странным, призрачным голубовато-розовым светом, на снег опускалась холодная голубая ночь. Внизу, в долине, на огромной снежной подушке виднелись две маленькие фигурки: Гудрун, не поднимавшаяся с колен, словно человек, которому вот-вот отрубят голову, и Лерке, сидящий прямо рядом с ней. И все.

Джеральд, спотыкаясь, ковылял вверх по заснеженному склону в синеватой тьме, постоянно вверх, инстинктивно вверх, хотя сил у него почти не осталось. Слева возвышался крутой склон с черными скалами, осыпавшимися камнями и белыми снежными прожилками, то тут, то там пересекавшими черную породу. Но не было слышно ни одного звука, все застыло в молчании. Чтобы только усложнить его задачу, справа над его головой светил маленький яркий кружок луны, вызывающий боль яркий кругляшок, который всегда был на своем месте, неизменно, от которого нельзя было убежать. Ему так хотелось добраться до конца – он больше не мог терпеть. Но сон не наступал.

Ему было больно, но он все шел вперед; иногда ему приходилось пересекать изгиб черной скалы, с которого ветер сдул весь снег. Он боялся упасть, он очень боялся упасть. А высоко на перевале носился ветер, который едва не опрокинул его своим тяжелым, сонным ледяным дыханием. Только конец ждал его не здесь, он должен был идти вперед. Необъяснимая дурнота не позволяла ему стоять на месте.

Взобравшись на один гребень, он увидел впереди нечто еще более высокое. Выше, еще выше!

Он знал, что он идет по лыжному следу туда, где сходились все склоны, где стояла Мариенхютте, а на другой стороне был спуск. Но он этого не осознавал. Он просто хотел идти, идти вперед, пока еще мог двигаться, не останавливаясь, – вот и все, идти, пока все не кончится. Он полностью утратил чувство расстояния. И однако же остатки инстинкта самосохранения заставляли его ноги выискивать лыжню, по которой недавно он ехал. Он поскользнулся и скатился по какому-то склону. Это его испугало. У него не было альпенштока, не было вообще ничего. Но благополучно скатившись на землю, он поднялся и пошел дальше, туда, где тьму озарял свет. Было холодно, как в могиле. Он шел между двумя

---

<sup>119</sup> Когда вы совсем закончите... (фр.)

гребнями по впадине. Он повернул. Карабкаться ли ему на другой гребень или идти вдоль впадины? Какой хрупкой была нить его жизни! Пожалуй, он будет карабкаться. Снег затвердел и это было просто. Он шел дальше. Вот там что-то торчит из снега. Он подошел поближе, с мрачным любопытством.

Это было наполовину засыпанное снегом распятие – маленькая фигурка Христа, прикрепленная к шесту под маленькой покатой крышей. Он отшатнулся. Кто-то хочет убить его! Он всегда страшно боялся, что его убьют. Но этот ужас исходил извне, это словно был его собственный призрак. Но стоит ли бояться? Это должно было случиться. Быть убитым!

Он в ужасе огляделся вокруг, посмотрел на снег, качающиеся, бледные, призрачные склоны верхнего мира. Ему суждено быть убитым, он понимал это. Наступил момент, когда смерть подобралась совсем близко – и бежать было некуда.

Господи Иисусе, так тому и быть, Господи! Он почувствовал удар, он понял, что его убивают. Как в тумане он побрел вперед, подняв руки вверх, словно чтобы почувствовать, что произойдет – он ждал момента, когда можно будет остановиться, когда все закончится. Конец еще не наступил.

Он пришел к пологому оврагу, полному снега, окруженному склонами и отвесами, и из этого оврага лыжня вела наверх, к вершине горы. Но он рассеянно брел и брел, и вдруг поскользнулся и полетел вниз. Он почувствовал, как что-то надломилось в его душе, и он мгновенно погрузился в сон.

## Глава XXXII

### *Exeunt*<sup>120</sup>

Когда на следующее утро тело принесли в гостиницу, Гудрун заперлась в своей комнате. Она смотрела из окна, как мужчины возвращаются по снегу со своей ношей. Она сидела и не замечала хода времени.

В дверь постучали. Она открыла. На пороге появилась женщина, которая тихо и, о! слишком уж благоговейно сообщила ей:

– Сударыня, они нашли его!

– Il est mort?<sup>121</sup>

– Да, уже много часов.

Гудрун не знала, что сказать. Что она должна была говорить? Что она должна была чувствовать? Как должна была вести себя? Какой реакции ожидали от нее окружающие? Она совершенно растерялась.

– Благодарю вас, – сказала она и закрыла дверь. Женщина уходила совершенно оскорбленная. Ни словечка, ни слезинки – ха! Какая Гудрун все же холодная и равнодушная женщина!

Гудрун, бледная и безучастная, не выходила из своей комнаты. Как она должна была себя вести? Она не могла залиться слезами и устроить сцену. Она не могла изменить саму себя. Она недвижно сидела, не желая никого видеть. Ее единственным желанием было избегать всего, что напоминало бы ей о случившемся. Урсуле и Биркину она послала длинную телеграмму.

Однако после полудня она внезапно бросилась искать Лерке. Она с опасением покосилась на дверь комнаты, которую занимал Джеральд. Ни за какие сокровища этого мира не вошла бы она туда.

---

<sup>120</sup> Exeunt – в драматургических произведениях ремарка, означающая, что все герои покидают сцену.

<sup>121</sup> Он мертв? (фр.)



Лерке в одиночестве сидел в салоне. Она направилась прямо к нему.

– Это ведь не так, да? – спросила она.

Он поднял на нее глаза. Едва заметная грустная улыбка искривила его губы. Он пожал плечами.

– Что не так? – переспросил он.

– Мы же его не убивали? – настаивала она.

Ему было неприятно, что она подошла к нему вот так. Он вновь устало пожал плечами.

– Так уж случилось, – сказал он.

Она смотрела на него. Он сидел, раздавленный и растерянный, опустошенный и безразличный ко всему, как и она сама. Боже! Какая бессмысленная трагедия! Какая бессмысленная!

Она вернулась в свою комнату и стала дожидаться Урсулу и Биркину. Ей хотелось уехать, всего лишь уехать. Разум и чувства не вернуться к ней, пока она будет привязана к этому месту.

День прошел, наступило завтра. Она услышала скрип саней, увидела выходящих из них Урсулу и Биркина и втянула голову в плечи.

Урсула сразу же поднялась к ней.

– Гудрун! – воскликнула она, и слезы потоками устремились по ее щекам. Она обняла сестру.

Гудрун уткнулась лицом в плечо Урсулы, но ничего не могла поделать с холодной дьявольской иронией, заморозившей ее душу. «Ха-ха! – подумала она. – Вот так и следует себя вести».

Но она не могла рыдать, и при виде ее холодного, бесстрастного, бледного лица Урсуле тоже вскоре расхотелось плакать.

– Вам очень не хотелось снова сюда тащиться, да? – через какое-то время спросила Гудрун.

Урсула взглянула на нее с недоумением.

– Я об этом не задумывалась.

– Я чувствую себя последней гадиной из-за того, что заставила вас сорваться с места, – объяснила Гудрун. – Просто я не могу никого видеть. Это выше моих сил.

– Да, – сказала Урсула и холодок пробежал по ее спине.

Раздался стук и в комнату вошел Биркин. Его лицо было бледным и лишенным всякого выражения. Гудрун поняла, что он обо всем знает. Он протянул ей руку и сказал:

– В любом случае, это путешествие подошло к концу.

Гудрун испуганно взглянула на него.

Все трое замолчали, потому что говорить было не о чем. Через некоторое время Урсула вполголоса спросила:

– Ты видел его?

Он метнул на Урсулу пристальный, холодный взгляд и не потрудился ответить.

– Так видел? – повторила она.

Он посмотрел на Гудрун.

– Это твоя работа? – спросил он.

– Нет, – ответила она. – Вовсе нет.

При мысли, что ей придется что-то объяснять, ее сердце сжималось от отвращения.

– Лерке говорит, что Джеральд подошел к вам, когда вы с ним сидели в санях у подножья Рудельбана, что вы поссорились и Джеральд ушел. О чем был спор? Лучше мне узнать об этом, тогда я смогу уладить все с властями, если понадобится.

Гудрун, бледная, как мел, посмотрела на него детскими глазами, не в силах вымолвить ни слова.

– Это даже нельзя назвать ссорой, – сказала она. – Он подрался с Лерке и оглушил его, он едва меня не задушил, а потом ушел.

Про себя же она думала:

«Вот тебе пример вечного треугольника!». Она насмешливо отвернулась, потому что знала, что в борьбе участвовали Джеральд и она, а присутствие третьего человека было всего лишь случайностью – возможно, эта случайность была неизбежной, но она все же оставалась случайностью. Но пусть они считают это обычным любовным треугольником, триединством ненавидящих друг друга людей. Так им будет легче.

Биркин ушел, держась холодно и отстраненно. Но она знала, что он поможет ей, что он будет рядом до конца. На ее губах заиграла легкая презрительная улыбка. Пусть он все организует, раз уж он так хорошо умеет заботиться о людях.

Биркин вновь пошел туда, где лежал Джеральд. Он любил его. В то же время безжизненное тело вызывало у него одно только отвращение. Оно было таким пассивным, таким мертвенно-холодным, настоящим трупом, что все тело Биркина сковало холодом. Но он заставлял себя стоять и смотреть на замерзший труп, бывший некогда Джеральдом.

Это было замерзшее мужское тело. Биркину припомнился превратившийся в ледышку кролик, которого он некогда нашел на снегу. Когда он его поднял, то почувствовал, что зверек жесткий, как подсушенная доска. А теперь таким был Джеральд, неподвижный, как камень, поджавший колени, точно собираясь спать, но ужасающая жесткость уже была сильно заметна. Это наполнило его душу ужасом. В комнате нужно затопить, тело нужно разморозить. Когда они будут выпрямлять ему ноги, те треснут, как стекло или как дерево.

Он протянул руку и прикоснулся к мертвому лицу. И большой, обширный заledenевший кровоподтек, словно язва, пронзил его доброе сердце. Он спрашивал себя, может, он тоже замерзает, замерзает изнутри. В коротких светлых усах, под недвижными ноздрями, дыхание, дарующее жизнь, превратилось в льдинку. Неужели это был Джеральд?

Он вновь прикоснулся к острым, едва ли не сверкающим белокурым волосам обледеневшего трупа. Они, волосы, были холодны как лед, они почти жалили. Сердце Биркина начало замерзать. Он любил Джеральда. А теперь он взирал на его красивое лицо с кожей странного цвета, на маленький, изящный вздернутый нос и мужественные скулы, теперь он видел, что они стали похожими на кусок льда – но он все равно любил их. О чем должен он был думать, что чувствовать? Его мозг постепенно замерзал, кровь была еще не льдом, но уже и не жидкостью. Такой страшный холод, тяжелый, разъедающий холод давил на его руки снаружи, но еще более жуткий холод рождался внутри него, в его сердце и душе.

Он отправился на заснеженные склоны, чтобы посмотреть на то место, куда пришла смерть. В конце концов он дошел до огромной ложбины, с одной стороны которой были отвесные, а с другой пологие склоны, около самой высокой точки перевала. День был пасмурный и тихий – солнце уже третий день подряд пряталось за тучами. Все вокруг было покрыто снегом и льдом, мертвенно-бледного цвета, и только кое-где чернели выступы скал, то присыпанные снегом, то совершенно обнаженные. Вдалеке виднелся пологий склон, уводящий к самой вершине и во многих местах заваленный обломками породы.

А здесь, в заснеженной и усыпанной камнями земле, была неглубокая яма. В этой яме Джеральд и обрел свой последний сон. Проводники вбили железные колья глубоко в снежную стену, чтобы, прикрепив к ним длинную веревку, можно было бы подниматься по массивному заснеженному отвесу на зазубренную вершину перевала, под самые небеса, там, где между голых скал пряталась Мариенхютте. А вокруг острые, изрезанные заснеженные вершины пронзали голубую гладь.

Джеральд мог найти эту веревку. Он поднялся на гребень горы. Он услышал бы, как в Мариенхютте лают собаки, его бы приютили там. Он пошел бы дальше, вниз по крутому, очень крутому южному склону и спустился бы в темную долину, где растут сосны, вышел бы на Великую Имперскую дорогу, ведущую на юг, в Италию.

Мог бы! И что дальше? Имперская дорога! На юг? В Италию? А потом куда? Разве это был выход? Это вновь был вход! Биркин стоял высоко в горах, на морозном воздухе и смотрел на горные пики и на дорогу на юг. Стоило ли двигаться на юг, в Италию? По древней, как мир, Имперской дороге?

Он отвернулся. Его сердце либо разорвется, либо наполнится равнодушием. Лучше бы оно наполнилось равнодушием! Какая бы мистическая сила ни породила человека и всю вселенную, она была божественной, у нее были свои божественные цели и от человека здесь ничто не зависит. Лучше оставить все на усмотрение великой созидательной нечеловеческой загадки. Лучше бороться только с самим собой, а не со всей вселенной.

«Богу не обойтись без человека». Так когда-то сказал некий великий проповедник. Но это ведь истинная ложь. Бог вполне может обойтись без человека. Смог же он обойтись без ихтиозавров и мастодонтов. Эти твари не смогли созидательно развиваться, поэтому Бог, творец всего сущего, разделался с ними. Таким же образом он может разделаться и с человеком, если тот не сможет измениться в лучшую сторону и не начнет развиваться. Вечный создатель избавится от человека и заменит его более тонким созданием, подобно тому, как вместо мастодонта появилась лошадь.

Биркину только и осталось, что тешить себя этой мыслью. Если человечество зайдет в тупик и растратит свои силы, вневременная созидательная сила поставит на его место другое существо, более утонченное, более чудесное, некую новую, прекрасную расу, которая и станет воплощением созидательного начала. Игра всегда продолжается. Таинство созидания непостижимо, в нем нет ни малейшего изъяна, ему нет конца, оноечно. Народы приходят и уходят, виды исчезают, но на их место приходят новые – более совершенные или такие же, как и прежде, являя собой исключительное чудо. Этот источник неподвластен разложению и неистощим. Ему нет предела. Он умеет творить чудеса, в нужную минуту порождать совершенно новые расы и новые виды, новый тип сознания, новые организмы, новые формы единства бытия. Человеческие возможности – пустой звук по сравнению с тем, что может мистическая созидательная сила. Иметь в своих жилах эту пульсирующую тайну – вот что значит достигнуть совершенства, неопишуемой вершины всех желаний. Человеческие или иные ценности здесь ничего не значат. В идеальных жилах бьется не поддающаяся описанию жизнь – загадочные нерожденные виды.

Биркин вернулся обратно к Джеральду. Он вошел в комнату и сел на кровать. Смерть, смерть и холод!

«Державный Цезарь, обращенный в тлен...  
Пошел, быть может, на обмазку стен». <sup>122</sup>

Но то, что некогда было Джеральдом, никак не отзывалось на его слова. Странная, окоченевшая, ледяная материя – не более того. Не более!

Чувствуя страшную опустошенность, Биркин отправился распорядиться относительно того, что на данный момент было важнее всего. Он сделал все тихо, без лишнего шума. Изрекать красивые речи, иступленно бить себя в грудь, играть в трагедию, устраивать сцены – время всего этого уже ушло. Лучше было вести себя тихо и скрепя сердце терпеливо переносить страдания.

Но когда вечером, повинувшись изголодавшемуся сердцу, он вновь пришел взглянуть на Джеральда, вокруг которого были расставлены свечи, в его душе что-то сжалось, он чуть не уронил свечу, которую держал в руке, и горько зарыдал. Он упал на стул, охваченный внезапным припадком. Урсула, шедшая за ним, отшатнулась от него, увидев, что он уронил голову, что его тело сотрясается, что рыдания странным, ужасным звуком вырываются из его груди.

– Я не хотел, чтобы так случилось, я не хотел, чтобы так случилось, – рыдал он.

Урсула не могла не вспомнить возглас кайзера: “Ich habe es nicht gewollt”<sup>123</sup>. Она чуть ли не с ужасом уставилась на Биркина.

Внезапно он умолк. Но головы так и не поднял, пряча от нее лицо. Затем едва заметным движением он вытер лицо, а потом поднял голову и взглянул на Урсулу мрачным, почти злобным взглядом.

---

<sup>122</sup> «Державный Цезарь, обращенный в тлен...» – строка из «Гамлета» Шекспира, пер. М. Лозинского, 1979.

<sup>123</sup> «Я этого не хотел» – предположительно, слова кайзера о начале Первой мировой войны.

– Если бы только он любил меня! – сказал он. – Я же предлагал ему.

Испугавшись, побелев, онемевшими губами она пробормотала:

– Разве это что-нибудь изменило?

– Изменило! – ответил он. – Обязательно изменило бы.

Он отвернулся от нее и посмотрел на Джеральда. Странно приподняв голову, словно человек, который пытается прийти в себя после нападения, немного надменно он рассматривал холодное, безжизненное лицо – лицо, от которого осталась только плоть. Оно было голубоватого оттенка. Сердце живого мужчины словно пронзила ледяная стрела. Холодная, немая плоть! Биркин припомнил, как однажды Джеральд сжал его руку – теплым, едва ощутимым пожатием истинной любви. Только на одно мгновение – а затем отпустил ее, отпустил навеки. Если бы только он ухватился за это прикосновение, смерть ничего бы не значила. Те, кто умирают, и в смерти продолжают любить, продолжают верить, не превратятся в тлен. Они остаются жить в тех, кого они любили. Даже после смерти Джеральд мог остаться жить в душе Биркина. Он мог жить дальше, жить в своем друге.

Но теперь он был мерв, он превратился в прах, в голубоватый разлагающийся лед. Биркин взглянул на бледные пальцы, на пассивную массу. Он вспомнил виденного однажды мертвого жеребца: мертвое тело самца, вызывающее одно только отвращение. Он вспомнил и прекрасное лицо того, кого он некогда любил и кто умер, продолжая верить в тайну. То мертвое лицо было красивым, никто не смог бы назвать его холодным, немым, назвать простой материей.

Вспоминая его, нельзя было не обрести веру в таинство, нельзя было не ощутить в душе новую согревающую глубокую веру в жизнь.

Но Джеральд! Неверующий! При взгляде на него сердце холодело, замерзало, едва могло биться. Отец Джеральда выглядел так задумчиво, что сердце разрывалось на куски – но не так, не такой ужасно холодной, безмолвной Материей. Биркин смотрел и не мог отвести взгляда.

Урсула стояла в стороне, наблюдая, как живой рассматривал замерзшее лицо мертвеца. У обоих были недвижные и лишённые всякого выражения лица. Стояла полная тишина, и только огоньки свечей мигали в холодном воздухе.

– Ты еще не все увидел? – спросила она.

Он поднялся на ноги.

– Мне от этого очень больно, – отозвался он.

– От чего – от того, что он умер? – поинтересовалась она.

Их глаза встретились. Он не ответил.

– У тебя есть я, – сказала она.

Он улыбнулся и поцеловал ее.

– Если я умру, – сказал он, – знай, что я тебя не оставил.

– А если умру я? – воскликнула она.

– То ты не оставила меня, – сказал он. – Нам не нужно будет разлучаться даже в смерти.

Она взяла его за руку.

– Но нужно ли тебе так печалиться из-за Джеральда? – спросила она.

– Да, – ответил он.

И они ушли. Джеральда отвезли в Англию и там похоронили. Биркин и Урсула сопровождали тело, как и один из братьев Джеральда. Именно его сестры и братья настояли на том, чтобы похоронить его в Англии. Биркин хотел оставить тело в Альпах, там, где начинался снег. Но семья упорствовала, громко настаивая на своем.

Гудрун уехала в Дрезден. Она редко писала о себе. Пару недель Урсула оставалась с Биркиным на мельнице. Они оба были какими-то тихими.

– Тебе нужен Джеральд? – как-то вечером спросила она.

– Да, – ответил он.

– Разве одной меня не достаточно? – спросила она.

- Нет, – ответил он. – Тебя мне достаточно только в той степени, в какой может быть достаточно женщины. Ты для меня все женщины на свете. Но мне нужен друг-мужчина, такой же вечный, как союз между тобой и мной.
- Но почему меня не достаточно? – спросила она. – Тебя мне хватает. Мне никого, кроме тебя, не нужно. Почему с тобой по-другому?
- С тобой я могу прожить всю свою жизнь, не нуждаясь в ком-то другом, не нуждаясь в близких отношениях с другими людьми. Но чтобы этот союз стал завершённым, чтобы я был по-настоящему счастливым, мне требуется еще и вечный союз с женщиной: другая любовь, – объяснил он.
- Я не верю, – сказала она. – Ты просто упрямисься, ты заиклился на этой своей теории.
- Ну... – протянул он.
- Нельзя чувствовать две разных любви. Так не бывает!
- Похоже, ты права, – ответил он. – Но я хотел этого.
- Так не бывает, потому что это ложь, потому что это невозможно, – настаивала она.
- Не верю, – ответил он.